



ДОЛГАЯ ДОРОГА

Валерий
Юабов

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Валерий Юабов

Долгая дорога

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64035538

SelfPub; 2021

Аннотация

В книге автор рассказывает о своих студенческих годах, нелёгкой иммиграции и становлении в новой стране. Администрация сайта ЛитРес не несет ответственности за представленную информацию. Могут иметься медицинские противопоказания, необходима консультация специалиста. Содержит нецензурную брань.

Содержание

От автора	7
Книга первая	8
Глава 1. Ташкентский студент	8
Глава 2. Признание в любви	26
Глава 3. Белое золото	43
Глава 4. «В позицию!»	54
Глава 5. Рабы и плантаторы	64
Глава 6. Министр с удачной фамилией	75
Глава 7. Дядя Абраша уходит навсегда	85
Глава 8. Мечты, мечты, мечты...	99
Глава 9. Пытаюсь стать спортсменом	114
Глава 10. Решение	143
Глава 11. «...для представления в ОВИР»	158
Глава 12. «Ты навсегда в ответе...»	173
Глава 13. Молитвенник	188
Глава 14. «Город, подобный раю»	209
Глава 15. «Я с ним не поеду»	223
Глава 16. Поезд тронулся...	236
Глава 17. «Господа, с приездом!»	250
Глава 18. Робинзон Крузо	272
Глава 19. «Ноу пик инглиж»	283
Глава 20. Мои римские каникулы	295
Глава 21. Ангел с жёлтым пакетом	304

Глава 22. Это было чудо	312
Глава 23. «Квартирный вопрос»	321
Глава 24. «Были бы деньги...»	339
Глава 25. «WELCOME» или не «WELCOME»?	350
Глава 26. «Посадил ли ты урючину?»	361
Глава 27. 128 кредитов	374
Глава 28. Время первых успехов	386
Глава 29. «Кинг Дэйвид»	393
Глава 30. Попытка к бегству	409
Глава 31. Белые кимоно	420
Глава 32. «I can not believe it!»	435
Глава 33. Семейный доктор	449
Глава 34. Путь каратэ	464
Глава 35. Операция «Спасение Марика»	476
Глава 36. «Наш бизнес»	489
Глава 37. «Картинки» просят на бумагу	503
Глава 38. «В последний раз...»	511
Глава 39. Я – безработный	523
Глава 40. Роботы, лазеры, люди	541
Глава 41. Американская мечта	559
Глава 42. «Детей пора женить»...	577
Глава 43. Браки свершаются на небесах	593
Глава 44. «...ты посвящаешься мне»	610
Глава 45. Юабовы – потомки красильщиков	639
Глава 46. «Покой нам только снится»	662

Глава 47. Добро пожаловать в Квинс!	679
Глава 48. Ночной гость, или вестник перемен	714
Глава 49. Легко ли быть бабушкой	735
Глава 50. Снова вместе	750
Глава 51. Цена покоя	773
Глава 52. «Смена-15»	784
Глава 53. Я становлюсь фермером	800
Глава 54. Судьбы таинственных пути	825
Глава 55. «Остановись, мгновенье!...»	842
Глава 56. «Мой дядя самых честных правил»	864
Глава 57. Трудные времена	872
Глава 58. Возвращение	886
Глава 59. Курс лекций профессора	896
Глава 60. Надежные плечи	907
Глава 61. Эстер-внучка	924
Книга вторая	942
Глава 1. Приговор	942
Глава 2. Надежды	946
Глава 3. 34 из 36	950
Глава 4. Далекий близкий Узбекистан	955
Глава 5. Дым отечества	964
Глава 6. Чужой переулок	969
Глава 7. «...Город, знакомый до слёз»	975
Глава 8. «А вот здесь прежде жили...»	982
Глава 9. Доктор из Намангана	987
Глава 10. Легко ли стать табибом	1001

Глава 11. Дорога надежды	1013
Глава 12. Авиценна	1022
Глава 13. О чем может рассказать пульс	1032
Глава 14. «Со мной все в порядке»	1041
Глава 15. Устоз	1047
Глава 16. Звезды на куполе	1058
Глава 17. Запах трав	1062
Глава 18. Года два-три...	1076
Глава 19. Посоветуй мне, мама	1086
Глава 20. «Когда меня не станет...»	1089
Глава 21. Легко ли быть евреем	1096
Глава 22. И снова восточная медицина	1108
Глава 23. Вторая свеча	1124
Фотографии к книге «Эстер»	1140

Валерий Юабов

Долгая дорога

Эта книга посвящается самым добрым людям, повстречавшимся на моём жизненном пути: матери Эстер, супруге Светлане, доктору Мухитдину Умарову, другу и наставнице Раисе Мирер.

От автора

Своим неперенным долгом и приятной обязанностью считаю выразить огромную благодарность моему дорогому другу и помощнику Раисе Исааковне Мирер, без которой этой книги, может быть, и не было бы.

Она не только побуждала меня работать, но вложила в наш общий труд свою душу и огромный опыт литературного редактора.

Книга первая

«Новые американцы»

Глава 1. Ташкентский студент

По физике было два экзамена – письменный и устный. Первый я сдал легко и успешно, второго почему-то побаивался.

В длинном коридоре, напротив одной из аудиторий, где принимали экзамен, столпилась у окна наша будущая группа. Вернее, те, кто надеялся в нее попасть. Все мы поглядывали друг на друга с любопытством и некоторым опасением: как-никак мы были конкурентами. Впрочем, болтали мы очень оживленно, стараясь скрыть страх и лихорадку ожидания: вызывали по алфавиту, и некоторым, мне в том числе, предстояло томиться довольно долго. Тех, кто выходил из аудитории, мгновенно окружали. «Ну? Что вытянул? Ответил?» Одни высказывались настолько взволнованные, все еще заполненные тем, что было на экзамене, что не могли сразу переключиться и отвечать на расспросы. Другие, наоборот, тут же начинали выкладывать все подробности. Были и плачущие – девчонки, конечно.

Из аудитории, чуть приоткрыв дверь, выскользнула невы-

сокая черноволосая девочка. Прислонилась к косяку, откинула голову.

– Пятерка...

Все разом к ней кинулись. «Да ну?!»

Пятерок было совсем немного.

* * *

За столом – двое учителей. Один еще беседует с кучерявым парнишкой. Второй кивнул мне: подходи, мол, и выбери билет. Я протянул руку, почему-то очень тяжелую, одеревеневшую, поднес к глазам билет – и сразу стало так легко... На все вопросы – и об электромагнитной индукции, и о волновых характеристиках света с необходимыми формулами – я мог ответить с ходу! Но так не полагалось. Экзаменатор указал мне на стол у окна: «Садитесь и готовьтесь». Я уселся, стал перечитывать билет и расслабился настолько, что услышал вопрос, который другой экзаменатор задал кучерявому парню. Судя по тону, уже не в первый раз... А вопрос был легчайший. «Ну же, отвечай!» – подумал я. Но парень молчал. Ничего себе – он не знал третьего закона Ньютона!

«Бедняга, – подумал я. – Не видать ему института».

И ошибся. Этот парень – его звали Лёня Школьник – был чуть ли не первым, кого я увидел, придя на занятия. Объяснялось все очень просто: на одном из факультетов института

работала тетя этого Лёни.

Впрочем, по совести, я-то чем от него отличался? Если своими знаниями в области физики я мог гордиться (и то потому, что со мной занимался дядя Миша), то с математикой все обстояло гораздо хуже. Готовила меня к экзаменам математичка из папиной школы Елена Сергеевна Модик. Когда после месяца занятий с этой ученой дамой мои знания проверил другой математик, друг дяди Миши, он только за голову схватился. Но исправлять что-нибудь было уже поздно...

Словом, с письменной математики я вернулся, проклиная себя, математику, вообще всё на свете и укрылся от мира на топчане под урючиной. Ночью меня разбудил шум мотора. Это прибыл на своем «Москвиче» дядя Миша. Он успел в тот же вечер съездить к математику, принимавшему экзамен, чтобы узнать о моих успехах.

– Рыжик, два с половиной! – раздался от ворот ехидно-радостный голос Юрки. И он захохотал – да нет, загоготал... Ох, как хотелось трахнуть его по башке!

Дядя Миша не смеялся. Он подошел к топчану, поднял указательный палец и сказал с сарказмом:

– Номи о Модик будэ!

В переводе на русский это означало: «Её звали Модик». Так родилась фраза, запомнившаяся на много лет и ставшая в нашей семье поговоркой, когда речь шла о ком-то очень недобросовестном.

– Ты правильно ответил на два из пяти вопросов и на половину третьего, – сообщил мне дядя сурово. Расхлебывать-то ситуацию предстояло ему. Теперь надо было снова просить за племянника. Убеждать коллегу, Юрия Михайловича, преподававшего в институте математический анализ, что два с половиной – это больше, чем двойка, а значит, число можно округлить до трех.

И Юрий Михайлович «округлил».

Но вот экзамены позади. Принят ли я? Дядя молчал, спрашивать не хотелось, и я с нетерпением ждал – когда же вывесят списки. Этот день наступил, наконец. Прибежав рано утром во двор института, я увидел толпу возле доски со списками. Ее облепили так, что я долго не мог протиснуться, а пробравшись, физического факультета не нашел. Списков было много, штук двадцать, я долго шарил по ним глазами, думая, что ошибся. Но тут раздался чей-то голос: «А исторический где же?» – «И филологического нет», – пробормотал еще кто-то.

Оказалось, что несколько списков вывесят после одиннадцати... Опять ждать! Я уселся неподалеку и глядел, не отрываясь, как кипят возле списков радости и печали: кто-то прыгал, поднимая к небу руки, двое парней в восторге колотили друг друга по плечам, другие быстро уходили прочь – на лица этих ребят смотреть было тяжело... Какая-то девчонка давно уже стояла возле доски и все водила и водила пальцем по списку... Кажется, это был список музыкального факуль-

тета. Её почему-то было особенно жалко.

Когда, наконец, принесли недостающие списки, я еле удержался от того, чтобы кинуться к ним бегом, как первоклассник какой-нибудь. Подошел, стиснув зубы, заглянул в конец столбика фамилий... Ну? «Юабов»... Есть!

Прямо от списка бросился я к телефону-автомату. И первый звонок был, конечно, к дяде Мише. К благодетелю. А дядя хоть и любил, чтобы его благодеяния ценили, на этот раз был, вероятно, искренне рад за меня.

– Рыжик, кака-а-я? – заорал он тоненьким голосом, вспомнив нашу с ним давнюю игру. И как в раннем детстве, я радостно завопил в ответ:

– Запа-рожица!

* * *

Дома, в Чирчике, меня встретили, как полководца-победителя. Эммка подпрыгивала и юлой крутилась вокруг меня. Отец стоял, самодовольно подбоченившись, будто был соучастником победы. «Зря вы волновались, я же знал, что все будет в порядке», – вот что было написано на его лице. Мама обнимала меня, целовала и смеялась. Смеялась так звонко, так счастливо. «Студент, – приговаривала она. – Студент...»

Уж кого действительно можно было назвать соучастником – так это ее, маму. Думаю, что никто не вкладывал в мою

подготовку к экзаменам столько душевных сил, ни у кого не было такого деятельного стремления помочь.

Вспоминается мне жаркий и душный июль, последний месяц перед вступительными экзаменами. С раннего утра сижу в своей комнате и занимаюсь. Мама следит за тем, чтобы никто мне не мешал, ходит на цыпочках, разговаривает шёпотом. И прерывает мои занятия, лишь когда считает, что мне пора подкрепиться. Признаться, она делает это довольно часто. То яблоко занесет, то грушу, то апельсин. Все – на тарелочке, все – почищено, чтобы я не тратил лишнего времени...

– Ешь! Мозгам необходима энергия!

Вежливо, но твердо я заявляю, что сыт. Пожалуйста, пусть она больше ничего не приносит. Мама кивает: «хорошо»...

Я сижу за письменным столом, спиной к окнам. Из них в комнату вливаются потоки света. Они разгуливают по стенам, колеблясь, как волны морские, вольно струятся по столу, и стекло на нём сверкает, светятся страницы раскрытой книги, мои руки... Один из лучей, отделившись от других, пересекает комнату, в нем танцуют миллиарды пылинок... Залюбовавшись их таинственной жизнью, я слышу вдруг какие-то странные звуки, что-то вроде музыки... Может быть, она сопровождает этот танец пылинок в луче?

«Там-м, ляка-туляка-ту, там-м, там-м...»

В открытых дверях моей комнаты появляется мама. За нею приплясывает Эммка. В руках у мамы – пустая эмалиро-

ванная лаганча. Мама перекидывает ее из стороны в сторону, крутит, поднимает, опускает, отбивая по дну мелодию, как настоящий дойрист. То кончиками пальцев, то обручальным кольцом. И напевает простую песенку без слов – «Ляка-ляка-тум-м!», и улыбается так лукаво, так весело... Сейчас мне кажется, что все потоки света льются на неё, на маму, они бьют в неё, как прожектора на сцене, она плавает в них...

– Ляка-ляка-тум-м! – и мама опускает лаганчу на стол. А хохочущая Эммка ставит рядом еще одну, полную, над которой колышется ароматный пар...

– Поешь... Мозгам необходима энергия! – с полным сознанием своей правоты заявляет мама.

Ну как можно на неё сердиться?

* * *

Уж не знаю, сколько раз проходил я мимо этого здания на пересечении двух улиц – Глинки и Педагогической. Но наверное, до этого дня ни разу не *видел* его – в подлинном смысле слова. Не имея особого пристрастия к архитектуре, я просто его оглядывал, как и другие красивые или старинные здания в Ташкенте. Я был обыкновенным прохожим. И даже когда я подавал документы, когда прибежал сюда на экзамены, я никакого внимания не обращал на то, куда же я захожу. Не до того мне было. А сейчас...

Я подошел уже к самому зданию – и вдруг остановился.

Я *увидел* его целиком! Увидел широкую мраморную лестницу, взбегающую к величественному portalу с четырьмя мраморными колоннами в античном стиле, увидел даже тени этих колонн на гранитно-мраморном фасаде, увидел красивые скульптуры на высоких гранитных цоколях по сторонам лестницы...

«Дворец! Дворец науки!» – подумал я с чувством, похожим на гордость. Еще бы – ведь это был теперь и мой дворец. И вестибюль был таким же дворцовым – мраморным, высоким, прохладным. Но не безлюдным и не тихим! В вестибюле, на лестнице, в коридорах, в аудиториях – повсюду кишмя кишели владельцы дворца. Вроде бы как в школе – и все же совсем не так. Была суета, было беспорядочное, как мне казалось, движение, был, конечно, гул голосов, но без шальной беготни, без малышоваго визга.

Аудитории с их ступенчатыми, поднимающимися вверх полами напоминали театральные залы. Внушительные преподавательские кафедры тоже несколько не похожи были на скромные столики школьных учителей. Как и длинные деревянные скамьи с пюпитрами – на парты. Сядишь на такую скамью и сразу чувствуешь, что ты – студент.

Мне кажется, первые недели своего студенчества я так был наполнен ощущением новизны, что на занятиях мне никак не удавалось сосредоточиться!

В это ощущение входила, конечно, не только новизна обстановки. Группа, в которую я попал, занимала меня еще

больше. Она тоже мало чем напоминала мой привычный класс.

Первой неожиданностью было то, что в одной группе со мной, кроме вчерашних школьников, оказалось несколько взрослых парней. Казах Нурлан Бадарбаев пришел в институт после службы в армии, ему было двадцать два. Тёзке моему Валере Круглову – столько же, Толе Тамбовцеву – аж двадцать четыре! Толик несколько лет подряд поступал в разные институты, и вот, наконец, повезло. Несколько других парней после школы подрабатывали, чтобы помочь родителям и кое-что скопить на студенческие годы.

Я был самым младшим не только в группе – во всем институте нашелся только один мой ровесник-первокурсник, да и то на другом факультете.

Впрочем, я недолго побаивался, что на меня будут смотреть свысока или просто игнорировать, как «маленького». Если и были шутки, то совершенно безобидные. И я очень скоро почувствовал еще одно: они не связаны с моей национальностью.

Наша группа называлась русской, но только потому, что преподавание велось на русском языке (были группы, в которых оно велось на узбекском). На самом же деле кого только в нашей русской группе не было: русские, украинцы, узбеки, татары, евреи. Был казах, был кореец. И так или примерно так – на всем факультете, во всем институте. Не думаю, что именно по этой причине – очевидно, были и другие, которые

я и сейчас не могу объяснить, – но никаких «национальных проблем» у нас в институте не наблюдалось. И антисемитских настроений ни у ребят, ни у преподавателей я не замечал. Правда, дядя Миша считал, что в преподавательском составе такой душок имеется.

Группа у нас, как мне казалось, подобралась замечательная. «Шухарная», как мы тогда выражались. Иначе говоря, веселая, доброжелательная, увлеченная всем тем, что тогда считалось среди молодежи интересным, модным... Да, жаргонное словечко вмещает в себя иногда очень много!

Еще одним открытием было то, что ташкентские ребята довольно сильно отличаются от нас, съехавшихся в столицу из других городов и селений. Они и вели себя по-другому, смелее, увереннее. И в современной жизни разбирались много лучше, чем мы. Казалось, что новости доходят до Ташкента из Москвы и со всего мира не по радио, не по телевидению – это ведь и у нас было, а какими-то неведомыми путями гораздо раньше, чем к нам, провинциалам. И в гораздо большем количестве. Разумеется, я говорю прежде всего о тех новостях и проблемах, которые в то время интересовали молодежь.

В числе таких вот «просвещённых» лидеров группы был пузатый, великовозрастный Толик Тамбовцев. Уж он-то знал все – и о музыкальных новинках, и о последнем «крике моды». Свои потребности в этих необходимых ему вещах он удовлетворял очень простым способом: спекулировал диска-

ми, джинсами – короче, всем, чем мог. Никто в группе его не осуждал, и некоторые пользовались его услугами.

Кое-кто выделялся начитанностью, широтой интересов. Саня Носов в разговоре нередко то какое-нибудь крылатое выражение употреблял, то стихи цитировал. Виталик Цой, как скоро выяснилось, сам писал стихи. В основном – сатирические. Леня Коган пел, играл на гитаре. Эти парни смело и резко говорили и о наших местных безобразиях, и о советской власти вообще.

Все мы дружно ненавидели историю КПСС – в основном потому, что скучнее предмета не было. Приходилось заучивать, когда происходили «исторические съезды» коммунистической партии (а историческими считались чуть ли не все они), что на них происходило, и много всякой другой чепухи. Однако же наш преподаватель истории КПСС Петр Тимофеевич просто захлебывался от восторга, торжественно рассказывая нам обо всех этих съездах, о том, какая у нас великая, мудрая партия, как замечательно все мы живем под ее руководством... Стоило только послушать, как наши остряки издевались над Петром Тимофеевичем! Шли споры – кто он на самом деле: восторженный дурак или расчётливый подхалим... Я слушал такие разговоры с жадностью. Мы, чирчикские школьники, конечно, тоже кое-что понимали, но наша критика дальше анекдотов с политической окраской не шла. А мои новые товарищи рассуждали, спорили, у них были свои взгляды, свои убеждения, достаточно смелые.

Было в группе несколько отличных спортсменов – два Сергея, Павлов и Морозов, оба – боксеры, баскетболист Сергей Тельтевский и даже акробат Валера Круглов. Мы этим гордились и надеялись, что о них скоро узнает весь институт, а может быть, и весь Ташкент.

Если честно говорить, то рассказ о нашей группе мне бы следовало начать с девочек. Надо ли объяснять, почему? Ведь они просто притягивали взгляд юнца, переполненного и плотскими желаниями, и высокими мечтами о любви.

Девочки составляли большую половину группы – парней было одиннадцать, а их – тринадцать. Все они сперва показались мне очень красивыми. Только постепенно я понял, что юная привлекательность некоторых девчонок очень умело усилена модной одеждой и макияжем. Особенно выделялись модницы ташкентские – уж эти умели и одеться, и подкрасить глазки, и... Словом, подать себя. Тени, пудры, помада всех оттенков – и все, конечно, импортное. В этом нескрываемом соперничестве впереди всех была Ирка Бровман, весьма элегантная, хотя и немного полноватая девица из ташкентской еврейской семьи. Очевидно, зажиточной – другие девушки не могли себе позволить одеваться, как она. Эта Ирка и одеждой, и манерой вести себя напоминала мне нашу Ирку Умерову. Но таких результатов, как Умеровой, здешней Ирке достичь не удавалось: парням она не нравилась. А на меня откровенное кокетство вообще не очень действовало. Ильгиза Шайморданова, например, не так уж и модно

была одета и совсем почти не красилась, и глазками она не стреляла, как другие девчонки, а, наоборот, отводила их в сторону, опускала густые ресницы – но именно эта застенчивость притягивала меня. У моей Ларисы появилась соперница...

Наша группа довольно быстро приобрела некоторую популярность. Все чаще и чаще стал присоединяться к нашей компании рослый, белокурый Паша Савельев, третьекурсник. До нас – говорил он – ему еще ни разу не приходилось видеть в «педике» таких веселых ребят! Обществом Паши все мы, конечно, слегка гордились. Но сдружился я и сблизился больше, чем с другими ребятами, с Ридваном, татарским парнем, приехавшим из далекого селения. Частенько после занятий все отправлялись в парк выпить пивка, а мы с Ридваном шли в общежитие, где он поселился, и там болтали часами. Нам всегда было интересно друг с другом.

Но «пивные пирушки» в парке – это я тоже очень любил. В них было для меня что-то совершенно новое, студенческое. Здесь еще больше, чем в институтских стенах, я чувствовал себя взрослым парнем в окружении взрослых парней.

* * *

В перерывах между лекциями то и дело можно было услышать слова, непонятные только самым зеленым новичкам: «Увидимся в Кирове». Это кто-то из преподавателей или

студентов договаривался о встрече после занятий. . .

Я очень веселился, прочитав много лет спустя у Булгакова в «Мастере и Маргарите», что писатели, разместившиеся в «Доме Грибоедова», говаривали запросто: «Я вчера два часа протолкался у Грибоедова». Точно такая же простота царила и в нашем институте. Интересно, что бы почувствовал прославленный партийный деятель Сергей Миронович Киров, если бы услышал эту странную, звучащую как пароль, фразу: «увидимся в Кирове», – и понял бы, почему парк, который носит его имя, так популярен среди студентов! Впрочем, может, он и сам любил вкусно поесть и выпить пивка?

Парк имени Кирова, один из многих зеленых островков среди городского моря, был совсем рядом с институтом, по другую сторону улицы Глинки. В Ташкенте все парки хороши, но наш казался нам самым красивым. Каких только деревьев не было в его аллеях! Дубы, клены, тополя, акации, чинары. . . Парк заложили в 32-м году, но чинары здесь были и вековые. Через пруды, заросшие водяными лилиями, перекинуты были выгнутые мостики с узорными перильцами. С весны до поздней осени переливались яркими красками клумбы. Аромат цветов разносился по всему парку, смешиваясь с запахами, не менее соблазнительными – шашлыков, самсы и других яств, которые изготавливались тут же. Именно эти запахи нас и манили в парк!

Как и любой восточный город, Ташкент славился своими шашлычными и пловешными под открытым небом. На лю-

бом базаре над гудящими толпами покупателей витал острый запах баранины, лука, кипящих в масле пирожков, плова, пельменей. Процветали разнообразные парковые забегаловки: кухни обычно помещались в маленьких домиках, а рядом под навесом – столики для посетителей. Уютно, прохладно... Одну из таких парковых «кормушек» с давних пор облюбовали студенты нашего факультета. Готовили здесь самсу, но ребята называли это заведение не иначе, как пивной, ведь ходили сюда ради пива. Его заказывали сразу ящиками. Ну уж пиво-то, конечно, закусывали самсой. А вкуснее самсы вряд ли что и бывает. Так мне и теперь кажется, хотя с тех пор я перепробовал сотни разных блюд.

Самса – это пирожки, начинённые мясом с луком и перцем. Чем жирнее мясо, тем они сочнее. Глиняная печь с выпуклыми стенками, в которой готовят и лепешки, и самсу, называется тандыр. Уж не знаю, в какой из восточных стран и в какой глубокой древности изобрели её, но уверен, что этот замечательный изобретатель любил вкусно поесть. Тандыры бывают разной формы, иногда они низкие, но тот, что был в нашей пивной, походил на бочку. Мне очень нравилось смотреть, как повар, согнувшись над печью и опираясь одной рукой на выпуклую стенку, закидывает внутрь сырую самсу. Он закидывал ее ловко и быстро, так, чтобы пирожки не на дно падали, а прилипали к раскаленной стенке. А потом каким-то особым, очень длинным деревянным черпаком вынимал готовые... Голова повара поверх колпака или тубе-

тейки была обвязана платком, но большая часть лица оставалась открытой. Красный, распаренный, морщась от дыма, он то и дело обтирался полотенчиком, привязанным к фартуку, но лицо тут же снова покрывалось потом...

* * *

Стоял ранний октябрь – возможно, это было мое первое участие в вольном студенческом бражничестве. Я наслаждался всем – пивом, самсой, компанией. Каждая шутка казалась мне верхом остроумия. А шутки сыпались со всех сторон, для того ведь и собрались, чтоб повеселиться, стряхнуть непривычное еще напряжение. Была к тому же суббота – значит, впереди еще целый свободный день. У себя в Чирчике я после занятий каждый вечер ездил домой.

Но сейчас не торопился. Успеется. Чуть-чуть охмелев, я вместе со всеми заливался хохотом, глядя, как Валера Круглов, наш староста, невысокий усатый крепыш, разглядывает на свет перевернутую бутылку с пивом. Со дна по всей бутылке расползлись мутные осадки, и Валера мрачно сообщает:

– Сразу видать: советское.

– Ты, Усы, не переживай! «Осадки – сладки» переиначивает поговорку баскетболист Серега Тельтевский и, выхватив у Валеры бутылку, открывает ее. Могучий фонтан пива окатывает и Валеру, и комсорга нашего, Кима, которого ро-

дители, на его беду, назвали диковинным именем – Эрудит, а друзья прозвали Ерундитом, и Сережку-боксера. Хохочут все, даже и Ерундит, у которого очки залеплены пивной пеной.

– Значит, так... Покупаем тебе очки, как у Элтона Джона, с дворниками! – щедро предлагает Саня Носов. Опять все закатываются. Элтон Джон – популярный английский рок-музыкант, звезда. Мы недавно прочитали о нем в каком-то журнале, где, между прочим, сообщалось, что Элтон на концертах все время меняет очки, у него их с собой пар тридцать. И джинсов, как кто-то из ребят предположил, наверно, не меньше в его гардеробе...

Между прочим, джинсы – одна из серьезных проблем нашей жизни. Они не просто модны. Джинсы – это признак того, что ты современный парень. Если их нет, ты чувствуешь себя каким-то... неполноценным, что ли. А настоящие джинсы, западные, стоят в Ташкенте не меньше ста пятидесяти рублей. Это, примерно, пятинедельная мамина зарплата. Стипендию – сорок рублей в месяц – начнут выплачивать только после первой сессии. И не всем, а десяти лучшим студентам в группе. А мы ведь не так оборотливы, как пузатый Толик Тамбовцев...

Кстати, теперь уже он, Тамбовщина, стал мишенью для шуток за нашим столиком. Кто-то спрашивает, сколько пуговиц сегодня отлетело у него с рубашки. Кто-то заявляет, что сам видел: пуговицы не просто отлетают, сначала они с

треском ломаются – с такой силой на них напирает Толиково пузо. А Тамбовщине хоть бы что! Он ухмыляется: «Вот доживете до моих лет...»

Заказали еще один ящик жигулевского пива. И еще самсы. Кутить так кутить!

Наконец я спохватываюсь: мы уже три часа просидели! Пора мне двигаться в Чирчик.

* * *

В Чирчик я ездил на автобусе, а до автовокзала добирался троллейбусом. Сегодня дорога казалась мне особенно приятной. Я стоял в конце салона, держась за перекладину и прислонясь горячим лбом к большому прохладному стеклу. Троллейбус раскачивался, меня чуть-чуть подбрасывало, пошатывало, мне казалось, что я плыву на корабле.

Я не был пьян, я был счастлив.

Глава 2. Признание в любви

Солнечный сентябрьский день подходил к концу, когда я добрался до местечка, о котором мечтал с утра. Гибкое листовое железо крыши чуть прогнулось под моей тяжестью и издало негромкий звук, будто крыша со мной поздоровалась: «Брум-м! Привет, вот и ты! Я соскучилась!» – «Привет! И я тоже!» – «Усаживайся поудобнее». Я чуть передвинулся. Крыша снова что-то дружески пробрумкала. От нее волна за волной исходило тепло, как от живого существа, и это тоже было приятно.

Сегодня я вернулся в Ташкент из Чирчика, где провел субботу. Теперь, став студентом, я надолго поселился в дедовском доме.

Возможно, с каждым так бывает: наступил в твоей жизни какой-то переломный момент – и все окружающее начинаешь видеть словно бы заново. Согласитесь – когда становишься студентом, то есть из мальчишки-школьника превращаешься во взрослого юношу, происходит именно такой перелом. Вероятно, я многое в эти дни стал воспринимать иначе, чем прежде. Вот и сейчас, сидя на крыше и поглядывая по сторонам, я вдруг особенно остро почувствовал, как мне здесь все дорого. Любил-то всегда, а осознал только теперь.

Старый дом с младенчества был мне родным, все здесь было моим, и целиком, и по отдельности – двор, комнаты, крыша. У крыши, пожалуй, имелись особые достоинства, в детстве я открывал их одно за другим. Во время сильных дождей, например, она устраивала водяное представление. Из окна дедовой спальни я глядел, как на другой стороне двора по крышам построек стремглав бежит вода. Стекая вдоль невысоких бортиков, соединявших листы железа, она попадала в широкие, похожие на хобот слона, железные желобки, не достигающие до низа стены – и, вырываясь из них толстыми жгутами, хлестала по цементу двора. У-ух, как хлестала! Просто дух захватывало!

Зимой крыша предлагала другое зрелище. Снег, растаяв, стекал в желобки, – но водяные жгуты будто замерзли на лету и превращались в сосульки, толстенные и длиннющие. Они переливались на солнце, соблазняя не меньше, чем мороженое. А становилось чуть теплее – с них звонко и мелодично капали капли, перекликаясь между собой.

Еще интереснее было наверху. Заберешься на крышу – и чувствуешь себя гораздо более ловким, более собранным, чем внизу. Почти гимнастом. А если в ясный день улечься на спину и смотреть вверх, небо превращается в перевернутую голубую чашу, глубокую-глубокую. Всматриваешься – и

постепенно тебя в эту чашу затягивает. То ли вверх летишь, то ли проваливаешься в бездонную голубизну.

Сегодня я еще сильнее, чем обычно, ощущал свою собранность и легкость. Тело стало воздушным, невесомым – вот-вот взлечу и начну парить над двором. Дышалось так легко и свободно, как бывает только осенью.

В этот предвечерний час старый двор, знакомый мне до каждой былинки, приобрел какой-то таинственный вид. Шпанки, яблони, виноградные лозы, кусты роз отбрасывали причудливые, изогнутые тени. Самой могучей была длинная тень урючины. Она пересекала двор и теперь, словно привидение с распростертыми руками, медленно поднималась, обнимая стену дома напротив меня. Эх, жаль, что пять минут назад, взбираясь на крышу по морщинистому стволу, я не догадался оглянуться и поглядеть, как выглядела тень урючины со мной на спине! Привидение поднималось, поднималось – и ослепительно белая штукатурка стены темнела, блекла на глазах...

* * *

Хлопнула дверь, дверь той самой пристройки возле урючины, где когда-то жили мы с родителями. Во двор выскочили два карапуза. Пристройку теперь сдавали, у жильцов было двое мальчишек, пятилетний Аркаша и трехлетний Гриша. «Ну, прямо мы с Юркой», – подумал я с какой-то слад-

кой грустью, чувствуя себя очень взрослым. Эти малыши и на самом деле как бы оживляли «картинки» из нашего с Юркой не такого уж далекого детства.

Аркашка, выбежав из дверей верхом на палке, продолжал скакать по двору, подгоняя своего коня лихими воплями и шлепками. Гришка не шумел и далеко от дверей не отошел. Толстенькая фигурка в распашонке и ситцевых штанишках остановилась возле урючины, побродила немного вокруг дерева, а потом, пыхтя и размахивая руками, потопала к бильярдному столу...

Чем Гришка особенно напоминал Юрку, так это неистощимым аппетитом и энергией в поисках еды. Какие лакомства созревают на урючине, Гришка догадался чуть ли не в тот же день, как его впервые выпустили погулять во двор. С тех пор, как семья дяди Миши переехала в другой дом, тетя Валя перестала присматривать за садом. Никто не следил и за урожаем, бабушка с ее «спундилезом», конечно же, не занималась этим. Летом, когда урючина начинала плодоносить, спелые плоды, падая с веток, устилали фруктовым ковром цемент вокруг ствола. Самые зрелые и сочные, шмякнувшись о цемент, разбивались, над ними кружились мошки и осы, по ним суетливо ползали всякие жучки и муравьи. С этого лета к их компании присоединился Гришка. На ос сердито махал ручонками, муравьев смахивал, если замечал, а чаще, я думаю, глотал вместе с абрикосами. Поедал он их в несметном количестве. Бабушка Лиза, конечно же, видела

это из своего окна, но ничуть не огорчалась. Урюка было так много, что как ни раздувался животик маленького обжоры, с таким изобилием он справиться не мог. Хватало и всем родственникам, уносившим урюк ведрами.

В августе урючина, наконец, отдавала последнее. Но догадливый Гришка уже давно заметил, куда девается то, что он не успел съесть. В саду, совсем недалеко от урючины, стоял бильярдный стол, покрытый железным листом. Здесь урюк под знойным азиатским солнцем превращался в вязкую, сладкую курагу. Гриша справедливо считал, что она ничуть не хуже. Правда, стол был высоковат, но имелась старая облезлая скамеечка, которую бабушка Лиза ставила себе под ноги, отдыхая во дворе. Не очень-то легко было подтащить ее к столу, взгромоздиться, ухватиться ручонками, чтобы не упасть, за загнутые края железного листа и, вставши на цыпочки, заглянуть наверх. Упорный и трудолюбивый Гриша все это проделывал. Иногда несколько раз подряд, потому что, цапая двумя руками курагу, трудно удержаться на скамеечке. Упав, он терпеливо взбирался снова. Пухлые щечки становились пунцовыми, губки сжимались, слышно было побряхтывание, потом чмоканье...

Сейчас, в сентябре, опустел уже и бильярдный стол. Вот этого-то Гриша никак не мог осознать. Каждый день ему казалось, что курага снова появилась на железном листе. И я со смехом, но и с долей сочувствия наблюдал с крыши знакомую сценку: Гришка тащит к бильярду скамеечку, влезает

ет, приподнимается на носочки... Слезает, как писал поэт, «с грустной думой на лице». Ну, нет так нет, придется еще чем-нибудь заняться...

Какое-то время я еще следил за тем, как Гришка, отправившись к курятнику, закидывает бабушкиным курам червяков через проволочную сетку. Потом раздалось отчаянное кудахтанье – ага, это он уже гоняется вместе с Аркашей за их собственной белой курицей, которая, в отличие от бабушкиных, вольно разгуливает по двору. Ее вольную жизнь мальчишки отравляли как могли.

Совсем недавно, сидя вот так же, как сегодня, на крыше, я наблюдал увлекательную, как блокбастер, картину: братья-разбойники гоняли курицу по двору до тех пор, пока она не угодила в яму для сточных вод. Лист железа, прикрывавший яму, кто-то сдвинул, а курица была явно не в том состоянии, чтобы заметить это, и вот... На ее куриное счастье, дождей давно не было, курица попала в грязь, а не в воду и только поэтому не стала утопленницей – ведь куры, как известно, тонут мгновенно, как камни... Но как же она орала!

Я только решил слезть с крыши, как вернулся с работы Рафик, отец малышей. Надо было видеть его лицо, когда он услышал вопли своей любимицы! Да, Рафик почему-то души не чаял в этой курице и уделял ей внимания, пожалуй, побольше, чем сыновьям. Кормил ее собственноручно, что-то приговаривая... Рафик, мужик мрачноватый и молчаливый, был парикмахером. Кто знает, может, ему просто не по-

везло, что не стал птичником? Может, работая на какой-нибудь куриной ферме, был бы повеселее?

Раскиснув от смеха, я глядел, как Рафик топчется вокруг ямы, а Аркашка, обхватив его ногу, вопит: «Она купается, не трогай ее!» Еще смешнее (мне, конечно, а не Рафику) стало, когда он, чуть ли не весь свесившись в яму, добирался до несчастной страдалицы. Подоспевшая на помощь жена, милостивая Роза, держала его за ноги, курица орала, будто ее режут...

* * *

На этот раз дело обошлось без ямы. И скоро я, отвлекшись от ребят и от двора, загляделся вдаль.

Привлекательность дедовой крыши еще и в том, что на ней ты чувствуешь себя, как на караульной сопке. Вроде тех холмов вокруг Чирчика, по которым мы, когда были мальчишками, лазали, разыскивая доты времен войны. Тебе отсюда видны дальние дали, а сам можешь спрятаться. За трубой, к примеру. Этими свойствами крыши мы с Юркой много раз пользовались, когда нужно было за кем-нибудь проследить или покараулить, не входит ли в ворота кто-то из взрослых, пока один из нас занят чем-то не очень позволенным... Ну, и для многого другого. Порой я с любопытством глядел, что происходит у кого-то из соседей или вообще от нечего делать разглядывал с крыши окрестности. Так

что знал их неплохо. Но сегодня, сейчас, я их увидел... Как бы сказать поточнее? Глазами первооткрывателя? Не совсем так, ведь я все узнавал по-прежнему. Но по силе интереса и даже восхищения – да, это было, как открытие.

Вечернее небо уже бледнело и где-то там, где открыт был горизонт, появилась молочная дымка. Эх, жаль, что отсюда, от нас, не виден Чаткальский хребет! Этот хребет – один из отрогов огромной горной системы Тянь-Шань. Нам еще в школе говорили, что длина ее с запада на восток – около 2500 километров. Она как бы объединяет Узбекистан и с Киргизией, и с Казахстаном, и даже с Китаем. Ее знаменитые высоты – пик Победы, превышающий 7 километров и Хан-Тэнгри, тоже почти семикилометровая вершина, известны во всем мире. Наш Чаткальский хребет – западная оконечность Тянь-Шаня. Здесь высоты пониже, но четыре с половиной километра – имеются и такие – тоже неплохо. И ледники, конечно, немалые. Есть и заповедник, где леса из арчи – это вид можжевельника – и грецкого ореха...

Говорят, что когда Ташкент еще не настолько разросся и не был так застроен, из любого места в городе можно было на востоке увидеть горы. А теперь лишь на улицах, которые пронизывают весь город по прямой, с запада на восток, удастся в ясный день увидеть голубовато-белые вершины, покрытые вечными снегами. Там, в ледниках Чаткальского хребта, берут свое начало реки. И Чирчик, бурный в горах Чирчик (он даже так и назывался в древние времена

– Парак, то есть «Стремящийся»)… Стремящийся – таким он и остается в предгорьях, среди ярких альпийских лугов, где летом пасется скот. Лишь вырвавшись на равнину, река успокаивается. Здесь, в долине Чирчика, находится Ташкентский оазис. То есть он и стал-то оазисом благодаря Чирчику. Река позволила создать мощную ирригационную систему с несколькими магистральными каналами и многими десятками распределительных веток. Бозсу (его именем названа вся система) и Анхор – в числе самых крупных магистральных каналов…

Нам повезло – ведь совсем неподалеку, в Казахстане и Туркмении, лежат безводные песчаные пустыни – Каракумы. А у нас – благодать. Ветвистая, как могучее дерево, система каналов, канальчиков, арыков орошает фруктовые сады и виноградники, хлопковые поля, посадки риса, кукурузы, конопли, табака. Да что тут ни посади – все растет! И почва хороша – серозем, илистый перегной, много веков наносившийся в эту долину при разливах рек. Тучная почва, изобилие воды – вот и оазис.

* * *

Да, нам повезло, подумал я, окидывая взглядом вечеряющий город. Но размышлял я при этом не о величине Тянь-Шаня, не об оазисах, полях и виноградниках – это, говоря по правде, сегодняшние мои мысли, – а радуясь тому, как

вокруг красиво.

Ташкент...

Со всех сторон окружали меня двухэтажные и одноэтажные домики, обрамленные зеленью садов. Море домиков! Металлические и шиферные крыши, яркими пятнами поблескивая на солнце, свиваясь в причудливые узоры, убежали вдаль, порой залетали мне в глаза ослепительные вспышки – лучи заката, преломившегося в оконном стекле.

Среди этого пестрого городского лабиринта я стал высматривать знакомые улицы. Ага, вот – Шедовая. Отсюда мне видны только зеленые макушки деревьев, но сколько же раз проходил я под ними! Ветки шатром смыкаются высоко над головой, ты идешь в густой тени. Лишь кое-где солнечные лучики, пробившись сквозь темную зелень листвы, золотистыми пятнышками падают на асфальт, скользят то по лицу, то по рукам, по одежде. Наступишь на солнечное пятно – оно, будто подпрыгнув, уже на носке твоей сандалеты! А когда на кого-нибудь из прохожих смотришь, кажется, что его озаряют вспышки маленького прожектора. Вспышки перемещаются, исчезают... Доля секунды – и сценка закончена...

Шедовая выходит на Педагогическую улицу, ту самую, где мой институт. Но с крыши, за шапками деревьев, Педагогическая мне не видна.

Ташкент... Какой же ты цветущий город! Почти все улицы похожи на аллеи. Куда ни шагнешь – сады, бульвары, пар-

ки. Взять хоть парк Кирова, куда ходим мы теперь всей командой выпить пивка после лекций. Пиво, конечно, приятный напиток, но не зря же мы пьем его в парке, а не в пивнушке какой-нибудь сидим. Вроде бы болтаешь, веселишься, по сторонам вовсе и не смотришь – а вечером закроешь, засыпая, глаза – и не пивную кружку видишь перед собой, а чинары, уходящие в небо. Замечательный парк. Но разве другие – хуже?

Тут я вспомнил, в каком прекрасном уголке побывал сегодня. Возвращался я из Чирчика, в дороге не успел дочитать «Затерянный мир» Конан Дойла, и, сойдя с трамвая на конечной остановке, решил: дочитаю-ка на бульваре Ленина, все равно домой идти через него.

Мы с Юркой еще пацанами этот бульвар полюбили и бегали сюда – благо, от дома близко – в Детский городок, где имелась и крепость, и велотрек, и прочие мальчишеские радости. На другие достоинства бульвара мы тогда не обращали внимания.

Небольшой, длиною примерно с километр, он тянулся от гостиницы «Ташкент» почти до Туркменского базара, по самой, можно сказать, шумной части города. Людные улицы, нагромождения домов, трамвайные и троллейбусные линии. Шум, грохот, брякают рельсы, клацают провода, надсадно гудят машины. Но шагнешь на бульвар, под защиту деревьев – и все звуки сразу смягчаются. А по обе стороны главной аллеи раскинулись небольшие сады. Они как бы представ-

ляют садовое искусство разных стран. Японский, французский, узбекский и русский – уж не знаю, почему сделан был именно такой выбор, но сады удивительно красивы, каждый на свой лад. В японском – и гроты, и каменные горки, и посадки карликовых растений. Во французском среди аккуратно подстриженных газонов бьют фонтаны. Русский навевает лирическую грусть своими плакучими ивами и березками...

Ну а я устроился в одном из уголков узбекского сада, в аллейке-винограднике. В этом зеленом туннельчике, созданном гибкими лозами, протягивающими к тебе свои широкие листья, и без Конан Дойла казалось, что попал в иное пространство, не имеющее никакого отношения к шумному городу. А тут еще в руках «Затерянный мир!»

* * *

– Эт-то что такое, а? Куда пошли-и? Сколько раз сказано – не выходить за ворота?

Миловидная, похожая, как мне казалось, на библейскую Рахиль, Роза, мать Аркаши и Гриши, вообще-то была хохотушкой, любила посмеяться. Но и ей далеко не всегда было весело. Еще бы: и хозяйство, и двое мальчишек, и работа – Роза дома шила брюки по заказам ателье. Вот и сейчас, сидя у окна за машинкой, она не упускала из виду своих озорников.

– Еще раз увижу, накажу! – приговаривала она, уводя ма-

лышей домой. – Ишь вы какие! Тебе, Аркашка, что велено? За братишкой следить. А ты?..

Голос ее, сопровождаемый Гришкиным ревом, стих за дверью. Я вздохнул: ну вот, и это как возвращение в детство. Сколько раз на нас с Юркой так орали то тетя Валя, то еще кто из родственников! Сколько раз нас ловили при попытке к бегству! Но иногда не успевали...

Кстати, вот и еще одно место – лучшее место в городе Ташкенте, как мы с Юркой тогда считали: набережная Анхора, бассейн...

* * *

Летний солнечный денек – мне десять лет, я уже школьник и на каникулах живу у деда в старом доме. Мы с Юркой удираем к Анхору, искупаться в бассейне... Тайком, разумеется. Кто бы нас одних отпустил? Приключение, понятное дело, окончилось трепкой, но насколько же сильнее было удовольствие, если я и сейчас о нем помнил! Тогда нас с братишкой радовало, конечно, купанье и только купанье. Я не то, что увидел – я физически почувствовал, как мы с Юркой, прямо в шортах, с визгом плюхаемся в воду... И все же вслед за этим перед глазами у меня появилась набережная Анхора, одного из главных каналов, орошающих Ташкент – тенистая набережная, пышно и разнообразно засаженная и могучими карагачами, и чинарами, и урючинами, и плаку-

чими ивами... Давненько я там не бывал, хоть и не далеко идти. А это и впрямь одно из лучших мест в Ташкенте. Даже и без бассейна. Надо будет съездить к Анхору, хотя бы с Ридваном. И Старую Крепость показать ему, и вообще... Он же совсем не знает, как красив Ташкент!

Театральная площадь, окруженная садами... Перед знаменитым театром Навои – большой фонтан, где вода бьет из мраморной коробочки хлопка. По вечерам вода озаряется огнями разных цветов: зеленый, синий, красный сменяют друг друга под звуки классической музыки. Ощущение такое, что цвет меняется в ритме мелодии, что вся эта цветомузыка рождена силой бьющих к небу струй.

Замечательные фонтаны и возле площади Ильича. Я слышал, что до середины шестидесятых годов ее называли Красной площадью... До чего же наше республиканское руководство стремилось подражать Москве! Соорудив на площади, вместо Мавзолея, огромную статую Ленина, узбекские вожди во время праздников, взгромоздившись на трибуны, приветствовали демонстрантов. И, конечно, чувствовали себя такими же благодетелями народа, как их московские хозяева...

Я тоже разок-другой побывал на демонстрации, поглазел и на монумент, и на трибуны... Но, на мой вкус, самое примечательное на площади – фонтаны. Их там два ряда с дорожкой между ними. В каждом ряду два крайних фонтана бьют навстречу друг другу, смыкаясь в вышине, а остальные

образуют каскад, поток, низвергающийся уступами. В широкий проход между фонтанами ты как бы ныряешь – над тобою водяная пыль, с двух сторон летят брызги. Какая прохлада, что за радость в жаркий день! Детвора визжит, хохочет...

Возле площади Ильича – прекрасный парк, вернее, старинный Городской сад, хотя теперь он, тоже в подражание московскому, называется Парком культуры и отдыха имени Горького. Не знаю, красив ли московский его тезка, но сомневаюсь, что растут там такие могучие карагачи и чинары, такие дубы, акации, тополя... В парке и выставки нередко бывают, и кинотеатры есть под открытым небом. Вот лучше этого, мне кажется, вообще ничего быть не может: вечерняя прохлада, перед глазами – экран, над головой – звезды, в руке – пломбир!

Ребятня помельче предпочитает парк Ленинского комсомола. Он самый большой в городе, здесь есть и ресторанчики, и шашлычные, и танцплощадки, и даже лодочная станция. Но мальчишек влечет сюда детская железная дорога. Уменьшенная в четыре раза – это по размерам путей и вагонов – она действует, как настоящая. Дети сами обслуживают ее. Для обучения юных железнодорожников имеются специальные курсы.

Так я сидел – и с любовью думал о Ташкенте. Конечно, моих впечатлений хватало для этого с избытком. Но говоря по правде, это не значит, что я хорошо знал Ташкент. Познавательные экскурсии, посещение музеев и тому подобное не входило в наш тогдашний культурный обиход. Ни ребенком, ни юношей не видел я мавзолеев Зайн-ад-дина-бобо и Абу Бакра Каффала, сохранившихся со времен средневековья или медресе Барак-Хана и Кукельдаш. О них, как и о многих других памятниках древности, услышал и прочитал я гораздо позже. Как и о том, например, что в некоторых музеях Ташкента (всего их в городе 22) хранятся уникальные религиозные рукописи и произведения искусства Восток, начиная с древнейших времен... Кстати, Музей прикладных искусств находился неподалеку от дедова дома, а я в нем так и не побывал...

Сейчас я сожалею об этом и понимаю, что многое невосполнимо. Не только потому, что живу я теперь в другой стране, в другой части света. Мне говорили, что теперь в Ташкенте очень запущены многие здания и парки – а только больших парков, с различными развлечениями и зрелищами для отдыхающих, было пятнадцать. Так что, приехав в Ташкент из далекого Нью-Йорка, я увижу, вероятно, совсем не тот город, каким помню его со времен юности.

Но в моей душе Ташкент остался прежним. Надеюсь, что он воспрянет, снова станет таким же прекрасным, как в тот день, когда, сидя на крыше, я любовался и старым своим двором, и городом. Можно, пожалуй, сказать, что это было признание в любви.

Вот я и решил повторить его на этих страницах.

Глава 3. Белое золото

Оглянись, незнакомый прохо-о-жий,
Мне твой взгляд неподкупный знако-о-ом...

Автобус заполнен звуками, кажется, что они вот-вот станут зримыми, весомыми, от них лопнут стекла, автобус разлетится на части. Голосам поющих вторит гитара – это Лёня Коган перебирает свою шестиструнку. Он неутомим, он может играть часами. А с той минуты, как Лёня берет в руки гитару, он – душа всей группы... Автобус покачивается, звенит гитара, мы поем песню за песней и едем, едем, едем... Куда? На хлопок, конечно, куда же еще! Мы, первокурсники, не успели даже серьезно втянуться в занятия, как наш институт был отправлен на хлопок...

* * *

Узбекистан славился хлопком. Его даже называли иногда в печати «хлопковой республикой». А хлопок величали не иначе, как «белым золотом». Вовсе не потому, что хлопок – это превосходные ткани, а еще и масло, незаменимое для кондитерских изделий. Вслух, конечно, говорилось именно об этом, и только об этом. Но, вероятно, лишь такие зеле-

ные лопухи, каким был я, верили, что именно ради рубашечек, пеленочек и прочих изделий, вытканых из хлопка, наша республика надрывается, выращивая «белое золото». На самом-то деле надрывались совсем по другой причине: хлопок – ценнейшее стратегическое сырье. Из него производится целлюлоза, то есть основа пороха. Ну, разве не «золото», особенно для такого сверхвооружённого государства, каким был Советский Союз? Впрочем, и в современной Америке чуть ли не девяносто процентов хлопка, выращиваемого в южных штатах, идет на целлюлозу, то есть используется, как сырье для военной промышленности...

Благодаря теплomu климату, хлопок растили по всему Узбекистану. В осенние месяцы не было, казалось, события, более важного для страны, чем то, как продвигается сбор хлопка. Области, районы, колхозы под жесточайшим надзором комитетов коммунистической партии обязаны были соревноваться друг с другом – кто больше хлопка соберет и быстрее закончит уборку. Каждый вечер по телевидению долго и торжественно сообщалось, каковы успехи. Звучала медленная узбекская мелодия, на экране стройными рядами шли и шли по бескрайним хлопковым полям уборочные комбайны и ползли строки сводки: «Ленинская область собрала... Фрунзенская область... Кашкадарьинская область...». Эти же слова одновременно повторял голос диктора.

Для чего нужен был такой ажиотаж? Я и тогда не пони-

мал, и до сих пор не понимаю. Может быть, для того, чтобы подстегивать людей, пробуждать «трудовой энтузиазм»? Или для того, чтобы начальству получать награды за успешное руководство? Ведь на самом деле все эти сводки, все эти многомиллионные цифры, вся эта показная гордость по поводу замечательных успехов – все было ложью! Каждый колхоз, каждый район и область в своих отчетах непомерно завышали количество собранного хлопка. Казалось бы, проверялось, записывалось все: и сколько собрано, и сколько сдано. Но способы обмана вырабатывались десятилетиями, их было множество, нередко для участия в них создавались целые мафии. Предположим, на заводе, перерабатывающем хлопок, списывают, как негодную, партию хлопка, присланную из другой области (или даже из другой республики). Он якобы попал под дождь во время перевозки. На самом же деле никто этого хлопка не посылал. Завод и отправители заранее обо всем договорились... Оформить такую махинацию совсем нетрудно, имея на железных дорогах «своих людей».

Уже после того как наша семья уехала из страны, на заре перестройки, когда кое о чем начали говорить в открытую, разразился грандиозный скандал, связанный с одним из хлопководческих колхозов. Это был колхоз-миллионер, имевший колоссальные доходы. Председателем его был Герой Социалистического Труда, народный депутат. Колхоз этот на самом деле давно уже стал рабовладельческой фермой председателя. Колхозников-рабов за малейшее непови-

новение бросали в подземную тюрьму, держали в цепях, морили голодом. Дело было таких масштабов, настолько запутанным и ужасным, что разбираться в нем приехали следователи из Москвы. Арестовать плантатора-рабовладельца удалось лишь с помощью войск: он отстроил себе крепость и продержался в ней несколько месяцев.

Это было одно из немногих дел, о котором говорили открыто. А сколько по всей стране было таких рабовладельцев, не получивших наказания?

Никто из нас не знал, конечно, что происходит в колхозах и совхозах. Нам твердили только одно: «Нужна всенародная помощь. На хлопок!». И каждую осень большая часть населения превращалась в сборщиков хлопка. «На хлопок» отправляли рабочих, служащих, поголовно всех студентов, школьников-старшекласников вместе с учителями.

* * *

Ранним утром – было около половины восьмого – выскочил я из троллейбуса возле института – и ахнул. Такое увидишь нечасто! Вся площадь перед нашим институтом, даже и широкая мраморная лестница, ведущая в здание, была заполнена толпой студентов – пестрой, шумной, гомонящей. У кого – рюкзак за спиной, у кого – чемоданчик рядом или тючок. Словом, то ли рынок, то ли вокзал. Все в рабочей одежде, то есть в такой, что поплоче, даже модницы-девчон-

ки повязали косынки. Шумная толпа перемещалась, колыхалась, кипела – и только одна фигура, стоящая на зеленом газоне в самом центре площади, была молчалива и неподвижна. Бронзовый Михаил Фрунзе, знаменитый чапаевский комиссар, гордо восседал на бронзовом коне и оттуда, с высоты, с гранитного пьедестала, зорко всматривался вдаль. Казалось, он ожидает, когда же мы, наконец, соберемся, чтобы, сорвавшись с пьедестала, возглавить наш славный поход на хлопок.

Впрочем, возглавить ему пришлось бы колонну «Икарусов». Десятки ожидавших нас автобусов стояли вдоль обочины тротуара возле входа в институт. Рассаживались мы – конечно, по группам – с шумом, гамом, хохотом. Все были возбуждены. Уезжали ведь надолго: отправляли нас – по слухам, точно этого никто не знал – не меньше чем на месяц. Год 1977 был юбилейным, уже через несколько дней всей стране предстояло отпраздновать шестидесятилетие великой октябрьской революции. Из всех показух, которыми славился Советский Союз, эти юбилеи были самыми громогласными. В честь юбилея год был объявлен годом ударного труда (по-являю: «ударного» – значит, изо всех сил, не считаясь со временем и затратами, лишь бы сделать побольше).

Именно ради торжественности в этот день, первого ноября, «на хлопок» одновременно выезжал весь город – институты, школы, предприятия. И выезд нам устроили достаточно пышный. Когда, обогнув парк Кирова, наша колонна вы-

ехала на Шота Руставели, одну из главных магистралей Ташкента, нам тут же дали «зеленую улицу». На перекрестках стояли милиционеры – в одной руке жезл, в другой, возле рта – свисток. Машины и пешеходы, пересекавшие улицу, терпеливо дожидались, когда же мы, наконец, проедем.

Пока не выехали из города, мы пели, болтали, хохотали, глазели в окна.

Ташкент готовился к празднику. К лозунгам и призывам, которые постоянно, для нашего воспитания и поучения, висели на улицах, к обычным «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить», «Партия – наш рулевой» и прочему добавились бодрые призывы: «Достоинно встретим...», «Шестьдесят лет от победы к победе...» и тому подобное. Сколько же их было – на стенах зданий, поперек улиц, на крышах! Но разнообразием они не отличались и были так привычны, что по одной-двум первым буквам угадывался весь текст. Мы знали все это наизусть, как верующие знают молитвы. Смешно – против любой из мировых религий нас все время предостерегали, а эту, под названием «коммунизм», навязывали взамен. И все же, чем больше мы выросли, тем меньше верили. И тем больше смеялись. А смех – это ведь уже сопротивление. Носов, Цой, Коган пересказывали услышанные где-то анекдоты и переиначенные лозунги: «Партия, верни награбленное», «Партия, дай порулить!». Мы хохотали – и сами пытались придумать что-нибудь остроумное. Но чаще, чем остроумное, получалось похабное...

Но вот Ташкент позади. Теперь по обеим сторонам бетонки, насколько хватало взора, поля и сады. Сады плодовые – яблони, персиковые деревья, виноградники – лозы на бетонных подпорках, поля, которые летом были засажены подсолнухом, кукурузой, капустой. И хлопок, хлопок, хлопок. Очень много хлопка! Каждый из нас десятки, если не сотни раз видел хлопковые поля. Но сегодня мы смотрели на них с особым интересом: нам предстояло работать на таких же.

По бетонке вся институтская колонна «Икарусов» ехала часа три, а потом два автобуса – наш и еще один – свернули на ухабистую проселочную дорогу и затряслись по ней в клубах желтой пыли. Сразу стало как-то скучновато – праздник окончился.

Фыркнул и заглох мотор. Приехали... Мы с шумом спрыгивали на землю, разминали затекшие ноги, оглядывались с любопытством вокруг.

Подвезли нас к одноэтажному глинобитному зданию. Длинное, с островерхой крышей, оно похоже было на сарай. Других домов вокруг не было, только поля, рядочки тополей по обочинам разделявших их дорог и редкие зеленые островочки – рощицы.

Нагруженные рюкзаками и чемоданчиками, вваливаемся в свое новое жилище. Какое же оно неуютное и убогое! Вместо пола – утоптанная, плохо выровненная, бугристая глина. Вдоль стен – длинные нары в два яруса. К ним приставлены лесенки, чтоб взбираться наверх. Весь барак разглядеть

трудно, потому что вдоль и поперек него висят матерчатые занавески – что-то вроде стен, образующих «купе». В середине, на свободном пространстве, большая металлическая печь.

– Устраивайтесь! Парни – наверху, девочки – внизу... Через час – на поле, – объявил Николай, наш преподаватель физкультуры. – Побыстрой, побыстрой! Не копайтесь.

Перебрасываясь шутками с девчонками, которые копошились внизу, пугая их, что ночью кто-нибудь из нас непременно свалится на них, а то и вместе с нарами, мы разулись, залезли наверх и стали «устраиваться». Это было не сложно. Рюкзак – изголовье. Спальный мешок, свернутый рулоном, пока служит стулом, а ночью превратится в одеяло. В стенку над изголовьем вбита, оказывается, пара гвоздей. Замечательно! Чем не гардероб? Просто шикарная квартира! И поговорить есть с кем: слева от меня – Эрудит, справа – Лёнька Школьник. Словом, все совсем не так уж плохо, как показалось, когда вошли в барак. Здесь хотя бы нормальные окна и нормальные двери, подумал я, вспоминая нашу предыдущую, первую поездку.

Да – мы, первокурсники, этой осенью уже успели побывать в колхозе. Еще до начала занятий, как только укомплектовали группы, мы на неделю ездили собирать яблоки. Поселили нас в развалюхе без дверей и без оконных стекол, даже косяки и рамы отсутствовали. Правда, тогда, в августе, ночи были еще совсем теплые. Да и вообще сначала нам бы-

ло не до комфорта. Дело в том, что как только мы принялись собирать яблоки, парни из кишлака начали приставать к нашим девочкам. Приставали грубо, нахально. Пришлось попросить их «слинять». Дошло почти до кулаков, но парни все же ушли, пригрозив: «знаем, где живете. Ночью ждите».

Наступила ночь, мы стали ждать... Дело осложнялось тем, что девчат поселили в другом доме, к счастью – с дверями и с окнами, метрах в двухстах от нашего. Пришлось разделиться. Первыми, прихватив ножи, ушли охранять девочек Виталик и Ридван. Мы обещали сменить их через три часа и занялись постройкой баррикад. Забаррикадировать удалось только проём двери, поставив в него стоймя кровати ушедших, а окна заслонять было нечем. Остальные кровати сдвинули, чтобы держаться вместе. Вооружились как могли. У кого был нож, кто набрал булыжников или острых осколков стекла. Я разыскал кусок металлической трубы. Решили дежурить. Первым был Сашка Носов, он то прохаживался, то сидел, покуривая, на полу между окон, не выпуская из рук увесистую дубинку с длинным гвоздем, вбитым в ее толстую часть. Ведь не ждать же нападения с пустыми руками! Мы не раз слышали о том, как жестоко колхозные парни расправляются с городскими ребятами. Они запросто могли подкинуть нам «коктейль» – бутылку с горючим. Случалось, говорили, и такое!

Неприятнь была давняя, взаимная. Городские называли сельских ребят дикарями, а они и вправду не блистали ни

воспитанием, ни культурой... Так и откуда бы? Смеяться над этим было, в общем-то, не очень хорошо... Сельские же, в свою очередь, презирали городских пижонов и белоручек, злились, что их считают «низшей кастой», завидовали городскому комфорту...

Не все, конечно, были такими, я это понимал. По мне, так добрее и приятнее Ридвана, парня из села, в нашей группе никого не было... Кстати, как он там сейчас, защитник девушек? Тоже небось волнуется, готовится к бою...

Тут с улицы донесся какой-то шорох. Все мы примолкли, притаились, вслушиваясь до боли в ушах, вглядываясь в зияющие чернотой проемы окон. Ночь была безлунная, темная, вокруг ни одного фонаря, лишь вдалеке тускло светилась лампочка над крыльцом домика девчат... Напряжение росло. Но вместе с ним росла и усталость. Мои глаза стали слипаться, я не заметил, как уснул.

Парни так и не пришли, а потом мы даже подружились с ними. Наша первая поездка закончилась благополучно.

Какой будет эта?

Наведя порядок на своих нарах, мы вышли из барака – всего нас было человек шестьдесят студентов и пять преподавателей – и выслушали короткий инструктаж: подъем в шесть, работаем с восьми до пяти, потом – свободное время. Неплохо, думал я, но как это время проводить? Развлечений особых не предвидится. Хорошо если не будет стычек с местными парнями. Здесь мы хоть по ночам в безопасности:

двери запираются, в соседней комнате – преподаватели... У Николая вон какие бицепсы! Наш физкультурник ведь настоящий спортсмен, боксер.

Нам выдали куртки – черные, матерчатые, набитые ватой, они так и назывались – ватниками (было время, когда чуть ли не полстраны, особенно за пределами больших городов, ходило в этих ватниках) – и потопали мы на поле...

Этот первый рабочий день после утомительной поездки казался особенно тяжелым и никаких впечатлений у меня не оставил. Помню только, с каким наслаждением завалился я вечером на свои нары.

Глава 4. «В позицию!»

– Па-адъём!

Команду к побудке давал Турсун Мухамедович, преподаватель физики. Голос у него был зычный, ничего не скажешь. Вслед за командой раздалось что-то вроде барабанной дробы: вместо горна для побудки решено было использовать дойру. Я спал так крепко, что от этих звуков действительно чуть не свалился с нар. А сосед мой, Лёнька Школьник, подскочив, стукнулся головой о потолок и аж взвыл от боли.

– Только без жертв, пожалуйста, оплакивать не будем! – мрачно пошутил наш староста Круглов, отдергивая цветастую занавеску перед нарами. – Да будет свет!

Чего в нашем бараке хватало, так это света. Электрического. С потолка свисало столько лампочек на белых проводах, будто в бараке собирались то ли свадьбу играть, то ли снимать кино.

Умывались мы на улице. Но это было даже приятно – утренняя свежесть, прекрасный воздух, простор – бескрайние поля, птички поют... Лирическое настроение слегка испортилось, когда пришлось посетить одно местечко неподалеку от барака, за кустарником. Это был невысокий деревянный настил с круглыми дырками. Почти над каждой уже сидели на корточках, спустив брюки, наши парни. «Удобства» для девочек были по другую сторону барака. Но и для пар-

ней дырок явно не хватало, кое-кто уселся на корточках по соседству, вдоль кустиков. Да, тут уже не приходилось восхищаться свежим загородным воздухом!

На поле идти было недалеко, минут пятнадцать. На краю нашего участка стоял пустой херман. Так называют в Узбекистане ёмкости, в которые сбрасывают собранный хлопок. Это может быть лёгонький сарайчик или высокий деревянный ящик, или просто большой кусок брезента, расстеленный на земле. Для нас был поставлен прицеп с высокими решётчатыми бортами.

Наше поле... Как бы его описать? Вероятно, оно было очень красиво перед уборкой, когда хлопок созревал. Длинными рядами уходили вдаль невысокие, ветвистые кусты хлопчатника. И на всех кустах все ветки снизу доверху были покрыты коробочками с созревшим хлопком. Каждая коробочка походила на цветок: раскрывались, как четыре лепестка, четыре ее темных дольки, и из них, сияя белизной, выглядывал пушистый хлопок... Красиво! Не зря же хлопок так часто изображают на узбекских орнаментах, на посуде, даже на картинах. Но как печально выглядит поле после того, как пройдет по нему хлопкоуборочный комбайн! Хлопчатник поломан, на искореженных веточках висят – коробочки не коробочки, а их остатки, отдельные дольки, из которых торчат белые клочки. Иногда белые неровные нити свисают, как сопля, по всему кусту, до самой земли.

Вот такое поле мы и увидели. Серое в белую крапинку...

Комбайн уже прошелся по нему, нам предстояло убирать остатки.

«Голубые корабли» – торжественно именовались комбайны в газетах и телевизионных передачах. На самом же деле... Уж какие там «голубые корабли!» Широкие, похожие на голодных чудовищ с распахнутой пастью, они медленно двигались по полю, подминая под себя несколько рядов хлопчатника. Пасть заглатывает ветки, и там, в недрах машины, с них срываются коробочки. Они непрерывным потоком высыпаются из трубы, торчащей из комбайна, в грузовик, ползущий рядом. Коробочки изломаны, нежный хлопок смешан с их темными осколками, листьями, веточками. Путешествуя по железным недрам машины, он запачкался, потерял свою белизну.

После уборки хлопок-сырец попадал в хлопкоочистительные машины, они отделяли хлопковое волокно от остатков коробочек, хлопкового пуха, семян. Впрочем, слышал я, что хлопок, убраный комбайнами, даже и очищенный, оставался второсортным. А что можно сказать о качестве уборки, если чуть ли не все население Узбекистана исправляло огрехи «голубых кораблей», убирало после них хлопок второй раз! Страдало производство, ухудшалось образование – никого это не волновало.

Кстати, эта громоздкая техника довольно часто ломалась, может, и потому, что водители сплошь да рядом были плохие. А уж чинить и вовсе не умели, да и деталей для почин-

ки постоянно не хватало. Во многих колхозах искалеченные «голубые корабли» так и ржавели годами посреди поля.

Немудрено, что в некоторых хозяйствах, где были толковые руководители, предпочитали убирать хлопок по старинке, вручную. Такая хлопковая страда была долгожданным временем для колхозников: за уборку вручную хорошо платили. Узбекские семьи, чаще всего многодетные, обычно выходили на поле всем домом, от мала до велика. Они быстро и сноровисто вынимали хлопок из коробочек, не срывая их с кустов. И всем от этого была только польза. Колхозники неплохо подрабатывали, хлопок получался высококачественный, не надо было посылать на поля горожан для второй уборки. Но таких колхозов было мало. Почему? Не знаю, я никогда не был специалистом по экономике. Могу только сказать, что в Советском Союзе она всегда была убыточной и эта убыточность росла год от года...

* * *

У ожидающего нас пустого хермана грудой лежали белые фартуки. Мы подвязали их верхним концом на талии, а нижним – на шее так, чтобы получился большой мешок.

– Ну, в позицию, братва! – докуривая сигарету, командовал наш староста Круглов. – Эй, Длинный, гляди, не сломайся, – добавил он, смеясь.

Что правда, то правда: длинному Тельтевскому собирать

хлопок будет труднее всех. Но кому из нас легко?

...Иду по канавке между двумя рядами хлопчатника (канавки эти сделаны для летнего полива). Хлопок я должен собирать с обоих рядов. Верхушки кустов – пониже моего пояса. Руки непрерывно работают: левая притягивает поближе веточку с коробочкой хлопка, правая кладет в мешок белый ватный комочек, вытянутый из предыдущей коробочки, потом кидается за новой добычей. Вытягивать хлопок нетрудно. Но вот поза, «позиция»... Мало того, что иду, непрерывно наклоняясь – куст надо обобрать сверху донизу, к тому же все время приходится поворачиваться то влево, то вправо. Спина начала ныть довольно скоро, через час уже кажется, что поясница просто отнимается. Я то и дело выпрямляюсь, потягиваюсь... Какое, оказывается, блаженство – ходить прямо! Но долго не постоишь: за день надо собрать пятьдесят килограммов хлопка. Пятьдесят! Эти чертовы ватные комочки совершенно невесомы. Кладешь, кладешь их в мешок – он вон как уже раздулся, а весу будто и вовсе не прибавляется.

Я высыпаю в канавку, чтобы не тащить лишнего, то, что успел собрать, и снова наклоняюсь к кусту. Так резко, что носом задеваю за клочок хлопка. Щекотно, хочется чихнуть, но, потеряв нос, я удерживаюсь. Ох, неужели опять? – думаю я. Только бы не это!



«Это» случилось не так давно, во время той же, богатой на происшествия, поездки на яблоки. Я вошел в сад, полный приятных ожиданий. Сейчас будем лазать по деревьям... Конечно же, я поражу и девчат, и парней своей ловкостью. Еще бы – я все детство, все свои летние каникулы, провел в саду деда Ёсхаима! Вряд ли есть у кого такой богатый опыт. И яблок, естественно, я успею насобирать больше, чем другие. Норма – пять ящичков до обеда... Пустяки! Мне и десять – нипочем!

В таком прекрасном настроении я полез с ведром на самую верхушку самой высокой яблони. Так было приятно срывать с веток твердые, прохладные яблоки и кидать их в ведро! Оно уже почти наполнилось, когда я вдруг чихнул. Потом – еще раз. Тут же – в третий... В четвертый... И пошло!

Поначалу со всех ближайших ко мне яблонь доносилось веселое «Будь здоров!». Через несколько минут на мои громкие «а-ап-чхи-и!» отвечали уже только смехом и остротами. Нос воспалился, из него текло. Усевшись на ветке, я основательно высморкался. Не помогло. Не успел я дотянуться до следующего яблока, как снова начал чихать. Отчаянно, неудержимо... Тут я, наконец, сообразил: это аллергия. Вот беда какая – у меня аллергия на яблоки! Ни в дедушкином

саду, ни в Чирчике не было у меня ничего похожего на аллергию, к тому же еще и на фрукты. Только и делали мы с Юркой, что лазали по деревьям – правда, не по яблоням, это строго запрещалось, с них мы яблоки просто сбивали. Но ведь, сбив, подбирали и ели, сколько хотели. А здесь – на тебе!

Почему-то мне было ужасно досадно и даже стыдно. Думал, что буду самым спортивным, а оказался чем-то вроде клоуна. Я начал как-то глупо суетиться: сначала переменил дерево, потом, подобрав с земли бельевую прищепку, зажал себе ноздри. Ни то ни другое нисколько не помогло. Я сдался и, чувствуя себя слабым, больным и несчастным, уселся отдохнуть под яблоней. Под той, под самой высокой...

В тот день дали мне другую работу: подносить ящики к грузовику, который приезжал за яблоками. Через пару дней полегчало: нос перестал изображать из себя водопроводный кран, глаза не слезились. Аллергия оказалась временной. Но теперь я уже залезал на дерево с некоторой опаской и не мечтал стать героем дня.

* * *

Вспомнив эту грустную историю, я даже приостановился на минуту. Еще и еще потянул носом, на всякий случай понюхал веточку хлопчатника... Нет, на этот раз все было в порядке. Ну, вперед!

Когда приноровишься, работать становится легче. Прошел еще час, за ним другой – и я вдруг почувствовал: руки мои уже запомнили, как надо двигаться, пальцы перестали быть неловкими, они вытягиваются и извиваются, вроде щупальцев осьминога, чтобы ухватить какой-нибудь повисший между веточками клочок хлопка. Глаза научились охватывать весь куст, они руководят руками, командуют: «направо... налево... вниз... вглубь...». И все это происходит как бы само собой, я в этом вроде бы и не участвую, я даже расслабился и не напрягаюсь, как в начале. «Второе дыхание» – подумал я с гордостью. Но к полудню усталость снова стала накапливаться. Да и пора было тащить к херману то, что я успел насобирать до обеда. Перед тем, как сложить в мешок хлопок, кучками разложенный по канавке, я присел передохнуть. Осеннее солнце было в зените, и здесь, на открытом поле, припекало почти как летом. Я снял с головы платок – почти все мы повязали какие-нибудь косынки, чтоб макушку не напекло, – вытер вспотевшее лицо, оглядел расцарапанные руки. Это первая половина первого дня – подумал я печально. Что же будет через неделю?

Отсюда, со стороны, я видел все наше поле. По нему медленно двигались согнутые фигурки, кто ближе, кто подальше, кто совсем далеко впереди. Можно было не сомневаться: ушли вперед только узбекские ребята! Они с детства приучены к полевым работам, для них дневная норма – пятьдесят килограммов – ручей перейти, как в наших краях говорится.

– Во вкалывают! – Рядом со мной плюхнулся Лёнька Школьник. Достал из кармана флягу с водой, отхлебнул, протянул мне. – Погляди, сколько тащит... Разве за такой угнаться?

Мимо нас шла к херману девушка-узбечка в длинном и ярком национальном платье. На нее, действительно, стоило поглядеть. Таких в те годы снимали в кинохрониках и показывали по телевизору. На голове она несла большой тюк хлопка, несла удивительно легко, с какой-то особой грацией. Сколько же этот тюк весил? Как смогла она собрать столько хлопка всего за три часа? Тут я и вспомнил пословицу: «как ручей перейти»...

* * *

К пяти вечера все мы снова потащили свои тюки к херману. Один из его бортов был откинут, на платформе стоял кто-то из студентов и вытряхивал мешки. А рядом, у весов, где столпилось много народа, физкультурник Николай Артёмович, широко расставив ноги, записывал в тетрадку сколько «весят» наши успехи. Мои были не слишком-то весомы: я набрал за день около сорока килограммов. Лёнька чуть побольше. Зато студентка по имени Зухра (не с нашего факультета) только сейчас притащила тридцать три, а за день собрала шестьдесят восемь...

– Отстаем, физики, – пробурчал Николай. – Подтягивать-

ся надо!

Мы с Лёнькой подошли к херману, как раз когда вытряхивали мешок Длинного. Лёнька толкнул меня локтем:

– Слышал?

Да, и я услышал какой-то странный стук, когда содержимое мешка посыпалось в херман. Мягкий хлопок таких звуков не издает.

– Я видел, видел, он с дороги камни подбирал, – захихикал Лёнька. – Это мы с тобой дураки. Ну, уж завтра... Просят физфак подтянуться – мы и подтянемся!

Глава 5. Рабы и плантаторы

Я сидел на холмике неподалеку от барака и глядел, как покачиваются под ветром тополя. Их макушки склонялись то плавно, то порывисто, потом медленно выпрямлялись. Все вместе... Вот пробегает по ним серебристо-зеленая волна. Вот они застыли... Снова дрогнули... А что будет сейчас?

Ведь это же танец, думал я. Деревья танцуют... Может, они вовсе не деревья, а какие-то таинственные зеленые существа. Такие большие, такие гибкие, стройные... И, наверно, очень добрые. Они напоминают балерин, только их танец – волшебный. И оркестр волшебный. Музыка – шелест листьев, дирижер – ветер...

Я глядел и глядел на тополя, голова моя покруживалась, и мне было хорошо. Отошла усталость, и даже голод вроде бы не так терзал.

Вчера после приезда мы перекусили кто чем смог – то есть тем, что прихватили из дома. Колхоз и не подумал нас накормить. Сегодня утром мы получили скудный завтрак. Не помню, что мы пожевали наспех днем, во время перерыва, вероятно, это были остатки домашних бутербродов, но голода, конечно, не утолили. А к вечеру он стал невыносимым.

«Ну уж сейчас поем!» – думал я, возвращаясь с поля и жадно принюхиваясь к запахам, доносящимся от барака. У дальнего его конца было что-то вроде полевой кухни: навес,

под которым на низкой кирпичной печке стояли два больших котла. Пар поднимался над котлами, извещая нас, что сейчас мы, наконец, будем... Обедать? Ужинать? Эх, какая разница! Пахло едой! И от этого запаха кружилась голова.

Кое-как умывшись, я бросился к нарам за мисками и ложкой (посуду мы привезли с собой) и побежал к кухне, где уже толпились более расторопные едоки. Над котлами возвышался повар, парень с узбекского потока по имени Мирза. Распаренный, сосредоточенный, он хватал то половник, то шумовку и щедрой рукой наливал в протянутые миски суп, накладывал макароны. Кто-то из узбекских ребят, тут же попробовав суп, с довольной улыбкой что-то крикнул Мирзе и одобрительно помотал головой. Что было сказано, я не понял: к стыду своему, я так и не научился говорить по-узбекски (кстати, как и большинство русскоговорящей молодежи). Но понятно было, что парень похвалил повара.

Столовой возле барака не было, ели мы на своих нарах. Только я на них взобрался, как Тельтевский протянул мне стопочку: «Пьем! За нас, за стахановцев!». Он и Круглов позаботились о спиртном еще в Ташкенте. «Стахановская» стопочка обожгла мой голодный пищевод, я быстро отхлебнул супца из миски и... Меня так и передёрнуло. Да это просто помой! Я услышал, как Лёнька Школьник громко сплюнул – прямо в свою миску. Поглядел на Эрудита – он совсем прищурил свои узкие корейские глаза, его губы от отвращения растянулись дугой краями вниз. Отставив суп, я взялся

за макароны, но и они были не лучше: слипшийся, подгорелый комок...

– Вы что, на курорте? – Ехидно спросил Нурлан.

– Армейской похлебки они не пробовали, – хохотнул мой тезка Круглов. – Неженки! Ешьте, глотайте, другого не ждите! – И он поднял над головой свои пустые миски...

Оба они, и Валера, и Нурлан, как видно, к таким похлебкам привыкли: Валера служил в армии, а Нурлан – во флоте. Я с грустью подумал, что за один-то день армейский опыт мне, пожалуй, не приобрести. Может, я и вправду привереда? Вон ведь и узбекские ребята хвалили ужин и ели за обе щеки эту ужасную похлебку, эти подгоревшие, липкие обрубки...

Напившись чаю с лепешкой, я вышел из барака и уселся на холмике, где меня немножко утешили танцующие тополя. Да, они были хороши, но есть хотелось все сильнее, до тошноты. К тому же солнце вскоре зашло, начало темнеть и ветер стал неприятным, холодным. Я поплелся к бараку, жалея, что выкинул все из мисок и почти у дверей столкнулся с Носовым и Лёнью Школьником.

– Постой-ка, – остановил меня Лёнька. – Знаешь, чего наши командиры лопали на ужин?

«Командиры», то есть преподаватели, питались в своей комнате, за перегородкой. Что они ели, я понятия не имел.

– Плов! Свежий плов! – злобно сообщил Лёнька. – Во гады, а? Похлебку пробовал? Мясом и не пахло!

– Кто не работает, тот ест, – усмехнулся Сашка, выпуская изо рта облако дыма: он, как всегда, курил. – Короче говоря, мясо имеется... Догадываешься, где? – и Сашка кивнул головой в сторону сарайчика, стоявшего вблизи барака. Догадаться было нетрудно. Конечно же, сарайчик был кладовой, продовольственным складом. Понял я и еще кое-что: мои друзья ведут этот разговор не зря, некий план уже возник в их головах.

Сашка тут же подтвердил это.

– Короче говоря, ты с нами или как? – спросил он, затаптывая окурки.

Я пожал плечами: неужели, мол, не с вами?

Еще немного пошептавшись, мы вошли в барак.

* * *

– «За-а-ачем поля хлопковые сня-а-т-ся?»

Разве ма-ало нам резерва-а-аций...»

Развалившись на нарах, мы подпеваем Лёньке Когану, которой на гитаре исполняет песню американских черных рабов, разумеется – в русском переводе. Не знаю уж, где он ее услышал, но нам сейчас эта песня – ну, просто в самый раз! Будто про нас сложена. Ведь и у нас перед глазами до сих пор, даже наяву, мелькают серо-белые кусты, и наши спины ноют, как у черных рабов, у которых...

«На все-ех одна-а-а беда-а,
Бьет кнутом по спине-е страда-а-а...».

А еще к тому же жрать охота. Ну, разве мы не рабы? Разве проклятое колхозное начальство лучше плантаторов? Нам до того себя жалко, что, кажется, на спинах у нас вот-вот появятся рубцы от ударов кнута...

– Эй, Валер, где твоя посуда? – Сергей Морозов выливает в мою стопку все, что осталось в бутылке. – Последняя! – Со вздохом говорит он. – Ну, давай...

Чокаемся, выпиваем.

С нашей верхотуры виден почти весь барак. Он залит ослепительным светом. Он весь в движении – от нар к на-рам перебегают парни и девчонки, кто взбирается наверх, кто спрыгивает. Говор, веселые выкрики, узбекская и русская речь вперемешку, смех. Веселятся и в комнате «командиров» – хоть и закрыта к ним дверь, но у нашего физрука такой мощный голос, что хохот его слышит весь барак.

– Во где бухаловка-то! – с завистью говорит Круглов, поднося к глазам пустую бутылку «Столичной»: а вдруг хоть что-то осталось. Увы – в бутылке ни капли... – Ну, ладно, приступим. – Вздыхает Круглов. – Давай, Длинный, замешивай!

Пока я размышляю, что бы это могло означать, Тельтевский достает из-под подушки зубную пасту и – р-раз! – привычным движением выдавливает тюбик в кружку. Вода тоже

оказалась под рукой.

Ага! Вот оно что! Я уже наслышан, что зубная паста с водичкой – совсем не плохой, по мнению заядлых выпивох, коктейльчик, если, конечно, нет чего покрепче.

Кружка пошла по рукам, но выпили только Тельтевский и Круглов. Даже Серега Павлов поморщился и отстранил кружку:

– Нет уж, сами пейте эту микстуру!

Боксер выпить любил, но придерживался определенных рамок: заменителей алкоголя не употреблял...

* * *

Пока наша компания, выпивая, мрачно размышляла о своей рабской доле, в бараке началась вечеринка: ребята-узбеки решили отметить первый рабочий день. Загремела музыка. Музыканты стояли рядом у стены в дальнем конце барака. Их было трое – один с дойрой, другой с рубабом, третий – еще с чем-то, но грохотали они так, будто в оркестре было человек десять. Особенно старался дойрист. Улыбаясь до ушей, он бешено барабанил по дойре, она прямо-таки плясала в его руках. Моталась взад-вперед, будто дирижируя концертом, и голова дойриста, аж тубетейка съехала набок. Парень работал с наслаждением: еще бы, ведь утром, на побудке, он не мог так разыгаться...

Почти все перебрались поближе к музыкантам, нижние

нары на той половине барака были забиты до отказа, желающие потанцевать образовали полукруг около оркестра.

«Неужели кто-то еще может танцевать после этого чертова хлопка?» – подумал я. Мне и с нар-то своих слезать было лень. А «на сцену» уже вышла первая танцорка. Это была та самая девушка, которую мы со Школьником видели на поле. Она и тогда, с тяжелым тюком хлопка, показалась мне грациозной, но сейчас! Как плавно и неторопливо шла она по кругу, то пританцовывая, то кружась, как она пощелкивала пальцами в такт шажкам, как поднимались ее руки, как склонялась головка! «Какой там хлопок! – думал я, с восторгом глядя на нее. – Может, он мне приснился? Неужели эту красотку из «Тысячи и одной ночи» – вон какие на ней шаровары, какое шелковое платье, как красиво заплетены эти бесчисленные черные косички – я видел сегодня с тюком на голове? Не может быть!»

– Узнаешь? – толкнул меня кулаком в спину Школьник. – Во дает!

А танцующих становилось все больше. Может, они танцевали и не так красиво, как Зульфия, но все плясали от души и никто не выглядел усталым.

Поначалу танцевали только узбекские студенты. Потом замелькали среди них и ребята из русских групп. Вот, обняв друг друга за плечи, кружатся четыре наших девчонки. Вот присоединились к ним трое преподавателей... К этому времени музыка, смех, визг, хлопанье в ладоши слились под

невысокой крышей барака в такую веселую какофонию, что в ушах звенело. Наши песни под Лёнькину гитару показались бы сейчас тихим и нежным мурлыканьем.

* * *

Ночью мне приснился Короткий Проезд. Я сладко сплю на топчане под урючиной, мне хорошо, хорошо... А Юрке не спится. Чего он хочет от меня? Зачем толкает в бок? Опять кидать в Шефа урюком? Нет, нет, я спать буду, спать...

– Юабов, эй! Пора!

Луч фонарика скользнул по моему лицу и сразу погас. Сашка Носов нетерпеливо тряс меня за плечо. – Идешь ты или нет?

Ночь как на зло выдалась светлая: полная луна самодовольно сияла среди безоблачного неба. Будто специально для того вылезла, чтобы нас высветить! Что, кстати, было довольно опасно. Хотя давно миновала полночь, это вовсе не означало, что все студенты и преподаватели мирно посапывают на своих нарах, особенно после такой веселой вечеринки. Наверно, немало нашлось любителей прогуляться в обнимку по окрестностям. Круглова, например, когда мы уходили, не было на нарах. Значит, не было и Ольги Сандлер... А кого еще?

Мы с Лёнькой Школьником боязливо крались вдоль стенки барака, стараясь просто-таки вжаться в нее: какая-ника-

кая, а всё же тень. Бесстрашный Носов, покуривая, шел по открытому месту... Прогуливался.

До кладовки было метров сто, если не меньше, но мне каждый метр казался километром. Дошли, наконец. На дверях – удача – не замок, а просто щеколда. Мы очень осторожно, чуть приподняв, чтобы не скрипнула, открыли дверь и Сашка зажег фонарик.

– Да-а-а-а, – прошептал он. – Не жирно, а?

Что верно, то верно: кладовочка выглядела убого. Никаких тебе полок, заставленных банками, коробками и пакетами, никаких холодильников. У щелястых стен валялись два-три мешка с картошкой, пара ящиков с какими-то крупами и макаронами, на двух столбах, подпиравших потолок в середине сарайчика, висели длинные связки лука. Что-то еще, а что – непонятно, было горками навалено на столах возле стен и прикрыто рваными тряпками. Лёнька направил фонарик на одну из горок и... Что такое? Показалось? Я схватил его за руку:

– Гляди!

Нет, не показалось. Тряпка шевелилась да еще как! Она вспучилась вверху, потом стала приподниматься внизу и из-под нее во все стороны прыснули маленькие существа. Полевые мыши! Даже при слабом свете фонарика ошибиться было невозможно. Ругнувшись, Носов швырнул в них одну туфлю, потом другую и мы бросились к столу.

– Сволочи! – просипел Сашка. Относилось это не к мы-

шам. Под тряпкой, сваленные грудой, лежали буханки хлеба, пересыпанные крошками. Буханки были такие дырявые, что напоминали скорее куски швейцарского сыра.

– Вот чем нас кормят! – Я тоже ругнулся. Просто необходимо было облегчить душу. В эту минуту мне казалось, что ни куска колхозного хлеба я больше уже не проглочу.

– Так... Ну а здесь что?

Школьник осветил другой стол, мы сдернули тряпку – под ней было мясо. Что-то вроде коровьей ноги.

– Ага! Наконец-то! Ну, это уже похоже на шашлык... Свети, Лёнька! – и Сашка, вытащив из кармана складной ножик, принялся за работу. Он энергично отрезал кусок за куском и кидал мясо в целлофановый пакет – я держал его открытым возле Сашкиных рук. Но мне-то уже и мяса не хотелось. Мыши его, несомненно, загадили... Нет, кажется, мыши – вегетарианцы... Ну, все равно, неизвестно, какая дрянь в нем могла завестись под этой рваниной, без холодильника, – думал я, брезгливо. Но помалкивал.

– Ну, хватит... – Сашка критически оглядел похудевшую ногу. – Кажется, не очень заметно... Пошли!

Два тяжелых целлофановых мешка, каждый – килограмма по два весом, мы завернули в свои куртки. В барак возвращались точно так же, как в кладовку шли, только с еще большим страхом, я по крайней мере: ведь один из пакетов был у меня под мышкой. А Сашка – он нёс второй пакет – без всякого страха, в открытую, дымя сигаретой.

В бараке было темно и тихо, все вроде спали. Стараясь не шуметь, мы взобрались наверх, засунули свою добычу поглубже в спальники. Я улегся, но какое-то время был бодрым и возбужденным. Вспоминались все подробности нашего ночного приключения. Потом я почувствовал, что «вырубаясь», глаза начали слипаться. Еще бы – ведь до пробудки оставалось всего ничего.

«Они, небось, тоже крали жратву... У плантаторов...» – это было последнее, что промелькнуло у меня в голове.

Глава 6. Министр с удачной фамилией

– Ах, чтоб он сдох, зараза! Да пошел он на... – Тут Сашка Носов неприлично выругался.

Мы захохотали. Неприличное слово было частью фамилии того самого человека, которого Сашка покрыл. Звали его Худабердыевым, и был он не кем-нибудь, а министром сельского хозяйства Узбекистана. Неприличные слова мы произносили достаточно часто и по любому поводу. Но в этот день у нас были особые причины ругать министра и издеваться над его фамилией.

* * *

Уже наступил декабрь, на хлопке мы были второй месяц – в бараке на косяке двери ежедневно делались зарубки, и теперь их было тридцать три. С каждым днем погода становилась все хуже и случались такие дождливые дни, что нас даже не гоняли на хлопок. В бараке мы проводили время не так уж плохо, пели под гитару, играли в шахматы. Но зачем, спрашивается, торчать нам в бараке, чего мы ждем, когда на поле собирать нечего, да и дожди льют? Ведь идет учебный год, уже и до сессии не так далеко... Однако об отъезде не

было и речи. Мало того: домой не отпускали даже заболевших. В середине ноября у одной первокурсницы случился сердечный приступ. Ее отвезли в какую-то местную больницу, подлечили немного и... снова привезли в барак. Долежится, мол, на хлопке. Таков был приказ «сверху». Возмутились даже преподаватели, особенно физрук. Кстати, вскоре и с ним самим произошла похожая история.

Мы только вернулись с поля и умывались перед ужином, как на нас налетел запыхавшийся Эрудит. Дышал он, как тот древний грек-марафонец.

– Скорее... на поле... Артемыча... переехало! – пропыхтел он.

Ни о чем не спрашивая, ринулись мы на дальнейшее поле, где сегодня работали. Но не пробежали и полдороги, как повстречался нам трактор с прицепом. Лицо у тракториста было испуганное, растерянное. На прицепе лежал бледный, стонущий Артемыч, которого какой-то студент придерживал за плечи. Оказывается, этот самый тракторист, приехавший сменить херманы, двинул трактор назад и сбил Артемыча. Слава богу, что херманы, стоявшие в прицепе, были пока еще пусты, слава богу, что задние колеса прицепа не грудь переехали бедному мужику и не голову раскололи, а прошлись по бедру и ягодице. Эти части тела у спортсмена Артемыча были благодаря тренировкам достаточно хорошо развиты. Но больно ему было так, что на каждой кочке, когда прицеп потряхивало, бедный Николай протяжно охал. Когда

на другой день (только на другой!) его доставили в сельскую больницу, рентген переломов не показал – и Артемыча вернули в барак. Долечиваться, – как ту первокурсницу. Не стану описывать, как он ругался.

Не стоит перечислять и более мелкие происшествия, всякие там насморки, простуды, ангины. Но в тот день, о котором я сейчас пишу, любой из нас мог бы заработать даже и воспаление легких...

* * *

Еще накануне вечером мы узнали, что нас посетит министр: он совершает поездку по хлопковым полям республики, лично проверяя, как завершается уборка. «На бронетранспортёре приедет, в кирзовых сапогах», – сообщил нам физрук. В бараке поднялся хохот: «на бронетранспортёре... В кирзовых сапогах»... Еще бы: проселочные дороги асфальтом даже для министра не покроют. А дороги так развезло, что на обычной машине не проедешь, застрянешь. И нарядные ботиночки оставишь в грязи.

– Не мог, что ли, этот... (тут Лёнька с удовольствием произнес по слогам фамилию министра, особенно выделив первый слог) явиться к нам на месяц пораньше?

– А к чему бы это? – ехидно осведомился Эрудит. – Под дождичком самое время вдохновлять массы на подвиги! И учти: чем дождь сильнее, тем усерднее этот (тут Эрудит то-

же со вкусом повторил замечательную фамилию) будет нас вдохновлять... А что на полях пусто, с бронетранспортера не видно!

Мы стояли, сбившись в кучку, на краю поля. День был хмурый, холодный. Дождь то стихал, то безжалостно сек наши лица тяжелыми, какими-то даже колючими каплями. Поверх шапок мы натянули на головы куски целлофановых мешков, но брюки превратились в холодные компрессы, даже ватники намокли. Северный ветер, налетая порывами, пронизывал до костей. Наверно, если бы мы работали, нагибались к цветкам хлопчатника, было бы теплее, но собирать-то было уже почти нечего. С голых веток почерневших кустов лишь кое-где свисали мокрые сосульки – все, что осталось от белых ватных комочков, придававших унылым полям хоть какую-то живописность. Уже несколько дней нас выводили почти за километр от барака на участки, где хоть что-то оставалось, собирать эти жалкие клочки хлопка. Мы подбирали и клочки, лежащие на земле, втоптаные в грязь – это называлось «чисткой грядок». Трудолюбивые узбеки и те ворчали: «тут даже на еду не зарабатываешь»... Что правда, то правда. У нас вычитали с грошовой, сдельной получки за те помои, которые именовались едой. Сейчас и вычитать не с чего было.

...Мы стояли, сбившись в кучку, ругались последними словами, переделывали по-всякому фамилию проклятого министра, который все не ехал да не ехал, хлопали себя по

плечам и по бедрам, чтобы хоть немного согреться. Мы уже и «чистой грядок» не в состоянии были заниматься. Преподаватели замерзли и злились, вероятно, не меньше, чем мы. Так что на нас они почти не обращали внимания и похаживали где-то в сторонке, нетерпеливо поглядывая на часы.

– О-ох, Хуй-да-бер-р... туды-его! – прорычал Валера Круглов, раскачиваясь то вперед, то назад. Его давно уже мучила поясница. Но унывать Валера не любил. Он улыбнулся, сощурил глаза, вытянул вперед и вверх правую руку с устремленной к небу ладонью и, картавя, громко произнес:

– Товагищи!

Лица наши повеселели, мы придвинулись к старосте. Валера замечательно имитировал вождя мирового пролетариата и иногда устраивал нам целые спектакли. Сейчас это было как нельзя более кстати. Стоя в знакомой всем позе Ленина, Валера продекламировал его резким, картавым голосом экспромт собственного сочинения: «Пустые г-гядки, одна лишь г-гязь вокруг, но собигайте-ка, гебятки! В хегманы что-нибудь втолкнут!»

Похлопали, поохотали... А Худабердыева все не было. День казался бесконечным, жрать хотелось неимоверно.

– Эх-х, шашлычку бы! – простонал Серега Тельтевский. Он стоял, опираясь на Виталика. Длинный всем прочим положениям предпочитал горизонтальное, в сухую погоду он давно бы полеживал на грядке или хотя бы сидел, развалившись. Но в грязь не присядешь.

– Опомнись, какие шашлыки! Где ты их видел? Про тот, что ли, вспомнил? – засмеялся Виталик, отталкивая Серегу. – Отвались!

Тот, единственный за всю поездку, шашлык мы ели на следующий день после лихого ограбления кладовки. День этот часов до двенадцати проходил, как обычно, потом наша компания стала незаметно линять, покидать ряды сборщиков хлопка. По одному, пригнувшись, перебежали мы через пустое поле. За ним была небольшая рощица, за рощей – овраг. Туда мы и устремились... Укрывшись в овраге, мы вытащили свои припасы, кое-какую посуду, ножи. В рощице набрали дров, нарезали ветки-шампура, на гладком пеньке разделали мясо, лук. Впрочем, этим занимался лично Эрудит, никого больше к такому ответственному делу не подпуская. Тельтевский готовил для желающих изысканный напиток: чуть-чуть разбавленный тройной одеколон. Вскоре в овраге запахло не хуже, чем в любимом нашем парке Кирова.

Ох, и наелись мы тогда! Даже оставили немного для девчат, которых не рискнули пригласить в овраг: мало ли что, а вдруг бы засыпались!

Но все обошлось благополучно. Правда, исчезновение здорового куска мяса было замечено: на дверях кладовки появился здоровущий замок. По этой причине тот шашлык и остался единственным.

Воспоминания еще сильнее разожгли аппетит, голод стал невыносимым. А тут еще и холод... Пришлось срочно заку-

ритель.

Некурящих в нашей группе было только двое: Эрудит и я. На хлопке Рудик сдался первым. Я держался, позволяя себе побаловаться затяжкой только в редких случаях. На этот раз я, не колеблясь, протянул руку к пачке, протянутой Школьником, и вытащил сигарету. Лёнька чиркнул спичкой, учтиво поднес огонь. Я затянулся, закашлялся, сразу чуть закружилась голова, но я затянулся еще раз, и еще, и еще... По телу начало разливаться тепло.

– Порядок! – сказал Лёнька. – Человеком становишься! – и выпустил изо рта, одно за другим, несколько колец дыма.

Если бы существовала такая профессия – «преподаватель курения», Лёню Школьника следовало бы сделать профессором. Каждым своим движением, каждой черточкой лица Лёня артистично показывал окружающим, какое наслаждение испытывает настоящий курильщик. И у зрителей неудержимо росло желание испытать такое же.

Закурив, Лёня зажимал сигарету у фильтра между указательным и средним пальцем, а остальные распускал веером. Сделав короткую затяжку, отводил руку в сторону, чуть приподнимал голову и... Тут уже просто невозможно было оторваться от его лица! Какое блаженство, какой абсолютный покой выражались на нем! Глаза прикрыты, длинные светлые ресницы слегка подрагивают, кажется, будто и глаза под опущенными веками движутся то вправо, то влево, пытаюсь передать, как хорошо их владельцу. Из ноздрей неторопливо

струится дымок, легким облачком прикрывая рассыпавшиеся возле носа веснушки. Но эти струйки – только для начала. Верхом Лёнькиного мастерства было умение пускать кольца дыма. Когда он закуривал, все мы ждали именно этого представления. Вот он вытягивает губы – и из них выплывают кольца. Одно... Второе... Два, соединенных вместе краями... Три, соединенных вместе! Одни поднимаются прямо, другие кружатся в воздухе, будто в вальсе... Думаете, это все? О нет! Лёнька то вытягивает губы трубочкой, то растягивает их, обнажая зубы, то скашивает рот в сторону – а пальцем при этом постукивает по щеке – и всякий раз изо рта вылетают кольца иной формы, принимая самые причудливые очертания. Плывут одно за другим, кружатся хороводом... Ну, просто колдун какой-то наш Школьник! Попади он к дикарям, стал бы у них шаманом.

* * *

...Притоптывая, пританцовывая, пряча между ладонями сигареты от дождя, курим мы на краю хлопкового поля. Сигареты у нас дрянные – «Прима». В Ташкенте мы ни за что не стали бы курить это «бесфильтровое дерьмо», как выражается Валера Круглов. А сейчас, что поделать, он их не только курит, как и все мы, но даже напевает одну из своих песенок, посвященных куренью:

Оп-па, шишки!
Кайфуют ребятишки!
Семечки, карандаши,
Сделай мне косяк наши!

Очевидно, надо пояснить, что «наша» это не что иное, как анаша, наркотик, с древних времен распространенный в странах Востока. Я знал о ней еще в раннем детстве и даже видел, как старшеклассники из моего дома в Чирчике сушили свои «косяки» на крыше. А поближе мне пришлось познакомиться с анашой недавно, во время яблочной страды. Наутро после той тревожной ночи, когда мы готовились к нападению местных парней, произошла встреча с ними по пути в сад – и вражда неожиданно прекратилась. Парни оказались вполне миролюбивыми, пригласили посидеть вечером у костра. По кругу пошла «трубка мира». Потом один из местных вытащил из кармана пакетик с листочками дикой конопли и стал сворачивать сигарету. Вот тогда-то Круглов, радостно потеряв руки, с минуту побормотал что-то – и выдал свой экспромт про «нашу». Конечно, он сразу завоевал уважение местных курильщиков. Сигарета пошла по кругу, песенку запели хором. Отказались курить анашу только трое: Эрудит, Лёня и я. Но надышались мы в тот вечер дурманящего дыма не меньше, чем от затяжек, и вместе с другими получили свой кайф.

* * *

Часам к трем дня до нас дошла новость: министр не приедет. Мы поорали: «ну и... с ним, с Худабердыевым!» – и помчались в барак греться.

В Ташкент мы приехали лишь десятого декабря. Уже выпали первые снега... Сорок дней и ночей провели мы на хлопке. И что удивительно, все вернулись живыми и здоровыми оттуда, где человеческая жизнь не стоила, не весила ничего. Ценился и взвешивался только хлопок.

Глава 7. Дядя Абраша уходит навсегда

– Опа, не шевелитесь... Потерпите, тётим! Немно-ожечко... Еще совсе-ем, со-овсем немно-о-жечко!

Бабушка Лиза, откинув голову на спинку стула и положив руки на колени, сидит на веранде, почти у самого окна. Рот её широко открыт, она тихонько постанывает. Глаза так расширены, что напоминают два дополнительных рта. Возле бабушки, низко склонившись, приблизив чернокудрую голову почти к самому её лицу, стоит человек в белом халате. Это Хайко Малаков, зубной врач. «Опа» и «тётим» (и то и другое означает «тётя») он называет бабушку Лизу из уважения: Хайко не племянник, вообще не родственник. До недавнего времени он был одним из близких соседей: семья Малаковых жила через двор, в детстве я нередко бывал у них. Теперь Малаковы переехали, но бабушка не забыла, что Хайко – зубной врач.

Можно представить себе чуть ли не любого доктора на дому у больного, но только не зубного врача! Как обойтись, например, без специального зубоврачебного кресла, в котором вы то сидите, то почти лежите (смотря что удобнее сейчас доктору), без бормашины, без множества хитроумных приспособлений, с помощью которых эти жестокие люди пытаются пациентов! Словом, если бы меня еще вчера спросили,

можно ли вызвать зубного врача домой, – я рассмеялся бы. И был бы глубоко неправ! Уж мне-то следовало помнить, что на свете существуют женщины с характером бабушки Лизы. Каким-то образом ей всегда удавалось пользоваться услугами родственников, соседей и близких знакомых – особенно если это касалось людей сравнительно молодых. Хайко считался молодым – ему было около сорока. Вот и стоит он теперь, согнувшись в три погибели, над низеньким бабушкиным стулом, пытаясь правильно наложить щипцы на зуб, который надо удалить. Именно с этой целью Хайко и вызван: бабушка не пожелала переносить такие муки вдали от дома, тем более что предстояло вырвать не один зуб, а три.

С двумя Хайко уже справился, сейчас он трудился над третьим.

Я стоял, прислонясь к косяку двери, и наблюдал за этим зрелищем с огромным интересом.

Дело, как я уже сказал, происходило на террасе. Дед Ёсхим с бабушкой Лизой совсем недавно переселились в квартиру, из которой семья дяди Миши уехала после пожара. Квартиру отремонтировали, она и удобнее, и уютнее, и много светлее квартиры стариков. На застекленной веранде, например, так светло, что Хайко смог обойтись без лампы. Я, стоя у двери, видел каждую бабушкину морщину...

Меня переполняло сочувствие к бабушке – к сожалению, не потому, что я был таким уж добросердечным внуком, а потому, что я как бы видел себя на её месте. Уже давно по-

баливал мой запломбированный, но запущенный зуб. Ясно было, что его уже не спасти, придется выдернуть... Брр-р! Меня передернуло.

* * *

Зубы у меня стали побаливать лет с девяти. С тех пор мне довольно часто приходилось слышать отвратительный, идущий из собственного рта, звук сверла бормашины. Но началась моя ненависть к врачам, которые копаются в чужих ртах, еще раньше, когда мне вырезали гланды.

Сначала все было неплохо: положили в больницу на обследование, медсестра уверяла, что больно не будет – посижу с открытым ртом минут сорок-пятьдесят – вот и все! Главное – рот не закрывать. А за это ещё и мороженое дадут. Мороженое – это хорошо, подумал я. Но пятьдесят минут не закрывать рот будет трудновато. Наверное, стоит потренироваться. Решив так, я все время – читал ли, смотрел ли телевизор или просто лежал – старался держать рот открытым. Конечно же, мальчишки в отделении это заметили и начали издеваться надо мной. То и дело я слышал дурацкие шуточки типа: «эй, тебе муха в рот влетела!» – но терпел. Посмотрим, думал я, кому будет легче во время операции!

Как только меня в операционной посадили на кресло, я широко, до пределов возможного, открыл рот. «Вот молодец», – похвалила меня милая дама в белом халате. А по-

близости сидел один из насмешников, которого только что прооперировали. Ну и вид у него был! Лицо – бледное, изнуренное, он чуть не плакал, почему-то непрерывно то открывал, то закрывал рот и как-то странно вытягивал шею. «Вот видишь, гусь нетренированный!», – подумал я со злорадством. Но тут милая дама, она же – хирург, принялась за меня, и я позабыл обо всем на свете. Глотку мою кололи, смазывали чем-то вонючим... Я чувствовал, как в мои миндалины что-то вливается, и они разбухают, разбухают... «Хлоп-хлоп!» – это дама пощелкала щипцами и защемила ими гланды... Еще одни щипцы – о, какая тяжесть, мое горло не выдержит, щипцы его прорвут! В тот же момент передо мной появилась рука с ножницами (а, может, со скальпелем? Не помню...) В глазах у меня потемнело, я взмахнул руками, дрыгнул обеими ногами – и вытолкнул из-под докторицы стул!

Однажды, когда дед Ёсхаим молился, я отодвинул стул, стоявший за его спиной, – чтобы не мешал. Но через минуту дед решил присесть... Он меня простил, конечно. Ведь я не был таким озорником, как Юрка, и дед поверил в мои добрые намерения. Врачиха была погрузнее деда, к тому же ей предстояло тут же продолжить операцию. Простила ли она меня – не знаю, но рука её не дрогнула, я остался без гланд. Память об операции была такой сильной, что с тех пор, открывая рот в кабинете врача, даже зубного, я испытывал страх и злобу. Может, поэтому было еще больше?

– Э-э-а! – вскрикнула бабушка.

– Все, опа, все! Это был последний! – весело сообщил Хайко и, повертев перед бабушкиным лицом щипцами, в которых торчал зуб, продолговатый и рогатый, положил его на марлечку, рядом с двумя другими. Тут же на столе, покрытом белой скатеркой, красовались сверкающие серебристые тарелочки и кастрюлечки с разными щипцами, шприцами, пинцетами, лежали ватные тампоны и прочие необходимые вещи. Словом, работал Хайко чисто, красиво...

– Ла-лай, ла-ла-ла-лай! – негромким, но звонким голосом запел Хайко, закладывая пинцетом очередной тампон в окровавленный бабушкин рот. – Не больно, тётим? Совсем не больно, правда?

– Бощи... Бэ...офадзови! – Прошепелявила бабушка, раскрыв ладони и поднимая взор к небесам.

– Немножко посидите – и можно будет выплюнуть тампоны. – Хайко, продолжая напевать, стал складывать инструменты в чемоданчик.

Никто из нас не удивлялся, что Хайко напевает, даже вырывая пациенту зуб. Вся семья Малаковых отличалась любовью к пению, старший брат Хайко, Эзра, вообще был профессиональным певцом, имел звание заслуженного артиста Узбекистана. Славился он и как мастер шашмакома. Дядя

Авнер, мамин брат, любил его слушать и ценил очень высоко.

Хайко ушел. Бабушка попыталась встать, но охнула, откинулась на спинку стула, прикрыла глаза.

– ВалерИК... Голова что-то кружится. Помоги прилечь.

Я отвел бабушку в комнату, где стоял диван, – эту просторную комнату мы называли залом – помог ей улечься, накрыл пуховым платком и присел возле: а вдруг ей, подумал я, понадобится помощь. Но бабушка очень скоро задремала и даже начала похрапывать. А на меня почему-то – может, потому, что я оказался один на один со своими мыслями в этой с детства знакомой мне комнате, нахлынули воспоминания.

Вот в этом самом зале обычно справляли Новый год. Всей семьей за большим столом. Но мы, дети, в комнате не засиживались, наш праздник был во дворе! Чуть ли не весь декабрь мы с Юркой бегали по магазинам в поисках бенгальских огней, фейерверков, хлопушек. Запасы наши множились и множились. И в Новогодние, не успевали часы пробить двенадцать раз – о, каким треском и шипеньем, какими гулкими взрывами перекликался с ними Старый Двор! Сколько разноцветных огней взлетало в небо! Как они фыркали, как дымили! А разноцветный дождь конфетти! А бенгальские огни! Высоко подняв брызжущие искрами палочки, мы, дети, кругами бегали по двору и глядели на звездно-огненное кольцо, плывущее над нашими головами. А под ногами

у нас скрипел снег, а изо рта, вместе с нашими восторженными воплями, вырывался пар, а Джек, вторя нам, звонко лаял, высунув из будки испуганную морду... Вот это было веселье!

Да, все та же квартира... Странно – как будто и не горела. Сам я пожара не видел. Говорили – что-то там у соседей случилось с трубой, возможно, сажа загорелась. Интересно, что соседи не пострадали – пламя из их трубы перекинулось на наш дом. Занялась спальня, где в это время была Валя с детьми, они едва спаслись.

После отъезда Мишиной семьи ремонт продолжался больше года, зато теперь квартира еще уютнее, чем прежде. Старики правильно сделали, что сюда переселились: окна смотрят на юг, солнечно, светло. Даже бабушкина мебель здесь преобразилась – видно, как красива резьба на старинных комоде и буфете. Каждый узор, каждая извилина – все это ожило, задышало. Я заметил, что и старики радуются перемене, чувствуют себя здесь лучше. Мне кажется, они теперь меньше ворчат друг на друга. Недавно я увидел новый вариант старой сценки, хорошо мне знакомой: дед, уходя на работу, вернулся за чем-то в дом, протопал в спальню, не вытерев ног, и, конечно, наследил... Я даже положил ложку (мы с бабушкой завтракали), ожидая обычного бабушкиного визгливого вопля: «я, старый человек, должна...» Но нет, бабушка только укоризненно-насмешливо помотала головой.

Сколько же лет они вместе, размышлял я, глядя на спя-

щую бабушку. Поженились, кажется, в 1925-м. Ух ты! Это больше пятидесяти! Молодые ведь были тогда... Этой зимой бабушке исполнилось семьдесят четыре. А сколько деду? Кажется, восемьдесят один, а может, и больше. Как ни странно, ни сам дед, ни близкие его родственники не помнят, сколько ему лет. Неужели же его день рождения никогда не справляли? Даже в детстве?

Громко хлопнула дверь. Я вышел на террасу. Там стоял Робик и хмуро глядел себе под ноги.

* * *

Робик был превосходным сыном. Я бы сказал – образцовым. Почти все заботы о родителях – начиная с закупок продовольствия на базаре и кончая уходом за домом и садом – он взял на себя. По этой причине Робик каждый день появлялся у стариков после работы, а нередко и в обеденный перерыв. Очень было любопытно наблюдать, как Шеф заходит во двор или в дом. У калитки приостановится, глаза его, как какой-то автоматический наблюдательный прибор, начинают быстро-быстро пробежать по саду, по стенам дома, по крышам. В дом войдет – беглым, но внимательным взглядом обведет всю комнату. Все должно быть в порядке! И если увидит, что от шиферной крыши откололся кусочек, что покосилась дверь кладовой или упала подпорка у виноградника, тут же примется исправлять. Работник был отличный, в

руках все так и горело. Он даже зимнюю баню когда-то сам пристроил к дому.

Самой забавной мне казалась сценка, неизменно происходившая после того, как Робик «делал базар» (у нас так называли рыночные закупки). Бабушка внимательно осматривала все продукты, особенно дотошно и придирчиво – мясо. Покупалось, конечно, только кошерное – старики строго этого придерживались. Причем у одного и того же продавца, которого бабушка знала много лет. И все равно почти каждый раз бабушка оставалась недовольна.

– Жулик! Аферист! – восклицала она, брезгливо (ведь мясо еще не вымыто), двумя пальцами приподнимая его над свертком. – Опять одни кости подсунул!

Время от времени она даже посылала Робика на рынок менять мясо, но, жалея любимого сына, делала это довольно редко.

* * *

И вот сейчас Робик стоит на террасе, сам на себя не похожий, растерянный, печальный. Не оглядывается по сторонам хозяйственным взором, не торопится зайти в комнату. Подняв наконец голову, он посмотрел мне в глаза и прошептал:

– Дядя Абраша умер...

Сказав это, Робик с испугом взглянул через мое плечо – не появилась ли в дверях бабушка. Но бабушка мирно спала

в зале.

– Тихо... Пусть поспит еще... Пусть отдохнет, – прошептал Робик. Ему ведь предстояло тяжелое дело: подготовить мать к горестному известию о смерти её брата.

Умер дядя Абраша... Я вроде бы не очень близко был с ним связан, мы и виделись не так уж часто. Но с раннего детства я полюбил этого большого, широкоплечего, улыбчивого и удивительно доброго человека. Когда-то, когда мы с Юркой были еще малышами, он подарил нам голубой самокат – большой, тяжелый, металлический. Это был замечательный подарок! Мы без конца колесили на самокате по всему двору, в наших играх он изображал то боевую машину, то мотоцикл, то самолет, то подводную лодку. В дедовом дворе он простоял много лет. И, хотя к старым вещам привыкаешь, перестаешь их замечать, этот тяжелый самокат почему-то всегда напоминал мне о дяде Абраше – тоже тяжело-ватом, плотно скроенном. Думать о дяде всегда было приятно, я радовался каждой встрече с ним.

И вот его больше нет... Что-то оборвалось в душе. Мне стало очень грустно.

К сожалению, о дяде Абраше я могу рассказать совсем немного: мало знаю о нем. А жаль, очень жаль. Судя по всему, Абрам Симхаев был человеком незаурядным. Во время войны на его долю – а был он тогда совсем молод – выпали невероятные испытания. Он попал в плен к немцам подо Львовом и спасся от смерти только потому, что сумел выдать

себя за узбека. Сбежал, добрался до Кировоградской области – то есть скрываясь и прячась, прошел чуть ли не пол-Украины. Почти полгода прятался в землянке за огородом сердобольной украинской крестьянки Маши. Снова был выловлен... Снова бежал. Оказался в каком-то хлеву возле самого немецкого штаба. Оттуда его вызволила другая сердобольная украинка-дойрка. Еще несколько раз попадался – и снова убегал! Но прорваться через линию фронта, добраться до своих, ему так и не удалось... Когда в последний раз Абрама поймали, он, как мне рассказывала его дочь Лия, приговорен был к повешению. Перед этим его до полусмерти избивали прикладами, а повесить то ли не успели, то ли передумали: мол, и так вот-вот помрет. В таком виде его, брошенного бежавшими немцами, нашли бойцы одной из частей наступающей советской армии. Самое поразительное, что после госпиталя дядю Абрашу не отправили в лагерь, как немецкого шпиона, что делали почти со всеми, кто побывал в плену у гитлеровцев. Видно, помогло то, что нашли полумертвым. Дядя вернулся в строй, с боями дошел до Германии, побывал в Варшаве, в Праге. Домой воротился с орденами и медалями...

До сих пор удивляюсь и огорчаюсь – почему же я, любитель всяческих приключений, оказался таким нелюбопытным и ни о чем не расспрашивал дядю Абрашу? Ведь его фронтовая эпопея удивительна даже для тех суровых лет. Я мог бы знать её во всех подробностях, а не знаю почти

ничего! И еще я удивляюсь тому, что человек, перенесший так много страхов, боли, страданий, сумел остаться жизне-радостным, добрым, обаятельным. Его отзывчивость, щедрость, готовность помочь известны были всей родне. Думаю, что и многим в Ташкенте: дядя Абраша работал таксистом, и кого он только не знал в городе, и кто только не знал его!

* * *

– Как это случилось, Робик? – прошептал я. Мне, конечно, рассказывали, что дядя Абраша тяжело болен. У него давно уже (может, и после жестоких военных испытаний и побоев) начались неприятности со щитовидкой. Я знал, что он поехал в Москву на операцию. Но насколько это серьезно, я не понимал, да и не думал об этом.

– Не знаю! – выдохнул Робик. – Кажется, во время операции. А может, после...

В дверях террасы появилась бабушка. Она всегда спала чутко и услышала, наверно, наш шепот.

– А, Она! – Робик всегда здоровался с матерью на бухари. – Ну, как дела? Хайко был?

Бедный Робик пытался тянуть время и долго расспрашивал бабушку, как Хайко вырывал ей зубы... Наконец, он решился:

– Знаете, мама... Дядя в Москве, на операции...

– Знаю, конечно, – ответила бабушка. И тут же встрево-

жилаась:

– Есть новости? Уже оперировали, да?

– Да... То есть... Оперировали, но... Осложнения, ему плохо... – Робик не смотрел на мать и потирал рукой щеку.

Я, как и прежде, стоял в проеме двери и глядел на бабушку. Меня снова переполняло сострадание, теперь уже без примеси эгоизма. Я видел, что бабушкино лицо становится все тревожнее, глаза наполняются испугом. Наверно, за долгие годы жизни её не раз готовили вот так к печальным известиям, и сама эта «подготовка» уже была равносильна общению.

– Что с ним? А? Говори!

У Робика искривились губы, он прижал руку к глазам.

– Плохо ему... Очень...

– Робик, скажи правду... Он умер? Умер... Абраша!

И бабушка зарыдала.

* * *

Хоронили дядю Абрашу морозным зимним утром. Целая толпа собралась у подъезда, в котором жили Симхаевы. В толпе мелькали знакомые лица, но много было людей, которых я не знал. Говорили они о дяде с удивительной теплотой. Об ушедших всегда говорят хорошо, иначе не принято, но думаю, что на этот раз не было ни притворства, ни преувеличений. У гроба плакала вдова дяди, Тамара, стояли, обняв-

шись, три его дочери – Лия, Зоя и Ольга. Бабушку вывели из дома за руки. На этот раз ей действительно было трудно идти, горе её было неподдельным. Не знаю, думала ли тогда об этом бабушка Лиза, но она, старшая сестра, осталась одна на этом свете, пережив двух младших сестер и брата...

Глава 8. Мечты, мечты, мечты...

Я давно заметил: как только свернешь с улицы на Короткий Проезд, шаги начинают звучать иначе. Наверно потому, что в узком пространстве, огражденном глиняными заборами и стенами домов, все звуки отражает эхо. И шаги, и голоса – все здесь гулкое и какое-то таинственное... Несколько шагов сделаешь – «трум-м, трум-м, трум-м» – и незаметно настраиваешься на особый лад. Всякие скучные мысли – о несданном зачете, например, вылетают из головы. Их место стремительно заполняют приятные образы. Ты переносишься в другой мир. В какой захочешь.

«Трум-м, трум-м...» И вот исчезает знакомый переулок, по которому я приближаюсь к воротам своего дома. Через широкую площадь я шагаю к воротам великолепного двorca. Ворота громадные, деревянные, резные. До того тяжелые, что открывают их четыре здоровенных стражника, по два с каждой стороны... Иду я быстро, широким шагом. Свита еле поспевает за мной. Площадь усыпана цветами, толпы приветствуют меня радостными кликами, звучат фанфары (это я громко насвистываю «Марш фараонов» Верди)...

Теперь вы все поняли? Да-да, я – фараон! Но почему же я иду, как простой смертный, а не возлежу на носилках, овеваемый опахалами? Или не еду в колеснице? Ну-у... Не знаю... Ведь со звуком шагов все и связано. К тому же мне просто

приятно вот так победно шагать!

Впрочем, сегодня я не фараон, а космонавт. По гулкому туннелю мой звездолет устремляется в беспредельные звездные пространства. Я не спускаю глаз с приборов, с экранов. Мало ли что может произойти – метеоритная атака, например. Или встреча с каким-нибудь загадочным инопланетным кораблем... Но я полон решимости и отваги...

Этот «полет мечты» не так случаен, как первый. У нас в Ташкенте, да и вообще по всей стране, особенно популярна французская рок-группа «Космос». Она замечательно работает на электроинструментах и синтезаторах. Мелодии, в отличие от большинства других рок-мелодий, простые и негромкие, как бы доносятся откуда-то издалека, из пространств вселенной, подхватывают тебя, возносят, ты ощущаешь себя в космосе. Я это и от других слышал, и сам испытал. Особенно меня всегда волновала мелодия «Волшебный полет».

Вот и сейчас я насвистываю ее, «паря» по переулку прикрыв глаза. Насвистываю, лечу и «приземляюсь» уже у самых своих ворот.

* * *

Мечты... Кто возьмется объяснить, что это такое? Они могут тебя охватить неожиданно, можно в них уйти и по собственному желанию. Но в любом случае они таятся где-то в

мозгу, терпеливо ожидая той минуты, когда им удастся завладеть тобой или когда ты их вызовешь. Они – часть твоего существования. . . Так было со мной, как, наверно, и со многими подростками.

Я с детства запоем читал Фенимора Купера, Жюль Верна, Дефо, перечитывал любимые книги по многу раз, знал их почти наизусть. Я был уже студентом, а «Таинственный остров», «Затерянный мир», «Робинзон Крузо» оставались моим любимым чтением. . . Возможно, я был несколько инфантильным и с опозданием шагнул на ту ступень, на которой моих ровесников начинают интересовать шедевры отечественной и мировой литературы, «взрослая» классика. Может быть, не знаю. Но если и так, я нисколько не жалею об этом! Зато я обладал счастливым даром: надолго сохранил детскую фантазию, мог в любой миг переселиться в один из удивительных миров, открытых для меня книгами.

Я никому не говорил об этом. Не хотелось. Вероятно, без всяких размышлений я чувствовал, что друзья не поймут меня, что прошло то время, когда можно было вместе с ними превращать мечту в игру. Теперь это был мой собственный, потаенный мир. И уходил я в него чуть ли не каждый день!

Иногда, конечно, я мечтал о вещах более реальных, чем открытие новых планет или затерянных миров. О том, например, как, став физиком, сделаю в своей лаборатории какое-то поразительное открытие. Или как женюсь на Ильгизе Шаймордановой, моей однокурснице, и увезу ее. . . опять же,

на необитаемый остров. Но это так, между прочим. А мои любимые мечты – я настолько ими проникся, что не мог жить без них. Мало того, у меня даже было «расписание»: утром, по дороге в институт (почему-то именно в тот момент, как я подойду к дому, где жили старики, торговавшие семечками), начнутся мои приключения на необитаемом острове. На том, где жил Робинзон Крузо. А когда буду возвращаться домой – ну, тогда скорее всего потянет в космос...

* * *

«Приземлившись» у своих ворот, я легко, без всякого там промежуточного состояния, вернулся к реальности. Первым ее признаком было густое «Му-у-у!». Это мычала корова соседа-узбека. Её влажный черный нос я увидел в щель между досками забора. Стоило – возле забора, корова хорошо меня знает, и как только слышит мои шаги, мой свист (свистеть я очень люблю), непременно здоровается со мной.

– Здравствуй, здравствуй! – отвечаю я и глажу черный мокрый нос.

Но меня уже услышал и еще кое-кто. Из-за наших ворот раздается звонкий лай. Это Джек, дворовый пес... Нет, не тот Джек, рядом с которым прошло все наше с Юркой детство. Старого Джека уже нет, бедняги, и о нем мне очень грустно вспоминать.

Когда после пожара Юркина семья покинула дом, бабуш-

ка Лиза заявила, что с большим псом ей одной никак не справиться, его надо кормить да кормить, а где ей теперь взять столько остатков еды? Словом, Джека пристроили к родственникам тети Вали, а вместо него взяли другую собачонку, поменьше. Но старый друг, как говорится, лучше новых двух. Я очень огорчился: приезжаешь, а во дворе ни Юрки, ни Джека. Как-то мы с Юркой даже пошли к Валиным родственникам поглядеть на Джека, и я расстроился еще больше. Выглядел Джек прекрасно, потолстел, был ухожен, даже лоснился. Но что с ним стало, когда мы пришли! Как он прыгал на нас, обнимал, облизывал, визжал от радости! И как отчаянно лаял вслед, когда мы уходили!

– Ну, ничего, ему ведь здесь хорошо живется. Да и камнями никто в него не кидает, – утешали мы себя. – Это его просто встреча взволновала.

Но мы ошибались. Однажды Джек сбежал от новых хозяев и пропал. В старый двор почему-то не вернулся, никто его так больше и не видел.

Новую собачку тоже зачем-то назвали Джеком. Песик был симпатичный, но я, глядя на него, вспоминал другого.

* * *

– Кушать будешь?

Бабушка Лиза неизменно встречала меня этими словами. Могла бы и не спрашивать: конечно, буду! Но уж такая у ба-

бушки привычка. Что правда, то правда: голодным я в этом доме никогда не ходил, и еда была вкусная. Бабушка знала, что я не придирчив и съем, что подадут на стол, но неизменно докладывала мне, что сегодня сварено и как нелегко ей было готовить. Разумеется, из-за «спундилёза». Я обедаю, а она, усевшись напротив на диванчике, докладывает:

– Как схватил с утра, так и не отпускал! – Бабушка говорит о своем «спундилёзе», как о каком-то сказочном чудовище, с которым она сражалась весь день. – Хочу встать, не могу... Потом встала, разогнуться не могу... Еле обед сготовила!

Обедать и сокрушаться, скольких бабушкиных страданий заложено в приготовление этой еды, было бы довольно неприятно, но я научился почти не слушать её. Привык. Да и как не привыкнуть? Я слышал её жалобы и в раннем детстве, и школьником, приезжая на каникулы, и теперь слушаю ежедневно, став студентом. Ведь живу я здесь, у стариков, и только по выходным уезжаю к родителям в Чирчик.

Бабушкино повествование прерывает телефонный звонок. Кто звонит – и гадать не нужно: конечно, Тамара, тетка моя. Звонит она матери каждодневно, иногда по нескольку раз. Нередко, возвращаясь из института, я еще со двора слышу, как бабушка разговаривает по телефону с дочерью. Впечатление такое, будто они беседуют, сидя в одной комнате, потому что слышны голоса обеих – и зычный голос Тамары звучит при этом гораздо громче, чем голос бабушки. Тамара вообще не умеет разговаривать тихо или хотя бы нормально.

Бабушка торопливо семенит в спальню, где стоит телефон. Теперь я ее не вижу, но мне известно каждое ее движение. Схватив трубку, она одновременно сгибается, чтобы присесть на стул и в этой позе, прикрыв глаза, на мгновение замирает. Только после этого со страдальческим «ох!» бабушка плюхается на стул, на котором лежит мягкая подушечка. А в это время из трубки, которую бабушка держит примерно в полуметре от уха, уже разносится по всей квартире голос Тамары:

– Алло! Ты слышишь меня? Что ты там делаешь, а?

– И-и-и! – умоляюще произносит бабушка и трясет мизинцем свободной руки в ухе. – Не кричи! Прошу, не кричи!

«Не кричи»... Если бы Тамара кричала, трубку пришлось бы повесить на другом конце комнаты, как висели когда-то тарелки репродукторов.

Тамара, как может, снижает громкость (ненадолго). Бабушка, открыв, наконец, глаза, усаживается поудобнее на подушечке и нежно произносит:

– А, Томо-о-о-р, ту чи?

Говоря о своих сыновьях или беседуя с ними, бабушка Лиза произносит их имена буднично и без особых чувств. «Авнер, Миша, Робик». Одинаково что по-русски, что по-бухарски. Но имя дочери она произносит мягко, любовно. И повосточному протяжно: «Томо-о-о-р»...

Говоря с любимой дочерью, бабушка становилась особенно оживленной. Обычно беседа их начиналась короткой

фразой: «Какие новости?»» Иначе говоря, предложением посплетничать. В этом деле тетка моя была мастером высшей категории и могла тарыхтеть без умолку чуть ли не часами. Бабушка слушала с удовольствием. Порой, очевидно, вспомнив какую-нибудь свеженькую сплетню, она расширяла глаза, которые сквозь очки казались неестественно большими, начинала беспокойно ерзать на стуле и свободной рукой поправлять платок на голове. Так и видно было, что ей не терпится внести свою лепту в обмен «новостями». Если же в разговоре наступала пауза, это означало, что собеседницы собираются с мыслями, пытаются припомнить, о чем еще не рассказали друг другу. Иногда происходили «накладки», и бабушка деликатно напоминала дочери: «Ты про это уже рассказывала, Томо-о-р».

Покончив с «новостями», Тамара принималась давать советы. Поучать она тоже очень любила. Если случалось, что трубку брал я, то прежде, чем подходила бабушка, я получал от тетки множество полезных рекомендаций. «Бабушке помогай... Не забудь мусор вынести... Одевайся потеплее, на улице холодно». И тому подобное.

* * *

Занимаюсь за небольшим столиком у окна со знаменитой тюлевой занавеской, а бабушка лежит на кровати, отдыхает. Не спит, глаза открыты. О чем думает? Вспоминает про-

шное? Вряд ли. Ведь если спросишь ее, о чем-то давнем, рассказывает скупно и неохотно. Небось сейчас «новости» старается припомнить, которыми можно будет потом обменяться с Тamarой.

От кровати доносится похрапывание. Заснула... Убедившись в этом, я отодвинул учебник и вынул из портфеля полиэтиленовый пакет. Не обычный, из продуктового магазина, а «фирменный», то есть заграничный. На нем изображена английская машина «Роллс-Ройс», очень дорогая и очень красивая. Открыв пакет, я осторожно, стараясь не помять, вытащил его содержимое.

«Фирменной» мы в те годы называли любую вещь, сделанную за границей. И каждая из них – будь это пластинка, авторучка, рубашка или даже заколка для волос – считалась добротной, изящной, элегантной... Словом, особенной. Иметь «фирму» хотелось всем ребятам, которых я знал. Какой-нибудь, пусть самый дешевенький, фирменный предмет был почти у каждого из нас. О дорогих вещах мечтали, о них частенько говорили, счастливым владельцам тайно или явно завидовали.

Так вот, сейчас передо мной лежала не какая-нибудь там пластинка или авторучка. Передо мной лежали джинсы фирмы «Вранглер». Одна из самых желанных и дорогих фирменных вещей, о которой я давно мечтал.



Какие только мечты не уживаются спокойно рядом друг с другом в мальчишеской голове! Иногда до того несхожие... Робинзон Крузо, не кручинясь, ходил в одежде из звериных шкур и с увлечением обживал свой остров. Космонавт с презрением относился к любой одежде, кроме скафандра, и все его помыслы были о том, как бы оставить свои следы «на пыльных тропинках далеких планет». Превращаясь в этих героев, я был таким же. Но когда «вылезал» из них, у меня возникали мечты гораздо менее романтические, хотя тоже волнующие. Самой сильной из них и самой волнующей были джинсы. Принимая во внимание их цвет, можно сказать, что это была моя голубая мечта. И она мирно соседствовала с высокими и благородными помыслами.

Вот я иду – высокий, худощавый, черные волнистые волосы, выразительные карие глаза, приятная улыбка чуть-чуть приподнимает уголки губ... Словом, «комсомолец, спортсмен и просто красавец», как шутили у нас в институте... Ну, не спортсмен, но не всем же быть спортсменами! Все равно обаятельный. Ни на кого не глядя, я иду себе, широко шагаю. Но и не глядя вижу, как на меня смотрят, не спуская глаз, девчонки. Ильгиза тоже... Заметила, наконец, подняла свои длинные ресницы! И глаза совсем не такие строгие, как тогда, во время танца, когда я хотел чуть покрепче ее

обнять... Ах, Ильгиза, Ильгиза!... А я иду себе, шагаю и при каждом моем шаге «вшик, вшик, вшик» – трутся друг о друга штанины моих джинсов. О, это ощущение плотно облегающей ноги ткани, этот замечательный, ни с чем не сравнимый звук! Кстати, не только в звуке дело. В тех местах, где штанины трутся друг о друга, а также на заду, на коленях, джинсовая материя постепенно чуть-чуть стирается, светлеет. И эта потертость, эта разница в цвете, считается особым шиком. Вот почему я с таким удовольствием слушаю и ощущаю, как шуршат мои штанины...

Увы, только в мечтах! В реальной жизни шуршали и вшикали джинсы других парней. Мечтать о них я мог сколько угодно, но стоили джинсы двести рублей. О покупке не могло быть и речи.

В те годы джинсы были мечтой любого советского парня, любой девушки. В Советском Союзе, где было очень много хлопка, джинсовую материю почему-то не производили и джинсов не шили. Впрочем, когда же это советская легкая промышленность следила за модой и вкусами потребителей? Джинсы к нам попадали только зарубежные, нелегальными путями, и потому были невероятно дорогие! В наших краях только самые состоятельные ребята были владельцами джинсов, а остальные с завистью поглядывали на чужие задницы в желанных штанах, на кожаные лейблы с выжженными названиями фирмы: «Леви Страус», «Вранглер», «Ли»...

В нашей группе позволить себе такую роскошь могла

только Ирка Бровман.

Вот она появляется в коридоре, где мы, парни, стоим и треплемся. На ней белая, почти прозрачная блузка, сквозь которую видны и голые плечи, и грудки, упрятанные в импортный кружевной бюстгальтер (такие блузки мы называли «телевизором»). Ляжки же и попка плотно обтянуты джинсами.

– Леви Страус, – бормочет Лёнька Коган. – Новенькие...

– Смотрятся, – Тамбовцев мотает головой, – даже на такой заднице!

Действительно, в импортных джинсах Иркин толстый зад, над которым мы обычно посмеивались, выглядит довольно соблазнительно.

Мечтал я о джинсах с тех пор, как попал в институт. Но сегодня произошло событие, когда моя мечта и суровая реальность встретились лицом к лицу. Сегодня было 7 апреля, то есть день моего рождения. Кое-кто в группе знал об этом, меня поздравляли. Добрый Толик Тамбовцев протянул мне плоский бумажный пакетик:

– Лично сам и лично для тебя... – Слово «лично» Толик очень любил.

– Лично благодарю, – ответил я, с любопытством разворачивая пакетик. В нем была чеканка: Роза на небольшом листе металла.

– Неужели сам? – ахнул я.

– Ага... – Толику приятно было мое восхищение. – Лич-

но... Посто́й-ка, я тебе еще кое-что покажу. Подарить не смогу, но... – И Толик, щелкнув замочками, открыл свой знаменитый «дипломат». Знаменит он был тем, что вместо институтских учебников и конспектов в нем лежали предметы совсем другого назначения и вида, как то: «фирменные» пластинки, темные очки, жевательная резинка, а из одежды чаще всего джинсы... Я уже, кажется, писал о том, что Толик зарабатывал на жизнь такого рода нелегальной торговлей.

Сердце мое почему-то ёкнуло, когда Толик вытащил из «дипломата» фирменный пакет. Я сразу понял, что в нем.

– «Вранглер», – пояснил Толик. – Моченые... Ношенные, но совсем чуток. Зато на пятьдесят дешевле. Всего, значит, сто пятьдесят... Послушай-ка, может, старик на твой день рождения раскошелится?

Это он говорил о моем отце.

Не поднимая головы, я щупал плотный материал. Джинсы мне очень понравились... «Мочеными» мы называли джинсы, хоть раз постиранные. При этом они могли быть и уже ношенные, и совершенно новые, «моченые» только для большего шика. Делали это деликатнейшим образом, вручную, конечно, а не в стиральной машине. Джинсы следовало замочить в тазике с небольшим количеством порошка и оставить часа на два отмокать. Потом их осторожно терли руками и отполаскивали. Джинсы чуть-чуть линяли, светлели, потертые места на них выделялись посильнее. Вот такие джинсы и принес Толик. Выглядели они отлично.

– Ну, как? – спросил Толик. – Берешь? Послушай-ка, отнеси домой, покажи своим... А там уж как получится.

Я кивнул.

Эти самые джинсы и лежали сейчас передо мной на столике. Я поглаживал их, тоскливо смотрел во двор сквозь тюлеву занавеску и думал, думал... «Сорок – стипендия, двадцать есть в зачатке, еще сорок займу у деда до следующей... Да нет, дед не даст!» Я очень ясно увидел лицо деда. Его густые брови приподнимаются, потом сдвигаются, он смотрит на меня с тревогой: мол, не приболел ли ты, внучек? Еще бы, ведь для деда нет лучше брюк, чем ватные!

Бабушка всхрипнула за моей спиной, я вздрогнул, оглянулся... Попросить, что ли, у нее, когда проснется? Она со мной как-то подороже стала, поласковее. Ведь я здесь живу, к тому же студентом стал. Она это уважает... Скажу ей: «Теперь все носят такие, а у меня нет... Не добавишь ли мне...» Нет, сорок рублей я не попрошу, язык не повернется. Скажу: «Не добавишь ли немного?»

Я вообразил, как бабушка Лиза сквозь очки внимательно разглядывает джинсы, качает головой и бормочет: «Ой, какие дурные штаны... А стоят, наверно, рублей двадцать, а, ВалерИК? Ох, да нет у меня денег таких, ничего нет...» И то правда, думаю я. Ведь бабка каждое утро у деда деньги просит...

Значит, сорок рублей никак не достать. Отпадает. Но даже с ними было бы только сто. А еще пятьдесят где брать? С

отцом, конечно, и говорить не стану. Просить у мамы?

Я представил себе, как в субботу приеду в Чирчик. Поцелуи, поздравления. Потом мама отправляется на кухню – ведь гости приглашены на мой день рождения... Тут я и подхожу к ней с фирменным пакетом в руках. Мама вытирает руки о фартук, щупает штанину джинсов, потом, всплеснув руками, поднимает на меня свои прекрасные глаза. В них – полное недоумение.

– Сто пятьдесят-ат? Вот за э-это линиялое старье?! Валера, у тебя же такие хорошие брюки... Совсем новые!

Все понимает мама, но объяснить ей, что такое «моченые» джинсы и почему они стоят сто пятьдесят, совершенно, совершенно невозможно!

Я вздыхаю, кладу джинсы в пакет и прячу в портфель.

Глава 9. Пытаюсь стать спортсменом

– Ну, вперёд! – скомандовал Димка-боксер и, чуть пригнувшись, уверенным, пружинистым, довольно быстрым шагом начал подниматься по крутому склону горы. Мы двинулись за ним, стараясь не отставать. И сразу же выяснилось, что это не так-то легко. Совсем нелегко! Своими собственными ногами я ощутил, что гора намного круче, чем казалось, когда мы глядели на нее со стороны. Пришлось идти, пригнувшись. Но не так, как Димка, красиво устремившись торсом вперед, а как-то униженно, почти утыкаясь носом в склон и хватаясь для устойчивости руками за ближайшие кустики и камни... За спиной у меня пыхтел Эрудит, и по его дыханию можно было догадаться, что Рудику не легче, чем мне. Ридван, правда, обогнал нас и шел почти наравне с Димкой. Так Ридван ведь спортсмен!

* * *

Уже больше недели почти вся наша группа отдыхала в летнем спортивно-оздоровительном лагере «Хумсан», в отрогах Тянь-Шаня, часах в трех-четыре езды от Ташкента. В июне-июле лагерь принимал студентов-спортсменов, в августе – преподавателей. Вы спросите, почему это я оказался в таком избранном обществе? Врать не стану: случайно. Про-

сто повезло.

В нашем институте ежегодно проводились спортивные соревнования между факультетами. Состязались волейболисты, гимнасты, боксеры и прочие, в том числе шахматисты. Шахматы были единственным видом спорта, к которому я имел отношение. Мы с Кимом оба входили в команду, представляющую физфак. Прославиться нам не удалось. Ким, правда, дошел до полуфинала, а я выиграл только две игры из восьми. Но так как наш физфак победил суммарно по всем видам спорта, всех, кто участвовал в соревнованиях и играх, а значит, и нас с Рудиком, наградили бесплатной трехнедельной поездкой в «Хумсан».

Приехали мы сюда в начале июля. Лагерь оказался – что надо! Несколько домиков и палаток на пологом зеленом склоне окружены были горами, горами, горами, плавно, волна за волной, уходящими в бесконечную даль. Будто ничего, кроме гор, больше и не было на планете Земля. Горы были кудрявыми, зелеными. Воздух здесь был до того чист и свеж, что в первые дни мы просто не могли надышаться, хотелось глотать его и глотать, пить его, как ароматный напиток. Горная речушка, быстрая и мелкая, огибала лагерь. Берега ее были усеяны бугристыми каменными глыбами, такими огромными, будто какой-то великан раскидал их здесь, играючи. На этих горячих глыбах так приятно было растянуться, искупавшись в холодной, прозрачной воде. Кстати, речка тоже называлась Хумсан – у нее лагерь и взял свое на-

звание. Вокруг домиков, радуя и глаз, и желудок, росли яблони, вишни, персики. Но особенно хороша была небольшая долина чуть в стороне от лагеря. Тут уж природа сама, без помощи садовода, вырастила и дикие яблони, и грецкие орехи, и гигантский дуб с такой густой и тенистой кроной, что под ней ничего не росло – и мы нередко приходили на этот замечательный стадиончик погонять футбол.

К этому надо добавить, что жизнь в лагере была довольно свободной: зарядка по утрам, занятия в секциях днем, дежурства на кухне – вот, кажется, и все обязанности. А дальше – гуляй, развлекайся. Кто как может и хочет...

Поход в горы и посчитали мы поначалу одним из таких развлечений. Скорее даже, приключением. Альпинистские песни Визбора и Высоцкого, которые мы все распевали под гитару, здесь, в горах, звучали особенно романтично. А тут еще привязался как-то к нам – то есть к Ридвану, Рудику и ко мне третьекурсник Димка, один из факультетских боксеров. «Как, ни одного восхождения? Позор! Вы, парни, какие-то отсталые! Пойдете со мной...»

Кстати, сам Димка стал таким скалолазом вовсе не по своей воле. Тренер гонял его в горы чуть ли не ежедневно. «Замечательная тренировка, лучше не бывает», – говорил тренер. Теперь шла уже вторая неделя нашей жизни в «Хумсане», и Димка даже успел полюбить восхождения.

С такой тренировкой да еще с его-то сильными ногами и жилистой мускулистой спиной, хорошо было шагать да

шагать по этому чертову склону! Да еще каким-то, на мой взгляд, странным образом. Я хоть и не был альпинистом, слышал, что в гору ходят зигзагом, серпантинном, удлиняя путь, но уменьшая крутизну подъема. Мы и на большие холмы в Чирчике обычно так лазали. А Димка поднимался почти по прямой, разве что обогнет какой-нибудь выступ скалы или куст... Спросить, почему он ломится прямо, я не решился. Спрошу – и обнаружу свою слабость. Такой уж он человек, ему непременно надо идти «по пути наибольшего сопротивления!» Он и на ринге предпочитает схватки с теми, кто повыше да посильнее его.

Словом, уже минут через десять после начала подъема я понял: зря я пошел с Димкой в горы. Это было так же глупо, как если бы я вышел состязаться с ним на ринге. Раньше я и не представлял себе, что время способно так растягиваться! Я вспотел, болели ноги. А уж спина... Мне нестерпимо хотелось разогнуться, остановиться, сказать, «давайте-ка отдохнем». Но тут я взглянул на часы... Нет, просить сейчас об отдыхе было просто невозможно!

Однако минутой-другую спустя Рудик, пыхтевший чуть позади, вдруг вскрикнул и выругался, вниз с шумом посыпались камушки, затрещали ветки. Судя по звукам, Ким неудачно поставил ногу и чуть не сорвался вниз... Еще бы, ведь шли мы не в горных ботинках, а в обыкновенных кедах. На осыпях они плохо держали ногу и вообще были слишком легки даже для таких несложных восхождений.

– Эй, вы! Давайте передохнем! – закричал Рудик.

– Не возникай, – отозвался Димка, не оборачиваясь. – Чего еще выдумал, мы только вышли!

Эрудит что-то пробурчал в ответ и снова запыхтел, но очень скоро стал ворчать, не переставая. У меня полегчало на душе: не один я оказался «слабаком» и не первым признался в этом. Теперь я уже мог присоединиться к Киму:

– Димка, имей совесть! Мы же в первый раз!

Димка ответил какой-то не очень приличной шуткой насчет первого раза и продолжал ломить вверх... Ридван довольно бодро шагал за ним, время от времени с сочувствием оглядываясь на меня. А солнце пекло все сильнее, и каждый следующий шаг казался уже совершенно непосильным...

Примерно через час, когда мы добрались до какого-то сравнительно пологого местечка, я, вместо того, чтобы выпрямиться, повалился на камни. Не встану ни за что, подумал я. И тут надо мной вдруг раздалось:

– Ну, ладно, парни, перекур! – сжалился Димка.

Но и сжалившись он продолжал нас воспитывать.

– Шахматы – это, конечно, хорошо, – говорил он Киму, отпивая из фляги, – но нельзя же все время штаны за столиком просиживать! Мускулы от этого вообще... того... рассасываются!

– Зато кое-что другое прибавляется! – огрызнулся Рудик, постукивая себя пальцем по голове. – А сюда влезешь раздругой, так последние мозги выжарятся!

Димка поморгал белесыми ресницами, раздумывая, обижаться ему или нет.

– Возникаешь ты много, Ким! – вздохнул он.

Я постепенно начал приходить в себя. Здесь, на площадке под выступом скалы, было прохладно, тенисто, поддувал ветерок. А какой вид открывался! Лагерь наш тоже был довольно высоко, но тут... Отсюда лагерь, если бы мы могли его видеть, показался бы лежащим в долине. Но лагерь заслоняла соседняя гора, и только речушка, его огибавшая, то поблескивала внизу на солнце, то пряталась между горами.

– А где-то во-он там – Чорвак. – Ридван протянул руку на запад, туда, где за грядями гор на Чорвакской долине, построена была огромная гидроэлектростанция, снабжавшая энергией чуть ли не весь Узбекистан. Этой электростанцией в республике очень гордились, о ней много писали в газетах. Почему-то время от времени по Ташкенту прокатывался слух, что Чорвакскую плотину могут взорвать диверсанты или даже собираются это сделать, и тогда будет затоплена вся местность вокруг, в том числе и Ташкент, стоящий более чем на сто метров ниже плотины. Говорили, что и получаса для этого достаточно.

Панические слухи, самые разнообразные, распространялись по Ташкенту довольно часто. Чаще всего о диверсиях на предприятиях. Может быть, ощущение тревоги создавало то, что неподалеку была граница с Китаем, где время от времени происходили небольшие конфликты. Но главная при-

чина страхов была, конечно, не в этом...

Вредителями, шпионами, врагами народа, диверсантами людей в Советском Союзе стращали непрерывно. Людям с детства вбивали в голову, что они окружены врагами, внешними и внутренними. Враги – повсюду! Чудовищные репрессии тридцатых годов совершались якобы для борьбы с ними. Но «борьба» не прекращалась и потом. За годы существования советской власти вредителей, диверсантов и шпионов поймали столько, что могло бы показаться, преступником был каждый второй житель страны и неисчислимое количество иностранцев.

Очень точно и смешно написал об этом замечательный писатель Фазиль Искандер. Маленький мальчик, герой одной из его повестей, смотрит бесконечные шпионские кинофильмы. В каждом кишлаке кишат шпионы, и всех их обязательно вылавливают. Ни одному не удастся удрать... Ну, думает мальчик, хоть бы один шпиончик утаился, вот тогда было бы ясно, что он завербует новых вредителей, вызовет по рации новых шпионов из-за границы... А иначе – откуда они берутся? Словом, шпионские картины казались ему не очень-то правдивыми.

Увы, этот маленький мальчик был умнее и проницательнее миллионов и миллионов своих взрослых соотечественников. История показывает, что запугать и оболванить людей совсем не так уж трудно.

Мы вышли из лагеря около десяти, а сейчас уже было больше одиннадцати, и бледно-желтый солнечный шар, сливавшийся с белесоватым небом, стоял почти в зените. Полезем дальше, совсем спечемся, уныло думал я, поглядывая на небо. Ноги все еще гудели, ныла спина, я чувствовал слабость, и она разрасталась, разливалась по всему телу при одной только мысли о том, что опять придется ползти вверх практически на четвереньках.

– Ну, братва, по коням! – сказал Димка, бодро поднимаясь и расправляя широкие плечи.

Я поглядел в его веснушчатое красное лицо с обгоревшей переносицей и с решимостью, неожиданной для себя самого, помотал головой:

– Не-е, дружбан. Не пойду. Подожду вас здесь, в тенечке, – сказал я как ни в чем не бывало и даже небрежно. А у самого противно ёкнуло внутри – сейчас застыдят, засмеют...

– И я подожду. На пару с Валерой, – сказал Ким и уселся поудобнее, прислонившись спиной к большому камню...

Ну конечно! Я мог бы догадаться, что и Ким не пойдет. Теперь уж мне неважно было, что скажет Димка. Но вот Ридван... Перед Ридваном, близким другом, было стыдно. Поэтому я и не глядел на Ридвана. И вдруг услышал его голос:

– Дим, ты как будешь возвращаться? Этим путем? Когда

примерно?

Да, Ридван был настоящим другом. Он оставался – и, конечно, из-за меня, чтобы мне не было стыдно! Он-то мог спокойно взобраться на эту проклятую гору не хуже Димки.

* * *

Ридван был гимнастом. И совсем неплохим. Он записался в гимнастическую секцию с самого начала учебного года и правильно сделал. Ридван был крепким парнем, привыкшим у себя в колхозе к физическому труду. Но все же вскоре после нашего возвращения с хлопка, когда наступила зима, он начал болеть. Дело в том, что общежитие институтское, где ему пришлось поселиться, отапливали зимой отвратительно. Бывало, что вообще не топили. Заходя к Ридвану, я просто в ужас приходил: как можно здесь жить? Кстати, не только из-за холода – мне это общежитие вообще казалось довольно неприятным. По ночам сюда часто просачивались чужие ребята, ломались в комнаты к девочкам, а то и начинали «выяснять отношения» с парнями. Завязывались жестокие драки. Словом, неуютное это было местечко. К тому же еще и холодное. Иногда на улице было теплее, чем в большой (её населяло шесть парней) комнате Ридвана. Стекла на окнах в такие дни затягивала толстая корка льда, а изо рта шел пар. Даже дверка шкафа издавала, открываясь, пронзительный, резкий скрип – так скрипят в лесу в морозные дни сухие де-

ревья... Б-р-р! Когда такое случалось, я, конечно, у Ридвана не засиживался, а, наоборот, старался его вытащить к себе. В дом к старикам, зная бабушкин характер, я его приглашать не мог, ведь я и сам там жил не у себя. Но в Чирчик, куда я в первом семестре уезжал на выходные, звал не раз. Ридван в ответ только головой мотал и невозмутимо говорил: «У нас в колхозе и не такое бывало!» Удивительно был неприхотливый парень! И вообще очень хороший. Что мне сразу в нем понравилось – это его простота, доброжелательность, скромность. «Буду сельских детей обучать в школе», – говорил он, как о чем-то уже решённом. Это на первом-то курсе!

Так вот, другие ребята из общежития, увидев, что опять не топят, разбегались кто куда, и Ридван, бывало, ночевал в этом леднике один. «Принимаю перед сном сто граммов – прогревает на всю ночь», – объяснял он мне. Но прогревало не слишком-то хорошо. Ридван несколько раз простужался так сильно, что даже и у него не хватало сил продолжать единоборство с холодом. Больной, с высокой температурой, он уезжал в колхоз, к родителям, и отлеживался там в тепле.

Закончилось бы это «вымораживание», скорее всего, хроническим воспалением легких, но выручила гимнастика.

Ридван занимался гимнастикой увлеченно. В спортзале он просто пропадал, проводил там каждую свободную минуту. Мы виделись постоянно, поэтому я не сразу заметил, как меняется мой друг. Но вот как-то стояли мы с ребятами в институтском вестибюле, и Валерка Круглов окликнул

спускавшегося с лестницы Ридвана: «Эй, парень, ты выдохни, выдохни!» Все расхохотались. И тут я, как это иногда бывает, увидел Ридвана словно бы другими глазами. К нам подходил атлет, почти супермен, каких мы видим в кино: под рубашкой перекачиваются бицепсы, грудь колесом. Действительно, кажется, что он вздохнул изо всех сил, выпятил грудь – и не выдыхает. Недаром столько девчонок вокруг него вертится и глазки строят, подумал я с завистью...

Не могу сказать, чтобы я был хилым, но стать спортсменом мне почему-то никак не удавалось. Что-то в этом было почти фатальное.

Началось мое невезенье еще в младших классах, на уроках физкультуры. Правда, не сразу. С прыжками и со спортивными играми я справлялся. Бегал довольно хорошо, даже занял второе место в классе. Первым был некий Петька Богатов, которого я безуспешно старался обогнать. И, хотя мне это не удавалось, думаю, что соперничество, подстегивая нас, помогало и ему, и мне. Оба мы улучшали свое время, он – слыша у самого уха мое прерывистое дыхание, я – со злобой глядя в его затылок...

Но вот наступил день, когда нас стали учить лазать по канату. Такому толстому, плетёному, вполне надежному на вид. Ребята, стоявшие передо мной, чуть подпрыгнув, ухватывались за него, подтягивались на руках, упирались в канат ногами и, перебирая, перехватывая руками и ногами, поднимались все выше, выше. Некоторые даже долезали до са-

мого потолка. Но когда настала моя очередь, я понял, что у этого надежного каната есть кое-какие недостатки. Как я ни подпрыгивал, мне не удавалось ухватиться за его нижний конец. Ростом я не дотягивал до остальных ребят потому, что был на год младше всех в классе. Все это знали, конечно, но смеялись надо мной, глядя на мои прыжки под коварным канатом, с таким удовольствием, будто находились в цирке, а я был клоуном. Вспотевший, красный как помидор, я кидал умоляющие взгляды на учительницу Екатерину Ивановну. Что ей стоило на самом деле приподнять меня немного! Но Екатерина Ивановна в ответ только покачивала головой: «Сам. Давай сам». Подпрыгнув изо всех сил, я ухватился, наконец, за канат и повис на нем. Теперь надо было подтягиваться. Но как? Мое тело сразу стало невероятно тяжелым, я висел, раскачиваясь и извиваясь, а ребята хохотали. Я попробовал перехватиться одной рукой повыше – но разжалась почему-то обе руки, и я шлепнулся вниз...

В тот день я твердо решил записаться в школьную секцию акробатики, ее как раз только что открыли. Я даже сходил поглядеть, как там ребята пытаются крутить «солнце» на турнике, прыгать через «коня», как высоко и лихо взлетают над батутом. Очень мне все это понравилось! Но родителей моя акробатическая идея почему-то совершенно не вдохновила. «Чепуха это», – сказал отец. Не помню уже его доводов, скорее всего, он, как тренер-баскетболист, считал акробатику делом легкомысленным и несерьезным. Я был тогда

еще вполне послушным ребенком и в секцию акробатики не пошел. А в другую мне не хотелось... Кстати, она вскоре почему-то закрылась.

После этого мое стремление заниматься спортом довольно быстро исчезло. Очевидно, для того чтобы оно возникало, нужны были какие-то особые поводы, а, возможно, и удары по самолюбию, как при борьбе с канатом. Так и получилось, что только через много лет дружба с Ридваном снова пробудила во мне тягу к спорту.

Ридван очень обрадовался и взялся подготовить меня к поступлению в секцию. «Тут нет ничего сложного, – уверял он, – только надо много качаться». Словом «качаться» Ридван обозначал любые физические упражнения. «Много качаться» означало, что упражняться надо непрерывно. Так он и делал: упражнялся в спортзале, в общежитии, на лекциях и в перерывах между ними. Во время лекций Ридван разрабатывал кисти рук эспандером, в перерывах прыгал через прыгалку. Эти нужные вещи всегда лежали в его портфеле.

Под неустанным руководством Ридвана я тоже начал «качаться». Купил себе эспандер и прыгалку. Руки от эспандера, конечно, крепили, но слушать при этом лекции и запоминать объяснения преподавателей стало почему-то гораздо труднее... После занятий шли мы с Ридваном в его «общагу», и он начинал гонять меня. Приседания, стойки на руках, подтягивания на турнике, встроенном в проем двери, отжимания с пола... Ридвану ничего не стоило отжаться несколько

десятков раз подряд. Нередко с дополнительной нагрузкой: кто-нибудь из соседей по комнате усаживался ему на спину. Теперь этой нагрузкой – в перерывах между собственными упражнениями – сделался я... Ридвановы соседи, глядя на нас, упражнялись в остроумии.

– Ты почему моё место занял? – горестно вопил очкарик Петя, парень довольно грузный. – Такое было удовольствие покататься на Ридванчике!

– Слишком ты увесистый, вот Ридван и ослаб... Другое дело – тощий Юабов! – хохотали остальные.

А уж когда я принимался делать отжимы, особенно поначалу, насмешкам не было конца. Но мы с Ридваном стойко всё переносили, и тренировки продолжались. Уходил я, еле волоча ноги. А Ридван, похлопывая меня по плечу, неизменно говорил одно и то же: «Сегодня было лучше... Уже скоро». Это означало, что скоро он сможет привести меня в гимнастическую секцию, и я буду принят.

Но даже Ридван с его дружбой и упорством не смог преодолеть тех фатальных причин, по которым мне не суждено было стать спортсменом. Однажды – действительно довольно скоро после начала наших тренировок – он подошел ко мне очень расстроенный и сообщил:

– Набора больше не будет... Тренер сказал сегодня.

– Вот тебе и скоро! – пробормотал я. И мы, поглядев друг на друга, захохотали.

Поняв, что стать спортсменом мне опять не удалось, я

прекратил мучительные тренировки и ограничился шахматами. Что ж, это тоже считается спортом. Вот даже и в «Хумсан» я попал...

* * *

Неплохо устроившись на тенистом уступчике горы, мы часа полтора дожидались возвращения Димки. Но вот раздался шум шагов, посыпались камушки. Мы встретили нашего альпиниста громкими «ура», как покорителя вершин, и градом шуток, полагая, что нападение – лучший способ обороны. Спускаться вниз было гораздо легче, потому что шли мы серпантинном. Димка, конечно, поглядывал на нас с насмешливым сожалением – ну и чёрт с ним! Мы с Кимом были очень довольны, что прервали восхождение. Пусть он сам изнуряет себя спортивными подвигами, а мы вот сэкономили силы для настоящего удовольствия: сегодня вторник, а по вторникам в лагере вечера танцев.

* * *

«Добро пожаловать в гостиницу «Калифорния»,
Вы найдете нас здесь в любое время года...»

По всему лагерю, по всем окрестным горам, отдаваясь эхом, гремит рок-музыка. Старый магнитофон «Лада» хри-

пит, конечно, ужасно, а колонки усилителя, кажется, вот-вот разлетятся, развалятся, не выдержав силы звуков, но что за беда! Песню «Гостиница Калифорния» никакой хрип испортить не может.

Большая танцплощадка залита светом ярких ламп. Пронзительно звенит соло-гитара, в едином ритме движется, топчется, сгибает колени, покачивает плечами и бедрами толпа студентов. Музыка так завораживает, что поглядишь со стороны – вся толпа словно под гипнозом...

Английская группа «Иглс» прославилась благодаря песне «Гостиница Калифорния», которая стала в этом году классикой рок-н-ролла, облетела весь земной шар. В нашу компанию её принес не кто иной, как Лёнька Коган.

Лёнька не просто поклонник рока, Лёнька отдает ему душу, силы, время. Взять, к примеру, эту самую «Калифорнию». Мало того, что Лёня следит за ростом популярности группы «Иглс», доставая где-то зарубежные музыкальные журналы. Мало того, что раздобыл запись этой песни. Мало того, что разучил её и поет, аккомпанируя себе на гитаре. Мало того, что запомнил английский текст – он перевел его на русский, как и слова множества других песен. Чтобы мы понимали, что поем... Сам-то Лёнька стал понимать английский благодаря увлечению музыкой. Он терпеливо исправляет наше произношение – стыдно, говорит, калечить слова, это уродует песню. Впрочем, и он иногда любит пошутить, немножечко исказив текст, заменив английские сло-

ва русскими или узбекскими, похожими по звучанию. В песне «Белладонна», например, тоже одной из наших любимых, есть слова «аут оф рич, аут оф тач», то есть «не достичь, не прикоснуться». Однажды Лёнька был в веселом настроении и заменил эти слова узбекскими: «арак ич, арак оч». Звучит почти так же, а означает – «водку пей, водку лей»... Ну, мы, конечно, были в восторге.

«Велком ту зе хотэл Калифорния...» – гремит в усилителях, гремит в горах. Подпевают песне все танцоры, подпеваем и мы с Наташей. Но слушаю я сейчас только её голосок.

Моя партнерша, третьекурсница Наташа, очень мне нравится, и я ей, кажется, тоже. У нее тонкая талия, брюки в обтяжку, концы блузки завязаны на животе узлом, у нее каштановые волосы и блестящие карие глаза, словом, «комсомолка, спортсменка и, наконец, просто красавица». С каждым танцем я стараюсь прижаться к ней еще теснее, так, чтобы ее упругая, высокая грудь прикасалась к моей груди. Это... Впрочем, понятно, что я испытываю. Я чувствую дыхание Наташи возле моего уха, касаюсь ее щеки, волос, вдыхаю запах ее духов. Я тайком заглядываю за распахнутый воротник ее рубашки, где колышутся два нежнейших полушария. И тут уж я балдею окончательно. Как говорят у нас, тащусь по-настоящему.

Но вот исполнена последняя песня группы «Иглс». Танцы закончены, Наташа, улыбнувшись мне на прощанье, ушла с девчонками в свою палатку... Эх-х! Какой же я всё-таки бал-

да!

Как-то так получилось, что у меня в лагере «близкие отношения» с девушками ограничивались танцами. У многих не ограничивались. У любого из нас плоть бунтовала именно так, как должна бунтовать у юных, да еще на отдыхе, да еще в горах. Днем влюбленным парочкам было раздолье: и времени много свободного, и укромных уголков сколько угодно. Но как только наступала ночь, за нашим поведением начинали следить строже, чем в монастыре. Сразу после отбоя мальчики должны были находиться в своей огромной, на пятьдесят человек, спальне, а девочки – в своих палатках. Какие-то взрослые парни (вероятно, дежурные, назначенные администрацией) уже не раз и не два проверяли, все ли на месте, пересчитывая нас, как пересчитывают заключенных в тюрьме. Но ведь давно известно, что особенно сладок именно запретный плод. И в лагере, конечно, находились смельчаки, нарушители монастырских правил...

* * *

Сегодня после танцев у нас оставался до отбоя еще целый час, и мы собирались провести его, как обычно – то есть в своей компании.

По хрустящей гравием дорожке идем к своему домику. Девчонки убежали вперед, их смех где-то вдалеке переплетается со звоном цикад. Ночью и смех, и голоса звучат со-

всем иначе. И особенно это чувствуется в горах. Я почему-то представляю себе, как тихо станет в лагере после отбоя. По горному тихо. Погаснут фонари. Замолкнут цикады. Горы придвинутся еще ближе. Как хорошо было бы сидеть, обняв её, прижав её к себе...

– Эй, очнись! Ты почему не отвечаешь? – и меня по плечу хлопает Валера Круглов.

...Сидим, кто на чем, возле кругловской койки, а на койке – Валера и Лёнька Коган со своими гитарами. Кстати, мой тезка – тоже хороший гитарист, хотя в отличие от Лёньки редко показывает свое мастерство. И поет славно, особенно песни Высоцкого. У Валеры своя манера: без хрипоты, мягко, негромко, душевно. Но Высоцкого понимает, доносит. Когда поет про гибель лошадей, так просто слезы на глаза наворачиваются.

Впрочем, сегодня после танцев нас не тянет на Высоцкого. Мы еще полны роком.

О, Белладонна,
Невер нью тзе пейн...

«Белладонна» – тоже одна из наших любимых песен, ее исполняет группа «Ю. Эф. О.». Это – когда мы слушаем записи. Но сейчас Коган и Круглов исполняют ее на двух гитарах, а мы подпеваем. «Аут оф рич, аут оф тач»... Сегодня ребята в ударе, мы поем всерьез, слов не искажаем... Все, кто

сейчас в спальне, подвалили на звуки «Белладонны» к нашей компании, весь физфак подпевает гитаристам. А они жарят вовсю. Валера временами посматривает на Лёнькины пальцы – он еще не все аккорды этой песни запомнил. Жаль, что гитары у ребят отечественные, то есть никудышные, из фанеры, а не из настоящего дерева. Ведь гитара так же, как и скрипка, инструмент «чувствительный». Звучание ее во многом зависит от того, из каких пород дерева она сделана. Гриф изготавливают из твердых, плотных пород, заднюю стенку – из дерева помягче, лицевую сторону – из еще более мягкого. Инструменты из ценных пород стоят, понятное дело, дорого. А уж если их сработал известный мастер... Все знают, какие бешеные деньги платят скрипачи за инструмент, вышедший из рук настоящего мастера (уж не будем говорить о скрипках Страдивари). Слава мастеров, делающих гитары, не так громка, но знатоками они почитаемы. И о хорошей гитаре мечтает каждый гитарист.

Мечтает и наш Лёнька Коган. Он давно уже копит деньги на импортный инструмент. Однажды он взял у кого-то чешскую гитару и пришел с ней в институт. Хороша была, ничего не скажешь, отполированный темный корпус блестел, как зеркало. И струны звучали глубоко, мягко. Дав нам полюбоваться гитарой, Лёнька исчез куда-то, мы так и не видели его на лекциях. Оказалось, он весь день просидел в укромном уголке возле спортплощадки и играл, играл.

Хороший Лёнька человек! Мне кажется, любовь к музыке

отразилась и на его характере. Этот широкоплечий невысокий парень с гривой волнистых волос удивительно спокоен, вывести его из себя просто невозможно. У нас в группе много остряков, которые это пытаются сделать. В общем-то, это не очень честно. Лёнька не трус и может почти с любым в группе помериться силами. Но все знают о его добродушии: он за грубость не только тумака не даст, даже и не ответит. Усмехнется, пожмет плечами, если у него в руках гитара – возьмет парочку аккордов: мол, чего ты пристал?

А как Лёнька бывает доволен, если кто-нибудь просит его: «Поучи играть!» Какой он терпеливый и старательный учитель! Я знаю это не с чужих слов: ведь я один из Лёнькиных учеников. Ридван тоже у него учится, а иногда присоединяется и Рудик. Еще во время хлопковой страды мы донимали своими просьбами и Когана, и Круглова. Но староста наш нетерпелив, хватало его минут на десять, не больше, так что вскоре мы перешли «в класс профессора Когана». Заниматься решили серьезно: свой «хлопковый капитал» потратили на покупку гитар. Отечественных, конечно, о настоящих пока и мечтать не приходилось...

Здесь в лагере мы почти каждый день уделяем уроку сколько-то времени перед отбоем. Сегодня после танцев и пения времени осталось совсем немного, но все равно мы приступаем к занятиям.

– Не совсем так. Смотрите...

Левая Лёнина кисть – на грифе гитары. Вытянутым указа-

тельным пальцем он прижимает все шесть струн. А три других пальца прижимают пониже вторую, третью и пятую струны. Пальцами же правой руки Лёня в это время ударяет внизу сразу по всем струнам.

Лёня показывает нам аккорд до минор. Этот чертов аккорд совсем нас замучил, уже несколько месяцев его разучиваем, а получается плохо.

Но Лёня терпелив.

– Прижимай сильнее... Вот так...

Сильнее... У Лёни на подушечках пальцев самые настоящие мозоли, а мои пальцы после уроков первое время кровоточили, да и теперь еще подушечки, хоть немного и затвердели, продолжают болеть.

– Следите внимательно за моими пальцами!

Лёня перебирает струну за струной. Каждый звук – отчетливый, звонкий. Это – у него, у нас пока так не получается, потому что струна, прижатая плохо, неправильно, сипит, дребезжит, как простуженный голос. А то и вообще не издает звука... Лёнька показывает снова и снова, как надо держать кисть.

– Когда делаешь аккорд, вообрази, что в руке яблоко», – уже в сотый, наверное, раз напоминает учитель. Я пытаюсь, но кисть моя не слушается, она почему-то напрягается так, что напоминает краба с растопыренными клешнями...

Но вот и одиннадцать, почти все ребята укладываются. Разбрелись и мы по кроватям. Ещё до того как погас свет,

несколько раз стучала дверь и вбегали запыхавшиеся донжуаны. Уже в темноте я услышал, как кто-то хихикнул:

– А Савельева-то опять нет!

Из всех наших донжуанов пловец Серёга Савельев был самым бесшабашным, кровать его после отбоя пустовала не в первый раз.

* * *

Раньше всех пробуждался Димка. Нас и так-то поднимали рано, в полседьмого. А он чуть ли не в шесть утра начинал топотать своими ножищами по комнате и хлопать дверями. Зарядку он, видите ли, особую делал с утра пораньше! Вдогонку Димке, кроме сонного ворчанья и ругани, порой летели и тяжелые предметы.

В это утро я спал так крепко, что не слышал ровным счётом ничего, пока Димка не проорал во всю мочь:

– Эй, просыпайтесь! Савельева словили!

Димка, оказывается, уже выйдя из дома, услышал от кого-то новость и вернулся, чтобы сообщить нам: Савельева застучали ночью в одной из девичьих палаток, мало того – в постели. У Лильки. Всем нам было известно, что пловчиха Лилька его подруга. Но чтобы в общей палатке... Мы погоготали сначала, представив себе, как фонарик дежурных осветил четыре ноги, торчащие из-под одеяла на койке. Потом стали спорить да гадать, что теперь будет. Сошлись на

том, что и Серёга Савельев, и Лилька скорее всего из лагеря вылетят. Ну, так ведь знали, на что идут! Зато ни в чем себе не отказывали! И мы снова принялись хохотать и сочинять подробности свидания.

В таком вот веселом, даже приподнятом настроении отправились мы на утреннюю линейку, ожидая, что и здесь позабавимся. Линейка проводилась на танцплощадке. Как обычно, мы выстроились по кругу, все еще возбужденно переговариваясь. И вдруг разговоры смолкли. В центре площадки стояли, оказывается, эти двое – Лилька и Серега. И это уже было совсем не смешно. Они стояли мрачные, осунувшиеся, побледневшие. Какие-то... Ну, словом, как привязанные к позорному столбу, как приговоренные к казни. Думаю, что не только я, а все ребята почувствовали это. Поэтому-то и наступила тишина.

Да, мы как-то не ожидали, что их выставят вот так на позор, перед всем лагерем. В этом было что-то отвратительное, гораздо более непристойное, чем то, что эта легкомысленная парочка сделала ночью. Но руководители лагеря так не считали. В центр круга вышел один из преподавателей – и «позорная казнь» началась...

* * *

Мы росли в то время, когда надзор за «моральным обликом», процедура коллективного обсуждения и осуждения

считались нормой человеческих отношений. Главным средством воспитания. На фабричных собраниях то и дело «песочили» алкоголиков и тунеядцев. Все понимали, что словами алкоголика не прошибешь, не перевоспитаешь, что это невероятно трудное дело, требующее повседневного душевного участия, а не казённых слов. «Прорабатывая» на собраниях мужа, изменившего жене, или жену, изменившую мужу, все понимали, что после этого собрания, где их позорили и поливали грязью, они не раскаются, не станут по-иному относиться друг к другу, а скорее всего научатся лучше маскироваться. Либо они вовсе разойдутся...

Все это понимали, но продолжали участвовать в комедии «проработок». Потому что был установлен такой порядок. А скрывалось за ним вот что: неважно, как на самом деле, важно, чтобы снаружи все выглядело хорошо. Заодно демонстрировался и принцип коллективизма: мол, советский коллектив – могучий воспитатель.

С раннего детства я сыт был этим принципом «по горло, до подбородка», как пел Высоцкий. Сколько собраний, общешкольных и классовых, сколько пионерских сборов было посвящено «коллективному перевоспитанию!» То Гервальда стыдили за плохое поведение, то Опарина – за прогулы, то еще кого-нибудь – за двойки... Самое печальное, что это действительно превращалось в уроки. Обвиняемые учились каяться и хитрить, обвинители учились ханжеству, учились произносить красивые и лживые слова, которые могут пона-

добиться в будущем для карьеры.

То, что происходило сейчас, тоже было вариантом «проработки», но таким, который не требовал нашего участия. Преподаватель, окидывая суровыми взорами «подсудимых» да и всех нас, произнес гневную речь. Он сообщил, что этот аморальный поступок будет очень строго наказан. О нем немедленно доложат ректору. Он заклеймил возмутительное поведение девочек из Лилькиной палатки, допустивших это позорное, безнравственное происшествие. Он корил всех нас за безразличие к лагерным устоям, что и привело якобы к сегодняшнему безобразию... Он говорил и говорил, а мы, переминаясь с ноги на ногу, думали: уж поскорее бы ты заткнулся! Что же нам всем теперь кастратами стать, что ли? К тому же мучительно было смотреть на Серегу и Лильку, которых, вероятно, ожидало кое-что похуже изгнания из лагеря. Но как помочь им?

* * *

Об этом мы и говорили, собравшись после обеда довольно большой группой в долинке под сенью дуба. В совещании участвовал и сам «виновник торжества».

– Вы что же, в горы не могли уйти?

Валерка Круглов сидит, опершись спиной о могучий ствол дерева. В руках у него сигарета. Когда Валера волнуется, нервничает, он непременно курит. И затягивается по-

сильнее. При этом его густые усы как бы подталкивают курносый нос, который задирается еще выше. Обычно это меня смешит, но сейчас не до смеха. Вон и у Валеры пальцы с сигаретой подрагивают. Валере уже двадцать пять, он опытнее всех нас и, вероятно, лучше, чем мы, понимает, как из-за ерунды, из-за одного случайного поступка может сломаться жизнь молодого, неопытного человека. К тому же он – спортсмен, а для спортсменов взаимная выручка – это не слова, это закон жизни.

Савельев – он тоже сидит под дубом и палочкой ковыряет землю – в ответ мрачно пожимает плечами. Да и что тут ответишь в самом-то деле, – думаю я. Небось, лихость свою захотелось ему показать, захотелось покрасоваться перед Лилькой. Я, мол, крутой, все могу, никого не боюсь!

– Ему хотелось, где помягче, – хихикнул кто-то.

Но никто не засмеялся, не поддержал шутливого тона. Круглов даже сморщился, помотал головой и почти злобно проговорил:

– Осёл!

Савельев, ещё ниже опустив голову, продолжает расковыривать ямку. Видно, сейчас ему похуже, чем на утренней линейке.

У Круглова, между прочим, тоже любовь. Они с Ольгой Сандлер влюбились друг в друга сразу, как попали в институт. И вот как им повезло – вместе оказались в горах... Конечно же, они тоже стараются побыть наедине. Но таких вы-

ходок, как Серёга, Круглов себе не позволяет. Он к Ольге относится по-рыцарски.

– Ну, лады... Что делать-то будем? – спрашивает Валера, бросив окурочек.

Заговорили все разом. Склонялись к одному: надо выбрать делегацию посOLIDнее и сегодня же идти к начальству. Просить, уговаривать, чтобы ничего не сообщали ректору... Ничего лучшего не придумаешь.

Вошли в делегацию сам Круглов, комсорг Саша Носов и баскетболист Паша Осетров. Все трое пользовались у педагогов авторитетом, как хорошие студенты. К тому же у институтских спортсменов с педагогами отношения, можно сказать, почти «на ты», совсем иные, чем у остальных студентов. Еще бы, ведь спортсмены – это нечто вроде валюты, с их помощью, если они выигрывают в больших соревнованиях, институт может прославиться. А если институт прославился, его и министерство всячески поддерживает, гордится им. Такой институт тоже что-то вроде валюты... Словом, коммерческие отношения в том или ином виде главенствовали и в Советском Союзе.

В тот же вечер делегаты отправились в коттедж, где жили преподаватели. Не было парней долго. Вернулись они в спальню перед самым отбоем, и мы сразу поняли, что дело плохо. Ни хорошая репутация, ни красноречие – ничего не сработало! Педагоги были непреклонны в своем решении сообщить обо всем ректору. То ли они боялись, что стоит толь-

ко смягчить наказание Савельеву, и в будущем сезоне все парни переселятся в палатки к девочкам. То ли опасались, что если скрыть ЧП, а потом оно дойдет до ректора, им самим больше в лагере не бывать...

Сколько ни просили потом за Серёгу (даже группа родителей ходила к ректору), все было зря. Его исключили из института. А подружку его все же пощадили, оставили. Ходили слухи, что она все свалила на Серёгу: он, мол, пробрался в палатку и её, спящую, застал врасплох, чуть ли не изнасиловал.

Эту историю мы долго потом вспоминали. Конечно, мы жалели беднягу Савельева, но чем больше времени проходило, тем более смешной казалась нам сцена прерванного ночного свидания. Мы хохотали до упаду.

Думаю, что рассказ об этом происшествии, сильно приукрашенный, стал потом одной из тех лагерных легенд, какие вспоминают вечером у костра из сезона в сезон. Но я то уже этой, приукрашенной рассказчиками легенды не слышал. Случилось так, что никогда больше не довелось мне побывать в «Хумсане». И не только потому, что я не стал спортсменом...

Глава 10. Решение

Память – вещь таинственная. Читал я, что где-то там, в недрах мозга, спрятан подробный отчет о каждой прожитой нами минуте, обо всем, что с нами происходило, до мельчайших деталей. Точно так же, как в компьютере хранится вся информация, полученная от нас (если, конечно, не забыли сохранить). Но наша память гораздо капризнее памяти компьютера, из которой мы можем в любую минуту извлечь любую информацию. Очень многое она прячет слишком уж надежно, так надежно, словно этого и вовсе не было. Что-то, иногда очень важное, мы помним лишь в общих чертах, будто память считает, что с нас достаточно краткой выжимки, конспекта. А то и совсем бывает чудно. Нажимаешь, нажимаешь на... То есть я хочу сказать, просишь её, «расскажи подробнее, как это происходило», а она в ответ вместо желаемых подробностей выдает какие-то странные картинки, вроде бы не связанные с событием, которое пытаешься вспомнить... Но может, и связанные, только нам не дано понять, как? Кто знает...

* * *

Поздний вечер, темно. Бегу домой, то есть в дедов Старый Двор, от Яшки с Ильюшкой, с которыми мы заигрались

в карты. Пробегаю мимо ворот тётки Мазол, соседки и приятельницы бабушки Лизы. В эти ворота я захожу довольно часто. То бабушка посылает передать что-то соседке, то тётушка Мазол просит заглянуть, помочь. А я и рад. Во дворе у тётушки Мазол, приветливой и добродушной, растёт замечательная черешня. Просто необыкновенная! Дедова не может сравниться с этой ни по вкусу, ни по красоте. На самом лучшем базаре Ташкента не найдешь такой сочной и сладкой черешни. Крупная, желтая, да еще с мраморными переливами. В начале лета ею усыпано все дерево, плодов больше, чем листьев. Хорошая тётушка Мазол в эту пору непременно предлагает мне полакомиться. Так ведь не станешь же в ответ на такое приглашение пастись на чужом дереве, сорвешь несколько черешенок, вот и всё. Но однажды мне подфартило: тётка Мазол слегка приболела, дети ее в эту пору куда-то поразъехались, и бабушка Лиза попросила меня переночевать у соседки. Я радостно согласился (черешня как раз была вся покрыта плодами) и устроился во дворе на топчане. Дверь в дом открыта, если что, тётка позовет... Но тётка Мазол мирно проспала всю ночь, а я чуть ли не полночи просидел на дереве. Не припомню другого случая, когда мне, больше, чем в тот раз, пригодился бы фонарик. Впрочем, я и без него справился. Я понял это утром, поглядев на черешню: теперь она выглядела, как и подобает нормальному дереву, листьев на ней было больше, чем плодов.

Тётушка Мазол, проснувшись, предложила мне позавтра-

кать с ней, но я вежливо поблагодарил, сказал, что утром у меня нет аппетита, и ушел, унося в кармане увесистый газетный кулек со светло-жёлтыми косточками.

* * *

...Итак, поздний вечер, я бегу домой. Взглянув на ворота тётки Мазол, вдруг замечаю, что ворота перекрашены. В какой-то странный цвет, как говорится, серо-буро-малиновый... При этом старые щелястые ворота стали удивительно гладкими. Прямо как стекло! Лампочка, висящая над воротами, освещает эту гладкую поверхность, на неё сейчас падает моя тень. Очень четкая. Вспомнив свою детскую забаву – теневой «зверинец», я, подняв руку, начинаю пальцами изображать зверушек. На стене заплясали, запрыгали тени – собачка, разевающая пасть, летящий голубь, кролик... «Браво, браво!» – кричат невидимые зрители. Наигравшись, я поклонился им, помахал правой рукой. Моя тень тоже помахала. Я переменял руку, стал махать левой. Но что же это? На воротах не было тени левой руки! Куда она девалась? Я снова поднял правую – тень повторила мое движение. Поднял левую – ничего... Как же это? По всему моему телу, с головы до ног, пробежали мурашки, не помня себя от страха, я кинулся бежать и услышал, что за мной гонятся. Ближе, ближе... Чье-то горячее дыхание обожгло мою шею, я споткнулся, упал, полетел в какую-то бездну – и проснулся от

собственного крика.

Одно-два мгновенья я все еще был охвачен страхом, в животе была та резкая слабость, какую чувствуешь в самолете, когда он проваливается в яму, попав в зону турбулентности. И вдруг... Фу-ты, понял я, это же был сон!

Меня отпустило. Я вытер холодный пот со лба. Ух, какой неприятный сон! И ведь надо же, почти все, что в нем было – возвращение домой, покрашенные ворота тетки Мазол, игра в тени, все это действительно происходило, правда, давно, несколько лет назад. А вот страшных чудес не было. Ни исчезновения руки, ни бегства, ни преследования, ни кошмарного страха... Ничего! Почему же во сне все это померещилось?

Сидя на постели, я огляделся. Августовская ночь, Старый Двор, топчан возле урючины. Да, я ночую сегодня здесь. И не только я – мои родители, Эммка – все мы снова в этом доме. Правда, временно.

Прожив двенадцать лет в Чирчике, мы уехали оттуда навсегда летом 1979 года, потому что решили эмигрировать из Советского Союза...

* * *

Сейчас, почти двадцать пять лет спустя, я пытаюсь восстановить в памяти этот самый трудный и самый важный период жизни нашей семьи. Но память – вещь таинственная,

и мне почему-то прежде всего с необычайной яркостью припомнился мой ночной кошмар на топчане под урючиной... Ну что же, решил я, с этого и начну.

А теперь все же попробую вспоминать по порядку.

* * *

В конце семидесятых годов страна, именовавшаяся Советским Союзом, была охвачена эпидемией, которая исподволь варилась в котле истории и не могла не выплеснуться из него. Говоря точнее, эпидемией были охвачены главным образом советские евреи, но лихорадило всю страну. Называли эту эпидемию, а также заболевших по-разному, в зависимости от того, кто называл. «Возвращение на родину предков»... «Воссоединение»... «Третья волна»... «Жалкие отщепенцы»... «Купленные за джинсы»... «Преклонение перед Западом»... «Предатели родины»... Ну, и тому подобное. В русском языке появились слова и выражения, доселе неслыханные, а теперь понятные всем и каждому: «отъезжанты», «отказники» (или «сидеть в отказе»), «ждушие вызова» (какого – всем ясно), «они в подаче»...

Но это только так, к слову. Я эпидемию отъездов описывать не собираюсь, это давно уже и много раз сделано. Могучей, третьей по счету, волне эмиграции из Советского Союза посвящены десятки книг и многие сотни статей. Написаны серьезные социологические исследования, мемуары, по-

вести и рассказы... Это – во-первых. А во-вторых, жили мы в довольно глухом уголке, до которого докатывались лишь слабые отзвуки происходившего. Да и немудрено: в Чирчике проживало немногим больше десятка бухарско-еврейских семей. Но разговоры, конечно, велись. «А вы слышали? Такие-то уезжают...».

* * *

Первой «отъезжанткой» в нашей семье стала мамина сестра Роза: с мужем и детьми уехала она в Израиль. В Юршалаим, как называли это государство все мои родственники. Наверно, потому, что именно Иерусалим, духовный центр этой страны, был для всех ее символом. Кстати сказать, мне это слово – Юршалаим – нравилось гораздо больше, чем Израиль. В Советском Союзе слово «Израиль» произносили с такой ненавистью, с таким презрением – услышишь его, бывало в «Новостях» по телевидению – и все внутри сжимается. Вот пусть чужие и говорят «Израиль», да еще с неправильным ударением на последнем «и!» А у нас есть свое слово – «Юршалаим». И звучит оно удивительно тепло, даже для меня, не знающего иврита.

Я не помню всех обстоятельств переселения Розиной семьи, только знаю, что именно с этого времени тема отъездов, эмиграции, жизни в Израиле стала одной из главных в маминых мыслях и в семейных разговорах. Мама с Розой непре-

рывно переписывались. Каждое письмо от нее было событием. Не успеешь войти в дом, а мама уже бежит навстречу с радостным возгласом: «письмо из Юршалаима!». Конверт брали в руки, как величайшую ценность, осторожно вскрывали ножичком, держа на свету, чтобы не дай бог не повредить письма и не испортить конверт, продолговатый, обклеенный красивыми израильскими марками, с оттиском букв «святого языка», как выражался дед Ёсхаим. Мама непременно читала Розины письма вслух и тут же переводила (тетка писала на бухари). Мы с жадностью слушали эти весточки «оттуда», стараясь хоть что-то узнать о совершенно новой для нас, иногда просто загадочной жизни, о которой до этого мы ничего не могли ни услышать, ни прочитать. Впрочем, сказать по правде, в теткиных письмах, довольно путанных и бестолковых, не очень-то много было информации. Как и полагалось, начинала она с долгих-долгих приветствий и успокоительных фраз вроде «у нас все, слава богу, хорошо, все здоровы». А потом только переходила к вещам более существенным.

«Живем в кибуц, изучаем иврит в ульпане. Трудно очень!» – сообщала тетка Роза в одном из первых писем. Что такое кибуц мы хоть смутно, но знали. Что такое ульпан – представления не имели. Мы удивлялись: почему наши родственники, городские люди, решили стать сельскими жителями? Сами так надумали или почему-то пришлось? Может, потому что в кибуц они живут и питаются бесплатно? Но за

работу ведь ничего не получают... Что же дальше-то будет? Загадка на загадке... Нам так и не удалось выяснить из писем Розы, что, поселившись в кибуц, семья таким образом не тратит «корзину» – так называются деньги, которые шесть месяцев выдают репатриантам. А через полгода, прикопивши деньги, можно уйти из кибуц, снять квартиру, найти работу... Не помню, от Розы ли мы узнали, что улыпан – это бесплатные языковые курсы, где можно учиться от полугода до двух, кажется, лет.

Но даже те сведения, которые удавалось извлекать из писем, приводили нас в восторг.

– Ничего для страны еще не сделали, а им уже все бесплатно! А у нас? – Мама всплескивает руками, потом разводит их и с расстановкой, с ударением на каждом слоге, произносит: – Хук-мат-ти-дузд!

В переводе с бухари это означает: «государство воров».

В первых Розиных письмах много было жалоб. Чувствовалось, что в новой стране многое ее пугает и держит в напряжении. Родители этого не понимали. Подумаешь, трудности, говорили они. Разве здесь их меньше? Очевидно, душевное состояние эмигранта-новичка можно понять лишь на собственной шкуре... Впрочем, тон Розиных посланий менялся от месяца к месяцу. Вот они из кибуц переехали в город Лод, вот теткин муж Даниил нашел работу на военном заводе, вот и квартирку получили, оплаченную государством. Сообщение о том, что чуть ли не всю квартиру обставили мебелью,

которую кто-то из соседей выкинул на улицу, показалось совсем уж фантастическим.

Небось, подобрали какой-нибудь ломаный стул, подумал я, но ничего не сказал, чтобы не огорчить маму. Но вскоре тетка прислала и фотографию. Мебель, действительно, выглядела вполне приличной.

А тетка продолжала удивлять нас. Тем, например, что цены на одни и те же продукты в разных магазинах разные. «В магазине у остановки сахар дешевле, чем за углом», – сообщала Роза.

– Да не может быть! – восклицал отец. – Путает она. Сор-та, наверно, разные...

Среди приятных новостей была и такая: Розе удалось разыскать родственников, потомков ее бабушки по отцу, сумевшей сбежать из Узбекистана на родину предков еще в пятидесятых годах. Словом, жизнь налаживалась...

Розин отъезд, её письма – всё это было своего рода толчком, после которого и начали родители поговаривать об эмиграции. Но как-то так неуверенно, не слишком-то всерьез. В семье наконец-то наступило сравнительное материальное благополучие – и отец, и мать зарабатывали неплохо. В квартире появилась новая мебель. Даже машину, призаняв у родственников денег, купили. Здоровье отца понемногу налаживалось, приступы астмы стали реже его мучить. На работе обоих ценили, у обоих были друзья, дети учились... Чего же еще надо?

На этот вопрос труднее всего ответить... «Чего нам надо?..» Человеку вообще свойственно стремиться к чему-то новому, еще не испытанному. А если об этом неиспытанном всё чаще слышишь, и то, что слышишь, привлекает... А если к государству, в котором живешь, относишься неуважительно, настороженно, ждешь от него притеснений и обид... Но, может быть, самую важную роль играет неистребимая тяга поступать, как другие. Как люди, с которыми мы связаны родственно, национально, социально. В данном случае это звучало примерно так: «Люди едут, а мы что же, хуже людей?»

Ко всему этому прибавлялись тревоги моих родителей, что рано или поздно меня призовут на военную службу. Особенно боялась этого мама, впрочем, как и все еврейские матери: об антисемитизме в советской армии ходили совершенно ужасные слухи. Парни из своей же части убивали призывников-евреев, мы знали несколько таких случаев.

Чаще всего родители говорили об эмиграции со своими друзьями Мушеевыми. У них-то были очень серьезные причины для отъезда. «Частный бизнес» Юры и его брата мог вот-вот привести обоих на скамью подсудимых. Мария нередко говаривала маме: «Надо, надо нам уезжать!» И мама, вернувшись домой, говорила мне с грустью: «Что я буду делать без Марии?»

Осенним вечером 78 года мы обедали у Мушеевых. Только уселись за стол, как дядя Юра сказал:

– Мы решили ехать.

Хотя новость не была такой уж неожиданной, наступило долгое молчание. Мама опустила голову, отец тихонько постукивал ножом по тарелке. И вдруг он сказал:

– Тогда и мы поедem...

Мама от удивления аж за щеки схватилась: обычно наш папаша по любому поводу затевал спор и отстаивал собственную правоту. Но на этот раз он сказал именно то, что маме хотелось услышать.

Тут же и начали обсуждать, как действовать дальше.

Мушеевы, оказывается, решили эмигрировать в Америку.

– Очень уж в Израиле беспокойно, – в два голоса объясняли родителям Юра и Мария. – Там постоянно война... Всеобщая воинская повинность... А у нас – сыновья... И дорого там всё. И устроиться, найти работу намного тяжелее!

Хоть у мамы в Израиле была родная сестра, дружба с Марией перевесила. Родители стали расспрашивать про американский вариант.

– Приедem в Австрию по израильской визе, а там можно переиграть, попроситься в Америку, – объясняли Мушеевы.

Они все уже узнали и продумали.

– Как же так? – испугалась мама. – Значит, придется обманывать?

Мама вот чего боялась: не накажут ли Розу, если она пришлет нам вызов «в Юршалаим», а мы, попав в Австрию, от него откажемся? А вдруг государство Израиль, узнав об

этом, перестанет помогать Розиной семье? Бедная моя мама, ведь она-то жила в государстве, которое только и делало, что выслеживало и карало! Как не понять её страхов?

Решили Розу в это дело не впутывать. Сошлись на том, что Мушеевы раздобудут нам вызов в Израиль через своих друзей.

* * *

Мы с Эммкой, хотя с нами и не советовались, конечно, все знали. Теперь все мои мысли были о том, что довольно скоро наша жизнь может измениться, перевернуться, переиначиться... А как? Нет, этого и вообразить невозможно! Однако я все же пытался хоть что-то вообразить – и сердце мое то начинало бешено биться, то замирало...

Чем дальше, тем больше манил меня отъезд. В юности все жаждут приключений, а уж я-то! Ведь я рос мечтателем. К тому же действовали и Розины письма, и разговоры взрослых. Все чаще вспоминались детские обиды – и то, как обзывали меня «еврейчиком», и как над «звездой Давида» издевались, и многое, многое еще. Чуть ли не все, что прежде вызывало гордость и казалось прекрасным, стало теперь неприятным, противным, фальшивым...

Стоп, мистер Юабов, не будьте неблагодарным! (Это я сам себя одергиваю). Не так уж мало получил я в Советском Союзе хорошего. Меня и учили бесплатно, и лечили бесплатно,

и... Но к чему перечислять, я о многом уже писал. В институте была не только хлопковая страда – в институте был и «Хумсан». А какие замечательные друзья у меня там появились! Неужели я о них забыл, мечтая об отъезде? Нет, не забыл, конечно, но... Когда тобой овладевает какое-то новое стремление, все остальное вытесняется, становится второстепенным. Да и вряд ли кто-нибудь в восемнадцать лет бывает таким рассудительным, чтобы постоянно помнить: вот то-то и то-то я потеряю.

Между тем проходили дни, недели, осень сменилась зимой, приближалась весна, а о вызове, который из далекого Юршалаима кто-то должен был выслать нашей семье, все еще ничего не было слышно.

Но вот однажды мартовским весенним днем, приехав на выходные из Ташкента, болтал я с приятелями у подъезда нашего чирчикского дома. Краем глаза заметил, что в подъезд зашел почтальон, а через несколько минут в окне появилось мамино лицо, бледное, взволнованное. Она махала мне рукой – «заходи, заходи». Я вихрем влетел в квартиру. Я догадывался, что случилось.

– Вот, – выдохнула мама, протягивая вперед обе руки с длинным голубым конвертом. – Я расписалась, почтальон велел...

– От Розы? – почему-то все-таки спросил я.

– Вызов! Вызов из Юршалаима! – И мама заметалась по комнате в поисках ножниц...



Мы сидели за столом и обедали. Даже помню, что ели: мама приготовила очень вкусный борщ, душистый, приправленный укропом... Неподалеку от обеденного стола, на сундуке возле окна, лежали два длинных листа бумаги, прошитые по левому краю голубой лентой. А посреди ленты была оттиснута круглая печать. На этих листах, на двух языках, русском и английском, сообщалось, что нас приглашает на постоянное жительство в Израиль наш близкий родственник Борухов (тот самый друг Юры Мушеева, который и его семье прислал вызов).

Уж не знаю, сколько раз каждый из нас прочитал эти несколько фраз, осторожно, кончиками пальцев, придерживая и переворачивая листки. И все равно не могли ни начитаться, ни насмотреться. Сейчас вызов, словно сказочное существо, непонятным образом залетевшее в наш дом, возлежал на белой сложенной скатерке, которую мама специально постелила на сундук. И все мы то и дело на него поглядывали.

Приподняв тарелку двумя руками, отец через край выпил остаток борща (он всегда так делал), потом взял было в руки мозговую кость, и вдруг, отложив её, обвел нас всех взглядом.

– Ну, так что же, едем? – спросил он. – Давайте решать

окончательно.

Чтобы отец говорил нам «давайте решать», такого еще не было. Обычно он сообщал о своем решении, и никаких обсуждений, никаких возражений! К тому же и решение, в общем-то, уже было принято. Но, видно, даже и отцу захотелось в этот торжественный момент услышать голоса всех нас.

– Да, папеш! – выдохнула мама.

Отец поглядел на меня. Я закивал головой. Эммка тоже затрясла кудрями.

* * *

С этого вечера в жизни нашей семьи пошел новый отсчет времени. Начался он весной. В августе мы перекочевали в Ташкент и перед прыжком в неизвестность расположились небольшим табором в дедовом доме...

Глава 11. «...для представления в ОВИР»

– Эммка, гляди! Это ж прямо на тебя...

Мы с Эммкой сидим в родительской спальне, на широкой кровати. Между нами на покрывале стоит фанерный ящик, вокруг которого в беспорядке разбросаны соблазнительные дамские вещицы: кофточка, платице, туфельки, еще что-то...

Выхватив у меня из рук шерстяное коричневое пальтишко, Эммка стремительно бросается к зеркалу. Вот она уже закружилась перед ним, отражаясь во всех трех створках трюмо. Глаза горят, волосы взлетают. Пальтишко ей очень идет...

Посылку мы с Эммкой недавно принесли с почты. Её появление показалось нам каким-то чудом. От Розы мы никаких посылок не получали, да и не ждали их. К тому же на ящике имелось имя отправителя – незнакомое. Кто он? За что нам такой подарок? Мы ничего не могли понять!

Конечно, вскоре родители выяснили (вероятно, все у того же Юры Мушеева), что посылки присылают многим еврейским семьям, получившим вызов. В Израиле прекрасно понимали: тем, кто решился уехать из Советского Союза, живется нелегко, а незадолго до отъезда – еще труднее. Так пусть получают хоть какую-то материальную поддержку.

Такая забота поражала не меньше, чем сама посылка. Еще бы, нам открылся совсем другой мир с другими правилами жизни. Такой далекий мир – и он уже знал о нас, думал о нас, хотел помочь! Еще недавно мама удивлялась, как это так, люди только-только приехали в Израиль, а государство уже им помогает! Оказывается, помогают и нам, еще не уехавшим... Мы долго обсуждали, кто в Израиле организует такую помощь будущим иммигрантам? Государство? Благотворительные организации? Просто добрые люди? Ведь прочли же мы на нашей посылке имя какого-то незнакомого человека из Швеции...

– Дай бог им всем здоровья! – с жаром говорила мама.

* * *

Я вспомнил о посылке потому, что это было, пожалуй, единственное приятное событие среди тех, которые начались с того дня, как мы решились на отъезд. Впрочем, не в отдельных событиях дело, а в том, что вся наша жизнь внешне переменялась. Исчезло все то, что ее наполняло ежедневно, что было ее основой... Исчезло, отпало, будто его и не было. А начались эти перемены вроде бы с пустяка: для того чтобы подать в ОВИР заявление об отъезде, понадобились справки. Справка с места жительства, то есть от тех, кто управлял нашим домом (а ближе к отъезду – справка о том, что у нас уже нет жилья, что мы его освободили). Справки

с работы. Справки из наших с Эммкой учебных заведений. И каждая из них заканчивалась строчкой: «Для предоставления в ОВИР с целью выезда в Израиль».

Каждому гражданину Советского Союза для повседневной жизни требовалось невероятное количество разных справок и документов. Все привыкли к этому. К тому, например, что ни в одном городе нельзя жить без прописки, то есть без сделанной в милиции особой отметки в паспорте о том, что вы действительно проживаете в этом городе и имеете «жилплощадь» там-то и там-то. А пойдика эту прописку получи во многих больших городах, не говоря уж о столице! У каждого взрослого человека имелось свидетельство о том, где он сейчас работает, где и сколько времени работал прежде (это называлось «трудовая книжка»)... Но зачем перечислять? Повторяю, к этому все привыкли. Только обзаведясь кучей справок, ты мог считать себя реально существующим человеком и гражданином.

Но справки, которые мы добывали, чтобы оформить отъезд, приводили как раз к обратному результату: получив их, мы немедленно выбрасывались из общества! Мы как бы переставали в нем существовать. Ну, какое учреждение, давая тебе справку «для предоставления в ОВИР», для отъезда из «лучшей в мире страны», оставит тебя на работе до реального момента отъезда? Тебя выкинут, и выкинут немедленно!

Именно так и случилось со всеми нами.

Директор маминой фабрики был человек, видимо, непло-

хой. К тому же терять одну из лучших работниц ему ой как не хотелось! Он маму и к себе много раз вызывал, и в цех к ней прибегал. «Ты что, с ума сошла? Такую страну покидаешь! Тебя же орденом наградили, у тебя – слава, ты – наша гордость! А фабрика? Бросишь фабрику, где столько лет проработала? Ведь мы твоя семья»... Ну, и прочее в том же роде. К попыткам пробудить в маме патриотизм директор добавлял вполне практические и заманчивые обещания: премиальные, сверхурочные, словом, всяческие прибавки к зарплате. Но мама оставалась тверда. «Нет, все уже решено. Но ведь пока-то мне нужна только справка. Только справка, что я здесь работаю! Когда уедем – неизвестно, может, буду с вами еще долго...»

Но не решился директор оставить на фабрике работницу, собиравшую справки для отъезда из страны. Говорят, были такие смельчаки – не знаю, не видел таких. Правда, уволили маму не с позором, а можно сказать, с почетом. Проводы ей устроили, и плакали, и пели, и целовались, и прошлое вспоминали. Мама вернулась домой с огромной охапкой цветов и... с нужной справкой.

Отцу проводы не устраивали и цветы не дарили. Но и с ним прощались тепло, «изменником родины» не называли. Думаю, что многие из коллег-учителей поглядывали на него с завистью. Вернувшись домой со справкой, папа похвастался, что сам директор школы, Иван Лукич, пожелал ему всего хорошего.

Вот так, получив свои справки и добрые пожелания, и мать, и отец стали безработными.

«Безработица» ожидала и нас с Эммкой.

Сестра без особых трудностей получила справку в медицинском училище, где заканчивала первый курс. Её тут же, конечно, и отчислили. С моим уходом из института все оказалось намного сложнее.

Главная сложность была вот в чем: в институте работал дядя Миша. Известие об отъезде родственников, мое отчисление, грозило ему большими неприятностями. Произойти могло все что угодно – уволить тоже могли...

Скажу сразу: к нашему отъезду дядя Миша относился с полным пониманием. Он и сам уже подумывал через какое-то время двинуться с семьей в дальнюю дорогу. Все это толкало, и прежде всего то, что отъезд бухарских евреев из Ташкента уже стал массовым. Но были у дяди и свои личные обиды, давние раны, которые не заживали. Скажем, когда он заканчивал свою кандидатскую диссертацию, один из «ученых мужей», от которых зависело ее продвижение, предложил ему «по-дружески»: напишешь кандидатскую для моей дочери, тогда дам ход и твоей работе. Дядя знал: так и будет, так делается повсюду... Пришлось, конечно, согласиться. Были и другие жгучие обиды. Дядя был талантлив и честолюбив, а советский строй мешал ему, как и многим евреям, полностью осуществить свои планы...

Хотя Миша и его семья еще не были готовы к такому же

шагу, как мы, дядя искренне хотел помочь нам. Кстати, и на будущую помощь нашего «передового отряда» он в какой-то мере рассчитывал. Однако преждевременные неприятности в институте были ему совсем не нужны!

Как же быть? Братья не раз и не два обсуждали это щекотливое дело. Послать за справкой меня, а дяде притвориться, что ничего он о нашем отъезде не знает? Никто этому не поверит. Не он ли два года назад так энергично «пропихивал» меня в институт?

В конце концов дядя решился взять операцию «получение справки» в свои руки, поговорив один на один с деканом. Дядя с деканом были друзьями, можно было надеяться на понимание.

Я в обсуждении этих планов не участвовал. Мне просто сказали, что справку достанет дядя, и я очень обрадовался. Уж до того мне не хотелось идти к начальству и объявлять, что мы уезжаем в Израиль! Я живо воображал, что могу после этого услышать. Или что прочту в глазах. «В Израиль? Ненавидите, значит, нашу страну? Удираете? Вот вы, евреи, какие...» Насмешки, уговоры, упреки...

Ну а дядя Миша, думал я, все устроит тихо, без шума, без огласки. Пустяковое дело – декан вызовет секретаря, она отпечатает справку, поставит печать, напишет приказ о моем отчислении. Все. Был племянник – и нет его... Исчез. Обоим нам хорошо – и дяде Мише, и мне...

Но не тут-то было! Уж не знаю, каким образом, после разговора дяди с деканом весь деканат узнал о том, что племянник Юабова уезжает в Израиль. Дядя сразу это почувствовал. Иначе стали вести себя с ним коллеги, он замечал их взгляды – то лукавые и понимающие, то злые, но почти у всех испуганные. А кое-кто, если никого поблизости не было, спрашивал шепотом: «Это правда? Ну а вы? Тоже?..»

– При чем тут я? – пожимал плечами дядя. – У меня своя семья и своя голова на плечах...

Но он был расстроен. Как же так, деканат факультета физики, интеллигентные люди с учеными степенями, профессора, известные по всей республике... Где, как не здесь ожидать широты взглядов? И вот тебе широта. Перепугались, как кролики!

Напоминать декану о справке дядя, конечно же, не пошел.

Не пошел за справкой и я. Так или иначе она будет получена, зачем мне соваться в деканат? Другое меня мучило: как быть с ребятами в группе? Не могу же я внезапно, без всяких объяснений, исчезнуть, как преступник, как вор! Рассказать правду? Не все меня поймут. Народ в группе хороший, но многие так далеки от наших бед и проблем...

Но одному человеку я просто должен был сказать правду. Ридвану.

...Мы дошли с Ридваном до его общежития и уселись напротив на холмике, поросшем молодой, совсем еще свежей травкой. Весеннее солнышко так ярко ее освещало, зелень просто насквозь просвечивала... Я держал в руках листок бумаги: Лёнька Коган записал для нас аккорды к новой песне Демиса Руссоса «Сувениры». И Ридван, поглядывая на листок, перебирал струны. Оба мы напевали. «Вот сейчас допоем, – думал я, – и тогда... Вот еще два аккорда...»

И только замолк последний, я сказал:

– Ридван, послушай...

Одним духом, не останавливаясь, я выложил все: и что мы собрались уезжать, и с чего это началось, и про Розу, и про Израиль, и про Мушеевых, и про Америку.

Ридван слушал молча, только брови поднимались все выше, выше.

– А как же институт? – растерянно пробормотал он, когда я закончил.

Я пожал плечами:

– Ну... Ведь и там есть институты.

Мы помолчали. Грустно глядя куда-то в сторону, Ридван опять начал наигрывать.

– Послушай-ка, Ридван, я не хочу, чтобы ребята... Ну, про Израиль, понимаешь?

Ридван кивнул:

– И не надо...

– Может, сказать, что отца посылают за границу? Трениром. Надолго, с семьей... Только вот куда, как ты думаешь?

– Скажи – в Афганистан, – немного оживившись, предложил Ридван. – Все-таки дружественная страна, туда посылают... Хочешь, я завтра начну всем рассказывать?

И вздохнув, он снова заиграл.

– А вот эту помнишь?

Мы запели.

* * *

У меня после этого стало как-то полегче на душе. Будто какую-то часть тяжести я переложил на крепкие плечи Ридвана. Выдумка, конечно, была до смешного наивной, но я старался не думать об этом. То есть я, конечно, понимал, что ребятам лапшу на уши не повесишь, они догадаются, куда я еду. Но я им даю понять, что не хочу разглашать это.

И намек был понят. Ребята вели себя со мной, как всегда, будто ничего не происходит. Никто меня не расспрашивал ни об Афганистане, ни об отъезде вообще. Очень чуткими оказались парни из моей группы!

Недели две после разговора с Ридваном я продолжал ходить на занятия, все надеялся, что дадут справку для ОВИРа и еще одну, академическую, о том, сколько я учился и како-

вы мои успехи (кстати, этой справки мне почему-то так и не дали). Но вот однажды подошли ко мне на перемене Валера Круглов, наш староста, и Сашка Носов, который стал теперь комсоргом группы.

– Валер, тут дело такое, – начал староста, – сегодня будет, понимаешь, групповое собрание. Комсомольское. Это, понимаешь, тебя из комсомола будем исключать... – Тут староста хихикнул, вроде бы совсем не к месту, и подмигнул мне. Ни меня, ни Сашки он не опасался. – Такая, значит, тр-р-рагедия, а? Ну, ладно, Валер, не переживай! Ничего не делаешь, формальность.

– Скажи там, что сожалеешь, – добавил комсорг Сашка и похлопал меня по плечу. – Ну, давай!

Собрание происходило после урока матанализа, в том же классе. Все в группе были комсомольцами, никто и не разошелся. Явился куратор нашей группы, Турсун Абдуллаевич.

Голова его была гладко выбрита, и хотя он брил ее часто, мне почему-то показалось, что сегодня куратор сделал это в знак скорби...

Все уселись, а я вышел вперед...

Странно было стоять перед друзьями в качестве виноватого. Никогда, ни в школе, ни в институте, я не был героем таких вот «разборок», а тут вдруг... Пусть на мне нет никакой вины, но все равно почему-то ужасно противно и тяжело!

– Ну, Валера, рассказывай, – блеснув головой, как билли-

ардным шаром, сказал сидевший позади Турсун. – Куда уезжаешь, почему...

Я молчал. Говорить про Афганистан, про папину командировку, здесь было уж совсем глупо. Ведь не только Турсун, уже многие ребята знали, куда мы собрались.

– Родители... – пробормотал я, – едут... А я с ними...

И тут вдруг «Афганская версия» неожиданно сработала. Несколько девчонок, оказывается, были так наивны, что поверили в эту мифическую командировку. Теперь они с жаром принялись уговаривать меня:

– Тебе-то зачем ехать в этот Афганистан? Оставайся! Мы поможем тебе!

Кажется, первой начала меня убеждать Наташа Приятнова. Её сразу же поддержала Ильгизка Шайморданова, моя тайная любовь:

– Конечно, поможем! И с деньгами, и с общежитием!

– А потом и родители вернуться! – закричал еще кто-то.

Почему-то это приятно было слышать, у меня даже настроение исправилось немножко. Эти славные девчонки не понимали, что за поездку в Афганистан, пусть и длительную, никто бы меня из комсомола не стал исключать. Но у меня у самого в этот момент в голове все перепуталось, я только думал с благодарностью: «Ой, девчонки!»

– Какой Афганистан? При чем Афганистан?.. – услышал я голос Турсуна.

«Только этого не хватало!» – испугался я. К счастью, ни-

кто Турсуну ничего объяснять не стал.

– Ребята, ну чего к нему приставать? Уезжает семь, вот и он едет! – раздался чей-то голос. Кажется, это был Круглов...

– Правильно! Давайте голосовать! – закричал Ридван.

А за ним и многие. И через несколько минут все было закончено. Группа единогласно исключила меня из комсомола, что не помешало парням и девушкам тут же окружить меня. Прощанье было самым дружеским, все желали мне счастливого пути.

Последним ко мне подошел куратор. Но не для того, чтобы попрощаться.

– Ну вот, – сказал Турсун и взглянул на часы. – Мы как раз успеваем.

– Куда?

– То есть как это – куда? В институтский комитет комсомола. Сейчас будут решение группы утверждать. Идем, тебя уже ждут.

В комитет комсомола... Я и забыл о его существовании. И никто меня не предупредил о том, что еще одна «инстанция» будет меня терзать!

Мы с куратором спустились по лестнице в подвальный этаж, где размещались институтские лаборатории, библиотека и разные общественные организации. Шагая рядом с Турсуном, я чувствовал себя не лучше, чем преступник, под конвоем идущий в суд. На групповом собрании я держался, я как-то успел к нему подготовиться. А сейчас...

Куратор постучался в одну из дверей, вошел, потом высунул свой бильярдный шар и кивнул мне: «Заходи». Я шагнул вперед...

Я и сейчас вижу перед собой эту большую, с высоким потолком комнату, в глубине которой стоял длиннющий стол, покрытый суконной скатертью. За этим столом сидели мои судьи – человек двадцать. Они пристально и мрачно глядели на меня. Это были студенты с разных курсов и разных факультетов. Я узнавал знакомые лица, но видел их словно в тумане. «Товарищ Юабов, рассказывайте...» – услышал я.

Ах, как бы мне хотелось описать здесь такую, например, сцену: после этих слов я шагнул вперед и громким, звенящим голосом сказал: «Я уезжаю в Из-ра-иль! Да-да. В Из-ра-иль! На родину своих предков! А может быть, и в Америку! Каждый человек вправе жить, где пожелает».

Мне бы очень хотелось... Но я стараюсь писать только правду. Я был запуганный юнец. Я даже не помню, что я бормотал, отвечая на вопросы своих судей. Все то же, наверно – про семью, может быть, про этот дурацкий Афганистан... Не помню! В конце концов, прошло с тех пор почти двадцать пять лет. В конце концов, может же вытесниться из памяти то, о чем противно и больно вспоминать!

Но конец этой сцены остался в памяти. Раздался голос: – Голосуем. Кто за исключение Юабова из рядов Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи? Стол ошетинился руками.

– Кто против?

Ни одной руки...

– Сдайте комсомольский билет.

Я вытащил из внутреннего кармана пиджака маленькую красную книжечку с выдавленным на обложке большелобым профилем. С какой гордостью я держал в руках эту книжечку почти три года назад, когда получил её! Быстрым шагом подошел я к столу и, размахнувшись, швырнул эту книжечку на стол. Швырнул – и вышел.

То, что приятно вспомнить, не забывается.

Еще я помню, как выйдя из института, присел, поджидая троллейбуса, на одной из нижних ступенек лестницы. Сидел я сбоку, опершись о стену. Отсюда открывался отличный вид: широкий мраморный каскад лестницы, ортал с его античными колоннами... Дворец... Храм науки, вспомнил я. Господи, с каким восторгом, с какими надеждами поднимался я по этим ступеням полтора года назад! А сейчас? Бесправный, изгнанный, сижу у подножья храма. И что же? Я несчастен, унижен? Да нет же! Сейчас я вспоминаю о своих восторгах и надеждах, как о давней мечте, не более того. Вспомнилась, взбудоражила на мгновение сердце и ушла, растаяла. Что поделаешь, другие ожидания и надежды вытеснили ее, теперь моя душа полна ими.

Подходил троллейбус. Я подбежал к остановке.

* * *

С этого дня я уже не посещал институт. Но в конце апреля мы зашли туда вместе с отцом: документы для ОВИРа были собраны, не хватало единственной справки – моей. Мы шли по коридору и вдруг столкнулись с деканом. Я думал, он пройдет мимо, «не узнав» нас, но декан остановился и, разведя руками, спросил тоном доброго, заботливого знакомого: «Куда вы пропали? Справка давно вас ждет»...

Глава 12. «Ты навсегда в ответе...»

Я сидел на корточках напротив Тайшета. Уткнувшись мордой мне в лицо, он жарким дыханием обдавал мои щеки. Я то поглаживал его мохнатую грудь, то почесывал за ухом, то просто прижимался щекой к его морде. Из моих глаз текли слезы, я старался перестать плакать – и никак не мог. Печаль переполняла меня. Печаль и горькое чувство вины...

* * *

Три года назад, когда я перешел в десятый класс, отец неожиданно решил сделать мне подарок.

– Хочешь собаку? – спросил он однажды...

Сердце мое прямо-таки дрогнуло. Хочу ли! Дедов Джек был общим дворовым псом, но я тосковал о нем, как о старом друге. Да он и был мне другом. Как же еще назвать собаку, которая как-то раз вытащила из своей миски косточку и сунула ее мне чуть ли не в рот? А Леда? Любимица всех ребят, красавица, умница, она жила когда-то в подвале нашего чирчикского дома. Было это давным-давно, целое детство назад, но я помнил Леду, её щенков, наши с ней игры, помнил, как горевал, когда Леда внезапно исчезла. Словом, я всегда тянулся к собакам, мечтал иметь дома четвероногого друга. И вот, кажется, он появится...

А повезло мне потому, что у одного из учителей в папиной школе разродилась сучка. Это была немецкая овчарка, к тому же очень чистой породы с прекрасной родословной, насчитывающей чуть ли не пять поколений. Таким же знатным кобелем был и папаша. Сучка рожала и в прежние годы, что, возможно, приносило хозяину доход, но на сей раз он почему-то предложил щенков коллегам.

Выбирать щенка я отправился вместе с отцом. Хозяин привел нас в небольшую комнату, и тут же большая немецкая овчарка, увидев чужих, тревожно поднялась с подстилки. Как было не тревожиться! По всей комнате ковыляли её щенята. Пушистые, кругленькие, они тоненько повизгивали, тыкались носами в пол, хвостики их смешно подрагивали, ушки свисали на черные мордочки.

– Сидеть! Место! – строго приказал овчарке хозяин. – Проходите, не бойтесь, она не тронет...

Я уселся на пол, одного за другим брал в руки щенков, гладил мягкую, как пух, шерстку. Ладони ощущали их теплоту, а вместе с нею почему-то и их беспомощность. Какая-то беспредельная радость, смешанная с нежностью и волнением, охватила меня.

– Ну, Валера, выбрал? Олег, ты какого посоветуешь? – деловито спросил отец.

Хозяин засмеялся.

– Амнун Юсупович, они ведь одной породы. Пусть парень сам выбирает!

– Сейчас... – пробормотал я.

Выбирать было очень трудно, мне все щенки казались замечательными. Я переводил глаза с одного на другого, щенки в это время непрерывно перемещались, мешая сосредоточиться. Вдруг мне почудилось, что кто-то пристально смотрит на меня сбоку, почти сзади... Я обернулся. Метрах в двух от меня сидел щенок, очень смешно сидел, на попе и на задних лапах, приподняв передние и как бы развалившись. К тому же когда я взглянул на него, он уморительно зевнул, открыв пасть и высунув красный язычок. Вот увалень, подумал я. Разве так сидят породистые собаки? И в тот же момент что-то ёкнуло в моем сердце, иначе никак не передать, что со мной случилось, когда я взглянул в большие, круглые, неморгающие глаза этого смешного песика. В них было бесстрашие. Я протянул ладонь к его мордочке, почувствовал на пальцах теплый и мягкий язычок. Все было решено.

– Можно его?

– Кобеля, только кобеля, Валера! – озабоченно сказал отец.

Я приподнял щенка, поглядел и, вздохнув с облегчением, повернул его животиком к отцу...

* * *

– В этом доме со мной никогда не советуются!

Обычно этот мамин укор обращен к отцу, но сейчас он

в не меньшей степени относится и ко мне. Мы только что принесли щенка, были встречены восторженным Эммкиным визгом и смехом, но мама приняла нового члена семьи довольно сурово.

– Чем я его буду кормить? Он запрудит всю квартиру! А куда его выпускать?

– На балкон, мама, на балкон! Ты, главное, не переживай. Это же мой щенок, я сам буду убирать! И вообще всё...

– И я тоже, мама! – Эммка уже не улыбалась. Тревогу и волнение выражало не только её лицо: как и всегда в таких случаях, вся она напряглась, вытянулась, словно по стойке «смирно», оттопырила у бедер кулачки опущенных ручек, отчего ручки стали напоминать крылья пингвина. Щенок Эммке ужасно понравился, Еще бы, в доме появилась новая живая игрушка, а угроза лишиться её была совершенно реальной. Однажды мы это уже испытали.

Лет пять назад соседка подарила нам кошку. Рыжую, с пушистым хвостом. Родители были от подарка не в восторге, но мы их умолили.

– Поиграете с ней, погладите, тут же мойте руки, – предупредил отец. – Каждый раз!

Мы обещали. В первый день я бегал в ванную комнату раз десять. На второй – забыл. Кошку отдали соседке...

Родители, особенно мама, были людьми очень чистолюбивыми. И все же я думаю теперь, что их отношение к домашним животным было результатом воспитания, привычных

представлений. Не знаю, как насчет кошек, но собак в бухарско-еврейских семьях не принято было держать дома. Держали только во дворе, как Джека у деда Ёсхаима. Я не уверен, но, может быть, животные в доме – это что-то нечистое с точки зрения религии.

Но на этот раз и отец был на нашей стороне, и щенка-то взяли породистого, у отцовского коллеги. Словом, мы победили.

С этого дня началась у нас с Эммкой совершенно другая жизнь. Очень трудная и очень счастливая. Я до сих пор убежден: мы находились в таком же состоянии, как родители новорожденного ребенка... Пусть меня осудят за сравнение те, у кого никогда не было щенка!

Хорошо, что наступили каникулы, а то бы мы просто не справились. Первый день вообще был ни с чем не сравним. Вернее, не день, а сутки. Мы носились, как угорелые, добывая вещи, необходимые для щенка. На кухне я взял – без разрешения – две эмалированные миски для питья и еды. Мама смолчала, но, когда пропала и её расческа, спросила: «Может, и платье мое возьмешь?» На балконе под окном появилась мягкая подстилка. В дальнем от нее углу мы с Эммкой толстым слоем расстелили газеты: здесь, решили мы, будет щенячий туалет... Наконец, мы управились, щенок вылакал из мисочки почти все молоко, что имелось в доме, и принялся обследовать веранду, обнюхивая каждый уголок. То и дело он возвращался к нам с Эммкой и тыкался в нас носом.

Проверял, очевидно, на месте ли новые «родители», а также сообщал, что доволен нами.

Наступил вечер, щенок задремал на подстилке, мы тоже отправились спать, плотно закрыв дверь балкона. Только я начал засыпать, как услышал: скулит...

Над вершинами деревьев поднялась луна. Сквозь распахнутое окно балкона льется серебристый лунный свет. Щенок, калачиком свернувшийся у меня на коленях, освещен так ярко, что я вижу каждую его шерстинку. Подрагивает животик: напугался, бедняга, когда остался один, без мамки, спит беспокойно. Мягкий, теплый, согревает мои ноги. А пахнет от него удивительно приятно, такой нежный, детский аромат... Я наклоняюсь, принимаю. Животные по запаху распознают своих детей, вот бы и мне научиться.

Не знаю, сколько прошло времени – луна уже ушла, когда я тихонечко переложил его на подстилку и отправился спать. Но проснулся, как мне показалось, почти сразу: щенок снова скулил да как! Голос у нашего младенца был не из слабых. Я кубарем скатился с постели и бросился на балкон. Оказалось, что уже утро, хотя и раннее.

– Валера, я его уже накормила... А он еще хочет, а молоко кончилось! И посмотри, что он здесь натворил!

Подумать только, Эммка была уже здесь. Вот молодец-то! Но щенок, действительно, хорошо без нас поработал. Весь пол на балконе был покрыт мокрыми пятнами и клочками разорванных газет. Да, «туалетом» щенок воспользовал-

ся по-своему. Очень довольный, он подбежал ко мне, виляя хвостиком и запищал. Сообщил, что хотел бы поесть. Так... С чего же начать? Сегодня – воскресенье, магазин откроют в семь утра. Лучше пойти пораньше: по выходным за молоком всегда очередь, может и не хватить. Но и убрать надо немедленно, а то мама встанет и... На балконе сейчас уже вовсе не детством пахнет! Еще вчера вечером мама печально распростилась с любимой половой тряпкой и с ведром. Любые предметы домашнего обихода, которые мы берем для щенка, заявила она, для общего хозяйства уже непригодны. Хорошо, если маме так хочется, пусть покупает себе новое ведро... Словом, мы с Эммкой как могли справились с уборкой, потом сестрица осталась за няньку, а я бросился в магазин. Очередь, как я и думал, уже стояла на улице. Разговоры шли обычные. «Много привезли?» – спрашивали одни. «А детское молоко есть, не видели?» – волновались другие.

Молоко для новорожденных, подумал я. Ведь оно с витаминами и еще с чем-то там очень полезным... Замечательно! Буду брать его для щенка! Но в магазине меня постигло разочарование: детское молоко, оказывается, продают по специальным талонам только тем, у кого имеются малыши. Щенки в эту категорию, увы, не входят. Хорошо, что хватило обычного молока. Ну а если не хватит завтра? К нам ведь когда-то ходила молочница, вспомнил я, возвращаясь домой. Обязательно надо её найти!

Щенок лакал жадно, но еще неумело. Голова его ходила

по миске, брызги летели во все стороны. Эммка веселилась, мы оба наслаждались зрелищем. Тут на балкон вошла мама. Придирчиво оглянулась вокруг, слава богу, что не пришла сюда час назад, осталась, кажется, довольна и подсела к щенку. Медленно проведя ладонью от его головки до хвостика (а он лакал себе, как ни в чем не бывало), она сказала:

– Песик, песик! Теперь ты покажешь моим детям, что значит растить малышей... Что ж, это неплохо, а-а? – И снова погладила щенка каким-то удивительно материнским движением руки.

Мы с Эммкой переглянулись... Ясно было, что щенок окончательно признан членом семьи.

* * *

Назвать его я решил Тайшетом, как посоветовал мой старый друг Витька Смирнов. Тайшет звучит красиво, это сибирский город, а Сибирь – суровый край. Значит, подходящее имя для овчарки, большой и сильной собаки.

Впрочем, до большой и сильной было еще далеко. Все это лето, как и предсказала мама, мы непрерывно были заняты своим младенцем.

Нередко мы делали глупости. Например, сразу же принялись учить Тайшета пользоваться «туалетом», то есть газетами в углу балкона. Установили дежурство, уходили с балкона только по очереди. И как только Тайшет расставлял задние

лапы (задирать ножку он начал позже), Эммка или я хватали его – и ставили на газету... Тайшет исправно пикал, но через десять минут лужа появлялась в другом месте. Решили наказывать – тыкали щенка носом в лужу и относили на газету... Никакого результата! Мы возмутились: «Что ты за дикарь!» Но это мы были дикарями! Не потрудились узнать (что бы того же Олега расспросить), что собаки, в отличие от кошек, не могут научиться пользоваться дома туалетом, и если уж ты завел собаку, выводите её почаще на улицу. К счастью, через какое-то время Тайшет стал терпеливо дожидаться прогулок.

Рос он не по дням, а по часам. Иногда мы с Эммкой замечали мельчайшие перемены, иногда вдруг спохватывались: «Смотри-ка, а у него...». Вот так мы вдруг заметили, что у нашего черного щенка появилась вокруг глаз и на шее белая шерстка. При этом шею у самой груди обвивала черная полоска. Будто лента, увешанная медалями, горделиво думал я. Однажды утром меня разбудила Эммка (сестричка любила поспать, а теперь нередко вскакивала раньше меня): «Скорее, скорее! Ты спишь, а у Тайшета ушко встало!». – «Врешь небось!» – сказал я на всякий случай, но тут же отправился на балкон. День, когда у щенка встают уши – это долгожданное событие, праздник! У немецких овчарок уши начинают крепнуть к третьему месяцу и на исходе месяца уже стоят торчком, а не лежат на щеках. У Тайшета пока лежали... висели они и сейчас, когда он бросился мне навстречу – весе-

лый, сытый, причёсанный Эммкой.

– Ну, – начал я с насмешкой, – тебе бы только придумать... – и увидел, что у Тайшета с правой стороны поднялся над головой большой треугольник, покрытый изнутри нежной шерсткой! Правда, Тайшет кинулся лизать меня, и ушко тут же упало. Ну, ничего, ведь человеческий детеныш, первый раз встав на ножки, тоже то и дело плюхается! Вскоре мы уже любовались замечательной картиной – торчком стояли оба уха. Они были чуть ли не больше морды Тайшета.

Тайшет, теряя младенческую прелесть, превращался в красивую собаку. А мы с Эммкой... В собаководов – хотел я написать, но, пожалуй, это было бы хвастливо. Мы, конечно, очень старались, но и ошибок делали, вероятно, немало, вроде той, первой, с туалетом. Литературу о воспитании собак я купил сразу и изучал её, конечно, гораздо внимательнее, чем свои школьные учебники. «В первую очередь приучите щенка к его кличке. Положите на ладонь кусочек лакомства, поднесите собаке. Пока щенок занят едой, гладьте его и произносите его имя»... С этого началось. И пошло! Команда «место!» оказалась для Тайшета чуть ли не самой трудной, впрочем, может, как и для каждого здорового щенка. То надо было погнаться за мухой, то собственный хвост отвлекал.

Кормление пса тоже должно совершаться по правилам. Но когда Тайшет перешел с молочной диеты на обычную пищу, мы перестали их соблюдать. Ну, как можно было, обедая на балконе, спокойно глядеть на Тайшета, который сидит, по-

скуливая, возле стола? И почему он должен питаться после нас, обедами?

– Валера, почему ты перестал есть? – спросила в один из таких дней мама. – Наелся? Да у тебя почти полная тарелка плова... Как, Эмма, и ты уже сыта?

Мамина доброта, как и обычно, победила в единоборстве со строгостью. С этого дня, готовя обед, она включала Тайшета в число едоков и единственное чего требовала, чтобы мы его порцию перекладывали с тарелки в миску.

Закончились каникулы. И нам, и Тайшету пришлось менять режим. Конечно, он избаловался, проводя с нами целые дни, сидеть одному было для бедняги просто мукой. Первую прогулку я, как и летом, совершал с ним в шесть утра. Еще одну, до нашего возвращения из школы, мама или отец. Даже и он любил гулять с Тайшетом, ведь нашим красавцем восхищались все соседи. Но дома щенок тосковал ужасно! Хотя перед уходом мы оставляли ему еду и воду, Тайшет к ним почти не притрагивался. Да и я теперь с нетерпением ждал конца уроков. Домой не шел, а бежал. И до чего же приятно было увидеть в окне балкона черную удлинённую морду с торчащими вверх ушами! Если я был еще за деревьями, и он меня не замечал, я начинал насвистывать «Марш Фараонов» Верди. Тайшет уже хорошо помнил эту мелодию и при первых же её звуках начинал озираться, лаять... Махая ему, я мчался к дому, бегом по лестнице, пулей – на балкон. Тайшет прыгал навстречу, лапами на плечи, языком в щеки, и

только излив свои чувства, отбежал к мискам, чтобы жадно попить и поесть.

Потом начинались игры. Всех не перечесть, конечно, и я не знаю, кто из нас больше радовался им. У Тайшета одной из самых любимых была игра с пустой миской для еды. Он бил по ней лапой, переворачивал, а потом начиналось что-то вроде хоккея. Довольно шумная игра, я тоже принимал в ней участие, но обычно в роли болельщика. Однако в других играх мы выступали на равных. Я хватал, например, Тайшета за шею пониже ушей и начинал теревить, а Тайшет норовил ухватить меня то за одну, то за другую руку. Я погружал ладони в его густую, мягкую шерсть, и блаженное ощущение этого теплого, пушистого наполняло меня, я плавал в нем. Когда острые зубы Тайшета захватывали всё-таки мою кисть, я несколько не пугался. Ну, больновато, конечно, но я чувствовал, как осторожен Тайшет, понимал, что он не сожмет челюсти, не прокусит мне руку. А мог бы, хватка его становилась все сильнее. Пес давал себе волю, когда вытягивал из моих рук то полотенце, то палку. Это тоже была богатырская игра, и в ней все чаще побеждал Тайшет.

Скоро Тайшет стал таким большим и сильным, что я не всегда мог удержать его на поводке. Если, скажем, по щенячьему легкомыслию он забывал о команде «рядом», увидев что-то очень соблазнительное на другой стороне улицы.

– Силён, силён, хорош, – приговаривал Олег, прежний хозяин Тайшета, когда заглядывал к нам. Однажды он пред-

ложил мне поехать с Тайшетом в Ташкент на какой-то там смотр или выставку породистых щенков. Но я в тот день почему-то никак не мог пропустить школу, Тайшета повез сам Олег. Досадно мне было ужасно. Целый день я думал, как они там? Я уверен был, что лучше, сильнее, красивее Тайшета не найдется в Узбекистане щенка! Вот Олег выводит его на площадку и... А ведь мог бы я вывести его и стать участником триумфа! Так оно и вышло: Тайшет завоевал первое место. Поздравляли победителя всей семьей, даже тортом угостили.

* * *

...Сиюю сейчас и думаю, почему я не написал о Тайшете в своей первой книге, где рассказывал о школьных годах, а вспомнил о нем лишь теперь, дойдя до нашего отъезда? Может, память о старом друге лежала в запертом сейфе подсознания вместе с чувством вины? Не знаю...

Дело в том, что с Тайшетом я расстался, когда мы об отъезде еще и не помышляли, задолго до нашего последнего прощания. Случилось это летом, когда я закончил школу. Уже во время экзаменов стало понятно, что мне некогда заниматься собакой. Некогда было и родителям, да и не очень-то они, а тем более Эммка, справлялись с таким здоровым псом. А впереди были экзамены в институт и, если я поступлю, мой отъезд в Ташкент... На кого же оставлять собаку?

– Я просто не смогу, Валера, – печально говорила мама. – Я и на улицу-то с ним выходить боюсь!

Как ни горько было, пришли к решению: Тайшета надо отдать... Одно только непонятно: почему мы не подумали об этом год назад, когда брали собаку?

К концу июля отец нашел человека, который хотел завести немецкую овчарку. «У него большой двор, – говорил отец, – Тайшету там будет хорошо». Да, хорошо... Тайшету предстояло из баловня семьи превратиться в дворового сторожевого пса...

Я не вышел к подъезду, когда Тайшета сажали в машину. Я слышал, как он упирался, скулил. Мне тоже хотелось скулить. Потом была бессонная ночь, мне казалось, я слышу какой-то шорох на балконе, я выбегал с бьющимся сердцем, садился на стул. Не было Тайшета, не было его подстилки, миски – всё отдали новому хозяину. Оставался только запах Тайшета. Его нельзя было отдать.

Через три дня новый хозяин Тайшета позвонил мне: «Приходи, он не ест и не пьет»... Я помчался на другой конец города, жалость и раскаяние раздирали меня. А уж когда я увидел Тайшета... Он лежал, изможденный голодом, а еще больше, наверно, тоской. Увидев меня, поднялся, стал лизать мои руки. «Ах я подлец!» – думал я. А сам бормотал: «Ешь, Тайшетик, ешь! Попей водички скорее... Нельзя же так...». Он понял, стал жадно лакать воду, потом поел – хозяин принес миску свежей еды, – но все время поднимал го-

лову и глядел на меня.

Как уж мы расставались, об этом и вспоминать не хочется. Через неделю я снова его навестил. Тайшет все еще был исхудавшим, но всё-таки уже начал есть. Договорились, что если надо будет, хозяин позвонит мне. Но он не позвонил, и вскоре я уехал в Ташкент на вступительные экзамены, а, возвращаясь домой, хоть и думал, конечно, о Тайшете, не навещал его. И надо ли объяснять, почему? Но сейчас, перед отъездом, почувствовал, что мне обязательно нужно проститься с ним.

Он не сразу меня узнал, ведь прошло почти два года. Но как только я засвистал марш Верди, заскулил и бросился лизать меня. Совсем как прежде, будто я вернулся домой из школы.

Да, мне было больно, тяжело, я тоже дорого заплатил за свое предательство. Ведь никак иначе это и не назовешь. И совершил я его в тот день, когда взял на руки пушистый, теплый комочек и принес его в свой дом.

«Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил»... Так, кажется, сказано об этом у Сент-Экзюпери в «Маленьком принце».

Глава 13. Молитвенник

Дед Ёсхаим ужинал, а мы с бабушкой Лизой сидели поблизости на диване в почтительном молчании. Стул под дедом поскрипывал сильнее, чем обычно, и чавкал дед громче обычного, и раздраженно брякал ложкой о тарелку. Ел он, впрочем, с аппетитом, как всегда, и гневался не из-за плохого ужина.

Дед чавкал и сопел, но молчал. Молчали и мы с бабкой.

– Сволочи! – сказал наконец дед и отодвинул пустую тарелку. – Сволочи, сколько продержали! А все из-за тебя... На жаре целый день простоял! Будка весь день заперта... Понимаешь, что ты наделал?

Не спуская с меня сурового взгляда, дед откинулся на спинку стула, обтёр усы и бородку. Я печально вздохнул, виновато опустил голову, всем своим видом выражая раскаяние, но с облегчением подумал, что дед не так сердит, как вчера. Сердит, конечно, но уже не в такой ярости. Еще бы, ведь сегодня он победитель!

Вчера мы сдавали в ташкентскую таможенную свой багаж, то есть не тот, который собирались взять в самолет, а тот, что отправляли отдельно. Два больших фанерных ящика были доверху набиты одеждой и прочим домашним добром. Собирали вещи мама. Но и я кое-что положил в эти ящики, в том числе – любимые книги. Немножко поколебавшись, я присо-

единил к ним молитвенник с дедовой полки. Мне с детства нравились его пожелтевшие страницы и особенный сладковато-пыльный запах, какой бывает только у старинных книг. К тому же на разделенных пополам страницах молитвы были напечатаны и на иврите, и на русском языке... Дед этим молитвенником не пользуется, думал я, а раз не пользуется, значит, ему он и не нужен... А я вот возьму да и почитаю! Облегчив свою совесть такими рассуждениями, я взял книгу, не спросив разрешения у деда. И именно эту книгу, проверяя содержимое ящиков, объявили на таможене той ценностью, которую нельзя вывозить из страны!

Вывозить запрещалось многое драгоценности, антиквариат, произведения искусства. В этот же список, о чем никто из нас не знал, входили и многие книги, не только старинные, но даже изданные до определенного времени уже при советской власти, а также какие-то издания, перечисленные в особом списке... Дедов молитвенник издан был в 1917 году и, конечно, считался старинным. Чтобы вывезти его, требовалось разрешение министерства культуры, ни больше ни меньше... Так сказали нам на таможене. Родители не поверили, возмутились, отец, конечно, начал спорить. Это, разумеется, не помогло. Мало того – книгу нам не вернули, объявили, что она конфискована. Почему, на каких основаниях? В суете, нервоотрепке, спешке родители про то и не спросили.

Зато сразу же спросил об этом разгневанный дед Ёсхаим. И, конечно, накричал на меня, как посмел я без спроса взять

Священную книгу. Потом стал выяснять у родителей, где находится таможня.

– Зачем вам?

– Завтра, – сказал дед, – пойду заберу.

– «Заберу»... Нет, вы только послушайте! Он думает, что таможня возвращает конфискованные вещи! Только грубоостей наслушаетесь... Стоит ли портить нервы из-за какой-то одной книги? – отговаривали деда и отец, и мама.

Но дед Ёсхаим сжал кулак и, помахивая им в такт своим словам, заявил, что Священную книгу в руках бандитов не оставит.

Ушел он с утра, а вернулся только к вечеру, когда мы с бабушкой Лизой (родителей не было дома) уже изнывали от беспокойства.

Вернулся и молча положил на стол молитвенник...

Сейчас Священная книга лежала возле него, и дед, ужиная, то и дело на нее поглядывал. А мы, как я уже сказал, смиренно сидели на диване. Я понятно почему. Бабушка Лиза – из осторожности. Когда дед всерьез рассержен, бабушка тут же становится кроткой, как ягненок. Она с мужем говорит ласковым голосом, ни о чем не спорит, денег – упаси боже! – не просит. Перед глазами не маячит: либо во двор выйдет, либо сядет на диванчик.

Бабушка выждала, пока дед закончит меня отчитывать и, привстав, протянула руку к тарелке:

– Ещё?

Но дед нетерпеливо махнул рукой: не хочу, мол. Он уже наелся. И теперь хотел выговориться. Дед был неразговорчив, но сегодняшние приключения переполняли его. О схватке с таможенниками необходимо было рассказать.

– Дурачками притворились. «Какая книга?» А-а?! Не знают, какая!! Говорю: «Священная книга... Не имеете права!»... – И дед стукнул кулаком по столу.

Я представил себе, с каким изумлением глядели таможенники на разгневанного старика. Они привыкли, что все лебезят перед ними, униженно о чем-то просят, смиренно выслушивают грубости, суют деньги. А тут... Седобородый, с яростными глазами под насупленными бровями, дед похож был на карающего грешников ветхозаветного Бога, каким изображали его на старинных картинах. Такого посетителя таможенники никогда не видывали. С непривычки они, возможно, даже перепугались. А уж растерялись – точно. По крайней мере вариант «какая книга?» больше не упоминался. Избрали другой: протянуть время, накормить «завтраком»...

– Говорит, «завтра приходи»... А-а? Ищь ти-и, завтра! Я на жаре почти весь день простоял! За-а-втра... Говорю, ищи мою книгу! Сейчас ищи. Не уйду, пока не отыщешь! И не ушел. Стою, кричу на них, где моя книга? Отдайте книгу! И вот...

Дед положил свою искореженную, со скрюченными пальцами руку на ветхий переплет. Придвинув к себе молитвен-

ник, он открыл его и торжественно, громко, начал читать что-то. Вероятно, благодарственную молитву Всевышнему.

Я слушал, стараясь не шевельнуться. Я тоже был весьма благодарен Богу: пронесло, дед успокоился...

* * *

Разрешение на отъезд мы получили по сравнению с тысячами других людей фантастически быстро. Через сорок пять дней после подачи документов! А люди ждали долгие месяцы, иногда даже годы. Так что нам удивительно повезло. Но Ташкентское отделение ОБИРа хороших новостей по почте не сообщало. Было прислано краткое приглашение явиться тогда-то. Поэтому мы находились в большом волнении и беспокойстве: вызвать-то могли по многим причинам! Неправильно заполнена анкета, не хватает какой-то справки... Да мало ли что? А вдруг сообщат об отказе?

Отец отправился в Ташкент (мы еще жили в Чирчике), и я поехал с ним. Мы подошли к одноэтажному зданию ОБИРа – Отдела Виз и Разрешений – и слышали гул голосов. Под большим тенистым дубом множество людей ожидало своей очереди войти в здание. Стояли и сидели группами, поодиночке, многие нервно перебирали в руках бумаги. Кого только не было в этой толпе! И светловолосые немцы, и смуглые греки. Но преобладали, конечно, евреи. Преимущественно бухарские, хотя попадались среди них и евреи европейские.

Узнавал я их легко. Их лица не имели той азиатской смугловатости, вообще того сходства с узбеками или таджиками, которое приобрели мы. Да и одевались они элегантнее, мужчины были при галстуках, хорошо выбритые. Даже разговаривали европейские евреи в своих группках много тише, чем их бухарские сородичи.

* * *

Я с «европейцами» близко познакомился в институте, где училось немало таких ребят (в моей группе – Оля Сандлер, Полина Гергель, Коган, Школьник). Уже тогда я понял, что выходцы с Запада отличаются от нас и внешностью, и манерами, и лучшим знанием русского языка, а нередко и более высоким культурным уровнем. Это же ощущение немножко другого быта, другого стиля, что ли, возникло у меня и в тот день, когда я попал домой к Лёньке Школьнику.

Лёнька зазвал меня как-то после занятий, когда уже стало известно, что мы уезжаем.

– У меня новая «Акая». Хочешь послушать?

Еще бы не хотеть! Стереомагнитофон прославленной японской фирмы! На него интересно было и просто поглядеть! Но когда мы пришли, оказалось, что я, будущий «отъезжант», интересую Лёнькину маму, Фриду Наумовну, не меньше, чем меня интересует магнитофон «Акая». Фрида Наумовна тут же усадила нас с Лёнькой пить чай... Как вкус-

но и красиво было все, что она приготовила и подала на стол! Какой фарфоровый сервиз, какие изящные чайные ложечки! Да и вообще вся обстановка в доме чем-то, сразу даже и не скажешь чем, обращала на себя внимание, казалась немного иной, чем у нас и, может быть, поэтому более привлекательной. Удивила меня и Фрида Наумовна. Я знал, что она астматик, что сейчас у неё приступ в разгаре и думал, что увижу измученную, исхудавшую, словом, тяжело больную женщину, махнувшую рукой на свой внешний вид. А может, и не увижу, так как она скорее всего лежит в постели... Мне ли не знать, как худо астматику во время приступа! Однако Лёнькина мама встретила нас у дверей подтянутая, вполне ухоженная. Вот только дышала с трудом и похрипывала, именно так, как я ожидал. Но никакого внимания она на это не обращала, вела себя, как здоровая, угощала нас, хлопотала по дому. Это тоже было непривычно, я вспоминал отца во время приступов и других родственников, очень уж угнетенных своей болезнью... Не знаю, почему, но я и эту выдержку причислил к достоинствам европейских сородичей.

Впрочем, отъездом нашей семьи Фрида Наумовна интересовалась, как любая из бухарско-еврейских знакомых. Она тут же стала расспрашивать, есть ли у нас «зацепки». Я впервые услышал от нее это слово, обозначало оно родственников или друзей, которые не только вызов пришлют, но и помогут на первых порах в иммиграции. Оказалось, что Школьники тоже хотели бы уехать, но «зацепок» нет и они

не решаются.

– Вы держите с нами связь, пишите, – сказала Фрида Намовна, вздохнув. Видно, мысли об отъезде и о «зацепках» всерьез её одолевали. Да и вообще в то время любая информация «оттуда» – из Израиля из Штатов – ценилась очень высоко.

Потом мы с Лёнкой пошли к нему в комнату, и я вдоволь насладился «Акаей». Я глядел, как вертятся бобины, слушал, как из стоящих по углам комнаты колонок льются звуки мелодий популярной рок-группы «Бони М.», а Лёнка время от времени сообщал мне что-нибудь о достоинствах этой системы:

– Stereo, какой звук, а? И записывает так, и воспроизводит... Ты вот сюда встань, на середину...

Я послушно выходил на середину комнаты. Исполнялась песня «Солнечный». Действительно, в стереозаписи она звучала дивно! Мне начинало казаться, что я сам парю в звуках. То вздымал меня звон ударных тарелок из левой колонки, то подхватывала бас-гитара из правой. Вокал, соло-гитара, скрипки... Поток звуков из одной колонки, из другой, и вдруг сливаются они вместе мощной волной, обнимают тебя, уносят...

Видя, как я «ташусь», Лёнка сиял от гордости и удовольствия. Но, вспомнив, что мы, должно быть, скоро уедем, вздохнул и сказал:

– Везет тебе! Скоро ты и не такое сможешь слушать. Лю-

бые системы, диски навалом!

* * *

Сейчас, сидя под дубом возле ОВИРа, я вспоминал Лёнькины слова и со страхом думал: а вдруг откажут? Пройдет какой-нибудь час-другой, и все рухнет! Страх был смешной, детский. Мне, ужасно хотелось и джинсов, и хороших дисков, не говоря уж о такой роскоши, как стереомагнитофон. У меня ведь не было даже и простого пластиночного проигрывателя. Разрешение на отъезд представлялось какой-то волшебной палочкой: уедем в Америку, и сразу все будет! Я напряженно вслушивался, не выкликают ли нашу фамилию, а то еще пропустим, не услышим... Потом снова погружался в свои мечты. И вдруг...

– Юабов!

– Жди здесь, – каким-то сдавленным голосом сказал отец и шагнул к дверям.

Появился он довольно скоро и, махнув мне рукой, пошел почему-то не ко мне, а куда-то в сторону. Я бросился за ним.

– Ты куда? Отказали?..

Продолжая шагать, отец негромко сказал:

– Дали добро! Но не надо, чтоб все знали... – и, повернув ко мне голову, чуть-чуть улыбнулся.

Дали добро! А я даже не мог подпрыгнуть, крикнуть «ура!». Я тоже только улыбнулся чуть-чуть. Осторожность

отца не удивила меня. Во время наших хлопот об отъезде я постоянно слышал дома: «тише, тише, как бы не узнали». Вот и теперь, получив разрешение на отъезд, отец боялся громко сказать об этом: а вдруг в толпе найдется какой-то тайный недоброжелатель, который захочет как-то напакостить ему?..

Да, в таком густом растворе недоверия друг к другу, страхов, унижительных, а иногда и нелепых, жили тогда миллионы людей.

Ликованье началось, когда мы вернулись домой. Закончилось ожидание, закончилось напряжение (конечно, почти сразу же и возникло, уже по новым поводам, но все же был момент разрядки). Маминой радости не было предела. Она кинулась к телефону, сообщать новость Марии. Мушеевы тоже получили вызов, на конец недели. Дай бог, уедем вместе, мечтали подруги. В этот день обзванивали всех родственников, назавтра принялись за дела.

* * *

Разрешение на выезд было действительным, кажется, девятью днями, к тому же можно было просить о продлении срока, указав на какие-то серьезные причины, на болезнь, например, или ожидание родственников. Но мы этого делать не намеревались. Лихорадочные сборы начались тут же. Мама занялась ими с какой-то, я бы сказал, жадностью. Уже

больше шести недель не ходила она на фабрику и, очевидно, казалась себе просто бездельницей. Два десятка лет многочасовые трудовые смены на фабрике и дома, смены ночные, недосыпание, все это постоянно, изо дня в день... Казалось бы, радуйся возможности отдохнуть хоть немного! Так нет, мама никак не могла привыкнуть к избытку свободного времени! Могла бы поспать утром, но вскакивала ни свет, ни заря и порой, стоя у окна, провожала почти завистливым взглядом людей, спешащих на работу. А то, сидя за обедом, вдруг вздохнет: интересно, как там? Надо бы сходить...

Теперь мама всю свою энергию вложила в подготовку к отъезду. Понимала она эту подготовку так: в новый мир, где предстоит начинать жизнь сначала, нужно приехать, имея с собой все необходимое. Все! И одежду, и то, на чем придется спать, и посуду... Денег-то для покупок не будет. Уж не знаю, как снаряжал свой ковчег Ной, готовясь к потопу, но думаю, что он не прогадал бы, имея маму в должности завхоза. Мама ведь всегда была отличной хозяйкой и, борясь с нуждой, довела это качество до виртуозности.

Мама давно уже добывала информацию: что именно брать с собой. Начала переписку с троюродным братом, Ёсефом Яхобовым, который еще в 72-м эмигрировал в Израиль, а оттуда перебрался в Штаты. Как я понимаю, Ёсеф особо ценных советов дать не мог, потому как уже достиг некоторого благополучия, и на мамины расспросы отвечал исходя из этого. «Домогам чок», – сообщал он, что в переводе с бухар-

ского означает: «живем в достатке». И еще: «пури сэри», то есть всего вдоволь... Вдоволь-то вдоволь, но за деньги ведь!

Предположим, если дядька не привирает, в супермаркете и вправду десять сортов кефира, а хлеба – двадцать (хотя это, думал я, уж точно враньё). Но за все надо платить! Наша семья имела право вывезти из страны около трехсот долларов на всех. А триста долларов, как писал нам тот же Ёсеф, – это месячная плата за квартиру в пригородах Нью-Йорка... Вот и купи что-нибудь! Словом, кроме вещей, необходимых для жизни, нужно было запастись вещами, которые можно продать. Не в Америке, что там продашь, а еще по дороге, в Италии. Неудивительно, что у мамы просто голова шла кругом. Вот, к примеру, посуда... Мама посоветовалась с Ёсефом, он ответил: «Возьмите только большой казан для плова». «Э-э, – подумала мама, – он по праздникам делает мужской плов, остальное его не волнует! А на каждый день нужны и маленькие котелки...» И однажды отец, зайдя на кухню, увидел, что мама обжигает на газовой плите старые домашние котелки. Делалось это примерно раз в год: за такое время на стенках и дне котелков образуется довольно толстый и совершенно не счищаемый слой копоти и сажи. Чтобы его убрать, пустой котел ставили на сильный огонь и калили до тех пор, пока этот слой не обугливался. После чего он довольно легко откалывался... Этим мама и занималась. Работа требовала времени и усилий.

– Ты что? – удивился отец. – Мы же вот-вот уедем... Вы-

кинь это старье!

Мама сразу не ответила, была слишком занята: только что «отбелила» дно у котелка и теперь, надев толстую перчатку, устанавливала его на огне боком. Наконец, котел был утверджен, и мама, обтерев перчаткой потный лоб, сказала:

– Будут, как новенькие... Возьмем с собой.

Отец только рукой махнул. У него были свои дела, влезать в мамины он не хотел, тем более что она взвалила на свои плечи почти все хозяйственные приготовления к отъезду.

«Вж-ж-ж... вж-ж-ж... вжжж...» – жужжит, как шмель, машина швейная машинка «Веритас». Сейчас мне все предотъездное время вспоминается под аккомпанемент этого звука. И так ясно вижу маму, сидящую за машинкой у окна в спальне. Она в цветастом халате, густые, до плеч, волосы падают на лоб... Склонилась к машинке, каждым движением своего тела управляя процессом шитья. Чуть покачивается, наклоняясь еще ниже, когда нажимает на педаль. Шея вытянута, лицо сосредоточенно, в губах кусочек нитки, который тоже все время «работает», вертится... А почему, непонятно, мама вроде бы губами не шевелит... «Вж-ж-ж... вж-ж-ж...»... Так она быстро строчит, в таком движении тело, что кажется: мама стремительно мчится на мотоцикле. А пальцы, пальцы... Как они снуют! И как близко к машинке! Глядеть страшно, кажется, игла вот-вот их прошьет... Кстати, так пару раз бывало – на мамином указательном пальце, у самого ногтя, остались два точечных шрама. «Иногда увле-

каешься», объясняла она нам, детям.

Чего только не шила она перед отъездом! Сначала одежду. За мужскую мама не бралась, шила для себя и для Эммки: платья, юбки, халаты (яркие, в цветах – мама такие любила), фартуки... Да мало ли что еще? Мама же была первоклассная швея, и не просто мотористка, она и кроила отлично, на глазок, без выкроек. Возьмет в руки кусок материи, а то и какое-нибудь старое платье, приподнимет, прищурится и медленно скажет: «А зна-аешь, что из этого можно сделать? О-о, замечательную вещь!». И хватает ножницы. «Не ехать же раздетыми! А денег-то не будет первое время».

Покончив с одеждой, мама принялась за постельное белье. И тут соблюдалась строжайшая экономия: наволочки и простыни мама перешивала из старых. «А вот корпа придется делать из нового материала», – вздохнула она как-то с досадой...

Корпа? Тут я удивился.

Корпа – это такие тонкие матрасики, набитые ватой или шерстью. В Азии на них спят. Уж не знаю, с каких, но, вероятно, с очень древних времен. Спят, чаще всего, прямо на полу. Стелют корпа и на топчаны в садах, едят, сидя на корпа, скрестив ноги, а по ночам спят...

Все это я, конечно, знал. Но зачем нам корпа в Америке?

– Мама, да что ты? Неужели там кровати без матрацев?

– А ты разве был там? – Мамины брови приподнялись, на слове «там» указательный палец тоже поднялся вверх. Ока-

залось, что в пользу корпа мама имела веские доводы. Главный среди них был такой: слышала она, что другие «отъезжанты» берут их с собой. И не только корпа, но и корпача, то есть такого же примерно типа, только потоньше, одеяла. А раз люди берут, значит... Мы, что ли, хуже людей? Словом, спорить я больше не стал, и мы принялись за корпа.

Теперь я думаю, что кроме практических соображений, была у мамы и совсем другая, может быть даже неосознанная потребность увезти с собой корпа. Она спала на них в детстве, она с ними выросла. Корпа были милой и родной частичкой отчего дома...

...Мама – на своем рабочем месте, за швейной машинкой. Я – за ней, на кровати. Рядом со мной Эммка... Мама шьет на машинке новый чехол. Как всегда, очень быстро. «Вж-ж-ж... Вж-ж-ж...» несколько минут, и чехол готов. Теперь мы вдвоем вкладываем в него вату. Очень аккуратно, чтобы легла ровным слоем... Кстати, ради экономии вату мы используем ту, что была в старых матрасиках. Бугристые слои этой пожелтевшей ваты напоминают мне коровьи и бараньи мозги, которые продавались на базаре... Но самое неприятное впереди. Когда вата уложена, матрасик надо простегать. Это ручная работа, машинка не берет такую толщину. И этой неприятной работой занимаюсь я.

Новый корпа лежит у меня на коленях. Я протыкаю его из-под низу толстой иглой. Никогда до этого мне и в голову не приходило, что игла может быть таким противным, злоб-

ным существом! Войдя в вату, она так и норовит отклониться в сторону, а нужно ведь, чтобы прошла ровнехонько по вертикали и вышла вверху точно над тем местом, где вошла! Даже когда мне, казалось бы, удастся справиться с иглой, и кончик ее показывается сверху, там, где надо, – это еще не все, далеко не все. Попробуй-ка теперь вытянуть её до конца! То гнуться начинает, то внезапно впивается в палец... Я сосу палец и с тоской думаю: сколько же мне еще надо сделать стежков? Корпа метра полтора длиной и метр шириной. Стежки можно делать широкие, но не больше, чем в десять сантиметров. В длину надо простегать два раза, да еще и в ширину сделать рядов пять-шесть. Вот и посчитайте, сколько раз я заойкаю, уколов палец, сколько раз зашиплю от злобы, вылавливая из ваты ускользнувшую от меня иглу.

Вероятно, из-за того, что я злюсь, меня ужасно раздражает сидящая рядом Эммка. Вернее, то, как она работает, если то, что она делает, вообще можно назвать работой. Обидно ведь: большая уже девица, могла бы шить, как и я, так нет, на это она не согласна, она этого, видите ли, не умеет! Что же она согласна делать? Ниточки вдевать в иголочки. Чтобы у меня перебоев не было с инструментом... Ну, не смех ли? Но почему-то и это занятие дается Эммке с трудом. Вдевая нитку в иголку, обычно прищуриваешь один глаз, а Эммка не может. Только оба вместе! Исподлобья глядя на иглу, она нацеливается в нее ниткой, как копьем... бац! И промахивается... Снова... Опять промах! И так без конца. Терпение у

нее, надо признать, ангельское... Или её просто устраивает такое вот развлечение вместо работы? Она целится и целится, то приближая к себе иглу, то отдаляя, то широко раскрывая глаза, то скашивая их зачем-то в сторону... Ой! Опять я укололся, заглядевшись на ее гримасы... Да, нудное дело шитьё... Если я заявлю сейчас, что устал или что у меня, дескать, срочное дело, если встану и уйду, мама ни словечка не скажет, не упрекнет. Она такая. Будет дошивать сама...

Вздохнув, я делаю новый стежок. Но тут хлопает входная дверь и в комнату входит отец с грудой пакетов в руках.

– Валер, гляди, какой я «Зенит» отхватил!

* * *

Удивительные, совершенно не представимые прежде ситуации стали возникать теперь в нашей жизни. Верхние полки большого шкафа-стенки в спальне родителей заполнили вещи, о которых мы никогда прежде и не мечтали. Тяжелые льняные простыни и пододеяльники, матрёшки и другие русские сувениры, фотоаппараты и портативные магнитофоны... Их появлению предшествовали долгие разговоры дома, между родителями и по телефону. «В Италии хорошо идет лён... Говорят, что «Зениты» охотно покупают»... И тому подобное.

Странность, вернее, даже нелепость ситуации заключалась именно в том, что все эти вещи покупались не для се-

бя. Мы не могли, как жители любой другой цивилизованной страны, увезти с собой валюту, необходимую для устройства на новом месте. Это было запрещено. Нет, мы должны были все свои деньги, накопленные или вырученные за продажу домашних вещей, обратить в такие вещи, которые можно продать в Италии за твердую валюту. И пусть мои юные читатели (если таковые будут) не спрашивают, почему, вместо того, чтобы увезти с собой деньги (не говорю уж о чековой книжке и кредитной карте), мы должны были торчать на рынке в чужом городе, в чужой стране и на чужом языке предлагать покупателям простыни, фотоаппараты, матрешки... Все равно не смогу объяснить! Таким вот диким образом Советский Союз отгораживался от проникновения в его экономику капиталистического Запада... Железная стена – что еще можно сказать? И пробивались сквозь нее люди, обдирая шкуру, пускаясь на всяческие хитрости. Мы-то на самые простенькие, а те, кто был побогаче, те становились контрабандистами, просто потому что другого пути у них не было. Кому-то на этом скользком пути везло, кто-то горел ярким пламенем. Из уст в уста передавались истории о том, как некто пытался перевезти свои бриллиантовые кольца в банке с клубничным вареньем, другой додумался обить крышки фанерных ящиков с багажом полосочками, якобы железными, а на самом деле – платиновыми. Но бдительные таможенники разоблачили обманщиков. Ценности, конечно, конфисковали, а уж что сделали с владельцами – не знаю.

Может быть, арестовали. Но выхода не было, люди продолжали идти на риск. Запрятавали ценности в куски мыла, в тюбики с зубной пастой, в обувь, в женские прически и другие интимные местечки...

* * *

Моим родителям не пришлось обучаться контрабандистскому искусству. Богачами они никогда не были, на предотъездные покупки пришлось даже занимать деньги у родственников. Пряча в шкаф очередной комплект дорогого постельного белья, мама говорила:

– Сами-то никогда такими вещами не пользовались!

Что правда, то правда: все мы спали под дешевыми хлопковыми простынями.

Меня простыни не волновали, а вот тяжелый кожаный футляр с фотоаппаратом не хотелось выпускать из рук. Нравился мне и запах этой кожи, и ее блеск. Но еще больше нравился мне сам аппарат, «Зенит». Вот это был аппарат, не то что мой! Я еще был третьеклассником, когда отец подарил мне «Смену-15», примитивную штуку с ручной наводкой и перемоткой. Из-за этой самой перемотки я загубил свою первую съемку в Крыму, во время небольшого плаванья на теплоходе. Легко себе представить мое горе, когда выяснилось, что из 36 снимков на пленке есть только первый. Остальные не получились потому, что я недокручивал коле-

сико перемотки. Но потом-то я неплохо освоился со своей «Сменой» и увлекся фотографией не на шутку. Купил бачки для проявления, корытца, фотоувеличитель. Ванная комната легко превращалась в фотолабораторию, достаточно было положить на ванну широкую доску... Впрочем, у какого советского мальчишки не было дома такой фотостудии? Отдавать пленки печатать было слишком дорого.

* * *

Соблазнительные предметы, лежавшие на верхних полках и предназначенные для Италии, конечно, не отправляли багажом. А все остальное имущество было, наконец, собрано, вывезено в Ташкент и однажды – наступил все-таки этот день – к дедову дому подъехал грузовик... Сначала в его кузов поставили два пустых фанерных ящика и уж тогда запихали в них вещи, а то уж больно тяжелый груз пришлось бы поднимать в машину. На таможне ящики снова пришлось опустошать... Как вспомню это зрелище – и смешно, и страшно становится. Пол в помещении таможни расчерчен на четыре квадрата. На один из них мы, суетливо и поспешно, выкладываем наше барахло. Усатый дядька, угрюмый и грубый, внимательно наблюдает за нами. Говорили, что таможенники охотно берут взятки и тогда становятся много приветливее и покладистее. Но родители не знали, как это надо делать, да и ничего особенно ценного мы не выво-

зили. Помню, как злобно сморщился отец, когда Юрка выронил один из маминых любимых котелков и он с грохотом покатился по полу. Но таможенник к котелкам отнесся спокойно, они явно были не из платины. Так что единственной нашей «контрабандой» оказался дедов молитвенник...

Глава 14. «Город, подобный раю»

Хорошо в гостях! Сладко спится на заботливо приготовленной для дорогого гостя постели, а если под утро раздастся привычный внутренний голос: «Ой, пора вставать!» – тут же с облегчением слышишь еще один голос: «Торопиться некуда. Спи себе, сколько душа пожелает!»

Увы, многолетняя привычка так в меня въелась, что первый голос, не сдаваясь, все зудил да зудил: «Вставай!» И победил...

Я открыл глаза и окончательно проснулся. Увидел себя в незнакомой спальне, услышал, как где-то близко воркует горлица... Ого, да не просто близко, а совсем рядом со мной! Видно, она знала, что здесь живут хорошие люди, не побоялась свить гнездо в комнате, над косяком двери. Я с постели увидел торчащие из гнезда веточки!..

Да, второй внутренний голос не соврал, я мог бы спать себе и спать, торопиться было некуда. Со вчерашнего дня мы с мамой были в гостях у наших родственников в Самарканде.

Перед отъездом в дальние края мама хотела непременно побывать на могиле отца, наверно, уже в последний раз. Я поехал с нею. Я еще никогда не бывал в Самарканде, хотя он не так-то далеко от Ташкента, всего часов около пяти езды на автобусе. Но вот когда с автобусной станции мы отправились на такси в Старый Город, к бабушке Бурье, сестре бабушки

Абигай, оказалось, что добраться до нее чуть ли не сложнее, чем до Самарканда. На одной из улиц таксист остановился и сказал: «Придется вам теперь пешочком. Я дальше не проеду... Вам на Мубаракскую? Вроде недалеко». То есть как это «не проеду», с удивлением думал я, пока мама расплачивалась. Но, оглядевшись, понял, в чем дело. Старый Город в Самарканде, очень похожий на Старый Город в Ташкенте, был много древнее, запутаннее, по-восточному колоритнее. Его узенькие улочки виляли, как горные тропинки между саманными оградами, за которыми почти не видно было низеньких домов, обращенных окнами во внутренние дворы. Улочки то поднимались на горку, то за поворотом ныряли круто вниз. От каждой из них разбегались в стороны переулочки, иногда такие тесные, что из любых видов транспорта только осел мог пробраться между оградами... И по каждой улочке, по каждому переулку пробегал узенький, но звонко-голосый арык. На перекрестках они, естественно, пересекались. Какая уж тут езда? Так что свою Мубаракскую нашли мы нескоро, и то с помощью добрых людей.

Бабушка Бурьё... Мне смутно представлялось, как на похоронах деда Ханана плачет она, взывает к небу, подняв руки и раскачиваясь. Она очень любила деда, как и он её. После похорон бабушка Бурьё провела с сестрой целый месяц. Но я-то жил в Чирчике и бабушку Бурьё позабыл, даже лица её не помнил.

Впрочем, узнал я ее сразу: они с бабушкой Абигай оказа-

лись похожи и лицом, и улыбкой, и движениями. А когда, нацеловавшись с мамой, она принялась за меня, я понял, что и «школу поцелуев» они проходили одну и ту же. Точно так же сияли её широко открытые глаза, точно так же, приподняв руки, приложила она ладони к щекам и совершенно такой же, знакомый поцелуй ощутили мои губы. Поцелуй нежный, сочный, сладкий, с тем же возгласом наслаждения: «Вах, вах, вах!». Словом, я сразу ощутил себя горячо любимым внуком и признал это родство.

Проснувшись в то утро, я потому и почувствовал себя как бы и в гостях, и в родном доме... Я еще полежал немного, слушая горлицу. В открытом окне над моей головой парусом раздувалась от свежего ветерка занавеска. Вместе с ветром донёсся до меня негромкий голос. Я выглянул... Маленькая, чуть согнутая фигурка в голубом платье и ярком платке на голове промелькнула по двору. Бабушка Бурьё уже на ногах в субботу, в полшестого утра! Да, подумал я, это дом раннего пробуждения. Как и наш, впрочем, как и дома моих ташкентских дедов. Все мы одной крови... Кстати, на следующее утро я проснулся так же рано, и снова бабушка опередила меня: я услышал, как она шаркает по двору метлой. Накануне, в субботу, она, как человек религиозный, просто не могла подметать...

Субботу мы провели дома, с бабушкой Бурьё, её дочерью Соней и сыном Давидом, моим ровесником. Взрослых мужчин в доме не было. Бабушкин муж давно умер, а из шесте-

рых ее детей четверо – еще одна дочь и три сына – жили отдельно. Соня же была незамужняя. Невысокая, полная Соня сильно прихрамывала и ходила с палочкой – у нее с рождения одна нога была с каким-то дефектом.

Выйдя с утра в небольшой квадратный бабушкин дворик, я сразу заметил, как не хватает здесь умелых мужских рук. В каждом углу двора что-нибудь было брошено. Возле виноградника лежали палки, у одной из стен дома – гора песка, чуть подальше – мешки с цементом, еще где-то – лестница и какой-то хлам. Видно было, что нелегко даются хозяйкам ремонт и другие хозяйственные дела. Женщины старались держать двор и дом в порядке, а сил-то мало было.

Самым приятным местечком во дворе показался мне уголок возле летней кухни. Там на невысокой кирпичной печке попухивал чугунный котелок. И как же вкусно пахло из котелка! Немудрено, в нем варилось ошсво. Это блюдо, насколько я знаю, готовят только бухарские евреи и никто больше... Что такое ошсво? Ну, его можно было бы причислить к семейству пловов, так как в основе ошсво тоже мясо, рис и большое количество масла. Но вкус у этого кушанья совсем другой, потому что готовят его очень долго, больше двенадцати часов. Обычно его начинают варить под вечер пятницы, чтобы в праздничный субботний день ошсво было готово к обеду.

Ошсво готовили и у бабушки Лизы, и в нашем доме. Дед Ёсхаим очень любил это вкусное и сытное блюдо. Поест, бы-

вало, и скажет: «После ошсво неделю ходишь сытым!» Меня это смешило: на другой же день дед охотно садился за стол. Да и в самом деле что за удовольствие есть всего раз в неделю? Смеяться-то я смеялся, но вот прошло много лет, и каждый раз, когда жена моя Света подает на обед ошсво я, наевшись до отвала, вспоминаю слова деда... Боюсь, что настанет время, и я, потирая старую, согнутую спину, буду бормотать, как бабка Лиза: «Проклятый спундилёз... Совсем замучил!»

И бабушка Лиза, и моя мама делали ошсво на обыкновенной газовой плите. А бабушка Бурьё внесла в приготовление этого блюда нечто новое: она варила его на углях, именно на углях, а не на дровах! Впрочем, может быть, в Самарканде так было принято? Не знаю. Но мне этот способ понравился. Я разглядывал угли, рдеющие в печке, наслаждался запахом пара и предвкушал классный обед. Я не ошибся. Когда мы уселись во дворе на топчане, а перед нами на столике с короткими ножками в большущей лангри появился окутанный паром ошсво... О-о, я и слов не найду, чтобы передать, как это было вкусно! «Хай, опа!» – приговаривала мама, покачивая головой и облизывая ложку. А мне и приговаривать было некогда. Мясо было нежным и сочным, даже косточки стали совершенно мягкими. Рис, пропитанный маслом, так и таял во рту. Но лучше всего была корочка, которая запеклась на дне котелка. По моим понятиям эта корочка и есть самый вкус, самая суть ошсво. Конечно, если корочка удалась, если она поджаристая, но в меру, не подгоревшая и не

жесткая. Именно такая и получилась у бабушки Бурьё. Да и вообще её ошсво, приготовленное на углях, оно чуть-чуть припахивало дымком, показалось мне гораздо вкуснее чем то, что я ел дома.

Наслаждаясь ошсво, а потом вытирая кусочками лепешки покрытое жиром дно лангри, я прислушивался к разговорам взрослых. Сначала во всех подробностях обсуждали наши приготовления к отъезду, волнующую тему эмиграции. А потом разговор стал неинтересным, надоевшим. Бабушка Бурьё и тетя Соня, давненько не бывавшие в Ташкенте, расспрашивали маму о родственниках. С близких перешли на дальних и... Пошло-поехало!

Вроде бы есть поговорка, что все евреи – родственники. Ну, это не так уж и удивительно, достаточно вспомнить, что все мы потомки Адама и Евы. Но это родство, так сказать, умозрительное. Бухарские же евреи ухитряются выискать даже среди незнакомых людей целую кучу вполне реальных родственников. И до чего же любят это делать мои соплеменники, особенно пожилые! Я уже как-то упоминал об этом, рассказывая о дедѐ Ёсхаиме. О, дед Ёсхаим был одним из лучших специалистов по составлению генеалогического древа своей семьи!

Наверное, сотни раз за годы детства и юности слышал я, как происходят такие поиски на праздничных ли встречах у наших родственников и друзей или когда в доме появляется сравнительно новый знакомый. Я никогда не забуду, как

усаживая такую гостью за стол (долгий и серьезный разговор лучше всего вести за чаем), бабушка Лиза откидывается на спинку стула, складывает руки на животе и спрашивает: «Шмо а трифи ки мэшет?» То есть кому и кем вы приходиться, чья вы родственница... На лице у бабушки неподдельный интерес, на языке – десятки новых вопросов, которые позволят обнаружить возможное родство.

Интерес к этому неисчерпаем. Стоит кому-нибудь из собеседников назвать незнакомое имя, его тут же начинают расспрашивать: «А кем он вам приходится? А из какой он семьи?» Начинают искать хоть одну знакомую личность, как-то связанную с незнакомцем, хоть одно звено, которое поможет восстановить всю цепочку. И что же вы думаете? Расследования еврейских детективов нередко заканчивались успешно. Выяснялось, например, что сын от первого брака троюродного брата прадедушки одного из собеседников приходился родным братом прабабушке второго собеседника. Вот радость-то!

Иногда мне любопытно было слушать такие расследования, но чаще – смешно. Ну, нашла бабка Лиза еще одного родственника... Ну, найдет еще десять... К чему ей это? Что изменится в её жизни? Мне и сейчас эти многочасовые поиски кажутся не слишком интересными и не имеющими практического смысла. Однако же я думаю, что когда-то, в древности, был в них глубокий смысл. Может быть, в очень далекие времена евреи, рассеянные по всему миру, благодаря

этим неустанным, настойчивым, непрекращающимся поискам встречали на чужбине соплеменников и родичей, обрели потерянных близких, получали возможность помогать друг другу?

От тех времен изгнания и рассеяния сохранилась потребность, ставшая привычкой. Так не будем же смеяться над ней.

* * *

Наступило воскресное утро, и тетя Соня повезла нас с мамой на кладбище...

Тут мне кое в чем надо признаться. В Самарканде я тогда был впервые и, казалось бы, неповторимый облик этого древнего города мог запомнить почти фотографически. Но... этого не произошло. Может, быть, из-за каких-то свойств памяти, а скорее потому, что я, юнец, был до макушки переполнен нетерпеливым ожиданием предстоящего отъезда, мечтами об Америке... До Самарканда ли мне было? Много лет спустя я снова ненадолго приехал в Узбекистан и побывал в Самарканде. Зрительные, туристские впечатления о первой и второй поездке после этого совсем уж перемешались. Вроде бы какая разница? Да просто я ничего в этой книге не хочу придумывать!

Попытался я, к примеру, сейчас вспомнить, что увидел, когда мы подъехали к еврейскому кладбищу, где похоронен

был дед. Перед глазами – высокая стена с нишами, выложенная из прекрасного светло-коричневого кирпича. Прямоугольный, вдвое выше, чем стена, вход со стрельчатой аркой... Увидел я эту ограду, только когда приехал в Самарканд вторично, в начале 90-х годов: она была новая, её и построили-то в 80-х! Какой же была старая? Не помню...

А вот могилу деда я очень хорошо запомнил, не забылось и то щемящее чувство, боль, жалость, моя детская нежность к деду, с которым я к ней шел.

Путь был долгим. Опираясь на трость, прихрамывая, теть Соня неторопливо вела нас по дорожкам между рядами могил. Я шел впереди. Мне почему-то непременно хотелось первым увидеть могилу деда Ханана. Дядя Авнер при мне напоминал маме, как её найти: «От входа налево. Потом по тропинке и под горку. Там на развилке, с правой стороны»... Но мы шли и шли по асфальтированной дорожке и никакой тропинки видно не было. Справа и слева мелькали надгробные плиты. Еврейские кладбища, особенно на Востоке, не отличаются разнообразием памятников. По законам иудаизма нет здесь ни скорбных ангелов, ни других изваяний, украшающих надгробия христиан. Над могилами просто стояли плиты. Те, что подревнее, были из простого белого камня и пониже. Новые – понаряднее, чаще всего из черного гранита, многие, вопреки строгим религиозным требованиям, с портретами усопших.

По кладбищу идти грустно, особенно людям немолодым.

Мысли охватывают печальные, и не только об усопшем родственнике, но и о себе: кто, мол, знает, может быть, очень скоро... У меня, по правде сказать, таких опасений не было. Я был занят мыслями о деде, поисками его могилы. Вот широкая асфальтированная дорожка сменилась, наконец, узкой, пыльной тропкой, пошла под горку. Мелькали и мелькали надгробия, у меня уже рябило в глазах, а дедовой могилы среди них все не было.

– Куда же ты, Валера? Мы дошли...

Я обернулся. Мама и Соня стояли довольно далеко позади, в сторонке от тропы. Прислонив голову к кирпичному надгробью, мама тихонько всхлипнула и сказала: «Здравствуйте, папа».

Памятник на могиле деда был очень простым, как и сам дед: белая мраморная ниша, обложенная кирпичом. И сама могила тихо и скромно притаилась в далеком и небогатом уголке кладбища. Наверное, я потому и прошел мимо, что ожидал чего-то более торжественного. Теперь-то я думаю: правильно сделали родные, дед выбрал бы именно такое место для вечного сна.

* * *

Мне и в голову не пришло бы пойти осматривать Самарканд, но надоумила тетя Соня. Она повела маму по магазинам за какими-то покупками (в каком бы городе мира ни ока-

зались женщины, они непременно должны пробежаться по магазинам), а мне, чтобы не томился и не тратил зря время, посоветовала пойти на экскурсию. Молодая женщина с маленькой сумочкой через плечо привела экскурсантов – нас было человек десять – на площадь Регистана с ее знаменитыми медресе. Я шел, глазел, вертел головой то вправо, то влево, закидывал её вверх, к сверкающим голубыми изразцами куполам, слушал рассеянно, думал о чем-то своем... А как теперь жаль! Ведь я же рос мечтателем. Шагая по переулку к дедову дому, я сотни раз переносился в древние времена, в далекие города. Видел перед собой замки, дворцы, башни, сам становился фараоном. И вдруг в Самарканде, в легендарном, удивительном Самарканде, мой дар покинул меня!

Только много позже я заинтересовался Самаркандом и считаю, что просто обязан сейчас написать о нем хоть несколько строк.

* * *

«Один из самых древних городов мира», – пишут о Самарканде в путеводителях. Я бы к этому добавил: «Город, переживший множество трагических событий и бурных потрясений. Город, который завоевывали величайшие полководцы древности». Еще за 329 лет до нашей эры, то есть почти 24 века назад, Самарканд стал добычей Александра Македонского. Город назывался тогда Маракандом, он был столицей

могучего государства Согдиана. Летописи утверждают, что прославленному Александру пришлось потратить два года, чтобы завоевать Согдиану, покорить Самарканд.

Современные ученые считают, что уже в те времена городу было не менее 200 лет. Об этом свидетельствуют остатки зданий и многие предметы, найденные на раскопках в городище, которое носит имя древнего легендарного царя, – Афрасиаб...

Сменялись века, сменялись державы и правители, под власть которых попадал город. В XIII веке нашей эры, в 1220 году, до Самарканда докатились орды Чингисхана. Город был обескровлен, сожжен, превращен в груды развалин. Больше века он оставался под властью монголов, но возродился из пепла, постепенно оправился... В конце XIV века – новое нашествие. На этот раз Самарканд был покорен завоевателем, еще более свирепым, чем Чингисхан. Это был Железный Хромец Тамерлан, Тимур... Как только его ни называли! Он мечтал о господстве над всем миром и тридцать пять лет, прокладывая себе путь огнем и кровью, уничтожая всё и всех на своем пути, захватывал страну за страной. Мир содрогался от его звериной жестокости.

Огромная империя Тимура простиралась от берегов Волги до Ганга, от Тянь-Шаня до Босфора. Но столицей империи Железный Хромец избрал Самарканд... Почему? Кто знает... Может быть, потому, что здесь пролегал Великий Шелковый Путь? Но ведь он проходил и по другим прекрас-

ным городам Средней Азии...

Не думаю, чтобы местным жителям, особенно бедным, легко было жить «на глазах» у такого высокого и свирепого властителя. Но в историческом плане Самарканду, несомненно, повезло. Тимур с его невероятным тщеславием захотел сделать Самарканд красивейшим городом мира, «городом, подобным раю». Один за другим возникали великолепные ансамбли: некрополь Шахи-Зинда, состоящий из 11 мавзолеев, грандиозная мечеть Биби-Ханым, мавзолей Гур Эмир – усыпальница Тимура, его детей и внуков – вероятно, самый знаменитый из архитектурных памятников Самарканда...

Эта величественная и своеобразная архитектура принадлежит мусульманской культуре, Востоку. Прекрасны голубые изразцы куполов, без конца хочется рассматривать изысканный орнамент, то растительный, то геометрический, украшающий стены зданий. Но описывать все это я, конечно, не стану, подробный рассказ об известных всему миру памятниках, их фотографии легко найти в книгах, альбомах, туристических буклетах. Но лучше всего – посмотреть на них своими глазами...

В историю человечества Железный Хромец вошел как чудовищно жестокий завоеватель, не знающий жалости и милосердия. Но прошли века, и любой из жителей Самарканда скажет вам, что благодаря Тимуру их город расцвел и прославился великолепной архитектурой. А внук Тимура –

Улугбек, правитель Самарканда, остался в веках, как выдающийся ученый, просветитель, воин, государственный деятель... Сложная это штука история, в ней нет однозначных событий и простых ответов на вопросы...

На этом, пожалуй, я и закончу свою затянувшуюся хвалу Самарканду. Я не теряю надежды побывать в этом городе еще не один раз. Жаль только, что никогда уже мне не услышать, как ранним утром в спальне бабушки Бурье поет горлица и как шаркает по двору бабушкина метла.

Глава 15. «Я с ним не поеду»

– Ну, так... Давай-ка еще раз проверим. Четыре скатерти льняных...

Отец держит в руках стопочку тетрадных листков. Это списки вещей, которые мы повезем с собой, то есть помимо багажа, который уже отправлен. В списках поштучно перечислено, что лежит в каждом чемодане. А чемоданов всего шестнадцать, по четыре на каждого из нас. И сверяем мы их содержимое со списками не один и не два, а, наверное, по десять раз. Списки нужно будет предъявлять на таможне, при этом любой из чемоданов могут открыть. Вот почему нужна точность, объясняет отец. Объясняет в десятый раз, очень серьезно, широко раскрыв глаза и потрясая перед моим носом указательным пальцем. «Обнаружат, чего нет в списке – конфискуют!» Волноваться по такому поводу кажется мне смешным. И отец смешон с этим своим поднятым пальцем и значительно поджатыми губами. Ну, обнаружат в чемодане лишнюю пару моих заштопанных носков или поношенную майку... Неужели будут конфисковывать? Но спорить с отцом – портить нервы. Я поступаю иначе: когда он не смотрит, запихиваю в уголок чемодана одну-две вещички – свои, конечно, о которых раньше позабыл. Не вносить же их в список, отец тут же начнет ворчать.

Мы обосновались в бабушкиной спальне, рядом с ее лю-

бимым окном, тем самым, на котором тюлевая занавеска. Соучастница бабушкиных дозоров и разведок, она сейчас закинута вбок, на гвоздь – так в комнате больше света. Да и вид у занавески уже не тот, что прежде. Она давно не стирана, не накрахмалена, не сияет белизной и узорами. Постарела бабушка Лиза, поумерилась её невероятная чистоплотность. Да и не до разведок ей сейчас.

– Три простыни, два пододеяльника, три женских платья...

* * *

Уф-ф, с этим чемоданом, кажется, все! Но проверять заново предстоит еще штук шесть. Вон какая куча стоит возле дедова шифоньера.

Шестнадцать чемоданов – поначалу их число приводило меня в ужас. Потом-то я понял, что это совсем не так уж и много для семьи будущих эмигрантов. Ведь набиты они в основном вещами, которые мы собираемся продавать в Италии – льняными простынями, матрешками и прочими русскими сувенирами...

– Осторожно, ремень! – напоминает мне отец. Это я закрываю чемодан, который сверху затягивается двумя ремнями. Один из них надрезан.

– Как это получилось, не понимаю... – задумчиво бормочет отец.

«Вот память же», – думаю я.

Чемодан этот был куплен отцом давным-давно, больше десяти лет назад. Отец собирался в Кисловодск, получил туда командировку и заодно хотел полечиться немного. А меня он обещал взять с собой, если закончу первый класс «хорошистом», как тогда принято было говорить. Даже учителя так калечили язык. И значок такой был – флажок с надписью «Хорошист». Я был очень доволен, когда на родительском собрании в конце учебного года Екатерина Ивановна, учительница, собственноручно мне его пристегивала. Я глядел на отца и улыбался. «Теперь поеду в Кисловодск!»

И мы, действительно, поехали. Вот перед этим и появился большой, коричневый, приятно пахнущий чемодан с ремнями. «Настоящая кожа» – гордо сказал отец, принеся его домой. Но я почему-то в этом усомнился. Мой школьный портфель, когда его купили, был таким же блестящим и таким же пахучим. Но он-то оказался не кожаным! Надо это дело проверить, решил я. Как? «Да очень просто, – сказали мальчишки, когда я с ними посоветовался. – Ты сделай где-нибудь надрез и сразу увидишь...» Прибежав домой, я схватил отцовскую бритву – и только прикоснулся ею к чемоданному ремню, как он разъехался, будто был сделан из масла! Я так напугался, что и смотреть не стал, как выглядит этот надрез. Думал я теперь только о том, что будет, когда папа заметит...

Шум, конечно, был ужасный, но отец почему-то меня не заподозрил. Разрез зашили нитками, и когда бы отец ни до-

ставал чемодан, он каждый раз задумчиво бормотал: «Как это получилось? Не понимаю»... Больше десяти лет мы с чемоданом хранили свою тайну.

* * *

– Пожалуй, на сегодня довольно, – сказал отец, складывая листочки.

Я поднялся на ноги, с наслаждением потянулся. Кажется, теперь я наработался и свободен... У меня были планы на сегодняшний вечер.

Я подошел к зеркалу (уже не первый раз за день) и с удовольствием поглядел на свою отросшую, пышную шевелюру. Не стригся я уже три месяца. Перед отъездом из Чирчика пошел я с друзьями в фотостудию сняться на память – для истории, как выразился Женька Сучков. И он же спросил меня, когда мы сфотографировались:

– Поедешь в Америку с этой вот стрижечкой? Вот, мол, глядите на меня, я парень из Советского Союза... Ты что, сдурел? Разве не знаешь, как там молодежь ходит?

Действительно, подумал я. Фотографий парней из Штатов я видел предостаточно. И все они были с длинными волосами, кто до плеч, кто даже с «лошадиным хвостиком» на затылке. Правда, в основном это были музыканты, но, наверно, многие парни хотят походить на своих кумиров. Значит, отращу волосы подлиннее, вот и всё.

За три месяца я достиг в этом больших успехов. Теперь кудрявые черные волосы ниспадали почти до самых моих плеч. Недурно, подумал я, глядя в зеркало.

Зеркало это, старое и потускневшее, в резной деревянной рамке, стояло на бабушкином комодe. А по обе его стороны – хорошо знакомые мне фотографии: на одной был запечатлен мой прадед, отец бабушки Лизы, седой, строгий, аккуратно подстриженный. На другой красовался бабушкин брат Абраша в шерстяной шапочке, из-под которой почти не было видно волос. И вот между портретами этих почтенных людей покачивалась моя голова в пышной, девической шевелюре... На короткое мгновение мне стало как-то не по себе. Почудилось, что предки укоризненно и удивленно глядят на меня из своих рамок. Неужели, мол, ты, чудище лохматое, из рода Юабовых? Не стыдно тебе?

Я встряхнул головой: «Нет, не стыдно! Я еду в Америку!» И пошел переодеваться: я собирался навестить друга.

Очень довольный собой, своей прической и одеждой (сиреневая «мочёная» рубашка с металлическими пуговицами, светло-голубые брюки клеш с карманами впереди, а руки, естественно, в этих карманах) я вышел во двор. Через плечо у меня висела довольно тяжелая матерчатая сумка с книгами. Я нес их в подарок другу.

С этими книгами на днях произошла неприятная история. Её нелегко будет понять нынешнему читателю, но попробую объяснить...

Большую часть своей библиотеки я уже отправил в Америку с багажом. То, что осталось, по совету Лёньки Школьника решил продать. Практичный Лёнька тоже собирался продавать какие-то книги, он знал, где это можно сделать, и мы поехали вместе.

Неподалеку от ипподрома ташкентские любители книг устроили свой нелегальный рынок. Это было единственное место в городе, где продавались интересные книги. Разве найдешь в скудных книжных магазинах собрания сочинений Жюль Верна, Джека Лондона, Конан Дойля? Разве купишь Обручева, Ефремова и других советских фантастов? О таком чуде и мечтать не приходилось! А здесь – пожалуйста... Но эта невинная торговля (не наркотиками ведь и не валютой) почему-то считалась противозаконной. Боялись, наверное, власти, что здесь продают из-под полы всякий «самиздат» и прочую антисоветчину, изданную за рубежом. На «книжников» устраивали облавы, их разгоняли, иногда и арестовывали, а книги, конечно же, отбирали... Так вот, только мы с Лёнькой смешались с гудящей толпой продавцов и покупателей, только я успел восхититься разнообразием книг, лежащих на ящиках и торчащих из мешков, как кто-то стиснул мое плечо. «Что у вас в портфеле? Пройдемте со мной»...

Мы попали в облаву!

Вокруг уже кричали и разбегались люди. Паника началась ужасная. Нас так толкали со всех сторон, что задержав-

ший меня мент немного растерялся. Держа в одной руке мой портфель, он отвернулся, пытаясь схватить еще какого-то «преступника». Зато Лёнька не растерялся. «Тикай, – шепнул он, засовывая руку в мой открытый портфель и вынимая оттуда книги. – Постой, держи еще!» И мы удрали, унеся несколько книг...

Вот их-то я собрался подарить другу.

* * *

...Родители, Эммка, бабушка Лиза, все были во дворе.

– Привет, я пошел. Вернусь не поздно, – попрощался я. И уже подходил к воротам, когда меня окликнул отец:

– погоди! Куда идешь?

Я ответил. Отец подошел и, угрюмо оглядывая меня, пробормотал что-то насчет идиотизма моей прически. Чем длиннее становились мои волосы, тем больше они раздражали отца... Я промолчал, только плечом пожал.

Отношения мои с отцом были уже не такими, как прежде. Отец, пожалуй, стал побаиваться задевать повзрослевшего сына. Я ведь мог уже и вспылить, и ответить резкостью на резкость, а то и сделать что похуже. Подростки в таком возрасте непредсказуемы, опытный школьный учитель хорошо понимал это. К тому же с тех пор, как я стал студентом, виделся мы довольно редко... Словом, я не ожидал от отца «боевых действий». И когда он спросил: «А что уносишь в

сумке?» – вполне мирно ответил: «Ничего особенного, книги в подарок другу».

– Дай сюда сумку, – неожиданно потребовал отец.

Конечно, это было оскорбительно, отец даже в прежние годы никогда не устраивал таких обысков. Но очень уж не хотелось ссориться. Я протянул ему сумку. И сразу же отец вытащил из неё пачку импортных сигарет... Лицо у него мгновенно исказилось от злобы.

– Это тоже для друга? – просипел он, скосив в сторону поджатые губы.

– Для друга, – ответил я.

Курение считалось в семье большим пороком, никто из наших мужчин не курил. В том числе и я. Не считать же курением несколько затяжек на хлопке. Сигареты я действительно купил для друга! Но оправдываться было противно да и бесполезно, отец все равно бы мне не поверил. Хожу в кудрях, как хиппи, ношу «мочёнки», не удивительно, что стал курильщиком.

Не знаю, что было бы дальше, но тут подошла мама. Взяла из рук у отца сумку и сигареты, протянула мне.

– Иди, Валера. – Взгляд её, как всегда, был нежным, но и печальным. – Поздно не приходи, бачим.

Уже захлопывая ворота, я услышал во дворе крик отца:

– Это все ты! Ты! Детей портишь! Всегда...

Начинается, подумал я и быстро пошел прочь. И хорошо, что ушел! Я понял это, когда на другое утро Эммка, уведя

меня во двор, стала шёпотом рассказывать, что произошло в тот вечер.

У отца начался один из тех приступов ярости, когда он совершенно терял контроль над собой. Он орал на маму так, что подбежала бабушка Лиза. «Перестань, Амнун, оставь в покое Эсю!»

За те двенадцать лет, что мы жили в другом городе, я не раз замечал, что бабушка Лиза помягчела. Раньше она ни за что не заступилась бы за маму, а теперь вот бегала вокруг отца, всплескивая руками: «Успокойся! Что она сделала?» Но отец уже сорвался с цепи. Подскочив к маме, он ударил её... Бабушка закричала неистово, вскрикнула и мама. Тут отец вроде бы немного очнулся и, бормоча что-то, ушел в дом.

Да, хорошо, что меня не было при этом! Скорее всего, я бросился бы на отца с кулаками...

* * *

На другой день во дворе происходило что-то вроде семейного совета. За столом под сенью шпанки собрались почти все мои родственники – бабушка Лиза, Робик, дядя Миша, жена его Валя, моя мама. Пришли и мы с Эммкой. Отец сидел чуть поодаль от остальных, упершись руками в колени, плечи его под белой майкой были приподняты. Чувствовалось, как он напряжен, насторожен...

Со странным ощущением сидел я за столом. Что-то изменилось, что-то небывалое случилось в семье Юабовых! Можно ли было представить себе, чтобы в годы моего детства семья собралась осуждать отца?.. Стыдить его за безобразное поведение с мамой... Бабушка Лиза, которая прежде во всем винила только маму, теперь обвиняет сына и защищает сноху. Дядя Миша – сколько раз до нашего отъезда он оскорблял маму, принимая сторону своей матери, а теперь нашел в себе мужество открыто защищать невестку...

Надо отдать справедливость дяде Мише: он почти всегда был судьей при семейных разборках и тратил на свою вторую профессию «главного миротворца» немало времени и сил. Ссорились ли Марийка с Робиком, происходила ли очередная перепалка в семье тетки Тамары, на помощь призывали дядю Мишу. Все считались с его авторитетом: как же, ученый человек, физик, кандидат наук... Унижать достоинство родственников дядя Миша не любил: предпочитал устраивать проборку не прилюдно, а с глазу на глаз. Именно так он и с отцом моим не раз поступал. Уговаривал, ругал, возмущался его выходками (это не мешало самому Мише срываться дома и жестоко обижать Валю, характерами-то братья были схожи. Впрочем, конечно, дядя Миша был и мягче и, возможно, самокритичнее).

Но вот настал день, и дядя Миша сидит среди нас за столом и сурово смотрит на брата. Значит, это он счел необходимым открытый разговор. Все молчат, звучит только мамин

ГОЛОС.

– Вот так уже двадцать лет. В Ангрене, в Ташкенте, в Чирчике... Двадцать лет! Вы посмотрите на него, ему уже пятьдесят... А чему научился в жизни? Что у него в голове?

Мама помолчала. Она сидела, обхватив себя руками за плечи, и взгляд её, такой печальный, устремлен был куда-то далеко.

– Я не могу так больше. Не могу. Что хотите делайте, а я с ним в Америку не поеду!

Отец дернулся на своем стуле, приоткрыл было рот, но ничего не сказал, только поднял плечи еще выше.

Бабушка Лиза всхлипнула, что-то пробормотала неразборчиво. И тут заговорил дядя Миша.

– Амнун... Кто у тебя есть, кроме семьи? Кроме жены и детей? – Тут голос его дрогнул. Казалось, что эти слова дядя Миша еле выдавил из себя...

Мне удавалось иногда тайком, то за дверью притаишься, то за деревьями, наблюдать его беседы с провинившимися родственниками. Дядя всегда держался с достоинством, говорил негромко, спокойно, сдвинув свои густые брови и глядя куда-то в сторону, а не на собеседника. Мне порой казалось, что он совершенно машинально выполняет свой долг воспитателя, а ум его в это время погружен в поиски решения какой-то сложной физической задачи или проблемы. Но сейчас было не так. У дяди Миши даже губы дрожали, он был очень взволнован.

– Амнун... А там, в чужой стране, кто у тебя будет там?

Дядя Миша взглянул на брата, протянул к нему руку, но тот, как и прежде, сидел, низко опустив голову.

– Чи мешо анакун? (что же теперь будет) – горестно про-
бормотала бабушка.

Тут заговорила Валя. Заговорила – это не то слово. Она изливала душу. Впервые она смогла в присутствии своего мужа, в присутствии бабушки Лизы, открыто высказаться о человеке, уже столько лет попиравшем жизнь её подруги. Да ведь и на ней самой так тяжело отразилось все это – враждебность к маме, разлад в семье...

– И вот к чему ты пришел, – закончила она свою речь. – Ты всех оттолкнул от себя, всех. И себе же на горе, ведь ты больной! Кому ты такой будешь нужен? А! – Валя произнесла это жестко, как отрубила, и отвернулась от отца.

Потом что-то говорил Робик, как всегда, когда он нервничал, широко раскрыв глаза. Потом – снова Миша.

А отец молчал. Он все тяжелее опирался о колени ладонями, вывернув локти наружу, согнувшись так, что под белой майкой на спине, которая казалась совсем круглой, толстым жгутом выпирал позвоночник. Будто какой-то груз все сильнее давил и давил ему на плечи. И дышал он все тяжелее, как перед приступом астмы.

– Ну, скажи хоть что-нибудь, Амнун... – устало проговорил Миша.

Отец поднял голову, посмотрел на маму, на меня, всех об-

вел взглядом и медленно покивал головой, как бы признавая: да, вы правы. Что-то он пробормотал тихонько.

Можно ли было считать это извинением? Не знаю. Да и вряд ли отец искренне чувствовал себя виноватым. Я не верил, что даже «семейный суд», даже такое всеобщее, впервые высказанное осуждение могли его потрясти настолько, чтобы он стал не только внешне, но и по сути другим человеком. Или хотя бы захотел стать. Я не верил!

Я взглянул на маму. Она сидела печальная, вся ушла в свои мысли. Мне кажется, я угадал их. «Я не поеду с ним!» – это вырвалось у нее, как крик отчаяния: «Нет больше сил!» Но могла ли она не поехать? Ведь путей к отступлению не было, ведь речь шла о судьбе детей. Ехать с ним придется, думала мама. Сейчас уже ничего не изменишь. Придется найти силы, примириться снова. А там поглядим, что будет...

Мне кажется, что я угадывал мамины мысли. Мне кажется, мы думали об одном и том же.

Глава 16. Поезд тронулся...

– Хай, бви, чи кунам? – спрашивает мама. Они с бабушкой Лизой стоят друг против друга на кухне, обе озабоченные, расстроенные... – Что же будем готовить? – повторяет мама уже по-русски, словно бы обращаясь уже и ко мне, случайно зашедшему на кухню.

Когда мама чем-то озабочена, это выражает каждая чёрточка её лица. И все вместе они складываются в печальную, но милую гримаску. Губы выпячиваются вперед и верхняя приподнимается так, что почти касается кончика носа, который в это время, наоборот, опускается вниз, будто хочет поцеловаться с губкой. Широкие, густые брови сдвигаются над переносицей, соединяются в одну черную линию – так они и выглядели раньше, пока мама не начала выщипывать проход между ними...

Озабоченность, торопливое совещание на кухне, всё это из-за того, что к нам неожиданно нагрянули гости. Казалось бы, уже все родственники и друзья, с которыми родители хотели проститься, побывали у нас. До отъезда осталось всего два дня, а дел невпроворот. Так нате вам – во дворе за столом собралось человек пятнадцать, а то и больше.

В общем-то, понятно, как это случилось. Далеко не всем родным и знакомым родители сообщили о своем отъезде. Почему? Из осторожности. Если уж говорить честно, то при-

дется употребить слово «страх». Я уже писал, что получив разрешение ОВИРа на выезд, отец даже не решился громко поделиться со мной радостью. И чем ближе был отъезд, тем страшнее становилось. По городу ходили упорные слухи, что отъезжающих грабят. Особенно тех, кто уезжает вот-вот, у кого и доллары на руках, и новые вещи куплены, и все ценности, что есть в семье, собраны вместе... Грабили, ничего не боясь. Кто будет заступаться за людей, уже лишённых гражданства? А может, «наводили» грабителей как раз те, кто отнимал гражданство? Кто знает... Доходило и до убийств. С одной семьей, как мы узнали, так вот и расправились среди бела дня. Мужу, чтобы признался, где драгоценности (не знаю, были ли они у этих людей) поставили на живот раскаленный утюг... Врачам не удалось его спасти, он умер.

Как мы ни осторожничали, но многие какими-то путями узнали о нашем отъезде и, собравшись вместе, неожиданно явились в гости... С ними сейчас во дворе беседуют мужчины. А хозяйке на кухне: нужно срочно готовить обед. Не чай со сладостями, а именно вкусный, сытный обед. В Азии иначе нельзя, ждали вы гостей или не ждали...

– Курица есть, мяса немного, – подумав, говорит бабушка, ожесточенно потирая поясницу. – Квов руган если сделать, быстро будет.

«Квов руган» – это жаркое. Значит, мне надо бежать в подвал за картошкой. А мама уже ставит на плиту чугунный котелок и зажигает конфорку. И когда я возвращаюсь, на

кухне работа кипит вовсю: на помощь маме и бабушке пришли тетя Валя и Марийка, жена Робика. Меньше, чем через час стол во дворе заставлен салатами и дымящимися блюдами. Гости склонились над тарелками, раздаётся говор, звенят рюмки. Пиршество в разгаре...

И вот поднимается брат дедушки Ёсхаима. Тот самый брат, я уже упоминал о нем, который, в отличие от деда, получил хорошее образование. Он стал математиком, имеет звание профессора. Михаил Рубинович – так его зовут – даже внешне отличается от других гостей. Он довольно стар – ему больше шестидесяти – но ухожен и подтянут. Все наши родственники и знакомые носят летом узбекские яркие тюбетейки, заменяющие кипы. Михаил Рубинович – в светлой шляпе с полями. Он гладко выбрит. Так и кажется, что он сейчас не за нашим столом, а на какой-нибудь научной конференции и скажет что-нибудь заковыристое, из области высшей математики... Но профессор говорит:

– Хотя вы уже и решились на такой шаг, хочу, чтобы вы одумались. Одумались и не ехали!

На несколько мгновений за столом наступает тишина, в которой слышен только один звук: чавканье деда Ёсхаима. Не поднимая головы, он с удовольствием ест свое жаркое. Дед к высказываниям ученого брата давно уже относится с равнодушием, более того, с неодобрением. Ему неохота отвлекаться от еды, прикладывать руку к уху и спрашивать у соседа: «О чем это он говорит?» Дело в том, что взгляды у

братьев диаметрально противоположные: дед Ёсхаим – человек очень религиозный, ненавидящий советскую власть за вражду к Израилю и преследование евреев. Брат его Михаил – член коммунистической партии, слепо верящий её «учению» и гордый тем, что живет в такой замечательной стране.

– Амнун! – продолжает свою речь Михаил Рубинович. – Опомнись, пока не поздно! Ты знаешь, куда едешь? Что там за жизнь? Ты больной! Ведь это капиталистическая страна!

Прерывать старого почтенного человека никто не решается, все молчат...

Неуместные, глупые высказывания иногда вызывают у присутствующих такое чувство неловкости за говорящего, особенно если это кто-то из близких, что люди начинают ёжиться, будто они сами в чем-то виноваты. Со мной это бывало, мне казалось, что на меня смотрят с насмешкой: мол, это ты с ним сюда пришел? А иной раз общее негодование, наоборот, объединяет людей, они обмениваются понимающими взглядами: «Что он несет? Заткнулся бы!»

Именно это мы все сейчас и чувствовали. Как ни странно, первым выразил общее состояние дед. Оторвавшись от жаркого, он поглядел на брата, что-то спросил у сидящего рядом Ильи, тот прильнул к дедову уху, пошептал... И тут дед, помахав рукой, громко сказал:

– Э-э, Михозэл, зачем столько говорить? Садись, ешь, пока не остыло!

Будь почтенный профессор помоложе, весь стол просто

грохнул бы, повалился от смеха. Но смеялись деликатно, отвернувшись. А пока представитель правящей партии усаживался, поднялся дядя Миша и подытожил политическую дискуссию такими словами:

– Решение Амнуна и Эси ехать – это решение сугубо личное... Семейное! – сказал он раздельно и строго посмотрел на дядю.

* * *

Из окна в коридоре вагона виден почти весь перрон. Несмотря на раннее время, еще нет и семи утра, провожающих довольно много. Самая большая кучка людей возле нашего вагона, под нашим окном. Мы уезжаем, наконец. Промелькнули в суете последние два дня в Ташкенте, в старом доме, в Старом Дворе. Промелькнула и ночь, моя последняя ночь на топчане, под сенью урючины, под этим огромным ночным небом с мерцающими звездами... Я почти не спал. Думал ли я о том, что теряю, с кем расстаюсь? Нет. Не спал от возбуждения, глядел на небо и думал: «Скорее бы утро!» А сейчас вот, много лет спустя, яснее всего вспоминаю звезды в ночном небе...

Мы уезжаем, наконец. Сегодня – в Москву, из Москвы – в Брест, на границу, и дальше, дальше... От этих мыслей у меня кружится голова. Поезд вот-вот отправится, поэтому мы все уже в вагоне. Родственники, толпясь у окна, спешат

дать последние советы.

– Ушор шивет! – Это Робик. Он чуть ли не в сотый раз повторяет свое «будьте пошустрее». Робику, как, впрочем, и Мише, кажется, что их старший брат Амнун человек не слишком-то пробивной. Что уж говорить о маме! По правде говоря, братья правы. Они многое делали для папы и за него. И делали очень неплохо. Робик энергичный, деловой человек. Работа у него ответственная: он в республиканском градостроительном научно-исследовательском институте заведует отделом воздушного охлаждения и еще чего-то там... Словом, действительно стал «шефом». Ну, заведовать-то, как известно, можно по-всякому, даже ничего не понимая в деле, но Робик не такой. Как-то забарахлил мамин любимый холодильник ЗИЛ. Мастер исправить не смог, сказал, что холодильнику пора на свалку. Но приехал, к счастью, в гости Робик. Он постоял у холодильника, послушал «пациента», потом отодвинул его от стены и присел у задней панели. Послышались негромкие удары. Через несколько минут «доктор» поднялся на ноги и пошел мыть руки. «Нас переживет», – сообщил он. Действительно, холодильник прекрасно работал до нашего отъезда...

Сейчас Робик дает советы по привычке: он летит в Москву самолетом и, когда мы приедем, встретит нас, поможет. Он даже поедет с нами до Бреста, до самой границы. Мы еще увидимся. А вот с Юркой... Юрка стоит рядом с «шефом», заложив руки в карманы, и с улыбкой смотрит на меня. Я

тоже посмеиваюсь и думаю: «Ну, уж сейчас ты ничего такого не учудишь, дорогой кузен». Мы долго были в ссоре из-за очередной Юркиной выходки и помирились только дня два назад. Мы глядим друг на друга, и как когда-то в детстве, я радуюсь, что мы – друзья. «Да увидимся же, увидимся!» – думаю я. Расстраиваться сейчас неохота, сердце мое рвется в неизвестное.

– Одевайтесь там потеплее! – Это тетка Тамара. Она очень боится простуды. – И живите дружно, – добавляет она, глядя на отца...

Отец, улыбаясь, обнял маму за плечи и притянул к себе. После собрания во дворе он стал и ласковее, и добрее. Может быть, и улыбка его, и чувства чистосердечны, но я увидел, что мама поморщилась, ощутил ее напряжение. Да, ее чувство к отцу умерло, не осталось и доверия к нему...

Свисток, длинный и залиvistый. Вагон дернулся раз, другой... Поезд тронулся! Родственники бежали по перрону, махали нам, что-то кричали. Махали и мы. «Ура! – ликовала моя душа. – Поехали!»

Теперь надо было как-то устраиваться. Шестнадцать чемоданов, сумки, кошелки превратили маленькое купе в какой-то склад. Они стояли на всех четырех полках, на полу, висели на крючках. На одном из них красовалась сетка с двумя огромными дынями килограммов по десять каждая. Знаменитые наши дыни, длинные, как дирижабли, желтые с темными полосками, всё купе наполняли своим ароматом и бы-

ли такими спелыми, что, казалось, веревочные ячейки сетки вот-вот вопьются в них, прорежут, как нож прорезает масло... Дыни притащил Робик. «Пригодятся в Москве», – сказал он тоном, не допускающим возражений. Робик не раз бывал в Москве, очевидно, он знал, о чем говорил.

Устроившись кое-как среди чемоданных завалов, мы с Эммкой уселись поближе к окну. Все три дня, что ехали мы до Москвы, это было нашим главным занятием и развлечением – глядеть в окно. Первые полтора дня пейзаж не отличался разнообразием, мы ехали по бескрайним пустыням Казахстана. Песок, песок, песок, верблюжьи колючки, верблюды, иногда почти у самых путей. Надменно подняв головы, они жуют, жуют и безучастно глядят, вроде бы на поезд, но и куда-то мимо нас... Поселки, небольшие городочки, где мы ненадолго останавливаемся. Однообразно, но все равно интересно... Днем от окна шли волны жара и заполняли купе – снаружи было за 50 градусов. Но вот позади осталась пустыня, желтое сменилось зеленым. Зелень становилась все гуще, все выше. Появились заросли кустарников, цветущие луга. Речки мелькали в траве голубыми змейками. Пошли рощицы, на смену им пришли леса. Очень это было непривычно для нас – ехать среди лесов! Россия на исходе лета щедро дарила нам свою красоту.

Москва встретила вокзальной неразберихой, шумом, многолюдством, но я уже побывал в столице со школьной экскурсией и все это видел. Да и вряд ли я в те дни способен

был что-то замечать, запоминать. Робик подошел как раз, когда мы выгружались. Тут началась ужасная суета. Куда-то тащили вещи, грузили их на машину, ехали долго по Москве с Казанского на Белорусский вокзал, но как это происходило, я совершенно не помню. Знаю только, что решено было переночевать на вокзале – поезд на Брест уходил на другой день. Вещи перетащили в какой-то угол, под лестницу, уселись передохнуть. И только стали немного приходить в себя, как выяснилось: у нас неприятность. Подошел поговорить знакомый, земляк, тоже едущий в эмиграцию (мне почему-то запомнилось, что рот его был полон золотых зубов) и, между прочим, спросил:

– В Вену прямо из Бреста едете или еще с одной пересадкой?

– С какой еще пересадкой? – всполошился отец.

Знакомый объяснил, что иногда продают билеты в Вену не прямым рейсом, а с пересадкой в Польше.

– Моя тетка недавно так ехала. Намучалась, не дай богу никому! Грузчиков там нет, тележек нет, сама таскала вещи на другой перрон по лестнице. Да все бегом, бегом: поезд через сорок минут!

Отец побледнел и трясущимися руками стал вытаскивать билеты из бумажника. Так и есть: и нам предстояла пересадка! Отец зверем посмотрел на Робика, это он с месяц назад достал билеты через знакомых. И очень этим гордился: билеты в загранку тоже были дефицитом. После короткого, но

бурного обсуждения отец с Робиком отправились в кассы менять билеты. Мама и мы с Эммкой получили строгий наказ не спускать глаз с чемоданов. Вернулись мужчины примерно через час, усталые и мрачные. Обменять билеты не удалось. Отец ругался, Робик молчал и, как обычно в минуты напряженных раздумий, покусывал усики. Внезапно он махнул мне головой и коротко приказал: «Бери дыни... Пошли».

Шел он быстро, размашисто, я еле поспевал за ним. Тащить почти что бегом двадцать килограммов через вокзальные залы, упражнение не из легких. Но вот подошли мы к кассам, у которых стояли длиннющие очереди. Робик направился не к очереди, а к закрытой кассе, возле которой была дверь. В закрытое окошко он и постучал. Оттуда что-то прокричали.

– Девушка, это опять я. – Шеф придвинул губы к самому окошку. – Откройте дверь, пожалуйста...

– Дверь? – настороженный голос изнутри. – Это зачем?

– Я из Ташкента. Хочу вам кое-что передать, – с прямодушной простотой объяснил Робик.

Дверь приоткрылась. Быстро оглядевшись, Робик протолкнул в щель дыни, одну за другой. Дверь тут же закрылась, зато окошко отворилось.

– Прямые на Вену, пожалуйста... Сколько надо, доплати! – медовым голосом проговорил Робик и сунул в окошко наши билеты.

– Подойдите через час... – и окошко захлопнулось.

– Понял, что такое дыни? – назидательно сказал мне Робик, когда мы весело и бодро возвращались обратно. – Очень ходкий товар! Они в Москве в десять раз дороже, чем у нас. А думаешь, мы одни такие? Кассирши эти хапают и хапают, живут неплохо...

Мучительная ночь на вокзале. По очереди спим на чемоданах. Я то проваливаюсь в сон, то просыпаюсь и вижу, что мама копается зачем-то в вещах, раскрывает то одну, то другую сумку. Оказывается, у Эммки поднялась температура, ей плохо. Простудилась, наверное. Мама достает лекарства, и это предусмотрела, натирает Эммку мазью, дает какие-то таблетки, укутывает. Утром ей лучше, день проходит без происшествий, и вечером мы уже едем в Брест... В Брест, к границе! Мне просто не верится!

* * *

Вокзал в Бресте выглядит, как пограничная застава: по всей длине перрона стоят люди в военной форме. Вроде часовых, по одному на каждый вагон. Впрочем, они только глядят на приехавших, а вещи наши помог выгрузить и отвезти куда надо обыкновенный носильщик с тележкой. Все мы (кроме Робика, провожающих отвели в отдельный зал) оказались в просторной комнате перед длинным рядом столов. Внушительного вида таможенник проверял наши визы, декларацию о валюте и других ценностях, пересчитывал не то-

ропясь доллары. Напугал отца, заявив, что у нас на сколько-то долларов больше, чем полагается. Отец занервничал, стал оправдываться, объяснять – все доллары нам выдали в посольстве... Так оно и было, таможенник это отлично знал. Установка у них, видно, была такая – напоследок попортить нервы и настроение «бывшим гражданам»... Да и больше того. Мы слышали, что придравшись к мельчайшему нарушению таможенных правил могут отобрать визы, вернуть людей обратно, а то и арестовать.

Родители правил не нарушали. Даже золотых украшений – кольцо, цепочка да браслетик – у мамы было по весу меньше, чем разрешалось вывезти. Не было ни бриллиантов, ни других дорогих камней. Пограничник опытным глазом сразу определил это и немного смягчился.

– Дайте списки вещей и открывайте чемоданы... По одному, – сказал он довольно вежливо. И пока его помощник рылся в наших чемоданах, он зачитывал вслух: – Простыни льняные... Нижнее белье... Фотоаппарат...

Вот тут-то я испугался, у меня даже спина вспотела. «Что я всунул в этот чемодан? Или не в этот?» Вдруг из-за меня, из-за какой-то ерунды, которую мне захотелось взять с собой, нас вернут обратно? Но все обошлось. Да и проверили как следует всего три-четыре чемодана, простукивая даже дно – нет ли внизу потайного отделения. Потом поняли, что здесь «улова» не будет и, заглянув в очередной чемодан, тут же говорили: «Закрывайте».

Успокоившись, я стал поглядывать по сторонам. За соседним столом багаж какой-то семьи просматривало аж четверо таможенников. Вот это был «шмон!» Всё из чемоданов выкладывали на стол и каждую вещичку перетряхивали. Занимались этим три человека. А четвертый, стоя у весов, проверял драгоценности матери этого семейства, очень модно одетой, расфуфыренной дамы. И по каким-то причинам проверка эта была для дамы не слишком благоприятной. «Пройдемте со мной, гражданка», – услышал я... И даму увели. Не знаю, нашли ли на ней что-нибудь хитроумно запрятанное и что было дальше с этим семейством...

Я считаю себя честным человеком и дело предпочитаю иметь с честными людьми. Но нельзя же считать ворами тех, кто хочет, уезжая, сохранить свое имущество даже путем хитрости и обмана! Почему все самое ценное, что принадлежит лично тебе, при отъезде должно быть отдано государству? Увы, такова была коммунистическая «законность».

– Вещи можете забирать... Кто-нибудь провожает? Прощайтесь и проходите.

Мы бросились к Робику, который все это время смотрел на нас через стеклянные двери соседнего зала. Торопливые поцелуи, всхлипывания (плакали взрослые, а не мы с Эммкой). Отец выгребает из карманов все советские деньги, что

остались нерастраченными – а их немало, родственники на всякий случай щедро снабжали нас перед дорогой – и отдает Робику... Пограничник, стоящий рядом, во все глаза наблюдает за нашим прощаньем, а вдруг Робик что-нибудь передаст нам... Изо рта в рот, целуясь, например... Но нет, мы целуемся честно. Последние «звоните, пишите». И вот мы снова втаскиваем свой багаж в поезд, в тот же самый вроде бы, что привез нас в Брест, ему только колеса поменяли для зарубежной колеи. Усаживаемся кое-как среди чемоданов. Мы устали и физически, и душевно, напряжение никуда не уходит...

Толчок, поезд тронулся. Сейчас переедем границу. Мы бросаемся к окну. В вечерней мгле медленно уплывает вдаль перрон, пограничный город Брест, а вместе с ним все наше прошлое.

Глава 17. «Господа, с приездом!»

В Вене, как и в Бресте, нас встречали военные. Стояли они на перроне вдоль всех вагонов. «И здесь охраняют!» – хмыкнул кто-то, пока мы толпились в коридоре, готовясь к выходу. Его тут же поправили: «Здесь встречают... С почетом! Смотрите, это ведь наши. Израильские солдаты».

До чего же непривычно выглядели «наши!» На голове не пилотка, не фуражка, а берет набекрень, на ногах – высокие, черные, зашнурованные ботинки. На плече – автоматика какие-то маленькие, со складными прикладами... Что-что, а оружие я сразу разглядел. А на берете и на кармане униформы – звезда Давида. Уж здесь над ней никто не смеялся!

Возле самого вагона двое штатских, мужчина и женщина, спрашивали: «Фамилия?.. Куда? В Израиль – сюда, пожалуйста... Америка? Пройдите в тот ряд...» Зря, значит, родители так боялись: «сортировали» нас, будто решение ехать в Америку, а не в Израиль, вполне законно. Мужчина просматривал документы и задавал вопрос, дама делала пометку в списках и, вручив большой желтый пакет с какими-то документами, показывала, куда встать. Ряд, в котором стояли «американцы» оказался гораздо длиннее, чем израильский. Я увидел в израильском пожилую бездетную пару, тоже из Ташкента, которая ехала с нами в одном вагоне. Они стояли, держась за руки, аккуратные такие, у дамы в руках сумочка

и зонтик. Я подумал: вот уж с ними мы, наверно, никогда больше не увидимся...

Наконец с нами разобрались. Встречавший нас мужчина, разрешив себе, наконец, вспомнить, что мы не документы, а живые люди, сказал громко и приветливо:

– Господа, с приездом! Проходите к автобусам. Багаж прибует на ваши квартиры...

«Господа, с приездом»... Это мы – господа... Странное чувство охватило меня. Вдруг вспомнилось: мы, мальчишки, играя, называли друг друга: «господин Смит», «господин Пенкрофф»... Мог ли я вообразить, что через несколько лет меня назовут так всерьез? И я внезапно не умом, а всем существом, понял, какое огромное событие произошло в моей жизни.

День был солнечный, совсем нежаркий. Чуть покачивался комфортабельный автобус. Мы ехали на встречу с представителем Хиаса, обсуждать наше будущее. Родители снова волновались. А автобус катил по одному из красивейших городов мира, и встречавшая нас на вокзале дама, превратившись теперь в гида, рассказывала о Вене.

Я, конечно же, не слушал её. Слишком был взволнован. За окном мелькали нарядные улицы, старинные церкви, памятники, особняки, окруженные деревьями, парки, парки... Город утопал в зелени. В Ташкенте тоже было много зелени и цветов, много парков. Я и там видел немало красивых зданий, а не только саманные домики Старого Города. Да и

Москву я повидал. Но Вена была совсем другой. Особенной. Почему, я не мог тогда даже попытаться понять, я просто всем существом своим впитывал своеобразие одного из красивейших европейских городов, сумевшего сочетать в себе современность и обаяние старины.

Мама – она сидела рядом со мной и всю дорогу крепко держала меня за руку – то и дело сжимала её еще крепче и шептала:

– Ты погляди... Ты только погляди!

Я кивал...

И маму, и меня поразило, как в Вене чисто. Город был словно только что вымыт, выметен.

– Ты погляди, ни одной бумажки, – шептала мама.

Я кивал. Вспоминал мусорные ведра возле дедова дома и рои мух над ними, вспоминал... В общем, мне было с чем сравнивать Вену. Мне и Москва запомнилась как город грязный, замусоренный, неухоженный.

Еще более ярким впечатлением были машины. Впрочем, оно и понятно, что восемнадцатилетний юнец восхищался ими, а не какими-то там средневековыми церквями. Я пожирал машины глазами. До чего же красивые, сверкающие, без единой вмятинки, царапинки! Как плавно и быстро едут! Я успевал глядеть и на те, что шли нам навстречу, и на машины, которые нас перегоняли. Я жмурился, до боли в глазах вглядываясь в названия марок, в символы на капотах и багажниках. «Фиат», «Фольксваген», «Ситроен», «Мерсе-

дес»... Да разве перечислишь! Тем более что некоторые машины были совершенно для меня новыми, я не знал таких марок, не слышал о них. Кое-что, конечно, видел, но только на рекламах в западных журналах: по Чирчику и даже по Ташкенту ездили все больше на отечественных «Москвичах», «Запорожцах» и «Жигулях». А здесь... Словом, нагледелся я так, что пришлось откинуться на спинку кресла и посидеть с закрытыми глазами: они слезились и болели.

* * *

На одной из площадей, пока наша дама-гид что-то о ней рассказывала, мы остановились на несколько минут. Мимо автобуса проходила группа туристов.

– Гляди, это же Слава! – крикнул мужчина, сидевший перед нами, толкая жену. Оба прильнули к окну. – Вон он, вон, в шортах... Видишь?

Жена тут же заохала:

– Ой, вижу же, вижу! Ой, как он выглядит!

Слава выглядел, как настоящий иностранец: шорты, темные очки, фотоаппарат с большим объективом на толстом животе...

– Ой, постучи же ему в окно, постучи! – волновалась жена пассажира. Но тут наш автобус поехал дальше.

– Простите, этот ваш знакомый...

– Он тоже недавно из Союза? – спросила у соседней ма-

ма. Уж очень ей захотелось узнать, почему загадочный Слава таким туристом-иностранцем расхаживает по Вене. Оказалось, что человек этот эмигрировал из Одессы года три назад и поселился в Америке. То есть в Вену он, вероятно, приехал, как турист.

– Всего только три года... А уже путешествует! – вздохнула мама. Я думаю, что вздох этот одновременно пронесся по всему автобусу: «И нам бы такая удача, такое благополучие!»

Автобус остановился возле красивого особняка – здесь помещался Хиас, еврейская организация, которая опекала нас. Особняк же, как нам рассказали, принадлежал богатой австрийской филантропке. В зале толпился народ, прибывали с вокзала все новые группы приезжих, было шумно, слышался русский говор... Все было таким знакомым, словно мы никуда и не уезжали.

– Господа, берите анкеты. Заполняйте внимательно, это ваше досье... – Дама из Хиаса говорила по-русски очень плохо. – Пишите только правду!

Снова волнения, да какие! Казалось бы, мы уже заявили на вокзале, куда собираемся ехать и никто нам не возражал. Составили списки, сюда, в Хиас, привезли только «американцев»... Так почему женщина из Хиаса делает вид, что ничего об этом не знает? «У вас виза израильская? Ваш гарант живет там? Значит, туда и надо ехать», – ответила она на чей-то робкий вопрос по поводу графы в анкете: «страна эмигра-

ции». Но мы ведь знали, что это не так, что есть у нас право выбора!

Отец, приподняв плечи, с напряженным лицом перечитывал и перечитывал анкету. Потом махнул рукой и сказал мне: – Э-э, да что там! Пиши – США... А гарантом Ёсефа... Не спеши, пиши аккуратно!

Я очень старался – мне доверили дело большой важности...

После этой неприятной и нелегкой работы мы получили неожиданную, но очень своевременную разрядку. В зал въехали тележки с обедом... В серебристых тарелочках, покрытых фольгой, было сочное жаркое с картофелем. Даже мама, наш непревзойденный кулинар, похвалила его. Мне же наш первый обед в Вене, на этих серебристых тарелочках, показался не просто вкусным, но каким-то особенным, изысканным, «заграничным».

* * *

Окруженные чемоданами и сумками, стоим мы в широком и светлом вестибюле четырехэтажного дома. Здесь нас поселили. В руках у папы – ключ от квартиры. Она на третьем этаже, а лифта в доме нет. Значит, снова всё перетаскивать... Кому? Мне, кому же еще? Папе носить вещи просто нельзя, Эммка слаба и ленива. Мама, конечно, тут же кинется помогать, но смотреть, как она, изгибаясь, прижимая

двумя руками ручку чемодана к животу, силится идти с ним по лестнице... Нет уж, мне легче самому вдвое больше перетаскать!

Кстати, беда не в том, что у нас много тяжелого багажа. Некоторые из чемоданов – очень ненадежные, едва держатся. Возьмешься за ручку, а она вытягивается, как резиновая, чемодан провисает вниз и, кажется, вот-вот лопнет. Такие чемоданы надо поднимать вдвоем, с двух краев. А мне как быть? Мне остается одно: воображать, что я занимаюсь тяжелой атлетикой. Бодро говорить себе: наконец-то, Валера, ты стал спортсменом... Держись! И я держался... За время поездки грудь и руки мои стали просто железными. Теперь я мог бы померяться с дедом Ёсхаимом силой рукопожатия.

Нормальные, прочные чемоданы я перетаскивал в обеих руках, по одному в каждой – так даже легче, есть баланс. Те, что могли бы развалиться, поднимал на правое плечо – уже во время первых погрузок и выгрузок я так натренировался, что делал это сам. С одной стороны в чемодан упиралась моя правая щека, с другой я придерживал его рукой. Я нес этот груз не сгибаясь, шагал пружинисто, мерно и немножко любовался собой. То есть воображал, конечно, что мною любуются все вокруг. «Поглядите только – какой красивый кудрявый юнец, высокий, худошавый, но полный сил, – и как легко, без всяких признаков усталости, тащит он этот неподъемный чемодан!». На самом же деле, поставив, наконец, чемодан на землю, я не сразу мог выпрямиться и чувствовал,

как от моего набрякшего лица медленно отливает кровь.

«Почему так тихо?» – удивился я, внося последние чемоданы в квартиру. Вся семья, вместо того, чтобы раскладываться, рядом сидела на диване. У всех троих были растерянные лица.

– Тут уже кто-то живет, – сказала мама, увидев мой вопрошающий взгляд. – Какая-то путаница... Не знаем, что делать.

Да, тут явно жили люди. На столе была неубранная посуда, у дверей валялась обувь, повсюду стояли чужие чемоданы... А вот, кажется, и их владельцы...

Послышались голоса, дверь распахнулась и в квартиру вошли люди. Очень много людей, как нам показалось с перепугу. Потом мы поняли, что это семья: муж, жена и детки, мал мала меньше. Четверо...

– Кто вы? – поднимаясь, спросил отец.

– Нет, это вы кто?! – воскликнул вошедший. – Мы здесь живем... – В подтверждение своих слов он поднял над головой ключ от двери. – А вы как сюда попали?

– Нас вселил сюда Хиас. Сегодня... – Отец тоже показал ключ.

Пожалуй, это было похоже на сценку из какой-нибудь комедии. Только никто не смеялся: зрителей на спектакле не было, а актеры переживали так, будто играли драму. Через несколько минут стало ясно, что Хиас поселил в этой квартире две большие семьи. Десять человек – четверо мужского

пола и шесть женского – должны были разместиться в двух спальнях и гостиной. К жильцам женского пола принадлежали три дочки наших невольных соседей – шести лет, трех лет и годовалая малышка. К мужчинам – их семилетний сын. . . .

Звонить в Хиас, объясняться? Поздно: уже вечер. И уже начались праздники. Встреча с нашим ведущим – только через три дня. Значит, придется жить вместе.

Женщины примирились с этим легко. Затаскивая чемоданы в свободную спальню, я слышал доносящийся из кухни звон посуды, оживленный говор, смех. Люба Акбашева оказалась на редкость общительной и веселой. Они с мамой понравились друг другу и вскоре уже радовались неожиданному повороту событий.

Сложнее было с Беней Акбашевым, но, пожалуй, не по его вине.

Кто бы обрадовался, увидев в своем жилище чужих людей? Наш древний предок в звериной шкуре, наверно, зарычал бы, обнажив мощные клыки, и бросился отстаивать свою пещеру, не вступая в переговоры. Любой герой современного американского фильма выхватил бы пистолет (они у героев почему-то всегда наготове) или, на худой конец, воспользовался каким-нибудь тяжелым предметом. Бухарский еврей Бенья Акбашев оказался намного цивилизованнее: он показал свой ключ. . . Правда, лицо у него при этом было, мягко выражаясь, весьма неприветливое. И голос тоже. Успокоил-

ся он далеко не так скоро, как его жена. В отличие от неё он был не улыбочивым, разговаривал, как нам казалось, резко, а на самом-то деле просто громко. Поэтому и мы с отцом были скованы и насторожены, продолжали «держаться оборону». А Бенья, конечно, замечал это. Словом...

Обстановка разрядилась, когда мы вместе уселись ужинать. Перед этим Люба призналась маме, что ей почти нечего подать на стол.

– Вчера – сказала она, – купить не догадались, а сегодня праздник какой-то начался, все магазины закрыты.

Мама засмеялась:

– Вот так Вена! Но не горюйте, еды хватит на всех!

Мамина хозяйственность всегда меня поражала, но когда мы собирались в долгую дорогу, даже мне показалось, что она перебарщивает. Папа же просто кричал: «Барахольщица!» Несколько сумок набила мама продуктами: и консервами, и едой, приготовленной ею в расчёте на несколько дней. Теперь, победно поглядывая на нас с отцом, она вынимала самое вкусное...

И вот мы ужинаем, болтаем. Люба не упускает случая посмеяться. Трое ее старших детей носятся по комнате, визжат, иногда плачут, но Любу это нисколько не раздражает. И Бенью тоже. Малышка Марина сидит у него на руках и что-то жуёт, остальные то и дело подбегают к папе, обнимают его, он сует им в рот что-нибудь вкусненькое, гладит по головке и приговаривает:

– Джони дэдэш... – И глаза у него становятся удивительно добрыми.

Нет, он вовсе не вредный, – решаю я.

За столом, конечно, начинаются поиски общих знакомых и родственников. «Не найдете!» – думаю я. И ошибаюсь. Выясняется, что Акбашевы знают нашего Робика. И жили они в Ташкенте совсем недалеко от деда Ёсхаима...

Нет, не зря, не зря свела нас судьба в этой квартире! Теперь, вспоминая о ней, я подозреваю, что квартира принадлежала насмешливой, но доброй волшебнице. Не странно ли, что как только мы уехали, вместо нас к Акбашевым (они дольше нас оставались в Вене) вселили наших дальних родственников? Случайность? Возможно... Но вот и еще одна, похлеще: через много лет, в Америке, женившись на моей дорогой Свете, я узнал, что Беня Акбашев – её дядя...

Однако, в эту ночь квартирная волшебница решила еще разок над нами посмеяться.

Женщины и малышки улеглись в одной спальне, мужчины – в другой, старших ребятшек уложили в гостиной. Все мы очень устали и заснули сразу, по крайней мере я. Разбудил меня ужасный грохот и яростный вопль.

– А-а-а! Это кто... Это ты специально-о-о?

Сонный, да еще в темноте, я не мог понять, что происходит. Но вот вспыхнул свет – отец включил его, – и я увидел потрясающую картину. Беня Акбашев лежал среди обломков большой деревянной кровати – он её выбрал, как самый

крупный из нас. Переломилась кровать посредине и, можно сказать, сложила Беню пополам. С одной стороны торчала, все еще покоясь на подушке, голова с вытаращенными глазами и короткими усиками. С другой вздымались вверх ноги в просторных, до колен, «семейных» трусах... Беня барахтался, пытаясь подняться, отец топтался рядом, восклицая: «Успокойся, успокойся... Ты не ушибся? Давай руку...». А меня распирали смех. Смешно было, что Беня вообразил, будто я виноват в катастрофе с кроватью... Подпилил я её, что ли? Еще смешнее выглядел сам Беня – ноги его волосатые, толстый животик, выпирающий между ногами и грудью... А глаза... А усики... А вздетые вверх руки... Может быть, из-за них я и вспомнил – и это было самое смешное – далекую ночь под урючиной, когда Юрка закидал Чубчика переспевшими плодами... Вот точно так же, воздев руки и вытаращив глаза, Робик, ругаясь, бегал по двору...

– Дядя Беня, я тут ни при чем, честное слово... Ну, что вы, дядя Беня! – повторял и повторял я, изо всех сил стараюсь не смеяться. Дядя Беня поверил, наконец, и мы все трое принялись рассказывать женщинам, прибежавшим на шум, об ужасном происшествии с кроватью. Оно нас как-то даже сблизило.

* * *

Три дня, пока длился праздник, мы были совершенно сво-

бодны и разгуливали по Вене, тихой и малолюдной в праздничные дни. Много в городе казалось мне странным. Порой это были мелочи, люди повзрослее, возможно, не обращали на них внимания. Я заметил, скажем, что стройка напротив нашего здешнего жилища совсем не похожа на ту, что в Чирчике была любимым местом наших детских игр. Та была огорожена высоким, прочным забором из досок. Эта – невысокой и легкой сеточкой. Залезай и уноси что хочешь! Еще одна странность: здесь почему-то не видно было ни мусора, ни битого и разбросанного кирпича, ни котлов, вокруг которых разлита смола, ни просыпанного цемента. Может, думал я, в Вене на праздники даже стройкам полагается выглядеть нарядными? Но на четвертый день, когда стройка ожила, она оставалась всё такой же чистой. И почти такой же тихой: рабочие не перекрикивались, не слышно было ругани. Тихо двигался кран со стрелой, негромко шипела сварка... Нет, подумал я, на такой стройке мальчишкам неинтересно!

Залюбовался я мотоциклом «Сузуки», он был припаркован у обочины недалеко от нашего дома. Большой, с выпуклым бензобаком, отполированный до блеска... Ну до того хорош, я глаз не мог отвести! И вдруг вижу: в замке зажигания возле руля торчит ключ. «Забыл хозяин... Эх, растяпа! Ведь уведут», – огорчился я. Но через два дня увидел «Сузуки» на том же месте, и ключ опять торчал в замке!

На уличных столбах висели прозрачные мешочки вроде больших конвертов. Прохожие останавливались, что-то из

мешочков вынимали... Газеты! А где же продавцы? Нет продавцов. Неужели газеты здесь бесплатные? Оказывается, на каждом столбе рядом с конвертом висит баночка, открытая, без замка, и в нее кидают монетки... То есть хочешь – плати, не хочешь – не плати. А можно засунуть руку и... Мы всей семьей дивились этому чуду, впрочем, как и многим другим. «А у нас бы...» – восклицала мама.

Да, мы все еще говорили – и долго еще будем говорить «а у нас...». Иногда спохватывались: почему же «у нас»? Ведь теперь уже – «у них». Но перемена места жительства не равнозначна перемене родины. Разве можно её зачеркнуть? Постепенно привыкаешь к разлуке. Тяжело или легко – это уж как кому дано.

* * *

На четвертый день ранним утром мы пришли в представительство Сохнута на собеседование. Ждем вызова в коридоре. Народу довольно много, беседы почему-то длятся ужасно долго, мы ждем уже почти час, а из комнат, куда приглашают, люди еще ни разу не выходили. Отец нетерпеливо ходит взад-вперед по коридору, руки закинута за спину, пальцы перебирают свернутый листок бумаги. Наконец, раскрывается дверь...

– Ну, как там? Что спрашивают? – бросается отец к выходящим.

– Давят сильно... «В Израиль, в Израиль...» – шёпотом отвечает мужчина с расстроенным лицом. – Мы говорим – «в Штаты», а они...

Отец, совсем уже мрачный, продолжает свою прогулку по коридору.

Но вот громкий голос приглашает: «Семья Юабов!» Немолодая женщина в длинном платье произносит нашу фамилию и неправильно, и с ужасным акцентом. Мне это почему-то неприятно. К тому же выражение лица этой женщины, ее улыбка – все кажется мне фальшивым.

– Садитесь, пожалуйста. Это мистер... – Женщина представляет нам бородатого мужчину в кипе. У него в руках наша анкета. Просматривая её, он сообщает, что цель организации Сохнут – благополучная доставка репатриантов в Израиль. И выжидательно смотрит на нас...

В анкете черным по белому написано, что мы собираемся ехать в США. Но представитель Сохнута словно об этом не знает.

– Куда путь держите? – спрашивает он...

– В Америку, – стараясь говорить спокойно, но постукивая пальцами по колену, отвечает отец.

– Так... Но ведь вы – репатрианты... Знаете, что это значит? Нет? Ре-па-три-анты – это люди, которые жили за пределами своей страны и теперь возвращаются на родину. На свою родину. Значит, путь ваш – в Из-ра-иль!

Это слово человек в кипе произносит по слогам, и оно

тяжело отдается у меня в висках. Оно до предела усиливает напряжение, которое мы ощущаем, сидя в этой небольшой комнате. Мы молчим. Неужели нас могут принудить? Что будет дальше?

Какими же неприятными, даже враждебными, казались мне тогда эти двое из Сохнута! А ведь они только выполняли свой долг. Старательно, честно выполняли. И было им, наверное, нисколько не легче, чем нам. И казались мы им, должно быть, обманщиками, хитрецами.

Их маленькая страна делала все возможное, чтобы вызволить советских евреев. Тратились огромные деньги. Людям посылали вызовы, посылки, их содержали в Вене. Щедро помогали приехавшим в Израиль... Да к чему перечислять, кто этого не знает! А результат?

Я не знаю, какой процент из 51 000 тысячи людей, покинувших Советский Союз в 1979 году – рекордном по числу эмигрантов «третьей волны» – оказался все-таки в Израиле. Но думаю, что значительный перевес был в пользу Америки. Она смогла не только договориться с Брежневым, чтобы евреев выпускали в Израиль «для воссоединения семей». Она и свои двери широко открыла для тех, кто предпочел американский вариант... И на это тоже расходовались колоссальные средства. Но люди из Сохнута, при всем уважении к Америке, действовали в интересах еврейского государства. И могло ли быть иначе?

– Амнун Юабов, – нарушил молчание бородатый, – вы

учитель физкультуры, да? – Тут он заглянул в анкету. – И тренер по баскетболу? О-о, даже двух олимпийцев воспитали! Господин Юабов, в Израиле люди с вашим опытом ценятся. Освойте язык и будете продолжать свою работу! В Израиле, – опять раздельно произнес он. – А что вам делать в Америке? Там вы работы не получите!

– Куда-нибудь устроюсь... – начал было отец, но бородастый прервал его:

– Вам пятьдесят один! Даже грузчиком не возьмут... Вы что, английским владеете в совершенстве? – Теперь он уже говорил с раздражением.

– Стивен! – Дама успокоительно подняла руку. Отдохни, мол, теперь я за них возьмусь... – Господин Юабов, Израиль вам дает всё. Иврит будете изучать шесть месяцев... – при этом она показала шесть пальцев. – Жить будете в кибуц, бесплатное жильё, бесплатное питание... После обучения – трудоустройство, скорее всего по специальности... Подумайте, господин Юабов, вы ведь глава семьи!

Не добившись от отца ни слова, энергичные сохнутовцы начали наступление на нас с Эммкой. Мне было сказано, что в Израиле нехватка педагогов, а я – бывший студент педагогического института. Значит, меня ждёт прекрасное будущее! Эмма узнала, что и у неё, будущей медсестры, в Израиле блестящие возможности. Израиль – одна из ведущих по медицинскому обслуживанию стран мира.

Мы с сестрой коротко отвечали, что как родители, так и

мы.

Очередь дошла до мамы и ей, пожалуй, досталось самое трудное.

– Госпожа Юабова, у вас в Израиле сестра? – спросила дама. Мама кивнула. О Розе было написано в анкете – Как же так, вы выехали для воссоединения с сестрой, а теперь вдруг хотите ехать в Америку?

Этот вопрос мы предвидели и как на него отвечать, не раз обсуждалось дома. Но я заметил, что мама напряглась, сжала руки.

– Сестра сама отсоветовала нам приезжать. В Израиле все дорожает... И к тому же война... Я из Союза решила уехать, чтобы сын в армии не служил! – Мама решительно тряхнула головой и закончила: – Нет, мы поедem в Америку, у меня брат в Нью-Йорке.

Наступило молчание: Сохнутовцы исчерпали свои возможности, мы не поддались панике, не отступили.

– Ну, что ж, – сказал мужчина в кипе. – Встретимся еще раз через три дня. За это время постарайтесь обдумать наши советы, все взвесить... – И, достав из конверта несколько купюр, протянул отцу: – На расходы.

Сейчас, много лет спустя, я вспоминаю эту сцену с чувством неловкости и даже печали. Мы уехали из страны, где нельзя было жить без лицемерия и лжи. Надеялись, что теперь все будет иначе. Почему же и здесь все снова началось со лжи, почему мы не могли сказать честно, что сразу реши-

ли ехать в Америку, а израильским вызовом просто воспользовались? Ведь люди, принимавшие нас, прекрасно понимали это. И тоже разыгрывали перед нами какую-то роль.

* * *

Смутно помню обратную дорогу. Ярче всего – удивление и детскую радость мамы, впервые попавшей в западный супермаркет (на праздники все они были закрыты). Особенно поразило её разнообразие сортов хлеба, она перебирала пачку за пачкой, не переставая восхищаться: «Ореховый... С зерном... А этот с медом, что ли?» Надписей на немецком она прочитать не могла и поэтому пакеты, более плотные, чем хлебные, просто нюхала, что, как я заметил, очень смешило покупателей-австрийцев. Впрочем, жители Вены могли бы уже и привыкнуть к «диким» советским эмигрантам...

Кафе, ресторанчики, пивные бары. Молодежь с пивом за столиками, прямо на улице... Смеются, болтают, но негромко, не то, что мы со своей компанией в парке Кирова... И все такое яркое, и так нарядны, так соблазнительны витрины магазинов, и машины, машины... Мы еще не дошли до дома, а у меня снова, как в автобусе, разболелись глаза и голова. Слишком много было впечатлений.



Не передать мамину радость, когда мы повстречались, наконец, кажется, это было в Сохнутае, с Мушеевыми, которые приехали в Вену через несколько дней после нас. Обидно было, что не получилось ехать вместе, но хорошо хоть так, друг за другом! Несколько прогулок по городу мы совершили большой компанией...

Как ни странно, в Вене у нас оказались родственники, какие-то Галибовы, родня бабушки Лизы. Бабушка и попросила повидаться с ними. Мы созвонились и вечером, придя в гости, попали за стол до того изобильный и азиатский, будто мы были в Ташкенте. Вот за этим столом, таким неожиданным в Вене, мы познакомились, если можно так выразиться, с одним из завихрений многоструйного эмигрантского потока, нам приоткрылась еще одна сторона событий.

Галибовы репатриировались в Израиль лет шесть назад, но прожили там совсем недолго. Тяжело было материально – низкие заработки, инфляция. Еще тяжелее оказалось жить в постоянно воюющей стране. И мужу, и сыновьям Галибовых предстояло служить в армии, значит, в любой момент они могли быть ранены, убиты... Евреи и в мирном-то Узбекистане изо всех сил старались оградить своих сыновей от военной службы, а тут... Да, конечно, страна праотцов, древняя родина, «земля обетованная», но жертвовать ради нее

сыновьями... К такому тяжелому душевному испытанию бухарские евреи оказались совершенно не подготовлены.

И Галибовы сбежали. С огромным трудом им удалось вернуться в Вену. Для этого пришлось выплатить Израилю те деньги, что были потрачены на их приезд, обустройство. Распродали все, что было, но выкрутились, выплатили. А план был такой: вернувшись в Вену, добиваться разрешения на возвращение домой, в Узбекистан... Расставание с родиной для этой семьи оказалось непосильным испытанием. Но увы, в те годы эмигрантов в Советский Союз обратно не впускали. Так и застряли Галибовы в Вене. Жизнь и здесь была нелегка. Гражданство, да и то не всем, в Австрии дают только через десять лет. Не помню, пытались ли они пробиваться куда-либо – в Америку, в Канаду, в Австралию, – может, и пытались, но на это требовались годы.

– Одно хорошо, сыновей в армию не забирают, – вздохнула Света, мать семейства. Старший её сын, Игорь, явился домой вместе с отцом позже нас: оба работали грузчиками на складе. Младший трудился на каком-то заводе. Чтобы прокормиться, снимать жилье, приходилось работать с утра до поздней ночи...

По рассказам Галибовых в Вену, как и они, вернулось всего несколько десятков семей бухарских евреев. Жили небогато, устраивались, кто как мог. Овощные лавочки открывали, обувь чинили.

– Видимся редко, слишком все заняты...

Чувствовалось, что Галибовы страдают от этой замкнутости, от одиночества. Они пожаловались, что в Вене не любят иностранцев, особенно евреев. Открыто это не проявляется, все очень вежливо. Но проскальзывает, проскальзывает то одно, то другое. Все равно ведь такое скрыть невозможно...

Я ничего не знаю о дальнейшей судьбе Галибовых. Больше нам увидеться не пришлось, потому что через несколько дней, получив, наконец, согласие представителей Сохнута на американский вариант, мы выехали из Вены в Италию.

Глава 18. Робинзон Крузо

«30 сентября 1659 года. Я, несчастный Робинзон Крузо, потерпев кораблекрушение во время страшной бури, был выброшен на берег этого ужасного, злополучного острова, который я назвал Островом Отчаяния...»

Через 320 лет и 5 дней после того, как Робинзон Крузо написал эти строки, я, Валера Юабов, сидел, склонившись над чистой тетрадью, и выводил на титульном листе: «Мой дневник. Начат 5 октября 1979 года...». Тетрадь лежала на большом мраморном столе в одной из комнат нашей новой итальянской квартиры. В распахнутое окно задувал теплый, пахнущий морем ветерок.

Какое отношение имел мой дневник к дневнику знаменитого героя Даниэля Дефо? Вероятно, это надо пояснить.

Мне еще не было одиннадцати, когда в мою жизнь вошел Робинзон Крузо. На титульном листе драгоценной книги (она и сейчас со мной) я вывел фломастером торжественную надпись: «К числу любимейших я эту книгу отношу». И, действительно, я любил и перечитывал эту книгу несчетное число раз долгие годы. Думаю, что именно она сделала меня мечтателем и даже романтиком. Когда, уже став студентом, я каждое утро по дороге в институт погружался в свои мечты, самой любимой из них была робинзонада. Я выходил из

дома деда Ёсхаима и, как только оказывался в узком проходе между двумя маленькими домиками, подпертыми контрфорсами, словно по мановению волшебной палочки превращался в Робинзона. То барахтался в волнах, потерпев бедствие, то растил озимые, то строил загон для коз, то валялся в приступе лихорадки. Воображать эпизоды без повторений мне удавалось примерно месяц. Потом я начинал с начала или с любого места.

Много раз я принимал решение вести дневник по примеру Робинзона. Но как-то все не получалось. Одним из «серьезных» препятствий было то, что не находилось подходящей тетради. Тетрадь, считал я, непременно должна быть одна на всю жизнь. Но где же разыщешь такую?

И вот теперь, когда я очутился в Италии, мне показалось, что судьба наконец-то сблизила меня с моим любимым Робинзоном. В самом деле, разве не случилась в моей жизни перемена, равная кораблекрушению? Разве не вышвырнуло меня, после долгого барахтанья, на берег? Правда, не на остров, «ужасный и злополучный», а в цветущую Италию, но к морю же, к морю! Вот как свежо, как остро пахнет морем дующий в окно ветер! И сколько ждет меня здесь приключений! А впереди – Америка...

Нет, теперь уж непременно надо было завести дневник!

На тетрадь небывалой толщины пришлось махнуть рукой, сейчас передо мной лежала на столе обыкновенная общая тетрадь в зеленом переплете. Первые строки о том, когда

начат дневник, были красными чернилами написаны на титульном листе. Рядом – инициалы любимого героя. И тут же я изобразил как мог его самого в одежде из козьего меха, с ружьем в руке. Под рисунком вывел на латыни: «In nomine Patris, et Filie, et Spiritus Sancti!!! Amen!!!» Так сказать, в качестве торжественного напутствия себе самому... Да, чуть не забыл: чтобы не было сомнений, чей это дневник, рядом с инициалами Робинзона я оттиснул отпечаток своего большого пальца.

Так наивно, совсем еще по-детски, признавшись в своей любви к романтике, я призадумался: что же писать дальше? Наверное, лучше начать с приезда в Италию...

* * *

Первую неделю мы прожили на окраине Рима в многоэтажной гостинице «Илаури». Мне очень здесь понравилось. Тихо, спокойно, ни потоков машин, ни людской суеты. Рядом с нами всего несколько больших жилых домов, где на балконах, трепыхаясь по ветру, постоянно сушилось белье. А вокруг небольшие рощицы, поляны, покрытые густой, пахучей травой. Мне вспоминались любимые чирчикские холмы, такие же зеленые и душистые весной.

Неделю продолжались официальные встречи и заполнение бесчисленных бумаг. Теперь вроде бы оставалось только ждать разрешения на въезд в Америку. Сколько продлится

ожидание да и получим ли мы разрешение, никто не знал... Словом, на какое-то время необходимо было подыскать себе жилье в Риме или где-нибудь неподалеку. В Риме квартиры были дороги. Иммигранты из европейской части Союза чаще всего селились в Остии, а люди из азиатских республик – в приморском городке Ладисполи. Мы решили держаться поближе к своим.

Снимать квартиру в Ладисполи мы с отцом отправились на автобусе. Ехать-то из Рима было всего около часа. Возле самого пляжа на небольшой площадке с фонтанчиком толпился народ. Здесь образовалось что-то вроде квартирной биржи, бюро информации, называйте как хотите. И возникло это бюро с появлением наших дорогих соотечественников. Со всех сторон звучала русская речь. До меня доносились обрывки фраз: «Уже два месяца»... «Транспортные получили?»... «С балконом дороже»... А с пляжа, со стоящего у причала небольшого белого кораблика долетала музыка. Отсюда, с пяточка, нам виден был и кораблик, на который по трапу входили люди, и пляж с загорелыми купальщиками. Да и вокруг нас, в толпе, немало было людей в плавках и купальниках – подошли небось пообщаться, узнать какие-нибудь новости.

– Ищете квартиру? – Вопрос задал молодой человек в пиджаке и при галстучке, с небольшой папкой в руках. – Есть шикарная, двухкомнатная. Терраса, вид на море...

Любезное предложение нас обрадовало, но тут же выяс-

нилось, что сделал его не хозяин квартиры и не доброжелательный советчик, а посредник: мы ему – комиссионные, он нам – адрес... Деловой молодой человек, ловкий: уже нашел себе здесь бизнес! На этот раз ему не повезло, отправился искать других клиентов. А к нам, услышав разговор, подошел пожилой мужчина.

– Мы тоже ищем квартиру. Уже присмотрели хорошую, но дороговато. Может, снимем вместе? Нас всего двое...

Такой «совместный вариант» стал среди русских очень распространенным: из-за наплыва эмигрантов квартиры стремительно дорожали. Мы отправились с новыми знакомыми – приятнейшей и очень дружной парой из Киева (они даже ходили, взявшись за руки) смотреть квартиру. Современного вида панельный дом № 10 по улице Дуца Абриуци, очень похожий на другие дома по этой улице, внутри оказался чем-то вроде дворца. По крайней мере нам так показалось, когда мы зашли в вестибюль, где и пол, и стены, и лестница, все было из красивого светлого камня, очевидно, из мрамора... Позже мы узнали, что мрамор в домах Италии используется так же часто, как у нас дерево, линолеум, керамическая плитка. Но первое впечатление было незабываемым. Да я и потом наслаждался этим царственным камнем. Мне нравилось водить по нему рукой, чувствовать, какой он гладкий и монолитный, нравилось ощущать его прохладу, слушать музыку – цоканье дамских каблучков по камню, нравились причудливые узоры, этот таинственный язык,

которым разговаривают с нами благородные камни... Почему-то в Ташкенте, где в облицовке многих зданий тоже использовался мрамор, я с такой силой не чувствовал его красоту. Вероятно, в Италии все особенное...

– Поднимемся пешком, – сказал наш Иосиф Наумович. – Лифт здесь платный.

Мы удивились: до этого в Риме нам встречались платные туалеты, но лифты...

На втором этаже разыскали сеньору Софию, приветливую, симпатичную даму средних лет. Она, впрочем, оказалась вполне стойкой, когда отец попробовал чуть-чуть сбить цену. Но квартира – она была на четвертом этаже – нам понравилась. И она была снята пополам с новыми знакомыми. Квартира тоже оказалась каким-то изумрудным царством. Мраморные полы были светло-зелеными. Стол в гостиной – темно-зеленым. Почти весь день играли на нем солнечные лучи, и будто из глубины камня выплывали его узоры, завиток за завитком, ниточка за ниточкой.

Мама и Эммка квартиру одобрили.

– Только высоко очень, – огорчилась мама. – Как же папеш по лестнице со своей астмой? Придется платить за лифт...

К нашей радости, отец заявил, что с лестницей справляется. Впрочем, мы уже заметили, что со времени отъезда астма перестала мучить его. Он и дышал, и чувствовал себя лучше, легче двигался.

Вот так мы и стали жителями итальянского курортного

городка Ладисполи. Здесь было красиво, в октябре еще всю продолжался купальный сезон. Может быть, я потому и привык к новой жизни удивительно быстро, хотя месяц назад и представить бы себе не мог ничего подобного. К тому же мы не ощущали здесь одиночества. Мушеевы приехали в Италию дня через три после нас, и тоже поселились в Ладисполи. В городке нашлось немало земляков. Да и среди итальянцев, доброжелательных, темпераментных, жизнерадостных, мы чувствовали себя совсем неплохо. Очень мне нравилась итальянская речь, ее тональность, певучее звучание фразы, сильные, протяжные ударения. Красивый язык, мягкий и выразительный. В нем, мне кажется, сохранилась какая-то особая, народная музыкальность.

Я и сейчас с большим удовольствием слушаю, как разговаривают итальянцы, в Нью-Йорке для этого достаточно побывать в Литтл Итали...

Впрочем, поначалу итальянский темперамент меня то смешил, то пугал. Услышав через открытую дверь громкие голоса, я выбежал на террасу и с тревогой глядел вниз: «Что там за скандал? Или уже драка?» Но нет, я каждый раз ошибался. Никакого скандала: два мужика, вполне приличного вида, стоят и беседуют... Ну, может, и спорят о чем-то. Но до чего же громко! И как энергично жестикулируют! Собрав вместе кончики пальцев правой руки, машут кистью вверх-вниз, вверх-вниз перед самым лицом собеседника. Кажется, вот-вот ударят друг друга по носу.

Чего эмигранты никак не могли понять, так это итальянского образа жизни, дня, разделенного на две части знаменитой сиестой. Вообще-то «сиеста» – это празднество, карнавал, но у итальянцев так называется дневной отдых, перерыв в работе. В Италии с начала лета до поздней осени рабочий день длится с утра примерно до часу, потом начинается сиеста и продолжается она до самого вечера, часов до шести, пока не спадет дневная жара. Только после этого сколько-то еще длится работа... «Как это можно? Разве так делают бизнес?» – пожимали плечами эмигранты. Итальянцы считали иначе. Они пережидали жару с комфортом, в прохладе – дома, в кафе или на пляже...

* * *

...Вот так – вспоминая, перекидываясь мыслями с одного на другое, сидел я перед раскрытой тетрадью. А написать ничего не мог. События и впечатления перемешивались, я не находил слов, чтобы их выразить, мысли разбегались, не складывались фразы. Ну и ладно, решил я, начну-ка с сегодняшнего дня...

Но и о сегодняшнем дне я не знал, как написать. Поерзал на стуле, повздыхал, и в дневнике появилась короткая фраза:

«5 октября, пятница. С утра ходил в школу, отзанимался. Купил фотопленку, черно-белую. Получили от дяди Авнера и дяди Миши письма.

Скучновато».

Вот и все, что вышло из-под пера новоявленного Робин-зона...

Еще много лет пройдет до тех пор, когда детские и юношеские воспоминания начнут возникать во мне, как яркие, живые картинки, о которых я смогу рассказать.

* * *

Мои «творческие муки» прервал громкий свист за окном. За мной пришли братья Мушеевы, Эдик и Сергей. Этот свист – мы работали над ним еще в Чирчике – ни с чем не спутаешь. Свистим губами, а не через зубы, очень энергично, на особых тонах. Словом, у нас свои позывные и теперь они каждый день звучат в Италии!

Захлопнув дневник, я схватил полотенце и побежал вниз. Родители вместе с Эммкой на весь день уехали по каким-то делам в Рим, значит, я свободен, смогу накупаться вволю!

...Поглядите-ка на красавцев, шагающих по улице Дуца Абруци! Волосы до плеч, на смуглых лицах темные очки, фирменные футболки и джинсы в обтяжку. Они посвистывают, посмеиваются, походка легка и упруга. Поглядишь – итальянские парни, не отличишь их от местных ладиспольских пижонов. Однако же это мы, мы! За сорок дней, загорев на здешнем ласковом солнце, мы и лицами стали схожи с итальянскими ребятами. И одеваться по их моде оказалось

нетрудно, магазинов хватало. Словом, сбылась мечта советских мальчишек...

Ладиспольский пляж не назовешь шикарным, здесь нет ни лежаков, ни шезлонгов, ни пляжных зонтиков. Но чистый, светлый песочек, но теплое голубое море, но прибой с его древним напевом, что может быть лучше? Сегодня рабочий день, к тому же на берегу довольно ветрено, однако людей на пляже много. В основном, конечно, эмигранты, ведь мы здесь вроде курортников. Большой экскурсионный катер – он каждый день плавает вдоль побережья – причалил к берегу, высаживает пассажиров. Играет на борту музыка, знакомый голос поет знакомую песню. Адриано Челентано исполняет «Солнечную!» Закрыв глаза и прищелкивая пальцами, мы упоенно подпеваем. В Италии мы утоляем и утоляем свой музыкальный голод. Здесь уже не приходится гоняться за пленочками, выпрашивать их друг у друга, переписывать. На телевидении каналов не сосчитать, не меньше пятидесяти, можно включать программы чуть ли не всех стран Европы, сколько хочешь смотреть и слушать любимые рок-группы.

Помню свое потрясение, иначе не назовешь, когда в первый раз увидел я на экране знаменитую тогда группу «Бони М». Было это еще в Вене, у Галибовых, бабушкиных родственников. Игорь включил телевизор и вдруг раздалась знакомая мелодия... Я слышал ее до этого только на магнитофоне, а самих английских музыкантов – трех черных девушек и

парня – видел лишь на плохой фотографии. И вот они передо мной на экране! Пышные курчавые шевелюры, гибкие тела, переливаются и блестят открытые платья, на шею накинута цепь. Так вот они какие, «Бони М!» Глядя на них, я сильнее, чем прежде, наслаждаюсь голосами, мелодией, манерой исполнения, я во власти движения, ритма. И вдруг я заметил, с каким удивлением смотрит на меня Игорек. Он вроде бы хотел переключить канал, но не стал, увидев мое восторженное лицо. Я тоже удивился: как отключить такое выступление!.. Да, действительно, за границей люди меняются, подумал я.

Ни со мной, ни с моими друзьями этого пока не произошло. Наш голод утолялся, конечно, но не пропадал. Впрочем, кто знает, может, пройдет время и мы пресытимся так же, как мой австрийский родственничек?

* * *

– Ну, Валера, в последний раз?

С воплями и смехом мы кинулись в море.

Для братьев это действительно было последнее купанье в Средиземном море. Мушеевы получили разрешение и улетали в Штаты послезавтра. Опередили нас. Мы оставались здесь одни, надолго ли, неизвестно.

«Совсем как у Р. К.», – так говорил я себе, когда мне казалось, что какое-то событие в моей жизни схоже с Робинзоновым.

Глава 19. «Ноу пик инглиж»

– Ай вил ворк...

– Нет, мама, нет! Не «в», понимаешь? Тут буква «дабл-ю». Нужно вытянуть губы – я же показывал... Смотри!

Я старательно вытягиваю губы трубочкой и повторяю: «Ай уил ворк».

– Слышишь? Ты вытяни губы, будто свистишь... Ну, попробуй, свистни!

Мама кивает и, растянув рот, свистит через зубы. По-другому она свистеть не умеет.

– Мама, смотри...

* * *

– Вей вонт ту ворк...

– Папа, не «вей», а «дзэй»... Да, по-русски нет такого звука... Кончик языка – к верхним зубам... Глубже, к основанию. А губы немного расходятся... Ну, давай!

– Д-ш-э-э-й... – выдавливая из себя папа, выставив язык далеко вперед, будто дразнится.

Так начинается теперь наш день. С урока английского, где родители – ученики, я – учитель.

Не каждому сыну достается такая почетная роль, и она мне нравится. Конечно, уроки проходят трудно, но родители

стараются. Когда я их поправляю, иногда злясь, теряя терпение, у них такие виноватые лица, как у двоечников у нас в классе.

Но дело не только в том, что на уроках я наслаждаюсь своей властью. Став учителем, я словно бы сразу вырос, особенно в глазах отца. В наших отношениях, достаточно сложных, произошел какой-то сдвиг.

* * *

Когда давным-давно, в Чирчике в пятом классе нам предложили на выбор два иностранных языка, немецкий и английский, я выбрал английский. Конечно, я тогда и думать не мог о том, что это начало чего-то очень важного, с чем столкнет меня судьба. За школьные годы я мало продвинулся в английском: и нас учили кое-как, и мы учились кое-как, лишь бы получить отметку в четверти. Зато в институте язык оказался вполне полноправным предметом с экзаменом в каждом семестре. К тому же перед отъездом мы с Эммкой около месяца занимались с учительницей.

Звали ее Зульфия Сергеевна. Очень красивая татарка, живая, энергичная, с густыми, черными волосами, похожими на мамины, она преподавала английский и в каком-то институте, и частным образом. Зульфия занималась с нами по своему собственному методу, довольно оригинальному. Выяснила, что мы увлекаемся западной рок-музыкой и предло-

жила: «А почему бы вам не попробовать переводить песни?»

Лучше придумать Зульфия не могла, занятия стали для нас праздником. Мы приносили свои пленки – Донну Саммер, Спэйс, «Пинк Флойд», слушали, записывали слова. Что-то пропускали, что-то перевирали. Снова и снова слушали... Потом начинали копаться в словаре, чтобы все перевести, проверить, как пишется. Потом «отдельвали» перевод, находя самые подходящие значения слов, добиваясь, чтобы русский текст был близок к оригиналу. Вряд ли мы всегда хорошо справлялись, дело это трудное. Но работали мы с таким увлечением, что наши двухчасовые занятия у Зульфии во дворе, под сенью виноградных лоз, часто превращались в трехчасовые. Подозреваю, что она и сама любила рок не меньше нашего. Наверное, за то короткое время, что мы занимались с этой прекрасной учительницей, достичь большего было невозможно.

Перед родителями проблема языка стояла гораздо острее, чем перед нами. Английского они не знали: в маминой узбекской школе «иноземных» языков почему-то вообще не изучали, отец же учил немецкий. Им предстояло искать работу в чужой стране, не понимая почти ни слова, и одновременно учиться, преодолевая возрастной барьер.

Маму все это тревожило меньше, чем отца. Родственники из Израиля и Америки писали: ты, мол, не пропадешь, хорошую швею-мотористку сразу оценят, найдешь работу легко. «Сяду за швейную машинку и покажу, как умею строчить.

Без всякого английского», – храбрилась мама. Но конечно же, она понимала, что если надо будет поговорить, скажем, с мастером, с другими работницами или с продавцом в магазине, одними жестами не обойтись.

У отца мамино оптимизма не было и в помине. Учитель физкультуры, тренер, разве он сможет работать, не общаясь с учениками на их родном языке? Значит, придется менять профессию. И все равно язык будет необходим.

Говорят, что русский по сложности уступает только китайскому. Может быть. Но человеку, говорящему по-русски, сравнивать трудно: ведь пользуясь родным языком, не задумываешься ни о грамматике, ни о произношении. Моим родителям, которые, кстати, кроме русского владели и узбекским, и казахским, и таджикским, а значит, понимали еще и фарси, английский казался гораздо труднее этих языков. Сложность артикуляции... Одни и те же буквы, которые почему-то звучат по-разному в разных словах... Времена, в которых постоянно путаешься... Неправильные глаголы... Родители просто утопали в трудностях, но боролись, и на уроках я с любопытством наблюдаю за этим. Вели себя мама и папа по-разному. Не только потому, что у них были разные способности, сказывались и характер, и привычки, и цели.

У мамы отличная память – что зрительная, что слуховая. Новые слова она запоминает быстро, но с произношением мучается ужасно. Плохо ей дается и грамматика. Мама ставит перед собой конкретные, практические цели: прежде

всего запомнить то, без чего нельзя обойтись в быту. Во время урока она может неожиданно спросить:

– Как ты говорил – «говядина»? А-а, помню: «бифф»... – Мама склоняется над учебником и делает в нем какую-то пометку. Она считает, что так удобнее, тетрадки ей не нужны...

С отцом все иначе. Память у него гораздо хуже, чем у мамы. Одно и то же приходится повторять по нескольку раз, но все равно он забывает то, что уже выучил. Зато отец прилежен, усидчив, способен заниматься часами, старателен и пунктуален. В его тетрадках каждое слово записано с транскрипцией.

– Эх, мне бы твои годы! – часто вздыхает он. – Не идет у меня этот чёртов язык, и всё тут!

Но стараний не оставляет.

* * *

Я не только учу, я и сам ученик. Недели через две после переезда в Ладисполи выяснилось, что два члена нашей семьи могут посещать языковые курсы Хиаса. Записались мы с отцом. Отец – в группу для начинающих, я – в третью, то есть в «старший класс школы».

Когда я пришел на первое занятие, за столиками уже сидело несколько пожилых людей. А возле доски весело тараторила по-английски миловидная молодая особа с короткой стрижкой и выпирающим животом. Ну и школа, подумал я

с удивлением. Одни старики... Учительница – беременная, уже на сносях! Но зря я беспокоился. В маленькой нашей группе (всего около десяти слушателей) нашлись и мои ровесники. А учительница, миссис Джейн Алисон, очень нам понравилась. Приехала она из Англии в группе молодых преподавателей, которых пригласил на работу Хиас. Русского миссис Алисон не знала совершенно, из-за чего мы на первых уроках ужасно нервничали. Но оказалось, что для обучения это даже полезно. Необходимость постоянно вслушиваться в её речь, напрягать внимание, подыскивать знакомые слова, чтобы учительница поняла тебя, все это давало встряску нашим мозгам, и мы довольно быстро запоминали слова и выражения. «Почаще разговаривайте дома по-английски, только по-английски, вот так, как мы сейчас на уроке, постоянно советовала нам учительница. Приедете в Америку, не бойтесь говорить с людьми. В магазинах, на улицах, всюду. Без практики никакие занятия не помогут»...

Миссис Алисон вела уроки так непринужденно, будто мы говорили с ней на одном языке. Может быть, и поэтому мы перестали бояться, что не поймем её или скажем что-нибудь не так. Все ученики – и юные, и седобородые – сдружились с учительницей. Усядется она, бывало, свесив ноги, на свой учительский столик и спокойно нам что-нибудь объясняет... Ничего себе, поражался я, попробовала бы она в Советском Союзе сидеть вот так на уроке! Наши преподаватели соблюдали дистанцию между собой и учениками. Не делала этого

разве что наша милая географичка на занятиях в кружке.

Мы очень горевали, когда миссис Алисон пришло, наконец, время рожать и вместо нее появилась другая учительница, которая вела уроки гораздо суше и больше всего на темы, связанные с еврейской религией.

Кстати о религии... Возвращаюсь я как-то из «школы» и вижу: впереди, у входа в парк, кучка людей окружила машину. Возле нее раздает какие-то книги дядька с большой бородой. Когда я приблизился, люди уже разошлись. Бородастый – в джинсах, рубашке и с большим крестом на груди – с улыбкой посмотрел на меня и спросил: «Хау ду ю ду?» Американцы обычно здороваются иначе: «Хау ар ю?» И, действительно, Конрад – так звали бородастого – оказался англичанином, миссионером одной из христианских церквей. Какой – я, к сожалению, не понял. Вместе с женой Конрад странствовал по Европе, проповедуя и раздавая всем желающим Библию. Они и ездили, и жили в собственном фургончике. Для своей миссии эти люди пожертвовали не только комфортом, они пожертвовали семейным благополучием. Дома, в Англии, у них оставалось шестеро детей... Шестеро! Это меня больше всего поразило. Как же, должно быть, сильна их вера! Как им хочется передать её другим!

– Где же... С кем же ваши дети? – спрашивал я.

Жена Конрада, блондинка с приятным лицом, объяснила, что дети – на попечении их друзей, членов общины...

Конрад пытался что-то рассказывать мне, часто повторяя

слово «Крайст». Хотя чистая и неторопливая речь миссионера странным образом все же доходила до меня, понимал я далеко не все. В вопросах веры я совершенно не разбирался да и не желал в них залезать. Но Конрад и его жена не могли не внушать уважения.

Когда мы прощались, Конрад дал и мне Библию, причем на русском языке. А пока я бормотал свои «тэнк ю», он на визитной карточке написал свой домашний адрес и протянул мне. «...Ту май хоум», – расслышал я. Меня, незнакомого парня, Конрад приглашал в свой дом! Все это поразило меня. По дороге домой, разглядывая то Библию, то карточку Конрада, я думал о том, какие удивительные люди живут, оказывается, на земле и сколько таких интересных, таких необыкновенных встреч у меня еще впереди.

* * *

От дома до еврейского клуба, где мы занимались английским, было минут двадцать ходу. Дорогу эту я очень любил. Большие современные дома, вроде того, в котором мы жили, сменялись коттеджами. Их крыши из красной волнистой черепицы яркими пятнами проглядывали среди сочной зелени садов и виноградников. Легкие, с изящными завитками металлические ограды не мешали любоваться этой красотой. Хороши были и невысокие кирпичные заборы, украшенные львами, русалками и другими декоративными скульптурами.

Хороша была и сама улица с её стройными кипарисами. Вроде бы все здесь было совсем другим, чем в тех местах, где я родился и вырос. У нас домики прятались от чужих взоров за глухими дувалами, на улицах росли раскидистые, коричневые карагачи, под ними журчали арыки. Так почему же эта неширокая улочка в Ладисполи да и весь этот итальянский курортный городок иногда вдруг словно переносили меня на родину? Потому ли, что здесь тоже было тепло и солнечно, что осеннее благоуханье итальянских садов напоминало о весеннем цветении ташкентского дедова сада, что небо было таким же огромным и голубым, как когда-то над чирчикскими весенними холмами? Да, вероятно. Но не только поэтому. В Ладисполи мне, впервые после долгого времени, стало хорошо и спокойно. А когда тебе хорошо да еще вокруг тебя райские места, воздух начинает «пахнуть детством».

* * *

Однако же это «хорошо и спокойно» не отражалось на моем растущем стремлении овладеть английским. То ли я унаследовал отчасти усидчивость отца, то ли выросло чувство ответственности: ведь я понимал, что, приехав в Америку, окажусь единственным членом семьи, хоть сколько-нибудь знающим язык. Родителям понадобится моя помощь.

...Я отзанимался в «школе», вернулся, сделал уроки. Теперь бы самое время на пляж, к морю. О нем настойчиво

напоминают солнечные лучи, струясь по зеленому мрамору стола, ароматный ветерок, залетающий в окно. Да, искупаться хочется. Но я сижу и сижу над открытым учебником. Учю Past Continuous, прошлое продолженное время. Самое, на мой взгляд, нелепое из всех английских времен, я его ненавижу!

В квартире тишина: когда я занимаюсь, родители разговаривают только шепотом, ходят неслышно, дверями не хлопают. Я бы и сейчас не услышал, что отец вышел на балкон, если бы снизу, с улицы, не раздался голос Эдика:

– Дядя Амнун! Валера дома?

Ага, братья Мушеевы собрались купаться и зашли за мной.

– Валера занимается, – негромко отвечает им отец. – Подождет попозже...

Ну? Уж теперь-то, кажется, самое время выскочить на балкон, крикнуть друзьям, погодите, я с вами, схватить полотенце и... Отец мне не указ, я сам себе хозяин, я отзанимался, хватит! Но я остаюсь за столом. Когда отец заходит в комнату, я еще ниже склоняюсь над книгой, будто и не слышал разговора. А отец, тихонечко кашлянув, подсаживается к столу и раскрывает свой учебник. Когда я занимаюсь, отец почти всегда ко мне присоединяется. Конечно, он старается не мешать, но я уже знаю: без вопросов дело не обойдется.

У отца дальновзоркость. Опершись на стол, он держит книгу на вытянутых руках. Как всегда, сидит очень прямо, вид

сосредоточенный. Несколько минут он молча читает, потом что-то пишет в тетради, но вот, хлебнув воздух краем рта со звуком, похожим на всхлипывание, поворачивается ко мне:

– Валера, что-то я не пойму...

Из ученика я превращаюсь в учителя и терпеливо объясняю отцу, что такое настоящее продолженное время. Отец – весь внимание, не спускает с меня глаз. Как только я перехожу к примерам, придвигает к себе тетрадь, записывает каждое слово и по-английски, и транскрипцию. У него просто страсть записывать! Иногда, делая это на уроке в «школе», он наворачивает такое, что потом сам не может разобрать, я уж я тем более... Любое правило заучивает вслух наизусть, много раз его повторяя. Сейчас, например, он твердит вслед за мной: «Настоящее продолженное время употребляется для выражения действия, которое...» – и так далее. Завтра он это, скорее всего, забудет, но начнет заучивать снова.

Да, ничего не скажешь: отец человек упорный. Жалуются на память, восклицает «не идет этот чёртов язык!», но стараний не оставляет ни на день. С энтузиазмом подхватил идею говорить друг с другом дома по-английски... Меня-то он, может, и уговорил бы, но мама упорно сопротивлялась...

* * *

На сковородке что-то шипело, мама суетилась возле пли-

ты – приближалось время обеда. Наши соседи и мы с Эммой болтали, стоя в проходе между кухней и залом. И тут появился отец. Широко шагая, неся перед собой в вытянутых руках открытую тетрадь, он вошел в кухню, остановился рядом с матерью и сказал взволнованным голосом, будто признаваясь в любви, но глядя в тетрадь:

– Плиз... кук... фор... ми...

Мама, конечно, поняла его – такие слова она уже знала. Но упрямства у нее тоже хватало. Отойдя от плиты, она взялась за края фартука, сделала реверанс – по-моему, впервые в жизни – и, не разгибаясь, протяжно сказала:

– Па-апещ... Но-о пик инглиж!

Так и не переубедил её отец. Заупрямилась. А ведь, наверное, все-таки зря.

Глава 20. Мои римские каникулы

Как я теперь понимаю, никудышный я был Робинзон. Свой необитаемый остров он изучил так, что мог бы, наверное, ходить по нему с завязанными глазами. Я же... Ну, если моим островом считать Ладисполи, то с ним я познакомился неплохо. Но ведь рядом был Рим! Вечный город, где можно перемещаться из одного тысячелетия в другое, погружаться в историю и возвращаться в сегодняшний день. Город, где в музеях тесно от картин и скульптур великих мастеров. Я, конечно, знал об этих сокровищах, о великом вкладе древнего Рима и Италии эпохи Возрождения в современную культуру. Знал и даже кое-что видел, ведь много раз бывал в городе. Но по-настоящему не увидел. Не стал Рим моим «островом».

Жаль, что так получилось, но я не корю за это приехавшего из Узбекистана мальчика из бухарско-еврейской семьи. Мои родители очень далеки были от того круга интересов, который влечет в Рим людей со всего мира. Свои заботы и тревоги, мысли об отъезде в Америку – ничто другое их не волновало! Это душевное напряжение отчасти передавалось мне. И не было рядом человека, который сказал бы: «Что ты, Валера, опомнись! Ты – в Риме! Тебе выпала удача, о которой миллионы людей и мечтать не смеют».

На первую и единственную экскурсию по Риму родители отправили нас с Эммкой только через месяц после приезда

в Италию. Те мои давние впечатления уже забыты, да к тому же их вытеснила поездка в Италию из Америки. По «Робинзоновскому» дневнику судить о них трудно.

Вот начало записи: «После занятий ездили с Эммкой на экскурсию по Риму. Великолепно! Наконец увидел Колизей. Ознакомились с Базиликой Девы Марии, были на Капитолийском холме. Очень впечатляющее зрелище. Видел скульптуру Микеланджело «Моисей». Как живой.». Ну, и дальше такой же скороговоркой, о Ватикане, о соборе Св. Петра (правда, об органной музыке, услышанной в соборе, я все же написал: «это было, как в сказке»), о знаменитом фонтане Треви, где, влекомый морскими конями, восседает на раковине огромный Нептун, а со скал, крутясь и пенясь, срываются потоки воды... О Нептуне я даже не упомянул. Зато записал, что на площади Пополо мы видели итальянских ребят-йогов, которые ходили босиком по огню и по стеклу. Впрочем, любого подростка такое зрелище заинтересует больше, чем скульптуры...

И все же я по-своему проникся Римом. Не столько красота и знаменитыми зданиями, вокруг которых толпятся туристы, сколько тем ощущением старины, которое исходило от потемневших мраморных и кирпичных стен, от арок, ведущих куда-то вглубь улочек. Я прикладывал ладони к нагретым солнцем узеньким, длинным, почти черным кирпичам, они казались мне такими древними... Я думал: может, вот эти щербинки от стрел варваров, ворвавшихся в город?

Вряд ли конечно, на улицах Рима сохранились жилые дома старше тысячи лет, но я совсем не разобрался ни в архитектурных стилях, ни в других признаках, по которым определяют возраст зданий. Зато мечтать любил. И огорчался, что эти прекрасные древние дома разрушаются, что за ними никто не следит, не ремонтирует, что Рим – такой красивый и зеленый город – загазован, закопчен, запущен. Именно такое ощущение осталось у меня от наших с отцом деловых поездок в Рим, в ту его часть, где находилось представительство Хиаса. Толчея, суета, машины, мотоциклы, велосипедисты... Один только раз, решив отдохнуть и съесть мороженое, разыскали мы за углом шумной и грязной улицы необыкновенно уютное кафе. За кирпичной оградой на площадке, покрытой гравием, разместилось несколько светлых металлических столиков. Площадку окружало море зелени, уж не знаю, каким еще словом объединить ниспадавшие с ограды вьющиеся растения с белыми цветочками, красиво подстриженные кустарники, большую яркую клумбу, два стройных кипариса, навес из виноградных лоз над частью площадки. Посреди этого оазиса бил фонтан, струи воды вылетали из открытой пасти огромной рыбы. А замыкал площадку трехэтажный дом. Старинный, как мне показалось, но не запущенный, не почерневший. Кирпичные стены были вычищены, фасад выложен светлым камнем, высокие окна сверкали, красная черепичная крыша круто уходила вверх... Ну, до того хорош был дом, что я не мог отвести

от него глаз. Очень меня занимало – кто живет в особняке, зачем люди, несомненно, богатые, устроили перед своим домом кафе? Впрочем, когда официант принес нам мороженое в тяжелых резных кубках из металла, похожего на серебро, я и сам почувствовал себя чуть ли не владельцем всего этого великолепия.

* * *

Поездки на рынок тоже знакомили с Римом, его кипучей жизнью, хотя совершались они вовсе не ради этого. Мысли и чувства поглощало совсем другое: что сегодня удастся продать? Еще бы! Столько денег, времени и сил было потрачено на покупки ради того, чтобы продержаться в Италии. Столько мук вытерпели мы (а я – побольше, чем другие) с этими проклятыми чемоданами!

* * *

...Ранним воскресным утром мы с отцом и мужская часть семьи Мушеевых приехали на Америану. Так назывался большой римский рынок, а точнее – международная толкучка.

Эх, Робинзон, Робинзон! Почему же нет в твоём дневнике ни строчки об этом любопытнейшем месте! На Америка-

ну съезжались жители всей Италии, иммигранты из многих стран мира, больше всего, вероятно, из России и Восточной Европы. Здесь-то они и сбывали своё барахло. Ну и теснотища тут была! Продающие, покупающие – все вперемешку. Разнообразные столы, столики, ящики, самодельные прилавки, а между ними – груды вещей прямо на земле... В этом огромном муравейнике суедемся и мы. Многие привозят свои столики, но нам удалось раздобыть рыночный. Торпливо раскладываемся, стараемся, чтобы все уместилось, чтобы вещи выглядели получше. По одну сторону столика – постельное белье, скатерти, по другую – электроника, в центре – сувениры... Ну, кажется, смотрится. Теперь бы продать...

Все детство слышал я звонкие, протяжные возгласы продавцов на рынках в Ташкенте и в Чирчике. Они-то умели зазывать! Восточный рынок без этих певучих голосов и представить себе нельзя. Но и здесь, над Американой, стоял несмолкающий гул, в нем высокими нотами выделялись призывы продающих. Нельзя молчать и нам. Гляжу на отца, и мне понятно, что зазывать придется мне...

– Сеньора, сеньора! Натуралэ, натуралэ! – выкрикиваю я, стараясь, чтобы мой голос звучал и приятно, и достаточно громко. Зову, зову, а сеньоры почему-то никак не реагируют, проходят мимо... Оп! Вот эта вроде глядит...

– Сеньора!

Подошла... У меня даже сердце забилося... Рассматрива-

ет скатерть... Щупает...

– Валера, скажи ей, что льняная!

Все-таки интересный человек мой отец! Если бы я знал итальянский, я бы ей много чего сказал, а не только что скатерть льняная. Пусть он сам попробует, думаю я. И тут же слышу голос отца:

– Сеньора, смотри! – Схватив скатерть, он встряхивает её так, что она парусом взлетает вверх, потом сдвигает, чтобы красивая белая вышивка оказалась перед лицом покупательницы... Да, отец гораздо решительнее, чем я!

– Натуралэ, сеньора, это тебе не какой-нибудь дрек!

Вряд ли сеньоре понятно слово «дрек», как и другие отцовские выражения, но демонстрация скатерти производит впечатление.

– Кванто?

Ну, уж это слово знакомо нам обоим. Приговаривая: «Дёшево, дешёво, совсем дешёво!» – отец на листе бумаги пишет цену. Сеньора тараторит невероятно быстро и мотает головой. Выхватив у отца ручку, на том же листке она крупно пишет свою цену. Знакомая картина! Итальянцы умеют торговаться не хуже нас, азиатов. Без этого и покупка не покупка.

– А! – отец, лихо машет рукой, мол, где наша не пропадала, складывает скатерть и передает покупательнице. Она отсчитывает ему монетку за монеткой. Оба довольны. Сеньора – дешевой покупкой, отец – тем, что сделан почин.

Почин оказался удачным. Торговля пошла. Я покрикивал на разные лады то «натуралэ», то «пикколо, пикколо! Бамбино!». Отец оживленно беседовал с сеньорами по-русски и писал на листочке международные арабские цифры, на столе нашем оставалось все меньше простынь, матрёшек и прочих вещей. Фотоаппараты «Зенит» расхватали мгновенно. Вероятно, цена, которую мы просили, была меньше, чем стоимость схожих западных моделей. Жаль, что только три штуки привезли, но больше не разрешалось.

Две синьорины-итальянки, купившие по «Зениту», попросили объяснить, на что надо нажимать. Я сделал это с удовольствием: девушки были очень миленькие. Одного я только не понимал, почему итальянские девицы ходят в одежде, которая висит на них мешком. Наши-то предпочитали, чтобы все было в обтяжечку! Конечно, в обтяжечку соблазнительнее, но боюсь, что это несколько испортило мой вкус...

Из дорогих вещей на прилавке остался только портативный магнитофон «Весна», новинка отечественной электроники. К сожалению, Робик, покупавший для нас этот магнитофон, не заметил, что он бракованный: звук иногда пропадал. Чтобы он снова появился, надо было разок-другой хлопнуть по крышке. Но иногда и это не помогало. И сейчас я со страхом поглядывал на капризную «Весну»: вдруг забарахлит, когда покупатель включит звук? К ней уже несколько раз приценились, но включать не пробовали...

– Кванто?

Спросивший это итальянец тут же придвинул магнитофон к себе, нажал на одну кнопку, на другую... «Клик-клик...» Я замер. Вот нажал еще на одну – и полилась музыка. Ядохнуть боялся... Но беспечный итальянец, послушав музыку всего несколько секунд, остался доволен звучанием, кивнул головой и начал отсчитывать деньги.

– Собираемся, Валера, – сказал мой нервный папаша, как только итальянец отошел. И, сложив остатки вещей, мы покинули рынок, не дождавшись Мушеевых.

Только теперь, пробираясь к выходу, я расслабился и стал глядеть вокруг. Сначала мы шли среди «своих», на прилавках и столиках лежали вещи, очень похожие на наши, – простыни, фотоаппараты, матрешки. Да и говор слышался русский. Но вскоре картина изменилась. И товары пошли другие, какие-то коврики, металлические сосуды, чеканка... Турки, что ли, гадал я. Потом я услышал знакомое слово «чеваче»: это здоровались по-румынски, вытаскивая что-то из коробок... На высоких вешалках словно яркие букеты летние платья, косынки... Гляди-ка, и цыгане здесь торгуют! Смуглые лица, черные косы, лукавые глаза... А вот – кожаный ряд. Это здешняя обувь, местная, Италия ею славится. Продавец зазывает покупателей, демонстрируя мужскую туфлю, он держит ее в поднятых руках, свертывает рулончиком между ладонями, потом снова расправляет... Туфля мягкая, как лайковая перчатка!

– Ну и Американа, – сказал отец, вытирая лоб платком, когда мы, наконец, добрались до остановки автобуса. – А я-то думал, у нас в Ташкенте рынки самые большие! Но справились все же, а? Чемодан-то стал полегче?

* * *

Кто-то сказал мне недавно, что Американы в Риме уже нет, закрыли. Если это правда, то жаль...

Глава 21. Ангел с жёлтым пакетом

– Вайнштейн... Мататов...

На небольшом дворике, окруженном невысокими домами, собралось человек сорок иммигрантов, среди них и мы с отцом. Раз в две недели, по вторникам, мы получаем здесь различные официальные сообщения. Письменные. Раздает их представитель Хиаса. Он стоит перед нами в конце двора, у самой стены, взобравшись на нижнюю ступеньку пожарной лестницы, чтобы все его видели, и выкликает имена. Негромко – во дворе стоит тишина. В руке у него пачка конвертов, от которой невозможно отвести глаза. Дело в том, что конверты конвертам рознь. В обычных, почтовых – обычные сообщения, о том, скажем, что надо явиться для беседы с ведущим. В больших жёлтых пакетах (сегодня их несколько) – особые сообщения, долгожданные. В них присылают разрешения на выезд. В Америку, в Канаду, в Австралию, в Новую Зеландию.

Наша семья ждет разрешения больше двух месяцев, мы уже четвертый раз в этом дворике, и каждый раз сердце замирает при виде желтых пакетов в руках у представителя Хиаса. Вслушиваешься в негромкий голос – чью фамилию он сейчас назовет? Звучит одна... другая... третья... Нет, опять не твоя. Заканчивается встреча, розданы все желтые пакеты. Увы, не нам. Мучительное, напряженное волне-

ние сменяется чувством опустошенности. Опять две недели ожидания!

Сегодня мы с отцом обычных сообщений из Хиаса не ждем: все формальности уже позади. Ждем только одного...

Первым желтый пакет получает человек по фамилии Вайнштейн. Счастливчик! Лицо его сияет, хоть он и старается радоваться не слишком бурно: рядом стоит его друг, который ждет ответа уже пять месяцев.

– Наум, – говорит счастливчик, поглядывая то на друга, то на свой пакет, – Наум, брось ты свою Австралию! Чего ждешь? Ты же без гаранта!

Наум – пожилой, седоватый – глубоко затягивается сигаретой и уныло пожимает плечами.

– Надо работу искать, – бормочет он, тупо уставившись в землю. – Недели через две пособия лишат...

– Григорян!

Мы стоим, вытянув шеи, вслушиваясь так напряженно, будто боимся пропустить свою фамилию... Да, ожидание – дело тяжелое. У нас к тому же оно долго сопровождалось какими-то неприятностями. Первая грянула на медицинском обследовании. Мама и мы с Эммкой прошли его легко, но отец «срезался», да так, что мы испугались, что вообще не попадем в Америку. Разглядывая отцовский рентгеновский снимок, врач начал расспрашивать, через переводчика, конечно, есть ли у отца эмфизема и когда он болел туберкулезом. «У вас видны рубцы на снимке, – объяснил он. – При-

дется сделать повторный».

Это был удар! Дело в том, что и в Ташкенте врачи много раз брали под сомнение диагноз заболевания отца, подозревали, что у него эмфизема и даже направляли в тубдиспансер. Их опасения не оправдывались. Но может быть, здесь, в Риме, и врачи опытнее, и рентген делают лучше? Родители приуныли.

За направлением на новое обследование потребовалось идти к миссис Смит, нашей ведущей из Хиаса. Отец, конечно, не удержался, стал доказывать, что он здоров, что кроме астмы ничем не страдает. А она, естественно, отвечала: «Это решать врачам, а не мне». Но мне, как и отцу (я присутствовал при разговоре), ответ вовсе не казался естественным. Меня переполняла такая злоба к несчастной ведущей, будто она была виновата и в этой задержке, и вообще в том, что мы не можем немедленно уехать в Америку. Миссис Смит не отличалась особой миловидностью, но чем сильнее я на нее злился, тем уродливее она мне казалась. «У-у, кикимора какая-то! – думал я. – Возомнила о себе! Курносовая, с бородавкой, а еще красится... В гробу я видел таких рыжих... Тебе ли платье в обтяжку, утка косолапая!»

И тут же в моем воображении появлялась картинка: миссис Смит вперевалочку переходит дорогу, из-за поворота несется автомобиль... Кр-р-ак! Лицо у меня при этом абсолютно спокойное, и гляжу я на миссис Смит, гибнущую под машиной, совершенно невинным взглядом...

Повторный рентген сделан. Еще неделя жесточайшего напряжения (ждем встречи с ведущей, чтобы узнать о результатах обследования), и миссис Смит сообщает радостную новость:

– У вас все нормально, господин Юабов.

Гора с плеч! Но тут же наваливается другая.

Свою информацию о дальнейшей нашей жизни в Италии миссис Смит начинает с такой фразы:

– Пока вы будете ждать общинного гаранта...

Родители так и ахнули:

– То есть как это – общинного? Почему?

Общинный гарант – это значит, что на свое попечение нас возьмет какая-нибудь из еврейских общин в любом городе Соединенных Штатов. В любом... То есть ехать придется туда, где нас пожелают принять.

– Но гарант нам должен дать мой троюродный брат, Ёсеф Якубов, – волнуясь, говорит мама. – Мы указывали его имя в анкетах, он живет в Нью-Йорке. Мы хотим только в Нью-Йорк!

Ведущая равнодушно пожимает плечами: это решать не ей, она не знает, хочет ли наш родственник дать нам гарант. Тут начинается долгое выяснение, был ли Ёсефу выслан запрос... Как и что выяснилось, я совершенно забыл, помню только, что на этот раз запрос дяде Ёсефу уже точно был послан. Теперь оставалось только ждать. И мы ждем. Уже и с Мушеевыми простились, они получили разрешение, уехали,

а мы все еще тут...

* * *

...Во дворике по-прежнему тишина, у господина из Хиаса сегодня много пакетов. Даже те, кто уже получил какие-то сообщения, в том числе и счастливчик Вайнштейн, не расходятся: как-никак, мы община, хоть и временная. Всем интересно, кому еще нынче выпадет удача. Вот вызван еще кто-то. Но ему вручен простой конверт, белый...

Я загляделся на бедного Наума, он мрачно курил сигарету за сигаретой... Кстати, уже в Америке мы случайно узнали, что через несколько месяцев Наум все же уехал в свою Австралию. Но в тот день он выглядел таким усталым, таким отчаявшимся, потерявшим надежду. А во мне почему-то вдруг ожил мой Робинзон Крузо. «Австралия, а ведь это небось неплохо... Может, Наум и прав?» – думал я. И вдруг голос от пожарной лестницы:

– Юабов!

Мы с отцом почему-то уставились друг на друга.

– Кого? Нас? – прошептал отец.

А я уже не отрываясь глядел на господина из Хиаса, на большой пакет в его руках, на наш желтый пакет! Я не заметил, как отец подошел к этому господину, к этому ангелу, я только увидел, как он брал пакет, как дрожали его руки... И вот он уже идет ко мне, улыбаясь все еще растерянно...

Мы не остались до окончания встречи, мы просто не могли, ведь дома нас ждала мама!

* * *

Уж не знаю, почему так получалось, но хорошие новости чаще всего заставляли маму на кухне, в халате и фартуке. Мне запомнилось это потому, что на радостные события мама реагировала очень бурно и очень по-своему: она начинала громко и звонко вскрикивать, так же громко и звонко хлопая в ладоши и пританцовывая на месте. Время от времени она склоняла голову то вправо, то влево, туда, где в этот момент находились ее ладони. Это было похоже на какой-то танец-обряд, очень трогательный и, по-моему, очень красивый. Мамины халат и фартук ничуть не мешали мне воспринимать эту красоту, они только подчеркивали мамину непосредственность. Правда, Эммка почему-то именно этого стыдилась. Дергая маму за халат она, смеясь, говорила: «Ну, все, мама, хватит уже!»

На этот раз даже Эммка не пыталась помешать маме бурно выражать свою радость. Мы все были словно чуть-чуть под хмельком. Мы читали и перечитывали документ, который – теперь уже окончательно и бесповоротно – решал нашу судьбу. Мы что-то говорили, смеясь и перебивая друг друга. И отец, и я рассказывали, как все произошло, как выкликнули нашу фамилию, а мы... Теперь все казалось ужасно смеш-

ным и забавным!

– Ой, вы же голодные, – сказала мама, с сожалением отрываясь от этих рассказов. – Сейчас накормлю! А потом... Почему бы не пройтись? Всей семьей. А то все некогда, некогда... Пройдемся, как люди!

Вечерний Ладисполи показался нам на этот раз особенно красивым и уютным. Я вдруг понял, что мне жалко будет с ним расставаться. Прекрасный, теплый вечер, середину октября в Италии странно даже называть осенью. На улицах полно веселых, в легкой летней одежде людей. Говор, смех. Побренькивая звоночками, проносятся велосипедисты. У лоточков с мороженым толпится народ. В Ладисполи им числа нет, да и в Риме тоже. Говорят, что итальянское мороженое самое вкусное в мире. Ну, итальянцы вообще считают, что у них и еда самая вкусная, и женщины самые красивые. Но и нам, иммигрантам, очень нравилось здешнее мороженое. А в этот вечер мы просто наслаждаемся им. Мама выбрала сливочное, я – клубничное, и мы с ней то и дело откусываем друг у друга из хрустящего вафельного стаканчика, веселясь, как дети. Эммка свое мороженое позволяет только лизнуть и тут же отдергивает руку. А папа вообще отказался от коллективной дегустации: это, видите ли, «негигиенично»... Ну и бог с ним, ведь уже и то удивительно и радостно, что папа в Италии позволяет себе лакомиться мороженым. Сколько я себя помнил, он никогда не то что мороженого, просто чего-либо холодного в рот не брал. Ведь сто-

ило ему переохладить горло, тут же начинался приступ астмы. А здесь, в Италии, папа и по лестницам ходит без одышки, и мороженое вот ест без страха...

Кажется, в нашей жизни наступило время удивительных перемен!

Глава 22. Это было чудо

– Ой, гляди... – выдохнул за моей спиной чей-то голос.

Выдохнул почти беззвучно, но я услышал, потому что в салоне стало тихо. Эта особая тишина бывает, вероятно, только в самолете, когда, выключив двигатели, медленно и мягко снижаясь, описывая над аэродромом гигантский круг, летчик идет на посадку. Ни одного звука не доносится снаружи, молчание. В самолете в эти минуты разговаривать не хочется да и трудно – уши заложены. Охваченный этой тишиной, покрытый ею, словно невидимым пуховым одеялом, я, не отрываясь, глядел в окно. Там, внизу, открывалось Чудо, которое мы называем Землей. Багровый солнечный шар опускался к её горизонту. Он озарял закатным светом густо-синюю поверхность океанского залива, оранжево-желтые осенние леса, и бескрайнюю россыпь разнообразных зданий, крошечных, но очень ясно различимых, рассеянных густой сетью дорог...

«Нью-Йорк... Это Нью-Йорк!» Я был потрясен. Даже уменьшенный расстоянием в тысячи раз, город казался мне колоссальным. А все то, что было вокруг... Все эти части панорамы, сменяя друг друга, то плыли под нами, то вдруг вставали на дыбы, как полотно огромной картины, в которое, казалось, мы вот-вот врежемся со страшной силой, то снова расстилались внизу.

Я живу в Нью-Йорке уже более двадцати лет. Взлетал над ним и спускался в город с неба, наверное, десятки раз. («Спускался с неба»... Это стало звучать так буднично, не правда ли?) Я могу во время посадки рассказать своим детям, что вот сейчас мы увидим Гудзон. А сейчас наш самолет описывает дугу со стороны. И под нами восточная оконечность Лонг-Айленда. Могу. Ну и что с того? Все равно мне уже и самому не испытать, и детям не передать то, давнее, ощущение счастливого чуда.

Но рассказать о нем почему-то очень нужно. Ведь наверное, только так и образуется связь между теми, кто жил, кто живет и кто будет жить.

Ради этого и сижу я сейчас над чистым листом, припоминая: что же в те далекие первые минуты и часы встречи с Америкой больше всего поразило меня? Что выжглось в памяти красками и ощущениями?

* * *

...Вот мы и на земле. В ушах все еще пробки. Аэропорт Джэй-Эф-Кей кажется громадным, бесконечным. Коридоры, коридоры, идем по ним долго, иногда останавливаемся. Первая остановка – проверка документов. Дотошная, утомительная. Нервы на пределе: а вдруг что-то не так? Вдруг сейчас скажут: «Поезжайте обратно в Италию»... К счастью, все в порядке. Не чудо ли?

Снова идем, идем, идем, по-прежнему в тревоге и беспокойстве: где-то там надо получать багаж... Ага, кажется, здесь: толпа вокруг конвейеров с чемоданами. Сколько их! Да еще и движутся, не успеешь взглядеться – проскочили. Разве выловишь свои? Почему-то вылавливаем... Снова чудо!

Теперь – к выходу, то есть куда-то, где нас должен встретить дядя Ёсеф. Где? Как мы узнаем, что пришли в то самое место? Встречает ли? Найдем ли друг друга? Идем, идем, идем, кажется, никогда не дойдем. Поток идущих. Но вот за стеклянной дверью толпа. Кто это? Встречающие? Разве можно в этом море лиц найти дядю Ёсефа? Мама находит... Опять чудо! Мы обнимаемся с дядей не просто с радостью, а с огромным облегчением, как заблудившиеся и все же нашедшие дом дети...

Мчимся в такси по дороге. Шоссе невиданной ширины! Четыре ряда машин в одну сторону, четыре в другую, забиты автомобилями так, будто кроме них вообще ничего и никого нет на свете... А скорость! В Италии тоже было не слабо, но та-а-кие дороги... Я даже представить себе не мог!

По этой самой дороге (на самом-то деле сменилось их много, но ощущение оставалось все тем же) и приехали мы в Бруклин, на Истерн Парквэй. Дом, где жил дядя, принадлежал владельцу типографии. Дядя Ёсеф у него работал, у него же и квартировал. Попав в этот четырехэтажный кирпичный, вполне обычный, на мой взгляд, дом, в маленькую

– всего одна комната и кухня – квартирку дяди я на какое-то время как бы снова очутился в привычной для меня обстановке... Правда, если не считать того, что не затихающий уличный шум доносился в квартиру круглые сутки. Ночью машин было не так уж много, но проносились с воем то полицейские, то «скорая помощь», то совсем уж нестерпимо и оглушительно воюющие пожарные. Чудовищные и неуклюжие машины – пожиратели мусора – приезжали обычно под утро, и тут начинался такой лязг и грохот... Конечно же, просыпаешься. Маешься, думаешь: скоро ли это кончится? Нет, ждать приходится долго, пока не вброшены в пасть чудовища все черные мешки, выставленные на краю тротуара, весь мусор из контейнеров!

Но все это были мелочи. Вообще же в квартирке гостеприимного дяди Ёсефа, который на неделю взял отпуск, чтобы побыть с нами, мы отдохали и душой, и телом. Однако же хочешь не хочешь – приходилось приниматься за дела: оформлять наш приезд в Наяне, искать квартиру, начинать работать, учиться... Словом, начинать жить в настоящем Нью-Йорке.

Каков он, этот настоящий Нью-Йорк, мы увидели, когда побывали в Манхэттене. Среди впечатлений Манхэттен стоит настолько особняком, что я напишу о нем отдельно. Но в шупальцы «Большого Нью-Йорка» мы попали еще до встречи с Манхэттеном. Я имею в виду метро. Машины у дяди Ёсефа не было и все наши поездки мы совершали самосто-

ательно, на сабвее. Первые были в Наяну. Чтобы показать, как и куда нам ехать, дядя раскладывал на кухонном столе карту сабвея. Покрывала она чуть ли не треть стола, а ведь была вовсе не крупномасштабной. Причудливые желтые пятна – пять районов Нью-Йорка, окруженные не менее причудливыми голубыми пятнами, изображающими океанские заливы, исчерчены были множеством извилистых, разного цвета линий. Они то сбегались так близко, что почти касались друг друга, то пересекались, переплетались, как провода в каком-то сложном электроприборе. Или как разноцветные сосуды на изображенном в анатомическом атласе теле человека, с содранной кожей и обнаженными мышцами... Словом, воображение мое разыгрывалось, и мне становилось как-то не по себе. Ничего себе метро в Нью-Йорке! Какой-то лабиринт, как можно в нем разобраться? Дядя Ёсеф пожимал плечами, посмеивался:

– Ничего страшного, разберетесь. И даже очень скоро...

Из первых наших путешествий в сабвее мне почему-то ярче всего запомнилось не то, как мы ездили в Наяну, а поездка к Мушеевым. Мы разыскали их через Наяну, созвонились и, как только смогли, отправились в гости. Жили Мушеевы в Квинсе. Чтобы добраться к ним из Бруклина, предстояло пересечь почти весь город.

– На нашей станции возьмете номер первый, – объяснял дядя, водя пальцем по карте, – во-от эта красная линия. Доедете до Манхэттена, вот досюда... Видите? Здесь у вас пе-

ресадка...

Я старался слушать и глядеть на карту очень внимательно, но от мелькания разноцветных линий, от перечисления номеров рейсов и названий остановок у меня в голове уже не в первый раз начинал клубиться какой-то туман.

– Сколько же в Нью-Йорке линий метро? А станций? – пробормотал я. Дядя махнул рукой:

– Э-э, много! Ты лучше запоминай, что я объясняю! Ведь дорогу в Наяну запомнил уже, а-а?

Нескончаемо длинной была эта поездка. Может, она и нужна была для того, чтобы мы на своей шкуре почувствовали, в какой огромный и необычный город попали? Мы ехали около часа, а все еще не добрались до первой из пересадок.

– Ну, скоро там? На какой мы станции? – ежеминутно спрашивал отец и заглядывал в карту, которую я держал на коленях.

– Из Чирчика до Ташкента быстрее было доехать! – нервничала мама. Только Эммка развлекалась, вертя головой во все стороны и с жадным любопытством разглядывая пассажиров.

Да, тут было на кого поглядеть.

Мы приехали из Ташкента, из города, где проживали в тесном соседстве по самой моей неточной прикидке десятка полтора национальностей. Впрочем, и в Чирчике их насчитывалось, пожалуй, не меньше. Так почему же так удивил нас Нью-Йоркский интернационал? Ну, во-первых, к уз-

бекам, таджикам, туркменам, казахам, киргизам, татарам и прочим жителям Средней Азии, и даже к заброшенным в наши края грекам мы настолько пригляделись, что они слились для нас в общую массу, они были «своими». А тут... Цвет кожи, разрез глаз, форма лица, прически – все новое, непривычное. Да и такое их множество! Казалось, будто в нашем вагоне едут на какой-то международный фестиваль представители всех стран мира. Правда, одежда почти у всех была американская, но не обходилось и без экзотики.

– Гляди, гляди, какое платье! – шептала Эммка, дергая маму за рукав. – Красота, правда?

Кажется, её восхитило сари на смуглокожей стройной индуске. Но уже через минуту она не могла отвести глаз от молодой негритянки (или по-здешнему афро-американки), на эбеново-черной голове которой возвышалась башня из затейливо переплетенных тугих, плотных маленьких косичек. В Ташкенте многие юные узбечки тоже носили множество косичек. Но ведь заплетали свободную часть волос, а не всю голову, начиная от корней волос! Скромные узбекские прически никак не могли тягаться со здешними изощренными произведениями парикмахерского искусства!

А в вагоне появлялись все новые пассажиры. Ворвалась компания хохочущих и вопящих, непонятно на каком языке парней и девиц непонятно какой нации (потом уж я понял, что это были испаноязычные латины), одетых по самой что ни на есть американской моде, о которой я мечтал в Таш-

кенте. Сбоку доносились голоса, похожие на птичий щебет, щебетала, держа друг друга за руки, узкоглазая желтокожая пара в шапочках с опущенными полями. Другая пара, слившись в поцелуе, стояла напротив нас у двери. Уж не помню, какой они были нации – мое внимание отвлекал нескончаемый поцелуй... Больше всего в вагоне было людей с темной кожей. Улыбчивые, веселые, говорливы, не похоже было, что их подвергают дискриминации... А ведь в советских газетах то и дело об этом писали! И люди верили, я и сам слышал от какой-то знакомой тетки: «в Америке негров линчуют!» Впрочем, размышлять о национальных проблемах Америки было совершенно некогда. Мы чуть не прозевали свою пересадку, в панике выскочили из вагона, в волнении ожидали нужного нам поезда, потом снова ехали, ехали, и каждую минуту знакомились с чем-нибудь новым.

Словом, первая поездка оказалась очень интересной. Одно только нас неприятно поразило – само метро. Грязные, замусоренные станции казались какими-то заброшенными штольнями отработанной шахты, облупленные потолки и стены, с которых кое-где стекала вода, темные, неровные полы, словно бы покрытые слоем грязи, какие-то ржавые, трухлявые – вот-вот обрушатся, трубы над головой... Все такое мрачное, серо-черное, давно некрашеное, запущенное! Даже воздух был затхлый, нечистый. Я вспомнил станции московского метро, похожие на дворцовые залы, блистающие мрамором, гранитом, мозаикой. Да и наше ташкентское метро

было очень красивым. Вот тебе и Нью-Йорк, поражался я. Богатейший город, а сабвей в таком постыдном состоянии! Я не знал тогда, что сабвей в Нью-Йорке – самый старый в мире, построен уже около ста лет назад, что перестройка его и ремонт при том условии, что ни одну из линий нельзя закрыть, сложнейшая техническая задача. Нет, больше того, одна из самых болезненных социальных проблем города.

И все же мы не заблудились в подземном лабиринте, ни разу не прозевали остановки, за каких-нибудь два часа доехали до Юнион Тёрнпайка! Правда, еще надо дойти до Мушесевых, найти их дом...

Глава 23. «Квартирный вопрос»

Кажется, сюда... Мы повторяли это, глядя в бумажку с указаниями Мушеевых, чуть ли не каждую минуту. Свернули с Квинс бульвара налево, пересекли что-то вроде широкой поляны. Попали, наконец, на Юнион Тёрнпайк. Прошли по нему совсем немного и... остановились.

– Глядите вниз! – закричала мама и схватила меня за руку.

Глубоко внизу, наперерез нашей магистрали, стремительно мчались машины. Одни – направо, другие – налево. Там проходили дороги. Много дорог! А справа от нас, на нашем же уровне, висела в воздухе еще одна магистраль. Слева темнели вдали деревья, там, очевидно, был парк, а за ним поблескивало длинное, как река, озеро... Да, это была фантастическая панорама!

– Даже голова кружится! Как это всё держится. – восторгалась мама.

Мы все были потрясены. Только отец старался казаться невозмутимым и говорил:

– Чего удивляться? Нью-Йорк, современная техника... А небоскребы в Манхэттене хуже, что ли?

Вот так мы впервые увидели железобетонное, в нескольких ярусах пересечение эстакад, одно из чудес американской дорожностроительной техники.

Чем дальше мы шли, тем больше нам нравилось в Квинсе.

Открытая часть магистрали закончилась, теперь вдоль тротуара стояли аккуратные, я бы сказал кокетливые коттеджи, окруженные газонами и садиками. Сразу было понятно, что принадлежат они довольно состоятельным людям. И какими бы разными эти люди ни были, всем им хотелось иметь красивое жилище. «Сколько зелени! А какие деревья!» – радовалась мама. У одного из коттеджей мы даже постояли, уж больно он был хорош. Вроде бы не мраморный римский особняк, а кирпичный, как многие здания в Нью-Йорке. Но как наряден! Широкие двери из дерева и гранёного стекла, узорчатая кирпичная подъездная дорожка, огромная старая ива перед домом на углу газончика склонила ветви до самой земли.

– Да-а... Ничего не скажешь, – прошептала мама. – Хорошо иметь такой домик... – Она взглянула на нас с Эммкой и засмеялась:

– Хотите такой, а? Будет у вас дом! Почему нет? Обязательно будет! Выучитесь, начнете работать...

– Ну-ну, – пробурчал отец. – Рано мечтаешь... Пошли, чего стоять?

Нам казалось, что характер отца в Италии немного улучшился, он стал и повеселее и помягче. Но окончились «ладиспольские каникулы», навалились американские проблемы, и отец на глазах стал превращаться в того же брюзгливого и взрывчатого человека, каким он был в Чирчике. Пожалуй, еще более нервного и напряженного. Теперь он снова

то и дело огрызался на маму и на нас.

А у меня от маминых слов потеплело на душе. Ну и молодец она! У нас еще нет ничего – ни жилья, ни работы, ни даже ясных планов на будущее, а мама полна оптимизма и вот как верит в нас.

* * *

Кью-Гарденс-Хилс – так называлась та часть Квинса, в которой поселились Мушеевы. На углу Юнион Тёрнпайка и Мейн-стрит большим, три квартала заполнившим прямоугольником, протянулись «Сады Ридженси» – комплекс трехэтажных домов, в одном из которых разыскали мы наших друзей. Комплекс, конечно, был совсем не такой шикарный, как частные особнячки по соседству, но тоже очень зеленый, окруженный могучими дубами и липами, с уютными двориками. И как с первой минуты понравился нам Квинс, просторы его, домики среди зелени, так и комплекс этот понравился, и квартира Мушеевых.

* * *

«Квартирный вопрос» был очень важным в нашей новой жизни, и решать его надо было как можно быстрее. Поэтому как только Мушеевы выложили свои американские новости

(Юра и Мария уже учились английскому на курсах в Няяне, а Эдик и Сергей поступили в школу) мы перешли к волнующей нас проблеме.

Мы были пока в полной растерянности. Дядя Ёсеф уговаривал поселиться в Бруклине. Лучшего места в Нью-Йорке не найти, считал он. Это «свой» район, где живет большинство евреев-иммигрантов и вообще глубоко религиозных евреев. Это очень удобный район, где множество магазинов, в том числе и русских, где можно получить любые услуги на русском языке, где легко найти работу. И так далее, и так далее... В общем-то, все так и было. К тому же пока мы не выяснили, где живут Мушеевы, дядя уверял нас, что, конечно же, в Бруклине, где же ещё жить евреям? Словом, родители поначалу согласились на Бруклин. И Ёсеф, раздобыв адреса, повез нас снимать квартиру.

Побывали мы в нескольких, но мне запомнились две. Обе были в Боро-Парке, где жили в собственных домах довольно богатые и очень религиозные евреи. Пожилые хозяева, открывшие нам дверь, нарядные, солидные, именно так и выглядели. Они с достоинством ответили на «Шолом Алей-хем» дяди Ёсефа. Дядя внушал им доверие – он был в черной шляпе, он тут же провел рукой по мезузе на косяке двери и поцеловал ее. Вслед за дядей и все мы сделали то же самое. Но боюсь, что ни родители, ни тем более мы с Эммкой не внушали хозяевам доверия. На Эммке, которой по здешним правилам полагалось ходить в длинной юбке, были брючки,

на мне, конечно же, джинсы и никакой кипы. Квартира с двумя спальнями оказалась и хорошей, и не очень дорогой, но, когда мы ее осмотрели, хозяин, приятно улыбаясь, спросил: «Вы соблюдаете субботу?»

Мы субботы не соблюдали. От квартиры пришлось отказаться.

Не знаю, был ли бородатый хозяин второй квартиры таким же ортодоксом, но жилище его показалось нам темным, неудобным и сыроватым. Отец и дядя Ёсеф, приложив усилия, сумели спросить по-английски, хорошо ли квартира отапливается зимой. Хозяин в ответ что-то забормотал, отмеряя при этом на указательном пальце какие-то доли. Мы поняли примерно следующее: «Не волнуйтесь, если вам будет холодно, скажете мне и... Я немного повышу термостат».

За этой неудачей последовало еще несколько. Не удивительно: у нас не было ни языка, ни опыта, а дядя Ёсеф оказался хоть и очень заинтересованным, но не слишком умелым советчиком и проводником. К тому же мы, в отличие от дяди, чувствовали себя чужими в этом своеобразном районе...

* * *

Поселившись у дяди, я не переставал удивляться: как много на нашей и на ближайших улицах странных прохожих! Судя по лицам, все они евреи, но ужасно старомодные. Буд-

то сошли со страниц какой-то старинной книги. Всё на них чёрное: и шляпы, и пиджаки. Из-под пиджаков свисают шёлковые кисти «цицит». Их длинные и узкие черные пальто напоминают халаты. У всех мужчин бороды и закрученные спиралью локоны – пейсы! Я слышал о пейсах и, вероятно, видел их, но чтобы у всех, и даже у маленьких детей...

– Кто они? – спросил я у дяди. Он удивленно приподнял брови.

– Но это же любавичи! Не знаешь? И о хасидах не слышал?

Вероятно, дядя тогда же и рассказал мне то, что мог, о хасидизме, но я настолько был далек от религиозных проблем, что ничего не запомнил. Любавичи надолго остались для меня не больше, чем экзотическими персонажами. Мальчишке это простительно, но, став взрослым, я понял, что столкнулся тогда с очень интересной и значимой ветвью иудаизма.

* * *

Религиозное течение, которое называется хасидизмом, возникло среди евреев Подолии, на Украине, в XVIII веке. «Хасиды» на иврите означает «ревностные», «святые». Однако же поначалу хасидизм был течением чуть ли не революционным. Основатель хасидизма, его духовный вождь Бал-Шем-Тов, опираясь на утверждение Талмуда «Бог вожделеет сердца», утверждал: главное – не изучение Талмуда, а

личные контакты человека с Богом и своими ближними. Душевная преданность Богу важнее знания. Отношения с Богом должны вызывать радость: «...если вы хотите, чтобы молитвы были услышаны, возносите их с радостью и веселием». Да и вообще, так как мир полон Богом, учил Баал-Шем-Тов, нужно быть неизменно веселым, не отвергать радостей мира, любви к женщине.

Однако шло время, и хасидизм менялся. Ослаблялась его направленность к сердечному общению с Богом. Свободное отношение к обрядам заменила требовательность к исполнению всех, без исключения, религиозных правил и ритуалов. Повиновению цадику – духовному лидеру, вера в его власть и величие стала одной из важнейших идей хасидизма. Сейчас хасидами зовутся крайние ортодоксы в иудаизме...

Любавичи – это одна из многочисленных хасидских групп, возникшая в конце XVIII века в местечке Любавичи в России. Случилось так, что эта группа превратилась в большое религиозное течение, которое завоевало большое влияние и авторитет среди еврейства. Его последователи есть чуть ли не во всех странах мира, в сотнях городов Америки, а центр движения находится в Нью-Йорке, в Бруклине. Особенно много евреев-любавичей именно в той части Бруклина, в Кронхайте, где жил мой дядя. Они свято соблюдают все давние ритуалы, обычаи и традиции? касается ли это обрядов, пищи или одежды. Немудрено, что мне казалось порой, будто какая-то волшебная сила перенесла меня в про-

шлые века...

Чем любавичи отличаются от других хасидов, я и сейчас не очень-то знаю. Вероятно, в основном тем, что они действуют очень активно, не замыкаясь внутри своего сообщества. Во многих странах и городах создают свои группы. Добиваются, чтобы все евреи (хасиды и не хасиды) соблюдали традиционные ритуалы. Участники движения разъезжают на специальных автофургонах по разным странам и стараются научить тем или другим обычаям как можно больше людей, беседуют с ними, иногда просто останавливая на улицах прохожих... Раздают кошерную посуду. Известны любавичи и своей широкой благотворительностью: они, например, организуют реабилитационные центры для наркоманов. Несколько групп детей из Чернобыля, пострадавших от радиации, лечились на их средства.

* * *

В те годы, о которых я пишу, лидером любавичей был ребе Менахем-Мендл Шнеерсон, личность почти легендарная. К нему относились, как к святому, с беспредельной преданностью. Я сам почувствовал это, когда дядя Ёсеф повел нас с мамой в синагогу, на субботнюю службу, которую вел ребе Шнеерсон. На маму он произвел тогда такое сильное впечатление, что уже долгое время спустя она решила повезти нас с Эммкой к «главному ребе», как все его называли, чтобы он

благословил нас... Мне самому такое и в голову бы не пришло, но я не сопротивлялся – мне было лестно встретиться с человеком, которого глубоко уважал и тогдашний президент США Картер, и его предшественники.

Мы часа два провели в длиннющей очереди желающих попасть к ребе. Очередь тянулась по всей улице и даже огибала здание, медленно продвигаясь под морозящим дождем. Но я забыл и об усталости, и о дожде, когда нас принял ребе. У него был удивительный взгляд – сочетание доброты, мудрости, понимания, словом, чего-то, что пронзало тебя насквозь. Он спросил мое имя, возложил мне руку на голову и прочитал короткую молитву. Потом, улыбаясь, крепко пожал руку. Улыбка была такая светлая, «как рублем подарил»... Впрочем, был и настоящий рубль, то есть доллар. Новенький доллар, который ребе дал на память и мне, и Эммке. Мы храним их до сих пор.

...Не знаю, как сблизился дядя Ёсеф с хасидами, но было это в Израиле. Приехав в Америку, дядя отправился за советом и поддержкой именно к ребе Шнеерсону. Ребе никому не отказывал в помощи и внимании. Вскоре Ёсеф уже работал в типографии у одного из членов общины, Рафаэла Гросса, и получил приют у своего же хозяина. Прямо как в сказке! Немудрено, что дядя стал горячим приверженцем любавичей. Он и нас хотел бы видеть такими же, потому и уговаривал поселиться поблизости, в Бруклине. Но наша семья не была к этому готова. Мама была религиозна, но обрядов

не соблюдала, отец к вопросам веры относился достаточно равнодушно. Ни он, ни его братья и сестра не были в этом отношении духовными потомками деда Ёсхаима. Что уж там говорить обо мне и об Эммке? Школа воспитала нас атеистами. Внезапно превращаться в ортодоксов мы не хотели. Это было бы притворством! Впрочем, меня никто не заставил бы сменить джинсы и американскую майку с надписью на длинный черный лапсердак, о пейзажах я уже не говорю...

Словом, мы все считали, что жить в таком окружении нам будет трудно. И разве не для того мы выбрали Америку, чтобы быть рядом с Мушеевыми? Здесь была давняя дружба, душевная близость, все то, что объединяет людей теснее, чем родство! Сейчас, в иммиграции, в чужой стране, все это было особенно нужно.

* * *

– Прекрасная квартира! – приговаривала мама вечером за чаем, обводя глазами более чем скромную кухню Мушеевых. – Светло, чисто, даже шкафчики есть кухонные...

Мама вроде бы уже позабыла о мраморном великолепии ладиспольской квартиры да и немудрено: ведь то мраморное «гнездо» было не нашим, мы знали, что вот-вот покинем его. А здесь, в Америке, предстояло жить в настоящем гнезде, обосновываться прочно, надолго. К тому же по сравнению с квартиркой Ёсефа, где все мы жили в одной комнате и спа-

ли на полу, эта, мушеевская, действительно казалась вполне комфортабельной.

– Конечно же, здесь! – забыв про свой чай, горячо убеждала Мария родителей. – И нечего откладывать, оставайтесь ночевать, а завтра с утра... Юра, пойдешь с Амнуном в контору?

– А как же? – дядя Юра деловито потер руки. – Комплекс большой, может, и повезет. Познакомлю с супером, она подыщет, даст знать...

Родители переглянулись.

– Ну, что ж...

– Отлично! – и тетя Мария засуетилась, прикидывая, как разместить нас на ночь.

Меня положили в гостиной на диване, раскладном, очень удобном. Диван этот, как и многие другие вещи, в том числе и телевизор, Мушеевы подобрали на улице.

– Такое здесь правило – все время покупать новое, – смеялся дядя Юра, когда мы восхищались обилием находок и отличным состоянием этой выброшенной домашней утвари. – Реклама соблазняет, так они и живут: покупать, покупать, покупать... Выбрасывать, выбрасывать! Будто специально для нас, для приезжих.

Подумать только, размышлял я, разглядывая свое ложе, какую мебель выбрасывают! Дед Ёсхаим за всю свою жизнь ни стула не сменил, ни кровати. А здесь... Ну и страна Америка! С этими приятными мыслями я заснул.

Суперинтендант или супер – это, как объяснил нам дядя Юра, завхоз, управляющий, он присматривает за состоянием домов и квартир, занимается всеми проблемами благоустройства. Я и ожидал, что встречу с таким деловитым, энергичным американцем-управляющим в большом, хорошо обставленном офисе. Но оказалось, что «квартирным вопросом» занимается жена супера Мириам. Принимала она в своей квартире, где было устроено что-то вроде конторы. Молодая, полноватая темноволосая, она сидела, развалясь, за письменным столом, будто нас тут и не было, курила и вообще выглядела совершенно по-простецки.

Пришли мы в офис впятером – мы с отцом и дядя Юра с сыновьями. Взрослые взяли нас с собой, очевидно, для помощи в разговоре. Ведь мы знали английский лучше, чем они. Но произошло что-то странное. Во-первых, я – как и Эдик с Сергеем – совершенно не мог разобрать, что говорит Мириам. Ну, просто ни слова! Во-вторых, я и из себя ни слова не мог выдавить. Я все позабыл, стеснялся произнести простейшую фразу. Я не знал, что этот страх называется «языковым барьером» и что он есть у многих, впервые попавших в чужую страну. Но вот что самое поразительное: ни у дяди Юры, ни у моего отца этого самого барьера и в помине не было! Они сразу повели с Мириам самые активные

переговоры. Она протягивала им какую-то бумагу, которую первым делом следовало заполнить. Они убеждали её сначала показать квартиру. Язык, на котором оба друга объяснялись, нельзя было назвать ни английским, ни русским, это было какое-то сумбурное смешение тех и других слов, при чем русские слова дядя Юра чудовищно искажал: ему казалось, что от этого они становятся английскими. К тому же он сильно картавил, что делало его речь еще более красочной и выразительной.

– Но, но, – размахивая руками, восклицал дядя Юра, – аппликешен пос-э-лы, а ганьше мы ту вонт смотгейт аппагтамента! Смотгейт! – И он тыкал пальцем себе в глаз.

– Иес, иес, – кивал отец, – мы вонт! Плыз аппартамент... – тут он раздвигал руки, сооружая в воздухе невидимые стены и передвигая их с места на место. – Уан, ту, три...

– Мы ду выбигэйт! – вскрикивал Юра. – Ю понимает?

Мириам, поматывая головой и затягиваясь сигаретой, что-то неразборчиво отвечала и показывала на анкету.

Америка – мы в этом очень скоро убедились – страна очень бюрократическая. Установленные правила и порядки необходимо строго соблюдать, важно это для дела в данном случае или совершенно не важно. В этой конторе был такой порядок: сначала заполнять заявления, в которых вы сообщали какие-то данные о себе, о своих материальных возможностях, а потом уже, если данные соответствовали требованиям, вам показывали квартиру. Мириам ни за что не согла-

шалась нарушить это железное правило. Друзья так же упорно настаивали: зачем же зря заполнять бумагу, не поглядев, есть ли подходящая квартира? Удивительно, но они победили. Скорее всего, Мириам просто устала. Махнула рукой, пошла к ящичку, висевшему на стене, и сняла с гвоздиков несколько ключей...

Подходящая «апартаменты» нашлась на третьем этаже. Мы попросили оставить её за нами. Предстоял небольшой ремонт, но обещали, что мы сможем въехать через три-четыре дня. «Квартирный вопрос» был решён.

«Квартирный вопрос»... Этими словами Булгаков, вложив их в уста Воланда, навеки запечатлел одну из многочисленных бед советского времени. «Квартирный вопрос» ломал и калечил миллионы жизней. В тесных коммуналках, где все у всех были на виду, как звери в клетках, люди дичали, жили в постоянной злобе, страхе, ненависти, готовы были перегрызть друг другу глотки. А то и перегрызали...

Я посмел употребить знаменитое выражение «квартирный вопрос», перенеся его в Америку, потому что и для нас, иммигрантов, он был вопросом жизни. Конечно, в Америке, в отличие от Советского Союза, жилья было сколько угодно. Хочешь – покупай коттедж или даже небоскреб, хочешь – квартиру снимай, хочешь – живи в домике на колесах и разъезжай по всей стране. Но все решали деньги, а у нас их было так мало... Как, впрочем, и у миллионов американцев. Насколько мне известно, в Соединенных Штатах достаточ-

но много бездомных, причем не бомжей по складу характера, а людей, по разным причинам не имеющих работы. Так что какие бы трудности ни ожидали нас впереди, мы были счастливы, что преодолели первую: нашли квартиру рядом с друзьями, в приятном месте. И пока нас содержала Няяна, мы могли платить за неё.

Квартирка была, в переводе на русский, «полутораспальная». Вернее, мы ее сделали такой. Потому что на самом деле была в ней одна спальня, просторная гостиная и дайнет, небольшая столовая возле кухни. Вот её и превратили во вторую спальню. Правда, в ней не было дверей, один широкий проем соединял дайнет с гостиной, второй – с кухней.

– Не беда! Повесим красивые портьеры, тебе будет уютно! – сказала мама Эммке. Сестра была в восторге, ведь эту комнату отдавали ей! Впервые в жизни у неё появился свой уголок. Я только диву давался – уже через несколько дней Эммкина комната выглядела так, будто сестрица жила здесь давным-давно. Кровать, шкафчик для одежды, книжная полка, столик со всякими украшениями и флакончиками... «Что поделаешь – девчонка», – думал я не без зависти. У меня-то своей спальни не было, мне пришлось довольствоваться диваном в гостиной, в которой мы и ели, и смотрели по вечерам телевизор.

Да, но сначала, конечно, был переезд. У меня об этом событии сохранились два сильных воспоминания. Одно веселое: как мы, по примеру Мушеевых, выискивали вокруг на-

ших домов и по соседним улочкам брошенную мебель. Это было как-никак приключение, что-то вроде игры в пиратов. Высматривать мебель я ходил вместе с Эдиком Мушеевым, и мы развлекались как могли. Второе воспоминание не такое уж веселое: как мы в том же составе перетаскивали из Бруклина в Квинс наше имущество. О том, чтобы нанять для перевозки машину даже речи не было – дорого.

– Мебели у нас нет, – рассудительно говорил отец, – а с чемоданами и сумками парни справятся. Они здоровые.

Сам-то отец ничего не таскал, они с мамой и Эммкой, захватив кое-что из легких вещей, с вечера отправились ночевать к Мушеевым, чтобы утром получить ключи от квартиры. А «здоровые парни» без особой радости поехали за вещами. Эдик на всякий случай прихватил с собой складную тележку. И совершенно зря – чемоданы в нее не влезали. Мы тащили их – один на плече, другой в руке по бесконечным лестницам и переходам метро, спускались вниз, поднимались вверх, проталкивались между людьми на переполненных платформах, пересаживаясь с поезда на поезд. Было тяжело и неудобно, мы устали до изнеможения и не сразу заметили, что на нас почему-то смотрят и даже останавливаются, чтобы оглянуться, чуть ли не все пассажиры.

– Чего они глазеют? – просипел я, когда внезапно заметил это.

Мы ехали в очередном поезде и могли немного расслабиться. Эдик огляделся и хихикнул.

– А ты взгляни, много тут таких, как мы?

Тогда и до меня дошло, что у жителей Нью-Йорка, даже у бедных, парни, едущие в метро с таким количеством чемоданов, вызывают удивление. Автомобиль здесь, действительно, не роскошь, а средство передвижения.

Свой «марафон» нам пришлось совершить дважды да и то, кажется, мы забрали не все.

* * *

Вспоминается мне и блаженное состояние первых дней в новой квартире. «Всё... Мы у себя. Мы дома!» Дел, суеты, поездок было больше чем достаточно, и всё же... Квартира нам досталась светлая, окна выходили на восток, погода стояла солнечная. Правда, уже начались холода, но дом хорошо отапливался. И сидя у окошка, лицо подставив солнцу, а коленками ощущая тепло, идущее от батареи, я наслаждался каждой минутой покоя. К тому же здесь было тихо, не то что у дяди. Эта тишина, деревья вокруг дома вызывали в памяти Чирчик. Даже соседка нашлась, которая напоминала нашу чирчикскую Дору, правда, только тем, что постоянно сидела у своего окна на первом этаже, наблюдая за происходящим, как Дора на своей скамейке у подъезда. Вообще же эта бабушка Роуз была добрейшее создание. Возвращаешься, бывало, домой откуда-нибудь, а она выглядывает из своего окошка на первом этаже возле подъезда и кивает,

и машет, и приговаривает что-то... Не по-английски, между прочим, а по-русски: родители привезли её сюда из России давным-давно, в начале века, но родной язык она не забыла. Может, поэтому и обрадовалась так новым соседям, с которыми можно по-русски поговорить. Но очень скоро бабушка Роуз полюбила всех нас, особенно маму. Свою любовь она проявляла пылко и простодушно: все время в гости зазывала, то и дело что-нибудь дарила. Мама первое время смущалась, не знала, как быть, а потом поняла, что отказываться от подарков просто жестоко. Бабушка Роуз так нуждалась в теплоте, в близости. Она была вдовой, а дочка её с семьей жила в другом штате.

– Не дай бог быть одинокой в старости! – говорила нам мама. Она всплескивала руками и горячо обнимала бабушку Роуз, когда та появлялась с каким-нибудь одеяльцем или кофточкой, когда-то купленной для дочери.

* * *

...Не дай бог быть одинокими и когда приезжаешь в чужую страну. Нас эта беда миновала. У нас были Мушеевы, был дядя Ёсеф и вот бабушка Роуз приветливо машет нам из окошка, когда мы возвращаемся домой.

Глава 24. «Были бы деньги...»

Эти три слова то и дело звучали в нашем доме.

– Были бы деньги! Открыли бы свой бизнес... – мрачно говорил отец за ужином.

Под бизнесом подразумевался то овощной ларек, то сапожная мастерская, то парикмахерская, в зависимости от того, какие новые сведения и впечатления появлялись у отца за день.

– Но ведь денег нет. – Мама пожимала плечами, стараясь пресечь бессмысленный и уже надоевший разговор.

– Э-э, сам знаю! Но можно взять взаймы... Найти рассрочку... Небольшой первый взнос...

– О чем ты говоришь! – начинала нервничать мама. – Законов не знаем, основ дела не знаем... Может, ты прически умеешь делать? Магазинчик!.. Погляди на себя, ветер дунет и упадешь... Разве ты можешь тяжелые ящики поднимать?

– Буду стоять за кассой, – отвечал отец.

Мама махала рукой. Переспорить отца было невозможно.

Тот же разговор начинался, когда мы бывали у Мушеевых. Бывали – не то слово, мы у них, можно сказать, пропадали. В Америке мы еще больше сдружились и стали как бы одной большой семьей.

К Мушеевым вообще тянулись люди. Двери их квартиры не закрывались до поздней ночи. Приходили и многочислен-

ные родственники (несколько семей жили в нашем же комплексе), и новые друзья. Юра и Мария люди общительные, открытые, а, главное, добрые. Этот склад души вынес все испытания, не сломался в новой стране, в трудное время. Я иногда диву давался, сколько народу Мария ухитрялась накормить за вечер, хотя их семья пока не имела заработков.

Я не мог не сравнивать дом Мушеевых с нашим. Новые знакомые появились и у нас – три-четыре семьи европейских евреев, живших по соседству, люди милые, приветливые. Но побывав у нас разок-другой, они больше не приходили... Почему? Мама ведь тоже была и добра, и принять умела. А вот отец... Стараясь понравиться новым людям, он делал это самым нелепым образом: хвастался, ломался, изображал из себя человека удачливого, прожившего необыкновенно интересную, не такую, как у других, жизнь. И прослушав час-другой отцовские «а я», «а у меня», гости до того уставали от непрерывного потока похвальбы нашего папы, что предпочитали не появляться.

Бедная мама! Отец даже и ею хвастался при гостях, как хвастаются удачной покупкой. А как только гости уходили, начиналось обычное: «Ну и обедом ты угощала! Ты же знаешь, что мне нельзя мучное». Или что-нибудь в этом роде.

* * *

В отличие от друга, Юра Мушеев был оптимистом, и как

только отец заводил при нем свое «были бы деньги», отвечал со смехом:

– Э-э, пока нам лафа, живем на дармовщинку (имелось в виду то, что Наяна содержала иммигрантов пять месяцев), а перестанут кормить, начну вкалывать...

– Хай, а куда же вы пойдете? – услышав это, спросила мама.

– Скажем, сяду за баранку... – Дядя Юра хорошо водил машину.

– Разве это работа! – воскликнул Рафаэл, брат Марии. – Рискуешь жизнью, мотаешься, устаешь до полусмерти, а что за заработки, Язна?

«Язна» на бухари – это муж сестры... Рафаэл с женой Соной тоже иммигрировали и жили теперь по соседству. Как и мой отец, Рафаэл упрямо твердил: в Америке надо сразу начать с «настоящего дела». Правда, опыта у него было побольше: в Ташкенте Рафаэл был Юриным компаньоном по «подпольному» кондитерскому бизнесу.

– Язна, вы заметили, какие здесь витрины, какие выпечки? Видели, а-а? Никакого выбора! Разве можно сравнить с нашим кондитерским цехом? Были бы деньги, какую бы мы тут пекарню открыли!

– Были бы деньги! – подхватывал отец. – Говорят, сапожное дело здесь ходовое. И парикмахерское... А сегодня зашел я в овощной магазинчик на углу, знаете? Хозяин там бухарский еврей, Борисом зовут. Славный мужик, между про-

чим. Много рассказал интересного. Правда, Валера?

Я пожимал плечами и неопределенно хмыкал. Ничего интересного в рассказе этого Бориса я не заметил. Вставал он в пять утра, ездил на базу за товаром, таскал тяжести, раскладывал овощи, пропадал в своей лавке до поздней ночи... И вообще, чего уж тут хорошего торговать овощами, быть сапожником или парикмахером? Я не считал, что это ниже моего достоинства, нет, просто эти профессии не интересовали меня. Зачем же я полтора года проучился в институте? Что же, в стране, из которой мы удрали, я мог стать образованным человеком, а здесь?

Да, оказалось, что здесь многое сложнее. Настолько, что иммигранты, такие, как мы, ничего не знавшие об Америке, просто голову теряли. Их дипломы ничего не значили, надо было переучиваться. А на какие деньги? К тому же не зная языка.

К Мушеевым нередко заходили по вечерам земляки, занимавшие когда-то в Узбекистане высокие должности. И вот сидят они за столом и горестно вздыхают: «ки будам, ки шудам!» – то есть «кем был, кем стал!» Мне казалось, что стыдно так быстро падать духом. Да, в таких трудных условиях нужна энергия, нужно верить в себя. Но если нет этого, зачем было ехать? Поражало меня и то, что почти все бухарские евреи старались поскорее найти своим детям-подросткам какую-нибудь работу. В торговле, скажем, где можно было, проишачив сколько-то лет, стать хозяином лавчонки. Да

и мой отец все время заводил разговоры о том, куда бы меня «пристроить». Как же так? В Ташкенте почти все старались дать детям образование. Неужели только потому, что это было легче? Но ведь и там в торговле барыши больше, чем, к примеру, у инженера или преподавателя физики. И все же привлекали знания, интересные профессии. Почему же тут, в Америке, так изменились взгляды на жизнь? Потому ли, что здесь деньги значат еще больше?

Вопросы одолевали меня, я нервничал, волновался, злился. Но помалкивал, ведь я и сам не знал, где, как и на какие шиши могу начать учиться.

А отец продолжал рыскать по Нью-Йорку в поисках родственников и земляков. Чем больше, тем лучше, считал он. Авось кто и поможет с работой.

Однажды пришел домой и сообщил, очень довольный:

– Разыскал Юру Пинхасова!

С Пинхасовыми семья Юабовых породнилась в давние времена, когда сестра деда Ёсхаима. Бахмал, вышла замуж за одного из них. Юра был внуком Бахмал. Отец его был экономистом, довольно известным в Ташкенте, старший брат Роберт – врачом-урологом. Я дружил с сыном Роберта Эриком и всегда поражался, сколько же в их доме книг! С Юрой я знаком не был, знал только, что он физик, занимается какой-то там мудрёной электроникой, что-то постоянно изобретает. Словом, вся семья Пинхасовых была интеллигентной, о чем мой отец упоминал с великим почтением и гор-

достью. Он вообще очень гордился успехами родственников и рассказывал о них особо торжественным голосом: видите, мол, к какому замечательному роду я принадлежу!

И вот оказалось, что Юра Пинхасов тоже в Америке, в Нью-Йорке... Жаль, что не Роберт с Эриком, огорчался я, пока мы с отцом и с Эммой шли к Юре в гости. Но прошло каких-нибудь полчаса, и я уже смотрел на Юру Пинхасова совсем другими глазами. Приехал он в Америку всего за год до нас и тоже никаких успехов пока что не добился. Водил, кажется, такси, точно уже и не помню, кое-как кормил семью... Однако вот уж кто не был похож на растерянного и ноющего иммигранта!

– Всею свое время, – спокойно говорил Юра в ответ на отцовские жалобы. – Манна с неба нам с вами здесь в рот падать не станет. Надо думать, надо искать, к чему руки и голову приложить. Спасибо за то, что на первых порах помогают эмигрантам, а уж остальное зависит от нас.

* * *

Сейчас, вспоминая эту встречу и всё то, что стало известно мне о жизни дяди Юры (почему-то я называл его дядей, вероятно, из-за возраста, хотя был он из моего поколения) думаю о нем с огромным уважением и даже восхищением. Теперь я знаю, что, решив уехать в Америку, он отказался в Ташкенте от интереснейшей работы и прекрасной карье-

ры. Сорокалетний Юрий Пинхасов был кандидатом технических наук. Достаточно назвать тему его диссертации, чтобы понять, каковы были интересы молодого учёного: «Жизнеобеспечение на Луне. Разлом лунных пород с помощью солнечной и электрической энергии для получения воды и кислорода»... Эту диссертацию Юра защищал в Москве, в Институте медико-биологических проблем. А работал он в Институте электроники Академии наук Узбекистана, в отделе высокотемпературных исследований. Руководил группой – в ней было больше ста человек, которая занималась дуговыми процессами в вакуумных установках. Процессы эти широко используются в электронной промышленности развитых стран мира.

– Как же вы отказались от такого замечательного дела? – спросил я как-то дядю Юру. – Может, у вас неприятности какие-то были? Интриги начались? Или преследовали из-за национальности?

Дядя чуть усмехнулся:

– Никто не выживал. А просто, знаешь, очень захотелось... Ну, попробовать себя, что ли. Начать по новой. Говорили все вокруг: «Америка, Америка»... Что же, Америка – самое подходящее место для второй попытки. Тут получилось, а смогу ли там добиться чего-то? Было ли страшно? А чего страшиться-то? Я никакой работы не боюсь...

Ну-ну, думал я. Совсем как какой-нибудь герой Джека Лондона, который бросил всё и уехал куда-нибудь на Клон-

дайк искать золотую жилу...

Как осуществлял дядя Юра в Америке свою «вторую попытку», я расскажу попозже. Тогда, в день нашей первой встречи, всё это было еще впереди. Но уже тогда я понял, что у родственника сильный характер. Когда отец заговорил на свою любимую тему, к какому бы делу «пристроить» сына, спокойный до этого Юра просто взорвался.

– Амнун, ты ради чего сюда приехал? – воскликнул он. – Не порти парню будущее, пусть поступает в колледж! Ты чем занимался, Валера? Физикой? Н-да... Замечательно, конечно, но с работой будет трудновато... Только в лабораторию или преподавать... А как насчет программирования? Очень советую, замечательная профессия!

Я кивнул. О программировании я ровным счетом ничего не знал, кроме того, что компьютер – машина необычайно интересная, обладающая гигантской памятью, чуть ли не разумом. Но мне казалось, что главное – поступить учиться, а там уж я разберусь.

К моей радости, на папу Юрины слова произвели впечатление. Теперь посыпались вопросы, каким образом поступить в колледж, в какой. Но тут Юра ничего не мог посоветовать.

– Хорошо, – не унимался отец. – А если Валера поступит... С работой поможешь, когда закончит?

Я так и подскочил, услышав это. Господи, когда закончу... Да ведь Юра и сам пока без работы... Мне так стало стыдно

за отца!

Возможно, и Юра хотел ответить какой-нибудь резкостью, но сдержался. Чуть усмехнулся, потом посмотрел на меня и сказал:

– Что ж... Согласен.

По правде сказать, я тогда подумал, что он просто хочет вежливо отделаться от моего настырного папаши. Но я еще плохо знал Юру.

* * *

– То есть как это не можете? Мой сын был студентом до того, как приехал, а вы не можете направить его учиться?

Отец нервничает. И злится. Все признаки налицо: губы скошены, нога, закинутая за ногу, подергивается, пальцы постукивают по коленке... Но говорить он старается спокойно, без раздражения: здесь, то есть в Наяне, это ни к чему хорошему не приведет.

Мы достаточно часто посещали это многоэтажное здание в Манхэттене. То, чтоб зарегистрировать свой приезд, то оформлять пособие, то записываться на занятия английским. И уже много раз по поводу трудоустройства.

Наяна – гигантский муравейник. Кажется, что весь Нью-Йорк затоплен иммигрантами из Советского Союза, столько здесь видишь «наших». В больших приемных, где ждешь вызова на очередную встречу, почти никогда не присядешь,

все места заняты. Толчея ужасная: иммигранты, часто большими семьями, топчутся растерянно, спрашивают, туда ли попали. Работники Няны, озабоченные, с бумагами в руках, тоже вбегают и выбегают, выкликают очередных посетителей... Голова шла кругом, пока не привыкли!

Сегодня беседует с нами миссис Соломон, дама с курносым, толстым, как картошка, носом. Низко склонив голову, она двигает им то направо, то налево, изучая наши анкеты. Мне кажется, за всю встречу она так ни разу и не посмотрела ни на кого из нас... Впрочем, можно себе представить, как ей надоели озабоченные лица посетителей, их бесконечные просьбы и жалобы!

– Учиться вы сами должны сына устраивать, мы не оплачиваем профессионального обучения, – снова повторяет миссис Соломон. Для вас, мистер Юабов, я тоже пока ничего подходящего не имею. – А что касается вас, миссис Юабова... Та-ак... Швея-мотористка, стаж двадцать лет... Вот, возьмите направление на фабрику.

Встреча заканчивается. Как и многие другие, она прошла впустую. Придя с направлением от Няны на очередное швейное предприятие, мама выясняла, что швеи здесь пока не требуются, а требуются, скажем, уборщицы или грузчики. Сначала она возмущалась, «куда посылают, зачем? Ведь глядела же она в мою анкету!». Но время шло, и бедная мама начала колебаться, может, надо было пойти? Хоть какая, да работа. Мама мечтала не о бизнесе, а просто о том, что-

бы начать зарабатывать. Начать еще до того, как Наяна перестанет содержать нас. И в конце января она таки добилась своего: устроилась с помощью соседки на фабрику игрушек. Но не делать игрушки и даже не шить одежду куклам. Взяли её упаковщицей.

И все равно мама радовалась. Это ведь был старт!

– Теперь мы и без Наяны не умрем с голоду, – с гордостью говорила она...

К сожалению, из-за этого «старта» нам на полтора месяца раньше срока уменьшили пособие, почти на столько же, сколько мама зарабатывала. Хотели мы схитрить, не сообщали в Наяну о мамином «старте», да не вышло: на фабрике платили ей чеками, что нас и выдало. Мама не знала, что надо бы искать работу на «кэш»...

Нет, не очень-то нам пока везло.

Глава 25. «WELCOME» или не «WELCOME»?

Теперь, пытаясь вернуться к себе, восемнадцатилетнему, я спрашиваю у этого беспечного юнца: «а почему же ты, Валера, так легко согласился стать программистом? Почему не задумался, для тебя ли эта профессия?» На физический факультет я пошел не только потому, что в институте преподавал дядя Миша, физика еще в школе мне нравилась. А здесь... Я так и не попытался выяснить, что такое программирование! Модная, перспективная профессия, вот и прекрасно. К тому же Юра Пинхасов советует, а он – авторитет...

Отец тоже так полагал. После разговора с Юрой словечко «пристроить» стало употребляться им применительно ко мне уже в другом смысле: куда бы и как «пристроить» меня учиться программированию. Теперь поиски родственников и новых знакомых велись уже и с этой целью. Чуть ли не каждый день отец прибегал с новой информацией.

– Надо попробовать в Колумбийский. На английских курсах один мужик, очень знающий, говорит: Колумбийский университет – самый престижный в Нью-Йорке!

Колумбийский так Колумбийский. Едем, разыскиваем, попадаем в нужный отдел. Милая дама долго беседует с нами, рассказывает о достоинствах Колумбийского. Очень

приятно чувствовать себя поступающим! Я уже немножко осмелел и перевожу отцу то, что мне удастся понять. По его просьбе спрашиваю, сколько же стоит обучение в этом прекрасном университете. Дама раскрывает какую-то книгу. Цифры такие, что мы прощаемся с вытянутыми лицами. Больше вопросов у нас нет.

Новая информация, на этот раз, кажется, из русской газеты, и мы едем разыскивать восьмимесячные курсы программирования. Находятся они в знаменитейшем Эмпайр-стейт-билдинг, в первом и в одном из самых высоких небоскребов Нью-Йорка. Ну, уж здесь-то не могло не понравиться, стоило только войти в сказочной красоты мраморный вестибюль на 34-й улице! Принимают нас на курсах приветливо, плата сравнительно не так уж высока, директор, прощаясь с нами, уверяет, что выпускникам помогают найти работу. Однако, кто-то из знакомых утверждает, что это враньё. К тому же многие, с кем советуется родители, считают: если уж учиться, то в колледже.

...Советчиков у отца все больше, он продолжает расширять связи. Я просто поражался: каким же могучим оказался наш почтенный род – и со стороны деда Ёсхаима, и со стороны бабушки Лизы, – если даже на чужбине, в Нью-Йорке, отцу удалось разыскать столько родственников. Почитание родни, семейная взаимопомощь – древняя азиатская традиция, её вполне можно назвать и традицией бухарских евреев. Но отец эти отношения понимал довольно своеобразно. По-

читать-то он почитал, даже восхищался успехами родственников, но не бескорыстно. Отец был уверен, что они обязаны ему помогать. Он не обязан, а они должны!

– А сколько ему помогал мой отец (или дядя, или еще кто-нибудь), – кипятился он, когда мама уговаривала его не обращаться с просьбами к малознакомому и очень дальнему родственнику. И поступал, как считал нужным.

Сейчас, вспоминая эти знакомства с обширной родней, я поражаюсь тому, с каким разнообразием человеческих характеров, интересов и жизненных устремлений мне удалось столкнуться. Тогда я, конечно, не задумывался о таких вещах, но теперь мне это кажется очень любопытным.

Помню, как однажды отец разыскал родственника, весьма состоятельного, у него имелся бизнес в Манхэттене, торговля драгоценными камнями.

– Процветает! – говорил отец, сияя так, будто ближе этого Натана Якубова у него никого на свете не было. Мама удивлялась, чему он так радуется.

– Как это – чему? Он же близкий родственник моей матери!

Словом, субботним утром мы отправились в гости к Якубовым.

Богатый родственник – невысокий, почтенного вида человек лет семидесяти, встретил нас вполне по-семейному. Мы вместе позавтракали в его прекрасно обставленной, пестреющей дорогими коврами и сверкающей хрусталем квартире,

а потом вместе отправились в синагогу. Натан шел не спеша, опираясь на палку. Узенькая улочка была вся в деревьях и вечнозеленом кустарнике, и надо было видеть, как заботливо отец отводил в сторону каждую веточку, которая могла задеть драгоценного родственника! Конечно же, он нашел минутку, чтобы попросить Натана об услуге:

– Никак не удастся сына пристроить на работу... Не могли бы вы помочь? (О работе шла речь потому, что в тот момент решение о колледже еще не было принято).

Натан сквозь толстые стёкла очков посмотрел на отца, потом на меня.

– Не переживайте, Амнун, в Америке молодых не надо пристраивать. Они сами здесь найдут себе дорогу.

Родственник высказался очень ясно. С определенной точки зрения, с позиций преуспевающего дельца, считающего силу характера и умение пробиться главными человеческими качествами, он дал отцу вполне разумный совет. Но отец, проглотив обиду, продолжал поиски более отзывчивых родственников.

Одним из таких оказался Юра Пинхасов, о котором я уже рассказал. Кстати, Юра вовсе не был непрактичным чудачком-изобретателем, деньги он тоже умел зарабатывать. Но ни деньги, ни бизнес как таковой не были главным содержанием его жизни, просто он сумел сделать доходными свои технические таланты, свое творчество.

Ещё один родственник – Роберт Аулов – появился на го-

ризонте в разгар наших поисков колледжа. Знакомиться с ним отец потащил меня в Бронкс, куда из Квинса надо добираться на метро часа два с пересадками. Мы попали в квартиру более чем скромную. Почему-то было понятно, что людей, которые здесь живут, совершенно это не волнует, что не нужна им богатая обстановка, хрусталь и прочие предметы роскоши. Не волновало их и другое: живут ли вокруг родственники, вообще «наши», бухарские. Вероятно, даже и здесь, на чужбине, в их отношениях с людьми племенная близость не являлась главным критерием.

Семейство этих Ауловых, дальних родственников бабушки Лизы, очень мне понравилось. Особенно же глава семьи, Роберт. В Ташкенте он был профессором, занимался философией, а здесь, в Америке, сотрудничал в Колумбийском университете. Штатной должности не имел, но время от времени читал лекции о Советском Союзе. Какие, я не догадался расспросить...

Да, бриллиантов у Роберта явно не имелось, зато душевных богатств хватало. Когда отец рассказал о наших трудностях, он тут же предложил свою помощь. Мы условились завтра же поехать вместе в Манхэттен, в управление городским университетом. Роберт сказал, что там можно получить всю необходимую информацию.

И вот мы в центре Манхэттена. На 31-й Вест, в доме 101 – нужный нам офис, очень похожий на те, в которых мы уже побывали: множество людей, почему-то преимущественно

черных и азиатов, долгое ожидание, заполнение анкет... Я опять как-то приуныл.

– Эй... Ты не переживай. Все будет хорошо, слышишь? —

Этот наш родственник оказался вдобавок ко всему чутким человеком, уж не знаю как, но он сразу же заметил, что у меня тяжело на душе.

Вероятно, у Роберта была легкая рука. Выяснилось, что Нью-Йоркский городской университет включает в себя целую сеть колледжей с четырехгодичной и двухгодичной программой. И я могу выбирать любой из них. Мы с Робертом посоветовались, я выбрал Квинс колледж, заполнил всё, что требовалось, узнал, что ответ получу по почте. Ушел я, чувствуя себя уже почти студентом.

Потом мы еще долго бродили по Манхеттену и как-то очень быстро сдружились. С Робертом было и просто, и интересно. Худощавый, с густыми усами, он ходил с тростью, то легко на неё опираясь, то налегая всем телом. Почему-то он казался мне похожим на тех подтянутых, элегантных английских джентльменов, которые еще в начале двадцатого века ходили в цилиндрах и с тросточками. Правда, Роберт носил не цилиндр, а обыкновенную вязаную шапочку с помпоном на макушке, и все же в нем была своеобразная элегантность. Когда-то, очевидно, он был здоровым, сильным человеком, это видно было по его стати, по рукопожатию. Но он часто кашлял, подолгу и захлеб, как отец. Потом выяснилось – он уже в то время был тяжело болен. Впрочем, на здоровье не

жаловался, был весел, держался бодро. Болезнь была как бы сама по себе, а он – сам по себе...

– Амнун, хотите подработать?

Этот неожиданный вопрос Роберт задал, когда мы проходили мимо какого-то небоскреба. Указывая на него тросточкой, Роберт объяснил:

– «Голос Америки» знаете, конечно? Отсюда они и вещают. Русскоязычных приглашают участвовать, платят неплохо... Хотите, зайдём?

«Голос Америки»... Сердце моё ёкнуло. И как-то вдруг сразу вместе с этим толчком я вспомнил... Теплая августовская ночь. Мы с Юркой лежим на топчане в Старом Дворе. Кузен сосредоточенно сопит, в руках у него трещит, завывает, выдает обрывки мелодий, а иногда бормочет что-то на разных языках «Грюндик», коротковолновый приемник. Юрка пытается поймать «Голос Америки», запретную радиостанцию. Запретную, заглушаемую. Но кто её только не слушает в нашей стране, преодолевая могучие глушители! Очень уж людям обрыдло жить за «железным занавесом». Слушаем иногда и мы с Юркой. Не потому, что нам это так уж интересно, до понимания взрослых проблем мы еще не доросли, но... Ловить запрещённую передачу – это как-никак приключение. К тому же дед интересуется новостями об Израиле, а где же ещё узнаешь правду, если не по «Голосу»?.. Вот мы и ловим его по ночам, развесив на ветвях урючины самодельную антенну... Ага, кажется, словили... Голос, пре-

рываемый трескучими разрядами, произнес: «Израильские войска провели ответную...»

Так вот откуда, оказывается, доносился до нас этот «Голос Америки», думаю я, задрав голову и разглядывая небо-скреб. Вот смешно-то, я стою рядом, я могу даже зайти и поглядеть...

Но поглядеть не удастся.

– Зачем я там нужен? – Воскликнул отец. Он очень удивился, что может стать радиожурналистом.

– Для прямой трансляции, – объяснил Роберт. – Возьмут у вас интервью, как вы там жили, почему уехали... Хотите, зайдем?

Отец покашлял, помолчал.

– Н-нет, не стоит... Ведь надо будет ругать, правда? А там осталась вся родня... Как бы не навредить... И вообще, знаете, там наша жизнь прошла... Что уж теперь хаять.

Роберт молча кивнул.

* * *

Недели через три из офиса пришли мои бумаги. Роберт говорил, что поможет разобраться в них, но нетерпение меня одолевало, и, не повидав его, я отправился в Квинс колледж, не очень-то понимая, что меня там ожидает. Идти было недалеко, от силы минут тридцать. Дорогу я знал и даже помнил, как этот колледж выглядит. Не так давно, проезжая на

автобусе по Киссена бульвару, я заметил за металлической оградой большой парк. Среди деревьев и газонов разбросаны были невысокие здания. Потом над воротами мелькнуло название колледжа, тут же висел большой плакат: «Welcome to Queens College!» Сейчас, подходя к колледжу, я вспомнил этот плакат... Интересно, скажут ли и мне «Welcome»? – думал я, стараясь не нервничать.

Возле здания с выбитой у входа надписью «Джефферсон Холл» развевался на высоком шесте большой американский флаг. Я разыскал нужную мне комнату, протянул женщине в очках свой конверт с направлением. Женщина, улыбаясь – в Америке, начиная разговор с вами, все непременно улыбаются, так уж здесь принято, – попросила меня предъявить аттестат. Я протянул ей копию. Оригиналы документов, объяснил я, нельзя было вывозить из Советского Союза, их пришлют только через полгода после нашего отъезда. Дама погасила улыбку:

– Нужен подлинник. И все равно ты опоздал, приемные испытания на февральский семестр проходили две недели назад. К тому же твой английский... – Она покачала головой. – Пока нет документов, начни заниматься языком. – Она кивнула мне и ушла по своим делам.

В большой и светлой комнате стояли десятки столов, люди что-то писали, листали бумаги, трещали телефоны, кто-то громко смеялся. Словом, жизнь была ключом, но ко мне всё это не имело отношения. Я был здесь чужим, я не был

«welcome». Я вышел в коридор и остановился, тупо разглядывая стоящий в углу бюст. «Томас Джефферсон», – прочитал я. Мне никуда не хотелось идти и вообще ничего не хотелось. Ни-чего...

– Экскьюз ми...

Я вздрогнул, оглянулся. Девушка в джинсах, с сумкой через плечо, еще раз извинилась и спросила, не знаю ли я, как пройти на регистрацию. Говорила она по-английски, но выговор был больно уж русский, и я машинально ответил ей по-русски. Она засмеялась.

Так мы и познакомились. Девушка была моей тезкой, звали её Валерия Макноветская, приехала она из Москвы и поступала на то же отделение, что я.

– А как у тебя с документами? – спросил я. – Подлинник? Нет? Плохо...

Торопясь и волнуясь, я рассказал Валерии о своей беде. К моему удивлению, она ничуть не расстроилась.

– Вот как? Ну, пошли теперь вместе, попробуем...

Я опешил, но поплелся за ней. Во мне забрезжило что-то вроде надежды, смешанной с любопытством.

Та же самая женщина в очках, с такой же безучастной улыбкой, сказала Валерии то же, что и мне. Только про английский не сказала.

– Позовите, пожалуйста, супервайзера, – невозмутимо попросила москвичка. Моя тезка спокойно и уверенно объяснялась на своем довольно скверном английском. Я восхи-

щался и немножко завидовал... К моему удивлению, супервайзер пригласил нас в свой кабинет. Он прочитал все анкеты и прочие справки, внимательно Валерию выслушал и вообще вел себя не как чиновник, а как доброжелательный, заинтересованный человек. Даже расспрашивал нас о жизни в Советском Союзе, о том, где и чему мы учились. Правда, этот американец оказался в какой-то степени нашим земляком.

– Моя бабушка тоже из России, – сказал он. – О нет, я не знаю русского, она в Америку приехала до революции... Окей...

Ура, ура! Он сказал, что мы приняты! Правда, с условием, что до конца семестра мы принесем оригиналы аттестатов. О том, что почти всю стоимость обучения в Квинс колледже покрывает федеральная помощь несостоятельным иммигрантам, я узнал еще когда мы с Робертом заполняли бумаги в центральном управлении. Так же обстояли дела и у Валерии. В финансовую часть подписывать нужные бумаги мы мчались с ней, как на крыльях, хохоча, болтая, выплескивая из себя остатки пережитого волнения. Потом мы долго прощались у ворот.

– Ты молодец, спасибо... А я уж думал, все пропало, пробормотал я напоследок. – Ну, до встречи!

И, счастливый, побежал домой.

Глава 26. «Посадил ли ты урючину?»

Устав от бесконечных домашних хлопот, мама иногда устраивала себе маленький перерыв и уютно усаживалась, либо скрестив руки на груди, либо засунув кисти под мышцы, а то уперев локоть в колено и голову положив на ладонь... Мне казалось, что именно в эти редкие минуты отдыха от мамы исходит особенное тепло. Что-то удивительно светлое так и разливается вокруг нее. Светится её лицо, светится, как весенний луг, её пестрый домашний халатик – мама очень любила яркие халатики...

Впрочем, посидеть спокойно, просто отдыхая, у мамы хватало терпения всего лишь минуту-другую. Брякнут у неё в кармане вещички, собранные по комнатам, ручки, ключи, заколки и прочее, что мы недавно разбросал, она тут же начнет всё это вытаскивать, разглядывать: что куда отнести, кому из нас отдать. При этом мамино лицо постепенно принимает юмористическое выражение, брови поднимаются, глаза то открываются широко, то чуть-чуть прищуриваются: откуда, мол, взялся этот носок? А-а, Эммка перед школой переодевалась... Ну что с ней поделать? И мама, усмехнувшись, пожимает плечом. Эта пантомима так выразительна, что превращается в маленькую, почти артистически сыгранную сценку... Мама вообще была по натуре человеком, склонным к юмору. Горько, что жизнь не так-то уж часто

давала ей поводы для этого. Но она старалась пользоваться любым из них.

Здесь, в Америке, мама чаще всего совсем по-другому использует недолгие минуты своего отдыха. В её карманах лежат теперь обычно письма, письма издалека. На них надо поскорее ответить.

Любопытное дело: мы уехали бог знает в какую даль, мы находимся на другой половине земного шара, а наши отношения с родственниками становятся более тесными, чем в годы постоянного общения. Не странно ли? Ведь теперь разделяет нас не только расстояние, наша жизнь заполнена огромным количеством дел и забот, сугубо американских, порою лишь по названию похожих на то, чем мы были заняты дома. Мы попали в другой мир, и только те, кто это пережил, способны понять наше состояние.

Мы с Эммкой учимся. Она в американской школе, я – в американском колледже. И обоим нам ох как нелегко! Каждый день на нас обрушиваются новые впечатления, знакомства, информация... Мама хоть и рада, что «стартовала», но очень устает (даже не так от работы, как от напряжения в незнакомой обстановке), огорчается, что мало зарабатывает, и упорно ищет работу по специальности. А у папы дела ещё хуже. С бизнесом пока ничего не вышло, пришлось пойти в ученики к сапожнику. Сапожное дело отец немного знал, в детстве помогал деду Ёсхаиму. Но дед работал вручную, здесь же отец имеет дело с сапожными машинами,

а это дается совсем нелегко: у отца дальновзоркость. Но самое печальное то, что он работает бесплатно, хозяин оплачивает ему только транспорт. Скажи, мол, спасибо за то, что учу! Отец злится и ругательски ругает этого Мирона: «Вот хундуль-пэс! Ведь город ему, оказывается, неплохие деньги выдает за обучение подмастерьев!» (Тут, очевидно, следует пояснить, что «хундуль» на бухари – европейский еврей, а «пэс»... Ну, это понятно и без пояснения, по созвучию.)

И всё же бросать работу отец не намерен: он решил, выучившись, открыть свою сапожную мастерскую.

Короче говоря, до родственников ли нам сейчас? А вот поди же ты...

Переписка с Советским Союзом – дело сложное. Письма из России и сейчас идут неделями. А уж из Ташкента... А уж в те времена... Однако, как только у нас появился постоянный адрес, письма «оттуда» хлынули потоком. Бывало, на неделе мы получали по несколько посланий. Мамины Авнер, Маруся, Рена и Роза, отцовские Миша, Робик и Тамара – все спешили поделиться новостями, все желали знать, как у нас дела, что происходит буквально каждодневно. Богатством содержания письма не отличались. Каждое обычно начиналось словами: «Здравствуйте, наши дорогие и горячо любимые...», а дальше порой ничего нового и не рассказывалось. Но, очевидно, в письмах из родных краев, в письмах людей, с которыми вы надолго, а может быть, навсегда лишены возможности встретиться, есть, кроме содержания, еще

нечто. Увидишь конверт «оттуда», и сердце сожмется...

Нередко письма первым читал я, потому что чаще других доставал их из почтового ящика в подъезде, и пока поднимался на третий этаж... Мог ли я дотерпеть? Удивительно, но отец никогда не ругал меня за то, что я без спроса вскрывал адресованные ему письма. Вероятно, он тоже чувствовал: раз «оттуда», значит, всем нам.

– От дяди Миши письмо! – кричал я, врываясь в квартиру и размахивая листками.

Дядя Миша писал на бухари, уж не знаю почему. Возможно, хоть и было это наивно, считал бухари чем-то вроде шифра, недоступного советской цензуре. А как без шифра задать «криминальный» вопрос: ехать или не ехать? Как пожаловаться, что жить в Ташкенте с каждым днем труднее и с отъездом тоже все больше сложностей? Написать это по-русски Миша не рискнул бы... И вот еще что интересно: хотя письма дяди Миши были адресованы папе, со всеми вопросами о жизни в Америке он обращался к маме. И с главным – ехать или не ехать – тоже.

Да, отношение к нам всех папиных родственников стало на удивление теплым и уважительным, более того, просто-таки любовным и нежным. И не только к папе, с которым когда-то, до нашего отъезда из Ташкента в Чирчик, у матери и у братьев вообще были непрерывные стычки. Мама, презираемая ими «старгородская простолюдинка», которой как могли отравляли жизнь, превратилась теперь в любимую ке-

линку, в главного советчика, от мнения и помощи которого зависит будущее...

Я пишу об этом с некоторой горечью, но без насмешки. Обвинить в притворстве я никого не хочу. Нет, просто изменились обстоятельства. Во-первых, мы оказались очень далеко и что-то сдвинулось в их душах, так же, как и в наших, что-то вытолкнуло из глубины ощущение родственной близости. Во-вторых, изменился, так сказать, общественный статус нашей семьи. Мы достигли «земли обетованной» и уже поэтому стали людьми уважаемыми, людьми, с которыми связаны определенные надежды. Ну а что касается мамы, думаю, что родственники давно уже начали понимать (может, и не признаваясь себе в этом), кто возглавляет нашу семью и духовно, и материально...

* * *

– Валера, ты готов? Иди скорее, а то вон сколько накопилось!

В гостиной за столом сидит мама, перед ней веером разложено несколько писем: набрались за неделю.

– До ночи не ответишь, – озабоченно говорит она. – Бумагу принес?

Мама пишет собственноручно только своим сестрам и брату да еще тете Вале. Словом, тем, кому она изливает душу. Остальным под её диктовку пишу я. Сегодня мы как раз

и начинаем с ответа дяде Мише, у которого больше всего вопросов.

Мама вздыхает, пожимает плечами.

– «Эся, что посоветуешь?»... Как будто я уже десять лет здесь живу и всё знаю! А я с работы – в магазин, вот и всё. Хорошо хоть у Мушеевых услышишь что-нибудь полезное... Ну, пиши...

Не помню уже, какая новая информация была у неё для дяди Миши в тот раз, ведь этих «разов» не счесть! Пока я записываю то, что мама наговорила, она, порывшись в кармане, достает ручку и принимается за письмо к сестрам. Тут возвращается куда-то ушедший отец, видит нас за работой и подсаживается к столу – он тоже желает ответить братьям. Папа пишет очень подробно, стараясь не упустить ни одной из мелочей нашей жизни. Всё это он, очевидно, считает очень важным. Попишет, попишет, потом со значительным видом оглядит нас и непременно задаст какой-нибудь вопрос: «Валера, напomini стоимость года занятий в твоём колледже»... «Свет и газ в прошлом месяце во сколько обошлись?»... «Эся, ты записала, сколько за эту неделю ушло на продукты?» И так далее, в том же роде.

– Ох, что же это мы! – восклицает вдруг мама, поглядев на часы. – А звонить?

Сегодня – первое воскресенье февраля. Дозвонившись впервые в Ташкент, мы уговорились, что каждый месяц, именно в первое воскресенье, будем звонить к родным – к

деду Ёсхаиму, к бабушке Абигай. Точнее говоря, пытаться прозвониться.

* * *

В начале 80-х годов телефонная связь с Советским Союзом была хуже ночного кошмара. Сегодня, когда по мобильному телефону, в магазине ты, на пляже, в машине или дома, моментально дозваниваешься в любую точку мира, даже и представить себе трудно, каково было из Нью-Йорка позвонить до Ташкента. В большинстве цивилизованных стран дальняя телефонная связь в те годы уже достигла высокого уровня. Но в Советском Союзе её не развивали намеренно: чтобы ограничить «опасные связи» населения с зарубежьем. «Железный занавес» должен быть непроницаемым! Ну, уж если и с дырочками, то хотя бы с очень маленькими...

Мой знакомый москвич, в прошлом один из крупных специалистов по телефонной связи, рассказал мне недавно смешную историю. В 80-м году, перед тем как в Москве началась Всемирная Олимпиада, высокие власти вдруг спохватились: ведь какой же скандал поднимется, если зарубежные гости не смогут из Москвы звонить по телефону в свои страны! И немедленно в Швеции была куплена специальная станция для международной связи. Пока длилась Олимпиада, станция была подключена на всю мощность, не только гости, но и москвичи, которые каким-то образом узнали об

этом, могли целый месяц беспрепятственно разговаривать с родственниками и друзьями в любой из стран мира. Закончилась Олимпиада, и станцию тут же отключили. Правда, не всю: несколько каналов оставили, но ими могли пользоваться только самые важные государственные и партийные чиновники, руководители высоких организаций...

Словом, дело было не в технике, объяснил мне мой приятель, а в целенаправленной политике. И вот доказательство: когда во второй половине 80-х политика изменилась, в Советском Союзе за каких-нибудь четыре месяца удалось наладить вполне приличную международную телефонную связь.

* * *

Вся семья в кухне, за столом. Отец и мать глядят на меня так неотрывно и напряженно, будто у нас сеанс гипноза: они – гипнотизеры, а я – медиум. Но медиуму, то есть мне, не до них. Прижав к уху телефонную трубку, я уже почти полчаса веду переговоры с американской телефонисткой, снова и снова набирая номер... В те годы даже в Америке на станциях международных линий работали операторы. Ты называл страну или код, они соединяли... Если удавалось. Но сколько я ни называю код, голос телефонистки монотонно отказывает мне: «Связи нет»... «Линия занята»... «Пожалуйста, перезвоните позже»... «Попытайтесь снова».

«Эх, худое, порвардогор!» – громко вздыхает мама. Отец

молчит, но лицо его кажется окаменевшим, а руки упираются в колени, как при приступе астмы... Я нервничаю. Напряжение родителей передается и мне. Снова «линия занята»... Я злюсь и кричу в ответ: try again – попробуйте опять! Ведь телефонистка обязана набирать номер три раз, я уже знаю правила... И вот, наконец, долгожданное: «Алло, Ташкент слушает»... «Hello, America on line», – сообщает в ответ наша телефонистка. Сердце мое замирает: теперь я передан ташкентской мучительнице...

После первых же «сеансов связи» я почувствовал полную свою зависимость от телефонистки, этого невидимого, но могущественного существа. Дозвонишься ты или не дозвонишься, во многом зависит от её характера и настроения. Если дежурит злая, от нее почти всегда услышишь резкое, короткое: «Занято. Перезвоните»... И тут же – клик! Связь прервана... Но если и соединит, подожди радоваться: очень часто слышно так плохо, будто говоришь не с Ташкентом, а с Марсом или с Луной. Как ни прижимаешь трубку к уху, ни слова не разобрать.

В Советском Союзе отвратительная слышимость была даже на внутренних, междугородних линиях. По этому поводу ходило в народе много анекдотов. Вот один из них. Американец с переводчиком идут по коридору какого-то советского учреждения. Слышат, как в одной из комнат кто-то вопит: «Харьков, Харьков! Вы меня слышите? Харьков!» Американец спрашивает: «Что это он так кричит? Зачем?» – «Он с

Харьковом разговаривает», – отвечает переводчик. «А что, у вас нет телефонов?»

Но иногда происходили чудеса. Когда на другом конце провода дежурила милая, отзывчивая телефонистка, связь порой каким-то волшебным образом улучшалась.

У Владимира Высоцкого есть замечательная песня «07» о том, как он дозванивается из Москвы в Париж своей любимой и умоляет телефонистку побыстрее соединить его. Есть в этой песне такие слова: «Стала телефонистка мадонной»...

Вероятно, телефонистки становились мадоннами для многих десятков тысяч людей, в том числе и для меня. Телефонистка-мадонна и откажет тебе по-другому: «линия занята... Не уходите, попробую еще раз». И соединит достаточно быстро. И сумеет совершить главное чудо: слышно так, будто собеседник в соседней комнате.

Вот такое чудо произошло и на этот раз. Называю номер и слышу не комариный писк в далеком космосе, а сильные, звучные гудки. Переведа дыхание, поднимаю большой палец. Отец вскакивает, мама хватается руками за щеки... А в трубке уже раздается протяжное «А-а-л-ё-ё»... Бабушка Лиза! Её голос. Её, и все же другой: он стал тише, мягче, исчезли повелительные нотки...

– Бабушка, здравствуйте!

– ВалерИК?!!

О-о, это уже прежняя бабушка! Сколько энергии! Звук такой, что отстраняю трубку от уха. И, заполняя всю нашу нью-

йоркскую квартиру, счастливый бабушкин голос произносит благословения любимому внуку. Они еще звучат, а отец уже выхватывает у меня трубку.

– Она! Ма, Амнун! – Отец непременно сообщает, что это он, Амнун... От волнения, наверно. И по этой же причине кричит в трубку. И лицо у него...

– Нагзи? – Отец всегда теперь говорит с родителями на бухари. Трубку, вероятно, взял дед Ёсхаим, потому что отец кричит ещё громче – ведь дед слышит плохо.

Но вот в трубке голос дяди Миши: «Берегите друг друга!» За ним – тетя Тамара. До меня донеслось её неизменное: «Одевайтесь потеплее!» Я представляю себе, сколько народу сейчас собралось на Коротком Проезде, как все они стоят возле телефона, переминаясь от нетерпения, вытягивая шеи, чтобы что-нибудь услышать. Долго не поговоришь, это дорого. Да и не скажешь ничего важного, вдруг подслушивают? Но хотя бы услышать голоса...

«Почему учителем должна быть разлука?» – спрашиваю себя каждый раз, когда заканчивается очередной разговор, глядя на взволнованные лица родителей.

* * *

Уже вечер. На столе лежат недописанные письма, но все проголодались, и мама идет на кухню греть обед. За ней и Эммка – накрывать на стол. Отец, взволнованный разгово-

рами, ходит взад-вперед по гостиной, а я торопливо дописываю письмо Юрке.

В отличие от родителей, нам с Эммкой почти не с кем переписываться. Взрослым родственникам мы только приписываем в конце строчку-другую. У Эммкиной подруги Вики отец военный, ей переписка запрещена. Ни мои чирчикские друзья, ни Ридван почему-то не отвечают. То ли тоже боятся, то ли письма не доходят... Единственный мой постоянный корреспондент – это Юрка. Рассказываю ему обо всем, что мне кажется интересным. Кроме того, мы с ним условились перед отъездом об одной фразе, имеющей тайный смысл. Ведь не напишешь же в Ташкент: «приезжай, здесь прекрасно! Здесь стоит начать новую жизнь». И мы придумали кое-что другое...

Каждый из наших предков, обосновываясь на новом месте, сажал в своем дворе урючину. Другие деревья и кустарники тоже, но уж урючину – непременно. Сделал это – уж не знаю, где именно, – наш прадед, переселившийся из Ирана в Туркестан. Сделал это дед Ёсхаим в Ташкенте. Мы с Юркой всегда любили это дерево в Старом Дворе. И уж не помню как и когда, но каким-то образом почувствовали: наша урючина – это больше, чем дерево. Вероятно, и для наших предков она была чем-то вроде символа рода. Символа связи с землей, на которой они решили укорениться...

Мы покинули страну, чтобы пустить корни на новой земле, как когда-то сделал мой прадед. Это свершилось. Хотя

нам нелегко, но урючина американских Юабовых уже как бы посажена.

«Валера, вспоминаешь ли ты об урючине?» – спросил меня в последнем письме Юрка. И вот я отвечаю ему: «Об урючине не забыл. Мы посадили новую. Должна прижиться. Надеемся, весной зацветет».

Глава 27. 128 кредитов

– Как, ты не слышал о «Юра Хип»? О знаменитой рок-группе?

– Нет... Она американская?

– Английская...

Мой собеседник пожал плечами:

– Сожалею, но...

– Неужели «Июльское утро» не слышал?

– О-о, – тут он оживился. – Эту песню помню! Говоришь, английская? Теперь буду знать.

Мы сидели с ним вдвоем в аудитории, первыми пришли на занятия. Оба первокурсники, оба в джинсах, в майках. Только Джону, в отличие от меня восемнадцатилетнего, около сорока. Я этому не очень и удивлялся – Америка... Но вот то, что Джон, да и большинство парней, с которыми я уже успел познакомиться, почти совсем не знали о существовании знаменитых европейских рок-групп, меня просто поражало! Ну, иногда немного об английских. Но даже о таких прославленных, как «Абба», «Смоки», «Бони М» – ничегошеньки! И ведь не потому, что равнодушны к року. Наоборот, фаны. В Америке же рок процветает, на моем курсе его поклонников предостаточно, как и поклонников Элвиса Пресли. Совсем недавно со скорбью отмечали первую годовщину его смерти, голос Пресли звучал повсюду. Так в

чем же дело, откуда такое незнание музыки и исполнителей других стран?

Разобрался я в этом очень нескоро, когда кроме этой странности заметил, что большинство американцев вообще не очень-то интересуется тем, что происходит за пределами их страны. Может быть, потому что считают Америку центром мира, а что там делается «на краю Ойкумены» им безразлично? Вот и Джон спросил меня удивленно:

– Где же ты узнал так много о рок-музыке? Откуда приехал?

Я ответил.

– Откуда, откуда-уда? – басовито переспросил Джон.

Ни об Узбекистане, ни тем более о Ташкенте он, похоже, никогда и не слышал. А ведь мужик бывалый, воевал во Вьетнаме... Пришлось мне начать с России, с Советского Союза, а уж тогда объяснить, что на юго-востоке, недалеко от Ирана... Джон слушал внимательно, кивал. Ему было вроде бы интересно.

Постепенно собирались и другие студенты. Подошла Валерия. Теперь я её уже называл Лера, подседа к нам. Мы стали спрашивать Джона о вьетнамской войне: «У тебя был автомат? Ты стрелял? Ты многих убил?» Настал его черёд удивляться.

– Это же война... Конечно, много стрелял. Кого-то, конечно, уложил. А скольких, не знаю.

Комната наполнилась говором, смехом. Все рассказыва-

лись за столики, одноместные, такие странные, как мне поначалу казалось: с одной стороны прикреплен стул и имеется перильце, а с другой, открытой, ты усаживаешься. Впрочем, вскоре я убедился, что эти смешные столики очень удобны. Правда, списывать не удастся... К своим однокашникам, к их лицам, то желтоватым и косоглазым, то черным, то оливковым я тоже постепенно привык. И русские, точнее, евреи из Советского Союза, здесь были, а вот бухарских евреев, кроме меня, ни одного. Кстати, привыкать к нашему «интернационалу» помогало то, что одеты были почти все по-американски: майки и джинсы. В первый день занятий я появился в костюме, при галстуке и увидел, что выгляжу, как белая ворона. При таком параде были только некоторые преподаватели. Оказывается, здесь, как и у нас в Ташкенте, больше всего ценятся поношенные джинсы, потертые, выгоревшие. Любых цветов – голубые, серые, черные. Особым шиком считались дырки на коленях и штанины, обтрёпанные так, что внизу свисала бахрама. Дыры на коленях, поначалу небольшие, постепенно превращались в длинные прорезы, обрамленные по краям беловатыми нитями. Это ценилось особенно!

В комнате стало тихо – вошел учитель. Мистер Птица, как мы с Лерой его, смеясь, называли (фамилия профессора была Бёрд), преподавал нам русский язык. Уроки его посещало не больше десяти студентов, ведь выбрать можно было и итальянский, и испанский, и французский, и иврит. Почему

наш старичок Джон выбрал русский, не знаю, а ради чего на эту программу записались практически все русскоязычные студенты, было совершенно ясно.

На первом же уроке мистер Бёрд, общительный весельчак, делая переключку, стал знакомиться с нами и обнаружил, что ни один из студентов-иммигрантов из Советского Союза русского языка почти не знает... Все мы говорили кое-как, с трудом подбирая и даже коверкая слова, с ужасным акцентом. Профессор вроде бы очень удивился, хотя, думаю, прекрасно понимал, в чем дело.

– Как же так? Объясните почему? – спрашивал он у каждого из нас.

Отвечали мы примерно одно и то же.

– Я жила на Украине, – удачно изображая украинское произношение, ответила Лера. – Нас принуждали изучать украинский и говорить по-украински...

Моя тетка не терялась ни при каких обстоятельствах. Я был стеснительнее и далеко не так уверенно сообщил, что приехал из Узбекистана и говорить там приходилось преимущественно на узбекском. Гия, Марина, Майя явились из Грузии, Белоруссии, Молдавии. И понятное дело, изъяснялись на языках этих республик...

– Значит, было из-за чего бежать в Америку, – лукаво подытожил мистер Птица. – Ну что же, здесь вы, наконец, сможете свободно изучать свой родной русский язык... С самых, можно сказать, азов! – И, обратившись по-английски

ко всему классу, начал урок:

– В русском алфавите тридцать три буквы...

Вот этого все мы и хотели – начать «с азов», чтобы, не тратя ни времени, ни сил на изучение того, что мы и так знали, получить за начальный курс русского языка необходимые нам зачеты.

Не знаю, интересно ли это будет читателям (кому скучно, пусть пропустит), но тут я должен кое-что рассказать об американской системе высшего образования, сильно отличающейся от русской.

* * *

В Советском Союзе студенты учились в институте или университете пять лет, имея на каждом курсе жесткое количество предметов и одну, обязательную для всех, программу по каждой из этих дисциплин. Для тех, кто плохо подготовлен к её изучению, это мучительно. Помню, как в моем пединституте маялись ребята, которым никак не удавалось освоить, например, математический анализ. Им бы начать с более легкого подготовительного курса, но такого не было... В Америке студенты сами подбирают себе по каждому предмету программу, которая соответствует их уровню знаний. Хочешь, можешь начать с элементарного курса, но к концу обучения обязан, конечно, освоить предмет на нужном уровне. Количество предметов в американских колледжах тоже

не жесткое: есть обязательные, а есть и такие, среди которых можно выбирать. И это не только языки. Например, по компьютерным наукам (то есть по моей будущей специальности) мне, кроме обязательных предметов, предлагалось три дополнительных. Сколько из них выберешь, твое дело.

Так вот, каждый курс содержит определенную информацию, которую ты получаешь за семестр. Условные единицы этой информации называются кредитами. Одни курсы дают по 3 кредита другие – по 4 (кстати, денежная стоимость курсов в американских колледжах и университетах пропорциональна числу их кредитов). Если, заканчивая семестр, успешно сдашь зачеты по четырем таким курсам (то есть наберешь 16 кредитов), то за две сессии получаешь 32 кредита. Это дает тебе возможность окончить колледж за четыре года, потому что для получения диплома надо набрать не меньше 128 кредитов.

Надеюсь, теперь ясно, почему мы, русскоязычные студенты, все как один, оказались малограмотными и выбрали легчайшую часть программы русского языка...

Поступая в колледж, я об этих хитростях и думать не думал. Никто не объяснял мне, что такое американская система обучения. И когда перед началом занятий я, как и все студенты, отправился регистрировать свою программу, в голове у меня был полный туман. До чего же мне повезло, что рядом снова была Валерия!



– Погоди-ка... Мы, кажется, не туда попали! – сказал я, когда мы вошли в огромный спортивный зал, где происходила эта самая регистрация. Зал кишмя кишел студентами. Одни входили, другие выходили, причем со всех сторон, – в зале было несколько дверей. Студенты, задевая окружающих своими рюкзаками и сумками, поспешно пробирались куда-то сквозь толпу. Студенты сидели кучками вдоль стен или даже на самом ходу, сдвинув головы и что-то обсуждая. В руках у всех бумаги, карандаши, буклеты. Шум невероятный. Гудели голоса, гудели большущие вентиляторы, стоящие по углам в металлических сетках, но всё перекрывало какое-то стрекотание, похожее на непрерывную автоматную очередь...

– Всё в порядке! – крикнула мне Валерия в самое ухо. – Это здесь. Пошли брать карточки!

Да, это просто счастье, что рядом была Валерия! Мне было бы гораздо труднее сообразить без неё, как подобрать нужный уровень обязательных предметов, как выбрать дополнительные, как отметить на карточках цифровой код всех этих дисциплин (оказалось, что нужно зачернить определенные квадратики). Всем этим и занимались сидящие на полу. Мы тоже уселись... Лера работала за двоих: выискивала в справочнике и диктовала мне нужные коды, потом заполня-

ла свои.

– Ничего себе, набрали! – сказал я, разглядывая толстенькую стопку длинных желтоватых карточек, все курсы, которые мне хотелось бы взять на этот год.

– Не переживай, ещё неизвестно, что дадут, а что нет...

А теперь куда с ними?

Впрочем, я уже сам увидел, куда торопятся студенты с карточками в руках.

Вдоль одной из стен зала стоял длинный ряд устройств, похожих на большие пишущие машинки. Это они и стрекотали непрерывно. За каждой машиной сидел оператор. Перед ним – длинная очередь студентов. Взяв у студента пачку карточек, оператор, вкладывал их в какое-то отверстие. Машина их заглатывала, считывала информацию и подавала на компьютер. Теперь надо было снова ждать минут пятнадцать, пока компьютер обработает информацию и принтер выплюнет листок бумаги, сообщит результаты регистрации. Здесь могли быть и неприятные неожиданности. Скажем, ты записывался на какую-то дополнительную программу, а компьютер отказал тебе: класс уже заполнен... Дело в том, что первыми регистрировались студенты старших курсов и это сильно сокращало возможности выбора предметов для нас, новичков. Так, кстати, получилось и со мной.

Из зала я вышел взбудораженный. Регистрация оказалась для меня и первым уроком программирования, и первым знакомством с вычислительной техникой, которой до этого

я и в глаза не видел!

* * *

Сейчас уже и в помине нет ни машин этих, ни карточек, которые передавались на компьютер, да и тогдашние компьютеры сегодня кажутся просто мамонтами. Но как бы ни изменилась техника, основы компьютерных наук и тогда изучать было не легче, чем теперь. Особенно студенту, практически не знающему языка, на котором эти основы преподаются.

– Меня зовут миссис Чен...

Вот, пожалуй, почти все из сказанного преподавательницей, что я понял на первом уроке введения в компьютерные науки. И не только на первом.

Ужасное положение! Миссис Чен, невысокая узкоглазая женщина, стоит у доски и что-то говорит. То есть может, другим студентам, лучше знающим английский, кажется, что говорит, хотя и с сильным акцентом, а по-моему, она чирикает, булькает, шипит, проглатывает слова... Оглядываю класс – почти все что-то записывают, конспектируют. Значит, понимают. И Лера за соседним столиком пишет. Правда, увидев, что я гляжу на неё, понимающе кивает: трудно, мол... Меня охватывает паника. Что делать?

Но вот миссис Чен начинает что-то писать и чертить на доске. Тороплюсь хоть это переписать в тетрадь: может, дома

немного разберусь. По учебнику... Скорее, скорее, пока она не стерла эту схему!

В конце урока миссис Чен раздает нам листки с заданием.

– К следующей среде. Буду ставить оценку, – повторяет она. И будто нарочно произносит эти зловещие слова очень четко. Но как выполнять задание ни я, ни Лера не поняли.

Подходим к миссис Чен, спрашиваем. Она удивленно пожимает плечами.

– Купите карточки, пойдете в компьютерный центр, зададите машине программу... Ведь я же объясняла сегодня. И на доске была диаграмма... – Удивленное выражение не сходит с её лица, и она спрашивает: – Скажите, вы ходите на мой курс для приобретения специальности или просто из интереса?

* * *

Из кухни доносился звон посуды, что-то говорила мама, Эммка смеялась. Отец сидел в гостиной на диване и читал русскую газету.

– Как дела? – спросил он.

– Нормально, – буркнул я и уселся за стол, спиной к нему. Спрятаться бы сейчас, побыть одному. Но куда? У меня нет своей комнаты...

Мама выглянула из кухни и снова ушла, ни о чем меня не спросив. Мама всегда всё понимает. Я достал из рюкзака

учебник и притворился, что читаю. Но я не видел ни строчки. Ох, как мне было тоскливо и плохо! И вдруг...

Не знаю, впервые ли тогда со мной это случилось, но скорее всего так. Потому и запомнилось, как начало очень важной перемены в моем характере, в моей жизни. Что именно? Попробую рассказать, хотя передать это словами вряд ли возможно.

С детских лет я очень тяжело переносил стрессовые ситуации. Случалась серьезная неприятность, и меня охватывало такое уныние, растерянность, отчаяние, что я просто заболел. Сердце начинало колотиться до того часто и громко, что отдавало в висках, голову наполняла противная слабость. Так было и в этот раз. Мне становилось всё хуже, хуже... И тут кто-то во мне самом неожиданно произнес: «Стыдись, стыдись!»

Кто произнес? Ну, скажем, внутренний голос, точнее назвать не умею. Но откуда он взялся? Ведь я был подавлен, расстроен, не было у меня ни сил, ни мыслей. И все-таки, хотя ни мое сознание, ни моя воля в этом не участвовали, какой-то голос, что-то вроде гулкового эха в моей голове, сурово сказала мне: «Стыдись, стыдись!» И я будто очнулся. Щёки мои охватил жар, они горели, как после пощёчин. А суровые слова все звучали, звучали. Вероятно, довольно банальные слова, но не в том суть. Голос обладал властью, он мог командовать мной – вот в чём штука! Ко мне возвращались силы, сердце стало биться спокойнее, спокойнее. И в

прояснившейся моей голове появились здравые мысли. «Да что я на самом деле паникую? Другие справляются а я?»»

Я придвинул к себе учебник, достал словарь и начал, слово за словом, переводить главу Introduction to Computer Science.

Глава 28. Время первых успехов

Любое событие в своей семье переживается обычно сильнее и острее, чем те, что происходят «снаружи», в других семьях, в обществе, даже в мире, если, конечно, речь не идет о чем-либо глобально катастрофическом. И это естественно. А уж если ваша семья живет в новых условиях, в стране, пока еще чужой, где всё непривычно, всё впервые, всё дается с трудом...

Временем первых успехов стал для нашей семьи февраль 1980 года, когда я начал учиться в колледже, а мама нашла, наконец, работу по специальности.

На швейную фабрику в Бруклине привела маму новая подруга Фэйга, с которой они вместе занимались на языковых курсах Няяны. Стоило только маме проделать для пробы одну операцию на машинке, и она была зачислена швей-мотористкой, причем на «фулл тайм», на шесть рабочих дней в неделю. Что говорить – руки мастера!

– Дайте же мне спокойно поужинать! – смеется мама. Но куда там! Мы с Эммкой расспрашиваем, не останавливаясь: что за фабрика, похожа ли на Гунчу? Кто там работает? Что там шьют (это, конечно, волнует Эммку)? Знает ли уже мама, что ей придется делать и как объясняется с хозяином? Ведь он говорит по-английски.

Мама усмехается, пожимает плечами:

– Что я, в первый раз за машинку села? Чего там понимать? А когда надо спросить, то я... – и она очень смешно изображает руками, как общается с боссом... Потом изображает она и самого босса:

– Во-от такая борода... Такие пейсы... – мамины руки отмеряют длину. – Его зовут Шаер, очень религиозный... По пятницам, между прочим, фабрику закрывают рано, до захода солнца. Чтобы справлять субботу.

– Что же, там одни евреи работают?

– Ну, не сказать. Очень много поляков. Я даже удивилась, откуда столько? Говорят, временно приехали, на заработки... Цех здесь поменьше, чем был на Гунче, но светлый, операции приходится выполнять разные – и на машинке Зингер, и на оверлоке, а шьют... – мама еще толком не разобралась, но шьют, кажется, самую разную одежду для женщин: и легкие блузки, и пижамы, и брюки.

– Работы много, строчила весь день без остановки, – говорит мама, вполне этим вроде бы довольная. И задумчиво добавляет: – Попрошу-ка я хозяина, чтобы перевел меня на сдельную оплату...

Я так и вскинулся:

– Зачем? И так будешь уставать! Ты что, про дорогу забыла?

– Э-э, дорога, дорога... Так что же мне, за гроши в такую даль ездить?

Да, дорога... Вот что немного омрачало нашу радость за

маму. Правда, радость была настолько сильна, что поначалу мы относились к этому, как к мелочи. Мама снова профессионал, уважаемый работник! То есть человек, занявший определенное место в американском обществе, полноправный его член. Это ли не успех? Никогда не хвастаясь этим, мама все-таки гордилась славой швеи высокого класса, гордилась орденом. И вот теперь она снова сумеет показать себя. Держись, Америка! Могли ли мы в таком приподнятом настроении огорчаться из-за того, что фабрика находилась не в Квинсе, а в Бруклине, в Боро Парке? Если поглядеть на карту Нью-Йорка, это не так уж и далеко, Квинс и Бруклин расположены рядом. Но ехать туда приходилось на метро через Манхэттен. Огромный крюк, почти два часа езды в субботу! Да еще от нас до станции около получаса ходьбы. Возможно, конечно, ездить к метро на автобусе, остановка рядом, но мама твердо заявила:

– Никаких автобусов, это вдвое дороже.

Не помню, пытались ли мы спорить, но ведь если мама решила...

Приходила она с работы бодрая, усталости не показывала, сразу же принималась за домашние дела. Ещё молода была – 41 год, энергична, самоотверженна, в общем, такая, как всегда. Прошло совсем немного времени, и перевелась-таки на сдельную оплату. Руки мастера показали себя: стала получать в неделю, вместо 200 долларов, около 300. Ну? Что у нас за мама!

К концу февраля и мои дела в колледже пошли немного получше. Заниматься приходилось очень много и напряженно. Но это была уже осмысленная работа, а не та попытка, которой я подвергался в первые недели занятий, когда перевод любой фразы из учебника по компьютерному курсу занимал чуть ли не часы.

Каждый вечер происходило примерно одно и то же.

«Диаграмма... всецело... сходный... определяющий... изображение...». Чушь какая-то! Вроде бы каждое слово – по словарю – правильно, а смысла никакого. Попробую снова. Ведь есть в словаре и другие значения этих же слов.

«Диаграмма... показывает... всецело... сходные... данные... указывающие...»

Немного понятнее, попробую ещё раз.

Страницы учебника были сплошь исписаны карандашом. Кроме того, новые слова я выписывал в тетрадку, с транскрипцией, конечно. Многие записи повторялись, то есть не запомнив слово, я опять записывал его. Когда на какой-то раз оно всплывало в памяти, я чувствовал себя счастливым! Потом я заучивал переведенный текст, снова и снова его перечитывая.

Второй час ночи. Спать хочется ужасно. Но надо переве-

сти и понять еще два абзаца, а это еще час занятий. Надо, надо! Я почему-то просто не могу бросить работу, я должен её доделать! И вот это «я должен», произносит новый, недавно возникший во мне внутренний голос. Он не ослабевает, я уже не удивляюсь ему, я уже воспринимаю его, как нечто своё, как проявление собственной воли...

Кто знает, может быть, именно трудности и помогли ей окрепнуть?

* * *

Так вот, недели через две я стал быстрее справляться с переводами, голос миссис Чен уже не казался мне непонятным чириканьем, схемы на доске приобрели смысл. Словом, я превращался в нормального студента. Но работы по вечерам, а то и по ночам, становилось несколько не меньше.

Надо чуть-чуть передохнуть, а то голова отяжелела. И глаза болят. Я выключаю настольную лампу. Фонари на улице почему-то не горят, но февраль нынче в Нью-Йорке снежный, вокруг белым-бело. Тротуары, крыши, деревья, кусты, телефонные провода, всё облеплено снегом, озарено им. Как в дедушкином саду... И хотя обычно Нью-Йорк продувается океанским ветром, сегодня ни одна ветка не колыхнется. Небо чистое, в звездах. Серпик месяца будто подвешен к небу за верхний край, а нижним вот-вот подцепит крышу дома напротив. Как тихо и хорошо! Лишь изредка прошуршит

вдалеке машина, да зашипит под окном батарея центрального отопления. От неё тогда докатываются до меня приятные волны тепла... Но за дело, за дело – ведь уж и утро скоро!

Мне в колледж к девяти, иду минут двадцать пять, значит, спать можно почти до восьми. Но маме к восьми уже надо быть на фабрике. И в полпятого утра в спальне у родителей отчаянно трезвонит наш старый семейный красный будильник. Хотя мама тут же его выключает, будит он, конечно, всех. Обычно я сразу же снова задремываю, но сквозь дрему слышу, как мама выходит на кухню. Даже, кажется, вижу. Вот она зажгла там свет, узкой полосой он протянулся наискосок по полу гостиной до самого окна... Вот на полосе света легла мамина тень, она выглянула из кухни, чтобы проверить, не разбудила ли меня... Льется вода из крана – мама наполняет чайник... Звякнула чашка, стукнул нож... Брякает о стенки котелка кафкир, мешалка, мама ставит на газ обед... Тут я отключаюсь. На кухне совсем тихо: мама завтракает, потом одевается. Будит меня её шепот:

– Валера, вам с Эммкой обед в фольге на столе... Не забудьте!

Глухой стук входной двери. Ушла. Значит, сейчас полшестого... И я погружаюсь в сладчайшие глубины утреннего сна.

* * *

Эти снежные февральские дни, такие трудные и все же счастливые, заполненные острым ощущением новизны, крепнущих сил, радостью преодоления. Вот, пожалуй, что больше всего запомнилось из той далекой, изначальной поры нашей американской жизни.

Глава 29. «Кинг Дэвид»

В погожий июльский вечерок, пожалуй, даже слишком жаркий, то есть обычный для летнего Нью-Йорка, я сидел дома и глазел в окошко. Настроение было неважное. Казалось бы, с чего? Первый учебный год закончился успешно. Сессию я не завалил, отметки получил сносные: у мистера Бёрда пятерку (то есть А, в Америке оценки буквенные), четверку – по математике и тройку – у миссис Чен. Большого я и не ожидал. Правда, Лера меня опередила: к букве С миссис Чен прибавила ей плюс, но ведь у Леры приличный английский... Словом, с колледжем все было в порядке. К тому же каникулы, лето. Отдыхай себе после трудной осени и зимы, загорай, купайся в океане. Да мало ли развлечений в Нью-Йорке! Но я не собирался отдыхать. Хотелось, конечно, но я считал: не имею права. В Америке во время каникул нередко работают даже и студенты из обеспеченных семей, мою же семью обеспеченной назвать было трудно. Я твердо решил приносить домой какие-то деньги, а чем заниматься, мне было всё равно. Однако шли недели, а подыскать работу никак не удавалось. Потому я и грустил.

– Эй, Валера! – окликнул меня снизу знакомый голос.

У подъезда стоял Серёга, наш здешний сосед и земляк. Он тоже приехал с родителями из Ташкента. Серёга, здоровущий парень лет пятнадцати был оборотистее меня и работал

с начала школьных каникул. Недавно он стал мусорщиком в нашем жилом комплексе. Я не раз уже видел, как по вечерам он собирает выставленные за двери квартир пластиковые мешочки. Наполнив ими большой черный мешок, Сергей выносил его из подъезда. В комплексе было около тридцати подъездов. Нетрудно представить себе, сколько мешков перетаскивал Серёга за вечер. Потом он на тележке отвозил их за один из домов в большие мусорные баки. Занятие не слишком привлекательно, но я Серёге завидовал и, глядя на него, укорял себя: догадался же он пойти к Мириам узнать, нет ли работы, почему же я такой лопух?

Сергей только что выволок из нашего подъезда очередной груз. За ремень джинсов у него было заткнуто еще несколько развернутых черных мешков, драпирующих ноги наподобие длинной черной юбки, что выглядело очень живописно.

– Работу еще не нашел? – спросил Сергей, вытирая потный лоб. – Слушай-ка, тут есть одно дело... Я уже сказал, что ты зайдешь...

Оказывается, до того как стать мусорщиком, Серёга успел поработать в пекарне.

– Картошкой занимался, – объяснил он, – перетаскивал и вообще... Ну да ты сходи, сам увидишь!

Работу могли перехватить в любой момент. И на завтра, с раннего утра, я помчался в «Кинг Дэйвид» – так называлась пекарня. Находилась она на Мейн-стрит, на той же улице, на которую выходил наш комплекс, примерно в тридцати бло-

ках от нас.

Любопытная, кстати, улица, эта Мейн-стрит в Квинсе. Она хоть и «Мейн», главная, но выглядит довольно провинциально, застроена по большей части невысокими домами и даже домишками. В той стороне её, что ближе к Юнион Тёрнпайку, то есть к нашему комплексу, а также окрест, на десятках поперечных и параллельных улочек, уже и в те времена, о которых я пишу, обитало много евреев. Теперь же Мейн-стрит стала, пожалуй, самой «еврейской» частью Квинса. Здесь можно встретить представителей чуть ли ни всех еврейских субэтносов – и американских евреев, и ашкенази, прибывших из европейских стран, и таджикских евреев, и бухарских – их, мне кажется, особенно много. Здесь почти все магазины еврейские, синагог вокруг около двадцати. Прямо на Мейн-стрит выходит еврейское кладбище, огромное, тесно заставленное однообразными надгробиями. Они подступают к самому тротуару.

Но уже вскоре после кладбища Мейн-стрит резко меняет свою национальность. Сначала картина довольно пестрая: несколько арабских кварталов, несколько испаноязычных. Индия, Пакистан, Бангладеш... Чуть подалее улица становится китайской, корейской, вьетнамской – то есть превращается в наш квинсовский Чайнатаун. Не такой экзотичный, как манхэттенский, но тоже очень бойкий торговый район. Сплошные магазины, магазинчики и лавчонки, пропахшие рыбой, пряностями, фруктами, дымком ароматических па-

лочек. Все дальневосточное – и товары, и лица, и одежда, и голоса. Хотя здесь Мейн-стрит особенно многолюдна, человек с европейской внешностью не так-то часто мелькнет в потоке идущих. Без труда можно вообразить, что, сделав всего несколько шагов, ты внезапно перенёлся на другой континент...

* * *

Впрочем, я отвлекся. То, что я искал, находилось, конечно же, в еврейской части Мейн-стрит, как раз напротив кладбища. Над дверью одноэтажного домика я увидел небольшую вывеску, на которой, между пышным историческим названием «Кинг Дэйвид» и голубым «Щитом Давида», был изображен вполне будничный, хотя и аппетитный пирожок. Я шагнул за порог, и меня охватила горячая волна. На улице тоже было довольно жарко, над ней висел утренний туман, всегда предвещающий в Нью-Йорке знойный и гнетуще душный день. Но в «Кинг Дейвиде» жар был много гуще!

В первой маленькой комнате я увидел пустую витрину для готовой выпечки, за ней – стеклянный, наполненный красным и желтым соками прибор, в углу на столике красовался громоздкий старинный кассовый аппарат с круглыми клавишами на выдвинутых вперед изогнутых металлических стержнях. Из распахнутой двери, ведущей куда-то вглубь, лился густой – казалось, его можно потрогать руками – жар.

Оттуда же доносились громкие мужские голоса.

Идти дальше я не решился и крикнул: «Хелло!» Из коридорчика вышел седой дядька в длинном белом фартуке, густо заляпанном кровью. Почему-то я принял дядьку за мясника и удивился, что он делает в пекарне? Он тоже ошибся, приняв меня за покупателя, и стал было извиняться: еще рановато, выпечка будет позже. Но услышав, что я ищу работу, махнул мне рукой: «Идем». Мы нырнули в коридорчик и попали в самое пекло.

Пекарня была чуть побольше магазинчика, но, со всех сторон заставленная разными машинами и приборами, казалась еще более тесной. На большой газовой плите что-то булькало и фырчало в огромных кастрюлях. Рядом тарахтела тестомешалка. Возле стальной мясорубки грудой лежали куски мяса. Имелась и электропечь, тоже пышущая жаром... «Да, немудрено, что Серёга слинял отсюда!» – подумал я.

Посреди пекарни двое мужиков продолжали разговор, который я услышал, входя. Это были хозяева «Кинг Дейвида», Ник и Стивен. В пекарне, чтобы перекричать шум, приходилось говорить громко но старший из хозяев, Ник, не говорил, а орал. К тому же лицо у него было злое и он сразу стал мне неприятен.

– Ты от Серджио?

Он разглядывал меня, как покупку какую-то, с головы до ног.

– Работа физическая... Справишься?

Я пожал плечами и кивнул.

– Окей. Если хочешь, можешь начать сегодня. Вот фартук.

Стивен, покажи ему!

Стивен, младший компаньон, был гораздо приветливее и симпатичнее. Объясняя мне на ходу, что придется делать, он повел меня в подвал, небольшой, но, к моей радости, прохладный, с цементным полом. Здесь хранился картофель, который мне надо было перетаскивать наверх, а уже там, в пекарне, чистить и варить. Пирожки с отварной картошкой назывались книшами. Я впервые услышал это слово, у нас дома такие пирожки – их готовили и мама, и бабушка Лиза – так и назывались пирожками. Стив сказал, что в Америке книши пользуются у евреев большим спросом.

Моя норма, сообщил Стив, пятнадцать-двадцать мешков, использовать за день больше картошки пекарня не успевает. Он посоветовал мне быть осторожным на лестнице и ушел, обещав остальное объяснить потом.

Мешки с картофелем штабелями лежали на деревянном помосте. В Америке даже мешки оказались не такими, как у нас: не из мешковины, а из плотной бумаги. Посредине прорезано окошечко, затянутое сеткой. Покупатель может проверить, не обманули ли его? Я поглядел и увидел некрупную, хорошего сорта картошку с тоненькой кожурой... Но пора было начинать. Ну-ка, взяли! Что ж, вполне терпимо, килограммов пятнадцать-двадцать, не больше!

На лестнице мешок потяжелел. Лестница была без пе-

рил, довольно узкая и ужасно скрипучая, на каждой ступеньке она будто повторяла мне слова Стива: «be careful... be careful... Don't be in a hurry!». Действительно, спешить было опасно: красивый бумажный мешок оказался коварным: он прогибался на моем плече и то терся о стену, то норовил соскользнуть вниз... Сбросив первый мешок в пекарне, я с облегчением побежал в подвал «охлаждаться». Но после десятого подъема я перестал ощущать подвальную прохладу, даже когда спускался. Пот заливал мне лицо, спину, грудь.

Покончив с двадцатым мешком, я направился было к Стиву за указаниями, но меня перехватил Ник:

– Эй, парень, потаскай-ка еще... На завтра!

Видно, он сомневался, вернусь ли я завтра в это пекло. Я хотел было сказать, что устал и поднесу мешки попозже, но решил не связываться. К тому же и побуду еще немного в холодке. Присев на деревянный помост, я прислонился спиной к прохладным мешкам и тут вспомнился мне другой подвал, в далеком Ташкенте, в Старом Дворе: Робик строил баню, я подвозил ему кирпичи на самокате и, устав, спрятался в подвале. «Эксплуататор!» – злился я на дядьку, который уже искал меня: «Валера, куда пропал? Где кирпичи?» Эх, что я тогда понимал, какой же Робик был эксплуататор! Вот Ник – это да... И, ругнувшись, я взвалил на плечо двадцать первый мешок.

Выручил меня Стив.

– Хватит, парень, не ходи больше вниз. У тебя и тут дел

полно.

Мешки я сваливал у какого-то прибора, стоящего на пластмассовых ящиках. Оказалось, что это электрическая картофелечистка и на ней мне теперь предстояло поработать.

– Наполняешь ведро картошкой и высыпаешь её во-от сюда... – Ловким движением, как спортсмен штангу, Стив выжал ведро к плечу, и картошка с грохотом посыпалась в котел, стенки и дно которого были похожи на сито с острыми, как ножики, гранями. – А теперь... – Стив нажал кнопку, машина загудела, забрумкала, котел завертелся, в него со всех сторон полилась вода, закрутился, бешено подпрыгивая, картофель, обдираясь о грани-ножи. Хватило двух минут, чтобы очистилась вся порция картошки, лишь на некоторых желтовато-белых колобках оставались темные вмятинки.

Мы со Стивом наблюдали эту картину, стоя на помосте и заглядывая в котел.

– Ух ты, здорово! Можно теперь я?

– погоди, – сказал Стив, – тут не все еще в порядке.

Нагнувшись, он засунул руку в котел и вытащил из груды картошки небольшой светлый камушек.

– Видал? Не вытащишь – попадет в пирожок...

– Как вы увидели?

– Услышал, – засмеялся Стив. – Они же стучат!

Ну и ну, подумал я, как можно услышать стук камушка в

таком шуме? Я-то не сумею нипочем.

Стив похлопал меня по плечу:

– Не робей, привыкнешь. Теперь сам, окей?

Так я стал машинистом. Поначалу мне было очень интересно управлять своей «чистилкой», как я её называл, менять скорость вращения, заглядывать в котел, смотреть, как под струями воды подпрыгивает, белея и обравниваясь, картошка. Управившись с очередной порцией, я поворачивал рычаг. Раздвигалось боковое сито, и картофель по жёлобу выкатывался в ведро. Я пересыпал его в большой бак. Как только бак наполнится, объяснил мне Стив, я должен оттащить его к плите и на какое-то время превратиться в повара, если так можно назвать человека, который отваривает картофель... В этой пекарне мне предстояло исполнять целых три роли! Впрочем, это было бы даже забавно, если бы не проклятушая жара, духота да еще и грохот. Правда, до обеда я так был погружен в освоение новых ремёсел, так боялся сделать какую-нибудь ошибку, что эти неприятности не очень-то доходили до моего сознания. Но устал я чертовски! А тут ещё Ник, старший хозяин, то и дело хмуро поглядывал в мою сторону – прилежно ли я работаю. Раз-другой он сердито крикнул мне, чтобы шевелился побыстрее... Чего он хочет, думал я с обидой. Ведь у меня норма, за неё мне и платят. И я, кажется, никого не задерживаю!

– Вот поэтому отсюда и уходят парни вроде тебя, Ник всех достает. И Стиву, партнеру, с ним нелегко. Как разговор, сразу крик, ругня...

Мы с Наумом, седовласым рабочим в окровавленном переднике, сидим вдвоем в «предбаннике» – магазинчике (тут все же не так жарко) и обедаем закусываем пирожками с мясом, запивая их прохладным соком. Это Наум меня угощает. Он, оказывается, наш, с Украины, из Киева. В Америке уже пять лет, и почти все эти годы работает в «Кинг Дейвиде». Месит тесто, нарубает мясо, крутит фарш. Шесть дней в неделю и не меньше, чем по десять часов в день! Услышав это, я даже головой потряс: как он выдерживает такое? Наум грустно улыбается:

– Я в Киеве тоже работал в пекарне, привык. И куда я, Валера, еще подамся? Мне уже за пятьдесят, в Америке, знаешь, в этом возрасте за работу приходится держаться двумя руками... А на Ника мне плевать. И ты наплюй! Он, знаешь, сейчас особенно нервный, потому что лето, застой, заказов мало.

«Кинг Дейвид», оказывается, получал основные заказы, обслуживая еврейские свадьбы, дни рождения, бар-мицвы и другие семейные торжества. А летом большинство заказчиков на даче, лето – мертвый сезон, время отпусков.

– Бизнес вести не так просто, – вздохнул Наум.

Ну и что, подумал я, разве это оправдание для хамства? Небось все они такие, эксплуататоры... Все, кто чувствуют себя хозяевами! В Советском Союзе при «развернутом социализме» их было полно, но и в Америке при «развернутом капитализме», видать, не лучше.

Полчаса отдыха пролетели как одна минута. Духота в пекарне показалась теперь невыносимой. Утром хоть чуть-чуть поддувало сквознячком сквозь открытые двери из заднего двора и магазинчика, а сейчас и на улице было девяносто. Три огромных кастрюли – две с картофелем, одна с мясом – хлопотали на газовой плите, как три котла, в которых черти поджаривают в аду грешников. Над кастрюлями поднималось плотное облако, достававшее до потолка. Казалось, сейчас вся пекарня утонет в пару, насыщенном запахом еды. Сначала они вызывали аппетит, а теперь – тошноту.

Я снял и рубашку, и майку. Слава богу, на мне были шорты, но к ним прилипал длинный и грязный фартук, теперь уже влажный от пота, я то и дело вытирал им лицо. Сейчас и вытирать бесполезно: я стою у плиты и, окутанный горячим паром, вытаскиваю из кастрюли готовую картошку. Сразу ведь не отойдешь, надо чтобы вода из дуршлага вытекла, а уж потом (скорее, скорее!) сбросить картофель в пустую кастрюлю, она рядом с плитой, на полу... Да еще постараться при этом не ошпарить себе ноги горячей водой из дуршлага... Ух! Вынырнув из облака, я волочу кастрюлю к Науму –

он растирает картошку для книшей, и ставлю на плиту другую. Всё, порядок! Можно снова заняться чисткой. Это дело поспокойнее, если б не проклятые камни. Сначала-то их попадалось совсем немного, а сейчас полным-полно, будто их насыпали в мешки нарочно для веса. Что ж, думал я, ведь и мы на хлопке кое-что засовывали в мешки... Видно, и здесь есть свои «студенты!»

Теперь приходилось высыпать картошку из мешка понемногу, чтобы, покопавшись в ведре, вытащить хоть часть камней. Но как я ни старался, все равно, включив машину, различал противный, знакомый уже стук. Надо было останавливать «чистилку» и вынимать эту дрянь из котла, копаясь в мокрой картошке...

Кажется, всё. Я разгибаю спину. «Б-р-р-р» загудела моя машина, влившись в общий хор. Не слишком-то музыкальный, зато громкий: Наум работает и на мясорубке, и на тестомешалке.

– Наум, давай тесто, фарш готов!

Это Стив. Он подтаскивает к столу кастрюлю фарша из вареного мяса, уже смешанного с луком и специями. Наум раскатывает тесто, забавно стучаясь при этом животом о край стола. Но работает он быстро и красиво, я невольно вспоминаю, как раскатывала тесто мама... Взад-вперед, взад-вперед... Раз-два, три-четыре... Нож так мелькает, что его и не видно, тесто нарезано сначала лентами, потом аккуратными прямоугольничками. Не зевает и Стив. Стоя с дру-

гой стороны стола, он раскладывает по прямоугольничкам фарш. «Где ж его ложка?» – удивился я. Но Стив обходится без ложки. Зачерпнув из кастрюли полную жменью фарша, он безымянным пальцем выталкивает на каждый кусочек теста нужную порцию. Одну и ту же, безукоризненно точно.

Красивая работа всегда артистична. Наум и Стив своей слаженностью, четкостью движений напоминают мне двух хирургов в операционной. Когда надо, они работают вместе, когда надо, порознь, переходя «от больного к больному». Сейчас оба они заканчивают операцию – заворачивают фарш в прямоугольнички теста, делают шовчики, и стол с волшебной быстротой покрывается пирожками. С такой же быстротой они исчезают со стола: переложив их на металлические противни, «хирурги» на специальной тележке подкатывают пирожки к печке. На этом их роль и заканчивается: у печки священнодействует Ник, Николас.

Да, он – главный пекарь, и надо признаться, его работой я тоже любовался, когда у меня появлялась свободная минутка. Открыв тряпицей дверцу печки, Ник вкидывает в её пышущее жаром нутро противни с пирожками. Одну... Другую... Третью... Четвертую... Делает он это с необычайной ловкостью, подхватывая противни специальной деревянной лопатой и захлопывает дверцу, вспотевший, красный как рак. У Ника – усы. Он дует на них, выпятив губы, и делается таким комичным, что я перестаю на него сердиться. В эти минуты Ник напоминает мне героя ужасно смешного кино-

фильма с участием Никулина: герой этот делал точно такое же движение, когда у него отклеивался фальшивый ус.

Ник целыми днями колдует у плиты. Как только пирожки поспевают (не упустить эту минуту тоже его забота) наступает время книшей. Сейчас оно подходит.

– Валэри, картошки!

Стив с Наумом лепят книши, у них скоро закончится картофельная начинка. И я со всех ног бросаюсь к дымящейся кастрюле.

– Валэри! Быстрее! – рычит мне вслед проклятуший Ник (я снова его ненавижу).

«Валэри» – так звучит мое имя здесь, в Америке. Называя меня так, кое-кто посмеивается: и в произношении, и в написании это имя схоже с женским, даже окончание одно и то же. Мне неприятно, но не менять же имя. Приходится терпеть.

* * *

Время тянулось нескончаемо долго. Потеряв ему счет, я метался от машины к плите и обратно, перетаскивал кастрюли, нырял в облако пара, ругался шепотом, услышав стук камушков, помогал относить лотки с горячими книшами в магазин для продажи (добрый Наум угостил меня книшом, но от усталости я не почувствовал его вкуса). Наконец, почищен и отварен последний мешок картошки. Я могу ухо-

дить. «Всё! – подумал я. – Вытерпел, дождался!» – И непослушными руками принялся развязывать свой фартук.

– Эй, Валэри! Кому это оставил? Погляди...

Ник, стоя за моей спиной, указывал пальцем куда-то вниз, под плиту. Меня почему-то особенно оскорбил не грубый окрик и даже не «перст указующий», а то, что Ник в это же время энергично ковырял в носу. Под плиту, действительно, закатилось несколько картофелин, я выронил их, забрасывая в кастрюлю. Закатились они довольно глубоко, непонятно даже, как Ник разглядел. Пришлось лечь на брюхо, ни палки, ни веника не нашлось, и хорошо, что только на несколько секунд: жар здесь был такой, что еще мгновенье и я сам стал бы пирожком. Мои картофелины оказались лишь скромной добавкой к тому, что валялось под плитой. Чего тут только не было: почерневшие, скрюченные, высохшие кусочки лука, мяса, картофеля. Под плитой никто не подметал уже много дней.

Подбирая эту гадость, я услышал, как Ник бурчит:

– Набросал... Будь аккуратнее! Мышей нам тут не хватало!

Опомнися! – подумал я. – Небось, мыши здесь стаями по ночам пируют.

* * *

Домой я подоспел как раз к ужину. Я умылся и подсел к

столу с улыбкой, как у нас говорилось, «шесть на девять», чтобы выглядеть не усталым и удручённым, а, наоборот, вполне довольным. В самом деле, я принес сегодня домой свой первый заработок: двадцать пять долларов наличными! Я дал себе слово остаться в пекарне до конца каникул, так к чему же огорчать родных?

Слушая, как ловко я управляюсь в пекарне и как, мол, все просто, отец сиял. Ему только это и хотелось услышать. Ведь любые мои успехи – это его заслуга. Почему? Да просто потому, что он всегда казался себе кормчим нашего семейного корабля.

Зато мама притронулась к моей руке и спросила:

– А это что? Ожог? Погоди, сейчас достану мазь... – И, роясь среди баночек с лекарствами, печально вздохнула: – Поискал бы ты работу полегче!

В пекарне я отработал три недели, до самого начала занятий. Я и раньше был прилежным студентом, но после «Кинг Дейвида» стал еще прилежнее.

Глава 30. Попытка к бегству

Что ощущают дети, когда их обнимают родители? Что ощущают родители, когда их обнимают дети?

Мне знакомо и то и другое.

Придешь, бывало, поздно вечером домой, переполненный впечатлениями дня, своими собственными – не семейными, не домашними – впечатлениями, а мама, открыв дверь, засмеётся так счастливо, будто год тебя не видела, прильнет к тебе, обхватит руками шею и, покачиваясь из стороны в сторону, начнет шептать что-то на ухо. Я хорошо знаю, что она шепчет. «Худо дода» – это благодарность Всевышнему за то, что он создал такого ребенка, подарил ей его... Что бы я отдал сейчас за то, чтобы снова услышать этот шепот, хоть на мгновенье ощутить тонкий аромат маминых волос, почувствовать её голову на своем плече! Это сейчас. А тогда я, девятнадцатилетний балбес, считавший себя взрослым, уже немного стеснялся маминых объятий. «Ну, ма-а-ма... Маленький я, что ли?»

И вот теперь, давно уже став взрослым, возвращаюсь я по вечерам с работы домой. Возвращаюсь усталый, нередко раздраженный, с порога начинаю ворчать: «Опять не пройти! Ботинки, сумки... Ногу можно сломать!» Но тут же возникает передо мной Даниэл, мой пятнадцатилетний сын, сияя улыбкой во всё лицо.

– Папочка, здравствуйте! Как прошёл день? Можно я вас обниму?

Вопрос, не требующий ответа: не успеваю я глазом моргнуть, как оказываюсь в объятиях Даниэля. Выгляжу я при этом как заяц в объятиях медведя: Даниэль – здоровущий, высокий парень, к тому же борец. Расцеловавшись, Даниэль бережно опускает меня на пол. «Осторожней, чуть кости не поломал», – ворчу я для порядка, но душа моя согрета, и усталость куда-то подевалась, и в родном доме светло, тепло, уютно.

Обнимал ли я когда-нибудь вот так своего отца? А он меня? Нет, такого не бывало... Разве что на день рождения или когда я чем-нибудь его особенно порадую, поздравит, пожмет руку, обнимет, может, поцелует в лоб. Словом, по-мужски. Но, может, по-мужски это вовсе и не плохо (кстати, с маленькой Эммкой и вообще с маленькими детьми отец бывал очень нежным и ласковым). Плохо то, что отношения у нас слишком уж часто портились. Сядешь, скажем, за стол, и вместо того чтобы расслабиться, напряжённо ждешь: к чему сейчас отец придерётся?

Какое-то время после приезда в Америку он вроде бы стал не таким раздражительным. Был деятелен, заботился о нас как мог, много сил потратил на то, чтобы «пристроить» меня. И ведь действительно, помогла его «охота на родственников», хоть мы и смеялись над этим!

Понемногу, шаг за шагом, всё стало налаживаться. Квар-

тира... Мамина работа... Мой колледж... Казалось, и отношения должны бы окончательно исправиться. Но этого-то как раз и не случилось.

Я вообще не знаю, что должно произойти, чтобы изменился характер взрослого, сложившегося человека. Теперь-то я на себе испытал, какая огромная душевная работа нужна, когда чувствуешь, что с нервами не в порядке и хочешь с собой справиться. Может быть, для отца такая работа была непосильна, может, это вообще не приходило ему в голову. К тому же мысли его были заняты совсем другим...

Да, всё стало налаживаться у нас с Эммой, у мамы, но не у отца. Он по-прежнему оставался учеником сапожника и не зарабатывал ни цента. Это он-то – учитель физкультуры, тренер по баскетболу, уважаемый, известный в Чирчике человек! О том, чтобы стать преподавателем или тренером здесь, в Америке, и мечтать было смешно: язык, возраст... Кстати, отец всё же пытался. Писал резюме, в одном из еврейских центров их бесплатно переводили. Но сколько своих предложений ни рассылал отец по школам, по детским садам, ему даже не отвечали.

Всё чаще и чаще звучало в доме: «Кем я был, кем я стал?» Словом, если мама и мы, дети, успешно строили в Америке новую жизнь, то отец потерпел крушение. И он страдал.

Понимал ли я это? Вероятно, до какой-то степени. Я жалел отца, я очень старался терпеливо переносить его вспышки и придирки. Когда мама после очередной ссоры, накри-

чавшись, выбегала в кухню и плакала «я больше не могу, не могу!», я даже пытался быть миротворцем: «Он больной... Он просто вспыльчивый... Мама, давай, помирись...» И мама, вовлеченная в перебранку, посмотрев на меня, спохватывалась и старалась не отвечать отцу очень уж резко.

Да, мне, вероятно, хотелось, чтобы семья оставалась семьей. И это, может быть, не меньше, чем власть традиций, сдерживало растущее мамино стремление порвать, наконец, неудавшийся брак.

* * *

Взрыв произошел поздней осенью 80-го. Сидели мы с Эммкой вечером в гостиной, смотрели какую-то передачу. Из спальни вышел отец. Буркнул: «Мешаете заниматься». Выключил телевизор и удалился... Мы с Эммкой переглянулись. Ну, сказал бы по-человечески, по-доброму, «ребята, сделайте потише», или: «мне очень трудно заниматься, выключите, пожалуйста», так нет, не может! А раз так... Мы снова включили телевизор, сильно уменьшив звук. Отец словно ждал этого, он тут же выбежал из спальни и начал кричать на нас. Я вскочил и тоже начал что-то орать. Дальше – больше, отец ударил меня... Но не хочу я вспоминать эту безобразную сцену! Впрочем, я и не помню её подробностей. Очевидно, есть у памяти такое защитное устройство: она вытесняет, стирает то, что когда-то ранило душу.

На другой же день мы с мамой стали заговорщиками. «Больше терпеть нельзя, – сказала она. – Этот человек никогда не изменится, надо разъезжаться. Попробуем всё сделать тихо, без скандала». И мы составили план действий. Осуществлять его пришлось мне, ведь мама целый день была на работе. Но я в тот момент был так озлоблен, что готов был горы свернуть, лишь бы оказаться подальше от папочки. Правда, очень уж далеко уехать мы никак не могли, не осилили бы этого. И отправился я к нашей суперше Мариам. Так, мол, и так, помогите подыскать квартиру. «Почему? Ведь у вас же ещё арендный договор не окончился!» – «Ну, хотим квартиру побольше...» – «А-а... – тут Мариам потянулась к ящичку с ключами. – Слушай-ка, вам повезло, как раз есть такая... А с кем пойдешь смотреть? С отцом?»

Узнав, что без отца, да и вообще удивившись, что явился к ней я, а не папа, Мариам что-то заподозрила и, как женщина любопытная, атаковала меня вопросами. Пришлось объяснить, что мы разъезжаемся, и даже попросить, чтобы Мариам ничего не говорила отцу.

Вот так тайком, украдкой мы с мамой и осмотрели в соседнем корпусе квартиру (она оказалась больше нашей, с двумя спальнями и просторной кухней) и заключили новый арендный договор. Самым неприятным было то, что на это оформление потребовалось довольно много времени, и всё это время нужно было жить вместе, храня нашу тайну.

Притворяться, лгать вообще отвратительно. Есть люди,

которые лгут с легкостью, но маме это было до того уж несвойственно... Я думаю, перенести это испытание, притворяться спокойной, простившей мужу, вдобавок ко всему прочему, недавнюю безобразную ссору ей помогло вот что: чувство неприязни к мужу дошло до полного отчуждения.

* * *

Сбежали мы в субботу. Мама была дома, а отец до вечера ушёл к Мирону. В ту же самую минуту, как он вышел утром из подъезда, мы кинулись собирать вещи. Мама немедленно вызвала Марию Мушееву с сыновьями (верная подруга была посвящена в тайну), но ещё до их прихода мы втроем сделали несколько рейсов с мешками и чемоданами с нашего третьего этажа на третий этаж соседнего корпуса. Мы с Эдиком притащили из магазина пустые коробки и большие полиэтиленовые мешки. Вещи в них швыряли как попало... Гремели кастрюли на кухне. Еще сильнее гремела мамина тяжелая швейная машинка, когда мы волокли её из корпуса в корпус по цементной дорожке. Из окон выглядывали заинтригованные соседи. Удивление их было понятно, мы переезжали так, будто в доме происходил пожар. Часам к трем дня мы управились и пошли наводить порядок в нашем старом жилище. Отцу была оставлена часть мебели в гостиной, кровать в спальне, одежда, бельё, посуда.

...Веселье, которое охватило маму после переезда, я бы

назвал истерическим, иначе говоря – результатом стресса. Шоковая эйфория – такое есть определение в психиатрии. С мамой и было что-то подобное. Столько лет не решалась, колебалась, откладывала, и вот – произошло! Она свободна! «Пусть теперь сидит один и думает, на кого бы накинуться!» – повторяла она со смехом. Мы вообще вели себя как дети. Главное было сделано, и казалось, что всё остальное – легко. Почему-то не приходило в голову, что отец тут же узнает, куда мы девались, что нам ещё предстоит немало тяжёлого.

Первые несколько дней всё было тихо. Как-то под вечер, возвращаясь домой, я проходил мимо бывшего нашего корпуса и услышал: «Валера!» Из окна выглядывал отец.

– Как дела? – спросил он спокойным и даже добрым голосом. Я поднял вверх большой палец.

– Может, зайдёшь?

Я помотал головой и пошел дальше... Сердце сильно билось, но я говорил себе: «Не буду с ним мириться, не буду. А то снова всё начнется».

Почти сразу и началось. Позвонила тетя Мария.

– Эся, у нас Амнун был. Плачет, просит помирить. Тоскует, говорит... Что делать?

– Мария, и вы ему верите? Слёзы его ничего не стоят, ничего! Гоните этого притворщика! – возбуждённо кричала мама и принималась смеяться: – Пла-а-чет... Нет, вы только подумайте!

Но отец продолжал осаждать Мушеевых. Я не думаю, что он притворялся. Скорее всего, он действительно считал, что сможет, если его простят, вести себя в семье спокойно и по-доброму. Не в первый раз он раскаивался и давал такие обещания, но сейчас был по-настоящему напуган... Так или иначе, на это попался и поверил отцу младший брат тёти Марии – Рафик. Образованный, неглупый человек, он пользовался в семье большим авторитетом. Мама тоже ему доверяла. Рафик зачастил к нам.

– Эся-апа, на этот раз он действительно понял... Вы только подумайте, никого в стране, кроме вас... Какое одиночество! Он же любит, и вас любит, и детей. Детей лишать отца, как можно?

Этот упрек был особенно тяжёл для мамы, как для каждой любящей матери. Но ведь она к тому же была азиатской женщиной и, несмотря на кажущуюся решимость, на радость освобождения, уход от мужа воспринимался ею, как поступок дурной, необычный, даже безнравственный. Ведь даже близкие друзья убеждают: «Как можно детей лишать отца?»

Бедная мама! Она мучалась, колебалась, слабела от страха навредить нам, под грузом собственных предрассудков, под давлением друзей. Волю человека, когда ему кажется, что все против него, легче сломать.

Но что же я всё о маме? Ведь и со мной вскоре после побега стало происходить что-то, чего я не ожидал. Рядом с чувством свободы появилось какое-то напряжение. «А вдруг

я прошу отца?» – так бы я это состояние обозначил. Я не хотел его прощать, так откуда же взялось это «А вдруг»?

Ссоры у нас бывали разные, но если отец обижал, а иногда даже бил маму, тут уж я терял власть над собой, я ненавидел его так остро, что будь у меня в руках пистолет... Да, да, я воображал такое, я был на грани безумия! Но шли дни, и гнев утихал. Скажет отец раз-другой что-нибудь по-человечески, по-доброму, посоветуется или попросит помочь... Словом, как-то всё происходило незаметно, само собой. Любовь к отцу, казалось бы, уже вытоптанная им, оживала. Она была сильнее обиды и боли.

На этот раз, когда отца не было рядом, всё тянулось дольше. Я не хотел его прощать, но что-то в душе ныло. Я боролся с собой. Я подавлял в себе чувство жалости и даже вины – бросили его одного, нам теперь хорошо, а ему-то как? Как я ни противился, чувства эти всё росли, росли...

* * *

И мы сдались. Дней через десять произошла встреча-примирение. Парламентер Рафик привёл отца. Когда мы увидели его, такого жалкого, похудевшего, потерянного – ну, у меня так даже в глазах защипало. Поглядел на сестричку, и она закусила губу, моргает ресничками... А мама? Мама глядела на нас. Глядела печально.

Я не раз потом пытался яснее понять, что было главной

причиной, заставившей маму отступить, спрашивал у неё об этом. Но даже много лет спустя она отвечала мне: «Я же видела, что вы его жалеете. Как же я могла думать только о себе?»»

* * *

«Воссоединение» свершилось. Стоило оно нам дорого: обещаний своих отец, конечно, не выполнил. Все десять лет, что прожили мы после этого под одной крышей, покой семьи зависел от отцовского настроения. Продолжались нелепые ссоры, скандалы непонятно из-за чего, отношения то улучшались, то висели на волоске, то становились невыносимыми и...

* * *

Но об этом потом. А сейчас... Сейчас, собравшись в прихожей, семья фотографируется. Как же не запечатлеть такие радостные события: папа снова с нами, мы помирились. В новой квартире просторно, появилась красивая мебель. Правда, с улицы, кем-то выброшенная, но очень удачные попались вещицы. Например, трюмо в деревянной резной раме – возле него сейчас и стоят родители с Эммой. Нарядные, улыбающиеся.

– Прямее головы, смотрите на меня!

Фотограф, конечно, я. Кроме прочих причин для съемки (мы собираемся послать снимки в Ташкент), у меня есть свой, особый повод: новый фотоаппарат. Не какая-нибудь «Смена-15», а «Канон», отличный аппарат, современный, со всякими приспособлениями, дающими много возможностей.

– Ещё раз! Встаньте-ка теперь вот так...

Я счастлив. Всё меня радует: фотоаппарат, квартира, улыбающиеся лица родителей. Как хорошо! Как легко на душе, когда в семье мир и согласие!

Глава 31. Белые кимоно

– Напрягите животы... Сильнее, крепче!

Нас человек двадцать, мы лежим животами вверх на полу тренировочного зала. Лежим вплотную, прикасаясь друг к другу плечами. Руки и ноги вытянуты вдоль туловища, головы и носки ног приподняты. Это, как объяснил сенсей, помогает напрягать пресс.

– Готовы?

Я лежу в середине ряда и, скосив глаза, вижу, как сенсей шагает по животам лежащих справа ребят. Он переступает босыми ногами медленно-медленно, словно прогуливается... Все ближе ко мне, ближе... Вот уже дошел до соседа, Эдика Мушеева – у-ух, как Эдик сразу покраснел, напрягся, страдальчески зажмурился! Но мне уже не до наблюдений: пятка сенсея коснулась моего живота, вдавилась в него... Глубже, глубже... О-о-о, сейчас он меня раздавит! Вот и вся ступня там... И другая... Ну и тяжесть! Мой живот провалился вниз, прилип к позвоночнику! В ушах звенит, сейчас я заору...

– ...прекрасно укрепляет пресс, – слышу я невозмутимый голос сенсея как раз в ту секунду, когда тело мое освобождается от невыносимого груза. Живот, как ни странно, цел...

Не успеваю я прийти в себя, сенсей начинает следующий заход. Сколько же будет продолжаться эта прогулочка?

Сенсей по-японски – учитель. Так мы называем Алекса Стёрнберга, владельца и руководителя школы каратэ, в которой я сейчас нахожусь.

Теперь смешно вспоминать, как я удивился, узнав, что руководитель одной из школ каратэ в Нью-Йорке еврей по фамилии Стёрнберг. Как-то не вязалось это с моим представлением о евреях. Ну, в Израиле, в своей стране, евреям пришлось стать боевым народом, там враги рядом. Но в Америке... На улицах-то я их чаще видел в черных шляпах и лапсердаках, а то и с пейсами. Мало я тогда знал об Америке и об американских евреях! Кстати, именно Алекс Стёрнберг – один из тех, кто помог мне на этот счёт просветиться.

Алексу около тридцати пяти. Этот еврей, рыжеватый и кудрявый, с бородкой, чуть заметно обрамляющей подбородок, выглядит настоящим атлетом – восемьдесят килограммов стальных мышц, на которых, кажется, нет ни грамма жира. Он отличный спортсмен: получил первый приз на популярных в Израиле Маккавейских играх, готовил сборную США к международным соревнованиям по каратэ. В школе Стёрнберга работают несколько инструкторов, но преподает и он. Для нас, новичков, это большое везенье: сегодня наш первый урок, и его ведет сам Стёрнберг.

«Силён!» – подумал я, увидев Алекса в первый раз. Се-

годня я это ощутил на себе. «Каратэ» в переводе с японского означает «пустая рука», в том смысле, что это борьба без оружия. Но когда Алекс начал демонстрировать нам приёмы ударов по груди, когда его «пустой кулак» был еще только на пути ко мне... Говорят, что кролик цепенеет перед удавом и не может оторвать от него взгляда. Вот так и я не мог отвести глаз от этого кулака. Он был величиной с пивную кружку и почти круглый: верхние фаланги пальцев обросли мышцами, суставы – мозолями... «Пробьет насквозь!» – мелькнула нелепая, паническая мысль. Но кулак лишь коснулся моей груди...

О кулаках сенсея я думал в этот день много раз. Я понял, каким упорством и терпением надо обладать, чтобы они стали таким могучим орудием.

– На ладонках отжимаются от пола только девушки, – пошутил сенсей, увидев, какую позицию приняли почти все мы, когда он предложил нам сделать это упражнение. – Смотрите на меня...

Он опустился на пол, опираясь на прямые руки, сжатые в кулаки, тело его, от кончиков пальцев прямых ног, лежащих одна поверх другой, до макушки головы, было вытянуто, как стрела, и начал медленно, сгибая руки в локтях, склоняться... Вот его белое кимоно на уровне груди и плеч прикоснулось к полу, и он уже поднимается, так же медленно и так же легко.

Нет, это не было похоже на те отжимы (оказывается, де-

вичьи), которые мы делали на уроках физкультуры в школе или в институте! Это было удивительно красиво, впрочем, как и всё, что делал сенсей. Но когда мы начали повторять... О, бедные мои кулаки, как же больно было каждому суставчику! «Распухнут... Треснут... Я больше не могу», – думал я уже после пятого отжима. А сенсей все отжимался, отжимался...

Вот так, объясняя и тут же показывая, делая вместе с нами все упражнения, он занимался с группой полтора часа. А были у него в тот день и другие ученики.

На стене зала, где мы занимаемся, два флага: американский и японский. Каратэ ведь возникло и развилось в Японии, а распространилось, можно сказать, по всему миру. Стил, которому нас здесь обучают, называется «Шокотан». Его эмблема – вышитая красным голова тигра с оскаленной пастью – на груди наших белых кимоно. И у сенсея на груди такая же. Да он и сам похож на тигра: мягкая, бесшумная поступь, пронзительный взгляд... Впрочем, с учениками, в том числе и с нами, новичками, сенсей безупречно вежлив, «тигриного рычания» мы не слышим. Но рассказывали, что если надо, Стёрнберг становится совсем другим.

Однажды, например, прогуливался он с другом по Нью-Йорку. Вдруг видят: возле здания ООН группа парней раздаёт какие-то листовки. Оказалось – антисемитские, призывающие к разрыву с Израилем. Друзья попытались с этими ребятами по-хорошему поговорить, образумить. В ответ услы-

шали грубую ругань, угрозы. Тогда перешли к другим доводам: набили хулиганам морды, а листовки разорвали.

Я эту историю потом часто вспоминал, взглянув на белое кимоно сенсея, где кроме тигра на груди еще две эмблемы на рукавах: флаги Израиля и Америки.

* * *

... – Умение правильно стоять во время боя – это основа основ!

Алекс расставил ноги по диагонали: одна впереди, другая позади. Чуть согнул колени с упором на переднюю ногу, осанка прямая, руки на бедрах.

– Примите позицию.

Мы принимаем. То есть нам так кажется... Неслышная поступь босых ног: сенсей поправляет одного, другого... Вот он уже возле меня. Зачем-то нагнулся, рассматривает снизу...

– Семьдесят процентов тяжести на передней ноге, носок повернут внутрь, поправь осанку! Я попытался, но, очевидно, не смог: плавным, но молниеносно быстрым движением Алекс подсек мою переднюю ногу. Я оказался на полу.

– Не научишься стоять, не сможешь вести бой, – коротко сказал он, помогая мне подняться.



Японская борьба каратэ... Японское слово «сенсей», от которого почему-то замирает сердце... Рыжий атлет с тигриной поступью... Белое кимоно... Еще недавно я и мечтать не мог о том, что в мою жизнь войдет такая экзотика. Я вообще имел о каратэ очень смутное представление: в Советском Союзе эта японская борьба какое-то время даже находилась под запретом. Почему? Вероятно, идиотский страх, что вместе с древним чужеземным искусством самозащиты в страну проникнет опасный чужеземный дух. Изгонялось не только каратэ. Мне рассказывала моя приятельница-москвичка, как уже в восьмидесятые годы она начала заниматься китайской гимнастикой, входящей в систему ушу. Группу организовал молодой спортсмен-энтузиаст. Занятия он вел бесплатно. Так как и ушу, и любая китайская гимнастика были запрещены, слова эти на занятиях не упоминалось. Тренер немного изменял упражнения, стараясь придать им более «европейский» вид. Не помогло: кто-то донес, нагрянула комиссия, и группу разогнали...

В Америке всё, конечно, было по-другому. Возможностей у меня появилось великое множество, самых неожиданных, и я медленно, шаг за шагом, учился пользоваться хоть какими-то из них. Первым «окном в мир» был, конечно, телевизор – кинофильмы, спортивные встречи. Тут-то мы с братья-

ми Мушеевыми и обратили внимание на каратэ. Стали поговаривать, не начать ли заниматься? А где? Надо бы узнать... Делу помог мой новый знакомый по имени Виктор.

* * *

Жил Витя по соседству, в нашем же комплексе. Он свободно говорил на английском: семья Вайнбергов уже несколько лет как эмигрировала из Закарпатья. Семья была с трагическим прошлым: мать Виктора пережила ужасы Дахау. Она еще тогда девочкой была. Ей повезло, выжила, а её родные погибли...

Но всё это я узнал много позже. А с Витей мы как-то удивительно быстро подружились. Возможно, причиной тому был его характер, общительный и открытый. Виктор был Талантливым Рассказчиком и покорял этим сразу (не зря же я написал эти слова с большой буквы). Что бы ни рассказывал Виктор, всё было интересно, полно красочных деталей, которые так естественно, достоверно и доверительно звучали, что не поверить было невозможно. Однако же Витькины рассказы нередко были самой настоящей брехней. Великий был фантазер! А доверительно и по-дружески разговаривал он с кем угодно, но дружил далеко не со всеми... Впрочем, со мной-то Викторино (так я его прозвал) подружился по-настоящему. Его умение трепаться так меня забавляло и смешило, что я даже придумал ему еще одну кличку

ку – The Mouth of the South, то есть Трепач с Юга. Между тем именно этот Витькин дар вскоре выручил нас из большой беды.

* * *

– Махнём на Сорок вторую? В кино. Там о каратэ фильмы...

Витька всегда предлагал что-нибудь интересное. Я с восторгом согласился.

В отличие от Викторино, я знал Манхэттен довольно плохо. Вроде бы часто там бывал. Приехав в Нью-Йорк, мы с родителями то и дело посещали Наяну, но видели лишь крохотный кусочек Острова Небоскребов. Нам было не до экскурсий – ни времени, ни настроения. Может быть, не хватало чувства свободы, раскованности, широкого интереса к миру... Этого в нас не воспитывали, круг интересов был, скажу прямо, узковат. Мы не посещали музеев, выставок, концертных залов, не интересовались архитектурой. Бруклин, Квинс, заселённые иммигрантами, вскоре стали для нас привычными. А Манхэттен оставался почти другим городом. Но 42-ю улицу, куда мы сейчас направлялись с Викторино, я по случайности знал: там, неподалеку от перекрестка с Седьмой Авеню, находились Наяновские английские курсы, я их посещал около шести недель.

До сих пор для меня загадка: почему именно там решили

обучать английскому языку бедных, затурканных, растерянных, погруженных в нелегкие заботы еврейских иммигрантов? Может, чтобы намекнуть им, сколько радостей их ждет в Америке? Ведь в те времена название «Сорок вторая» расшифровывалось однозначно: «улица сексуальных развлечений». По 42-й, начиная с Шестой Авеню и чуть ли не до Девятой, располагались клубы стриптиза, заведения, где через окошечко показывали зрителям, сидящим в кабинках, натуральные сеансы любви (rip-show), киношки, где крутили только порнофильмы, магазинчики и киоски, продающие порнографические книжонки и картинки, наркотики, оружие, приспособления для изощренных способов секса... Разве только публичных домов не имелось на 42-й – запрещены были. Но проституток и без них хватало. Они стояли и бродили, кучками и поодиночке, тоненькие и толстухи, хорошенькие и уродливые, все с ярким макияжем, шныряли среди людского моря стайками хищных рыбок и куда-то скрывались, подхватив добычу...

Поездки на 42-ю имели для меня особую прелесть. Атмосфера секса, которая, как густой туман, окутывала улицу, возбуждала, дразнила, вызывала острое любопытство. Признаюсь в этом без всякого стыда. Я голову даю на отсечение, что любой из советских иммигрантов мужского пола, кроме, разве что дряхлых стариков, хоть раз побывал на 42-й и воспользовался каким-нибудь из её соблазнов!

Кинотеатрик, к которому мы с Викторино держим путь, обходится без порнофильмов, здесь показывают только фильмы о каратэ. Сегодня, в воскресенье, на 42-й толчея. Это не будничный поток усталых служащих, спешащих после работы по домам. Это зеваки, искатели развлечений и острых ощущений. Никуда они не торопятся. Их привлекают яркие витрины магазинчиков, заманчивые рекламы. Есть рекламы электрические: контуры голенькой девицы, то красные, то зеленые, вспыхивают и гаснут над входом в заведение. Есть ходячие: на груди и на спине у зазывалы – большие яркие плакаты. Чуть ли не у каждой дверей вам бесцеремонно навязывают рекламы. Ко мне в руки уже попало несколько: обнаженные девицы в эротических позах, рядом – перечисление предстоящих блаженств.

Мне кажется, что к нам с Викторино зазывалы кидаются особенно часто и что виноват в этом мой друг. Уж больно странно и вызывающе он сегодня оделся: шелковая, очень яркая «гавайка», шляпа с широкими полями типа сомбреро. И в придачу темные очки...

– Чего вырядился? – спросил я, когда мы повстречались возле дома. – Ты кто – мексиканец? Мафиози?

Мой друг хихикнул:

– I am a cool dude...

Мне стало ужасно смешно. Я уже знал, конечно, что словечко cool в современном английском означает примерно то же, что в русском «клёвый». Но мне казалось, что дословный перевод этого cool dude – «Я беззастенчивый (нахальный) пижон» больше подходит к ярко разодетому Викторино. У него даже походка изменилась: он повиливал задом, припадал то на одну, то на другую ногу, подёргивал плечами. Развеселившись, я стал подражать другу, но не очень-то получалось. К тому же меня то и дело оттирали от Викторино: народу на 42-й всё прибывало. И как-то всё заметнее становилось, сколько здесь всякой шпаны. Там бомж спит возле лавчонки, а рядом с ним бутылка в жёлтом бумажном пакете. Тут проститутки хохочут громко и визгливо. Здесь стоят, покуривая, парни подозрительного вида, и ветер разносит по улице дымок с запашком: наркотик...

Пробираясь в толпе, я отстал и только догнал Викторино, как парень, идущий навстречу, сильно толкнул его плечом. Тут разыгралась сценка, которую мне до конца жизни не забыть...

Виктор шагнул было дальше, но задира окликнул его. Виктор небрежно повернул голову, не снимая темных очков, чего, мол, тебе надо? Мы оба остановились, парень оказался между нами. Ох, как он мне не нравился! Смуглый, невысокий, но мощные бицепсы выпирают из-под тонкой рубашки. С таким лучше дела не иметь... А парень махнул рукой, и не успели мы опомниться, как оказались в тесном кругу. Ше-

стеро здоровенных обалдуев оттеснили нас к стене.

– Ты кто такой? – резко спросил незнакомец. А я в душе ругнул своего друга: «дурак, разрядился, как попугай, вот тебе и соол, вот и влипли»...

Но Виктор, сняв очки, подвесил их на рубашку, чуть усмехнулся и очень спокойно сказал:

– Вопросы буду задавать я... Кто **ты** такой, а?

Я похолодел. Зачем он нарывается? Надо бы мирно, мирно... Один из парней уже держит кастет, другой опустил руку за пазуху... Да они все с оружием! Что делать? Может, крикнуть, ведь вокруг полно народа... Но все идут мимо с такими безразличными лицами, никто, наверно, не откликнется... Нам будет ещё хуже...

– Я – Джоржио... Здесь моя территория. Ты что, не знаешь?

К моему удивлению, задира ответил более мягко, чем начал.

– Вот как? Ну и дела! Почему же я о тебе ничего не слышал? – Виктор обернулся ко мне. – Вал, что я тебе говорил, а? Чёртов Нунзио, это всё его тайны и секреты... Ну, погоди, сегодня вечером разберёмся.

– Что за Нунзио? Какие секреты? – Нервно спросил Джорджио. Ясно было, что он «проглотил крючок», растерян, и теперь не знает, как поступать с нами. Его приятели удивлённо переглядывались.

Виктор откинул голову назад и расхохотался так, что чуть

сомбреро не свалилось.

– Шутишь? Не знаешь, кто теперь у нас с тобой босс на Сорок второй?.. Ну, да ладно, шути! Что же, Джорджио, будем считать, что мы знакомы.

От такой наглости я просто весь сжался: «ох, вот уж сейчас точно ударит!» Но я опять ошибся: Джорджио уже попал под обаяние «Трепача с Юга». Уже поверил ему.

– А тебя-то как зовут? – спросил он.

– Викторино, – приветливо ответил The Mouth of the South, наконец-то сказав правду. – Если хочешь, приходи к восьми на угол Шестой, познакомлю тебя с Нунзио, окей?

Он снова напялил свои очки, поднял руку, изобразив пальцами букву V.

– Адиос, амигос! – И прошел через расступившийся круг, ни разу не оглянувшись.

Это прощание по-испански было, так сказать, последним мазком гениального художника на законченной картине. Я был потрясен. Я наконец-то оценил своего друга по достоинству.

* * *

После этого приключения фильм о каратэ доставил нам особое наслаждение. Что поделать, бойцом я стать не сумел, но радость победы ощущал так же сильно, как Виктор. А может, больше? Мне ведь было страшнее...

С этого дня мы и стали ходить на фильмы о каратистах и вскоре превратились в болельщиков. Но эта роль всё же была пассивной, она не могла удовлетворить нас. И мы разыскали школу на Квинс Бульваре...

* * *

Первое занятие подошло к концу. Мы выстроились в линейку. Теперь оставалось только поклониться сенсею – знак уважения и благодарности. Но сенсей почему-то медлил с прощанием. Он стоял, внимательно глядя на нас своими тигриными глазами из-под рыжих бровей. А вид у нас был... За полтора часа все мы вымотались, дышали тяжело, да и стояли-то уже с трудом. Я, например, просто не выдержал, согнулся, упёрся руками в колени.

Наконец, сенсей заговорил.

– Если вы думаете, что научитесь здесь выполнять трюки для кино, то вы пришли сюда зря. Летать по воздуху я вас не научу. Учиться вам придется другим вещам, нужным, важным, но другим. Тренировки будут нелегки... Кажется, вы уже поняли это. Поглядите друг на друга, запомните лица. Через год от этой группы останется не больше пяти человек.

«Через год? – подумал я. – Да мне и месяца не выдержать! Зря я сюда пришел».

Сенсей говорил правду. И о полётах, и о пяти учениках, которые останутся в группе через год.

Мы с Виктором Вайнбергом оказались в числе пяти.

Глава 32. «I can not believe it!»

Я ворвался в аудиторию с разгона – почти опаздывал – и остановился у двери, услышав эти слова:

– I can not believe this!

Миссис Линч, преподавательница английского, произнесла это плачущим, но в то же время взволнованно-торжественным голосом и почему-то уткнувшись лицом в носовой платок. Что случилось? Чему она не может поверить? В аудитории полное молчание. Лица у ребят удивленные. Обычно наша миссис Линч такая спокойная, сдержанная. Худенькая, коротко стриженная, в очках – настоящая американка. Немолодая, но очень приятная... Что же стряслось?

Стараясь не шуметь, я двинулся к своему столику. Тут миссис Линч подняла лицо, вовсе не печальное, а скорее радостно взволнованное.

– А, Валэри, вот и ты... Садись... И вы садитесь, – сказала она ещё кому-то, кто входил. – Все здесь? Окей... У меня для вас очень хорошие новости.

Миссис Линч взяла со стола какой-то листок и подошла поближе к нам.

– Во-первых, с моим последним тестом справилась вся группа. Вы освоили мой курс. Я каждому смогла повысить уровень...

Радостный гул. Кто-то кричит: wow! Миссис Линч подни-

мает руку.

– Тихо! Ещё не всё! Вот результаты факультативного теста. Двум студентам удалось достигнуть уровня «01», проскочив, таким образом, все промежуточные. Я потрясена! Это впервые в моей практике...

Голос её снова дрогнул. Она шагнула еще ближе и поглядела... На меня? Да, конечно: миссис Линч глядела на меня, улыбаясь во всё лицо... Перевела глаза еще на кого-то... Опять на меня...

– Марк и Валэри, Валэри и Марк! Поздравляю вас!

...

Описав эту сценку (я до сих пор чувствую себя счастливым, вспоминая её), я, хочешь не хочешь, должен сделать кое-какие пояснения.

Наша группа, хотя мы уже перешли на второй курс, все ещё осваивала, ступенька за ступенькой, азы английского. Ступеньки обозначались цифрами: 001, 002 и так далее. Пределом наших мечтаний, вершиной, был уровень 01, который считался приличным для второго курса. Но до этой «вершины» нам было шагать и шагать... У меня, например, в начале осеннего семестра было 002. Очевидно, и в других группах дела обстояли довольно плачевно. И вот грянул гром. Нам объявили: тех, кто в предмете «Английский, как второй язык» не достигнет к зимнему семестру уровня 01, лишат права заниматься какими-либо другими дисциплинами. Только английский! Четыре раза в неделю по три часа

В день...

Да, это был удар ниже пояса. Так считали многие студенты-иммигранты, которым из-за этого предстояло учиться в колледже намного дольше, чем они предполагали.

* * *

– Мозги, что ли, у них поехали? Сколько же лет я здесь должен балдеть, а? До старости, что ли? Идиоты!

Парня, который возмущался так громко, что его слышал весь кафетерий, звали Гия. Он сидел с приятелями за столиком, резался в карты и одновременно обсуждал новость.

– Английский-шманглийский... Жили неплохо без него и... Эх, была не была, вот тебе король!

Гия, симпатичный невысокий паренёк из Грузии, насколько мне было известно, никакими знаниями себя и до этого не обременял. В колледже был уже год, а набрал ли хоть сколько-то кредитов, не знаю. Наверяд ли... Всё это ему было до фени. Родители платили колледжу денежки, а Гия действительно балдел, посиживая преимущественно в уютном кафетерии, где приятно пахнет кофе и постукивают игральные автоматы... Многие любят потусоваться здесь в перерыве или после занятий, как мы когда-то в парке Кирова. Рассаживаются обычно «землячествами» – китайцы, индусы, испанцы, звучит столько разных наречий, что голова кругом идет... Забавно! Впрочем, мы с Лерой в кафетерии не заси-

живались. У нас для этого просто времени не оставалось.

Что касается грозного постановления, нам с моей энергичной приятельницей все же удалось выпросить разрешение в департаменте и зарегистрироваться на русский и математику. Кредиты, значит, мы свои набирали, учились всерьез. Но у меня со временем было туго не только по этой причине. После четырех, как только заканчивался мой учебный день, я забегал домой переодеться и спешил работу.

* * *

Произошло это еще в сентябре, почти случайно. Я, конечно, не прочь был подрабатывать, лишь бы не в адской жаре пекарни. Да и найти работу было совсем не легко: в начале 80-х Америка переживала очередной кризис – безработица, инфляция.

– Посмотри, Валера, на прошлой неделе это было дешево! – огорчалась мама чуть ли не каждый раз, когда мы приходили в супермаркет, обычно в ближайший к нам Key Food. Сегодня речь шла о сливочном масле, подорожавшем на 10 центов, завтра – о куриных ножках или о помидорах. Наберешь продукты на неделю, глядишь, долларов на 5–6 вылетело больше, чем до этого. А купили-то даже меньше... Да, совсем не мешало бы мне подрабатывать! Но как?

И вот случайная встреча в том же супермаркете. Вертя в руках слегка увядший кочан капусты, мама ворчала: когда

же, мол, подвезут посвежее? И вдруг кто-то по-русски отозвался:

– Завтра с утра.

Так мы познакомились с пожилым поляком, который прожил в Америке уже лет тридцать и давно работал в этом супермаркете. При желании можно было назвать его охранником, но Сал свою должность определял проще и выразительнее: «стою на шухере». Словом, он расхаживал по магазину и присматривал, чтобы покупатели не воровали. Думаю, что все постоянные воришки без труда догадывались, приближается к ним Сал или нет: он ходил в куртке из болоньи, которая ужасно шуршала.

С помощью Сала я и поступил в магазин. Работа нашлась в отделе овощей и фруктов, моим начальником стал приятный молодой итальянец Майкл. И наставлял он меня не как начальник, а как друг:

– Самое главное – не стой без дела! У боссов по четыре глаза, они за всеми следят.

Но бездельничать было просто некогда. Многоярусные полки с нашими продуктами, оборудованные холодильными установками, начинались слева у самого входа и длинными рядами уходили вглубь. То есть овощи и фрукты прежде всего бросались в глаза входящим в магазин. Значит, требовалось, чтобы они привлекали покупателей разнообразием и красотой, свежестью и живописным расположением. Создать и поддерживать дизайн, вот какая у нас была задача.

Майкл очень гордился этим.

– Ты их всё время перебирай... Что подгнило, повяло, выглядит плохо, откладывай. Это уценивается. И учишься раскладывать красиво, понимаешь? Строй, изображай...

Мы перекладываем яблоки. Сняли их с полки, положили в специальный ящик на тележке, протерли тряпочкой фольгу на полке. Теперь снова укладываем на место. Всё это проще простого, казалось мне. Через пять минут я уже так не думал.

– Гляди на меня, вот основание...

Основание – это ряд яблок у бордюра полки. Каждое яблоко Майкл успеваешь повертеть в руке – так ювелир осматривает драгоценный камень. Р-раз!.. Лучше не положишь, видна самая яркая щёчка. Сделав основание, он начинает сооружать горку. Аккуратно выкладывает следующий ряд. «В промежутки кладем, в промежутки, – бормочет он. – Чтобы не заслонять...» Положит рядок, откинется назад – действительно, каждое яблоко сверкает, как самоцвет. А горка так хороша, что я с огорчением говорю:

– Ведь подойдут сейчас, похватают, развалят всю красоту!

– А мы с тобой на что? Подправим, починим! – смеется

Майкл.

Таких горок десятки. У нас пять сортов яблок, различных по цвету, размеру и, разумеется, по качеству, по цене. Надо расположить их так, чтобы цвета «играли», контрастировали, использовать с толком размеры. Есть и коммерческие соображения: новый товар (и это относится не только к яб-

локам) мы выкладываем позади, подальше от покупателей. Пусть сначала разбирают то, что хранилось дольше.

Справившись с апельсинами, грушами, грейпфрутами. Наступает черед овощей. Майкл – архитектор, строитель, он и из овощей умеет создавать композиции. Это не натюрморты, Майкл не может комбинировать разные овощи и добавлять к ним, скажем, бутылки с яркими соками или жареных кур из отдела деликатесов, но все равно у него глаз художника. Будь у Майкла побольше времени, думаю я, он, наверно, постарался бы так же нарядно разложить на самых нижних полках картофель, лук, всякую там тыкву. Но внизу почти весь товар в сетках и мешках. Да и некогда, руки не доходят.

Учит Майкл очень просто: «смотри, вот как надо». И этого совершенно достаточно, потому что, глядя на Майкла, невольно заражаешься... Чем? Уж не знаю, как сказать точнее. Его поглощенностью работой? Его артистизмом в этом деле, на первый взгляд совсем простом? Вряд ли у меня тогда были такие мысли, это теперь они пришли. Но мне было интересно, и я очень огорчился, когда через час Майкл сказал, что его смена окончилась: ведь он-то работает с восьми утра. Прощаясь, он еще раз перечислил мне главные «заповеди» («горки поправляй... Не забывай добавлять...» и т. п.), и, уже уходя, спохватился:

– Да, забыл предупредить. Есть тут у нас Большой Джон. Всегда придирается к новичкам. Не обращай внимания.

И накликал-таки Майкл. Не успел он уйти, как в конце

нашего ряда появилась высоченная фигура в белом халате.

– Хай, ты кто?

Тон был такой, будто я в его магазине ворую фрукты. Но я помнил совет Майкла. Мирно назвал свое имя, сказал, что теперь здесь работаю.

– Парень, а имя, как у девчонки!

Тут я не выдержал и отбил удар:

– Обычная ошибка тех, кто не ходил в школу... – Верзила явно меня не понял и пришлось вежливо объяснить: – Моё имя пишется иначе, чем у девочек. Другое окончание.

– Повесь табличку на шею! – хохотнул Большой Джон. – Да ты откуда? Из Раши, что ли?

Я кивнул.

Русский... Да еще кусачий! Ну, ладно, будем знакомы. – Он протянул мне огромную лапу. – Я Большой Джон.

Очевидно, я выдержал испытание, придирки окончились. Прислонившись к выступу полки, Большой Джон сообщил мне, что заведует здесь всеми работниками. Это было наивное, совершенно ребяческое хвастовство – работал Большой Джон простым расфасовщиком. Но очень уж ему хотелось быть лицом уважаемым! Потому он и к новичкам придирился, хотя был человеком беззлобным. Впрочем, его и вправду уважали, но не за должность, а за трудолюбие, правдивость, силу.

Любил Джон и потрепаться. Во-первых, он сообщил мне, что после смены охотно послушает, как живется в России.

Во-вторых, после нашего знакомства ко мне то и дело стали подходить ребята и девочки в белых халатах – кассиры, расфасовщики, укладчики, все, у кого выдавалась минутка-другая. Большой Джон сделал меня популярным, и это было приятно. Правда, владельцы магазина, поляки Сэм и Дэвид, кажется, заметили это паломничество и кое-кому сделали замечание...

Вершины успеха я достиг вечером. Я уже готовился уходить и завязывал большой мешок с мусором, когда подошла ко мне, кажется, уже третий раз за смену Тиша, очень хорошенькая белокурая кассирша.

– Ты не очень торопишься? Можешь проводить меня домой?

Проводить?... Еще бы! Я был счастлив. До Тишиного дома было ходьбы около получаса, но я готов был идти на другой конец Нью-Йорка. По причине смущения и плохого английского я оказался не очень-то разговорчив, но Тиша задавала бесконечное множество вопросов и вынуждала меня отвечать. Я путал слова, начинал все заново, переспрашивал. Я то и дело извинялся: «Forgive my English... I am sorry, my English is poor...», а Тиша звонко смеялась и успокаивала меня.

На другой день весь магазин знал о том, что я удостоился чести провожать домой самую красивую девушку из Key Food. Но если бы только это!

– Меня она ни разу не просила проводить её домой! – воз-

мущался Большой Джон. Впрочем, он тут же похлопал меня по плечу: – Молодец!

– Молодец? Болван он, вот кто! – хохотал Лео, один из расфасовщиков. – Нет, вы слышали, всю дорогу обсуждал с ней проблемы английского языка! Поверь, Валэри, такие проблемы надо обсуждать не с девушками!

– Особенно по вечерам, в темноте!

Теперь хохотали все, кто оказался в это время в служебном помещении нашего отдела.

– Эй, ребята, придется организовать для него курсы! Первый урок: что в Америке говорят хорошеньким девушкам, когда провожают их домой!

Я, смущаясь, отбрыкивался, еще не понимая, каким важным станет для меня этот разговор.

С этого дня, шутливо напоминая о важности «проблемы английского», особенно для успехов с девушками, мои новые товарищи, кто как мог и кто когда мог, стали помогать мне осваивать язык. Не будь этого случая, может, стеснялись бы поправлять, не обращали бы внимания. И правда ведь, почему этих ребят, так мало знавших меня, должно было волновать, что я коверкаю одни слова, не знаю других, не умею правильно построить фразу? Но случай помог сдружиться, и стало волновать.

Английским я занимался (не считая Италии) уже год. Что-то уже знал, конечно, запоминал, осваивал. Но только сейчас, в магазине, оказавшись среди этих славных англогово-

рящих ребят, я понял, насколько лучше учить язык не по учебнику, а вот так, когда ты брошен в реку живой разговорной речи, барахтаешься в ней, машешь руками и ногами... То есть ворочаешь мозгами и языком, судорожно вспоминаешь, запоминаешь, переспрашиваешь, когда над тобой подшучивают, посмеиваются, но толкают, толкают вперед!

Я пошел подработать деньги, а заработал гораздо больше.

* * *

Уроки начинались, как только я приходил на смену. Первый час, пока Майкл еще был на работе, в роли профессора обычно выступал он, преподавая одновременно и торговое дело, и язык. Скажем, работаем мы с ним в подсобке – это помещение, куда поступают продукты перед тем, как попасть в торговый зал. Здесь стоят разные машинки для упаковки (я не уставал ими восхищаться). Майкл учит меня, как пользоваться машинками.

– Not so fast, Val, – говорит он. – Hold your hand like... – И слова начинают сыпаться так быстро, что я перестаю понимать. Хорошо, если догадываюсь. Но Майкл терпелив, повторяет снова и снова.

Сейчас я обертываю целлофаном небольшие тарелочки с виноградом.

– Pull! – говорит Майкл. То есть мне надо потянуть плёночку вперед, на тарелочку. Но я вместо этого отталкиваю

тарелочку. Я все время путаю эти чёртовы push и pull!

– Don't push! Pull! – Повторяет Майкл.

Сходство между словами часто меня подводит.

– Go get a dolly, – распоряжается Большой Джон. Он занят распаковкой новой партии овощей. Я поражён – какую ещё куклу? Зачем Джону кукла? Увидев, что я растерян, Джон начинает двигать руками, повторяя слово dolly. И до меня, наконец, доходит: нужна погрузочная тележка. Тут уж не только сходство, это одно и то же слово, имеющее кучу разных значений. А сколько таких слов в английском языке! Меня это удручало больше, чем неправильные глаголы: их хоть можно выучить.

То и дело появляются в подсобке и другие «учителя». Кому-то Майкл понадобился, кто-то – за фруктами или другим товаром, а кто и просто так: покурить, вымыть руки. И тут же, конечно, начинается трёп. Идет обмен шутками, остроумиями, серьёзных разговоров никто не заводит. Это замечательно, мои «уроки» проходят очень весело, я и не замечаю, что учусь. Меня беззлобно подкалывают, спрашивают, кого ещё охмурил, дают советы...

В подсобке хорошо, у нас почти всегда звучит музыка, приемник настроен, конечно, на рок-волну. Сейчас мой любимый «Пинк Флойд» исполняет «Деньги». Майкл, продолжая работать, даже пританцовывает и подпевает. Мне тоже песня нравится, я понимаю почти всё, кроме нескольких слов. Вот Bullshit, например – что это такое?

Майкл хохочет. Вместо того, чтобы ответить, он устраивает представление: пригибается, делает пальцами рога над головой, начинает реветь, как бык, и тут же выразительно показывает, как кое-что падает из задницы. Смешно ужасно! Вместе с нами смеется – он зашёл в разгар представления – и мистер Хёрб, пожилой менеджер.

– Хочешь побыстрее выучиться по-английски? – спрашивает он. – Нет, нет, тебе нужен не рок!

Мистер Хёрб подходит к приемнику, крутит колесико настройки. Не знаю, что он собирался найти, но в какой-то момент раздаётся чудесный голос.

– О! Фрэнк Синатра! Вот его почаще слушай. Нет ничего прекраснее! «Strangers in the night exchanging glances»...

И, смешно выпятив живот, мистер Хёрб начинает пританцовывать...

Из всех моих новых друзей один только Сал, тот самый пожилой поляк, который помог мне получить работу в магазине, не годился на роль учителя. Сал знал английский не многим лучше, чем я, хоть и прожил в Америке почти три десятилетия. Изъяснялся он на каком-то сленге, без всякого представления о грамматике, чудовищно ломая слова. Почему так получилось, не знаю, мне неловко было его расспрашивать... Правда, и Сал иногда пытался говорить со мной по-английски, но понимать его я научился не сразу: у него, кроме произношения, и дикция была ужасная.

Вот разыскивает он меня возле овощных полок и произ-

носит нечто нечленораздельное, быстро и шепеляво: «Валэ-ри-ю-гота-сэм-сай-пут-мор-аппл-э-вэгетал-фрещ»...

Ни слова не понимаю! Прошу повторить. Сал повторяет, шмыгая носом и постукивая подошвой по полу. Такая у него привычка, а это еще больше сбивает с толку. Я только собираюсь попросить: «Сал, скажи лучше по-русски», как за спиной раздается хохот. Это к нам подошел Джон, моя палочка-выручалочка. Он, оказывается, слышал скороговорку Сала, и всё отлично понял: Сэм, один из хозяев, просит разложить на полках свежие овощи и фрукты. Джон повторяет мне это медленно и членораздельно, а чтобы урок не прошел даром, просит: «Repeat!»

Я повторяю и бегу в подсобку...

* * *

«Не могу поверить! Впервые в моей практике!» – поражаюсь миссис Линч.

А я так и не признался ей, что кроме неё появилось у меня по меньшей мере еще десять учителей.

Глава 33. Семейный доктор

– Итщ-фоу довоу... Итщ-фоу довоу!

Наклонившись надо мной, мама натирает мне грудь тигровой мазью и бормочет по-бухарски что-то вроде заклинания: «Надеюсь на твое быстрое выздоровление, на очень быстрое!» Может быть, чтобы усилить значение этих слов, мама трет меня всё быстрее и сильнее. Это приятно: грудь горит, внутри уже нет раздражающего похрипывания, мне легче дышать.

Я болен. Простужен или даже гриппую. Многие ребята ходят в колледж, не обращая внимания на такие мелкие неприятности, в аудитории всегда кто-нибудь чихает, сморкается, кашляет. Я тоже, может, ходил бы, да не могу: мамой на это наложен жесткий запрет. При первых признаках моей или Эммкиной простуды (а мама их засекает тут же) она сообщает: «Ты заболел (заболела), сейчас будем лечиться... Завтра останешься дома». Возражать бесполезно. Можно, конечно, просто не послушаться, удрать, но... Жалко огорчать маму.

Да, именно маму. Дело в том, что когда кто-то из нас двоих болеет, мама страдает и душой, и телом гораздо тяжелее, чем мы. Её сопереживание намного острее обычного материнского страха и сострадания. Когда я однажды удрал, простудившись, и вернулся с высокой температурой, с ней такое было... Словом, я сдался. К тому же если во время болезни

мама становится твоим единственным доктором, как же её не слушаться?

Пишу это без всякой иронии. Хотя мы и приехали из страны, где медицина была бесплатной, мама и в Ташкенте, и в Чирчике обычно сама нас лечила, обращаясь к врачам лишь в тяжёлых случаях. А для простых, привычных недугов у неё, как и у большинства азиатских женщин (впрочем, как и у женщин всего мира) имелись собственные методы лечения, свои рецепты, свой домашний арсенал. И таблетки из аптеки, и лекарства травяные, древние, которыми пользовались тысячелетия.

В Америке же мама оказалась нашим единственным доктором, в прямом смысле слова – просто в силу обстоятельств. Лечение у американских медиков было нам не по карману.

Вероятно, это известно всем: квартплата и медицинская страховка – самые большие расходы любой американской семьи. Медицинских страховок в Америке великое множество, и очень дорогих, и подешевле, есть и бесплатные. Поэтому каждая дает те или иные возможности, оплачивая одни и не оплачивая другие виды медицинских услуг – госпитализацию, операции, тесты, визиты к врачу, лекарства.

Пять первых месяцев, пока нас опекала Няяна, мы имели бесплатную медицинскую страховку Medicaid, очень распространённую среди старых людей и бедняков. Лишившись её, мы оказались лицом к лицу с болезнями без всякой за-

щиты современной медицины. Ни у мамы на работе, ни у меня в колледже или у Эммы в школе страховок не давали. Об отце уж и не говорю. Счастье еще, что астма его отступила и приступов не было! Мы не могли бы заплатить даже за консультацию врача, не говорю уж о курсе лечения.

Кстати, недавно я прочитал, что в Америке, население которой составляет 178 миллионов человек, 43 миллиона, то есть почти четвертая часть американцев, не имеют никаких медицинских страховок. Это теперь, в 2003 году. Думаю, что в 1981-м, о котором я пишу, дело обстояло не лучше.

Я не собираюсь критиковать американскую систему социального обеспечения, наоборот, я считаю, что Америка для бедных делает очень много. И все же есть в этой системе слабые места, которые, оставляя в безвыходном положении людей честных, работающих, позволяют процветать лодырям и жуликам.

Вот типичный пример. Семья иммигрантов живет пять месяцев на средства Няяны. Заканчивается этот срок, никто из членов семьи и не думает искать работу. То есть якобы ищут, но... Не получается! На самом же деле кто-то в семье работает, но тайно, у каких-нибудь родственников или знакомых, а деньги получает наличными. Нет чеков, нет и следов заработка... Так вот, такая семья «безработных» формально имеет право на широкую поддержку и получает всё: Medicare, Food stamps, то есть деньги на питание...

Есть множество других способов обжуливать государство.

Их очень быстро усвоили иммигранты. Пользоваться такими возможностями многие не считали и не считают зазорным.

Мама получала свою зарплату чеками, поэтому сразу стало известно, что она работает, и Няяна досрочно лишила нас своей помощи. Может быть, если бы маму кто-нибудь надумил договориться, чтобы ей платили наличными, мы тоже не отказались бы от возможности пожить за счет доброго Дяди Сэма? Не знаю... Впрочем, думаю, что мама не захотела бы. Не в её характере это было. В ней очень сильна была независимость, даже гордость трудящегося человека, привыкшего полагаться на свои силы, а не на благотворительность.

Однажды случилась беда: хозяин швейной фабрики столкнулся с какими-то трудностями и закрыл свое предприятие. Маме пришлось превращаться в «безработную на пособии». Я ходил вместе с ней оформлять документы, мы стояли в длинных очередях, заполняли стопки приложений, ожидали приема у чиновников... Мама выглядела несчастной и подавленной. Она тихонько бормотала: «Ненавижу! Не хочу! Бюрократия похуже советской!». А когда мы, наконец, «покинули эту тюрьму», как она выразилась, и немножко прошлись по свежему воздуху, мама вдруг остановилась, всплеснула руками и сказала:

– Заметил, сколько там молодых? Почему они так спокойны? Какой позор просить деньги! Какое унижение! Нет, что бы ни случилось, я больше сюда не пойду! Уж лучше любая

работа, любая!

К счастью, пособием пришлось пользоваться совсем недолго: через три недели мамина фабрика снова открылась.

Мама готова была трудиться и вдвое больше, если бы в сутках было вдвое больше часов. Но заработать на страховки она при всем желании не могла, и несколько лет мы прожили в Америке, не зная, что будет, если на кого-нибудь из нас обрушится тяжелая болезнь или произойдет несчастный случай. А с привычными болезнями справлялась мама, наш домашний доктор.

* * *

Я почувствовал, что заболеваю, еще в пятницу, когда был в колледже. Вечером мне стало хуже, но мама пришла с работы очень уж усталая и потеряла бдительность. В субботу с утра ей все стало ясно: я кашлял, хрипел, чихал.

Мы с Эммкой делали уроки в гостиной за столом, отец у окна читал свое любимое «Новое русское слово» и время от времени, поглядывая на меня через плечо, иронически изрекал: «ходи, ходи раздетым!». Мама, уже расстроенная и встревоженная, то подносила мне какой-нибудь целебный отвар или горячий чай, то прикладывала руку к моему лбу. Ближе к вечеру она произнесла свое знаменитое: «ну, всё, ты болен, сейчас начинаем лечиться», – и дом немедленно превратился в госпиталь. Эммке было велено постелить мою

постель, а мне приказано: «марш в ванную!».

Первая лечебная процедура называлась «парить ноги, пока не проберёт насквозь». Ведь простуда, утверждали врачи еще в древние времена, результат переохладения. И лечить её следует методом «от противного», то есть согреть, согреть, согреть. Мама была убежденным сторонником этого метода. В ванне стояло большое алюминиевое ведро (помню, как скрипела его ручка, если ведро покачивать), привезенное в Америку именно как медицинское оборудование. «Мало ли что может случиться, – говорила мама, когда мы перед отъездом укладывали вещи, – а вдруг кто-нибудь сразу заболеет... Пусть ведро будет под рукой!» Сейчас в это ведро с грохотом лилась вода из крана, такая горячая, что вся ванная комната наполнилась паром. Пока я переодевался (мама принесла моё нижнее бельё, тоже прибывшее с нами голубые кальсоны и майку с длинными рукавами) в ведро с кипятком насыпана была горчица. Размешав желтую дымящуюся воду, мама почему-то кинула в ведро еще и пару горчичников...

– Давай...

Влезаю в ванну, усаживаюсь на стул, подворачиваю кальсоны (всё очень медленно, чтобы вода хоть немного остыла), осторожно приближаю ступню к ведру... Ох! Вода нестерпимо горячая! Я отдергиваю ногу.

– Давай, давай! Не ошпаришься, я же пробовала! Ну, скорей же! Раз... Два... Три!

Под эти бодрые возгласы я со стоном и скрежетом зубовым окунаю ноги в кипяток... Ух! Желто-белый слой горчицы поднимается всё выше? мне кажется, что это от него идет жар, что икры охвачены кольцом огня.

– Ну, видишь? Ничего страшного...

Уходить из ванной комнаты мама не намерена: она подзревает, что, оставшись один, я подолью в ведро холодной воды. К тому же у неё легче на душе, когда она как бы участвует в лечении.

– Обопрись ступней о горчичник, прижми его, – командует мама.

Прижимаю. Уже не так горячо, зато ноги теперь зудят и вроде бы пухнут. Даже ступне стало тесно на узком дне ведра.

– Остыла... Подбавим-ка горячей... Нет, нет, мало! Кран не закрывай!

Било ли вас когда-нибудь током? Именно такое ощущение от струи горячей воды, бьющей по ногам.

– Мама, довольно! – Я и смеюсь, и чуть не плачу.

– Хорошо, хорошо. Посиди спокойно еще минут пять... Легче теперь?

Мне и вправду полегче. Перестало знобить, могу дышать носом.

Присев на крышку унитаза, мама расстилает на коленях полотенце, кладет рядом теплые носки.

– Я сам, мама!

Но спорить бесполезно. Когда заболеваешь, ты превращаешься для мамы в младенца. И она старательно натягивает носки на мои красные, распухшие, длинные, далеко не младенческие ступни.

Следующая процедура та, с которой я и начал свой рассказ. Уложив меня в постель, мама приступает к растиранию.

Если глядеть со стороны, пациенту не позавидуешь: кажется, что сильные, быстрые мамины руки тесто замешивают. Но я-то знаю, как чувствуют они меру, как плавно и осторожно движутся. Положив чуть ниже моего горла ладони, мама разводит руки, описывает дугу по грудной клетке и соединяет их под грудью, у солнечного сплетения. Плохо то, что я начинаю ежиться, смеяться и, как мама ни сердится, не могу остановиться: щекотно! Что поделать, я щекотки боюсь.

Сегодня почему-то особенно щекотно, я дергаюсь и хриплю сквозь смех: «Ой, подожди, перестань!»

– Молчи, – просит мама, прижимая меня к постели, чтобы не двигался. Она пытается казаться серьезной, надо ведь закончить растирание, но когда любимый младенец смеется, какая мать не ответит улыбкой?

– Малыш! Эй, малыш, что с тобой, а? Ты и вправду стал как bad-a-by-y!

Мама очень полюбила это английское слово. Наверно, за то, что оно такое певучее, ласковое и помогает ей выразить свою любовь к нам.

С растираньем покончено. Мама выпрямилась, потянулась, поглядела на меня, как художник, оценивающий свою работу, и, кажется, осталась довольна. Еще бы! Грудь моя горит, горят и ноги в теплых носках. Глаза слипаются, я как бы плаваю в облаке дремоты и острого запаха тигровой мази, им наполнена вся гостиная.

– Басим, не засыпай! Сейчас принесу крои джаз...

Крои джаз никакого отношения к музыке не имеет. Это постный суп из вермишели с чесноком и районом, то есть базиликом, а также с лимоном. Суп считается целебным. К тому же поешь его горячим, непременно вспотеешь, что тоже очень полезно. Когда я в детстве простужался, мама, помимо прочих лекарств и процедур, непременно укутывала меня на ночь пуховым платком. Ух, и потел же я! И к утру обычно был почти здоров. Хорошо пропотеть, считает мама, лучшее из лекарств.

– Ой, как пахнет районом! Мм! Вкусно, правда? И лимоном. Чувствуешь, что за аромат?

Мама – артистка, у неё множество приёмчиков, чтобы прельстить своего ребенка едой. Особенно когда она считает, что еда необходима для выздоровления...

– Поел? Хорошо, басим, скоро сможешь поспать. Осталось еще немножечко...

Кажется, я все же задремал на минуту, но мама уже стоит передо мной с фарфоровым чайником в руках. Чайник без крышки и из него валит пар. Начинается, значит, новая про-

цедура: «Дышите глубже, вы взволнованы»...

Дышать парами кипятка с содой, когда ты с головой покрыт одеялом, иначе как пыткой это не назовешь. Уже через пару минут мне кажется, что легкие мои превратились в воздушный шар, накачанный горячим воздухом. Еще один вдох, и они лопнут! А горло, а рот! Нос и губы болят, с них непременно слезет кожа...

– Ты чего там дергаешься? Ближе к чайнику, дыши глубже!

О нет, больше я не могу! Я откидываю одеяло и протягиваю маме чайник.

– Понимаешь, я очень устал...

– Ну, уже почти всё, бэби, – нежно говорит мама. – Теперь только закапаем в нос и будешь отдыхать.

Её сильная рука откидывает мою голову назад и – раз, два, три!.. Это в одну ноздрю... Раз, два, три! В другую.

Нет ничего ужаснее этой смеси: лук, чеснок, мёд. Нос и горло дерёт, слезятся глаза, чихаю безостановочно, как при сильнейшей аллергии.

– Сейчас пройдет, – как ни в чем ни бывало говорит мама, вытирая платком слёзы и сопли, бегущие по моему лицу. Нет, ей-богу, ей просто нравится моя младенческая беспомощность! Но, позлившись немного и отчихавшись, я замечаю, что дышу свободно, что из носа не течёт и вообще, кажется, мне легче. Сейчас бы поспать... И тут я чувствую странный запах, такой, будто в квартире развели костёр... А-

а, это Эммка по маминому приказу расхаживает со сковородой, на которой тлеет засушенный исырк! Этот дымок, считают в Азии, исцеляет, более того, он наделен особой благодатной силой, спасающей от всяких зол. На азиатских базарах женщины, просящие подаяние, ходят с сосудами, в которых дымится исырк. Те, кого они обвевают, нередко дают им монетку-другую... Мама уважает древние традиции. Кстати, я слышал, что биологи подтвердили дезинфицирующие свойства исырка.

Ну, если в ход пошел исырк, можно спать. Сегодня мне повезло: «курс лечения» был не полный. Обошлось без компрессов, без банок, без горчичников!

* * *

Часто ли мы с Эммкой так болели? Сейчас уж и не припомню, но думаю, что в семье из четырех человек то и дело случались хотя бы мелкие неприятности со здоровьем, так что у мамы была неплохая «медицинская практика». На себя, конечно же, она почти не обращала внимания – времени не хватало. Когда нездоровилось, мама перемогалась, старалась «подлечиться» на ходу, и продолжала работать, заниматься хозяйством... До поры до времени судьба щадила её. По крайней мере так казалось. К несчастью, мы слишком долго верили, что мама-доктор справится с любыми болезнями, в том числе и с собственными.



Я почему-то очень хорошо запомнил случай, когда маме в первый раз не удалось «подлечиться» самой. Может быть, потому, что мы тогда впервые серьезно испугались за маминно здоровье.

Произошло это позже, когда в семье уже появились медицинские страховки: у меня – на работе, у родителей – купленные, но дававшие право только на госпитализацию. У мамы внезапно начался сильный насморк. Он становился все сильнее, хотя другие признаки простуды не появлялись. К врачу мама, конечно же, не пошла, а стала лечиться домашними средствами. Но не помогали ни чудодейственные капли, ни «дышите глубже», ни ведро со скрипучей ручкой... «Что это со мной?» – поражалась мама. Когда прошло несколько месяцев, все мы начали беспокоиться всерьез: начавшись летом, насморк продолжался и зимой. Мама не отнимала платок от носа, под воспаленными ноздрями образовались болячки. Наконец, мы настояли, и мама отправилась к врачу. Но и он не помог.

– А это скорее всего аллергия, – сказал как-то мой приятель и сослуживец Арис, услышав о странном маминном насморке. – Послушай, я знаю одного замечательного врача, очень известного, я лечился у него, и он здорово мне помог...

Как популярен доктор Перлоф, мы поняли, увидев, сколько людей ждет своей очереди у дверей его офиса на Риверсайд в Бронксе. Пришлось постоять и нам... В приемной было полно астматиков – уж нам-то с мамой знакомо было их свистящее дыхание! Одну из больных завели в кабинет под руки, казалось, она умирает и место ей в реанимационной палате, но минут через пятнадцать она вышла из кабинета сама и с порозовевшим лицом. Словом, мы много чего насмотрелись, пока ждали доктора. В его маленьком кабинете ассистентка, заполняя карту, никак не могла произнести фамилию мамы. И вдруг откуда-то раздалось четкое, почти порусски произнесённое: «Иссе Юабов!» – и из-за шкафа, пошаркивая, вышел старый, очень старый человек, совсем не похожий на доктора. Может, мне так показалось, потому что он был без халата.

– Как поживаете?

Доктор пожал нам с мамой руки дружески и очень сильно, почти как дед Ёсхаим. Тут я заметил, что он, хоть и горбится и ходит, шаркая, был прежде могуч и силен, вон какая мощная шея и широкая грудь... Говорил доктор по-английски, но не чужд был славянской речи, потому что в давние годы эмигрировал из Югославии.

Осмотрев мамин нос и горло, как делает это любой отоларинголог, доктор спросил, улыбаясь:

– И это всё, что вас мучает?

Мы даже растерялись.

– Но ведь так долго! И ничего не помогает. Вы же видите...

– Ну-ну, всё будет в порядке. Магдалина, приготовь шприц...

Доктор произнёс название какого-то лекарства и ассистентка, звякая флакончиками за столиком у шкафов, стала наполнять шприц. Флакончиков, баночек и ампул в этих шкафах было великое множество.

– Это ещё не всё, – сказал доктор, сделав маме укол в ягодицу. – Позвольте ваш нос...

И в обе мамины ноздри вколото было еще какое-то таинственное лекарство. Я называю его таинственным, потому что доктор сказал не без гордости:

– Моё изобретение! Через неделю скажете своей аллергии: «Good-buy, Charlie!»

И мама сказала... Вернее, пропела. Она так была счастлива, когда через несколько дней исчез её изнурительный насморк, что вскричав в первый раз: «Good-buy, Charlie!», превратила это в песенку и потом часто распевала её, прищелкивая пальцами.

К доктору Перлоф она относилась с тех пор с почтением и с нежностью, как к своему спасителю и, хотя аллергия не повторялась, время от времени, если что-то беспокоило её, отправлялась к нему.

Через несколько лет доктор переехал в Калифорнию и наше знакомство оборвалось. Я и сейчас об этом жалею, вспо-

минаю с благодарностью о докторе Перлоф. Думаю, что он был не только замечательным медиком, но и человеком незаурядным. Недаром мы сразу же отнеслись к нему и с полным доверием, и с какой-то удивительной теплотой.

О другом враче, который станет для нас более, чем врачом, – близким другом, мне ещё предстоит рассказать...

Глава 34. Путь каратэ

Сидим на полу вдоль зеркальной стены зала. Перед нами прохаживается сенсей.

– Валэри...

Я поднимаюсь. Я вызван на спарринг, то есть на учебный бой...

Уже второй год мы с Виктором учимся у Алекса Стёрнберга. Его предсказание сбылось: первый курс выдержали лишь несколько человек из начальной группы. Теперь нас объединили с основным составом. Хотя мы с Викторино уже многому научились – нас трижды повысили в ранге и мы носим теперь голубые пояса, – все же нам нелегко: здесь есть парни, которые занимаются по пять-шесть лет, у них пояса коричневые и даже черные.

Особое напряжение в середине урока, на спарринге.

Стою в центре зала, а сенсей всё ещё оглядывает группу, выбирая мне партнера.

– Сэм... – произносит он наконец, и у меня замирает сердце.

Сэм – опасный соперник. В нашу школу он пришел всего лишь с месяц назад, но до этого занимался каратэ несколько лет, изучая другой стиль, корейский, очень, кстати, популярный в Нью-Йорке, который отличается тем, что основное в нем – работа ног. Понятно, что такому борцу победить ме-

ня нетрудно. Но я боялся не поражения, не ударов по самолюбию, а ударов вполне физических: я много раз видел, как груб и неосторожен Сем на спарринге.

* * *

В любом контактном спорте необходимо умение контролировать силу удара. В каратэ этому придается особое значение, о чем Алекс не устает повторять нам. Когда на занятиях, показывая приемы, сенсей наносит удар ногой или рукой, чувствуешь лишь легкое прикосновение. А иногда сенсей останавливает мощный удар на расстоянии почти невидимом – доля миллиметра – от твоей груди, плеча, живота. Именно останавливает. Если бы сенсей нанес удар такой силы, он был бы сокрушительным...

Мы с Викторино пытаемся научиться в последний момент скомандовать себе: «стоп». Мы так увлеклись каратэ, что устраиваем домашние тренировки. Подвал дома, купленного недавно семьей Вайнбергов, это наш спортивный зал. Посмотрим, например, еще один фильм о каратэ, и бежим отрабатывать какую-нибудь новинку.

– Ты помнишь, какая у них была свеча? Такая или потолще?

«У них» – это у героев фильма. Демонстрируя легкость и точность удара, они гасили зажжённую свечу, не прикасаясь к пламени. Нам это ужасно понравилось: красиво, наглядно.

Учишься контролировать себя, не делая партнера мишенью!

Виктор устанавливает свечу перед собой на уровне груди, как было в фильме, встает в позицию на нужном расстоянии, наносит рукой удар... Не удалось: огонек на свече колыхнулся, но не погас.

Теперь моя очередь. Мне кажется, я предельно сосредоточен... Удар!.. Свеча погасла. Увы, не от дуновения воздуха: я просто сбил её с подставки.

Да, мы были увлечены каратэ. Оно все больше восхищало нас своей красотой, точностью приемов, их разнообразием. К тому же оно давало уверенность в себе, чувство защищённости. К сожалению, о духовных основах каратэ мы знали очень мало, хотя именно ими объяснялись правила поведения, которым учил нас сенсей. С тех пор я уже довольно много прочитал о происхождении каратэ и, как мне кажется, осознал его высокий смысл. Поэтому сейчас, рассказывая об увлечении юности, я просто не вправе не поделиться хоть чуть-чуть тем, что узнал и понял. Ведь и теперь большинство юных любителей каратэ получает сведения о нем только из фильмов, а значит, имеет очень поверхностное или даже ложное представление о древнем искусстве самозащиты.

* * *

С незапамятных времен на Дальнем Востоке придавалось огромное значение духовному совершенствованию, воспи-

танию. И с тех же древних пор в его систему входили различные формы единоборства... Понять это непросто, ведь на Западе люди относятся к спорту совсем иначе – как к игре, развлечению, к занятию, укрепляющему здоровье. При чём тут духовность? Однако к истории каратэ духовность имеет прямое отношение.

С чего она началась, рассказывает легенда, широко распространённая в Китае...

В начале VI века нашей эры в Китай прибыл индийский монах-миссионер Бодхихарма. Он проповедовал буддизм. Последователей этой древней религии, возникшей в Индии ещё за несколько веков до нашей эры, в Китае было немало. После долгих странствий Бодхихарма попал в буддийский монастырь Шаолиньсы в горах Сушань. И здесь он убедился: шаолиньские монахи, называя себя буддистами, не понимали сущности буддизма. Доводя себя до полного изнурения, они механически выполняли многочисленные ритуалы, заучивали сутры – трактаты и изречения. Буддизм же требует совершенно иного. Это учение основано на «четырёх благородных истинах»: страдание, его причина, освобождение от него (нирвана) и путь к такому освобождению. Создателя учения, легендарного Саддхар тхи Гаутаму, стали называть Будда, что означает «просветлённый», то есть высшее существо, достигшее совершенства и способное указать людям путь к спасению... Бодхихарма пытался объяснить монахам: прозреть истину могут только те, кто освободил свои сердца

от мирской суеты, не совершает ненужных действий, чтобы душа и тело находились в полной гармонии с ритмами природы. Вот тогда и входит в незамутнённый разум Истина...

Монахи не поняли наставлений Бодхихармы. Он удалился в одну из горных пещер неподалеку от монастыря и провёл там, сидя лицом к стене, девять лет без сна. В стене появилась дыра – Бодхихарма пробил её взглядом... Лишь после такого подвижничества монахи поверили в святость и мудрость Бодхихармы. Первый патриарх в Китае вернулся в монастырь и сделал своими учениками двух шаолинских монахов. Пять лет наставлял их Бодхихарма, соединяя буддизм с техникой и философией йоги и с народными приемами борьбы без оружия. В этих поисках путей к духовному просветлению родилось ушу (его также называют кунфу). Оно стало и динамической медитацией, помогающей определенным образом концентрировать сознание, и новым боевым искусством.

Такова суть легенды. И хотя на самом-то деле очень мало известно о месте и времени возникновения ушу, сведения об этом туманны и противоречивы, легенда, которую я коротко пересказал, имеет очень глубокий смысл. Она подтверждает неразрывную связь ушу и других восточных боевых искусств с духовным миром людей Дальнего Востока, с их стремлением постичь истину. В Шаолинском монастыре, который существует и в наши дни, по-прежнему почитают Бодхихарму, туда стекается великое множество паломников, в мона-

стырских школах сотни желающих обучаются шаолиньскому ушу...

Шли века, и ушу (кунфу) стало известно за пределами Китая.

Как именно проникло оно на остров Окинава, тоже никто точно не знает. Окинава – это главный остров большой группы островов, носящей такое же название и расположенной между Японией и Тайванем. До начала XVII века все острова Окинава находились в ленной зависимости от Китая, так что ушу могли завезти сюда и местные жители, побывавшие в Китае, и китайские чиновники или колонисты. С достоверностью известно лишь то, что на острове, соединившись со здешними древними приемами борьбы, ушу получило название окинава-тэ («тэ» – это «рука»). Лишь много позже возникло название каратэ, где иероглиф «кара» означал «китайский».

На Окинава каратэ приобрело большую популярность. Объяснялась она, возможно, и тем, что с XIV по XVII века законы дважды запрещали островитянам пользоваться оружием и даже вступать в рукопашную борьбу. А времена были суровые, остров пережил немало нападений... Поэтому островитяне тайно изучали каратэ, позволявшее защищаться без оружия. Даже в народных танцах использовались некоторые движения, похожие на приемы каратэ.

Но истинный расцвет древнего искусства самозащиты произошел сравнительно недавно, в начале XX века. Пере-

летев с Окинава в Японию (которой эти острова принадлежали уже несколько столетий), каратэ с неожиданной быстротой завоевало не только эту страну, но почти весь мир. Огромные усилия приложил к этому талантливый и страстный пропагандист каратэ окинавец Гитин Фунакоси, посвятивший любимому искусству большую часть своей долгой жизни. Фунакоси переосмыслил даже само название «каратэ». В японском языке два разных иероглифа звучат, как «кара»: один означает «китайский», другой – «пустой». Второе значение Фунакоси считал более правильным и важным. «Пустая рука», то есть рука без оружия... Но не только это! Слово «пустота» в буддизме используется, когда речь идет об освобождении души от земных помыслов, от суеты сует.

«...Исучающий каратэ должен освободить себя от эгоизма и злобы, – писал Фунакоси. – В этом смысл иероглифа «пустой». Чтобы это значение боевого искусства было ясно для каждого, Фунакоси стал называть его «Каратэ-до». «До», то есть дорога – в философском понимании путь, жизненное направление.

«...никто не сможет достичь совершенства в каратэ-до, пока не осознает, что это образ жизни... – писал Фунакоси в своей автобиографической книге. – В каратэ-до, оказывая помощь и принимая её, человек приобретает способность превращать боевое искусство в веру, которая совершенствует тело и душу...»

Школа, основанная Фунакоси, получила название Сёто-

кан, что означает «Дом сосен и волн»... Вероятно, таков был пейзаж, окружающий дом великого мастера. Стиль, который Фунакоси преподавал, тоже стали называть Сётокан. Он стал классикой. Стилей и школ каратэ постепенно появилось много, но Фунакоси считал это большой бедой и надеялся, что в будущем они объединятся. Ведь современное каратэ всё дальше отходит от своих прежних высоких принципов и становится просто одним из видов спорта. Неслучайно еще в 70-х годах минувшего века группа мастеров каратэ поставила перед собой цель: добиться, чтобы каратэ вернулось к истокам, вновь обрело свою духовную сущность.

* * *

Не знаю, суждено ли этому сбыться и каково будущее каратэ, знаю только, что мне повезло: я-то попал в школу, где преподавался именно классический, выработанный Фунакоси, стиль сётокан (а в английском звучании – шотокан). Наш сенсей ревностно следил за строгостью стиля. Он не допускал агрессии, требовал, чтобы мы были вежливы, доброжелательны, контролировали силу ударов. И кое-кого из нас приходилось учить этому довольно жестоко, нарушая обычные правила.

...Вернёмся же в наш зал, где начинается спарринг. Сэм передо мной. Мы оба неподвижны, ждем команды сенсея. Сэм гораздо старше меня, ему уже около сорока, но он мускулистый и потрясающе гибкий. Я только диву даюсь, глядя, как он делает поперечный и продольный шпагат, мне бы так хоть когда-нибудь! Не говорю уж об ударах ногами. Выполняя прием, Сэм как-то особенно подвижен, стремителен. Я, понятное дело, напряжен...

– Контролируйте свои удары, – предупреждает сенсей. И сразу же дает команду начинать.

Мы закружились в безмолвном танце, то приближаясь, то немного расходясь, выискивая брешь в защите, чтобы мгновенно нанести удар. Движения наши подчинены правилам: плечи в естественном положении, их не следует поднимать. Бёдра, таз гораздо подвижнее. Умение владеть этой частью тела – одно из основных в каратэ. Рукой ли ты наносишь удар или ногой – именно движения таза, словно размах пращи, из которой вылетает камень, усиливают быстроту и силу удара. Сможешь, успеешь правильно и предельно широко раздвинуть во время удара ноги в области таза, «камень из пращи» полетит далеко, стремительно. Алекс учил нас этому на каждом занятии... Но у Сэма такая практика, такая гибкость, быстрота!

Вот он на одной ноге, вторая согнута в колене и поджата, а руки прижаты к телу, делает полный поворот... Еще мгновение – и эта поджатая нога распрямится, нанесет мне удар... Куда? Странное чувство: я как будто фильм смотрю, но я ведь и сам сейчас в кадре... То, что я вижу, тут же передается мозгу, а он должен молниеносно принять решение, дать команду телу, скоординировать движения... Как он может успеть? Когда? Ведь всё происходит так стремительно!

Но мозг успевает. В ту долю секунды, когда Сэм при повороте повернулся ко мне спиной, я наношу ему правой рукой удар в поясницу. Под контролем, как и положено...

Возле зеркала гул одобрения: я смог нанести удар сильному борцу, студенту, который много выше меня рангом. К тому же Сэма недолюбливают.

– Матэ! – властный голос сенсея останавливает бой. Сенсей молча указывает на меня: я выиграл очко.

– Ку! – это команда продолжать. Мы заняли позицию, а дальше все произошло мгновенно. Сэм на этот раз сделал то, что называется передним ударом по верхнему уровню. То есть он не разворачивался, а просто отвел назад согнутую в колене ногу – и... Видно, мозг мой успел осознать, что отразить удар не удастся, и я непроизвольно закрыл руками голову... Удар в висок... Что было потом, не помню, удар сшиб меня с ног, и я отключился.

– Are you OK? – услышал я плывущий голос Алекса. Он похлопывал меня по щеке.

Я поднялся, но с трудом. Голова гудела, кружилась, раскачивалась. Сэм сидел на корточках спиной ко мне: когда сопернику нанесена травма, так и полагается сидеть, пока не будет дана команда продолжать... Если это возможно, конечно. Но я и стоять-то едва мог. Сенсей понимал это.

Дана команда, мы снова стоим друг против друга. Сенсей протянутой рукой оповещает о победе Сэма.

– Валэри, садись, – говорит он. – А ты, Сэм, оставайся.

Сажусь на свое место у зеркала. Через минуту-другую, немного придя в себя, замечаю, что в зале очень тихо, Сэм всё ещё стоит один, а сенсей, опустив голову, быстро прохаживается по залу. Ага... Это нам знакомо, это часто бывает: рыжий тигр в раздумье. Начинается оно обычно с того, что Алекс стоит подбоченившись, слегка покачиваясь из стороны в сторону и устремив куда-то неподвижный взгляд. Потом начинается «тигриное хождение»...

О чем же он думает сейчас?

– Майкл, в центр!

Тихий шелест голосов у зеркала... Светловолосый силач Майкл – самый умелый из учеников сенсея. Мало кому в группе удастся отклонить или заблокировать его удар. Смотреть на него на отработке ли приемов, на спарринге ли одно удовольствие, так он чётко, так безупречен... Нет, не зря, не зря задумался сенсей, кого выбрать для встречи с Сэмом!

Кажется, и Майкл понял учителя. Едва только соперники поклонились друг другу, как он занял свою любимую по-

зицию «всадник» – на широко расставленных полусогнутых ногах и боком к противнику. После этого поединок длился не дольше секунды. Гибкий Сэм кинулся вперед и тут же получил боковой удар ногой в лицо. Удар был нанесён во всю силу, вопреки нашим правилам. Впрочем, и сенсей не произнес своего обычного: «контролируйте удары». Сэм упал с окровавленным лицом, губы и нос у него были разбиты. Так разбиты, что пришлось вызывать «скорую».

Вряд ли кто-нибудь пожалел Сэма, он-то ведь никого из нас не жалел. Сегодня он получил жестокий, но справедливый урок. И когда месяц спустя Сэм снова смог посещать занятия, все мы увидели, что кое-что им усвоено. Самоконтроль вошел в практику Сэма. Даже учтивость, какой прежде не было, появилась в его манерах.

Уж не знаю, стал ли он осторожнее, опасаясь новых «уроков», или действительно изменился. Настолько, чтобы понять, что такое Путь Каратэ.

Глава 35. Операция «Спасение Марика»

Ко второму курсу у меня в колледже уже были друзья. Пожалуй, раньше всех, не считая моей тезки Валерии, сдружился я с Инной. И даже более, чем сдружился (думаю, что мои теплые воспоминания ничем не оскорбят ту, о ком на самом деле идет речь, хотя её имя я всё же изменил). Подружка моя была славная девчонка, неглупая, начитанная, притом добрая и очень веселая. Мне нравилось глядеть, как она смеётся, откинув голову и немного приоткрыв небольшой ротик, так, что чуть-чуть видны белые зубки. Ещё больше нравилось, как она порой посматривала на меня: снизу вверх (я-то повыше), кокетливо прищурив свои карие глаза... Однажды, когда она вот так смотрела, я не выдержал, обхватил её полненькие плечики и стал целовать... Словом, начался мой первый настоящий роман. Я чувствовал себя влюбленным и счастливым, Инна, кажется, тоже. Нам хорошо было вместе, что бы мы ни делали: гуляли, болтали, в кино ходили или к тестам вдвоем готовились. Появилась у нас и общая компания.

Занимались мы обычно у Инны дома. Жила она в Форест-Хилс. Это такой микрорайон у нас в Квинсе, где особенно много русскоязычных иммигрантов, а потому и разнообразных русских магазинов, поликлиник и других обслу-

живающих заведений и учреждений. Кстати сказать, я очень полюбил Квинс, самый, пожалуй, зеленый из всех районов, входящих в Большой Нью-Йорк. Пижоны и богачи любят свой Манхэттен – остальное для них вообще не Нью-Йорк (впрочем, все ньюйоркцы гордятся Манхэттеном и развлекаться предпочитают именно там). Иммигранты из южных городов России прославляют Бруклин – там, мол, и океан под боком, и пляжи, как в Одессе, и магазины прекрасные. Бронкс... Ну, уж не знаю, кто особенно любит Бронкс, разве что те, кто живут возле его замечательных парков. Но кто бы что ни говорил, по мне в Нью-Йорке нет ничего лучше зеленого Квинса. «Королевин», то есть что-то вроде русского Царицына – не зря он так называется! А названия микрорайонов? Форест-Хилс – лесистые холмы... Вуд Сайд – лесная сторона... Кью Гарденз – биллиардные сады (я так думаю, потому что кью – это кий)... Беллроуз террас – терраса прекрасных роз... Линден бульвар – Бульвар лип... Фреш Медоуз – свежие лужайки... Хиллкрэст – гребень горы... Джамайка Истейтс – поместья Джамайки... Ну, конечно, кое-что изменилось в городском пейзаже с тех пор, как эти названия возникали, но для меня Квинс и сейчас прекрасен. Жить в нем спокойно и уютно.

Я думал об этом, стоя однажды возле окна в гостиной у Инны. Был теплый майский день. За окном открывалась широкая панорама: сначала – улицы, кипящие суетой, люди, снующие взад и вперед, потоки машин, дома, домики, кры-

ши, окруженные зеленью. А за всей этой суетолокой повседневности простиралась на востоке широкая зеленая волнистая гряда до самого горизонта. Казалось, будто густой лес подступает там к городу, замыкая его. Иллюзия, конечно, просто такой отсюда представляется другая часть Квинса, как раз та, в которой я живу. А если смотреть сверху, откуда-нибудь с вертолета, весь наш Квинс увидишь таким же зеленым!

Мы с Инной готовились к тесту по Теории чисел. Если хочешь что-то в этой науке постичь, ею нужно заниматься неустанно. Я и пытался. Но, увы... Преодолев языковые трудности, я сумел в третьем семестре получить по всем своим курсовым предметам четверки, а в этом семестре уже мог бы метить в отличники, кабы не эта самая Теория чисел. Читала нам ее миссис Салиски, молодая блондинка родом откуда-то с Украины – её родители эмигрировали в Америку вскоре после революции. Несмотря на молодость, миссис Салиски не знала снисхождения, она, например, не ставила, подобно другим преподавателям, оценки за трудные тесты чуть-чуть повыше, чем следовало бы по результатам. Кроме того, нам казалось, что она с особой суровостью относится к иммигрантам-евреям. «Антисемитка! – злились мы после очередного провала. – Сама ведь из эмигрантской семьи, и никакого сочувствия!»

Так или иначе, у миссис Салиски я в лучшем случае мог рассчитывать лишь на четверку, да и то волновался, вытяну

ли, и готовился к тесту изо всех сил.

Отзанимавшись часа четыре с лишним, мы теперь отдыхали.

– Давай перекусим, – предложила Инна. Но только мы направились в кухню, как от окна, где я перед этим стоял, раздался громкий голос: «Физкульт-привет!»

Я аж вздрогнул, обернулся и увидел, как в нижнюю часть окна с пожарной лестницы влезает какой-то парень. Судя по необычному способу вторжения, он мог быть либо бандитом, либо ангелом. Но вид у парня был вполне земной и более чем мирный, на упитанном лице с чёрными усиками сияла добродушная улыбка. Соскочив с подоконника, странный гость поцеловал Инку в щеку, а затем протянул мне руку:

– Марк...

– Валерий, – машинально ответил я, и тут же спросил: – А ты как... Ты откуда?..

Марк и Инна рассмеялись.

– Его старики живут в соседнем подъезде, – объяснила Инна, – на том же этаже. Между нашими окнами пожарная лестница...

– Понимаешь, как удобно? – перебил её Марк. – Кроме того, приучаю Инку к своим неожиданным появлениям. Чтобы ждала в любую минуту... А-а, вы, кажется, поесть собрались? Значит, я вовремя!

Сказав это, он скорчил такую смешную мину, что невозможно было не засмеяться.

Усатый весельчак, оказывается, учился в нашем же колледже и даже на одном с нами отделении, но поступил совсем недавно, потому что приехал в Америку из Львова меньше года назад. Однако же он много чего успел сделать. И с Инкой подружился, и уже работает на пару вместе с её отцом, арендуящим такси! Вот это меня просто потрясло. Ну и деловой, ну и хваткий парень, подумал я не без зависти. И к тому же почувствовал что-то вроде ревности: уж больно свободно этот усатый вел себя с Инкой!

– Ой-вэй! Ну, пожалей меня, мамочка, пожалей!

Закатив глаза, Марик склоняет голову на плечо к Инке и чмокает её в щёку... Ну, что это такое? У нас в Ташкенте никто из парней даже с близкой девушкой не вёл бы себя так на людях. Ни узбеки, ни бухарские евреи, ни ашкенази. А уж с девушкой не близкой... О нет, мы еще не были такими «продвинутыми!» У нас ещё сохранялись прежние представления о приличиях. И что это за «мамочка»? Среди наших ласково-шутливых обращений к девчонкам такого слова не было. Может быть, потому что людям Востока присуще высокое уважение к матери? Я бы и начал ревновать, но в нью-йоркском колледже я уже наслушался и нагляделся всякого. Я уже знал, что такая развязность в моде и вовсе не обязательно говорит о близких отношениях. А Марику, очевидно, развязность и вообще-то свойственна по складу характера. Да стоит только посмотреть на него, и всё уже ясно!

Круглое, с двойным подбородком лицо Марка, увенчан-

ное кудрявой шевелюрой, такой густой, что она походит на меховую шапку, невероятно подвижно. Карие глаза в вечном движении, рот вообще никогда не закрывается, а по этой причине непрерывно шевелятся, то приподнимаясь, то опускаясь, маленькие чёрные усики. Лицо это располагало к себе, да и общительность Марка покоряла... Словом, очень быстро подозрения мои исчезли и появилось ощущение, что мы с ним старые друзья.

* * *

Между тем Марик, с аппетитом закусывая, продолжал жаловаться на свои беды. Оказалось, что у него неприятности с курсом «Введение в компьютерные науки». Виноват в этом, как он уверял, преподаватель.

– Ой-вэй, ка-ак он меня замучил! Ма-амочка, я просто погибаю!

Я у этого преподавателя (не припомню сейчас его фамилии) никогда не учился, но что с ним нелегко, слышал не раз. Как-то случайно заскочив в аудиторию, где он вел урок, я задержался. Интересно было послушать – вместо «Фортрана», который я изучал, первокурсникам теперь давали «Паскаль». Долговязый седой преподаватель расхаживал вдоль исписанной мелом доски и объяснял материал. Он тыкал пальцем в доску и негромко что-то бормотал. Вслушавшись, я удивился: почему он всё время повторяет одно и то же?

Зачем? Думает, что ли, что перед ним безнадёжные тупицы? Между тем ясно было, что студенты давно всё поняли, материал был несложный, вопросов никто не задавал. Преподавателю, очевидно, это было безразлично, контакта с аудиторией он не искал...

Впрочем, об одном «контакте» я слышал от его студентов-эмигрантов. Как-то начал он спрашивать их о Советском Союзе. В колледже такое случалось нередко: многим хотелось поговорить с очевидцами о житье-бытье за «железным занавесом». Интересовало разное: как мы питались и что могли купить в магазинах (скудость товаров больше всего поражала женщин-преподавательниц), кто из наших родственников подвергался политическим преследованиям, как проявлялся антисемитизм. Мы, впрочем, рассказывали и о хорошем – о невысокой плате за квартиры, о бесплатном образовании... Преподаватель Марика был единственным, кто упорно выспрашивал своих студентов именно о крупицах хорошего. «Как там у вас относятся к учителям? С уважением?», «Какие предметы у вас были в старших классах? А какие лекции в институте? Вам хорошо преподавали? Стипендию получали?» и тому подобное. Конечно же, он прекрасно знал, что ему ответят. Но для того, видно, и спрашивал, чтобы с презрением и гневом восклицать: «Не понимаю, зачем вы сюда приехали? Вас бесплатно и хорошо учили, о вас так заботились в вашей стране, мало вам было этого?»

Все видели, что преподаватель настроен просоветски,

некоторые даже считали его коммунистом. Пускай бы так, это его дело. Пусть восхищается Советским Союзом. Но зачем же оскорблять студентов? Приятно ли учиться у профессора, который спрашивает, зачем ты здесь появился?

Однако по колледжу стали ходить и другие слухи об этом человеке. Вроде бы кое-кто видел, как он прижимается к парням-студентам, когда подходит к ним что-то объяснить или заглядывает к ним в конспекты. Говорили, что если... ну, что ли, не сопротивляться этому, то, даже провалив тест, получишь хорошую оценку. Словом, уверяли, что этот седой человек с неприятной внешностью был геем. Не берусь утверждать, что это правда, ведь когда не любишь человека, легко приписываешь ему любые недостатки и пороки. Но говорить – говорили упорно.

Так вот, именно с этим преподавателем у Марика сложились особенно скверные отношения, именно его курс, уверял Марик, ему ни за что не сдать на предстоящей весенней сессии.

– Ой, он та-акой гад! Придирается, всё ему не так... Мамочка, голова что-то разболелась... Сделай мне точечный массаж, а? (теперь голова Марика уже на коленях у Инки). О-о, во-от так... Как хорошо-о!.. Мамочка, пониже, во-от тут... Он меня просто ненавидит, преследует, другие парни не лучше учатся, и ничего... А со мной, как с собакой! На тесте глаз с меня не спустит, попробуй тут списывать! Мамочка, ты мне поможешь? Придумаешь что-нибудь?

– Конечно, – рассмеялась Инна. – Уже придумала: с сегодняшнего дня начнем заниматься!

Она, действительно, могла бы Марика натаскать, потому что в этом учебном году изучала «Паскаль». Но Марик вовсе не собирался с её помощью готовиться к тесту! Он рассчитывал совсем на другое, и Инка отлично понимала это.

– Вариант второй, – продолжала она вышучивать Марика. – Зайду в класс, сяду с тобой рядом и будем писать тест вместе!

– О-очень остроумно! – Обиделся Марик.

Мы продолжали острить, Марик продолжал изображать обиду. Но вскоре выяснилось, что дурачками-то были мы, потому что хитрый Марик кое-что задумал, и выполнять его план пришлось не только Инке. Волею судеб я тоже стал участником операции «Спасение Марика»...

* * *

Недели через две начались экзамены. Марика я больше не видел и, сказать честно, о нем не вспоминал. И вот иду я однажды по коридору, на душе легко, только что сдан один из трудных экзаменов, и встречаю Инну. Стоит она с подружкой возле какой-то аудитории, в руках держит листки...

– Ты что, с экзамена?

Оказывается, экзамен сейчас у Марика, а Инна с подружкой – «на стрёме». Марик уже выбегал к ним, использовав

старую, как мир, уловку: сказав, что у него расстройство, был выпущен в туалет и вынес переписанные задания. Инна быстренько их решила и теперь ждет то ли Марика, то ли его посланца...

Не прошло и пяти минут, как из аудитории выскочил парень с запиской. Приказ: идти с ответами в соседний туалет, запереться в кабинке, ждать Марика... Тут даже Инка возмутилась: ну и наглец! Как это мило: она должна сидеть в мужском туалете! «Что будем делать?» – спросила Инна и поглядела на меня умоляюще. Эти милые карие глазки... Разве я мог отказаться? Так и стал я участником операции на самом её рискованном этапе. Насколько рискованном и драматичном, я и представить себе не мог.

Туалет на этом этаже был, как и все остальные, просторным, идеально чистым и, к моему великому облегчению, совершенно пустым. Я заперся в одной из кабинок. Ждать пришлось недолго: щелкнул язычок на дверях, кто-то вошёл, раздался шепот Марика: «Валера, ты здесь?» – и он забежал в соседнюю кабинку... Везуха – ни одного свидетеля! Я быстренько подсунул листы с ответами под разделяющую нас перегородку. Но буквально в ту же секунду распахнулась, с грохотом ударившись о стену, дверь туалета и раздался чей-то злобный визгливый голос:

– Мэйзер, ты здесь, я знаю! Немедленно выходи!

Догадался, ужаснулся я. Ещё бы, как было не догадаться! Сейчас вломится к Марику и... Тут я увидел, что из-под

стенки снова вползают в мою кабинку знакомые листочки.

– Смой... И сиди там! – прошептал это, Марик шумно спустил воду и вышел из кабинки. Ужасно обидно, что я не видел, а только слышал сцену, которая тут же и началась.

Голос профессора:

– Ты что тут искал? Не двигайся! Стой прямо!

Голос Марика:

– Что вы делаете? Оставьте меня!

Голос профессора:

– Что я делаю? Обыскиваю тебя, мошенник! Где листки?

Голос Марика:

– Отойдите! Вы не смеете... Слышишь, не трогай меня...

Гей! Ты – гей!

Голос профессора:

– Ах ты подлец! Говори – списывал ответы? Кто принес?

Я похолодел... Ведь если обнаружат и меня... Недавно по такой же причине из колледжа исключили одного или двух парней... Что делать? Спускать листки в унитаз я пока не мог, боялся нашуметь.

Тем временем Марик, продолжая вопить, продвигался к выходу. О, он был хитер, ничего не скажешь! Он без перерыва кричал: «Отойди от меня! Гей! Не смей меня трогать! Ты гей! Ты гей!» Он мог бы, конечно, хорошо наподдать профессору, профессионально наподдать, потому что занимался боксом. Но выгоднее было оставаться беззащитной жертвой, и Марик только отталкивал от себя этого незадачливого

дурака, который не понимал, как он подставился. «Гей!» – разносилось теперь по всему коридору. Собрался народ...

В туалете стало пусто. Я быстро разорвал листочки и, закрутившись, они исчезли в потоке воды. Вышел я из кабины только после того, как голоса затихли. В коридоре за углом меня ждала Инка.

– Марк исчез... В аудиторию не вернулся, где-то прячется, – возбужденно сказала она. – Что будет? Как думаешь, исключат?

Я пожал плечами:

– Вряд ли... Ведь тестов-то не нашли. Да ты слышала, что Марк орал? Скандал теперь начнётся.

– Ну, скандал-то он поднял, а тест всё равно провалил, – усмехнулась Инна. – Пошли, нам его не дожидаться!

Мы оба оказались правы. Скандал разгорелся, потому что Марик пошёл в деканат и обвинил профессора в сексуальном домогательстве под видом обыска. Свидетелей у него нашлось немало. После летних каникул профессор в колледже больше не появлялся. Уволили или сам решил уйти, я не знаю. Позже говорили, что вроде бы он уехал в Россию преподавать. Мы от души сочувствовали его русским студентам.

Марику пришлось заново брать курс «Введение в компьютерные науки»: профессор, этот «долговязый гей», как Марик его теперь именовал, вlepил ему непроходной балл.

А я у миссис Салиски даже на четверку не вытянул: получил три с плюсом. И тоже воображал себя жертвой. Не сек-

суального домогательства, а антисемитизма.

Глава 36. «Наш бизнес»

– Держи, – сказала мама и протянула мне сумку. – Осторожно – тарелки...

Вот уже третий месяц я по субботам отношу отцу обед. Но даже если бы я это делал сто лет, мама всё равно напоминала бы: «Неси осторожно». Посмеиваясь, я обещаю не колотить тяжелой сумкой по стенкам и выбегаю из дома.

Весной 81-го свершилось, наконец, то, к чему так долго стремился отец: он открыл маленькую сапожную мастерскую.

Всё то время, что отец работал у Мирона, он упорно, но безуспешно пытался снять для мастерской хоть какое-нибудь помещение. По воскресеньям целыми днями пропадал в Манхэттене, истоптал его вдоль и поперек. Уж, казалось бы, где, как не в Манхэттене, где на каждом шагу магазины, мастерские, ателье и прочие предприятия, предоставляющие немислимое количество бытовых услуг, можно было найти подходящее местечко! И клиентов тут хоть отбавляй, кишмя кишат по улицам, сбивают свои каблуки и протирают подошвы. Значит, увидят мастерскую и будут заходить... Так-то оно так, но арендовать что-нибудь в Манхэттене оказалось отцу не по карману.

– Хоть бы вот такой уголок снять у кого-нибудь, – жалобно говорил отец за ужином, пальцами обозначая простран-

ство, на котором он мог бы разместиться. Он всё надеялся, что встретит, наконец, в Манхэттене доброго человека, который ему посочувствует и недорого сдаст уголок в своем заведении. Но владельцев чисток, прачечных и различных мастерских соседство сапожника почему-то не привлекало. Починка обуви казалась им делом несолидным.

Не найдя понимания в Манхэттене, отец перенес свои поиски в Квинс. И здесь ему наконец-то повезло: «добрый человек», которого он так долго искал, нашёлся, можно сказать, в двух шагах от дома, на Юнион Тёрнпайке. Это был владелец химчистки Харолд, седовласый американец лет шестидесяти. Однако же убедить его и совладелицу химчистки, Крис, отцу удалось далеко не сразу.

– Ведь я же не даром, я им триста долларов предлагаю за рент! Нет, говорят, их это не интересует! – возмущался отец. – Но я им докажу, что две мастерские вместе – это очень выгодно!

И доказал. Хотя трудно даже вообразить, сколько энергии на это потратил: ведь его английский даже я с трудом понимал. Впрочем, отца это не смущало: коверкая английские слова и заменяя их русскими, он помогал себе жестами не хуже итальянца.

И вот однажды вечером он вошел в дом с лицом таким счастливым и взволнованным, какого я, пожалуй, еще ни разу не видел.

– Договорился! – провозгласил он торжественно, будто

сообщал о победе над вражеским войском.

Счастливым, я бы даже сказал – преображённым, отец оставался довольно долго. Он так погрузился в новые свои обязанности, так гордился, ощущая себя хозяином, бизнесменом, что... Словом, нам с мамой даже приятно было на него смотреть. У нас полегчало на душе, а в доме стало гораздо спокойнее. Мы искренне радовались. Особенно мама. Не заработкам отца, а тому, что он, наконец, при деле, на подъеме, и это хоть на время сказалось на его характере.

* * *

Началось это весной, а сейчас шло к концу лето. Отец, да и все мы, уже привыкли к тому, что у нас – бизнес. «Наш бизнес» – мы так его называли, хотя и выстрадал его, и создал, и оборудовал, и работал в нем отец, а я мог помогать ему только по субботам. Но ведь мы же были семьей.

* * *

...Пересекаю Мейн-стрит и иду по левой стороне Юнион Тёрн Пайка по направлению к супермаркету Key Food, к тому самому, где подрабатываю. В одноэтажных домиках один к другому тесно лепятся небольшие магазинчики, закусовые, парикмахерские и тому подобные заведения. Биз-

несмены здесь небогатые, потому и вывески скромные, металлические или даже матерчатые, а не причудливо изогнутые трубки, озаряющие улицу яркими огнями. Вот, наконец, и вывеска, которая оповещает: Wonders Clean Cleaners. Она – над дверями. А сбоку, рядом с дверью, переносная вывеска нашей сапожной мастерской: на двух листах алюминия, поставленных шалашиком, наклеены большие, покрытые блёстками буквы – SHOE REPAIR. Когда светит солнце, металлических листов не видно, буквы словно бы висят в воздухе, сверкая и переливаясь, как радуга. Отец рекламой очень гордится.

Довольно широкая, почти квадратная приемная в химчистке Харолда разделена теперь на три части. У центрального прилавка сдают в чистку и получают вещи. За этим прилавком уходит вглубь большое помещение, где происходит чистка. Из приемной его не видно, оно загорожено вешалками с одеждой, но именно там колдуют над растворами и спреями Харолд и Крис. В правой части приемной отгорожено местечко для портного, но он появляется здесь не каждый день. А слева – владения отца, прямоугольная выгородка тоже очень скромных размеров. Когда я вошел, отец пришивал к ботинку подошву на одной из своих допотопных и шумных машин. Было их несколько, все они прослужили не один десяток лет, зато отец купил их по дешёвке, да и то не сразу: дело-то пришлось начинать почти на пустой карман. Я понимал, конечно, что современная техника много лучше,

но всё равно меня восхищали наши «ветераны» так же, как когда-то в детстве старинные книги деда Ёсхаима. Отцовской швейной машинкой я прямо-таки гордился, она вполне могла бы стать музейным экспонатом или попасть в коллекцию старинной техники: на корпусе её, под золотой маркой знаменитой когда-то фирмы «Зингер», стоял год выпуска – «1905».

Заметив, что я пришёл, отец выключил машину и стянул с лица маску.

– А, это ты... Хорошо. А то сегодня работы вон сколько! – И он кивнул на ящики в углу, битком набитые обувью. Эти коричневые пластмассовые ящики, в каких развозят по магазинам пакеты с молоком, отец где-то подобрал.

Не успел я пройти за прилавок, как в коврике, лежащем у порога, глухо звякнуло хитроумное сторожевое устройство (я-то его просто перепрыгивал). В мастерскую вошла старушка, то есть это я так легкомысленно обозвал её про себя, а точнее было бы сказать – почтенная пожилая леди. Людям, работающим на сервисе, очень полезно уметь разбираться в том, who is who! Приветливо кивнув отцу, она прошла мимо нас, к прилавку химчистки. А туда, услышав звонок, уже подошёл Харолд, он уже улыбался вовсю и спрашивал, как поживает миссис Тейлор. Улыбка Харолда – это не привычно-вежливая гримаса, как у многих американцев. Он улыбается от всего сердца. Харолд вообще добродушен и разговорчив. Делает всё неторопливо, но основательно и обду-

манно. Профессионал высочайшего класса. Я всегда с интересом прислушиваюсь к его разговорам с клиентами.

– Миссис Тейлор, уж не знаю, смогу ли это очистить... Жвачка, не так ли? Уж очень она въелась, а материал тонкий, нежный... Но конечно, я сделаю всё возможное...

– Пустяки, – отвечает миссис Тейлор, с улыбкой махнув ручкой. – Не получится, так не получится!

«А зачем же ты несла чистить это старье? – думаю я с насмешкой. – Выкинула бы, да и всё! Жадина ты, жадина!»

И снова мои суждения оказались легкомысленными. Как объяснил мне позже Харолд, «старье» было дорогим фирменным платьем, оно стоило не меньше трехсот долларов.

Закончив дела с Харолдом, миссис Тейлор направилась к нам и положила на прилавок пару туфель. Тут уже и я сразу понял, что туфли – очень хорошие, из дорогой кожи. Правда, не новые: набойки стерлись. Миссис Тейлор просит их сменить.

Когда я здесь, отец обычно поручает мне принимать работу у клиентов. И английский у меня получше, и от починки обуви он может не отрываться. Впрочем, отец внимательно прислушивается к моим переговорам. И не зря...

Узнав, о чем просит миссис Тейлор, я уже собираюсь выписать ей квитанцию на замену набоек – стоит это \$3.50. Но папа, в отличие от меня, прекрасно понимает, что она клиентка богатая и перспективная: миссис Тейлор здесь не в первый раз. Ей можно предложить экстрасервис! Отец мгно-

венно оказывается рядом и, взяв в руку туфлю, начинает разговор.

– Э-э, миз Тейлор, ван секунд... – Папа подносит туфлю к самым глазам, потом ставит её на прилавок и, присев на корточки, разглядывает что-то...

– Видите это? – подсунув палец под носок туфли, отец показывает, что носок приподнят. Он озабоченно покачивает головой: – Плохо! То есть вери бед!

Пользуясь таким наглядным методом, а также своим нехитрым словарем, отец быстро убеждает миссис Тейлор в том, что подметки чуть-чуть прогнулись и их стоит сменить, иначе туфли скоро деформируются. Кстати, он действительно считает, что такая профилактика, в иных случаях даже не выгодная для сапожника, помогает дольше сохранять обувь в хорошем виде.

В руках у отца появляется пара отличных кожаных подошв с фирменным оттиском, и миссис Тейлор окончательно завоевана. Соглашается она и с тем, что ей просто необходим специальный, для обуви из тонкой кожи, крем. Достают его с этажерки...

В результате я выписываю квитанцию на восемнадцать долларов – в пять раз больше, чем собирался получить. Старая леди протягивает нам знаменитые зелененькие бумажки, обладающие магической силой. Нисколько не огорченная их потерей, она отправляется в парикмахерскую по соседству. А уж там, наверно, оставит много больше зелененьких...

Пока никого нет, отец достает из сумки аккуратно обернутые полотенцем тарелки. Они ещё довольно горячие.

В таком бизнесе, как у нас, то есть маленьком и без наемных работников, невозможно сказать заранее, когда сегодня удастся пообедать. Ведь иногда за весь день ни разу не присядешь, а иногда сидишь без дела полдня. Впрочем, теперь пустых дней и часов оставалось всё меньше, не то что в самом начале, когда отец в основном только и делал, что читал газеты. Мастерская в те дни очень напоминала мне будку деда Ёсхаима в Ташкенте: всё оборудование – резак, сапожная лапка и ручные инструменты. Посетители химчистки с удивлением поглядывали на отцовский прилавок. Но всё чаще кто-нибудь обрадованно говорил: «Чините обувь? Очень хорошо! А то в прошлом месяце сломала каблук и выбросила туфли. Не ехать же было в Манхэттен...» И действительно, в те годы сапожное ремесло в Нью-Йорке можно было назвать вымирающим. Мастерскими – в основном в Манхэттене – владели чаще всего пожилые эмигранты-итальянцы. Уж не знаю почему, но прочие представители многочисленных национальностей Нью-Йорка ремеслом этим не владели. Так было, пока не хлынули в Нью-Йорк иммигранты из Советского Союза и особенно – бухарские евреи. Тут уж сапожные мастерские стали расти, как грибы, во всех районах города. К счастью для отца, мы подросли к самому началу этого «грибного сезона». Конкуренентов вокруг пока не было, скромный уголок сапожника в химчистке довольно скоро

начал пользоваться успехом. Почти все клиенты Харолда и Крис постепенно стали и нашими, мало того, многие рекомендовали сапожника своим друзьям и знакомым. И каждый раз, когда приходили такие вот новички, теперь уже сначала к отцу, а потом в чистку, отец с видом победителя поглядывал на Харолда: «Говорил же я тебе»...

* * *

Отец допивает чай, укладывает в сумку тарелки.

– Всего не доделаем, хоть бы половину успеть, – говорит он озабоченно, хотя, конечно, доволен, что работы много.

Когда посетителей нет, я работаю вместе с отцом. Надеваю халат, перчатки, фартук и даже шапочку – про нашу работу никак не скажешь «непыльная» – и сразу становлюсь похожим на отца. Разве что его халат и фартук стали совсем уж неопределенного цвета и покрыты множеством пятен. Я вооружаюсь молотком. Сейчас моё рабочее место – возле лапки на высоком стержне, на неё уже надет мужской ботинок. Я упираюсь в стержень ногой, берусь левой рукой за носок ботинка. Надо прибить к каблуку новую набойку, уже наклеенную отцом. Сапожник я, прямо сказать, аховый, отцу пришлось немало попотеть, чтобы дать мне хоть какие-то навыки. Даже гвоздики в набойки забивать я научился с трудом. Гвоздик тонкий, с маленькой шляпкой, ударишь молотком, а он гнется.

– Почему руку отводишь в тот момент, когда ударишь? – сердился отец. – Бей прямо, вот и не будут гнуться! Прямо, сильно... Ну?!

Мне казалось, я так и делаю, но что-то происходило с рукой, как-то незаметно, чуть-чуть, она отклонялась, вздрагивала, и молоток кривовато ударял по гвоздю... Я злился, нервничал, зато испытал даже что-то вроде гордости, когда рука начала меня слушаться. Теперь гвоздики пробивают набойку послушно и ровнѐхонько.

Отцу нравится учить меня. Это как бы возвращает его в былые дни. Кроме того, он считает, что я непременно должен овладеть специальностью сапожника. «В жизни всякое бывает, – повторяет он. – Посмотри, как пригодилось, что меня дед Ёсхаим делу обучал».

Я не спору, чтобы не обижать отца. Поучусь, думаю, ведь ему нужна моя помощь. Но что мастерство сапожника может мне пригодиться – это просто смешно! Моя дорога ясна, я вот-вот буду программистом...

Ох, не понимал я тогда, что на жизненной дороге, как и на хайвее, многое может произойти!

Пока я вожусь у лапки, отец занят другим делом: края набойки не всегда точно подходят к каблуку, надо их подогнать. Сначала идет самая грубая обработка, вручную: прижав каблук к прилавку, который одновременно служит и верстаком, отец срезает лишнее с краѐв набойки. Орудует он сапожным ножом с широким лезвием, таким же, каким ра-

ботал дед Ёсхаим. Отец всегда делает это сам, щадя мои руки, – у деда они были изуродованы, да и у отца уже немало порезов.

Окончательно совершенствуются набойки на главной нашей машине (уж и не помню, как она называлась, а производила её фирма «Ландис»). Она обрабатывает и набойки, и подметки, да еще и обувь чистит. На станке машины несколько колес. Есть металлическое, оно подравнивает, как нож, края набоек и подошв. Ободья других колес обернуты лентами наждачной бумаги. Одни тонкой, другие грубой. Здесь набойки обтачиваются, чтобы их контур точно соответствовал контуру каблука...

Двумя руками прижав носок туфли к животу, я стачиваю с набойки лишнюю резину сначала грубым наждаком, потом более тонким. Проклятое колесо крутится, как бешеное, осыпая мое лицо пылью – смесью резиновой и наждачной крошки. Чуть ослабишь хватку, туфлю вырывает из рук, и если ты при этом шатнешься, можно запросто ткнуться руками в колесо... Когда кожа содрана наждаком – это очень больно, можете мне поверить. Если же нажмешь слишком сильно, другая беда: сделаешь вмятину на набойке. Работа испорчена, прибивай новую.

К машине отец допускает меня, только если может стоять рядом и страховать каждое мое движение, держа руку на выключателе. Сегодня урок короткий, у него слишком много работы. Поэтому он остается у машины, а я занимаюсь де-

лом попроще: отрываю от туфель старые набойки и подметки, подбираю новые.

Седьмой час, день подходит к концу. Уже и Харолд предлагает нам поторапливаться, да и мы устали. А ведь надо еще прибраться в мастерской: почистить машины, подмести, вымыть пол. Больше всего хлопот доставляет «Ландис». Из специальных мешков, которые находятся под колесами, мы вытряхиваем мусор, резиновую и наждачную пыль. Её набирается полведра. И как аккуратно ни вытряхивай, как осторожно ни сгребай совком, всё равно ты с ног до головы в пыли. Её чувствуешь даже через маску.

Но вот всё прибрано. Инструменты и материалы аккуратно разложены на полках с внутренней стороны прилавка. Мы сняли с себя пропыленные халаты, стряхнули пыль с шапочек, почистили щеткой брюки. Наступает торжественный момент: отец достает из ящика сегодняшнюю выручку, подсчитывает... Почти двести долларов! Неплохо, совсем неплохо.

– Возьми! – он протягивает мне двадцать долларов.

– Зачем? Не надо... – Я пожимаю плечами. Не то чтобы я ломался, но мне всё как-то неловко брать деньги у отца. Ведь я и сам подрабатываю.

– Возьми, возьми! Заработал же... И выручка сегодня приличная.

Мне кажется, что у отца, с тех пор, как он стал хозяином мастерской, как-то изменилось отношение к деньгам. Они

его, если можно так выразиться, больше волнуют. Конечно, он и прежде, в Узбекистане, с удовольствием их тратил, главным образом на себя, мало заботясь о семье. Но сейчас он получает удовольствие уже и от вида этих заработанных денег... Может, потому что долго ничего не зарабатывал? А может, воздух Америки и вид долларов так действует на людей?

Так или иначе, но придя домой с выручкой, отец непременно пересчитывал её снова. Умоется, переоденется и, усевшись в спальне на кровать, выгребает денежки из кармана рабочих брюк.

– Десять... Тридцать... Пятьдесят пять... Сто пятьдесят... Эх, трех долларов до двухсот не хватает!

Лицо у него очень сосредоточенное, но не напряжённое, а довольное, можно даже сказать – просветлённое.

– Значит, так... – И отец придвигает к себе специальную тетрадку. – Значит, сегодняшней приход...

Мне кажется, этот вечерний ритуал доставляет отцу особое наслаждение.

Впрочем, свои вечерние радости есть и у нас. За ужином уже не звучат раздражённые замечания и придирки отца. Теперь мы слушаем, иногда даже с интересом, какие происшествия были сегодня в мастерской, какая нахальная (или нетерпеливая, или бестолковая) приходила клиентка, как отец с ней объяснялся, как ему удалось справиться с очень трудным заказом.

Словом, идет мирная семейная беседа о нашем бизнесе...

Глава 37. «Картинки» просятся на бумагу

Казалось бы, жизнь в Америке захватила меня целиком. Но почему «казалось бы»? Ведь действительно захватила! Заполонила. Заполнила. И время – до последней секунды, так, что и выспаться не удавалось. И мысли, и чувства. Не говорю уж о непрерывном потоке новых впечатлений.

Да, всё так. Но вот, поди же ты... Очевидно, в глубинах нашего мозга есть таинственные закоулки, о которых мы мало что знаем. К примеру, что известно нам о памяти? Ведь кроме той её части, которой мы пользуемся повседневно, есть другая, о которой мы и не подозреваем. Её вроде бы нет, она спит до поры до времени и вдруг пробуждается сама по себе, без всяких наших усилий и даже без нашего желания.

Сию, например, занимаюсь английским, и вдруг перед моими глазами внезапно возникает совершенно реальная сценка из жизни в Ташкенте или в Чирчике. Почему? Ведь я сейчас о своем детстве и думать не думал! А уж во сне то и дело происходят со мной, словно наяву, какие-нибудь давнишние события...

Одно из таких сновидений повторялось почему-то много раз.

Я в Старом Дворе. Стою возле дедовского дома, упершись локтями в подоконник распахнутого окна. Там, за окном,

в своей спальне, мирно похрапывает дед Ёсхаим. К нему с ножницами в руках крадется на цыпочках Юрка. У меня от волнения так колотится сердце, что я не слышу, скрипят ли под его ногами половицы, но на всякий случай шепчу: «Тихо, тихо... Левее!» Я-то хорошо знаю, что дед спит очень чутко. И хорошо помню, какие половицы скрипят.

Дурацкую шутку – подрезать спящему деду бородку – мы придумали ещё совсем пацанами, но даже отчаянный озорник Юрка долго не отваживался её осуществить. И вдруг перед самым моим отъездом в Америку он снова воодушевился нашим давним детским замыслом. «Неужели же, – говорил он, – ты уедешь, не увезя с собой клочок бороды патриарха? На память о роде Юабовых. Подумай только, какая реликвия!» Я колебался, трусил, но Юрка сказал, что всё берет на себя, я буду только наблюдателем. Постоять за окном с целлофановым пакетиком в руках, вот и всё, что от меня требуется.

И вот я стою, и сердце мое колотится, и поджилки трясутся: проснется? Не проснется?.. А Юрке хоть бы что! Крадется с бандитскими ужимками и с блаженной улыбкой, получая, очевидно, величайшее удовольствие от этого спектакля... Вот он уже возле дедовой головы, уже нацелил раздвинутые ножницы, уже протянул и другую руку, чтобы подхватить и похитить отрезанную часть бороды...

– Га-а-а-а-а!

Оглушительный вопль деда. Секунда, и он уже сидит на

кровати, поматывая из стороны в сторону головой и размахивая поднятыми руками. Внушительные его кулаки сжаты, глаза мечут молнии.

– Га-а-а-а! Сволочи-и!

– Рыжий, тикай! – кричит уже на лету Юрка, выпрыгивая из окна...

* * *

Кричу что-то и я. Впрочем, не тогда, в Ташкенте, а в Америке, с трудом пробуждаясь от удивительно реального сна. Он снился мне несколько раз, становясь всё подробнее и красочнее, как будто во сне память возвращала мне то, что было упущено когда-то со страху...

Сценки возникали и наяву, тоже очень яркие, полные деталей. Совсем как кадры на экране телевизора.

«Кадры» вроде этих появлялись перед моими глазами с давних пор. С детства. А в годы ташкентского студенчества, воображая себя то Робинзоном Крузо, то египетским фараоном, то ещё кем-то, словом, предаваясь своим фантазиям, я именно в виде таких вот картинок представлял себе всё, что будто бы происходит со мной. Только тогда их рисовало мое воображение, а теперь – память. Тогда я «включал телевизор», чтобы поиграть, помечтать, а теперь «картинки» появлялись сами, если можно так сказать, без вызова...

Вот так я и узнал, что в таинственных глубинах памяти

обитает мое прошлое. Моё детство. Там у него продолжается своя жизнь, яркая и, как это ни странно звучит, почти самостоятельная...

Иногда я даже хотел бы от этих картинок отвязаться. Ведь вместе с ними, всё сильнее и сильнее мучая меня, приходили мысли о покинутых родных краях, о друзьях... И тут меня охватывала тоска, такая острая, что я порой места себе не находил. Короче, я страдал от ностальгии.

Больше всего мне не хватало Юрки. После переезда в Чирчик мы и виделись вроде не так-то уж часто, примерно раз в месяц. Но летние каникулы обычно проводили вместе. Кроме того, был у нас общий праздничный месяц – апрель. Седьмого апреля – мой день рождения, восемнадцатого – Юркин. Оба дня неизменно справлялись в Ташкенте, в дедовом дворе и я уверен, что для Юрки, как и для меня, это были самые счастливые дни в году, и вовсе не получение подарков приносило главную радость.

Мне почему-то особенно запомнился апрель 1973-го. Справив мое двенадцатилетие и воротившись в Чирчик, я, стораю от нетерпения, ждал новой поездки в Ташкент. Отпраздновать Юркино рождение решили в следующее воскресенье, ждать предстояло не так уж и долго – шесть дней. Но как они тянулись! Каждый был нескончаем, даже школьные уроки, казалось мне, продолжаются куда дольше обычного. По вечерам перед сном я торжественно отмечал конец дня: с помощью нехитрого электроприборчика выжигал чер-

ные точки на полированном изголовье своей кровати...

Мы с Юркой переписывались в Узбекистане, продолжали переписку в Америке, постоянно обсуждая возможности его скорого переезда в США. Но встреча всё отдалялась. Тоска моя росла. Я понимал, что и Юрке трудно переносить разлуку. Окончательно, а вернее – зримо я убедился в этом, получив от него письмо, датированное апрелем 1982-го.

«...Ты пишешь, что когда тебе, вдали от всех родных и близких, исполнилось двадцать, ты невольно почувствовал, что теряешь что-то. Так вот: если ты только сейчас почувствовал какую-то потерю, то я еще три года назад. Я почувствовал, что потерял нечто более близкое, чем кузена, я потерял настоящего друга...»

Услышать от Юрки, от насмешника и задиры Юрки, такое признание, читать его и перечитывать – это было нечто! Я был растроган и взволнован. Знал бы он, как нежно я думаю о нем, вспоминаю наше детство, наши игры, дедов двор. И до чего же мне этого не хватает!

А не хватало так, что я однажды, было это осенью 82-го, начал рисовать карту дедова двора... Я и без того помнил каждый его уголочек, я его **видел** перед собой... Но не зря же влюбленные рисуют, где только могут, черты любимого лица... А карты я с детства рисовал, иллюстрируя приключения героев любимых книг. Это, дополняя «картинки», превращало меня в реального участника событий. Я долгими часами вычерчивал и Робинзоновский Остров Отчаяния, и

жюльверновский Остров Линкольна. Так как же не нарисовать Старый Двор – Остров Моего Детства?

Работал я с наслаждением. Рисую какой-нибудь уголок двора, и вижу не только асфальтовую дорожку, но даже трещинки на ней, травинки в трещинках. Рисую топчан под урючиной, куст сирени, и слышу шелест листвы, вдыхаю запах цветов... Двор будто бы оживал под моим карандашом. Ничего удивительного, ведь в моей голове не переставал работать «телевизор».

Мне даже как-то грустно стало, когда карта была закончена. Рисовать ещё одну? Нет, не то... Но что же делать с «картинками», которые стоят перед глазами? Этого я никак не мог придумать. А что-то делать хотелось... Почему-то вдруг решил заняться родословной семьи, собирать сведения о жизни моих дедушек, бабушек и вообще предков. Сведений набралось не так-то уж много. К тому же это не было связано с моим детством. Тогда я начал записывать по годам – самые важные события своей школьной жизни. Но получалось сухое, неинтересное перечисление. Нет, опять это было не то, не то!

...Есть такая игра: «Горячо – холодно». Я бродил, словно с завязанными глазами, пытаюсь найти что-то очень нужное, и всё время было «холодно», «холодно», «холодно».

Но в один прекрасный летний день, в июле 83-го, я добрался-таки до нужного. Правда, я ещё не догадывался, что добрался, никто не крикнул мне «горячо!», когда я вдруг по-

думал: «А не начать ли мне писать книгу о моем детстве?» Наоборот, я тут же себя одернул: какой из меня писатель? Что я писал, кроме сочинений? Ну, правда, я вел дневник, хоть и не очень регулярно. Но дневник никак не тянул на книгу, я понимал, что её надо писать как-то иначе. А как?

...Я сидел в родительской спальне на кровати, упершись спиной в висящий на стене ковер, и постукивал карандашом по листу тетради, пытался с чего-то начать, но ничего не получалось. Решение не приходило, думать было трудно. Ах, да ладно, хватит мучаться, сдался я и подставил лицо солнечным лучам. Они пробивались сквозь мои прижмуренные веки – вот точно так, как весной в Ташкенте, в дедовом дворе. И вдруг появилась «картинка»: раннее утро, я стою на крыльце. Благоухает весенними запахами цветущий двор. Перед собой я вижу другое крыло дома. Из окошка высывается круглая мордашка двухлетнего Юрки. «Вале-ея, меня мама бьет!» – кричит он.

Я открыл глаза и начал быстро записывать на листке и что я увидел, и что кричал Юрка, и всё, что появлялось дальше, картинка за картинкой... Я боялся только одного: не исчезли бы они внезапно!

* * *

Вот так они сами «достучались» до меня, мои картинки. Так они сказали мне: «горячо»... Я не знал тогда, что это

единственный правильный путь для того, кто хочет писать, – описывать только то, что словно наяву увидел и ощутил. Я не знал этого, но на всю жизнь запомнил, с каким волнением перечитывал в то утро первые свои строчки. Вероятно, я понял, что они «живые», что, пусть коряво, нескладно, но все же мне удалось описать «картинку». И это уже... Это, кажется, похоже на начало книги!

«Каждый пишет, как он слышит... Как он слышит, так и пишет...» – пел Булат Окуджава.

Да, настоящий писатель не только видит, но и слышит. Слово – вот что для него главное, он им владеет, он умеет точно и образно описывать то, что увидел. А я, я только вижу. Для меня – огромный и тяжкий труд описывать эти картинки, находить для этого нужные слова, сравнения, образы. Зачастую я чувствую себя совершенно беспомощным, прихожу в отчаяние... Однако же я как начал это делать летом 83-го, так и продолжаю до сих пор.

Мой литературный редактор, суровая дама, возникшая на моем пути, когда я всерьез взялся за книгу, постоянно снимает с меня стружку за мою «глухоту», за бесчисленные литературные огрехи, за неумение пользоваться русским языком. И всё же каждую проборку она заканчивает небольшой похвалой (возможно, чтобы я окончательно не пал духом). «Ваше счастье, – говорит она, – что видеть умеете. Иногда потрясающе точно! И даже меня заставляете увидеть свою «картинку» вместе с вами»...

Глава 38. «В последний раз...»

Тр-рум-пум-бумм-бумм!

Это я, как всегда вприпрыжку, грохоча по ступенькам, сбегая ранним утром со своего третьего этажа. Сбегаю, распахиваю двери. Попадаю на крыльце в дурманящие запахи майского утра и, вдыхая их всей грудью, снова повторяю слова, которые не выходят у меня из головы: «В последний раз...»

Да, сегодня мне бы следовало спускаться по лестнице солидно, не торопясь, не скакать, а так сказать, шествовать. Я и одет соответственно: вместо потертых джинсов и кед на мне – хорошо отутюженные брюки, нарядная рубашка, зеркально начищенные туфли...

Я закончил колледж, я уже не студент! Это вот-вот будет торжественно подтверждено. Сегодня я направляюсь на выпускную церемонию. И предвкушение этого события, множество связанных с ним мыслей переполняют меня.

Интересно, знает ли хоть один ученый – психолог или психиатр, сколько мыслей может одновременно кипеть, бурлить, сталкиваться в человеческой голове? Как они все там умещаются, как выскакивают, перебивая друг друга, как вдруг заполняет тебя одна из них, а остальные, не исчезая, а только притаясь, тихонько ждут своей очереди... «В последний раз» было лишь общим обозначением того клубка

мыслей, который крутился во мне. Стоило только выйти на улицу, из них выделилась одна: «Прощай, моя любимая дорога!» Казалось бы, не самая значительная, не самая важная мысль для этого дня и вообще для человека, вступающего в новую жизнь. Но эта дорога в колледж стала для меня больше, чем дорогой. Здесь мне особенно хорошо и мечталось, и думалось.

Я любил эту дорогу. Я знал на ней не только каждый поворот, не только каждый дом – каждый кустик. Знал так, что не будь здесь машин, мог бы идти, пересекая все перекрёстки, с завязанными глазами... Ещё бы – ведь за два с половиной года я прошел этим путем много сотен раз, почти не пользуясь автобусом. К чему автобус, если до колледжа я не торопясь иду двадцать шесть минут, что неоднократно было зафиксировано совершенно точно... Это в хорошую, конечно, погоду. Но и в дождливые дни дорога прекрасна. Я бы сказал, в ней появляется что-то особое. Пешеходов почти нет да и машин много меньше. Воздух становится удивительно чистым. Идешь под зонтом, слушаешь, как барабанит по нему дождь – до чего же уютно! Ты наедине с природой. Даже в самые ненастные дни, поздней осенью, когда с океана задувает и несется через весь Лонг-Айленд порывистый, холодный ветер, когда капли дождя, превратившись в жалящих шмелей, залетают под зонт и вонзаются тебе в лицо, я, представьте себе, наслаждаюсь! «Кто кого? – говорю я ветру и дождю. – Не испугаете, не на такого напа-

ли!» Я неплохо снаряжен: на мне длинный плащ, высокие ботинки, я под прочным, большим чёрным зонтом... Иду, пригнувшись, держа зонт за ручку и за один из прутьев... Это мой щит... Вокруг гремит, ревет, дождь бьет меня, ветер рвет зонт из рук... Ничего-о! Выстоим! Выправляю свой зонт, когда особенно сильный порыв ветра выворачивает его, поздравляю себя с тем, что не унесло мой щит в небеса, – и дальше, дальше...

Не стану спорить: это похоже на игру, на одну из тех игр, которые я так любил в детстве. Ну и что же? Думается мне, что это украшает жизнь. И от души жалею людей, которым не знакомы такие игры...

Да, я любил эту дорогу. Я сам её и выбрал, отыскал, испробовав множество возможных, самый короткий и самый для меня привлекательный маршрут. Вместо прямого, но скучного, я проложил для себя другой – причудливо-извилистый. То он идет по широкой Мейн-стрит, то пересекает игровые площадки многоквартирных домов, то виляет между коттеджами, то проходит возле школы или небольшого парка... Может быть, потому что я сам его выбирал и размечал, старательно запоминая все приметы, мне часто казалось, что любой домик здесь, любой дворик, даже каждая скамейка тоже меня знают и любят, глядят на меня приветливо, радуются встрече... Какие-то места были мне особенно приятны. Теперь уж можно признаться: я нередко им кое-что сообщал о тех или иных событиях в моей жизни. Они даже станови-

лись как бы участниками этих событий...

И вот иду я сегодня и всё это вспоминаю. И со всем этим прощаюсь.

...У самого почти дома, на перекрёстке Юнион Тёрнпайк и Мейн-стрит – автобусная остановка. Возле неё, как всегда, народу немало, ждут автобуса. Чудаки! Автобус-то идет только до метро на Квинс бульваре, езды меньше десяти минут, но пока автобуса ждешь... За столько же, пожалуй, и дойдешь. Разумные люди так и делают. Пройтись по чистому воздуху одно удовольствие, ведь вокруг всё в цвету. А многие шагают с наушниками, слушают, к тому же музыку.

Я тоже не прочь иногда послушать одну из любимых групп. Но ещё лучше по дороге размышлять.

Иногда я полон деловых мыслей о предстоящих занятиях, вспоминаю, все ли задания выполнил дома и что сегодня надо успеть сделать. Но чаще эти свои любимые полчаса посвящаю мыслям более приятным о том, например, что сегодня на «компьютере» (так называем мы занятия компьютерными науками) встречу с подружкой и непременно надо выяснить, когда сможем пойти вместе в кино... Или так, погулять... Уж не знаю, почему, но особенно часто я думаю об Инне, когда на углу Мейн-стрит и 77-й авеню подхожу сначала к красивой католической церкви, а потом – к синагоге. То ли я там как-то свадьбу видел и представил себе, что... Впрочем, я твердо знал, что ещё не готов жениться и честно сказал об этом Инне, когда она как-то заговорила о браке.

Вот маленький еврейский ресторанчик на углу 75-й... Из распахнутых дверей – вкусные запахи... Как тут не вспомнить, что сегодня во время ленча будет ждать меня в кафе-террии Джерри, мой новый американский друг. Очень славный парень! Началось знакомство с того, что он помог мне перед уроком, я никак не мог справиться с трудной задачей. Да и потом не раз мне помогал. Интересно, что Джерри прежде собирался стать музыкантом, уже и учиться начал, а потом вдруг решил, что лучше заняться программированием, и перешёл на наш факультет. Не уверен, что из интереса к компьютерным наукам. Скорее всего, по практическим соображениям. У нас с ним как-то был любопытный разговор. Джерри любил гольф и однажды потащил меня с собой. Я честно признался, что мне эта игра кажется довольно дурацкой. Джерри очень удивился:

– Что ты! Гольф – игра богатых и знаменитых!

Я засмеялся:

– А ты кем хочешь быть? Наверное, знаменитым?

Джерри покачал головой:

– Просто богатым...

Я вздыхаю. У меня тоже имеются кое-какие стремления вполне практического свойства, но они пока много скромнее...

Постепенно обзаводясь друзьями, я радовался каждому, всем нашим встречам и развлечениям. Вот мы с утра собрались у Лёньки Фиделя, нас человек семь «земляков», вме-

сте готовимся к зачёту. Стол в гостиной завален учебниками, конспектами, пачками компьютерных распечаток. Спорим, орём – материал трудный. Споры чаще всего разрешает Лёнька, он сильный студент. Небольшой перерыв, и стены трясутся от хохота: анекдот за анекдотом... Тут уж непобедим Марик.

А до чего же весело было, когда прошлой весной, отправившись компанией на несколько дней в горы, жили в палатках у озера!

И всё же, размышляя по дороге о своих новых друзьях, а то и просто так, неизвестно почему, я часто переносился мыслями в другую компанию – ташкентскую. Сколько времени прошло, а я всё равно скучал без них, без своих ребят. Без Ридвана, без Лёньки Школьника. Да вообще без всех! Без той атмосферы беззаботной, без того ощущения теплоты... Впрочем, разве объяснишь, почему с такой сладкой грустью вспоминал я наши «пивные посиделки» в парке Кирова, наши вечеринки с гитарой, даже нашу «хлопковую страду», которую когда-то ненавидели!

Бывшая моя группа закончила институт прошлым летом. Мне известно было, в какой день происходил выпускной бал физического факультета. И уж можете не сомневаться, что, шагая по любимой дороге в Квинс колледж, я находился одновременно в хорошо знакомом зале (он же столовая) на втором этаже Ташкентского Пединститута. Старые друзья толпились вокруг меня, я поздравлял их, они расспрашивали:

«Ну, как ты там? Рассказывай!» – «Да вот... отстал от вас немного... Пока ещё в колледже, учусь на программиста». Все гурьбой мы выходим во двор, рассаживаемся на невысоком каменном заборчике спортплощадки, закуриваем, Сережка Тельтевский учтиво протягивает каждому горящую спичку, она освещает лицо за лицом... Клубы дыма, причудливо извиваясь в лунном свете, поднимаются вверх, сквозь них, весело поблескивая, глядят на меня со всех сторон глаза моих друзей. И я рассказываю, рассказываю о долгом путешествии в Америку, о колледже своем, о том, как мне было трудно и одиноко, о новых друзьях...

Ах, ребята, ребята! Как же мне хотелось на самом деле быть вместе с ними на этом выпускном балу и чувствовать себя человеком, уже закончившим институт, уже получившим образование! И что самое важное, – уже имеющим работу.

* * *

Что ж, пора, наверно, рассказать об этом моем неотступном, почти навязчивом желании...

Есть ходячее выражение – беззаботная юность. Да, для многих и многих это именно так. Юноши и девушки настолько погружены в свою студенческую жизнь, до того захвачены ею – не обязательно занятиями, но уж наверняка общением, дружбами, влюбленностями, развлечениями, что не очень-

то думают о своей будущей взрослой жизни. И уж по крайней мере совсем не стремятся поскорее погрузиться в неё, покончить с учёном.

Со мною всё было не так. Совсем не так...

Помню, как удивилась Лера, моя сокурсница, когда я однажды – мы были только на первом курсе – сказал ей:

– Эх, поскорее бы закончить!

Лера даже руками всплеснула, поражённая такими словами.

– Ты что? Тебе здесь плохо? Мы же только начали!

Я пожал плечами и пробурчал:

– Ну... У нас с тобой разные обстоятельства. Я имею в виду материальные...

Мне совсем не хотелось посвящать Валерию в подробности этих обстоятельств.

* * *

Я писал об этом уже не раз, а сейчас вкратце повторю. Мама по-прежнему работала на фабрике, тратя только на дорогу туда-обратно около пяти часов в день. Мама кормила семью. Отец по-прежнему считал свои заработки личным достоянием. Интересно, что он их не скрывал, но делить с семьёй не желал. Праздники, в таких затратах он принимал какое-то участие. А будни... «Вам же хватает!» – отмахивался отец, когда мама, не выдержав, начинала с ним очередной

разговор о том, что он тоже должен участвовать в покупке продуктов, давать на это часть заработанного, ведь питается-то он вместе с нами... Бывало, что он оскорбленно отвечал: «Ладно, ладно... Вот тебе сто долларов. Хватит пока?» Но проходил месяц-другой, и он снова забывал о семейных расходах.

Почему? Сотни раз задавал я себе этот вопрос. Ведь хочет же отец оставаться с нами, почему же не умеет быть в нормальных человеческих и денежных отношениях с семьей? Этого одной скупостью не объяснишь! Дед Ёсхаим, несомненно, был скуповат, стоит только вспомнить, как он после долгих препирательств выдавал бабушке Лизе деньги на расходы, приговаривая: «Ищъ ти какая!» Но ведь скупость-то его обычно только в ворчании и проявлялась, деньги он давал всегда, даже Робику на его «реконструкции», он был кормильцем семьи. А отец?

– Ты пойми, я же не трачу на себя, я откладываю на чёрный день! Ведь всяко может случиться, правда? – убеждал меня отец, когда я брал на себя, вместо мамы, неприятные переговоры с ним. – Вот случится беда с одним из нас, тут деньги и понадобятся...

Что-то откладывать на случай беды действительно надо было, это я понимал. Мама, например, и кормила семью, и тоже старалась хоть кое-что откладывать из своих совсем небольших заработков... Но я не верил, что отец копит деньги для всех. Не тревожится он ни о нас, ни о маме! Что-то

неладное было в жизни нашей семьи. Я понимал это очень ясно. Что-то угнетающее. Меня одолевали мысли: это ужасно, что одна мама тянет и тянет, надрываясь, семейный воз. Одолевал стыд. Ведь я уже взрослый, пора помогать семье. Мысли эти словно давили мне на плечи, я постоянно чувствовал их тяжесть. Они не заслоняли, к счастью, интерес к занятиям, интерес не пропадал. Мало того, я продлил свое обучение на семестр из-за того, что взял, кроме обязательной программы, четыре курса высшей математики и в придачу к ним – астрономию. То есть учился я всерьез. Но в то же время росло нетерпеливое, жгучее желание поскорее закончить колледж! Порой оно просто преследовало меня.

Я и сейчас считаю, что это нетерпение, это растущее чувство ответственности, было естественной реакцией на то, что происходило в нашей семье. И всё же обидно, что оно слишком рано лишило меня юношеской беззаботности.

* * *

...По дороге в колледж рядом со школой был небольшой скверик, проходя через который я срезал изрядный отрезок пути. Там на одной из дорожек стояли рядком скамейки. Заметив однажды, как поблескивают и перемигиваются на их свежескрашенных деревянных сидениях капельки дождя, я тут же вообразил, будто скамейки здороваются со мной, ответил, и началась у нас дружба. По утрам, пробегая мимо,

я сообщал скамейкам какие-нибудь новости. Но не всем сразу. Одна скамейка была моим собеседником, пока шёл первый семестр. Как только начался второй, я простился с ней очень радостно и стал беседовать со следующей... Вот так скамейка за скамейкой как бы олицетворяли для меня законченные семестры. Становились знаками, установленными на покорённых вершинах... И в этой игре, в этом «отсчёте», по-детски проявлялось моё нетерпение...

* * *

– Раз, два, три, четыре, пять...

Я иду мимо скамеек, считаю их и вспоминаю свои семестры.

Шесть, семь... Всё! Прощайте, я с вами расстаюсь! Не поминайте лихом!

Скамейки, как всегда, откликаются, они умеют со мной разговаривать по-своему. Скамейки прощаются со мной, как мне кажется, не без грусти. Но ведь и я немножечко грущу.

Вот и ворота колледжа. О-о, что тут сегодня творится! Не протолкнешься, весь тротуар запружен народом. А за воротами, на кампусе, на залитой солнцем поляне, собралась, заполнив её, огромная толпа студентов, родителей, учителей. Скоро начнется церемония. Поляна заставлена рядами стульев. Все рассаживаются. Перед ними – трибуна. Над ней на высоком столбе развевается огромный американский флаг.

Этот флаг перед колледжем я видел сотни раз и не испытывал никаких особых чувств. Но сегодня гляжу на него с волнением и даже с гордостью. Подумать только: ведь это я, Валера Юабов, первый из рода Юабовых, закончил колледж в Америке, в этой огромной заокеанской стране, которую осеняет звездно-полосатый флаг! И вот сейчас...

Достав из сумки чёрную мантию, я накидываю её на плечи, надеваю плоскую чёрную шапку с кисточкой – традиционный наряд выпускника и пробираюсь в один из рядов, откуда уже машут мне нетерпеливо мои друзья.

Глава 39. Я – безработный

– Валера, побыстрее! Уже завтрак готов!

– Сейчас вернусь! – Я выскакиваю из квартиры и бегом по лестнице, за дверь, через улицу, в газетный киоск.

Середина сентября, раннее воскресное утро. По воскресеньям выходят специальные выпуски газет, огромные, толстые, многостраничные, со множеством рубрик – от политики до секса. На любые интересы, на любые вкусы. В нашем киоске, который точнее было бы называть магазинчиком, стопками лежат десятки таких газет. И не только на английском языке, еще и на испанском, и на китайском. А на стеллажах рядами стоят десятки ярких американских и зарубежных журналов – искусство, спорт, мода, косметика, туризм, архитектура... Да всё что хотите!

В этот и в другие киоски я частенько заходил то с Викторино, то ещё с кем-то из друзей. Не для того, чтобы купить (нам это было не по карману), а чтобы полистать разные соблазнительные журнальчики, посвящённые поп- и рок-музыке, боевым искусствам, ну и сексу, конечно. Мы жадно их разглядывали и читали, притворяясь, будто выбираем, какой взять, до тех пор, пока не раздавался сердитый голос хозяйна: «Парни, это не кинотеатр, покупайте или уходите!» Так было еще совсем недавно. Но вот уже несколько месяцев, как я превратился в настоящего покупателя. Как бы рассчи-

тываясь с хозяином киоска за свои прежние грехи, я каждую неделю плачу ему денежки и волоку домой пухлые воскресные выпуски газет New York Times и Newsday. Интересуют в них меня теперь не музыкальные новости, не спорт, не секс, а только одна рубрика. По-английски она называется Help wanted. Под желающими, нуждающимися в помощи подразумеваются ищущие работу...

Да, я безработный. Колледж закончен успешно уже три месяца назад, а вот с работой, хотя, видит Бог, я очень стараюсь её найти, успехов пока никаких. Почему? Причин несколько, но главная – отсутствие серьезных деловых знакомств.

Единственным нашим «деловым знакомым» был Юра Пинхасов. Если вы помните, он ещё перед моим поступлением в колледж обещал отцу помочь мне, когда я закончу учиться, устроиться на работу, хотя в то время и сам ещё работы не имел. Однако же папа его обещания не забыл! «Доставать» Юру он, можно сказать, не прекращал, а уж когда я перешёл на последний курс – тем более. Дело в том, что за эти годы безработный эмигрант осуществил свою «вторую попытку». Начал он с баранки такси, потом стоял у станка на предприятии, выполнявшем военные заказы, а теперь на этом же предприятии возглавлял новый экспериментальный цех. Мой отец, конечно же, знал об успехах родственника. Боюсь, что папина настырность не украшала Юрину жизнь, но он от обещания не отказался и даже устроил мне встре-

чу с начальником отдела программирования своей фирмы. Я получил хороший совет: пока есть время, обучиться языку RPG, на котором отдел работал. У меня в колледже этого языка не было, но я не поленился и после занятий два месяца бегал в другой колледж на вечерние курсы.

Словом, главная надежда была на Юру Пинхасова. Но шли месяцы, а работы всё не было. Я искал её отчаянно, я вообще не сидел сложа руки! Но была важная причина, по которой мне не везло: не смог я, когда учился, приобрести практический опыт программиста, то, что американцы называют experience. Каждый студент отлично знает: имея experience, работу найти несравненно легче! В колледже давали возможность подработать всем студентам из малоимущих семей: в начале каждого семестра нас распределяли на несколько часов в неделю туда, где требовались рабочие руки. Я, например, разносил почту, расставлял в библиотеке книги. Но увы, для будущей карьеры ценилась только работа по специальности! Пытался я получить направление в наш вычислительный центр – не получилось... Вот Марику, другу моему, подфартило: когда какому-то из городских вычислительных центров понадобился на лето студент-программист, послали Марка. Он сумел себя показать, понравился, и после колледжа был приглашён на постоянную работу. Повезло Марику, очень повезло! А мне – нет... И как круто, я понял только сейчас: роковые слова «Опыт обязателен» присутствовали практически в каждом объявлении о вакантных местах для

программистов!

* * *

Чтение, а вернее сказать, исследование и обработка объявлений в рубрике «Помощь безработным» (назовем её так) напоминало охоту за каким-нибудь увертливым и ловким зверьком в непроходимых тропических джунглях. Ибо пробираться по страницам, набитым самыми разнообразными предложениями, каждое из которых занимает всего по 4–5 строчек (а всего таких страниц в номере было не менее пяти) и найти при этом то, что тебе нужно, ничуть не легче, чем охотиться, продираясь сквозь джунгли.

На письменном столе – пишущая машинка, стопка бумаги, конверты, ножницы, клей, папки с вырезками. На полу – груды газет. Трудовой день начинается с *New York Times*, потому что это самая популярная, самая читаемая и самая солидная газета, свои рекламы и объявления помещают в ней наиболее престижные и преуспевающие фирмы. Кстати, такие компании на место не скупятся, их объявления занимают по странице каждое. И таких страниц в газете обычно не меньше двадцати.

Казалось бы, какой прекрасный выбор! Программисты требуются научным лабораториям, заводам, адвокатским конторам, издательствам. Программисты так нужны, что многие фирмы рекламируют преимущества своих условий:

у кого зарплата выше обычной, у кого работники получают три недели отпуска вместо общепринятых двух, либо хорошую медицинскую страховку... Объявлений так много, что кажется, будто город недавно построен и, бурно начиная свою деловую жизнь, всех желающих приглашает на праздник труда... Приглашает, но, увы, не меня! Меня жестоко отбрасывают словами: «Опыт работы обязателен»... «День открытых дверей для профессионалов с опытом»... «Самые лучшие условия для профессионалов с большим стажем»... Правая моя рука нервно пощелкивает ножницами: просмотрел больше половины газеты, но еще не вырезал ничего подходящего. Вытерев пальцы, почерневшие от свежей типографской краски, снова переворачиваю страницу. И тут сердце ёкает. «Лаборатория Белла объявляет набор специалистов... Знание языка Фортран...» Знаменитая лаборатория при телефонной компании Белла! Я, конечно же, слышал о ней, читал о её исследованиях в области электроники и телефонной аппаратуры. К тому же я знаю, что там принимают выпускников: прошлой весной представители лаборатории побывали в Квинс колледже и выбрали нескольких лучших студентов. Тогда я в их число не попал. Так, может, сейчас... Но нет, пропади они пропадом! В конце объявления курсивом выделено: «Опыт работы обязателен»... Опять эти проклятые слова! Я со злости даже ножницы швыряю.

Когда я часа через два закончил просмотр New York Times, в моей папке появились три объявления. Всего только три! Но и за то спасибо. В океане предложений место, выделенное выпускникам колледжей, не имеющим опыта работы, не больше крошечного островка, именуемого Entry level. А ведь в Нью-Йорке десятки колледжей и университетов!

Словом, моя «добыча» не так уж и плоха. Одно из приглашений, на которые я мог откликнуться, дала городская телефонная компания, еще в двух фирма не назвалась, дав адрес почтового отделения. Так фирма ограждала себя от непрерывных телефонных звонков и бесцеремонного вторжения жаждущих получить работу...

Нет, не для нас, не для нас зажигал свои огни, трубил в свои трубы грандиозный праздник труда! Да и по правде сказать, грандиозным всё это казалось только таким, как я, людям, не очень-то разбирающимся в экономической ситуации тех лет.

Ситуация была не слишком благоприятной. Республиканец Рейган, всего два года назад сменивший демократа Картера, получил вместе с постом президента США незавидное наследство: глубокий экономический кризис.

Наука считает кризисы и подъемы явлением циклическим, которое не очень-то зависит от политиков и прочих

государственных деятелей. Однако же поскольку при Рейгане Америка действительно вышла из кризиса, общественное мнение приписывает это мудрой экономической политике энергичного президента-актёра, который для начала свёл почти на нет социальную помощь беднейшим слоям населения... Так или иначе, в тот год, о котором я рассказываю, признаки подъема едва намечались. Их радостно фиксировала статистика, но ощущали на себе лишь немногие люди. Поражаясь тому, как много в газетах приглашений на работу, я, конечно, и представления не имел, сколько безработных в Нью-Йорке и вообще в стране (когда Рейган стал президентом, безработица достигала семи с половиной процентов – более двадцати трех миллионов безработных, почти вдвое больше, чем в благополучные времена). Зато о том, что очень много в огромном городе безработных выпускников-программистов я знал прекрасно. Я убеждался в этом каждый день.

С газетами покончено. К листкам в моей папке сегодня прибавилось пять, на каждом – по одной вырезке с предложением. Аккуратно помечено: дата, из какой газеты. Сегодня же я отправлю по почте четыре своих резюме, а в одну из фирм завтра позвоню по телефону.

Я делаю всё это каждую неделю. Но что из того? Мои резюме исчезают так, будто я их не в почтовый ящик кидаю, а в какую-то бездонную бочку. Мне даже не отвечают... Может, я что-то делаю не так?



Уже месяца два назад, увидев, как мало толку от «охоты в джунглях», я принялся искать помощников. Сначала кинулся в агентства по трудоустройству. Обошёл не меньше десяти. Меня очень приветливо встречали и... Не сделали ровным счётом ничего! У этих хитрецов был свой расчёт. Они сохраняли наши резюме, а через год-другой, когда бывшие клиенты уже были при деле, то есть приобретали experience, звонили им по телефону и предлагали работу с более выгодными условиями (я сам получил несколько таких предложений). Расчет был на то, что на первой работе у новичков ставка обычно очень низкая и они с радостью согласятся получать хоть немного больше...

Разочаровавшись в агентствах, я отправился по адресу, указанному в объявлении: «Содействую в получении вызова на интервью». В просторной и светлой гостиной китайского джентльмена по имени Тим собралось человек семь, желающих получить такое содействие. Предварительно мы оплатили курс, состоящий из трех лекций. Главная идея мистера Тима состояла вот в чём: приглашение на интервью получают те, кто умеют привлечь внимание, вызвать интерес к резюме, словом, «подать себя». Тут всё важно. Бумага, например, требуется дорогая, фирменная, бежевая, с водяными знаками. Шрифт на машинке нужен хороший, легко чи-

таемый. К резюме необходимо приложить письмо – так принято в Америке, – в котором претендент рекомендует себя работодателю. В США детей учат писать деловые письма уже в школе (впрочем, я-то не был американским школьником), но мистер Тим сказал, что далеко не все умеют скромно, вежливо, коротко, при этом убедительно сообщить о своих достоинствах и о горячем стремлении поскорее начать трудиться. Поэтому мистер Тим продиктовал нам это письмо. Кроме того, мы получили от него множество полезных советов, в том числе даже такой: отправлять резюме в среду, а не в понедельник. Почему? «Простой расчёт, объяснил нам мистер Тим. На каждое серьёзное предложение откликаются в первую неделю примерно триста человек. Не меньше ста из них, а то и много больше, бросаются к почтовому ящику сразу же, чуть ли не воскресной ночью. Их письма доходят к среде, поэтому у тех, кто читает резюме, в этот день очень большая нагрузка. Устает человек, теряет интерес... Если же вы отошлете письмо не в понедельник, а, скажем, в среду, соперников будет гораздо меньше. Ваше резюме прочтут не так торопливо, более внимательно. Преимущество? Конечно!»

В заключение мистер Тим дал нам список ведущих фирм Нью-Йорка с фамилиями тех сотрудников, которые занимаются подбором кадров.

– Разошлите им резюме сразу, – сказал он. – Не дожидайтесь особого приглашения!

Окрылённый советами, я немедленно принялся за дело. Рекомендательное письмо размножил на ксероксе. Конечно же, на самой замечательной, на самой дорогой бумаге. А вписывал только обращение, дату и подпись. Я знал это письмо наизусть, и всё равно, вынимая его из машинки, каждый раз с удовольствием перечитывал строчка за строчкой:

«Дорогой сэр/мадам!

Я прилежный, трудолюбивый человек, ищущий возможности проявить себя в области компьютерного программирования...» Резюме с таким письмом разлетелось вроде бы по всему Нью-Йорку. Результаты? За два месяца я получил три вызова на интервью. И три раза меня вежливо отвергли: «Ваше имя занесено в список людей, услуги которых нам могут понадобиться в будущем...»

Так... Значит, не научил меня мистер Тим производить хорошее впечатление. И я начинаю искать ещё одного специалиста... Объявление приводит меня в шикарную квартиру на Пятой авеню. Кабинет обставлен мебелью из мягкой кожи, на окнах – тяжёлые гардины, по стенам мерцают картины в тяжёлых, дорогущих рамах. Бородатый пожилой психолог (судя по обстановке, клиентов у него хватает и заработка неплохие) уверен, что сможет мне помочь. Для начала он предлагает тест: рисует на листе бумаги три ряда жирных точек, по три в каждом ряду.

– Соедини их четырьмя соприкасающимися линиями!

Я пытаюсь, но по моим соображениями точки можно со-

единить только пятью прямыми, иначе они будут не соприкасаться, а перекрещиваться. Психолог усмехается и соединяет точки так, что я глазам своим не верю. Он чертит прямоугольный треугольник от нижней левой точки, с биссектрисой из той же точки. При этом оба катета очень длинные, они выходят за пределы точек, иначе их не удалось бы соединить гипотенузой, проходящей через верхнюю правую точку и провести к ней биссектрису...

– Но разве так можно? Это же неправильно... – бормочу я.

– А почему же? – смеется психолог. – Почему ты считаешь, что должны быть установлены именно такие правила? Вот в том-то твоя беда, уже серьезно говорит он, что ты мыслишь по стандарту, боишься выйти за рамки общепринятого, как побоялся выйти за пределы точек. Ты и на интервью такой же скованный, обыкновенный. Не умеешь поразить неожиданным и ярким ответом. Впрочем, не думай, что ты один такой... Но мы это постараемся преодолеть.

Прекрасно! Я согласен преодолевать! Остается выяснить только одно, сколько это будет стоить. Но когда почтенный учёный называет сумму, я с грустью понимаю, что мне придется пока оставаться со своим стандартным типом мышления. А жаль...

* * *

– Послушай, – сказал мне как-то вечером отец, – пом-

нишь, как я искал помещение для мастерской?

Унылый и усталый, я сидел за ужином после очередного провала на интервью и в ответ только пожал плечами.

– Может, позабыл? – не отставал отец.

– Нет, конечно... – пробурчал я. – А что? Случилось что-то с твоим помещением?

– С мастерской всё в порядке. Я просто хочу напомнить, сколько мы с тобой ходили по Нью-Йорку. И все-таки я нашёл место. Выходил ногами. Иногда и ногами полезно поработать, а?

А ведь правда, подумал я. Почему бы не попробовать? Я вспомнил, как мы с отцом, усталые до одурения, часами ходили по Манхэттену, заглядывая во все лавчонки, во все двери с подходящими вывесками. Впрочем, я-то далеко не всегда сопровождал отца, ведь я учился. А он ходил, ходил, ходил. И добился-таки своего. Правда, не в Манхэттене, а в Квинсе. Но мне предстояло снова обхаживать Манхэттен, ведь именно там располагались тысячи различных компаний... Что ж, идея неплоха, придётся поработать ногами!

И начались мои ежедневные поездки в город. Конечно, я воспользовался и списком фирм, который получил от мистера Тима, но закидывал сеть шире, гораздо шире: улица за улицей, авеню за авеню... Захожу в небоскрёб, изучаю в вестибюле список компаний – и к лифту! Этаж за этажом!

Случалось, что в вестибюле меня останавливал вахтер (впрочем, в те годы с этим было не так строго, как сейчас).

Но на вопрос «Ты к кому, парень?» я с достоинством отвечал: «Принес резюме в такую-то фирму (а то и мистеру такому-то)» и демонстрировал вахтеру свою роскошную веле-невую бумагу. Это впечатляло.

* * *

Ах, небоскрёбы, небоскрёбы Нью-Йорка! До чего же вы хороши! Задрал голову, я, бывало, глядел и глядел, как взлетаете вы всё выше и выше в небо и плывете там среди облаков, будто вы не дома, а огромные корабли. Глядел и думал: какие же талантливые, смелые люди вас придумали! Разве не чудо, что вы так мощны, так крепко стоите! Ведь там, наверху, такие ветры дуют – ой-ёй-ёй! До чего же вы хороши, небоскрёбы, и снаружи, и внутри! Помню, как я восхитился, зайдя впервые в многоэтажное здание на Лексингтон авеню... Номер его – 466... Теперь, проходя мимо этого дома, я здороваюсь с ним, как с другом юности и кажется мне, что он отвечает... Построен этот дом-красавец, как два стоящих друг на друге прямоугольника. Нижний шире верхнего. Стены у него из стекла. Верхний выше, чем нижний, у него крыша стеклянная... Лифты там тоже со стеклянными стенами, а в холле, в ясные дни всегда залитом солнечным светом, устроен роскошный сад с бассейном и фонтаном. В какое сказочное царство переносишься, сидя на борту бассейна и слушая песенку воды в фонтане! Но душа была слишком беспокой-

на. Посижу минуточку-другую и вскакиваю. Вперед, к лифту!

На всю жизнь я вас запомнил, величественные вестибюли, комфортабельные лифты, длинные коридоры, шикарные приённые со множеством светильников и телефонных аппаратов, с мягкими креслами, с неизменно улыбающимися секретаршами.

«Чем могу помочь?..» Удивленно поднятая бровка: «Разве мы объявляли о наборе?» Широко улыбаюсь (улыбки я репетировал перед зеркалом) и отвечаю (ответ тоже репетировал): «Простите, зашёл на всякий случай... У вас замечательная фирма (известная компания и т. п.)... Хотел бы показать своё резюме...» И тут оно извлекается из папки – такое красивое, спасибо мистеру Тиму!

Помню, как я замер от волнения, когда это в первый раз сработало и в приёмную вызвали менеджера. Он очень вежливо меня выслушал, взял резюме, очень вежливо пожал мне на прощание руку, обещал позвонить... И не позвонил, конечно. Потом я уже не замирал, но всё же немного волновался: а вдруг... Но нет, чуда не случилось.

Однажды – это было в офисе богатого адвоката – меня даже пригласили в кабинет хозяина. Тут я снова встрепенулся: «Неужели...». Но нет, мистер Купер захотел, оказывается, просто посмотреть на меня. Из любопытства.

«Понимаешь, Валэри, – сказал седовласый адвокат, – мои родители тоже оттуда... Из России... О-о, они эмигрировали очень давно, еще до революции. Я-то здесь родился и вы-

рос, я американец... И знаешь, что я сделал, тоже очень давно, когда начинал? Я сменил фамилию! Мистер Купер – это по-американски звучит, правда? – И он улыбнулся, показав прекрасные вставные зубы. – Мой тебе совет, сделай это тоже! И фамилию поменяй, и имя. У тебя они уж совсем, совсем не американские. Плохо для карьеры! Я сменил. И, как видишь, помогло. У меня большая фирма, преуспевающая. Много работников, престиж...»

Я тоже улыбался, я вежливо благодарил за внимание и советы. Но, выйдя, обошёлся с мистером Купером совсем не так вежливо.

«Нет, мистер Купер, не стану я менять ни имя, ни фамилию! – злобно бормотал я. – Они мои, понимаете? И я хочу, чтобы у меня, у Валеры Юабова, у меня, а не у какого-нибудь там мистера Юма, была работа, фирма, престиж... И будет всё это, понимаете, будет!»

Я шёл по людной улице Манхэттена, размахивал руками и, шёпотом ругаясь с мистером Купером, словно бы давал клятву, что не сдамся, не буду унывать, не совершу ничего такого, чего потом придется стыдиться.

* * *

Не знаю, как долго продолжались бы мои путешествия по небоскрёбам Манхэттена, но прошло совсем немного времени после беседы с мистером Купером и позвонил Пинхасов.

Замечательная новость: меня, может быть, возьмут к нему на фирму, вот-вот вызовут на интервью!

Действительно, скоро пригласили...

«Держаться, держаться! Плечи – прямо, улыбка – спокойная, отвечать твердо, ясно, неторопливо... А главное – расслабиться!» – думал я, входя в просторный вестибюль фирмы. Но тут появился Юра со знакомым уже мне Юджином, начальником отдела программирования, и у меня стало спокойнее на душе.

– Боишься? – Юра усмехнулся и подтолкнул меня локтем. – Не трусь, справишься... Да вот что: с тобой будет говорить сам хозяин компании, Джон Мариотта. Хороший мужик, но, знаешь, чуть странноватый. Так ты, если что, не обращай внимания... Словом, держись спокойно.

Пройдя по длинному коридору, мы вошли в какую-то комнату. К удивлению моему, это оказалась столовая. «Странно, – подумал я, усаживаясь за длинный стол. – Тут на интервью угощают, что ли?» И, действительно, почти сразу началось «угощение». В комнату быстрым шагом вошел невысокий брюнет, несомненно, этот самый Джон Мариотта, а с ним еще двое. Хозяин подошёл к столу почти вплотную и, заложив руки за спину, стал меня разглядывать.

– Кто вы? – громко спросил он.

Вот так вопрос! Не знает он, что ли... Но я привстал и представился.

– Я не имя спрашиваю, не имя! – выкрикнул Мариотта. –

Ты скажи, он кем тебе приходится? – и большим пальцем ткнул в сторону Юры.

– Мой родственник.

– Ага, конечно, родственник! Только их сюда и тащат! А почему, скажи, я должен соглашаться? Почему я должен тебя нанимать, а?

Я поглядел на Юру. Он молча стоял у стены, совершенно спокойный, даже чуть улыбался. Это помогло мне собраться с мыслями и ответить на обидный и к тому же в хамском тоне заданный вопрос. Ответил я, словно читая вслух свое рекомендательное письмо:

– Я прилежный, трудолюбивый человек, хочу проявить себя в области программирования...

– Приле-е-е-жный... Трудолюбии-вый! Ты – канарейка, ты – зеленый огурец, вот ты кто, понял? – заорал мистер Мариотта, размахивая руками, как истинный итальянец. Сказано это было по-английски, но я без всякого труда перевел его слова, как «птенец желторотый» или там «воробей бесхвостый», «редиска», словом, сопляк...

У меня от злости и унижения бешено заколотилось сердце, как когда-то в детстве. Скажи Мариотта еще хоть что-нибудь такое... Не знаю, может, я бы кинулся на него, а может, просто выбежал бы из комнаты. Но он повернулся к Юджину:

– Он что, очень нужен тебе? Для чего?

Юджин энергично кивнул:

– Нужен... И не только он: мы же покупаем новую систему.

– Ручаешься за него?

Юджин снова кивнул:

– Иначе не приглашал бы.

– Хорошо, принимаю... Из уважения к тебе!

И тут странный мистер Мариотта повернулся ко мне. Его только что злое, почти яростное лицо было теперь ясным и добрым.

– Добро пожаловать! – сказал он приветливо, протянул мне руку и вышел со своей свитой.

Ну и ну, подумал я, доставая платок, чтобы вытереть вспотевшие ладони. Странное интервью...

Вот так я и стал программистом в фирме, которая называлась Welbuilt Electronic Dye Technologies.

Глава 40. Роботы, лазеры, люди

Ну, конечно, «стал программистом», это громко сказано. Мне ещё предстояло стать им – испробовать свои силы, понять, что я умею, многому научиться. Пока же я только приглядывался, оглядывался, и впечатления просто-таки переполняли меня.

Но начну по порядку.

Новой была не только работа. Ездить теперь тоже пришлось в незнакомый мне район Нью-Йорка, Бронкс. Репутация у Бронкса неважная. Настолько, что вряд ли кто-нибудь из тех, кто не живет здесь постоянно, осмелится прогуливаться ночью по улицам южной его части. Да и днем здесь не безопасно. На людей, живущих в Бронксе, жители более престижных районов нередко смотрят косо, либо с некоторым сожалением. Это – знак социального неблагополучия, в какой-то степени определение твоего места в обществе... Амнистию получают, пожалуй, только жители Ривердейла – эта часть Бронкса сохранила сравнительно высокий статус, население здесь зажиточнее и интеллигентнее. В Ривердейле, кстати, много русских.

Говорят, в былые времена Бронкс был вполне благополучным, строили и населяли его люди весьма солидные. Да оно и заметно. В Бронксе несколько замечательных парков, прекрасный Ботанический сад, отличный музей, один из самых

больших в стране зоопарков, знаменитый бейсбольный стадион «Янки». Многие улицы хоть и грязны, но красивы – широки, зелены, застроены прекрасными каменными домами вполне европейской архитектуры. Именно так выглядит Гранд Конкорд – улица Великого Согласия, на которой расположена моя фирма. По дороге на работу я с интересом разглядывал здания XIX и начала XX веков с причудливыми узорами на фасадах, с высокими арками над входом.

Дом, в котором располагалась моя компания, двухэтажный, кирпичный, не блистал красотой и выглядел не очень большим. Но это только снаружи. В первое же рабочее утро мой начальник Юджин сказал: «Давай-ка для начала я покажу тебе наше предприятие». И за полтора-два часа мы совершили, можно сказать, путешествие в совершенно новый для меня мир.

Начали мы с верхнего этажа. Зашли на минуту в большой инженерный отдел. Он был заставлен кульманами, инженеры тихо работали, склонившись над листами ватмана. Здесь я не заметил ничего особенно интересного. Зато в вычислительных центрах – коммерческого программирования, в который я был зачислен, и машинного программирования – было на что посмотреть. В центре машинного программирования, например, почему-то были задернуты шторы. Мерцал экран монитора, к нему прильнул парень, он даже не оглянулся, когда мы вошли. На экране виднелся какой-то странный зеленоватый чертёж, но рассмотреть мне его не удалось.

«Программа для работа, – сказал мне Юджин, увидев, как я вытягиваю шею. – Пойдем, сейчас ты его увидишь!»

«Увижу работа? Неужели здесь есть настоящие работы?» – удивлялся я, торопясь вслед за Юджином вниз по лестнице. По обыкновенной, довольно тихой лестнице, которая упиралась в обыкновенную, хотя довольно тяжелую дверь. За нею оказалась ещё одна. Юджин открыл её, и я охнул от неожиданности.

Перед нами раскинулся огромный, залитый ярким светом дневных ламп, цех. В уши мне ударил его грохот, в лицо пахнули его горячие и густые запахи. Десятки больших станков и каких-то машин стучали, скрипели, скрежетали, пыхтели. В этот хор вливались громкие голоса. Люди – кто в рабочих комбинезонах, кто в костюмах, стояли у машин, переходили с места на место, им приходилось перекрикиваться, чтобы услышать друг друга. Еще более громкие голоса объявляли что-то по радио... Поразительно, что этот шум не доносился наверх.

Да, вот это был цех! Разве можно было его сравнить с машиной «Гунчой», например? Даже чирчикский Химкомбинат, где я когда-то побывал на экскурсии, поблек в моих глазах. В зрелище этом была своеобразная красота, ощущение мощи, которая всегда волнует при взгляде на хорошо организованную коллективную человеческую деятельность. Если, конечно, в ней нет признаков подневольности, насилия... Впрочем, могучие танковые колонны или кавалеристы, мча-

щиеся в атаку, или ряды солдат со штыками наперевес тоже волнуют зрителей. А ведь они несут смерть...

Хотя непривычные впечатления просто-таки обрушились на меня, я в этом огромном цехе почти сразу заметил роботов. Наверно, потому что они были очень похожи на тех, которых когда-то в детстве я, как и другие мальчишки, сооружал из деталей конструктора, стараясь придать им человеческий облик... Три голубые высокие машины стояли рядком, и я вдруг увидел, как одна из них плавно повела... рукой, – иначе не скажешь. Назад, потом вперед, вниз... Движение гибкой металлической штуковины было совершенно таким же, как движение руки. Да, очевидно, взрослые инженеры с меньшим удовольствием, чем мальчишки, придавали роботам черты живых существ.

– Ага, увидел! – усмехнулся Юджин. – Японские, мы их с год, как получили. Ну, подойдем, полюбуемся.

Мы остановились совсем близко от работающего робота. Он был просто великолепен! Держа инструмент в своей сильной, гибкой руке с зажимом вместо кисти, робот обрабатывал какую-то деталь, укрепленную перед ним на небольшой низкой платформе. Рука орудовала инструментом, поворачивала его во все стороны с поразительной быстротой и ловкостью. Раздавался лязг и скрежет, с платформы летели металлические стружки и брызги воды. Мне даже пришлось отойти чуть подальше... Вода подавалась на деталь, чтобы не было перегрева. Вдруг всё затихло. Рука, продолжая сжи-

мать инструмент, поднялась от платформы и развернулась за спину. Там, на спине у робота, имелся большой барабан, в его гнездах находилось множество различных инструментов – какие-то огромные сверла, ножи... Впрочем, не берусь ни описывать, ни перечислять, помню только, что они поразили меня своими причудливыми округлыми формами, извилинами, углублениями. Положив инструмент в пустое гнездо барабана, рука на мгновение замерла. Барабан крутанулся, рука тут же подцепила в другом гнезде какой-то инструмент, нужный именно теперь, и снова устремилась к платформе.

До чего же осмысленными выглядели эти движения, вообще все действия робота!

– Ну-ну, оторвись! Стоишь, как заколдованный. – Юджин, смеясь, обнял меня за плечи. – Погляди-ка лучше, как им управляют, ты же программист!

Управлял роботом оператор, который сидел тут же, возле монитора, вделанного в бок умной машины. На экране строчка за строчкой двигались какие-то цифры, слова – одна из тех программ, работу над которыми я уже видел сегодня. Мне стало досадно, что ничего я в этом не понимаю. Управлять такой замечательной машиной, вот это настоящее дело. Эх, зря не учился я техническому программированию!

Однако же Юджин торопился да и мне пора было приниматься за дела. Но по дороге наверх меня ожидало новое открытие.

В коридоре второго этажа на одной из дверей висели две

таблички: «Отдел вакуумного напыления» и «Посторонним вход воспрещён».

– Догадываешься, кто здесь работает? – спросил меня Юджин.

Я кивнул:

– Юра Пинхасов. Но почему вход воспрещён?

– Почему, почему... Ты что, не понимаешь, чем занимается твой родственник?

Признаться, в то время я понимал это, действительно, очень плохо. Так, слышал кое-что, не очень-то вдаваясь в суть. Но сейчас постараюсь коротко рассказать о том, как блистательно Юра Пинхасов осуществил в Америке свою «вторую попытку».

Напомню: преуспевающий физик-электронщик эмигрировал в США, чтобы, как он говорил, начать всё заново. Английского языка Юра, к сожалению, не знал и начинал действительно с нуля. Сначала был таксистом, потом встал к станку на предприятии, работавшем на военную промышленность. Но расставаться с электроникой он вовсе не помышлял. Ходил по библиотекам, изучал богатейший опыт применения в промышленности США электровакуумных установок. Особенно Юру интересовали различные методы испарения и напыления металлов в вакууме. Этих методов много, более пятидесяти. Юра сравнивал их, припоминал и додумывал свои прежние идеи... Короче говоря, ещё сидя за баранкой такси, он разработал свой собственный новый ме-

год. И года через два сумел получить на него патент. Так и случилось, что рабочий-станочник, эмигрант из Советского Союза, пришёл однажды к своим хозяевам и, положив перед ними на стол патент, предложил создать на предприятии ещё одно производство. «Напыление металлов – дело стоящее, перспективное, его использует вся электронная промышленность. От заказов отбоя не будет».

Юрины хозяева ничего не знали об электронике, но Америка – страна смелых предпринимателей. Они согласились на то, чтобы простой рабочий продемонстрировал им процесс напыления металлов, доказав наглядно, что это будет приносить прибыль. Юра обещал доказать. Два месяца, закупая необходимые инструменты и детали, работая по вечерам, после смены, собирал он вакуумную установку. Наконец, демонстрация состоялась. Думаю, что, кроме всего прочего, она произвела впечатление своей необычностью. Юра положил в камеру листок обыкновенной туалетной бумаги, включил вакуумную установку – и через несколько минут, когда процесс напыления закончился, перед удивлёнными зрителями лежал тот же листок, покрытый тончайшим слоем меди.

Да, это было убедительно! Если человек показал, что в вакуумной установке можно использовать для напыления металла даже туалетную бумагу... Юра Пинхасов завоевал доверие. Ему дали премию – тысячу долларов. Его предложение приняли. Получив лабораторию, необходимых сотруд-

ников и рабочих, Юра приступил к созданию нового производства. Начать пришлось с проектирования и сборки вакуумных установок. Закупать такое дорогое оборудование хозяева предприятия не сочли возможным. Так что и это нелегкое дело легло на Юрины плечи.

К тому времени, когда я заканчивал колледж, Юра Пинхасов стал на фирме человеком известным и даже окружённым некоторым ореолом таинственности...

* * *

– У твоего родственника светлая голова, – вразумлял меня Юджин. – Но над чем он работает, что в лаборатории происходит – не разглашается. То, что он делает, слишком важно. За этим знаешь, как охотятся? Конкуренция! Самые почтенные фирмы занимаются воровством идей.

О том, что такое конкуренция и воровство идей, я знал очень мало, но заглянуть в эту таинственную лабораторию мне очень захотелось. Если, конечно, Юра разрешит.

Вторую половину дня я провел в своем центре коммерческого программирования. Коллеги-программисты Алан и Билли, оператор Карлос встретили меня приветливо. Видно, сразу почувствовали, что я не уверен в себе, напряжён. У меня на то были причины: я же попал сюда по блату, не пройдя технического интервью, не доказав, что достаточно подготовлен к работе. К таким ловкачам обычно относятся с

насмешкой, а то и враждебно... Но парни оказались доброжелательными и не мелочными.

– Первая работа? – спросил Билли. – Не переживай, привыкнешь быстро.

Алан, он был здесь главным программистом, кивнул:

– Испытательного срока не бойся, давить на тебя никто не будет. А если что – поможем, окей?

Когда оба они вернулись к своим мониторам, оператор Карлос махнул мне рукой:

– Пойдем-ка, покажу кое-что.

Он подвел меня к большому, по пояс мне, белому металлическому ящику, в верхней части которого стояли экран и клавиатура. Ящик монотонно жужжал, из длинных прорезей в его боковой стенке струился нагретый воздух.

– Ага, компьютер! – пробормотал я. Мне почему-то не хотелось показывать, что я взволнован. Я ведь впервые в жизни стоял возле настоящего компьютера, впервые мог прикоснуться к нему. В колледже мы пользовались только вспомогательной аппаратурой – сначала печатными устройствами для перфокарт, потом – мониторами. Сами же компьютеры находились в особой комнате, в которую студенты не имели доступа.

– Хорош, правда? – сказал Карлос и провел рукой по стенке компьютера с такой нежностью, словно гладил щёку любимой девушки. – Это «Система-36», только получили. Высший класс!

И я тут же выслушал подробный рассказ о том, насколько 36-я совершеннее, быстрее, легче в управлении, чем прежняя «Система-34» (Карлос небрежно мотнул головой куда-то в сторону. Там в уголке стояла отслужившая своё 34-я... А ведь совсем недавно и она была фавориткой). Карлос же перечислял всё новые и новые достоинства 36-й. Как деликатно она шумит, как прекрасно отделаны все детали. Тут он снова ласково погладил стенку ящика с закругленными углами. Компьютер явно был для него живым и любимым существом. Закончил Карлос свою речь горячими похвалами в адрес знаменитой компании «Ай-Би-Эм», выпускающей эту систему. И хотя красивый молодой испанец был всего лишь оператором на каком-то малоизвестном предприятии, я думаю, что сам президент «Ай-Би-Эм» был бы растроган и польщён, услышав его...

За свой рабочий стол я уселся уже совсем не таким нервным и трусливым, каким входил в комнату. Я попал к хорошим людям, они меня приняли, это было ясно. Остальное теперь зависело от меня.

Мне предстояло заниматься программой, связанной с работой бухгалтерии. Это была универсальная программа, которая обрабатывала множество данных, таких, скажем, как количество отработанных часов, оплата труда, учет всевозможных закупок у поставщиков. Многие из этих премудростей были мне незнакомы: в колледже мы недостаточно глубоко вникали в проблемы, связанные с коммерческим про-

граммированием. Но ведь учился я не только программированию и прочим наукам. В колледже я учился учиться... Придвинув к себе большую стопку всяческих руководств и инструкций, я включил монитор и принялся за дело.

* * *

В таинственную лабораторию Юры Пинхасова (кстати, на работе его звали Эдуардом – возможно, он сменил имя потому, что «Юра» американцам ужасно трудно произносить), так вот, в лабораторию Юры-Эдуарда я попал только через несколько дней. Вечно занятой родственник, увидев меня как-то в коридоре, бросил на ходу: «Будет время, загляни». Поднакопив время за счет обеда, я постучался в дверь с двумя табличками. И тут же убедился, что я посторонний: строгая женщина с русским акцентом, спросив, к кому я и кто я, захлопнула дверь перед моим носом. Впрочем, очень быстро пустила меня, уже улыбаясь: «Заходи»...

Юра стоял на столе, спиной ко мне, склонившись над большим прибором сферической формы. Прибор показался мне похожим на аппарат для глубоководных океанских исследований, я не раз видел их на экранах телевизора.

– Нравится? – Юра прыгнул со стола. – Это и есть печь... Точнее, вакуумная система. Собрали, уже опробовали... – И он поглядел на прибор почти таким же влюбленным взглядом, как оператор Карлос на свой компьютер.

– Ра-а-ботает, прекрасно работает! Вот, погляди...

Одну за другой он протягивал мне различные штуковины. Одна была, как я понял, рефлектором для автомобильной фары. Внутренняя вогнутая сторона его так и сверкала, отражая солнечный свет. «Гляди, как тонко, как ровно!» – бормотал дядя, поворачивая рефлектор в разные стороны. Потом пошли плашки – такие, на которых монтируют микросхемы для великого множества различных электронных устройств. На плашках пока еще не было микродеталей, а только разного диаметра отверстия для них. Зато установка напылила соединительную сеть, тонюсенькие, некоторые не толще волоса, серебристые металлические полосочки, под прямым углом огибающие отверстия. Я взял одну из плашек в руки со странным чувством: вспомнилось что-то очень давнее и когда-то очень важное для меня. Впрочем, это случается со мной каждый раз, когда вижу какую-нибудь микросхему. Давным-давно, в восьмом классе, заразился я от одноклассника Вовы Ефимчука радиоловительской страстью. Вовка сам чертил радиосхемы, сам их собирал. И меня научил. Проводочки, которые я напаивал тогда на свои микросхемки, были, естественно, грубыми и топорными по сравнению с ювелирной вакуумной работой. Но я вспоминал их с нежностью.

Очевидно, любое творчество, даже самое нехитрое, оставляет в душе неизгладимый след. Наша память как бы вызывает к нам, как бы требует, чтобы мы, наконец, задумались: тем

ли мы занимаемся, чем надо? Не загублены ли, не остались ли без применения наши творческие задатки?

Жаль, что к этим «внутренним голосам» мы далеко не всегда умеем прислушиваться...

– Пробуем, пробуем, – приговаривал Юра, перебирая детали. – Пока, понимаешь ли, мы еще не определили окончательно, что будем напылять, каков будет производственный цикл. Ведем эксперимент, широкий...

Тут я обвел взглядом лабораторию, где и столы, заставленные разными приборами, среди которых был даже микроскоп, и полки с рядами банок, бутылок и колб, словом – всё подтверждало слова дяди о широких исследованиях. Людям знающим, учёным, достаточно, вероятно, обменяться несколькими словами, и им уже ясно, чем занимается каждый из них. Мне же, юнцу зеленому (не зря босс обозвал меня огурцом!) понадобилось увидеть эту лабораторию, чтобы хоть немножечко понять, каким важным и трудным делом занимается Пинхасов.

– Ну как, интересно тебе? – спросил он. – Вопросы имеются?

– Да... Зачем самим печи собирать? Нет, что ли, таких, какие вам нужны?

– Есть! Дашь двадцать-тридцать тысяч долларов, куплю... – засмеялся Юра. – Не дашь? Ну вот и фирма не согласна столько тратить на эксперимент. Ведь отдачи пока никакой.

– Но будет?

– Ещё бы! Только не очень скоро. А я пока сам конструирую. Это гораздо дешевле, это фирма оплачивает... Ну, ладно, мне в цех пора. Хочешь, пойдем, покажу, как делаем плашки для микросхем.

Машина, к которой мы подошли, стояла в углу цеха за сетчатой перегородкой.

– Лазер, – сказал Юра не без гордости.

В те времена лазеры ещё были редкостью даже на американских предприятиях. Я-то о них вообще знал только благодаря научной фантастике. А сейчас эта «фантастика» стояла передо мной и возле нее возился Генка, парень из отдела машинного программирования. Поглядывая на экран монитора (он был тут же, на стенке лазера) что-то там нажимал... И снова я горько пожалел, что не учился машинному программированию!

Лазер был довольно громоздким и немного напоминал животное: у него имелось что-то вроде головы, небольшая металлическая коробка, прикрепленная сбоку к более широкому и массивному основанию. Генка запустил лазер, в «голове» что-то задвигалось, заурчало – и по краям её засветились красноватые огоньки. Продолжалось это меньше, чем полминуты, потом всё притихло и «голова» приподнялась. Генка снял из-под неё плашку и протянул Юре. Плашка была вся в дырочках и разрезах, при этом разного диаметра, ширины и длины.

– Это как же? Значит, лазерный луч всё время менялся? – спросил я.

– А на что же программа? Ты бы видел, какие мы тут фигуры вырисовываем! – засмеялся Генка.

* * *

...По дороге из цеха наверх я пытался ещё о чём-то расспрашивать Юру, но поговорить почти не удалось. Со всеми, кто нам встречался (а по коридорам то и дело проходили люди), будь то рабочие в запачканных комбинезонах или инженеры в строгих костюмах и при галстуках, Юра здоровался. Его «Hello! How are you?» было таким приветливым, а улыбка такой открытой и широкой, будто встречались нам только его близкие друзья. Да и они вели себя так же. Многие останавливались перекинуться парой слов... Конечно, я знал, какой добрый и отзывчивый человек мой родственник. И всё же удивлялся: когда он успел так сойтись с людьми на предприятии, завоевать такое отношение? Ведь работал он, так сказать, за закрытой дверью и никто, кроме нескольких руководителей фирмы, толком не знал, чем он занимается. Конечно, этот ореол таинственности тоже способствовал популярности дяди. Но больше – его душевность, простота...

Надо сказать, это очень выделяло Юру среди многих руководящих сотрудников фирмы. Джон Мариотта вообще ходил по коридору, никого не замечая, лишь изредка кивал ко-

му-нибудь. Но особенно неприятным казался мне начальник инженерного отдела Евгений. Этот тип на всех, кто был ниже его по должности, взирал свысока, мог и не ответить на приветствие, пройти мимо с надменным выражением лица. Зато с руководителями фирмы вел себя раболепно: раскланивался, сладко улыбаясь, руку бросался пожимать... Известно было, что он бегаёт к начальству с доносами, клеветает на тех, кто ему не угодил. К сожалению, это поощрялось. Среди нас ходило словечко «политика». В английском языке у него много значений. В данном случае подразумевались хитрости, интриги, чьи-то тайные интересы, а вовсе не разумные действия. Кого-нибудь незаслуженно переводили на более высокую должность, повышали зарплату. Ребята в моем вычислительном центре переглядывались, пожимали плечами: «политика»... Инженерный начальничек (между прочим, он был русским эмигрантом) славился, как мастер «политики». Он постоянно старался кого-нибудь выжить. И уж меня бы он выжил с великим удовольствием! Не потому, что я для него что-то значил. Я был мелкой сошкой, сопляком. Но я был родственником Юры Пинхасова, человека, которому этот тип жгуче завидовал... Завидовал и ненавидел. Зато, разумеется, что дядя благодаря своим талантам поднялся так высоко и «подсидеть» его никак нельзя.

Когда мы с этим начальничком встречались в коридоре, он ничего не мог поделать со своим лицом, оно напрягалось, выдавало его злобу. Зрачки, увеличенные линзами оч-

ков, начинали метаться... Стараясь казаться невозмутимым, я глядел ему прямо в глаза и говорил своё обычное: «Здравствуйте...». Он достаивал меня чуть заметным кивком.

* * *

Пока мы с Юрой шли по коридору, я выложил эти свои впечатления и спросил: «Посоветуйте, как вести себя?»

– Глупый человек, – поморщился он. – Не обращай внимания, вот и всё! А Джон Мариотта, он, может, и забывает здороваться, но человек достойный. Ты, например, заметил, сколько у нас на фирме испанцев?

– Испанцев порядочно. Наверно, потому что испаноязычные живут в ближней части Бронкса?

– Живут-то они близко, – усмехнулся Юра, – но по большей части предпочитают не работать, а дома сидеть и лапу сосать... Велфор – знаешь, конечно, о таком пособии?

Конечно же, я знал о велфоре. Знал, что Америка очень щедра, социальную помощь получают миллионы и миллионы людей. Но есть в этом и обратная сторона: в Америке легко стать тунеядцем... Так вот, по словам Юры, Мариотта не жалел времени и сил, уговаривая своих соотечественников жить достойно, по-человечески. И теперь многие из них стали прекрасными работниками.

Не стану скрывать, я всё ещё злился на Мариотту за его презрительный тон во время первой встречи, нередко вспо-

минался мне его «зеленый огурец». На этот раз я с симпатией вспомнил о другом: о том, что на прощанье он дружески пожал мне руку.

Глава 41. Американская мечта

Если идешь от Юнион Тёрнпайка по Мейн-стрит, ещё издали заметишь белую башенку. Украшает она невысокий, старинного вида дом, что стоит на углу 75-й авеню. Мне эта башенка сразу понравилась. Спешешь, бывало, от метро домой, глядь – она белеет вдали среди зелени. Будто улыбается тебе, будто здоровается. Ну и я, конечно, ей: «Привет!» А со временем и весь дом стал для меня чем-то очень значительным, вызывающим чувство глубокого почтения. И даже гордости, что я близко знаком с таким замечательным зданием и часто его посещаю. Ведь оно было точь-в-точь таким же, как знаменитое здание в Филадельфии, вошедшее в историю Соединенных Штатов, как Independence Hall. Именно в том здании, построенном в 1753 г. для правительства Пенсильвании, была принята Декларация Независимости, в нём обсуждалась, составлялась и подписывалась Конституция... Словом, именно там родились Соединённые Штаты Америки!

Здание с белой башенкой на Мейн-стрит построено в честь Independence Hall. Торжественную атмосферу ощущаешь уже в вестибюле, где на невысоком постаменте стоит колокол – копия Колокола Свободы, который звонил, когда подписывалась Декларация Независимости. Об этом колоколе существует несколько преданий. Он сразу же почему-то

треснул, та же участь постигла такой же, отлитый заново и пришлось отлить третий. Однако же какой-то из этих колоколов хранится с тех пор в Independence Hall, как символ свободы, а для каждого из штатов Америки отлита его копия. Владельцам здания на Мейн-стрит досталась одна из них...

Из вестибюля попадаешь в зал, высокий и светлый, украшенный копиями исторических картин и портретов двух легендарных президентов, Вашингтона и Линкольна. Оригиналы находятся в Пенсильвании.

Дом с белой башенкой на Мейн-стрит выглядел, как Independence Hall, перенесенный в Нью-Йорк, и мог бы быть музеем. Но был здесь вовсе не музей, а банк! Его выстроила для себя одна из американских банковских компаний – Queens County Savings Bank. Я потому и приходил сюда, что наша семья пользовалась услугами этого банка. Направляясь к стеклянной перегородке, чтобы протянуть свой чек в окошечко кассира, я проходил мимо высоких стен, с которых благосклонно глядели на меня президенты – создатели Америки. Они как бы одобряли меня, как бы говорили: «Правильной дорогой идешь, Валера!»

Эта шутка вовсе не означает, что мне кажется нелепой или претенциозной идея владельцев банка разместиться в здании-музее, и поднять таким образом свой имидж в глазах вкладчиков. Наоборот – прекрасная идея, она гораздо остроумнее да и благороднее многих современных реклам. Ведь в этих стенах чувствуешь себя так спокойно! Они как бы го-

ворят тебе: «Мы чтим Конституцию. Мы – продолжатели дела тех, кто её составлял. Мы помогаем умножать богатства Америки и охраняем права каждого из вас».

Короче говоря, именно в Queens County Savings Bank я приобщился к современной банковской системе. Постепенно начал понимать, что сегодня без нее не может существовать мир – промышленность, торговля, любой бизнес, любые деловые отношения, в которые так или иначе вступает каждый человек. Ведь банки – это прежде всего кредит, а кредит – это основа основ, кровеносная система современного капиталистического общества. Я не знал этих элементарных истин и по молодости, и, главное, потому что прибыл из тоталитарного государства, именуемого Советским Союзом, в котором были изуродованы все законы экономики. Наши сберкассы были лишь бледным, малокровным подобием банков. А слова «банк, банкир» вызывали пугающие образы: мешки с награбленным золотом, толстопузый миллионер с сигарой во рту... Для нас, бедных иммигрантов, знакомство с реальными банками, с тем, какую роль играют они даже в повседневной жизни любого американца, было почти что потрясением.

Взять хоть нашу семью. Не успели мы приехать, как начали получать денежную помощь от Няяны. Давали нам не деньги, а чеки. На оплату квартиры – один чек. На бытовые расходы – другой. На покупку мебели – третий... А с чеками нужно идти в банк. Хорошо хоть нам в Няяне объяснили, в

какой именно банк, как его разыскать в Манхэттене. Но всё равно страшно и непривычно! Мало того, выяснилось, что нам необходимо открыть в каком-нибудь банке счёт. Как это делать? В какой банк идти? Ведь их вокруг нашего дома довольно много... Казалось, что нас ждут немыслимые трудности, подстерегают неведомые опасности. Потому и выбрали мы банк с белой башенкой, что выглядел он доброжелательным и надёжным. К тому же был поблизости.

Мы долго не могли привыкнуть к чекам и с любопытством рассматривали каждый, как диковинку какую-то. Даже когда мама уже поступила на работу. Её первый чек вызвал, понятное дело, особый интерес. Это, как и все чеки предприятий и фирм, был не обычный маленький листок из чековой книжки, какими пользуются частные лица, а специальный платёжный, выдаваемый организациями. Широкий лист плотной бумаги, перфорированный посередине, был заполнен информацией о маминых финансовых взаимоотношениях с фабрикой. Но выудили мы из нее очень мало: не смогли разобраться. Впрочем, главное, сколько мама получила за неделю, мы поняли. И тут же убедились в том, что налоги здесь – ой-ой-ей какие: третью часть маминой полочки высчитали, вместо трехсот она получила около двухсот долларов.

– Ужас сколько отчисляют! – возмущалась мама. – Там жали, а тут жмут похуже!

Но как бы ни отчисляли, как бы ни огорчало это нас, лю-

дей малоимущих, всё же на хозяйство хватало. Даже начали постепенно кое-что откладывать «на чёрный день», как любил выражаться отец. Впрочем, и не на чёрный тоже. Я начал работать, в семейный бюджет влилась моя доля, очень скромная. Я получал на пятьдесят долларов в неделю меньше, чем мама, и мы шутили, что лучше бы я учился маминому ремеслу. Но бюджет вырос. Сестрёнка, учась в колледже, тоже работала косметологом. Мы трое – мама, я и Эмма – имели, естественно, общий банковский счет. А отец – свой.

* * *

Заходя в банк, я обычно проделывал два дела. Сначала оплачивал у окошечка счета за квартиру и коммунальные услуги, клал свою и мамину заработную плату на нашу общую сберкнижку (в те годы у вкладчиков непременно была сберкнижка). Второе дело было более секретным: надо было спрятать приработки.

На счету в банке мы их, конечно, не держали. Сказать по правде, я просто не знаю людей, которые не старались бы утаить размеры доходов от бдительного ока налоговой инспекции. В штате Нью-Йорк федеральный и штатный подоходный налог составляют в среднем 30–35 %. Неслабо, мягко говоря. Желание как-нибудь, хотя бы частично, увернуться от нелегкой повинности можно назвать всеобщим. Для этого есть немало способов, но самый распространённый – полу-

чать у работодателя деньги наличными, а не чеком. В этом случае твои доходы не высвечиваются, ты можешь не класть их в банк, вообще не предавать огласке. Государственным служащим и работникам солидных компаний мечтать о зарплате в виде кэша не приходится. Не имеют такой возможности доктора, программисты, инженеры. Если они и получают кэш, то только «слева». Но вот мелкие торговцы, парикмахеры, сапожники или, скажем, торговцы золотом, – у них руки развязаны!

Отец, естественно, был одним из этих счастливицев. Получал деньги за починку обуви только наличными. По вечерам мы видели, как он их пересчитывает, но знать не знали, где отец держит свои сбережения. Свои же «левые доходы» мы хранили сообща в местечке, не доступном для глаз сборщиков налогов. Мне всегда казалось забавным, что местечко это находится в том же самом банке, в здании с белой башенкой.

Отойдя от банковского окошечка, я спускался по лестнице в подвал. Может быть, другим посетителям он и казался обыкновенным подвалом, но мое воображение уносило меня в пещеру из восточной сказки, где таятся неисчислимы сокровища. В подвале помещался сейф. Персональный сейф, который мог абонировать любой из клиентов банка, чтобы хранить в нем... Ну, по правилам – какие-нибудь драгоценности, важные документы. На деле же ко всему этому в нарушение всех правил непременно добавлялись тайные сбережения. В старину их, запихнув в чулок, хранили под мат-

рацем, в каком-нибудь темном чулане. А то зарывали под деревом. Или даже прятали в пещере, которую я себе воображал, спускаясь по лестнице. Сейф, конечно же, был менее романтичен, чем пещера, но не менее надежен.

– Распишитесь... – Пожилая дама в очках протягивает мне ручку и маленький белый листочек. Это начало долгой церемонии: идет проверка, имею ли я доступ в сейф. Я указываю номер своего ящика в сейфе и расписываюсь. Дама достает нашу карточку и сличает мою подпись на ней с листочком. Нелепость – дама прекрасно знает меня, я пользуюсь сейфом уже много месяцев. Но... Она не имеет права нарушить распорядок действий!

– Идемте, – говорит дама, и мы подходим к сейфу. Открыв металлическую дверь, дама широко её распахивает, и я, как всегда, восхищаюсь: ну и толщина! А замки какие! Это несколько цилиндров с выпуклой головкой, каждая с мужской кулак... Увидев такие замки, думаю я, успокаиваются самые нервные клиенты.

За дверью что-то вроде металлического многоэтажного шкафа с множеством ящичков трех размеров. Это святая святых: индивидуальные сейфы. У каждого – два замка на крышке. Начинается последний акт церемонии: я протягиваю даме ключ. Она находит в своей связке ключ от второго замка и открывает ящик. В нем – металлическая коробка. Вынимаю её... Наконец-то сокровища в моих руках!

Смотреть, что я беру из коробки или что кладу в неё, дама

не имеет права. Это моё Privacy, личное дело, в которое никто не смеет вмешиваться. Я прохожу в специальную комнату для клиентов, закрываю дверь на замок...

Как молодой повеса ждет свиданья
С какой-нибудь развратницей лукавой
Иль душой, им обманутой, так я
Весь день минуты ждал, когда сойду
В подвал мой тайный, к верным сундукам.

Я не читал тогда, конечно, этот маленький шедевр Пушкина, но сейчас, вспоминая свои походы в сейф, думаю, что и в моей душе была какая-то толика того страстного влечения, которое целиком заполняло душу старого скряги – «скупого рыцаря». Ведь не зря же я до сих пор так живо помню, как откидываю металлическую крышку своего «верного сундука», нетерпеливой рукой снимаю лежащие сверху документы – трудовые книжки, аттестаты, метрики... Вот блеснули, наконец, в уголочке, на дне ящика, простенькие золотые украшения: колечки, цепочка, браслетик... Ну, эти-то безделушки вызывали у меня только вздох сожаления: когда уезжали, немало денег в них зря вбухали. Думали, на первых порах сможем на это золотишко жить. А оказалось, что в Штатах ничего оно не стоит, это не более, чем «скрап», а по-русски говоря – утиль, мусор. Но рядом со «скрапом» имелось кое-что получше: всё дно ящика было устлано аккуратными пачками зеленых. Полюбовавшись ими, так же аккуратно уло-

жив то, что принес сегодня, беру в руки одну из пачек, снимаю с неё резинку и начинаю пересчитывать сотенные купюры. Каждый раз так делаю, не могу удержаться. Новенькие, они так приятно шуршат...

К счастью, железный «сундучок» не превратил меня в «скупого рыцаря». Деньги необходимы были для жизни, мы их брали понемногу, по мере надобности.

* * *

И вот однажды я пришёл в «пещеру», чтобы совсем опустошить «сундук».

Идея купить квартиру родилась у отца. Шёл четвертый год нашей жизни в Америке. Самое трудное время, о котором отец говаривал: «На ноги мы поднимались с зада», осталось позади. Теперь, утверждал он, пора этими ногами делать решительные шаги, и первым должна стать покупка квартиры.

Всерьез об этом заговорили, когда из менеджмента прислали новый договор на продление аренды квартиры. Выяснилось, что оплату повышают.

– Безобразие! На шестнадцать процентов! – Кричал, стуча пальцем по бумаге, отец. – Значит, драть будут... Э-э-э... Пятьсот двадцать два в месяц! А через три года? А через шесть лет сколько будем платить?

Это «будем платить» в устах отца звучало, мягко говоря,

странно: он в семейных расходах участия по-прежнему не принимал. Спасибо, что хоть озабочен был их ростом. Надбавка платы за аренду оказалась довольно большой. Нам, выходцам из Советского Союза, стоимость жилья в Америке вообще казалась чудовищно высокой, никак мы не могли к таким расценкам привыкнуть! А они всё увеличивались.

У отца среди клиентов к этому времени появилось уже немало друзей, в том числе американцев. Сапожная мастерская стала для них чем-то вроде клуба, где обсуждались различные житейские проблемы. Так вот, эти друзья предсказывали: начинается большой рост цен, в том числе и на недвижимость. Бессмысленно при такой ситуации вкладывать деньги в чужую квартиру, убеждали они отца. Надо, пока это ещё доступно, поскорее покупать собственную.

«Вы поглядите, что за чудо наш Парквей Виллидж! Дома утопают в зелени, у каждой квартиры – свой выход на улицу... Это вам не билдинги в вашем дешёвом комплексе!» – Такие примерно речи вела постоянная клиентка отца миссис Глассман, расхваливая свой жилой комплекс. Действительно, Парквей Виллидж даже среди соседних зеленых улочек казался оазисом в пустыне, притом оазисом очень комфортабельным. Его обширная территория занимала несколько блоков по Юнион Тёрнпайку от Мейн-стрит до Парсонс бульвара. Мы часто там прогуливались то с мамой, то с братьями Мушеевыми и шутили, что из Нью-Йорка попали в загородное поместье: платановые аллеи, дубы, клёны, сосны,

голубые ели, перед домами – лужайки и садики, заросли рододендронов, ирисы, климатисы, вьющиеся розы... Недаром это местечко облюбовали работники ООН со своими семьями, у них тут даже была своя школа. Поселиться в таком красивом и престижном комплексе было бы не только приятно, но даже лестно... «Зачем же мы теряем время? Давайте искать там квартиру» – волновался отец.

Как нарочно, именно в тот выходной, когда мы отправились в Парквей Виллидж на разведку, там объявили Open House – день открытых дверей для покупателей квартир. Покупателей собралось столько, что мы даже нервничали – вдруг всё хорошее до нас разберут, но квартира, которую нам предложили, оказалась не просто хорошей, а такой, что мы пришли в восторг. Угловая (значит, соседи только с одной стороны), светлая, двухэтажная... Три спальни на втором этаже... Два туалета! Свой собственный садик! Что может быть лучше?

– Скорее, скорее! – отец так рвался вернуться в контору и заявить, что мы берем квартиру, будто должен был, опередив соперников, застолбить на прииске золотоносный участок. Но в конторе наш пыл поугас. Оказалось, что после покупки этой квартиры, которая стоила сто тысяч долларов, нам придется тридцать лет ежемесячно платить банку девятьсот долларов, а кроме того – владельцам комплекса (как раз в это время он превращался в кооператив) за коммунальные услуги: отопление, воду, уход за территорией и посадками ещё

пятьсот двадцать! Выплачивать каждый месяц втрое больше, чем мы платим за аренду квартиры... Такого мы себе позволить не могли. С кооперативами связываться накладно, поняли мы. Гораздо практичнее искать квартиру в частном доме... А может, стоит купить небольшой дом?..

Ничего себе, уже и дом захотели! Не слишком ли размахнулись? – усмехнётся иной читатель. Напомню, что мои родители выросли в Узбекистане. Там, как и повсюду в Средней Азии, почти каждая семья готова была терпеть любые лишения, чтобы скопить деньги на дом. Или, как мой дед Ёсхаим, на небольшой участок земли, где можно и дом построить, и что-то выращивать. Среди других местных традиций бухарские евреи переняли и эту (другое дело, что в таких больших городах, как Ташкент, это стало неосуществимо). Но вот мы переместились на другую половину земного шара, и оказалось, что здесь те же стремления.

«Американская мечта» – так называют в Штатах собственный дом. Рождалась эта мечта совсем на другой основе, чем в Средней Азии: для американцев свой дом – символ личной независимости. Пришёл сюда этот символ вместе с колонистами из Англии: «Мой дом – моя крепость» – древний девиз англичан. А в Америке его подкрепили ещё и принципы, заложенные в Конституции...

Словом, соединив свои азиатские традиции с американскими, мы позволили себе мечтать о собственном доме.

Но в эти сладкие мечты врывается грубая реальность: на

покупку дома тех денег, что мы скопили, недоставало. У нас с мамой было тогда около восьми тысяч, у отца, по его словам, – около пятнадцати. А требовалось минимально тысяч тридцать пять. Мы выясняли это у специалиста-адвоката, одного из клиентов отца... У кого занять деньги? Это стало постоянной темой вечерних разговоров и ещё одним поводом для семейных перепалок.

Отец:

– У тебя же здесь много своих... Пусть дадут понемногу.

Мама:

– Ах, вспомнил о них, наконец-то? Они же глупые, неграмотные, зачем к ним идти?

«Свои», то есть мамины родственники, уже не раз выручали нашу семью. И машину еще в Чирчике купили благодаря их помощи, и когда к отъезду готовились, они ссужали деньгами. Дядя Ёсеф приютил нас в Америке. Кроме дяди, в Нью-Йорке жили мамины двоюродные братья по материнской линии и их жены – люди милые, веселые, простые... Я называю их простыми не только потому, что с ними было легко и просто общаться. В отличие от родственников отца, большинство из них не блистало хорошим образованием, не подвизалось в науке, не имело высоких должностей. По этой причине отец презирал их. Его отношение к людям определялось одним: какое место человек занимает в обществе. Своих образованных родственников он причислял к высшей касте, а о маминых насмешливо говорил: «Старого-

родские... Чему от них научишься?» Встречаться с этими «старогородскими», бывать у них в гостях или приглашать к нам он не любил. Но, когда понадобились, вспомнил о них, как и сказала мама.

– Пусть помогут твои, образованные, – продолжала она не без злорадства... – Да ты, может, уже просил? Ну, и как?..

Когда отца «прижимали к стенке» и он не мог ответить грубостью, то есть вынужден был молчать, выражалось это хорошо знакомой нам мимикой. Взгляд исподлобья, на скошенных губах – какая-то странная, застывшая улыбка, пальцы барабанят по столу... Насладившись минутой мести, мама засмеялась:

– Отказали, конечно!

* * *

Вспоминая эти перепалки, я нередко раздумываю о том, как и почему складываются отношения между родственниками в семьях. По крайней мере в тех семьях бухарских евреев, которые я мог наблюдать. Не говорю уж о скрытой или открытой вражде к тещам и свекровям, почти всегда мужья с неприязнью относятся к родственникам жены. И наоборот. Чаще всего для этого нет никаких разумных причин, как не было их у моего отца. Не пытаюсь объяснить это, просто отмечаю. И удивляюсь.

Однако какие бы ссоры и разборки ни происходили в се-

мье при закрытых дверях (я говорю не только о нашей семье, а о бухарских евреях вообще), попробуйте только публично задеть кого-то из членов семьи, высказаться о нем правдиво, но нелестно: о-о-о, какой поднимется шум! Как станут защищать «своего» и осуждать вас! А уж если вы сами – член этой семьи, вас назовут чудовищем, выродком. Вы нарушили неписанный закон, предали свой род, вынесли сор из избы!

Я испытал это на себе и думаю, что не в последний раз.

* * *

...Родственники отца и на самом деле отказали, а родственники мамы, как всегда, не подвели: нашли возможным одолжить нам около десяти тысяч. Кто по одной, кто пять. Словом, кто сколько мог, без всяких процентов, на продолжительный срок. И в один прекрасный день, когда мы окончательно решили, какой дом покупаем, я вынул из «сундука» наши с мамой пятнадцать тысяч долларов.

Да, мы нашли, наконец, то, что искали. До этого пришлось осмотреть много домов, уж и не помню сколько. Понравился нам только один из них, но оказался дороговат – сто двадцать тысяч, денег не хватало даже на первый взнос. Мы как-то приуныли: сколько ещё придется искать? Неужели же не найдем то, что и нравится, и доступно? Тут снова пришел на помощь отцовский «клуб». Одна из постоянных клиенток прибежала с известием: совсем неподалеку, буквально за уг-

лом, на соседней с мастерской улице, хозяин продает дом.

Хочу кое-что объяснить своим предполагаемым российским читателям. Дом в американском понимании – это более широкое понятие, чем в России или в Средней Азии. «У меня свой дом», может сказать владелец замка, особняка, коттеджа. Но может так сказать и владелец изолированной секции в длинном здании, в котором таких секций от двух до тридцати, а то и больше. Эти дома называются в Америке *Attached houses*, что я бы перевел, как «соединённые». (Кстати, я слышал, что с недавнего времени начали строить такие дома и в Москве. Москвичи их называют «таунхаус»)... Так вот, именно в таком здании, состоящем из шести секций, продавалась одна из них, угловая. То есть имевшая лишь одну смежную с соседями стену. В ней – двухэтажная квартира с тремя спальнями, подвал, гараж, дворик, в который можно войти и изнутри, и с улицы... Просили за этот дом сто пять тысяч долларов. Платить за него в месяц предстояло долларов на 200 меньше, чем за квартиру в Парквей Виллидже.

* * *

Бывает же так иногда: стоит только войти куда-то, и охватывает чувство: наконец-то ты попал туда, куда давно стремился! Тебе так хорошо, легко, уютно... Именно такое произошло с нами, когда мы с мамой и Эммой отправились посмотреть, что за дом так понравился отцу.

Улочка – зеленая, тенистая, тихая – была приятной. Приветливо выглядели и дома с длинными балконами по фасаду. Они казались двухэтажными, на самом же деле имели три этажа: под балконами находились гаражи. У распахнутой двери одного из них возился с мотоциклом пожилой дядька. Это был хозяин дома номер одиннадцать, который мы искали.

– Семья шумэйкера? – заулыбался он. – Заходите, я ждал вас.

И как только, поднявшись по лесенке, прошли мы через балкон и распахнули двери, нас охватило чувство, о котором я говорю: мы нашли то, что искали.

Первое ощущение: какой простор, сколько света! День был ясный, солнечные лучи наполняли гостиную и столовую, в которых было по три окна. Свет лился со всех сторон – комнаты не были разделены стеной, окна глядели на юг, на восток, на запад... И этот свет, и сами комнаты, всё показалось нам замечательным! В кухню можно было попасть и из столовой, и по коридорчику прямо от входной двери. Тут же из маленькой прихожей лестница вела наверх. Всё было так удобно, уютно, всё было... своё. Иначе не скажешь!

– Как хорошо, – прошептала мама. – Поглядите, палас прямо светится! Три окна на юг, зимой тепло будет!

Я кивнул. В нашей квартире, обращённой к северу, спальня родителей была сырой и прохладной, сколько бы её зимой ни отапливали. Мы считали, что мама именно из-за этого за-

работала свой жуткий аллергический насморк.

Потом мама с Эммой долго изучали кухню, открывали шкафчики, гремели дверцей духовки. Мне же не терпелось поглядеть на спальни. Думаю, что легко понять волнение юноши, не имевшего до этого своей комнаты. И когда мы, наконец, оказались наверху и вошли в среднюю спальню, я не удержался и слегка пихнул сестренку в бок: «Моя»... Я ничего не мог с собой поделать – всё во мне кричало и пело: «Моя!» в этой просторной, залитой солнцем комнате с четырьмя – ЧЕТЫРЬМЯ! – окнами...

Эммка только вздохнула. Она поняла, что ей придется довольствоваться третьей спальней, самой маленькой...

* * *

Сложив плотные пачки денег в чемоданчик, я захлопнул опустевший «сундучок» и, погремев на прощанье золотыми побрякушками, усмехнулся: «Ладно, побудьте тут пока одни. Ведь Американская-то мечта всё-таки сбылась. Теперь уж мы – настоящие американцы!»

Глава 42. «Детей пора женить»...

Уютнее местечка, чем столовая, нет во всём нашем доме. Она примыкает к кухне, как бы её продолжая. В Америке это называется дайнет. И зимой, и летом ощущение такое, что ты в беседке, на веранде или даже на солнечной полянке. Над тремя окнами пышно кудрявятся домашние растения. Длинные, гибкие косы традесканции свисают с потолка. А вокруг – зеленые стволы деревьев: кухня обклеена обоями, изображающими лес... «Пикник в лесу!» – так частенько и говорит мама, усаживаясь за накрытый стол.

Но сегодня мама, хотя мы и сидим за столом, настроена вовсе не лирично и уюту не радуется...

– Ну, начинаем. Мама, ты первая...

У небольшой арки, отделяющей дайнет от кухни, напротив обеденного стола, я подвесил белую дощечку, на которой цветными фломастерами выписаны семь вопросов по истории Америки. Пониже есть и ответы, я пока прикрываю их, чтоб родители не прочли. Отец с матерью готовятся к экзамену, который нужно сдать для получения американского гражданства. Семь вопросов – это их еженедельный урок. По выходным я проверяю, что родители усвоили. У отца дело понемногу движется. Но вот мама... Что она помнит, можно догадаться по её лицу. Глядя на доску, долго молча шевелит губами, потом с запинкой читает первый вопрос:

– How many red stripes are there on the flag?

И опять долгое молчание... Наконец, пожав плечами, произносит по-русски:

Шесть, кажется...

Так... Будто не знает, что надо отвечать по-английски! Строго напоминаю: «English, please». В ответ она снова пожимает плечами:

– Всё равно ведь не сдам!

Занимаемся мы уже несколько недель, и, хотя каждый раз происходит примерно одно и то же, отступить я не собираюсь. Гражданство получать надо. Мама, как ни упрямится, выучит и эти пустяковые вопросы, и все остальные. Человек она способный, просто никак не может заставить себя переступить «языковой барьер». Я уверен, что занятия, в конце концов, помогут ей в этом, да и вообще, приблизят к ней Америку.

Есть у меня и ещё одна, тайная надежда: хочу, чтобы уроки хоть немного отвлекли маму от новых тревог, которые одолевают её всё сильнее и сильнее.

Мама – мастер затаённых чувств. Может, по складу характера, но скорее потому, что долгие годы ей приходилось прятать от людей свои беды. На людях она спокойна и даже весела. Осталась одна, сразу ушла в себя. Совсем другие глаза, складка у губ. Лицо человека, погружённого в невесёлые мысли...

Мне такое нередко доводилось видеть, я ещё в детстве на-

учился различать и понимать смену выражений на мамином лице. Меня толкала на это любовь к ней, боль за неё... Но сейчас-то почему бы? Вроде бы наша семья вступила, наконец, в период благополучия... Ну, не считая отношений с отцом, но и он притих немного, не так занудлив, занят своей мастерской, обустройством дома. Вот совсем недавно мы с ним новую мебель вместе покупали, так он даже деньги на этот расход отстегнул. А сколько времени потратил на поиски хорошего товара! Заявил, что не желает, чтоб из опилок, из дряни какой-то была мебель у него. Ему нужна из настоящего дерева, добротная, красивая. С узорами, с позолотой – отец, как и все бухарские евреи, да и вообще как и все жители Азии, любит золото... Уж не помню, сколько мы обошли магазинов, но то, что отец хотел, всё же, наконец, разыскали. Новую мебель расставляли, можно сказать, с волнением, спорили, где чему стоять, любовались то столом, то комодом обсуждали, снимать ли со стульев прозрачные пластиковые чехлы или оставить, чтобы не пачкалась нарядная обивка. Мама тоже занималась этими приятными хлопотами, но как-то ухитрялась сочетать их со своими тревожными, я бы даже назвал их навязчивыми, мыслями. Не вдаваясь в детали, их можно пересказать четырьмя словами: «Детей пора женить. Срочно».

Обычно я сочувствовал маме, понимал её. На сей раз – нет. Впервые в жизни.

К тому времени, о котором идет речь, мне исполнилось

двадцать три, сестренке – двадцать один. По меркам бухарских евреев мы оба уже были чуть ли не перестарками. Особенно сестра. «Двадцать один и незамужняя? Странно... Может, больна чем-то?» Не сомневаюсь, что подобные разговоры велись среди некоторых наших родных и знакомых. Хотя я был старше, говорили именно об Эмме: пока дочь не выйдет замуж, сын не должен жениться – так принято во всех странах Азии, значит, и у нас, бухарских евреев...

Родителей нередко приглашали на свадьбы. Одни знакомые сына женят (приглашение – как обидное напоминание о том, что меня женить пока ещё нельзя), другие дочку замуж выдают. Шестнадцатилетнюю! Опять как бы намёк на возраст Эммы... Родителей намеки, вероятно, огорчали. Нас с Эммой – нисколько.

– Даже школу не дали закончить! – выслушав отчет об очередной свадьбе, хохотала сестренка. – Как же она согласилась?

– А зачем ей школа? Жених тоже не из учёных! – подхватывал я.

– Захотят учиться, кто ж им помешает? – сердито отвечал отец. – Зато она жизнь свою устроила, родителям нервы не треплет. Не то что некоторые: «Ах, он косой, ох, он кривой, фу, он дурак!...» Вот и остаются такие с носом!

Эмма только фыркала в ответ и продолжала высмеивать и браковать претендентов, которых приводили к нам специально для знакомства. За столом даже не глядела в сторону

гостя-жениха, так что никакого контакта не получалось. А уж о том, чтобы с ним встречаться, вообще и речи быть не могло... Вероятно, Эмму, как и меня, раздражало и оскорбляло само это сватовство, это стремление за неё, вместо неё, выбрать, а то и навязать ей спутника жизни. Того, кто должен стать самым близким человека на свете.

* * *

Я не знаю, в какой глубочайшей древности возник этот обычай, но прямое упоминание о нем можно найти уже в Торе. Вспомним, как Авраам выбирал невесту сыну.

«И сказал Авраам рабу своему... Пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб пошёл в Месопотамию и возле города Нахора остановил верблюдов у колодца, куда женщины под вечер выходят черпать воду. Там он попросил Бога послать ему навстречу девицу, которая должна стать женой Исаака. И тут же («ещё не перестал он говорить») к колодцу подошла Ревекка. Раб попросил её: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала: пей, господин мой. И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его... и начерпала для всех верблюдов его». То есть случилось именно то, о чём раб просил Бога. А когда оказалось, что Ревекка – племянница Авраама, то есть двоюродная сестра Исаака, раб возликовал: «И преклонился человек тот, и поклонился Господу и сказал: бла-

гословен Господь Бог господина моего Авраама... Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего».

Очевидно, в те времена такие родственные браки особенно ценились. Я думаю, что для племен, населявших землю в древности, обычай сватовства преимущественно в своем роду имел колоссальное значение. Укрепляя этнические связи, он помогал не потеряться, не раствориться в огромном и зачастую враждебном мире. Но даже и в те времена осуждалось насилие. Авраам освобождал раба от поручения, «ежели... не захочет женщина идти с тобою».

Пролетели тысячелетия, мир неузнаваемо изменился. Общение людей расширилось невероятно! Оно вышло далеко за стены родственных и даже этнических групп, стало, по существу, интернациональным. Особенно в Америке. Наши дети знакомы с десятками, а то и с сотнями своих сверстников. Общаются друг с другом в школах, в университетах, в клубах, на стадионах, в дискотеках, в лагерях, в туристических поездках, по интернету. Дружат. Конечно же, влюбляются. Неудивительно, что во всех цивилизованных странах давно исчез древний обычай, возникший в абсолютно иных, уже совершенно чуждых условиях. Почти неизменным он остался только в странах мусульманского Востока. Возможно (я точно этого не знаю) и у небольшой части ортодоксально религиозных европейских евреев... Но вот у нас, у бухарских евреев, браки по сватовству, по сговору между родителями по сей день распространены очень широко.

Вообще-то традиции – это одна из основ любой нации. За них не зря держатся, дорожат ими, даже гордятся. Как в семье, где непременно есть десятки своих маленьких правил и особенностей, как бы составляющих её лицо, вносящих теплоту и уют, объединяющих изнутри семью, так же и традиции украшают жизнь каждого народа, придают ему яркое своеобразие, объединяют его. Но сватовство... Я бы его такой традицией не назвал. Почему же бухарские евреи так держатся за него? Не потому ли, что, эмигрировав в разные страны, мы хотим сохранить свой этнос? Стремление благородное. Но боюсь, что мы вступаем в неравное единоборство с современностью. Возможно ли, переселившись в Америку, приняв почти все нормы её жизни и быта, усваивая её язык и культуру, именно таким способом бороться за свою этническую чистоту? Не знаю, не уверен... К тому же мне кажется, что большинство моих соплеменников поступают так только потому, что это проще и привычнее. А поступишь иначе – осудят. Лучше уж «как все – так и мы»...

Примешивается к этому и корысть.

В странах Средней Азии малолетних девочек до сих пор женят на стариках, а на самом деле продают им... Я был подростком, когда случайно услышал в своей чирчикской школе разговор двух учительниц, обсуждавших один из таких трагических случаев. «У нас же настоящий феодализм, особенно для женщин! И защиты нет, всё продается, всё покупается! – Воскликнула одна из них. «Знаете, в моем классе...»

Но тут она заговорила шепотом, и какую из учениц её класса выдают или уже выдали насильно замуж, я так и не узнал.

Бухарские евреи ни дочерей, ни сыновей насильно замуж не выдают и не женят, я по крайней мере о таком никогда не слышал. Но что считается самым важным, когда приступают к сватовству? Чтобы родители жениха (невесты) были людьми уважаемыми, вполне обеспеченными. Хороший бизнес, деньги на счету, свой дом... Значит, и брак с сыном (дочерью) этих людей будет счастливым. Какая слепота! Разве мало юных негодяев воспитано в самых уважаемых, уж не говорю – в состоятельных семьях? И разве деньги определяют, есть ли в женихе именно те достоинства, человеческие и мужские, что нужны для счастья вашей дочери? Возможно ли это решить за неё?

Мне могут возразить: «Любой брак – лотерея. Всегда. Посмотрите, сколько стало разводов! И с каждым днём всё больше, больше!» Я отвечу: да, лотерея. Но с чего начинается обычный, даже неудачный брак? С того, чего нет прекраснее в этом мире: с влюбленности. А браки по сватовству?..

* * *

Всё, что я здесь написал, это, конечно же, мысли сегодняшние, мысли взрослого человека. При этом и меня одолевают родительские тревоги. Подросли мои дети. Я тоже хотел бы помочь им найти «свою половину». И до чего же

трудно уговорить себя: «не вмешивайся!» Иной раз думаю: не сходить ли вместе с сыном, с Даниэлем, в гости к моим друзьям Н., очень милым, добрым, порядочным людям? У них дочка – Данина сверстница, очень тоже милая... И хо-рошенькая... А то ведь тех, с кем встречается он там, в кол-ледже, за стенами дома, я и знать не знаю... Что ж, может, и ходим в гости к Н. Может, дети понравятся друг другу? А уж потом... Что выйдет! Правда, уговаривать, ни в коем случае не буду. То есть никакого сватовства!

Ни один современный психолог не скажет мне, как, ка-кими путями, добиться, чтобы браки моих детей оказались счастливыми. Конечно, психологи могут дать множество со-ветов, но я бы прислушался только к таким, которые обра-щены не ко мне, а к самим детям: «Не торопитесь. Постарай-тесь глубже понять, почувствовать того или ту, с кем хотите связать свою жизнь. Прислушайтесь к себе – близок ли вам этот человек? Чем именно? Сойдетесь ли вы характерами, интересами? И даже мелкими привычками?»

Но ведь косвенно это совет и для нас, родителей: зани-маться не поисками «кандидатов», а воспитанием чувств, духовным воспитанием своих сыновей и дочек. Чтобы всту-пали в жизнь хотя бы с каким-то пониманием всей слож-ности человеческих взаимоотношений. Чтобы, делая выбор, представляли себе хоть немного, чего, кроме радостей сек-са и обеспеченной жизни, хотят они от будущего мужа или жены!

Но не пора ли вернуться к тем далеким дням, которые пробудили во мне эти размышления?

Началась всё задолго до того, как мама решила, что пора вплотную заняться нашими браками. Сестре ещё не исполнилось и семнадцати, когда стали нам позванивать и захакивать люди, которые годами не вспоминали о существовании семьи Юабовых. На «рынке невест» появилась ещё одна. И цена её резко подскочила, как только мы купили дом.

– Эся, как поживаете? Не узнаете? Так это же... Называется имя, которое мама вспоминает с трудом. Встречались, оказывается, невесть когда на каком-то сборище. Скучный разговор с упоминанием всех знакомых и выяснением родственных отношений длится бесконечно долго, потом переходит на тему покупки дома. Следуют поздравления и намеки, что неплохо бы поглядеть своими глазами. Приходится приглашать.

– И откуда только узнала номер телефона? – устало говорит мама, вешая трубку.

Владение домом – о, это обстоятельство очень важное! Как расширяется круг ваших знакомых! Какое уважение начинают вдруг чувствовать к вам люди! Даже те, которые до этого едва раскланивались. Вы словно выросли в их глазах. А если в собственном доме ещё и невеста... Прекрасное при-

ложение к недвижимости!

Снова звонок. На этот раз у телефона отец.

– Амнун, дело к тебе. Парень один есть. Из хорошей семьи, свой бизнес, зарабатывает неплохо... Может, приведу, а?

– Слушай, она ведь учится ещё, молодая... – вяло отбивается отец. Сам-то он не против, но отбиваться приходится, потому что ему хорошо известно, как на это откликнется дочь.

Но такие визиты всё же происходили. Устраивали очередное застолье, ели, пили, солидно беседовали (главным образом о своих родственных связях, о том, кто, где и как живет, сколько зарабатывает) и... Этим всё и ограничивалось. «Кадр», позвонит, чтобы попросить о новой встрече – Эмма ни в какую: «О чём с ним говорить, – сердится, – он же тупой, только бизнес в голове!»

Эмму тем более можно было понять, что в колледже её окружала совсем другая молодежь. Да и она там была совсем другая – общительная, открытая, веселая. Полтора года мы с ней проучились в одном колледже, и когда в перерывах между лекциями пересекались в коридорах или на кампусе, сестрица почти всегда окружена была шумной кучкой подруг и друзей. А если шла одна, то не успеешь перекинуться с ней парой слов, как тут же её и окликнут: «Hi, Emma, what's up?» Моя рослая сестренка, с её густыми чёрными кудрями, с весёлой улыбкой на устах (умеющих одновременно и улыбаться-

ся, и болтать, и жевать жвачку), полна девичьей прелести. А тут еще обтягивающие джинсы, стройные ножки, так задорно цокающие каблучки сапожек... Немудрено, что от поклонников отбоя нет. Но Эмму, мне кажется, больше всего привлекал не флирт, а сама атмосфера этого шумного, молодого веселья, задорных шуток, болтовни, словом, всего того, что в наши дни называют тусовкой, в которой нет, конечно, никакой особой содержательности и глубины, зато полно беззаботной радости.

Такой же веселой болтушкой была сестренка и дома, в своем кругу. Зайдешь, бывало, вечером на кухню, откуда доносится её звонкий голосок – мама у плиты, Эмма моет посуду и, перекрикивая шум воды, со смехом уговаривает маму:

– Да ты что, мама, я же сто раз тебе говорила: не обращай ты на него внимания! Знаешь, почему на фабрике он такой злой, ваш босс? Это ему дома от жены достается! Да-да! Ни пузо не помогает, ни борода, ни пейсы! За пейсы, знаешь, как можно дернуть? Ой-ёй-ёй!

И Эмка начинает изображать пузатого мамино босса с его бородой и пейсами. Жена атакует, босс отступает, трясет головой, закрывает пейсы руками... Мама хохочет, я – тоже, Эмка трясет головой уже от смеха.

Но долго ли могла упорствовать моя вольнолюбивая сестрица? Ведь с раннего детства она росла среди национальных традиций. А мама все настойчивее убеждала, что, мол, давно

пора... Эмма нежно любила и уважала маму...

Однажды пришли к нам в гости молодые знакомые, Лева с Миррой, и привели с собой родственника. Судя по тому, что стол буквально ломился от яств, родители возлагали на этого молодого человека надежды... Парень, его звали Беня, работал водителем на лимузине в одной компании слевой. Застенчивый, красивый, чернобровый, он показался мне симпатичным. Говорю о себе, потому что Эмма долго металась вместе с мамой из кухни в столовую и обратно, принося кушанья. Но когда она, наконец, уселась, я заметил, что сестренка поглядывает на гостя. Кажется, удостоила вниманием, удивился я. Молчаливый Беня тоже посылал Эмме долгие взгляды.

Восседавая во главе стола, сияя самодовольством, отец разливал вино и говорил не умолкая. Разговоры велись обычные – о нашей новой мебели, дорогой и красивой. О том, кто откуда родом. О жизни в Израиле. Беня эмигрировал туда с родителями, а недавно вот переехал в Штаты, живет пока один... «Скучает, бедненький, – с улыбкой поглядывая на Эмму, вздохнула Мирра. – Никого ведь тут не знает...» Гость снова поглядел на Эмму, она на него.

Дальше вроде бы не о чем и рассказывать, тем более что я был слишком занят и поглощен своими делами, чтобы следить, как развивается эта любовная история. Закончилась она браком. Все радовались, сбылась мечта родителей, мама ликовала, свадьба дочери стала для неё праздником. К тому

же Бенья всем пришёлся по душе. Мама подружилась с ним. Бенья с Эммой почти всегда приходили к нам по воскресеньям. Мама обнимала и целовала его, с нежностью приговаривая: «Вот и ты, домод!» (то есть зять). Да и Бенья относился к теще с искренней любовью, что, согласитесь, бывает не очень часто. Что же до самих молодых супругов, стоило только взглянуть на них, чтобы увидеть: им вместе хорошо. То есть произошёл тот редкий случай, когда брак по сватовству сочетался с влюблённостью.

А через два с лишним года они разошлись. Точнее говоря, ушёл Бенья.

Сегодня, став на 20 лет старше, я понимаю: одной из главных причин разрыва было вмешательство родственников в жизнь молодых супругов.

Родители Бени примерно через год приехали из Израиля и поселились у молодых, чтобы им помогать: у Эммы и Бени к этому времени родилась дочурка. «Соня-огонь», как прозвали у нас дома энергичную, веселую мать Бени, всем поначалу очень понравилась. Но в жизнь молодой семьи она вмешивалась со свойственной ей кипучей активностью, к помощи непрерывно добавлялись советы, указания, требования... Словом, начались у Сони с Эммой ссоры. И Бенья, как любящий сын, принимал в них сторону матери. А Эмма постоянно советовалась с нашей мамой, жаловалась ей. Тоже, вероятно, получала советы и указания. Отношения портились с каждым днем, даже и после того, как родители пере-

ехали на другую квартиру. Теперь уже ссорились сами супруги. К тому времени, как Эмма забеременела снова, ссоры происходили часто и стали такими, что Бенья иногда исчезал на несколько дней: уходил к родителям. Возможно, там его настраивали против Эммы.

Мне стыдно признаваться, но что поделаешь, надо: последним актом в этой драме стал наш визит – моих родителей и мой – в семью сестры. Пришли мы с благой целью: во всем разобраться, объяснить с Беней. Объяснение превратилось в безобразный скандал. Мы с Беней кинулись друг на друга, как два молодых петуха... В результате «разборки» Бенья вообще ушёл из семьи.

Но довольно! Повторяю, вспоминать это стыдно и больно, а объективным я, вероятно, и сейчас не смогу быть. Слава богу, что хотя бы понял: вмешательство родителей в семейные отношения детей почти всегда портит, а то и разрушает их жизнь. С этим, очевидно, сталкиваются люди любых национальностей. Некоторые из них, например американцы, выработали твердые «правила защиты»: жить только отдельно от выросших детей и вообще не вмешиваться. Бухарские евреи, даже живущие в Америке, «правил защиты», к сожалению, не переняли. Я убеждался в этом десятки раз, мог бы рассказать о множестве трагедий. Защитой для молодых супругов служит только одно: очень большая и настоящая близость – внутренняя, душевная. Вот тогда у них хватает желания и сил добиться самостоятельности, сберечь свою лю-

бовь. У Бени и у Эммы не хватило ни того, ни другого.

* * *

О любви, о браке, написаны, вероятно, миллионы книг. Мне сейчас вспомнилось самое краткое из высказываний на эту тему: «Браки свершаются на небесах». Вероятно, так оно и есть. Не потому ли мой брак, хотя меня-то ведь, как и Эмму, тоже женили по сватовству, оказался таким счастливым?

Глава 43. Браки свершаются на небесах

– Ну, за дело! – командует Марик. – Валера, где твоё место? Ставь жаровню! С палатками мы сами справимся!

Моё место... – бурчу я недовольно. – Почему это оно моё, а? Нашли себе повара!

Но бурчу я просто так, для порядка. Ещё во время первой нашей поездки за город, а было их уже немало, Марик и Лёнька заявили: «Будешь поваром!» Мол, кто же, как не я, единственный среди них азиат, сумею приготовить на углях вкусный плов или шашлыки? Сколько я ни отнекивался, они и слушать ничего не хотели: «Не ври, не ври! Умеешь. Видел хотя бы, как дома готовят!»

– Почему бы не попробовать? – засмеялась мама, когда я, вернувшись, стал жаловаться на друзей. – Ты и вправду ведь сто раз видел. А на всякий случай запиши рецепты. Между прочим очень полезное умение для семейного человека...

– Диктуй рецепт! – говорю я, всем своим видом показывая, что разговор на тему «семейный человек» продолжать не желаю.

Вот так и оказался я походным кашеваром. И хотя бурчал, но рецепты выучил наизусть. Пусть друзья считают мастером!

Готовить на жаровне оказалось не так-то легко и приятно.

Во-первых, этот мангал для шашлыков – его приволок Марик – был старый, с проржавевшим дном, к тому же ужасно неустойчивый, шатался при каждом прикосновении. Я всё время ждал, что котел рухнет мне на ноги, с него глаз нельзя было спускать, его надо было придерживать за ручку. А ведь готовить плов следует со вниманием и с любовью...

Вон лук уже подпрыгивает в масле, уже дал обильный сок и весело шипит. Теперь мясо, скорее класть мясо! Попробуй-ка, сделай это, придерживая одной рукой котел и стоя над раскаленной жаровней! Ага, получилось... Не забыть про морковь, где там она?

От меня так и пышет жаром, я и сам уже раскален почти как мангал. Но если честно, щёки мои пылают не только поэтому. За спиной я слышу веселые возгласы, хохот, а то и звуки поцелуев. Это Марик и Лёня, с помощью Светы и Ирины, устанавливают палатки. Ирина и Света – невесты моих друзей. Познакомились в Квинс колледже: обе девушки учились на нашем же факультете. Теперь они стали участницами всех наших поездок и развлечений... Впрочем, что касается развлечений, я-то, пожалуй, в них участвую меньше всех.

Вот, поглядите-ка, что у них там творится! Света хохочет, Ирка визжит – Лёнька, гоняясь за ней вокруг палатки, споткнулся о колышек и грохнулся... Влюблённые развлекаются, а я калечусь у жаровни!

Две влюбленные пары в дивных лесистых Катскильских горах, недалеко от Вудстока, известнейшего туристского ме-

стечка в двух-трех часах езды от Нью-Йорка... Неплохо, правда? Прибавим сюда и эти два-три часа дороги на машине. Американские автомобильные трассы достойны поэм. Вырвавшись из душного города с его небоскребами, мостами, скучными сетками улиц, с шикарными особняками и нагромождением безобразных строений из кирпича и металла, мчимся по одной из таких трасс... Нет, это она мчит нас среди лесов и лугов, среди пышной зелени американского лета! И вот уже исчезла куда-то городская усталость, вылетели из головы мелкие заботы. Ты глядишь по сторонам, будто проснувшись, с ненасытной радостью. Какая же красота вокруг! То блеснет меж деревьями озеро или речушка, то могучие выступы скалистой породы, в которой вырублено шоссе, подступят к самой обочине – на поворотах аж дух замирает... Постепенно, понемногу местность становится холмистой – словно бы огромные звери с круглыми зелёными спинами спят по сторонам дороги. Это уже начались отроги Катскильских гор. На горизонте, между облаками легким, размытым, полувоздушным абрисом проступают горы повыше. С каждой минутой, с каждым новым витком шоссе, они всё яснее, всё ближе. Уже видно, как прорезают темную массу деревьев широкие просеки – горнолыжные трассы. Уже мы, того не заметив, поднялись так высоко, что на очередном повороте видим далеко внизу домишки какого-то городка, похожие на спичечные коробки.

Ах, дороги, дороги, прославленные американские дороги!

В открытые окна машины врывается ветер, и солнце уже не печет, как в городе, а ласково греет щёки. С каждым глотком душистого горного воздуха всё сильнее ощущение свободы, радости, молодости... Плохо ли на таких дорогах влюблённым? Мчатся они на три дня в Апстейт – верхнюю часть штата Нью-Йорк, в горы, к Вудстоку. А везу их я. За рулем своей первой машины, в качестве одинокого друга, драйвера и шеф-повара...

* * *

– Ну, как дела? О-о, запах какой! – Марк, прикрыв глаза, изображает восторг. – Молодец, Вал! Плов будет классный! А скоро? Знаешь, как жрать охота?

– Потерпите, – огрызаюсь я свирепо. – И вообще, не мешай. Можешь вот котел подержать, пока я рис засыплю...

Мне, конечно, тоже не так уж и плохо. Три дня отдыха в палатке, в лесу, то есть в американском кемпинге, вполне благоустроенном, с водой и электричеством, но не лишаящем тебя ощущения, что ты среди дикой природы... Что за деревья вокруг – просто ботанический музей! Сколько хвои, листвы, что за мощные стволы! Лесные просеки ведут к реке и носят названия тех рыб, какие здесь водятся: Просека Окуня, Просека Сазана, Просека Форели. Кемпинг создан для любителей рыбной ловли. По просекам – съезды к площадкам, каждая на несколько палаток. Занял площадку – на ней

уже больше никто не появится. Соседей отсюда не видно.

Нет, мне в таком замечательном местечке тоже совсем, совсем неплохо. Только вот иногда... Эх, да что там! Иногда хотелось плакать от тоски, даже зависти.

* * *

Почему же я был один?

С Инкой мы расстались уже почти два года назад. Не из-за того, что я охладел к ней. Это она оскорбилась и решила порвать отношения, когда я в очередной раз честно признался, что ещё не готов к семейной жизни, что надо подождать год-другой, пока не начну зарабатывать. Видно, не так уж дорожила нашей близостью, а жаждала именно брака. И не обязательно со мной: довольно скоро вышла-таки замуж... Мне горько было, я-то долго тосковал без неё, надеялся, что вернется. Других девушек я просто не замечал. Но, очевидно, рана стала заживать: настал день, когда я «заметил» Галю (назову её так).

С Галей мы тоже познакомились в Квинс колледже. Она училась на втором курсе и по вечерам кодировала программы в компьютерном центре, а я уже был аспирантом и приходил сюда по вечерам заниматься. Приятная пышноволосая девушка оказалась бухарской еврейкой и меня это порадовало – просто потому, что моих одноплеменников очень мало было в колледже, даже парней, а тут к тому же ещё и девуш-

ка... И тоже будет программистом! С шутливой болтовни об этом началось знакомство.

Первый признак того, что девушка тебе нравится – это то, что всё в её внешности, поведении, даже в одежде кажется совершенно особенным, таким, что выделяет её среди миллионов других. Ни у кого не было таких милых веснушек вокруг маленького носика, как у Гали. Ни у кого не было таких пышных, рыжеватых волос. Ни у кого так плавно не развевался при каждом шаге широкий подол на юбочке в складку. Словом, я всё больше влюблялся.

Мы еще не назначали свиданий, но даже если не было у меня занятий, я по вечерам частенько отправлялся в компьютерный центр. Заглянешь осторожно в дверь: здесь? Да, здесь... Усаживаешься где-нибудь поодаль, но так, чтобы видеть Галин профиль, и принимаешься за свои дела. В этом было особое удовольствие: заниматься своими делами и подглядывать за Галей. Она тебя не замечает, а ты сидишь и любишься. Каждый вечер к моим открытиям прибавлялось что-нибудь новое. Вот проникли в окна закатные косые лучи, осветили Галину рыжеватую головку... Ух, как засияли, загорелись пышные волосы, какой персиковой стала щёчка! Даже веснушки выглядят ещё милее...

Не выдержав, я тихонько подкрадывался к Гале и ладонями прикрывал ей глаза. Она со смехом шептала: «Ой, кто же это? Отпустите!» – «Не отпущу, пока не узнаешь...» – меняя голос, шептал я. Иной раз я отправлял Гале по элек-

тронной почте что-нибудь смешное, например: «Hello, honey bunch!» («Приветик, медовый букетик!»), а сам, не отрываясь, глядел на её лицо. Секунду назад ещё сосредоточенное, со сведенными бровками, оно становилось таким живым и весёлым... Однажды я написал ей: «Поворотный момент в моей жизни настал. Я встретил тебя». И когда Галя, повертев головкой, отыскала меня взглядом, мне показалось, что у неё счастливое лицо.

Через месяц-другой нам, понятное дело, стало маловато одних только «случайных встреч». Начались провожания домой. Потом – нормальные свидания: гуляли, ходили в кино, а то отправлялись на какую-нибудь вечеринку. Менялись, конечно же, и отношения. Не настолько, как мне хотелось. Галя, хоть мы и целовались, и обнимались при каждой возможности, окончательной близости сопротивлялась. Я, впрочем, не удивлялся: ведь она, как и я, была воспитана в традициях бухарского еврейства!

Как-то отправились мы в Пенсильванию на свадьбу Джерри, того американского парня, с которым я учился в колледже, а теперь – в аспирантуре. Мы с ним по-прежнему дружили. Галины родители разрешили ей эту поездку с ночёвкой. Но, хотя после свадьбы в ресторане многие гости остались ночевать в гостинице, Галя вдруг объявила: «Поехали домой!» – «Да чего ты боишься? Будешь в номере с девчонками, кто вас там тронет?» – «Нет, не хочу! Поедем домой». И ведь не только потому упрячилась, что побаивалась

оставаться ночью под одной кровлей со мной. Я уже давно убедился, что ей необходимо настоять на своем в любом, даже пустяковом споре. Любит главенствовать! Я был сонный, усталый, но пришлось ехать. Меня её упрямство, в общем-то, не задевало. А «не тронь меня» даже подогревало мой пыл. Я всё чаще подумывал о женитьбе.

Галя, конечно, знала об этом и в её согласии я не сомневался. Ещё в тех давних записочках по электронной почте я как-то написал ей: «У меня есть три скромных желания: стать богатым, стать знаменитым и жениться на тебе». Однако, того, что принято называть предложением я не сделал. Почему? Да так... У бухарских евреев это не принято. Мне и в голову не приходило, что мы с ней должны сами договориться, когда и как всё произойдет. Не наша это забота. Сначала родители жениха, то есть мои, должны прийти в гости к Галиным, познакомиться, сообщить, как полагается, о моих желаниях. И наметить, так сказать, весь распорядок действий. Словом, я, хоть я и посмеивался над сватовством, традиционную роль родителей считал вполне нормальной. А пока этого не произошло, я редко заходил к Гале домой. Её отец казался мне грубым и неумным, откровенно говоря, не нравился мне он... Однако отец-то как раз и настаивал, чтобы я бывал в доме. Я как мог увиливал. Заеду, бывало, за Галей на машине и жду у подъезда. Иной раз минут пятнадцать жду, волнуясь, не случилось ли чего? Наконец, появляется. И с ходу, усаживаясь рядом: «Почему не зашёл?» – «Да так,

знаешь... Вот встретятся родители, тогда...» – «Зря... Отец обижается», – вздыхает Галя. Голос у неё недовольный, но я уже отъехал, я уже обнял подругу, я уже всей грудью вдыхаю аромат её духов, наполнивший машину, я утыкаюсь лицом в её пышные волосы и скольжу ладонью по шёлку нарядного платья. О чьих-то там глупых обидах я и думать забыл. Эх, значит, сам я был не так-то уж умен... Надеюсь, что по молодости...

Но встречи родителей я добивался всё настойчивее. Дело было за Галей. Ей нужно было договориться дома, чтобы назначили день. А она почему-то никак не могла договориться. Вздыхала, смущённо пожимала плечиками:

– Понимаешь, отец в этом месяце очень занят... Как освободится, устроим встречу.

Но месяц прошёл, а приглашения всё нет. Вот и второй проходит.

– Не могу понять, в чём дело, – откровенничал я как-то вечером с мамой. – Может, это её папаша вредничает, а Галя стесняется рассказать мне?

Мама сочувственно кивала.

– Ну, мы это узнаем... Я слышала, Фрида (так звали Галину маму) очень приятная, милая женщина. Позвоню ей сама, хочешь?

Конечно же, я хотел.

Но разговор мамы с Фридой нанес мне сокрушительный удар.

– Я очень давно хочу вас видеть, Эся, – сказала она, – но Галя не соглашается. Не могу же я её заставить.

«Заставить»... Мне казалось, я схожу с ума. То есть как это, Галя не хочет стать моей женой? Не может быть! Ложь, выдумка, это её родители противятся нашему браку! Но почему же Галя не говорит мне?

Я мечусь взад-вперед по своей комнате. Я вспоминаю все наши разговоры, её смущенное лицо, когда заходит речь о встрече родителей, постоянный ответ, что отец всё ещё занят... Я признаюсь себе: это уже давно тревожит и обижает меня... Нет, хватит, пора всё выяснить!

Всё выяснилось в день рождения Марика, в ресторане. Все ушли танцевать, мы с Галей вдвоем остались за столиком. Она вертела в руках ложечку и, как я ни старался поймать её взгляд, всё отводила глаза, смотрела куда-то вбок. Так, в сторону, и произнесла:

– Да, я не уверена в нас... В себе... Я... Знаешь, лучше нам не встречаться.

* * *

Вот и сказано то, чего я так боялся. Очень хотелось спросить: «Но почему?» Хорошо, что я удержался. Кто же знает, почему люди влюбляются, почему влюбленность иногда становится сильным, постоянным чувством, тем таинственным чувством, которое называют словом «любовь»... А иногда

проходит, исчезает, расплывается, сменяется равнодушием, а то и неприязнью? Кто повинен в этом? Мы сами? Судьба? Она, как неопытный лаборант, пытается смешать в пробирке два реактива, не зная, какая реакция сейчас произойдет: то ли они соединятся в единое новое вещество, то ли забурлят, запенятся, выльются из колбы... А то и бабахнут так, что полетят во все стороны осколки стекла...

Именно так всё бурлило и пенилось в моей душе после разрыва с Галей.

Но мы всё же не реактивы, а люди, мы же чувствуем, мыслим!

Да, конечно, судьба, думал я. Но может, я виноват в том, что Галя охладела? Может, я чем-то её обижал? Раздражал? А почему же я раньше сам не замечал, что мы не подходим друг другу? Вот, например, её стремление главенствовать, быть лидером... Ведь я не всегда уступал! Спорил, настаивал на своём. Может, ей нужен был парень более покладистый, такой, из которых выходят мужья-«подкаблучники»? Ну уж нет, извините! Значит, она правильно поняла, что мы не пара?

Понемногу я успокаивался. Помогало и самолюбие, и время, и друзья. Особенно Марк, закадычный друг, с его постоянными шуточками – и не хочешь, а рассмеёшься! «Когда невеста уходит от жениха, счастливый жених должен пир устраивать! Ведь повезло-то как!» – вопил он. А то начинал тормозить: «Послушай, у меня тут есть одна, ну просто чу-

до что за девка! Не то что та коза. Поехали познакомлю!»

От знакомств я отказывался, не очень-то верил в Мариково «чудо». А что касается пиров, будем считать, что я их действительно устраивал. На природе, в загородных поездках.

Но в той поездке, с которой я начал главу, кое-что в моей жизни уже изменилось. Хоть и завидовал я веселью вокруг палаток, прежней острой тоски не испытывал. И не Галино лицо стояло перед моими глазами.

* * *

Её звали Света. Мы всего две недели как встретились, но на самом-то деле давно были знакомы, хотя оба до встречи вряд ли вспоминали об этом. По крайней мере я.

Три года назад был я в ресторане на свадьбе нашего соседа по дому. Веселился, танцевал, но никак не удавалось подобрать партнёршу для медленных танцев, до которых я большой охотник. Поэтому во время медленных я отдыхал за столиком. И вдруг слышу: «Славная девочка... Кто она?» – «Какая? В белом? Это родственница невесты. Света её зовут...»

Невысокая девушка в белом шла мимо нашего столика. Шла неторопливо, как-то удивительно непринуждённо, словно бы не по ресторану среди сотен людей, а по саду, например, или по лесу. Её черноволосая, с короткой стрижкой головка была чуть откинута, что придавало бы ей горделивый вид, если бы не широкая, добрая улыбка, такая ис-

кренная, как у маленького ребёнка, который улыбается маме, солнцу, всему белому свету... Глядел я на неё и думал: приглашу эту девушку на первый же медленный танец. И пригласил...

Именно такую партнершу искал я весь вечер! Танцевала она легко, смотреть на доброе, доверчивое личико было приятно. Закинув голову вверх, подняв на меня большие глаза, Света всё так же лучезарно улыбалась и отвечала на мои вопросы своим негромким, мягким, мелодичным голосом. Что она делает? Учится в старшем классе... Ей шестнадцать... Да, они с Эллой, с невестой, близкие родственницы, кузины. Да, она тоже считает, что свадьба удалась, ведь сегодня так весело...

Время от времени Света поглядывала на свой столик, где сидели какие-то девчонки, её ровесницы... Сейчас, небось, эти малявки начнут её расспрашивать, кто такой этот взрослый парень. А что она скажет? Ведь совсем меня не знает, подумал я и мне почему-то стало очень весело.

Потанцевали мы со Светой ещё разок-другой, попрощались, расходясь и... Больше не встречались. Почему же я не сказал ей: «Давайте увидимся?» Ведь хотелось, но подумал: «Она совсем ещё девочка, школьница. Неудобно»... Да и я в то время был в бурных переживаниях: заканчивался роман с Инной. Через какое-то время встретился с Галей. К тому же я и работал, и в аспирантуре учился.

Вот так, в суете, в делах, в новых встречах ушло куда-то

вглубь светлое, радостное впечатление. Ушло, притаилось, казалось даже, что забылось совсем. И никаких предчувствий не возникло у меня, когда три года спустя отец сказал за ужином: «Мы идём завтра в гости... В одну семью, их хвалят. И родителей, и дочку». Да и с чего бы появиться предчувствиям? Ведь говорилось такое уже не в первый раз. После моего разрыва с Галей родители с новой энергией принялись искать для меня невесту. Отец, встречавшийся в своей мастерской со многими людьми, вёл поиски по-деловому: расспрашивал, кого мог, собирал информацию, знакомился. Что ж, думал я, таков обычай. Ведь женились же по сватовству почти все молодые бухарские евреи, с которыми я знаком! К тому же я знал, что «на рынке женихов» ценюсь достаточно высоко, как один из самых «кошерных» парней в нашей среде: из приличной, хоть и небогатой семьи (у отца всё же свой маленький бизнес), с высшим образованием, не пью, не курю. Согласитесь, когда знаешь, что о тебе говорят с уважением, хвалят, ждут в десятках домов, – это всё же приятно.

Отец, понятное дело, искал невест только среди «наших». Одобряла это и мама. «Бухарская обязательно будет хорошей хозяйкой», утверждала она. Отец же напирал на моральные качества: «Наши девушки скромные, а это важнее всего. Характер там или ещё что – наладится. Главное, чтобы верная была жена. А если гулящая, какая уж тут семья?» Я не спорил, мне и самому хотелось – а кому же не хочется, –

чтобы у меня была верная жена. Правда, сейчас-то я думаю: если женщина очень несчастлива в браке, можно ли её осуждать за попытки хоть как-то утешиться? Жизнь малость подскоблила мои восточные представления о поведении мужчин и женщин...

Словом, когда отец предлагал мне очередную «невесту», я не противился, даже, пожалуй, рад был отвлечься от своих неудач, от мыслей о Гале. А вдруг повезет!

Но везенья всё не было. После первой встречи я, как только мы вышли за дверь, сказал отцу: «Да ни за что!» – «Дело твоё», – сердито пробурчал он. Вторая «невеста» была милая и красивая, но ей не понравился я...

Постепенно я привык к тому, что прихожу в гости к незнакомым людям с намерением породниться. И всё же в первые минуты, чувствуя, что все взгляды направлены на меня, немного смущался. Так было и в тот вечер, когда мы пришли к Назгиновым. Вероятно, поэтому, здороваясь, проходя в дайнет, усаживаясь, я никого толком не разглядел. И только за столом, подняв глаза, внезапно встретился взглядом с той, ради кого пришёл сюда. «Да это же та девушка! Света...» – обрадовался я.

Потому ли, что и Света вспомнила меня, не знаю, только глядела она на меня приветливо, разговаривала охотно, без всякого смущения или жеманства. Мне это понравилось и даже удивило немного. Ведь обычно при первом знакомстве «претендент» распускает перья, старается показать се-

бя, расположить к себе, а девушки держатся настороженно, замкнуто.

Так же естественно и просто, будто к ним пришли в гости добрые знакомые, вели себя её родители. Когда мы пришли, Миша, Светин отец, сидел, склонившись над газетой. Читал он её почему-то не в очках, а через лупу. «Вот ищу работу новую, – объяснил он. – Хочу профессию поменять. Надоело на фабрике, да и зрение никуда стало».

Миша был портным, как и мама, но, видно, гораздо легче, чем она, относился к проблеме смены профессии. Разговаривал он мягко, спокойно. Ни одного «анкетного» вопроса не было нам задано за этим столом, хотя у бухарских евреев вообще-то приняты в таких случаях долгие, с множеством подробностей, разговоры о делах, о родственниках.

Легко и просто было мне в этом доме. Я глядел на милое личико и думал: «Ведь уже три года мы могли бы... Ну а что будет теперь?»

Закинув головку, улыбаясь и глядя на меня снизу вверх, Света ответила мне, когда мы перед уходом прощались:
– Да, конечно, звоните. Я буду рада.

* * *

Вот так всё и началось. Мне кажется, что с первого взгляда за столом я что-то такое почувствовал. Мне кажется, что и Света... Но о том, как начиналось всё с той, кого ты и сей-

час любишь, почему-то гораздо труднее писать, чем о любовных историях, которые давным-давно закончились. Наверное, потому, что для тебя это не «история», а твоя собственная жизнь, часть твоего существа.

Скажу только, что через три месяца после первой встречи мы со Светой поженились и вроде бы до сих пор несколько об этом не жалеем.

Глава 44. «...ты посвящаешь мне»

Я остановил машину возле нашего дома, выключил зажигание и взял Свету за руку. Мы и когда ехали, тоже иногда держались за руки, но чтобы остановить машину, понадобились обе руки.

Выходить мы не торопились.

Конец сентября, поздний вечер. Изнуряющая летняя жара спала, дни посвежели, прохладные вечера пропитаны пряными, горьковатыми запахами осенней листвы. Неширокая наша улица похожа на аллею в парке, кроны могучих клёнов, дубов и лип местами даже смыкаются над ней. Увядая, они с каждым днём становятся всё ярче, всё наряднее. Листья, опадая с чуть слышным шелестом, словно бы совершают в воздухе медленный прощальный танец.

Прекрасны деревья и вечером. Там, где сквозь ветви проникает свет уличных фонарей, листья горят оранжево-красным пламенем, светятся насквозь, отбрасывая на асфальт яркие отражения. Поигрывает ветерок, колышет ветви, и по дороге, по крышам машин, по стенам домов движутся их причудливые, похожие на привидения тени.

Нам хорошо. Залетая в окна машины, ветерок ласкает щёки. Доносит до нас голоса, смех – то звонкий детский, то негромкий женский... Соседи семьями отдыхают на своих верандах. Ещё совсем недавно из этой же машины слышали

мы по вечерам только стрёкот цикад. Нескончаемый, волна за волной, волна за волной, всё усиливающийся, к концу волны уже похожий на резкий металлический скрежет. Сейчас прошло время цикад и когда голоса смолкают, вокруг тишина... Хорошо!

Оранжевые блики пробежали по Светиному лицу, коснулись щеки, озарили её густые, упругие, лоснящиеся чёрные волосы, всю их массу, изгиб за изгибом. Ну, до чего же красиво! Я даже головой помотал от удовольствия.

– Ты чего?

– Не скажу...

– Нет, скажи... Говори сейчас же!

Я всё мотаю головой, а сам, приближая лицо к Светиному, разглядываю её чёрные густые брови, её длинные ресницы, её глаза, которые блестят так, что в них, кажется мне, я сейчас увижу своё отражение.

– Загляни в мои глаза и догадайся! – говорю я, и мы оба смеёмся.

Нет, мы не торопимся выходить из машины.

* * *

Недавно я сделал предложение, и Света стала моей невестой.

Вероятно, в жизни каждого человека происходят события, приподнимающие тебя над обыденностью. Как бы ты хо-

рошо ни знал, что такие события неизбежны, как бы себя ни готовил, всё равно: когда *это* происходит, тебя охватывает волнение ни с чем не сравнимое, какого ты ещё никогда не испытывал. Даже не ждал, что такое возможно. О печальных событиях говорить не будем, а к радостным и в то же время тревожным потрясениям души из тех, что я уже пережил к тому времени, я бы отнес... Ну, скажем, поступление в университет. Или рывок через океан в Америку... Или вот ещё покупку дома, она тоже ведь казалась переменной грандиозной. Но как всё это померкло теперь, отодвинутое событием, которое не только меняло что-то в моей жизни, а было толчком, шагом, нет, прыжком, наверное, – в жизнь, совершенно иную, непредставимую! Жизнь, в которой мое «Я» превращалось в «Мы»... Впрочем, как уже не раз обещал, буду честен: это мысли сегодняшние. А тогда никаких таких философских размышлений в моей голове и в помине не было. Никакого анализа ощущений. Я просто был в некотором тумане, что ли, в предвкушении, в радостном полете! Решение жениться пришло очень скоро, ответ был прочитан в Светиных глазах ещё до того, как я сделал предложение. И сделал я его вроде бы легко, без страха... Да и вообще всё казалось легким и простым. Даже жалко чуть-чуть (но это тоже пишу я сегодняшний), что знакомство по сватовству лишило наши со Светой отношения романтической неопределённости, сначала робких, а потом растущих надежд, сжимающих сердце тревог: «а вдруг она просто кокетничает», «а может,

мне это кажется», «а что если ей ещё кто-то нравится» и так далее... Но всё равно ведь было, было ощущение радостного тумана, полёта, счастья! К нам пришла влюблённость.

И вот сияют передо мной глаза моей невесты, и мне даже не надо спрашивать, счастлива ли она, итак вижу. Но всё равно спрашиваю...

Встречались теперь очень часто, как только выдавался свободный часок-другой. Конечно, хорошо бы, чтобы этих часов было побольше, чтобы каждый вечер могли бы мы посидеть перед тем, как зайти в Светин или в мой дом вот так, как сегодня, в машине. Наш «уголок уединения» был вполне современным. Здесь мы и нежничали, и говорили о будущем. Именно здесь, в машине, и решали мы со Светой какие-то действительно важные проблемы, например, где будем жить после свадьбы. Когда возник разговор об этом, я сказал Свете:

– Мне хотелось бы, чтобы мы жили у нас. Ты как, согласна?

Света кивнула:

– Согласна...

Я и не сомневался, что она так ответит. Испокон веков у бухарских евреев молодая жена перебиралась в дом мужа. Именно так продолжали поступать все наши земляки и в Америке, решительно отказавшись от здешней традиции: молодым жить отдельно. Из моих приезжих друзей только Марик поселился после свадьбы (он женился незадолго до

меня) отдельно от родителей. Марик очень меня уговаривал поступить так же. «Пойми, сами себе будете хозяева, никто в ваши дела не ползет! Всё время на глазах у родителей – это не жизнь!» – кипятился он. Я пожимал плечами. «Днём мы на работе, а по вечерам... Посидим да и уйдем в свою спальню»... «Ничего ты не понимаешь! – орал Марик. – Ты не современный парень!» Но ведь он был с Украины, европеец. Мне тогда казалось, что мы, бухарские, живем правильнее: семья – это связь нескольких поколений, постоянное общение с близкими, взаимная помощь. А уж если говорить о моих собственных чувствах, не хотелось мне жить отдельно от мамы, ведь я так был привязан к ней... Да и как она останется вдвоем с отцом, без меня? Мама для меня вообще стояла на такой высоте, что размышлять, как сложатся её отношения с невесткой мне и в голову не приходило. Как можно не полюбить маму? Впрочем, я решительно воспротивился тому, чтобы Света называла свекровь мамой, как это принято во многих семьях. «Будет фальшь, притворство! – говорил я. – Мама-то у тебя одна!»

С отцом, понятное дело, всё обстояло много сложнее. И всё же отец – это отец. Я ведь любил и его. Посердившись, обычно прощал ему обиды. Благодарен был, когда он помогал мне. Жалел, когда мучала его астма. Я и маму уговаривал: «не обращай внимания, не злись!» Я наивно надеялся, что с приходом в дом молодой невестки он помягчает или хотя бы станет сдержаннее, поймет, что надо контролировать

себя... И ещё: наш «отряд» пополнится, значит, нам станет легче.

Каково придется Свете, если она не уживется с отцом? Легко ли день за днем терпеть его выходки? Нет, я не думал об этом.

Так я решил Светину судьбу. Выстоять-то Света выстояла, меня не упрекала, всегда была мне другом. Но...

Уж начав писать эту главу, я решил поговорить с ней о тех давних днях. И Света, неожиданно для меня, ответила, что вообще-то непременно хотела жить отдельно от старших. Настолько, что до встречи со мной отказала нескольким хорошим парням, которые не желали разъезжаться с родителями. Оказывается, когда Света приняла мое предложение, мой отец обещал ей, что поможет снять нам квартиру...

– Неужели же ты не знал об этом?

– Нет... По крайней мере не помню! Честное слово, не помню! Но ведь потом ты ничего мне не говорила... Почему?

Света усмехнулась и пожала плечами.

– Ну, привыкла как-то...

Не скрою, я самодовольно подумал, что влюблена была в меня моя жёнушка, вот в чем дело...

Все мы, мужчины – эгоисты...

Свадьбу решили играть через три месяца, и мы погрузились в приготовления. Уж не знаю, как у кого, а у нас, у бухарских евреев, подготовка к свадьбе – дело невероятно сложное и хлопотное. Значение ему придается... Ну, будто от того, насколько богатой и пышной будет свадьба, зависит счастье молодых супругов! А уж репутация семьи – тем более. Мы со Светой выросли в этих традициях, и нельзя сказать, чтобы они нас возмущали. Ведь приятно же стать героями торжества! Но всё же появлялось у меня некоторое сомнение, некоторое ощущение никчёмности такой безумной затраты времени, сил и денег. Однажды вдруг мелькнула дерзкая мысль...

– Может, не надо? – осмелился сказать я родителям, когда обсуждали, с чего начинать подготовку. – А что, если мы со Светой просто зарегистрируемся и поедем... Ну, в свадебное путешествие, что ли. Недельки на две к океану...

– Ты что, ты что! – замахали руками и отец, и мама. На этот раз они были единодушны. – А как же венчанье? Как родственников, знакомых не пригласить на хупу, не устроить хороший стол, танцы? Что скажут люди? А мы как? Ты молод ещё, не понимаешь: увидеть свадьбу своих детей – это счастье!

Я замолк. Может, и вправду счастье? И только в минуты,

когда наваливалась усталость после бесконечной беготни по свадебным делам (вдобавок, после работы) тихонько поскуливал: «Эх, плюнуть бы – да к океану со Светкой!»

Было бы смешно перечислять, куда я и все прочие бегали, чем занимались, но об одном деловом походе, самом главном, не могу не рассказать. О походе в Еврейский центр, где должна была происходить свадьба.

Длинное, чуть ли не на целый квартал, двухэтажное здание Еврейского центра находится на Юнион Тёрнпайк. Занимался этот центр (как, наверное, и сейчас) проблемами религии, культуры, социальной помощи и развлечений для окрестных евреев. На верхнем этаже располагалась приемная раввина, культурные учреждения, детский сад. Вероятно, как и в других таких центрах, были там также кабинеты социального работника и юриста. А внизу – синагога и большой, шикарный ресторан... Соседство вроде бы немного странное, но в данном случае вполне целесообразное и очень ценимое публикой. Именно это соседство давало возможность отмечать здесь важнейшие события, а прежде всего бар-митцвы, бат-митцвы, свадьбы.

Отправившись с отцом в это прекрасное учреждение, пошли мы не к какому-нибудь там администратору и даже не к раби. Нет, пошли мы к мистеру Джордану Ледерману, хозяину ресторана. Помещение ресторана тоже принадлежало центру, но Ледерман арендовал его. Благодаря этому он стал, можно сказать, главным лицом Еврейского центра: распоря-

жался всеми празднествами и церемониями. Даже чтобы попасть к нему на прием, приходилось записываться заранее: мистер Джордан Ледерман был крутым бизнесменом и в Еврейском центре проводил всего несколько часов в день.

Не удивительно, что мы были польщены, что мистер Ледерман вспомнил нас: мы у него бывали ещё в дни Эмминой свадьбы.

– Of course, I remember you both! – Приятно улыбаясь, говорил этот высокий, упитанный хорошо одетый джентльмен, пожимая нам с отцом руки. – You had your daughter's wedding here. Oh, what a great wedding it was! Is it your son's turn? Congratulations!

О, мистер Ледерман умел быть обаятельным, умел с каждым из клиентов найти общий язык!

Принимал он нас в своем кабинете, скромно расположенном в подвальном этаже, но отделанном с большим блеском. Не в переносном, а в прямом смысле слова: стены, и потолок кабинета сверкали и светились серебряными блёстками. Уже само это сверкание как бы показывало посетителям, с кем они имеют дело, какое пышное празднество сумеет устроить им хозяин такого кабинета. Но мистер Ледерман считал нужным кое-что добавить к этому впечатлению.

– Пройдемте сначала по вестибюлю, по ресторану, – предложил он. – Покажу, какой ремонт я тут сделал.

Экскурсия тоже входила в программу психологической обработки заказчиков праздника. Указывая нам на самые

красивые усовершенствования и приобретения, мистер Ледерман не забывал сообщать, сколько они стоили.

– Одна только люстра обошлась в сто тысяч, – сказал он с печальной гордостью, указывая рукой на огромное, сверкающее пирамидальное сооружение, которое свисало с потолка в центре ресторанного зала.

Я покосился на отца, он – на меня... Мы оба как-то съежились и, вероятно, подумали об одном и том же: проклятый ремонт! Сколько же с нас запросят за свадьбу после покупки такой люстры?

– Ну, пора за дело, – бодро сказал мистер Ледерман, решив, что мы уже «созрели». – Прошу в кабинет...

За свадьбу с нас запросили ни много ни мало восемь с половиной тысяч долларов.

Сидя за письменным столом, Ледерман перечислял необходимые этапы торжества и выстукивал на калькуляторе стоимость каждого из них. Вернее, не перечислял, а возглашал, даже голосом подчеркивая, насколько важен любой этап свадьбы.

– Пригласительные билеты... Музыка... ну, не меньше, чем на пять часов... Ведущий... Цветы... Так, переходим к обеду... Сколько приглашаем гостей? Сто семьдесят? Отдельно – закусочный стол... Бар... Теперь приступим к большому столу. Вот меню, выбирайте, прошу вас... Я бы предложил... Записываем... Кажется, получилось неплохо... Ну а теперь займемся церемонией в синагоге... – Тут тон ми-

стера Ледермана несколько изменился, стал более небрежным. – Что у нас тут? Хула... Услуги раввина...

Ясно было, что эти денежки пойдут не в его карман.

Когда общая стоимость была, наконец, названа, отец расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и подставил лицо под струю холодного воздуха, – в кабинете мистера Ледермана работал, конечно, кондиционер с движущимися жалюзи.

– Послушайте, Джордан, свадьба дочери стоила дешево...

Ледерман развел руками.

– Инфляция, два года прошло. К тому же расходы, ремонт... Одна люстра сто тысяч стоила! – с печальной гордостью напомнил он. – Но так и быть, старым клиентам пойдём навстречу... – И Ледерман снова открыл ресторанное меню. – Так и быть. Добавлю к обеду солений, дам ещё одно горячее блюдо, расширю ассортимент сладкого. Царский будет стол, а? – и Ледерман откинулся на спинку кресла, выразительно показывая нам, что он проявил величайшую щедрость.

Включая расходы на фотографа и кинооператора (мы же не дикари какие-нибудь, надо запечатлеть такое событие, сделать видеофильм!), свадьба должна была обойтись тысяч в десять.

– По пять тысяч на семью... Ничего себе! Не потянем, – сокрушённо бормотал отец, когда мы вышли от Ледермана.

Любопытно, что подсчитывая семейные расходы, он все-

гда возмущался и огорчался, искренне считая себя членом семьи. Но как только приходилось подписывать чек... Тут семейные узы начинали тяготить его! Так, конечно же, произошло и на этот раз. Кое-что из тех пяти тысяч, которые приходились на нашу семью, он дал, остальное почему-то, будто я не его сын, а только мамин, одолжил нам, с тем условием, что непременно вернем. А маме снова пришлось бегать по родственникам... Но к чему вспоминать? Разве что к тому, что слишком уж часто в семейные отношения вторгалось слово «деньги», отравляя наши души...

На этот раз я, слава богу, не втянулся в мерзкую атмосферу взаимных попреков и расчетов. У меня, несмотря на заботы и хлопоты, была предсвадебная эйфория. Она снимала усталость, она помогала бодро бегать по бесконечным делам. А ведь их было бы в десять раз больше, если бы наши семьи – Светина и моя – решили соблюдать все обычаи, все обряды еврейско-бухарской свадьбы!

Не знаю, все ли мне известны, но назову, что знаю.

Первый обряд Кандхури, в переводе – «поедание сахара». Это что-то вроде помолвки, которая происходит в доме невесты, в узком кругу семьи. Родители жениха приносят с собой поднос с сахаром, и жених, невеста, а потом и родственники, съедают по кусочку. Для того, разумеется, чтобы их дальнейшая жизнь была сладкой... Слышал я, что на этой помолвке также принято договариваться, какие расходы по свадьбе берет на себя каждая из семей.

Еще слаще, чем Кандхури, обряд Ширини хури, то есть «поедание сладкого». Тут уж одним сахаром дело не ограничивается! На столе полно кондитерских соблазнов. Ведь Ширини хури – это предсвадебный вечер с гостями. Устраивают его родители невесты, а родители жениха приходят с подарками, с различными золотыми украшениями для будущей невестки. Специально приглашённая женщина-глашатай показывает их гостям, описывая каждый подарок.

Далее происходит Кошчинон – выщипывание бровей и всяких лишних волосков на лице невесты. Об этом обряде я подробно писал в первой книге, когда рассказывал о свадьбе моего дяди Робика.

И последний обряд перед свадьбой – это Домот-дророн, приход зятя. То есть жених приглашается в дом невесты на обед по-родственному, как бы для более тесного сближения.

Наконец, совершается главный обряд – хупа, венчанье. Празднуется свадьба... Казалось бы, всё? Нет!

В первую же субботу после свадьбы родители жениха, вернее, уже мужа, устраивают Пойтах. Это что-то вроде повторения свадьбы, с обедом, с музыкой, танцами. При этом снова приглашается женщина-глашатай, которая демонстрирует собравшимся приданое невесты. Его по нашим обычаям покупают родители жениха. А после этого каждая из семей устраивает ещё один многолюдный праздник, который называется Повакунон. Ну, что-то вроде «добро пожаловать в наш дом»...

Уф! Теперь уже всё!

Кстати, раз уж я коснулся свадебных обрядов... Других традиционных празднеств, торжеств, сборищ у нас, у бухарских евреев тоже невероятное количество. Не слишком ли много? Я уже писал, я вовсе не враг традиций, они объединяют, сближают людей. Но соответствует ли их количество уровню нашей жизни, её современному, деловому, городскому ритму? Да и просто материальным возможностям? И не потому ли в большинстве семей постоянно, то печально, то раздражённо, то трагически звучит: «Деньги, деньги, деньги»...

Но дело не только в этом. Неплохо бы припомнить и честно себе признаться, в какую формальность превратились у нас многие из обрядов. Даже такие, где формальность равнозначна кощунству. Достаточно назвать поминки... О нет, конечно, не те, когда и родные, и друзья полны горестным чувством недавней потери! Тогда совершенно естественна и оправдана обстоятельствами потребность собраться всем вместе, созвать тех, кто тоже скорбит и сочувствует, побыть среди них. Но проходят годы и смягчают остроту боли. В памятные дни хочется собраться в тесном кругу семьи, тихо, с любовью поговорить об ушедшем... Но обычай требует: снова и снова, в течение долгих лет – широкие поминки! Непременно многолюдные. И чем больше людей, чем лучше ты их накормишь, тем ты, значит, сильнее скорбишь об ушедшем родственнике. Не забыл его... И вот набивается полный зал

людей, из которых многие усопшего не знают, а только слышали о нем. Они сидят за столами и под звуки проникновенной речи раввина едят, пьют и разговаривают. О чем? Да о чем угодно: о своих делах, о биржевых новостях, о ценах на недвижимость, о здоровье... Никто и не вспоминает об усопшем, кроме его близких родственников. Ну еще ребе... Он, кстати, чаще всего тоже и в глаза не видел человека, почившего много лет назад. Однако же долго и вдохновенно превозносит его добродетели, его характер... Но кто слушает ребе? Гул стоит над залом, стучат вилки и ножи.

Вот это я и считаю кощунством.

Я знаю, конечно, что такие традиции, превратившиеся в формальность, существуют не только у нас, у бухарских евреев. Похожее происходит, к примеру, и на Кавказе. Застолья на Кавказе собираются по любому поводу – ведь там виноград, разлитое море вина... Вообще-то ничего плохого в этом не вижу. Но вот недавно в рассказе одного из своих любимых писателей, Фазиля Искандера, прочел я размышления, очень близкие моим: как в его родной Абхазии люди порой превращают в бессмыслицу любую, даже прекрасную традицию. Я так обрадовался такому сходству наших мнений, что решил процитировать здесь строки из рассказа «Должники», где рассказчик приглашён родственником на празднование дня рождения сына. Вот эти строки:

«Насмотрелся я на эти празднества. Приглашают человек двести, триста, за стол начинают сажать часов в двенадцать

ночи. Пока всё приготовят, пока дождутся прихода начальства. А, главное, приношения. Стоит посреди двора деревенский глашатай, рядом с ним сидит девочка за столиком. Она слюнявит карандаш и записывает в ученическую тетрадь, кто что принес. Подарки деньгами, но больше натурой.

– Ваза, прекрасная, как луна, – кричит глашатай, высоко поднимая ее над головой и показывая всем гостям. – Чистая и прозрачная, как совесть дорогого гостя, – импровизирует он...

– Одеяло русское, – кричит глашатай, вдохновенно разворачивая стёганое одеяло. – Под таким можно уложить целый полк, – бесстыдно добавляет он, хотя размеры одеяла самые обыкновенные (...). Пока глашатай краснобайствует, гость с комической скромностью стоит перед ним, низко опустив голову. На самом деле он искоса следит за девочкой, чтобы она правильно записала его фамилию и имя. Потом он присоединяется к зрителям, а глашатай уже превозносит следующий подарок (...).

Одним словом, это своеобразный спектакль. Конечно, если ты пришел без подарка, тебя никто не прогонит, но общественное мнение создается.

В общем, я не поехал, но всё же послал ему поздравительное письмо...»

* * *

Я очень веселился, читая эти строки. Хоть и описывает Искандер празднество в абхазской деревне, где обстановка совсем иная, но суть очень похожа! Подумать только, даже глашатаев мы приглашаем, как абхазы! Конечно, кое в чём они нас переплюнули: у нас таких краснобаев не водится.

* * *

Но вернемся к нашим хлопотам... Как только до нас со Светой дошло, сколько всего предстоит, какой поток повторяющих друг друга празднеств вот-вот обрушится на нас (хотя думаю, что тогда мы знали не обо всех), мы приуныли. Я даже начал спорить, пуская при этом в ход, как оружие, свое «Лучше бы вообще к океану». В конце концов решили, кроме свадьбы, устраивать только Кандхури. Не сомневаюсь, что многие родственники и знакомые нас осуждали...

А дел и беготни всё равно было по горло! Составлялись списки приглашённых. К ним возвращались снова и снова – кого-то забывали, кто-то сообщал, что приведет с собой таких-то... Всё перечеркивалось и составлялось заново... Мама таскала Свету по специальным магазинам свадебной одежды. Ездили они в нижнюю часть Манхэттена, на Да-

ленси-стрит, она славится магазинами одежды, постельного белья и великого множества прочих товаров, необходимых для экипировки и обустройства гнёздышка молодожёнов. Из своих походов мама и Света возвращались, возбуждённые этим изобилием и полные приятных впечатлений. Но и платье купили красивое, хотя пришлось его чуток ушивать.

С моей одеждой обошлось ещё легче: по моему настоянию, Светины родители не покупали мне костюм, а взяли в аренду. Красивый – белый, с атласными лацканами и полосками на брюках... Я был очень доволен, но полагал, что без грусти расстанусь с ним после свадьбы: незачем свадебному костюму всю жизнь томиться в шкафу!

Дни бежали, бежали... И вот наконец...

Осенний воскресный день. Мы со Светой выходим из лимузина у подъезда Еврейского центра и останавливаемся, почти ослепленные: с крыши двухэтажного здания прожектора шпарят такими огненными лучами, будто воздух пылает... Ничего, сейчас привыкнем... Беру Свету под руку, а сам кошусь вниз: хорошо ли она закинула на другую руку свой шлейф? Только бы не споткнулась, ведь будем сейчас подниматься по довольно высокой лестнице. Там, наверху, под колоннадой, у ярко освещенных дверей, нас уже ждут... Как много знакомых лиц! Ну, вперед!

Уж не знаю, как Свету, но меня в первый раз в жизни столько обнимали, целовали, благословляли. Из объятий я переходил в объятия. Мне было хорошо и весело: смотри-

те-ка, мы прямо кинозвезды! Снова и снова вспышки фотоаппаратов, огни кинокамер! Волнуясь, смеясь, непрерывно останавливаясь, мы пробирались сквозь толпу гостей.

Начало торжества было назначено на шесть часов – с расчётом, что свадьба продлится часов шесть-семь. Народу уже собралось довольно много, однако же больше половины приглашённых ещё не явилось. Бухарские евреи – народ не слишком пунктуальный, мы не раз убеждались, что люди будут подходить и подходить, иные опоздают даже на час-другой. Но те, кто уже собрался, не скучали, не томились ожиданием. Гостей, как только они входили, приглашали в один из подсобных залов ресторана. Здесь звучал смех, звенели бокалы, лилась негромкая, мягкая музыка кларнета. Гости толпились возле баров или сидели за столиками, уютно расставленными вдоль стен. Над столиками поднимался лёгкий пар (блюда всё время подогревались снизу), в нужную минуту появлялся официант и наполнял тарелки. А в центре зала уже вовсю танцевали...

Да, Ледерман и впрямь всё делал красиво, с выдумкой, с размахом! Все, кто пришел на эту свадьбу, чувствовали себя... Ну, что ли, людьми из высшего общества, такими, каких показывают в кино. А разве это не мечта многих и многих? Не зря же постарались гости и одеться соответственно: мужчины в элегантных костюмах из модной лоснящейся ткани, женщины... Женщин так коротко и не опишешь! Начиная с причёсок и макияжа, кончая туфельками, почти

все они, невзирая на возраст и комплекцию, словно сошли со страниц модного журнала. Не говорю уж о золотых украшениях, о бриллиантах. А платья, платья! Действительно, можно подумать, что сюда приглашены миллионерши и звезды Голливуда. Собираясь небольшими группками, они ревниво осматривают друг друга, обсуждают фасоны платьев и прочие важные проблемы, связанные с модой, прическами, магазинами... Кстати, зайдите-ка через день-другой в самый большой магазин Квинса «Александрс», в отдел возврата вещей, и вы непременно встретите там нескольких «миллионерш». Оказывается, платье жмёт в талии. Или не понравилось мужу. Придется его вернуть. Да, в магазинах Америки новые вещи, если с них не срезаны ярлычки, можно возвращать обратно... Какое удобство для небогатых модниц!

Но сейчас ярлычки хорошо запрятаны в платьях, и нарядные дамы со своими нарядными мужьями веселятся на свадьбе. Нам же со Светой до венчанья не полагается появляться вдвоем среди гостей, веселье пока не для нас. Проскользнув по коридору, мы оказались в специальной комнате для невесты. Здесь тоже прекрасно: красивая мебель, трюмо, зеркала, яркие люстры... Поглядев, как Света снимает фату у трюмо (до чего же хороша, не нужны ей ни помада, ни румяна, ни тушь! А уж сейчас, в свадебном белом платье...) – я, как и полагается жениху перед венчаньем, расстаюсь со своей невестой...

У разных народов, естественно, свои свадебные обряды

и правила поведения. Мы со Светой к церемонии венчания должны были являться порознь. А пока, полный энергии и нетерпения, я решил заняться делом: помочь приготовлениям к хупе... Что это значит, постараюсь объяснить. Правда, за точность не ручаюсь, я не слишком большой знаток обрядов.

Венчание происходит в синагоге. Бухарские евреи именуют его хупой потому, что так называется большое молитвенное покрывало, под которым стоят жених с невестой. Возле них – раввин. Он читает благословения, помогает надеть кольца, зачитывает и разъясняет ктубу – свадебный договор или контракт, уж не знаю, как точнее назвать. Обряд довольно прост. Но бухарские евреи сумели его усложнить: к участию в хупе у нас принято приглашать близких родственников. Эти приглашённые, в отличие от остальных гостей, не сидят в синагоге, как зрители, а стоят на помосте, окружая жениха и невесту. Проходят они сюда по списку, по значимости, так сказать, по степени близости к новобрачным и их родителям... Не знаю, когда возник такой обычай, но сколько сил он отнимает и сколько доставляет волнений! Вы только представьте себе, легко ли составить такой список, никого не обидев! А чего стоит выстроить этих избранников перед входом в синагогу, растолковать каждому, кто за кем идет, добиться понимания и послушания...

Вот именно этим я и решил заняться.

Когда церемония начнется, вызывать участников хупы к

помосту будет специальное лицо – церемониймейстер. Но я хотел еще до этого расставить всех по порядку, чтобы избежать суеты и задержек. Со списком в руках я вышел в вестибюль и вдруг увидел своих родителей. Они стояли возле лестницы и, судя по разгоряченным лицам, о чем-то ожесточённо спорили. У меня сердце ёкнуло, когда я увидел злое лицо отца. Вены у него на шее так вздулись, что, казалось, вот-вот лопнет воротничок и отлетит галстук-бабочка...

«Только не сегодня!» – с отчаянием подумал я и подбежал к ним.

– Что случилось?

Оба заговорили разом.

Причиной скандала было то, что среди гостей оказались мамнины родственники, муж с женой, с которыми отец поссорился. Люди хорошие, добрые, но, как известно, отец маминых родственников вообще не жаловал, а эти имели неосторожность открыто занять мамину сторону в одном из острых конфликтов с ним...

– Ты зачем их пригласила? – кричал отец.

– Они пришли ко мне, к Валере, а не к тебе!

– Так вот: либо они уйдут, либо я!

«Уйдет с моей свадьбы? Нет, не может такого быть», – подумал я и, взяв маму за руку повел было её в сторонку. Но тут же увидел, что отец накинул пальто и бежит к дверям. Я поглядел на маму, она на меня. «Так я живу почти тридцать лет», – прочёл я в её глазах.

Огни вокруг меня померкли. Я был в отчаянии. Отец ушёл с моей свадьбы... Ведь скандал, позор! Да, в той сумятице мыслей, которая началась в моей голове, эта, вероятно, была главной: «Позор! Что скажут люди!» Злость и обида на отца и даже досада на бедную маму – почему с ним раньше не договорилась, всё это мелькало, конечно, тоже, но подавлялось, отодвигалось. Что теперь делать? Как объяснить людям?

– Пора, гостей зовут в синагогу... А где папа?

Эмма со своим Беней прибежали за нами, и это немного привело меня в себя.

– Не волнуйтесь, – деловито сказал Беня, услышав наш с мамой сбивчивый рассказ. – Бегу за ним... Приведу, приведу! А перед вашими гостями, очи-мо, что делать, придется извиниться...

Мама закрыла лицо руками.

– Какой стыд!

– Ничего, ничего, извинимся, всё объясним! – и Беня убежал.

«Какой стыд!» – продолжала шептать мама. Мне тоже было стыдно. Но... Сильнее стыда было огромное чувство облегчения: если отец вернется, свадьба пройдет гладко.

Сегодня, многие годы спустя, этот стыд мучает меня гораздо сильнее, чем тогда. Почему же я не сказал маме: «Пусть отец уходит, скатертью дорожка!» Как допустил, чтобы выгнали маминых друзей?

Только это и было настоящим позором.

Мамины родственники были так добры, что простили нас, остались друзьями. Спасибо им.

* * *

Отец вернулся. Неудобные ему гости были изгнаны. С венчанием мы опоздали всего только на час.

Гости уже рассаживались в синагоге – отдельно мужчины, отдельно женщины. Со списком в руках я крутился в вестибюле, собирая приглашённых участвовать в хупе.

– Дядя Ёсеф, стойте здесь, вы с тетей Саррой заходите первыми... Тётя Маша, где же ваш супруг? Как это – пошёл покурить?.. Ах, вот он! Вы следующие, вот сюда, пожалуйста, за дядей Ёсефом. Не отходите! Борис, а вы тут зачем? Нет, нет, это ваш мальчик понесет сейчас к хупе кольца, а вы идите в синагогу, садитесь с гостями! Так, теперь...

Охрипший, мокрый от пота, я заглядываю в список, выкликаю, разыскиваю, уговариваю стоять спокойно и не шуметь, ведь церемония вот-вот начнётся... Ох, да и мне самому пора подготовиться!

Действительно, из синагоги уже доносится возглас церемониймейстера. Эту роль по совместительству исполняет один из музыкантов-духовиков. Плотный, с лоснящимися усами и празднично сияющим лицом, с могучей грудной клеткой и таким зычным голосом, что никакой микрофон не

нужен, он возглашает:

– Пр-р-о-ошу войти-и-и многоуважаемого раввина Шамуили! (Аплодисменты.) Пр-р-о-ведшего сотни обр-рядов венчания! (Снова аплодисменты.) И ни одного р-разво-о да!

Бурные аплодисменты, при этом вполне заслуженные, так как ведущий не соврал, сопровождают энергично шагающего по проходу между рядами ребе Шамуили. Невысокий, с седоватой бородкой ребе очень эффектен в своём белом облачении и белой кипе. А громкоголосый музыкант-духовик уже приглашает избранников. Подбегая к родителям, я слышу за спиной трубные раскаты его голоса:

– Са-а-амые дор-рогие и близкие...

Мне немножко смешно: «самые близкие»... Уж кому-кому, а глашатаю, эти люди вообще не знакомы, но послушать его эпитеты, так он провел с ними рядом всю жизнь...

Под громкие звуки музыки приглашённые, пара за парой, шествуют к хупе. Посреди прохода они останавливаются. Поза напряжённая, лица растянuty в улыбке – «чии-из» – и вспышка фотокамеры... Готова ещё одна фотография, которая будет пылиться в альбоме... Теперь – вперед, на помост!

Доводилось мне на свадьбах видеть такие переполненные помосты, что казалось: толпа избранных уже задавила новобрачных, а помост вот-вот рухнет. Нередко проходило полчаса, а то и больше, пока к хупе вереницей двигались бабушки и дедушки, братья и сестры – сначала родные, потом дво-

юродные, племянники и племянницы... Словом, все «родственники и друзья кролика»... Ну, у нас-то, к счастью, такой толчеи не наблюдалось: многих наших близких не было в Америке.

– Ты готов? – Шепчет мама.

И как раз вовремя.

– Прошу войти...

Да, это уже нас... Меня...

Я в вихре необычайных ощущений. Я словно со стороны вижу, как вхожу между родителями в синагогу, вижу красивые, яркие витражи в окнах... Вижу, как ступаю по чему-то белому, чем застелен проход... Вижу повёрнутые ко мне лица... Я волнуюсь – и я спокоен. Оказывается, и так бывает.

Мы прошли, и в проходе появляется мальчик. Торжественно, словно императорскую корону, он несет кольца на бархатной подушечке...

– Прошу войти...

Это уже Свету приглашают!.. Перед ней появляется девочка с корзиной лепестков... Разбрасывает их по проходу... А вот и Света... Плышет, как белое облачко, между родителями... Спускаюсь к ней навстречу, под руку ввожу на помост... Вот мы под хупой – уже не рядом, нас разделяет маленький столик... Раввин берет с него раскрытый молитвенник... Произносит – нет, скорее поет – благословения, приподняв голову, громко и протяжно... Красивый язык – иврит, не зря дед старался меня научить... «Амен» – вместе

с реббе выдыхает весь зал... Молитвенник в руках у дяди Ёсефа... С какой радостной улыбкой поет он благословение! Милый дядя, хорошо ему живется с такой глубокой, чистой верой! И у мамы – она стоит с ним рядом, – тоже такое светлое, счастливое лицо! А на отца я не гляжу. Не хочется...

Как тихо, все будто замерли... Ребе берет с подушечки кольцо. Светино. Передает мне:

– Повторяй за мной: «Гарей ат мекудешет ли бетабаат зо кедат моше вейисраэль»...

– Гарей ат мекудешет, – повторяю я, а сам занят тем, чтобы не уронить кольцо и аккуратно надеть его на Светин безымянный пальчик... «Гарей ат мекудешет»... Почему же я, готовясь к свадьбе, погруженный во всяческую, мягко скажем, ерунду и суету, не удосужился узнать, что же я буду говорить? А ведь именно в них, в эти древних девяти словах, заключен был весь смысл того, что происходило сейчас со мной и со Светой: «Этим кольцом ты посвящаешься мне по закону Моше и Израиля» – вот что они гласили.

Хорошо, что хоть теперь я это узнал. И понял, что слова не солгали – ни я, ни Света не изменили клятве.

Потом и моя юная жена надела мне кольцо. Я приподнял её фату, и мы поцеловались. Поцелуй был какой-то особенный, будто мы не делали этого уже много раз... Потом нам дали отпить вина из бокала. Потом ребе торжественно развернул плотный бумажный свиток – древний супружеский контракт «Ктуба», у нас, бухарских евреев, называ-

емый «Кидуш». Полагают, что договор этот, написанный на арамейском языке, был составлен еще за два столетия до нашей эры... Какой же высокой культурой, не только религиозной, но и гражданской, обладал уже тогда еврейский народ! Каким уважением к женщине! Ведь Ктуба возлагает на мужа огромную ответственность: он должен обеспечивать жену пищей, одеждой и всем необходимым, оберегать её. Мало того, у мужа есть финансовые обязательства и перед вдовой, и в случае развода. Договор подписывается свидетелями, нарушение его равносильно преступлению...

Раввин читал нам Ктубу по-арамейски и тут же переводил на английский. Наконец он произнёс еще семь благословений, освящающих наш брак.

Прежде чем мы вышли из синагоги мужем и женой, я выполнил еще один ритуал. Тоже древний, имеющий в Талмуде даже разъяснения, почему он возник, но теперь ставший просто веселым обычаем.

– Разбивай, – сказал ребе, протягивая мне бокал, завернутый в салфетку... «Как бы не промазать, – подумал я, кладя его на пол и заносая ногу. – Ведь смеяться будут, да и примета плохая». Но я не промазал, и синагога взорвалась аплодисментами и выкриками: «Мазл тов!»

Хорошо быть молодыми! Мы со Светой отправились, наконец-то, в ресторан и так отлично поужинали и повеселились, будто не устали и не переволновались... Но если бы меня кто спросил, что было самое приятное в тот вечер, я

бы ответил: поцелуи после выкриков «Горько!» А выкриков хватало...

И ещё: если бы меня кто спросил, что бы я выбрал, если бы снова женился на Свете, я бы ответил: скромное короткое венчание среди близких и долгую поездку к океану. Вдвоем.

Глава 45. Юабовы – потомки красильщиков

«Прошлое – это колодец глубины несказанной». Так начинается Томас Манн свой знаменитый роман «Иосиф и его братья». Поясняя это образное сравнение, он пишет, что начало истории той или иной народности и даже семьи мы можем проследить только с какой-то условной отправной точки. За её пределы нам не проникнуть.

Размышления Манна о глубинах прошлого вспомнились мне, потому что в этой главе я хочу рассказать о своих собственных попытках «заглянуть в колодец».

Почему я их начал? Ну, мне думается, почти каждый из нас интересуется своими «корнями». У одних этот интерес широк и включает историю своего народа, у других проявляется только к собственным предкам. Кстати, я заметил, что у бухарских евреев стало очень престижным собирать и по возможности даже печатать изыскания о наиболее интересных представителях своего рода. Ведь неслучайно такие описания публикуются чуть ли не в каждом номере газеты «Бухариан таймс» да и книг на эту тему появилось немало.

К сожалению, я не знаю, существует ли такая традиция у других этносов, даже оказавшихся в сходных с нами условиях. Могу только сказать, что в русских газетах Нью-Йорка я таких публикаций не припомню.

Так или иначе, на меня наше подчеркнутое внимание к своей генеалогии, очевидно, как-то влияло. Может, не будь такой традиции, я бы этой главы и не задумал. Но дело не только в этом. Любопытство к прошлому семьи пробудилось во мне ещё в раннем детстве. Примется, бывало, мама рассказывать нам с Эммой какой-нибудь случай из жизни своих родителей, теток, дядей, сестер, – и я так всё переживаю, так радуюсь, сержусь, страдаю, будто сам участвую в том давнем событии. Наверное, мама была талантливым рассказчиком.

Рассказы моих дедушек и бабушек слушать было не так-то легко, изъяснялись они вперемежку на бухарском и ломаном русском языках. Но из несвязных клочков воспоминаний, приправленных сплетнями и небылицами, я всё равно почти всегда вылавливал что-нибудь любопытное. Воображение работало вовсю, услышанное превращалось в «картинки»: появлялись передо мной люди, раздавались их голоса... Впрочем, об этом я уже писал.

Однако же и мама, и старики рассказывали обычно о том, что происходило сравнительно недавно, то есть уже в Узбекистане, в Ташкенте. Более давние истории упоминались, не обрастая подробностями. А у меня с годами всё сильнее становился интерес именно к старине, к корням семейного древа. Я не раз собирался заняться самостоятельными поисками, но... Всё времени не хватало. Всё откладывал. И вот печальный результат: в этой книге я очень мало могу сообщить моим детям и будущим внукам об истории нашего ро-

да. Говоря словами Манна, в «колодец» я сумел заглянуть не слишком-то глубоко.

* * *

...Как-то я спросил у одной пожилой дамы, казалось бы, вполне довольной своей престижной профессией программиста: «Если бы вы могли начать всё заново, выбрали бы эту специальность или другую? – «Только историю! – не задумываясь, ответила она. – Простить себе не могу, что так не сделала. История человечества – какие это бури! Смерч за смерчем... Миллионы и миллионы человеческих судеб взмываются, размываются, рассеиваются, словно тучи песчинок! Как это волнует, как хочется что-то понять в этом хаосе!»

Именно в тучу песчинок – в одну из бесчисленных туч, взметённых вихрем истории и развеянных по свету, попала когда-то и семья, положившая начало истории моего рода. Семья большая – мать, отец, пятеро детей. Но из семи имен известны только четыре: мать звали Михаль, троих сыновей – Рубен, Ядгар и Ильяву. Юовы – считается, что так звучала их фамилия, если, впрочем, она правильно дошла до нас. В первой половине девятнадцатого века жили они в Иране, в городе Мешхеде, куда кто-то из их предков когда-то переселился из Палестины... Да, вот именно так: кто-то, когда-то... Но туда уже не заглянуть. А выплывает семья из мрака сравнительно недавно: есть предположение, что в 1870-х годах

молодые Юовы, три сына и две дочери, покинув родителей, переселились в Туркестан. Нынешним языком говоря, эмигрировали. Предки мои, смею сказать, были истинными евреями. Ведь тема переселения, как и тема продолжения рода постоянно присутствует в истории евреев, словно одна из важнейших музыкальных тем в симфонии. Она меняет порой тональность, она имеет вариации, она исполняется, если можно так выразиться, на разных инструментах, но почти всегда сохраняет трагическое звучание...

* * *

«Три брата на верблюдах приехали из Ирана»... Уж не знаю, сколько раз за годы своего детства слышал я эти слова от деда Ёсхаима. Дед почему-то не упоминал ни о том, что с братьями эмигрировали две их сестры, ни о том, что путешествовали родичи с караваном. Узнал я об этом ещё от кого-то.

Караван. Как красиво это звучало! И конечно же, он тут же появлялся в воображении.

Среди песчаных холмов безводной пустыни длинной чередой движутся верблюды. На шее переднего позвякивает колокольчик. Протяжно кричат погонщики. Среди путников – трое молодых братьев и две сестры. Головы и лица сестер, как велит обычай, окутаны покрывалами. Смуглые усталые лица братьев обмотаны платками, оставлены только узкие

щели: свет ярок нестерпимо, а воздух обжигающе горяч. Огненное солнце накаляет его уже с утра, а к полудню песок вот-вот превратится в расплавленное стекло. Иногда в знойном мареве возникают то деревья, то озёра, то белые стены домов и башни мечетей. Поколышутся у горизонта и исчезнут: ведь это миражи!

Но вот караван подходит к стоянке. Чахлые деревья, колодец, покрытый тяжёлой каменной плитой. Её со скрежетом отодвигают, опускают в колодец бадью. Верблюды медленно сгибают свои длинные ноги с широкими, похожими сверху на лапы, копытами, припадают на колени, ложатся, и путешественники спрыгивают на песок. Скорее, скорее напиться свежей, холодной воды, напоить верблюдов!

Так мне это виделось. А когда я сумел сопоставить мои детские «картинки» с реальностью, оказалось, что они не так уж фантастичны.

Караван с моими предками двигался, очевидно, по одному из отрезков Великого шёлкового пути, который, начиная со 2-го века до нашей эры вплоть до 16-го века новой эры, связывал Китай, Азию и Европу. За всё существование человечества не было торговых путей, равных этой древней «столбовой дороге» по культурному и экономическому значению. Приятно упомянуть об этом обстоятельстве, которое как бы объединяет историю моей семьи с мировой историей.

Понятно, что к концу девятнадцатого века дорога давно уже потеряла свое всемирное значение, но путешественни-

ки – жители азиатских стран продолжали ею пользоваться. И конечно же, гораздо больше возникло возле неё многочисленных поселков, городов и караван-сараев, где путники могли найти и приют, и отдых, и еду.

Великий шёлковый путь, начинаясь в Китае, раздваивался на северный и южный, имел несколько ветвей. У Мешхеда, города, где жили мои предки, проходил один из отрезков южной дороги. Карта подсказала мне, что сначала их караван направился к туркменскому городу Меир, теперь он называется Мары. Путь не близкий – около 300 километров, и очень нелёгкий: он пересекал горный хребет Копетдаг. Но еще более долгой – 800–900 километров и гораздо более тяжёлой была дорога от Мары до Ташкента. Ведь караван, пройдя через Копетдаг, попадал в юго-восточную часть пустыни Каракумы.

Сколько же недель были в пути братья и сестры? Шли они летом, палимые солнцем, или продували их леденящие февральские ветры? Не знаю. Не найти мне ответа и на другой, ещё более важный вопрос: почему мои предки бежали из Ирана? Я имею в виду их личные, семейные причины. Объективные гораздо понятнее, их объясняет история.

Известно, что два тысячелетия назад, после изгнания евреев из Палестины, Вавилония превратилась в мировой центр еврейской духовной жизни, культуры и науки, существовавший около тысячи лет. Огромный срок, особенно если помнить об исторических бурях. А они достаточно ча-

сто свирепствовали над Центральной Азией! Начиная с V–VI веков новой эры, в Персии много раз происходили события, приводившие к гонениям на евреев. Страшные бедствия принесла им династия Сефевидов, пришедшая к власти в 1502 году. С этого времени государственной религией Ирана становится ислам шиитского толка, отличавшийся крайней нетерпимостью к иноверцам, особенно – к евреям. Нетерпимость – правильнее, вероятно, назвать её ненавистью – делала жизнь еврейского населения невыносимой. Жестокими были и религиозные гонения. Искоренялся иудаизм. Евреев заставляли принимать ислам. Многим пришлось подчиниться, иначе было не выжить. Таких вероотступников называли «джедиды» (от арабского «джедид-уль-ислам», то есть новый мусульманин). Значительная их часть тайно продолжала исповедовать свою веру и жила под страхом разоблачения. Находились праведники, которые не изменили религии отцов, предпочли смерть. Но большинство иудеев, как свидетельствуют исторические источники, бежало из Ирана. Чаще всего в ту часть Центральной Азии, которая не попала под власть персидских шахов.

Династия Сефевидов правила почти до середины XVIII века. Неизвестно, находилась ли в те времена в Иране семья Юовых, пришлось ли им принять ислам. Вполне возможно, что отъезд части семьи из Ирана в 1870-х годах был вызван преследованиями: начиная с 1839 года по Ирану снова прокатились волны погромов. Но если это так, непонятно, по-

чему дети уехали, а родители остались? Что их толкнуло на разлуку, на такое трагическое решение? Ведь младший из сыновей, Ильяву, был совсем ребёнком! Может быть, родители намеревались поехать позже и не смогли?

Однако же в нашем роду существует и ещё одно, совсем иное, предположение: что Михаль с супругом уехали из Ирана много раньше – в 1848 году. Они вдвоем покинули Мешхед и поселились в Бухаре. Там и дети их родились, а уже оттуда Рубен приехал в Ташкент.

Как было на самом деле? Можно ли это выяснить? Я буду пытаться. А пока продолжаю пересказывать первую версию...

Странники оказались в Ташкенте. Казалось бы, на чужбине старшему брату надо бы стать главой семьи, взять на себя отцовские обязанности. Но нет, произошло иначе. Снова, как и при отъезде из Ирана, семья разделилась: старший, двадцатилетний Рубен, остался в Ташкенте, а двое младших, пятнадцатилетний Ядгар и десятилетний Ильяву, вскоре переехали в Бухару. Судьба их неизвестна. Ушли в другие семьи вышедшие замуж сёстры. А Рубен, изменив свою фамилию на узбекский лад, стал родоначальником ташкентских Юабовых.

Занялся он делом, которому, скорее всего, был обучен ещё в детстве: Рубен, как и его брат Ядгар, был красильщиком тканей и одежды. Кстати, возможно, что Ядгар и Ильяву отправились в Бухару, рассчитывая на каких-либо родствен-

ников или знакомых, тоже красильщиков, которые могли на первых порах помочь юным братьям: взять их, скажем, в ученики. В Бухаре, как в любом из городов Туркестана, где жили евреи, было множество таких мастерских.

Я постарался кое-что узнать о профессии своих предков. Оказывается, крашение пряжи и тканей, так же как и ткачество, уже в древности было мастерством, освоенным евреями. В старину, когда всё изготовлялось ручным, кустарным способом, ткани и одежды были замечательно красивы и стоили немало. Химических красителей, понятное дело, не существовало, мастера пользовались только природными. Ближний Восток богат растениями и животными, из которых можно получать прекрасные, стойкие красители. Известно, например, что темно-красную краску добывали на побережье Средиземного моря из улиток-иглянок. Дает эту краску и дубовая тля. Красно-жёлтую получали из корней марены, жёлто-коричневую – из ореховой скорлупы и кожуры граната. Из Индии купцы привозили тёмно-синюю краску индиго, которая добывалась из сока некоторых тропических растений и очень ценилась в Центральной Азии... Список этот пополнялся веками.

Я думаю, что мастерские хороших красильщиков были своего рода лабораториями. Ведь для того, чтобы правильно подбирать и широко использовать краски, требовались немалые способности и знания, требовался опыт, умение экспериментировать. Неудивительно, что красильщики име-

ли много профессиональных секретов, которые переходили от отцов к сыновьям. Их никому не открывали, особенно иноверцам. Конкуренция была опасна: выбор профессий для евреев был чрезвычайно ограничен. В странах Ближнего Востока, где евреи жили в изгнании, ремесло красильщиков чуть ли не до последнего времени считалось только еврейским.

Вот так они и стали лучшими в мире мастерами этого дела...

Кстати, в книге, с которой я начал эту главу, Томас Манн, рассказывая о прибытии братьев Иосифа в Египет, пишет, что десятый брат «обращал на себя внимание... яркостью алой и синей, окрашенной соком багрянок ткани одежд». Конечно, в те библейские времена евреи ещё никак не могли стать мастерами-красильщиками и тем более прославиться. Но Томас Манн, который вообще очень смело обращался с историческим материалом, решил немного «заглянуть вперед», чтобы не упустить такую интересную деталь!

Насколько профессия красильщиков была распространена среди бухарских евреев даже уже и в новые времена, я прочитал в содержательном труде профессора Д. Очильдиева «История бухарских евреев». Вот одна подробность, точная и убедительная. «На первую в Бухаре первомайскую демонстрацию, – пишет Д. Очильдиев, – вышли и обитатели еврейского квартала. В руках они держали транспаранты: «Долой угнетателей! Да здравствуют трудящиеся и красиль-

щики!»

Интересно, что почти о том же рассказал писатель Камил Икрамов в книге «Дело моего отца». Отец его, Акмаль Икрамов, первый секретарь ЦК партии Узбекистана, был расстрелян в 1938 году. Рассказывая о его жизни и гибели, сын вспоминает о первом первомайском митинге в Маргелане. Икрамов на трибуне, он смотрит, как проходят демонстранты... «Каждый квартал вышел со своими песнями и лозунгами. Особенно гордо и смешно выглядела колонна красильщиков. Крашение шелка было монополией бухарских евреев, живших в Маргелане с незапамятных времен... На красном кумаче их знамени по-русски был написан известный всем лозунг с добавлением смешным и трогательным:

«Освобождение рабочих есть дело самих рабочих и красильщиков!»

И красильщиков, оказывается, тоже.

Очень уж хотелось несчастным и бесправным красильщикам, чтобы не забыли о них в такой день».

* * *

Вернемся же к тем красильщикам, которые были моими предками. У Рубена, ставшего первым Юабовым, появилась в Ташкенте семья: жена по имени Ойбивиш, четверо сыновей – Моше, Мордухай, Ёсхаим (мой дед) и Михаил, а также дочь Бахмал. Об этом я не раз слышал от отца. Он вообще

не упустил случая поговорить о своих родственниках, при том с восторгом просто неописуемым, будто все они – люди необыкновенные. А уж умершие – те, послушать его, заслуженно пребывают на небе в качестве святых! Меня эта похвальба раздражала. К тому же всё, что отец мог рассказать о предках, я давно знал наизусть, ведь он повторял одно и то же.

Но один разговор, происходивший уже в Америке, мне запомнился. В тот день к нам пришёл Рахмин Нисанович Пинхасов, наш родственник, педагог-физик, пользовавшийся в Ташкенте большим уважением. Пришёл он с женой и с каким-то парнем, то есть с очередным женихом для сестры. Как мы с Эммой относились к таким попыткам сватовства, я уже рассказывал, однако же Рахмин Нисанович оказался обаятельным, интеллигентным и очень веселым человеком. Пожилой, довольно полный, смешно поддерживая обтянутый пиджаком живот, он уселся рядом со своей женой Ривой Львовной на диван и сразу же овладел разговором. Шутил он так остроумно, что все мы то и дело хохотали, а ведь не очень часто бывает, чтобы молодежи было интересно и весело со стариками! Особенно мы смеялись, когда разговор зашёл о молодых годах гостей. И Рахмин Нисанович, переглянувшись с женой (они вообще очень нежно поглядывали друг на друга), припомнил одну историю. Вернее, муж и жена рассказали её вдвоем.

– Возвращаюсь я как-то из института с лекции в обществе

двух моих студенток... – начал Пинхасов.

– И ведешь их обеих под ручку, – перебила его тихим голосочком Рива.

– Ну, под ручку... Что особенного? Педагог просто обязан поближе знать своих учениц, не правда ли? А тут вдруг молодая жена навстречу... Вот-вот прервет педагогический процесс! Я и намекнул ей: «Не замечай меня! Иди себе мимо!»

– Намекнул? Ничего себе намёк! Прокричал на всю улицу, да ещё на бухарском, чтоб девицы не догадались! – изображая возмущение, воскликнула Рива. И оба супруга, откинувшись на спинку дивана, от всей души расхохотались.

Видно было, что историю эту они не в первый раз рассказывают вот так, вместе. А превратить такой случай в шутку, наслаждаться ею в обществе, могут только любящие и совершенно доверяющие друг другу люди.

Когда чуть попозже заговорили о том, кто кому кем приходится (наше с Пинхасовым родство оказалось очень близким: он был племянником деда Ёсхаима, а значит, двоюродным братом моего отца), Рахмин Нисанович сумел даже этот традиционный застольный разговор о родственниках сделать интересным.

– Дед Рубен стал последним красильщиком в роду, – сказал он. – Правда ведь любопытно: никто из сыновей Рубена профессию отца не унаследовал, а один из них, Михаил, уже захотел и смог стать образованным человеком, матема-

тиком. И какой факультет закончил – физмат! Да ещё сам деканом стал! Словом, времена изменились. А уж в следующем поколении потянулись к культуре многие из Юабовых. У нашей матери Бахмал, дочери Рубена, пятеро детей. Двое из нас педагоги: брат Абрам – экономист, я – физик...

– Всех лучше был Искиё, – перебил Рахмина отец. И начал восторженно, как всегда, описывать таланты ещё какого-то, не известного мне тогда, родственника. Мне снова стало скучно, я перестал вслушиваться. Но мысль Рахмина Нисановича о том, как время изменило помыслы и социальные устремления членов моего рода, мне запомнилась. Правда, она достаточно долго дремала в моей памяти, лишь иногда нашёптывая мне, что надо бы заняться... Надо бы порасспросить старших родичей...

И вот совсем недавно кто-то из родственников сказал мне, что Берах Юабов составляет генеалогическое древо нашего рода.

Берах Мошевич, как и Пинхасов, как и мой отец, внук Рубена. Значит, мне он приходится дядей. Но мы с ним почему-то не были знакомы. И вот, созвонившись, отправился я к нему в гости.

Был зимний, необычайно снежный для Нью-Йорка день. Двое суток бушевала над городом метель с ураганным ветром, засыпавшая улицы чуть ли не метровым слоем снега. Высокие сугробы крепостными валами стояли вдоль обочин. Не Нью-Йорк, а Заполярье! Словом, погода для поездки бы-

ла не самая подходящая. Но, пробираясь в машине к дому дяди, я с усмешкой думал, что «путешествие к предкам» должно же сопровождаться трудностями. Особенно такое запоздалое, как моё.

Впрочем, добрался я до Бераха вполне благополучно. Своим могучим рукопожатием и крепким сложением пожилой родственник напомнил мне деда Ёсхаима и этим сразу расположил к себе. Когда из прихожей вошли мы в единственную комнату его маленькой квартирки, я, шагнув через порог, остановился в изумлении: куда я попал? На выставку? В музей? Одна из стен, от потолка до пола, увешана была картинами. Рыбы... Лошади... Старые мечети... Стройные девушки... Яркие, веселые, будто писал их ребёнок. Они радовали искренностью, чистотой, жизнелюбием.

– Да, рисую вот... Очень успокаивает... – чуть смущённо пояснил Берах. – Живу, понимаешь, один, жена умерла, сыновья разъехались. Стал я ходить в клуб для пожилых, там и начал рисовать, понравилось... Ну ладно, погляди-ка лучше вот сюда...

Я перевёл глаза на другую стену. Так же, как и первая, она вся была увешана, но не картинами, а портретами и фотографиями.

– Наш род... Всё, что я смог найти... Узнаешь кого-нибудь? – спросил Берах. – Деда Рубена, например? Во-он там, наверху...

– Как, это Рубен?!

С фотографии, которая висела почти у потолка, глядел на меня бородатый человек в высокой каракулевой шапке. Я прекрасно помнил этот снимок, он стоял на комоду у бабушки Лизы в Ташкенте, в дедовом доме. Но я почему-то был уверен, что это её отец! Помню даже, как я удивлялся. Бабушка сама мне рассказывала, что от этого злого скупердя её мать ушла с четырьмя детьми. Зачем же бабушка к его портрету подходит по утрам и что-то бормочет, вроде как молится? Я об этом даже в книге о моем детстве написал...

Оказывается, это Рубен, старший из «братьев на верблюдах!» «Как же я так ошибся? – растерянно и просто-таки со стыдом думал я. – Почему не расспросил никого? И как хорошо, что я, наконец, встретился с Берахом!»

Рядом с Рубеном висела женская фотография – приятное лицо, национальная узбекская одежда. Это была прабабка Обивиш. Других родичей я рассмотреть не успел. Берах, расстелив на обеденном столе большой лист ватмана, подозвал меня:

– Потом поглядишь на каждого, взгляни сначала на всю семейку!

Дядюшка потрудился на славу: древо нашего рода выглядело совсем неплохо. Получилось оно хоть и не очень высоким, но ветвистым, всюду, где было возможно, имелись даты и фотографии. Дав мне полюбоваться, Берах начал «экскурсию».

– Толстый ствол – это иранские прародители, первые сни-

зу ветви – их дети... А вот эти, повыше – дети Рубена. Мой отец – один из них. Звали его Моше, Моше-иранец. Люди помнили ещё, откуда приехала семья. Да... Так вот, отец мой, как и братья, семейной профессии не унаследовал: он стал сапожником. И вот, представь себе, это ремесло погубило его. Несчастье случилось в 1933 году. Варил отец на примусе мазь для чистки обуви. Делают её со скипидаром. И вот, понимаешь, скипидар выплеснулся за край кастрюли, тут она вся и полыхнула. Отец хватъ её, и на улицу. А там...

Берах махнул рукой. Ведь он, тринадцатилетний мальчишка, участвовал в той ужасной трагедии, ему было больно и трудно рассказывать. Но зато мне казалось, будто я вижу всё своими глазами.

Вот Моше с пылающей кастрюлей выбегает за дверь... На встречу порыв ветра, и языки пламени охватывают его одежду, волосы... Моше кричит, Берах тоже: одежда и на нём загорелась, но не так сильно... Пылающий, как факел, человек мечется по двору... Кто-то хватает его, кидает в арык...

– Солдат какой-то мимо проходил. Смелый человек, не растерялся. Но поздно, такие ужасные, ужасные были ожоги... Погиб мой отец. А было ему всего пятьдесят четыре. Осталась огромная осиротевшая семья: вдова, десять детей. Вот эти ветки повыше, уже мы, сыновья и дочери Моше. Отцу было двадцать четыре, когда женился, а невесте – двенадцать. Моя будущая мама, Сурьё её звали. Девочка из бедной многодетной семьи, она даже читать не умела. В тринадцать

родила первого сына – Хиския, а всего – шестерых мальчиков и четырех девочек. Вот, погляди, тут мы все! – И Берах протянул мне фотографию.

* * *

Семейные снимки обладают какой-то особой аурой, передающей дух времени. Больше того, нередко кажется, что люди, на них запечатлённые, словно бы хотят что-то сказать тебе или спросить. Какая-то между вами таинственная связь, особенно если знаешь, что вы объединены общей кровью и, возможно, чем-то духовным.

Именно это я чувствовал, глядя на фотографию, очень старую, но четкую, почти не выцветшую. Серьезно и даже пытливо смотрели на меня ещё молодые тогда родственники. Но у того, что стоял в центре, были какие-то особенные, удивительно живые, излучающие свет глаза.

– Да, это Хиския, старший мой брат. Мы звали его Исак. Это он, когда погиб отец, настоял, чтобы вся семья сфотографировалась на память. Он был самым талантливым из нас, самым ярким. Ему, как первенцу, отец решил дать религиозное образование и послал учиться к ребе, в частную школу. Ну, Исак изучил, конечно, иврит, Тору и всё такое, но выбрал он совсем другой путь...

Как рассказал мне Берах, дорогу Исаку открыла революция. Кстати говоря, как и многим молодым людям того вре-

мени: ведь в первые годы советской власти и для тех, кого называли пролетариями, и для национальных меньшинств, в том числе для евреев, делалось довольно много хорошего. Им давали возможность получить образование, выдвигали на руководящие должности. Не удивительно, что именно после революции Исак начал серьезно учиться. Сначала закончил семилетнюю школу, затем рабфак – рабочий факультет, такое учебное заведение, куда принимали только рабочих, и без всяких бюрократических формальностей. Но и это образование показалось ему недостаточно серьезным, поступил в Среднеазиатский Коммунистический Университет. Изучал политэкономия. Человек кипучей энергии, он при этом с ранней юности был в гуще политической и общественной жизни, в гуще событий. Зимой 1921 года вступил в отряд добровольцев и воевал с басмачами. Можно не сомневаться: он искренне верил в правоту и победоносную силу коммунистических идей! В двадцатых годах уже был секретарём комсомольской ячейки одного из районов Ташкента, занимался ликвидацией неграмотности. Закончив университет, стал директором техникума механизации сельского хозяйства и преподавателем политэкономии. Потом совсем высоко поднялся – назначили его заведующим отделом национальных меньшинств в Центральном Исполнительном Комитете Узбекистана.

– Да, большим человеком стал Исак! – с гордостью сказал Берах.

– И долго он пробыл «большим человеком»? – спросил я, почти не сомневаясь в ответе. Кто же теперь не знает, как расправлялись в годы сталинщины со старыми, ещё преданными революции кадрами, с крестьянами, с интеллигенцией, с евреями...

Поняв меня, дядюшка усмехнулся.

– До тридцать пятого года. А потом...

– Потом, конечно, посадили?

Берах покачал головой.

– Представь себе, нет. Миновало... Может, просто повезло, только не посадили. Но с высокого поста в тридцать пятом году предложили уйти. Испортил жизнь Исаку муж нашей сестры Марии: он спекулировал золотом, в тюрьме не раз сидел. Такое родство в те годы не прощалось! Пришлось брату ограничиться преподавательской работой. Обида, конечно, осталась жестокая.

То, что Берах рассказал об Исаке, показалось мне действительно очень интересным. Мне приятно было узнать, что он опубликовал в нескольких номерах «Бухариан таймс» большую статью о жизни брата. Приятно и, конечно же, известно, что об этой статье, уже появившейся, я узнал только

сейчас.

* * *

Разговор с Берахом подтвердил мои мысли о том, что в истории нашей семьи прекрасно прослеживаются перемены, которые вносит время в судьбы людей. Когда-то Юабовы были красильщиками. Возможно, это длилось века и века. А теперь...

– Ты сам погляди, – сказал Берах. – Я стал инженером-энергетиком, трое братьев – зубными техниками. Только двое из нас предпочли быть мастерами, ювелиром и сапожником. Сёстры тоже получили образование, Сарра – врач, Мария – медсестра, Зина закончила техникум... В семье твоего деда Ёсхаима все три сына с образованием. В семье его брата Михаила тоже все четверо детей – трое сыновей и дочь – физики. Сыновья Бахмал, Рахмин и Абрам, педагоги: физик и экономист. Наше поколение уже можно назвать образованным!

Словом, взял я листок бумаги и подсчитал, что в поколении внуков красильщика Рубена Юабова из 27 человек высшее образование получили 11, а среднее специальное – 7. Статистика, по-моему, впечатляющая.

Интересно, что именно поколению наших отцов выпала судьба продолжить извечную еврейскую дорогу, совершить очередное переселение. Конечно же, в этом была историче-

ская необходимость. Но вот о чём мне подумалось: не все они смогли в Америке продолжить работу по профессии. Адаптироваться в чужой стране немолодым людям, таким, например, как мой отец, оказалось слишком трудно... Я понимаю, что они в конце концов тоже обрели и комфорт, и чувство безопасности, но всё же пришлось многим пожертвовать ради продления рода, ради детей. То есть уже для моего поколения.

У нас-то, попавших в Америку совсем молодыми, возможности для образования оказались достаточно широкими. Каждый ли воспользовался ими, это уже другой вопрос. Достаточно вспомнить, как упорно мой папочка хотел, без всяких там колледжей, «пристроить» меня к делу, сразу приносящему заработка. Да и я не слишком сопротивлялся... Поскорее начать зарабатывать деньги – в Америке это величайший из соблазнов. Но, повторяю, это уже другая тема. А пока вернусь к своим поискам.

* * *

Удалось мне узнать, что возле Нью-Йорка, на Лонг-Айленде, в городочке Грейт-Неке, живут евреи – эмигранты из Мешхеда, из того же иранского города, откуда выехали мои предки. Расстались они с Ираном сравнительно недавно, когда там начал свирепствовать небезызвестный Аятолла Хомейни. Живут, как я слышал, эти мешхедцы очень сплочён-

но, стараются сохранять чистоту крови буквально в рамках общины. Рассказывают, что когда один из них женился на еврейке не из Мешхеда, некоторые гости на свадьбе выразили свое недовольство тем, что в танцах не участвовали... Я понимаю, что мои мешхедские корни в таком суровом ортодоксальном кругу не будут признаны, и всё же хочу попробовать завести там знакомых. А вдруг кто-то из стариков слышал о моих предках и что-то мне расскажет? А то даже и родственников обнаружу?

Хорошо бы и до Бухары добраться, найти там следы нашего рода. Словом, поиски ещё не закончены: я намерен их продолжать.

Глава 46. «Покой нам только снится»

Осенний солнечный денёк. Блестя стеклом и металлом, мерцая гранитом и мрамором, вздымаются в синеву небоскребы Шестой авеню. Двумя нескончаемыми встречными потоками проносятся машины. Снуют по тротуарам пешеходы. Кроссовки, высокие каблочки, дорогие ботинки, вьетнамки... Джинсы, шорты, модные брюки, элегантные пиджаки и средневекового покроя лапсердаки... Пёстрые азиатские халаты и японские кимоно... Седые бороды и пейсы, золотые кудри, сотни тугих косичек... Желтые, белые, смуглые, чёрные лица...

Посреди этого гигантского муравейника сидит на ступеньках одного из подъездов парень. Сидит, словно он не в центре Манхеттена, а совершенно один, где-нибудь на пустынном морском берегу. Глядит себе под ноги, подперев щеку ладошкой. Думает о чём-то.

Ему есть о чём подумать: он только что потерял работу.

Этот парень – я.

Шестая авеню, в отличие от многих других, имеет и имя собственное: Avenue of Americas. Гордое имя: улица как бы объединяет два американских континента, как бы является их символом – так я объясняю себе это название. Пятая авеню, конечно, аристократичнее, богаче, но и Шестая хороша. Она вроде выставки, где экспонируются достижения

современной американской цивилизации – офисы крупных компаний, блистательные магазины лучших торговых фирм, разнообразные развлечения, включая прославленный Radio City Musical Hall, где выступают звезды всего мира, множество других известных театров.

Северным своим концом упирается Шестая в Центральный парк, да и на улице немало зелени, сквериков. В часы обеденного перерыва их заполняет служилый люд. Многим неохота или дороговато обедать в многочисленных закусочных и ресторанах. Они покупают то, что им по карману и по вкусу на уличных тележках и лотках. По утрам продавцы подвозят кофе и булочки, а уже к двенадцати вам предложат горячие блюда. Выбор традиционный: хот-доги, гамбургеры, шашлыки, сувлаки (пита, начинённая кусочками мяса с приправами)... И десерт тут же, на лотках. Апельсины, грейпфруты, яблоки, груши, виноград, киви, ананасы, клубника... Словом, фруктовое изобилие. Не едал я в Нью-Йорке разве что только фейхоа.

Потолпившись у тележек и лотков, народ с кульками и тарелочками разбредается по свободным уголкам, рассаживается на скамейках в сквериках, на гранитных ступеньках подъездов, кто компаниями, кто в одиночку...

Ещё вчера был среди них и я. Жевал свой гамбургер, подставив лицо солнцу, поглядывал то на прохожих, то на макушки небоскрёбов. Когда над ними быстро проносятся облака, кажется, что ты и сам вот-вот оторвешься от земли и

умчишься туда, ввысь. А в пасмурную погоду верхние этажи зданий-гигантов, словно вершины гор, скрываются порой в серой пелене туч...

Да, ещё вчера я был счастливым, наслаждался всем этим великолепием. А сегодня не замечаю ни людей, ни облаков, ни небоскребов. Сегодня я уничтожен и раздавлен: час тому назад мне сообщили, что я уволен из компании Neisi-Weber. Вот она, в здании напротив. Вчера – родная, а сегодня – чужая...

* * *

Что же это со мной происходит?

Закончил я колледж три года назад и уже третий раз теряю работу. Первая моя служба у Мариотто казалась такой удачной, вскоре я уже совсем неплохо чувствовал себя в отделе. Но примерно через полгода дела на фирме пошли худо. Перестали почему-то поступать военные заказы, а гражданских и всегда было не много. Людей начали увольнять – и технарей, и цеховиков.

После первых же увольнений поползли по заводу слухи. Что происходит? Что будет дальше? Шепотом рассказывали: босс давал взятки, чтобы получать армейские заказы. Его уличили. Донесли, вероятно, конкуренты-завистники: уж больно быстро росла фирма.

Взятки! Но кто же их не дает? – возмущались цеховики. –

Боссу просто не повезло, мешал кому-то!

Рабочие сочувствовали Мариотто: ведь многие благодаря ему впервые начали свою трудовую жизнь. Но беда была непоправима: фирма стремительно разорялась...

В один из снежных зимних дней уволили из нашего отдела оператора Карлоса и программиста Билла. Билла, а не меня, новичка! Я был удручён и растерян. Бросился к Аллану, старшему программисту. «В чём дело? Почему его?..» К этому времени мы уже сдружились, и Аллан ответил мне честно: «Как почему? У тебя же есть покровитель!» Я вспыхнул от стыда и помчался к Биллу извиняться. Пойду, мол, к Мариотто, скажу, что это я должен уйти. «Не переживай! – отвечал крепыш Билл. – Твой черед тоже скоро придет: месяцем раньше, месяцем позже, какая разница? Фирме конец, понимаешь? А жаль, хорошая была фирма. Так что ищи работу». И он дружески пожал мне руку.

Увольнения продолжались. Пинхасову удалось перевести меня из отдела коммерческого программирования в отдел технического. «Я вправе тебя поддерживать, ты это заслужил: работал на совесть и сделал успехи, – сказал Юра, когда я благодарил его за помощь. – Но не зевай, парень, ищи работу: проблемы на фирме очень серьезные».

А ведь это коснется и самого Юры, с тревогой думал я. Но я недооценивал его талантов. Ещё до начала неприятностей фирма выделила Юре за городом отдельное здание. Его электровакуумные печи и прочее оборудование уже не поме-

щались в старом. А когда Мариотто разорился окончательно, Юра с его прекрасным производством и множеством патентов устроился в новую компанию.

Удалось найти работу и мне. Снова благодаря отцу: меня согласился взять к себе один из его клиентов, Джо Либерман, совладелец фирмы «Компьютерная информация». Занималась она созданием и установкой программ для бухгалтерий крупных адвокатских фирм. Шёл я к ним не очень-то охотно: здесь ждала меня очень сложная, почти незнакомая работа, новые языки, новые машины. «Не бойся, поможем, подучишься», – подбадривали меня новые хозяева. До сих пор удивляюсь: зачем обещали? На двадцатом этаже роскошного небоскреба из чёрного стекла, где помещалась наша фирма, я чувствовал себя не менее одиноким, чем мой любимый Робинзон Крузо на необитаемом острове.

Правда, первые три недели считалось, что меня обучают. Выглядело это так: пару раз в неделю в комнату, где работали два программиста – Том и я – забегал на полчаса менеджер по имени Тони. Он метался от монитора к монитору, торопливо давая нам указания, отвечая на вопросы. Но я не успевал спросить (не говорю уж – понять) и малой доли того, что хотел. Ведь в нашей системе было около ста программ, связанных с бухгалтерским учётом, делом вообще сложным, а для больших компаний особенно. Я старался изо всех сил, барахтался, как умел. Пытался что-то выяснять у своего коллеги. Но Тому, парню, по правде сказать, дубоватому, было

не до меня. Работал он, как автомат, без передышки, клавиатура его цокала с невероятной быстротой. Сам Том казался мне порой только придатком к этой клавиатуре. Ничего не слышит, ничего не видит. А если и ответит, то, подняв палец, закончит назидательно: «помни, что все ответы есть в книгах... Читай книги!»

Я и читал. Старательно изучал справочники, пытался вникнуть в каждую из программ, вызывая на экран монитора таблицу за таблицей. То чувствовал себя счастливым, в чём-то разобравшись, то снова впадал в уныние. Каждый раз, когда посылали меня к клиентам, от страха липким потом покрывался: а вдруг не справлюсь, опозорюсь? Что и случилось.

Примерно через месяц поручили мне внедрять очень сложный проект. Вскоре стало очевидно: не справляюсь! Проект передали Глену, опытному, с пятилетним стажем, программисту (кстати сказать, и он провозился с ним больше месяца,) а со мной расстались, проявив некоторое великодушие: перевели, пока не найду нового места, на канцелярскую работу.

Зато как я был счастлив и горд, самостоятельно пробившись на фирму Neisi-Weber! Занималась она программным обеспечением больших рекламных агентств. Резюме, которое я послал на эту фирму, показалось стоящим: из сотни кандидатов шестнадцать пригласили на интервью, я был среди них. Выбрали двоих, в том числе и меня.

Казалось, пришла, наконец, удача. Мне поручили работу на IBM, я об этой машине мечтал еще с дней колледжа. И коллектив мне понравился: небольшой и дружный. И босс, Джим Вебер – в него я просто влюбился. Этот рыжий, щербатый мужик никогда не злился, никогда не повышал голоса, никогда не терял чувства юмора, а ведь он, глава фирмы, постоянно находился в напряжении. Я не переставал удивляться его собранности, умению одновременно вбирать в себя и перерабатывать целую кучу информации.

Помню, как поразил меня один случай. Собрав за столом всех четырех программистов, Джим рассказывал о новом проекте. Объяснял хорошо, но проект был очень сложен. И когда босс закончил, все мы четверо одновременно, будто сговорившись, начали задавать вопросы. Поняв, что говорим хором, замолчали, переглянулись, кто, мол, спросит первым? Но делать этого не пришлось. «Натан, ты спросил...» – сказал Джим, покручивая свой рыжий ус. И, повторив вопрос Натана, ответил на него. Потом перешел к вопросу Сёрджио. Потом – к моему, наконец ответил Кёрту... Все четыре вопроса расслышал в нашем хоре! Всем ответил. Но ответил – это звучит слабо. Мы получили развёрнутые, исчерпывающие разъяснения и имели возможность оценить их, работая над проектом.

Да, я был просто потрясен. У такого человека стыдно было не учиться. И я делал это как мог. Вызывает к себе босс, чтобы поговорить или дать задание, иду к нему в кабинет с маг-

нитофоном: каждый совет Джима, каждое указание хочется прослушать несколько раз, чтобы получше обдумать. Бывало, что мои коллеги, не запомнив или не поняв чего-то, заходили к нему снова и снова. А у меня – магнитофон! Дважды ничего не спрашиваю. Ребята удивлялись поначалу, но как мне кажется, стали относиться ко мне с уважением. Вскоре я уже был полноправным участником выездных групп: мы по двое выезжали консультировать клиентов в разные города и штаты.

Огромная удача для молодого программиста – работать в таком коллективе да ещё с талантливым начальником. Но в современном деловом мире ни профессиональные таланты, ни репутация фирмы не спасают от жестоких неудач. У нашей фирмы было два отделения: в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. И вот по разным причинам дела в Нью-Йоркском отделении ухудшились. Мы знали об этом, тревожились, надеялись, что пронесет, что Джим с его энергией и талантами найдет выход. Но Джиму не удалось. Это значило, что увольнений не избежать. Вряд ли стоит объяснять, что я, принятый в компанию последним, оказался первым уволенным. Девушка, которая начинала вместе со мной, ушла куда-то ещё раньше. Джим, кажется, искренне сожалел, что приходится меня увольнять. Сказал, что даст мне возможность немного подрабатывать, пока не устроюсь...

* * *

И вот я сижу на ступеньках. Течёт, бурлит передо мной Шестая авеню. Снуют жёлтые такси в вечной спешке, будто в вечной погоне за чем-то недостижимым. Вроде как я, а? Право же, похоже! То я в поисках работы, то спешу закончить проект, то снова думаю: куда теперь подавать резюме? Нет, не хочу всю жизнь быть, как эти такси!

Так чего же я хочу? О чем сейчас размышляю?

* * *

В разгар полосы неудач, когда не пошли у меня дела на второй работе, отец – он, хочю ему отдать должное, активно помогал мне, стал всё чаще и чаще твердить: преуспеть в делах может только человек, который имеет свой собственный бизнес.

Собственный – это вообще была его любимая идея.

«Вот тут уж без хлеба не останешься, тут уж всё от тебя зависит! – убеждал он. – Пойдут дела хуже, перебеешься, подожмешься, потом вытянешь. Надо только дело выбрать надёжное, которое всегда приносит доход!»

В чём-то отец прав, думал я. Но могу ли я открыть свою программистскую фирму? Консалтинг какой-нибудь...

Я молодой, неопытный. Да и денег никаких... Бросить программирование, подыскать что-то другое? Но для чего же я учился? Да я уже и полюбил это дело, почувствовал к нему интерес. Нет, буду пробовать, буду искать снова и снова!

А отец всё твердил свое.

– Помнишь Ларри? – спросил он у меня однажды. – Поговорил бы с ним насчет работы, поучился бы у него. У него есть чему поучиться!

Помнил ли я Ларри? Ещё бы! Я был ещё студентом, когда познакомился и, можно сказать, подружился с ним. Ларри Скай, один из клиентов отца, был менеджером в конторе по продаже недвижимости. Как-то отец попросил меня занести ему починенную обувь. Ларри сразу мне понравился. Он оказался приятным и интересным собеседником. К тому же и весельчаком. Постоянно улыбался, любил похохотать. Я даже забывал, что Ларри много старше меня – таким молодым казалось его светлое, доброе лицо. Я стал заглядывать по выходным в просторный, уставленный множеством письменных столов офис, где Ларри работал. То болтал с ним, то прислушивался к его разговорам с клиентами. И постепенно стал примечать, что веселый Ларри – очень деловой человек и уже преуспел в бизнесе.

– «Инвестиция в недвижимость – дело очень прибыльное, – не раз говорил он мне. – Правда, хлопотное. И в этом деле главное – уметь работать с людьми, общаться с ними».

– А это интересно? – спросил я как-то.

– Как когда, – захохотал Ларри. – Бывает, что... Впрочем, хочешь поглядеть сам? Тогда поехали! У меня как раз сегодня кое-какие делишки.

Вскоре его открытый красный «Кадиллак» примчал нас на улицу, застроенную длинными, каждый на шесть квартир, домами. У одного из них мы остановились.

– Твой? – спросил я. Ларри кивнул и вынул из кармана ключи.

– Мой, мой. Правда, эту недвижимость я не продаю, но и здесь работа не легче. Пойдем-ка, буду собирать арендную плату... – И он хохотнул, правда, не очень весело.

Тусклая лампочка осветила маленькую прихожую, начало лестницы и короткий коридор. Ларри шёл по нему как-то странно съежившись, сжав плечи, будто боялся испачкаться. Это меня насмешило, ведь обычно у него была размашистая, уверенная, я бы сказал горделивая походка...

– Ты что это?

– Эти чёртовы жильцы, они тараканов тут развели...

Я огляделся. Тараканов не увидел, но стены были облупленные, грязные. И скрипучий, неровный пол выглядел ужасно... Можно ли жаловаться, что жильцы развели тараканов, если сдаешь им такую трущобу?

Лари остановился у первой двери. На стук открыла чумазая девчушка, позвала маму.

– Извините, мистер Скай, деньги будут к следующей неделе... – Молодая женщина мило улыбнулась. – Очень, очень

извиняюсь, всего доброго!

И дверь захлопнулась.

В другой квартире на том же этаже Лари получил двести долларов – половину денег, а вторую половину обещали от-
дать завтра. Из остальных четырех жильцов расплатились
лишь двое, двоих не оказалось дома.

– Ну, видал, каково? Правда, я очень терпеливый? – Спро-
сил Ларри, когда мы вышли. Вид у него был довольно злоб-
ный, он даже пнул ногой колесо «Кадиллака», открывая
дверцу машины. – Ведь уже девятое число!

– А заплатят?

– Конечно, заплатят, куда они денутся. Но как видишь,
приходится бегать, выколачивать... Нет, подержу этот дом
еще с годик и продам. Цены-то растут, так что навар будет
хороший. Куплю что-нибудь получше.

* * *

Вот так я познакомился с некоторыми особенностями ра-
боты Ларри Ская. Сценка показалась мне неприятной, но
она ведь не имела отношения к его основной деятельности.
А в конторе, с клиентами, Ларри, как мне скоро удалось уви-
деть, работал прекрасно. Он был обаятелен, общителен, ка-
зался искренним, словом, внушал доверие и симпатию. Всё
это мне нравилось. Интересно, думалось мне, а сумел бы я
вот так вести себя с такими разными, далеко не всегда при-

ятными людьми? И даже спросил как-то у Ларри, могу ли я, по его мнению, работать агентом по продаже недвижимости. Ответ меня и огорчил, и обидел.

– Этот бизнес не для тебя. Очень уж ты наивный, а здесь нужно быть напористым и хватким!

Ну и ладно, думал я. Программисту, между прочим, тоже нужны хорошие мозги, и хватка, чтобы овладеть мастерством. А у меня вроде бы кое-что получается, преподаватели не жалуются.

Словом, когда летом 85-го года отец посоветовал пойти к Ларри, я отказался. Вот ещё, буду я проситься на работу к человеку, который дал мне такую нелестную характеристику! Да и вообще не хочу я менять профессию.

Но по странному совпадению именно тогда же мой друг Марик прибежал ко мне с предложением: записаться на краткосрочные курсы для агентов по продаже недвижимости.

– Курсы в нашем же бывшем колледже, занятия по выходным! – с жаром, как всегда, кричал он. – Через четыре месяца у нас будут сертификаты! Сможем подрабатывать, плохо, что ли?

Я согласился...

Неожиданно для меня, занятия, оказались очень интересными. Вел их адвокат, звали его Джеймс Сми, который специализировался на оформлении купчих для своих клиентов, приобретающих недвижимость. Вроде бы скучная работа, но

Джеймс так не считал. Мы с Мариком вскоре поняли, что торговля недвижимостью для нашего преподавателя – интереснейшая область человеческой деятельности, которую он, хотя сам занимался только купчими, изучил во всех тонкостях, начиная от общепринятых правил оформления сделок и кончая теми неписаными этическими нормами, которые каждый должен постигать сам. Словом, оказалось, что торговля недвижимостью – это хобби нашего преподавателя. Потому-то, очевидно, и удавалось ему передать свое увлечение студентам.

– Эта профессия вряд ли принесет вам большое состояние, – сказал он на вводной лекции, – но уверяю вас, она очень интересна. Это в какой-то мере игра, но серьезная. Она требует знания законов, житейских правил, знакомства с сегодняшней экономической конъюнктурой. Она невозможна без понимания людей. А сами вы должны быть людьми азартными, уметь увлекаться. Но необходимо и умение вовремя остановиться...

Каждая лекция Джеймса Смита раскрывала смысл этих слов: ему удавалось увлекательно излагать довольно скучный курсовой материал.

Получали мы от него и практические советы, очень полезные. Например, такой: стоит инвестировать средства в старую, требующую ремонта, недорогую недвижимость. При этом не в одиночку, а с полезными партнерами. Джеймс объяснил, что он покупает старые дома на паях с мастерами-

ми: плотниками, сантехниками, электриками. Разумеется, ремонт эти умельцы делают сами, обходится он дешевле процентов на 35, а цена дома намного возрастает. К тому же старые дешевые дома часто удается покупать за наличные, без ссуды в банке. Это тоже дает большую прибыль.

– Ну что за человек! – восхищался Марик нашим преподавателем. – И талантливый, и деловой. Ты посмотри, сколько у него идей!

Кстати, раз уж зашла речь о Марике Мэйзере. Вот уж у кого не было недостатка ни в идеях, ни в энергии, ни в предприимчивости! «Идеи у тебя лезут из головы, как у Страшилы – солома!» – говорил я иногда со смехом. Возможно, это были в какой-то степени наследственные качества: Марик вырос в семье предпринимателей, что в советские времена было совсем нелегко. Отец его имел во Львове кустарное производство, изготавливал различный ширпотреб из пластмассы, а дед заведовал обувной фабрикой. Мой энергичный друг пошёл по стопам родственников: начал подрабатывать, ещё учась в колледже. Казалось бы, легко ли парню, только что приехавшему в Америку, работать в Нью-Йорке таксистом? Плохое знание языка, чужой город, незнакомый, огромный, с безумным движением... Всё было против Марика! Так нет же, вскоре он стал зарабатывать лучше местных таксистов-ветеранов. Парень умел обойти конкурентов, не слишком-то соблюдая правила рабочей солидарности. Молодой таксист быстро познакомился со швей-

царами фешенебельных гостиниц, работниками, регулирующими посадку на такси возле выходов из терминалов аэропортов. Подсобил Марку швейцар получить клиента «пожирнее», то есть едущего в дальний конец города, заработал свою долю. Подвел к нему регулировщик у аэропорта пассажира без очереди – получил на лапу.

Марик ничего не боялся, умел извлечь выгоду даже из того, что другим приносило убыток.

Как-то зимой начался буран. Нью-Йорк занесло снегом. Транспорт стоял, люди не хотели рисковать ни собой, ни машинами. Марк Мэйзер рискнул. Вернулся он домой спустя сутки. «Столько работы, а на дорогах такси нет», – сказал он и, протянув матери толстую пачку денег, завалился спать.

* * *

Через четыре месяца мы с Мариком получили сертификаты. К этому времени я уже попал к Джиму Веберу и был вполне доволен. Но всё же по выходным начал подрабатывать агентом в конторе по продаже недвижимости. Не у Лари. Один из его бывших сотрудников, Рон Балсамо, открыл свою контору и по просьбе отца взял меня... Я согласился. Почему же не использовать такую возможность? Но мечтал о другом: поработаю у Джима Вебера, стану опытным программистом и попробую открыть свое собственное дело.

* * *

И вот теперь, сидя на ступеньках подъезда, подперев голову руками, я мрачно разглядывал обломки, в которые превратились мои мечты...

Так что же, снова искать работу, писать новые резюме? Сколько же это будет продолжаться? Нет, к чёрту! Я сыт по горло! Через год закончу аспирантуру, тогда мои резюме будут выглядеть много лучше. А пока учусь, не пойти ли к Рону на full time, на полное время? Ведь профессия, как оказалось, довольно интересная.

Может, попробовать?

Глава 47. Добро пожаловать в Квинс!

– Леди и джентльмены, не толпитесь у входа! Кто пришел первым? Сюда, пожалуйста, проходите в офис... За мной! Спокойно, прошу вас! Не волнуйтесь, мы примем всех! Всех!

Выкрикнув это «всех», я вздрагиваю и быстро оглядываюсь по сторонам. Нет, слава богу, никто меня не слышал. Потому что и некому. Улица вокруг пуста, ведь нет еще восьми утра. И вовсе я не возле офиса среди толпы клиентов. Я только иду на работу.

Уже почти полгода я агент по продаже и аренде недвижимости в компании «B and B Turnpike Realty» у брокера Рона Балсамо. Доволен ли я? Пока еще сказать не могу.

Начать с того, что не вручают мне здесь зарплату. Ни по пятницам, ни в другие дни. Работа у агентов сдельная: продашь или сдашь кому-то в аренду квартиру, дом, получишь свою часть комиссионных. Нет – сиди без заработка. Да и комиссионные не у всех одинаковые. Размеры их зависят от того, с кем ты как агент имел дело. Я, например, пока работаю только с покупателями, то есть с людьми, которые желают что-то снять или купить. А клиентов, то есть тех, кто продает или сдает жилье, мне пока не удалось найти ни разу. Приходилось пользоваться «чужими», то есть теми, кого передавали мне коллеги. Поэтому за полгода мне удалось успешно

завершить всего три сделки. Да и комиссионные я получал очень скромные. Таковы уж правила в нашем бизнесе! Ведь платят именно клиенты. Есть у тебя «свои» клиенты – зарабатываешь прилично. Нет – довольствуешься крохами...

Обидно, конечно. Но я не падаю духом. И в этом помогают мне мечты о будущих победах.

Вам кажется, что я все еще не повзрослел? Что ж, простите, уж какой есть. Приношу за это благодарность судьбе! И даже сейчас, когда пишу эти строки, ничуть не стыжусь того, что украшал свой короткий путь на работу яркими, живыми, наполненными звуками, красками и даже запахами сценками...

Подхожу к офису, а у дверей толпа, как у магазина знаменитой фирмы, начавшего большую распродажу. Сотни людей. И все они пришли ко мне! Клиенты, продающие квартиры и дома на необычайно выгодных условиях. Покупатели и съемщики. Они волнуются, что их опередят, суетятся, рвутся поближе ко входу.

Протискиваюсь сквозь толпу. «Леди и джентльмены, прошу извинения»... Чьи-то плечи, спины, взволнованные лица... Глаза, устремленные на меня... Шелест одежды, аромат духов... Эта женщина в шляпке, я уже видел ее где-то... «Виноват... Разрешите отпереть дверь».

Я уже и вправду у дверей, в моих руках настоящий, а не воображаемый ключ от офиса. И как только я вставляю его в замочную скважину, толпа исчезает, испаряется – называйте

как хотите. В стенах офиса уже нет места картинкам. Начинается реальная жизнь.

Трудности – трудностями, ожидания – ожиданиями, но я полюбил нашу контору. Она совсем не походила на контору Лари Ская, темную, грязноватую и прокуренную. К нам войдешь, и сразу становится приятно. Большое окно, почти от пола до высокого потолка, заливает длинную комнату светом. И обои светлые, и мебель, и ковер. Отражая свет, они тоже излучают его, как и белая деревянная с вырезным узором перегородка, отделяющая возвышение – кабинет босса. Я не преувеличу, если скажу, что и сам босс, когда он сидел на этом возвышении за письменным столом, вполне соответствовал духу и стилю своего офиса. Почему бы и нет? Ведь убранство нашего дома – это в какой-то мере отражение склада нашей души. А частенько даже и внешности...

В те дни, на мой взгляд, Рона Балсамо вполне можно было назвать человеком приятным во всех отношениях. Без гоголевской иронии. Его родители давно уже иммигрировали в Америку из Италии. С отцом Рона я был знаком, а матери не застал в живых. Тридцатилетний Рон, младший из трех братьев, говорит о матери с нежностью и гордится тем, что похож на нее. Что же, если так, то есть чем гордиться: лицо у Рона открытое, светлое, привлекающее и чертами, и выражением. Да он и весь хорош собою. Статный, подтянутый, элегантный. Всегда отлично выбрит, ногти – будто только что от маникюрши, костюм, сорочка, галстук словно сегодня из

магазина, безукоризненно вычищенные ботинки. Легкая, но твердая походка уверенного в себе человека. Таким он и был, мой хозяин. Люди чувствовали это и тянулись к нему. Не могу не добавить, что и представительницы прекрасного пола не оставались равнодушными к обаятельному холостому итальянцу.

Рон вел дела неплохо, хотя брокером стал совсем недавно, проработав до этого агентом у Лари Ская всего с год. А ведь торговля недвижимостью – бизнес очень нелегкий, предвидеть результат сделки невозможно до последнего момента. Впрочем, риск – ведешь ли ты корабль по коварному океану, покупаешь акции или продаешь дома в конторе на Юнион Тернпайк, – риск всегда тут. Для многих людей есть в нем какая-то притягательность. Другие постоянно боятся неудачи и, столкнувшись с ней, опускают руки.

В те далекие времена я ни о чем таком еще не задумывался. Мной владело только нетерпение. Пусть только появится у меня клиент, уж я все сделаю как надо! И вот, наконец-то, одна из дальних родственниц отца, звали ее Роза, решила сдать квартиру и попросила меня помочь найти жильцов. Я радостно сообщил боссу, что иду к клиенту посмотреть квартиру. Рон внимательно поглядел на меня, чуть улыбнулся.

– Послушай-ка, Вэл... Я, конечно, не хочу тебя расстраивать, но... Ты имей в виду: пока комиссионные не лежат в кармане, дело не сделано. Не считай, что все уже в порядке,

понимаешь?

Я пожал плечами.

– То есть как это? Квартира есть, хозяйка ждет. А жильцов найду быстро!

– Все так, – кивнул Рон. – Но дело у нас... Непредсказуемое!

Я, конечно, остался при своем мнении.

Вероятно, потому что я так стремился к этой первой деловой встрече, мне во всех деталях запомнился и неказистый, с покосившимися водосточными трубами, двухэтажный дом Розы, и ее холодная, неудобная квартира.

– У вас с отоплением проблема? – спросил я, поживаясь (март только начался, а в комнате было немногим теплее, чем на улице).

– Отключаем временами. Дорого. Потому и сдаю квартиры...

– Квартиры? Сколько же?

Оказывается, сдавались две. Но первую из них – она была в подвале – вряд ли можно было назвать квартирой. Плохо освещенная комнатка-конура, тесный туалет, кухни вообще не было.

– Поставлю электрическую плитку, – невозмутимо сказала Роза...

Во второй квартире имелись три комнаты и кухня, но ощущение мое почти не изменилось. Уж больно заброшенной и убогой она выглядела. Я как-то приуныл.

К этому времени я уже хорошо усвоил один из основных законов нашего бизнеса. Дешевое жилье раскупается и арендуется гораздо лучше, быстрее, чем дорогое, однако при одном условии. Будь квартира как угодно дешева, ее надо предлагать идеально чистой. Прибранной. Уже именно в тот момент, когда покупатель или съемщик увидит ее впервые. Первое впечатление: от него все зависит! А тут...

– Вы собираетесь менять ковер? – спросил я, глядя под ноги на что-то затертое, неопределенного цвета, издающее, как мне казалось, неприятный запах. – Да и стены... Тут нужен ремонт!

Роза обиженно пожала плечами.

– А как же? Конечно, сделаем! К первому числу квартира будет готова.

К первому... Значит, прикинул я, у меня есть еще почти месяц!

Жильцов я нашел очень быстро. Это была милая молодая черная парочка с десятилетней дочкой. Мы вместе посмотрели квартиру. Ее уже кое-как прибрали, хотя ремонтом еще и не пахло. Роза снова повторила, что к первому все будет готово. И я очень обрадовался, когда ребята сказали, что согласны.

В последний день марта, то есть перед обещанным числом, обе «договаривающиеся стороны» собрались в конторе Рона подписывать арендный договор. Чувствуя себя очень деловым, я пояснял, склонившись над столом:

– Договор сроком на год. Вот тут – оплата аренд, за один месяц, вот – за депозит. Его размер равен месячной арендной плате. Оплата аренды – с завтрашнего дня...

– Ошибка! – внезапно перебила меня Роза.

– Где? Какая?

– Почему это с завтрашнего? Вы когда смотрели квартиру? Пятнадцатого! Вот с него и оплачивайте!

– Но, Роза, так не бывает! – Я старался, чтобы мой голос звучал спокойно. – Никто не оплачивает квартиру со дня осмотра. Есть правило: оплачивают со дня въезда или подписания договора...

Роза презрительно махнула рукой:

– Правило? У меня свои правила!

У меня от ярости горло перехватило. Джордж, будущий жилец, робко напомнил:

– Ведь квартира к пятнадцатому не была готова...

– Бы-ы-ла-а, не была-а... Вы смотрели ее? Смотрели! Согласились въезжать? Короче: вы берете квартиру или нет? – спросила Роза нагло.

О, эта женщина оказалась отличным психологом! Она понимала, что милым, скромным людям позарез нужна недорогая квартира, что постоять за себя они совершенно не умеют. А я, молокосос, новичок, не сумею их защитить...

Я сидел, задыхаясь от ярости и не знал, что мне делать. Выгнать Розу, прервать сделку? Ох, как хотелось! Немедленно! Да еще и застучать по столу кулаками, по полу – ногами!

Чтобы знала!.. Но ребята, они опять останутся без квартиры. Эта им по карману, а найду ли я другую? Когда? Но сдирать с них за две лишних недели... Позор!

Мысли кипели и бурлили в моей голове. И вдруг мелькнула светлая.

– Джордж, уплати ей за лишних полмесяца! – И я презрительно мотнул головой в сторону Розы. – Уплати. А комиссионные уменьшишь на эту сумму.

Джордж посмотрел на меня удивленными, благодарными глазами и застенчиво кивнул. Комиссионные, то есть оплата услуг, равнялись сумме месячной аренды. Я уменьшил свой гонорар вдвое.

Договор подписали. Моя первая сделка – настоящая, с клиентом – все же состоялась.

Конечно же, я не получил от нее той радости, какую предвкушал. Уступка била меня не только по карману, но и по самолюбию. Правильно ли я поступил? Не было в офисе человека, к которому я не приставал бы с расспросами.

– Конечно, правильно. Молодец! – утешал меня Рон Балсамо. – Ты спас дело.

Словом, он повернул это так, что я даже начал гордиться собой.

Одобрили меня почти все. Только Нэнси Богдан решительно сказала, что нужно было проучить эту нахалку, оставить без жильцов.

Нэнси Богдан – один из наших агентов. Всего их десять, но для семерых это не основная работа, они приходят по вечерам и на выходные. Лишь трое проводят здесь полный день: иранка Жаклин, я и Нэнси Богдан, милостивая круглолицая блондинка, женщина решительная и своеобразная. Наблюдать за ней мне очень интересно.

Нэнси, как и я, сменила профессию: прежде она была бухгалтером. Кстати, она и у Рона по совместительству вела бухгалтерию. Может быть, эта работа, требующая точности, и приучила Нэнси к особой организованности. На столе перед ней всегда лежала разграфленная тетрадка. Каждый лист заполнен сверху донизу: это план дня, расписанный по часам, чуть ли не по минутам... Я, конечно же, при первой возможности сунул в расписание нос.

– Ого, сколько встреч! Как ты успеваешь? Ведь до позднего вечера!

– Успеваю... Чем больше встреч, тем больше продаж.

Успевала Нэнси делать и многое другое. Вот кто-то ей звонит (у нас, хочешь не хочешь, слышны все телефонные разговоры), и Нэнси переспрашивает:

– К дочери? Хорошо, мисс Шехтер, заберу вас в три часа. Пять долларов, как обычно.

Эта мисс Шехтер, одна из приятельниц Нэнси, не раз ей

звонила. И не только она... Словом, наша деловая сотрудница обслуживала, как владелец кар-сервиса, своих знакомых и друзей. Меня вот что удивляло: к чему такое совмещение профессий? Не лучше ли постараться, занимаясь собственным делом, зарабатывать больше? К примеру, я знал, что Рон Балсамо каждый месяц проводит несколько вечеров за письменным столом, отправляя в кооперативные комплексы – те, что неподалеку, несколько сот карточек-реклам. Как сказал мне Рон, это дает совсем неплохие результаты. Владельцы кооперативных квартир нередко приходят к нам за помощью. «Ведь и ты находил для них покупателей, – напомнил мне Рон. – А почему бы, кстати, тебе самому не заняться рассылкой реклам? Адресов – полно!»

Хочу еще раз пояснить: если я, агент, продаю квартиру клиента, найденного кем-то другим из моих коллег (в данном случае – Роном), то я получаю меньшую долю комиссионных. Другое дело, если я сам нашел клиента, сам отыскал покупателя, сам и продал. Тут мой заработок, конечно же, больше.

Вот я и подумал: хорошо бы заняться рассылкой реклам по адресам возможных клиентов на пару с таким организованным, энергичным компаньоном, как Нэнси!

Но Нэнси отказалась:

– Некогда, Вэл! Печатать адреса, клеить марки, рассылать... А почтовые затраты? Кто знает, вдруг не окупятся.

Я просто не нашел слов для возражения. Где же ее дело-

витость? Несколько сот долларов, затраченных на рекламу, принесут во много раз больше!

Словом, пораздумав, я решил и взялся за дело сам.

Когда все разошлись, усаживался за письменный стол, доставал пачку конвертов... Я и обычно оставался в конторе дольше всех. По утрам около восьми открывал двери (как вы уже знаете, встреченный «толпой клиентов»), по вечерам двери закрывал, часто не раньше десяти. И так семь дней в неделю. Выходных не было, как и регулярной зарплаты.

Впрочем, поздними вечерами в офисе совсем неплохо. Тихо, спокойно, не звучат голоса, не трезвонят телефоны, не нужно в сотый раз объяснять одно и то же бестолковой клиентке... Только с Юнион Тёрнпайка доносится шум машин, не совсем обычный. Наш офис и еще несколько соседних зданий стоят в глубине, немного позади остальных. А на пространстве перед ними – большая парковочная площадка. Она по бокам как бы ограждена зданиями. И поэтому здесь образуется эховый барьер. Проезжает машина, и короткое «вш-ш-ик», попадая на площадку, отражается от стен, повторяется, постепенно угасает. Но обычно, еще не смолкнув, дополняется новыми звуками. Чем больше автомобиль, тем громче летящий шелест шин и рокот мотора, тем продолжительнее гулкое эхо... Мне эта «музыка» очень нравится, для меня в ней есть своя прелесть. Да и не только для меня: в хорошую погоду двери офиса весь день открыты настежь и автомелодия, залетая внутрь, успокаивает наши встрепаннные

нервы.

Может, некоторые читатели удивятся, я знаю людей, которые ненавидят городской шум. Но я – дитя города, сижу в пустой конторе и наслаждаюсь этой ночной симфонией. Я даже отдыхаю, занимаясь своей простенькой, не требующей размышлений работой. Особенно в те вечера – их 2–3 в неделю, – когда возвращаюсь в офис после занятий в аспирантуре.

Я не прогадал, занявшись почтовой рекламой: от кооперативщиков стали приходиться предложения. И вскоре умножились мои сделки. Как-то в конце месяца выяснилось, что я перегнал Нэнси по количеству продаж. Можете себе представить мою гордость. Не скрою, к ней и злорадство приешивалось: ну, коза, жалеешь теперь небось, что отбрыкивалась? Впрочем, понять, что чувствует Нэнси трудно. Странная она человек, Нэнси. Даже и личная ее жизнь всех удивляет. Есть у нее бойфренд Гектор, славный парень, он всем нам нравится. Парочка эта много лет собирается пожениться. Но то Гектор настаивает, а Нэнси отказывается, то Нэнси соглашается, а Гектор тянет, и так все время. Как в сказке о журавле и цапле.

* * *

По пятницам в конторе устраивались небольшие собрания. Рон сообщал нам об итогах недели, разбирали отдельные

сделки, удачные и неудачные, отвечал на вопросы, давал советы. Один из них, как мне кажется, стал для меня особенно важным, и не только в практическом отношении. Он помог мне отнестись к моему скромному делу более творчески, даже внес в него романтику.

– Мы живем в прекрасном районе, – частенько повторял Рон. – И чем больше у клиентов будет ярких, хороших впечатлений о нем, тем больше шансов, что они совершат покупку. Вот, например, знаете ли вы... – И рассказывал что-нибудь любопытное о Квинсе.

Слушая его, я припоминал нашу первую семейную поездку в Квинс. Я и до сих пор, если шел домой пешком от метро, хоть на минутку останавливался над многоярусной эстакадой, чтобы сверху взглянуть на мощные и плавные ее изгибы, на потоки машин. Любил и вдаль поглядеть: на парк, на озера, на белую башенку нашего банка... А сколько к этому прибавилось новых впечатлений!

Ну, конечно же, Рон прав, думал я. Мы-то сразу почувствовали, что нам именно здесь хочется жить! Но ведь мы случайно увидели, что Квинс красив, так уж повезло. А мое дело – людям показывать. И рассказывать к тому же!

Вот так и возник мой интерес к Квинсу. Сначала деловой, а потом и просто человеческий. Чем больше я узнавал о своем районе, тем больше его любил.

Не стану изображать из себя такого уж знатока. С некоторыми уголками Квинса я познакомился сравнительно недав-

но и продолжаю это делать до сих пор. А некоторые были у меня, можно сказать, под самым носом. Парквэй Виллидж, например...

Это чудесное место я заметил почти сразу, как мы поселились в Квинсе. Оказавшись как-то на противоположной от моего дома стороне Юнион Тёрнпайка, на углу Мейн-стрит, я увидел красивый каменный въезд в какой-то, как мне показалось, парк. Надпись у въезда гласила: «Частная собственность. Не проезжать по территории»... О-о, подумал я, да тут миллионеры живут! За въездом виднелась большая зеленая лужайка, старые деревья, вдаль уходила дорожка... Что там, дальше? Не разглядеть... А зайти я побоялся.

Вскоре выяснилось, что боялся я зря: владение оказалось частным многоквартирным комплексом Парквэй Виллидж. Я просто не сразу обратил внимание на вывеску.

Может быть, читатели и запомнили это название, я его уже упоминал в главе о том, как мы покупали квартиру. К тому времени Парквэй Виллидж стал для нас любимым местом прогулок. Хотели там поселиться, да оказалось не по карману. Зато теперь я приводил клиентов в Парквэй Виллидж с таким чувством, будто я тут один из хозяев... Но ведь прекрасное в духовном смысле и вправду принадлежит всем!

...Стоим под гигантским, в два обхвата платаном. Любуемся его могучим стволом, золотисто-шелковой чешуей коры, ветвями. Одна из них, нижняя, особенно мощная, напоминает второй ствол, растущий вбок.

– Хорош ведь, верно?

Мои клиенты – Хосе и Мария Фернандес – смеются, кивают. Мария обхватывает дерево, прислоняется щекой к стволу...

Пришли они на встречу со мной в настроении вовсе не веселом, а в тревожном, настороженном. Я понимаю их, квартиру не так-то просто найти. Объявление в газете часто бывает приманкой, ловушкой. Скажем, предлагают тебе в хорошем районе недорогую квартиру, требующую ремонта. Охотников съезжается много. Иногда так много, что тебе уже ничего не светит, опоздал. Иногда овчинка выделки не стоит: ремонт слишком велик, слишком дорог. Клиент расстроен, он потерял время. Но агент доволен: приманка сработала, клиент останется у него в списке. Подождет, никуда не денется!

Фернандесы, возможно, чего-то такого и ждали. Но я по мере сил своих избегал подобных уловок. У меня с собой была и папка с нужными бумагами, и ключи от нескольких квартир. А по пути мы совершили маленькое путешествие по Парквэй Виллидж. Мимо платанов, мимо каштанов, сосен и голубых елей, мимо домиков, увитых розами, мимо палисадников с рододендронами и ирисами. Мимо прямоугольных лужаек, окаймленных длинными двухэтажными домами. Белые колонны, у каждой квартиры свой выход прямо на улицу...

Миссис Брейди, приятная дама средних лет, тут же уда-

ляется: таков уговор. Квартиру показывает агент.

Ну, что сказать о квартире? Плохих здесь просто нет! Двухэтажная, с деревянной лестницей, с паркетными полами. Квартира солнечная, тихая, вокруг не снуют машины, здесь по утрам только птицы щебечут, как за городом. За окнами зеленеет весенний сад, по веткам скачут белки.

Супруги берутся за руки... Понравилось, тихонько радуюсь я. Еще бы!

– Обратите внимание на потолки, – говорю я небрежно. – Видите, они напоминают пчелиные соты? Особая конструкция, поглощает шум...

– Какой шум?! – восклицает Хозе. – Тут... Э-э, я хочу сказать, тут вроде неплохо.

Хозе старается быть сдержанным, но я-то вижу: и он, и Мария очень довольны. Даже не спрашивают: «А что еще вы могли бы показать»?

Сделка состоялась. Начинается деловая часть разговора.

* * *

Других сделок я описывать не буду. Я просто хотел сказать, что по возможности подыскивал квартиры в приятных, красивых местах. И если даже квартира или дом были в гораздо более прозаическом окружении, чем Парквэй Виллидж, старался по дороге, будто ненароком, показать то один, то другой живописный уголок поблизости, парк непо-

далеку. А если чувствовал в собеседнике интерес, рассказывал что-нибудь о Квинсе.

Читателям я, к сожалению, показать Квинс не могу. Так расскажу о нем хоть немного —

В давние времена Квинс, как и другие районы, входящие теперь в Нью-Йорк, отношения к городу не имел и жил своей самостоятельной жизнью. Да и названий-то этих – Нью-Йорк, Квинс тогда еще не было.

Многие, конечно, знают, что в 1626 году голландцы за пригоршню стеклянных пуговиц и другой мишуры купили у индейцев островок Манахатта (на языке аборигенов – «скалестая местность»). Невелик был остров – всего 20 километров в длину и 4 в ширину. Да и покупка обошлась не так уж дорого, примерно в 24 доллара. Колонию назвали Новые Нидерланды, а поселение – Новый Амстердам. Вокруг него возникали и другие селения, причем некоторые, вероятно, появились раньше. Ведь еще за столетие до этого, в 1524 году, у островка Манахатта побывал на своем паруснике итальянец Джованни да Верразано, посланный в плавание французским королем Франциском Первым. А в 1609 году в поисках северо-западного морского пути проплывал здесь Генри Гудзон. Он объявил эти земли собственностью голландской Вест-Индской компании. Оба они плавали по одной и той же реке, но назвали ее потом в честь Гудзона. А имя Верразано получил огромный, красивейший мост...

Путешествие Гудзона было одной из причин появления

здесь голландцев. Промышленники узнали от него, что эти края богаты пушным зверем и ринулись добывать меха. Уже в 1613 году на Гудзон отплыло пять кораблей Вест-Индской компании. Купцы совершали с индейцами фантастически выгодные сделки – получали бобровые шкуры за ножи, лопаты, бусы... Словом, вполне понятно, почему Новый Амстердам на острове Манахатта был в этих краях не единственным и, скорее всего, не первым поселением, расположенным близ океанских заливов.

Когда именно появилась группа тех поселений, которые станут потом Квинсом, я выяснить не смог. Знаю только, что владельцем местности первоначально был некий губернатор-голландец. Здесь, как и повсюду, не прекращалась необъявленная война с индейцами, которые не раз пытались выдворить чужестранцев. В 1643 году индейцам племени Маспатчес даже удалось победить белых. Но иноземцы были лучше вооружены, действовали и оружием, и подкупом. Так что все закончилось, как всегда. Местное население истреблялось, вытеснялось, и очень быстро вымирало из-за инфекций, занесенных европейцами. От племени Маспатчес осталось на память современному Квинсу только название – микрорайон Маспет...

Среди поселенцев-голландцев постепенно появлялись англичане. Есть данные, что некоторые переселялись из Коннектикута. Небольшая группа пилигримов, из тех, кто прибыл в Америку на знаменитом «Мэйфлауер», перебравшись

в будущий Квинс, назвала свое поселение Нью Тоун. Занимались они здесь фермерством: выращивали овощи, сеяли рожь, овес, кукурузу.

Как известно, когда Америка стала английской колонией, голландцы своих земель лишились. В 1664 году Новый Амстердам был переименован в Нью-Йорк в честь герцога Йорка. А Квинс, что означает «Королевин» (можно сравнить с русским «Царицыно»), получил свое имя в 1683 году в честь английской королевы Катерины Браганской, жены короля Карла Второго. Дочь португальского короля Катерину счастливой назвать трудно. Супруг ее, Карл Второй, был прозван Веселым Монархом, но думаю, что это была горькая ирония. Карл Второй веселился и распутничал, продавая и предавая свой народ и своих близких, жестоко расправляясь со всеми, кто был ему негоден. «Никогда прежде не знала Англия такой разнузданности нравов, как при Карле Втором», – писал Чарльз Диккенс в своей книге «История Англии для юных». Впрочем, Англии тех столетий вообще не слишком-то везло на монархов. Были и более кровожадные... Что же касается Катерины, то историки пишут, что англичане ее любили (и, конечно же, жалели) и что это она сделала чай модным напитком в Англии.

История полна причуд. И вот по одной из них маленький уголок Америки был назван в честь несчастной королевы. Тогда же Квинс в числе двенадцати других окрестных районов – среди них был и Бруклин – получил статус графства.

Населялся Квинс довольно медленно. Когда в 1790 году, уже после того как Америка перестала быть английской колонией, проводилась первая перепись населения, выяснилось, что в Квинсе проживает 6159 человек. Но пройдет немногим более пятидесяти лет, и все изменится. В Америку хлынет мощный поток эмигрантов, вызванный политической нестабильностью в разных странах Европы. Из-за океана прибывали они в Нью-Йорк на знаменитый остров Эллис Айленд. Одни разъезжались по стране, другие оставались в Нью-Йорке и его окрестностях. Многих эмигрантов принимал и Квинс. Он рос, становился многонациональным, развивались его промышленность и торговля. Во второй половине XIX века здесь уже было немало крупных предприятий. Соседство с Нью-Йорком становилось все более тесным и все более условным. И наконец оно перестало быть соседством: 11 мая 1896 года был подписан и с 1 января 1898 года вступил в силу исторический документ: Квинс, Бруклин, Бронкс и Стейтен-Айленд стали, как и Манхэттен, районами Нью-Йорка. С этого времени Квинс начинает развиваться по законам жизни современного города, одного из величайших в мире. Уже стало нетерпимым неудобством переправлять тех, кому надо попасть в Манхэттен через Ист Ривер на лодках. В 1909 году Квинсборо мост перекинут через речную преграду. Зато теперь особенно ощущается перегруженность Квинс бульвара, который становится основной магистралью района. Дорога узка. Ее надо срочно расширять!

Городу приходится скупать частные владения по сторонам магистрали, и к 1925 году она преобразуется: ширина Квинс-бульвара теперь 65 метров.

Расширялся, хорошел, преобразался весь район. Один за другим появлялись уголки, которыми Квинс вправе похвастаться. Примеры? Пожалуйста...

Форест-Хилс-Гарденс – «Сады на лесистых холмах». Мой любимый Парквэй Виллидж бледнеет по сравнению с той его частью, которую местные жители называют Немецкой деревней. Это поселок-парк, где домики, построенные в лучших архитектурных стилях XVIII века, утопают в зелени садов. Поселок так хорош, что получил статус исторического района. Этот почетный титул присваивается в Нью-Йорке зданиям и местностям, имеющим особое историческое, культурное или архитектурное значение.

Как появился поселок? В начале XX века один из железнодорожных магнатов, миллионер по имени Рассел Сейдж купил в Квинсе 142 акра, то есть 0.575 квадратных километра земли. Вскоре он умер, а все свое состояние и землю оставил жене своей, Маргарет. Надо сказать, что и муж и жена были людьми идейными, они мечтали о социальной справедливости. Людей таких взглядов называют утопистами, иногда с оттенком пренебрежения: они, мол, фантазеры и мечтатели. Но не утописты ли пробуждают в человечестве его лучшие стремления? А Сейджи были щедры. После смерти Рассела Маргарет совершила несколько филантропических

акций. Организация, носящая имя ее мужа, действует и поныне: она публикует и распространяет исследования, посвященные социальным проблемам. Другое начинание, хотя и не совсем достигло своей цели, очень украсило Квинс. Миссис Сейдж решила на своих землях построить поселок-парк, в котором будут жить рядом в мире и согласии люди всех сословий, в том числе и бедняки. Поселок удался на славу. Планировал его известный архитектор Гросвенор Атербюри. Разбивать сад пригласили братьев Олмстед, племянников знаменитого Фредерика Ло Олмстеда, дизайнера Центрального царка.

Все предусмотрела Маргарет Сейдж. Кроме одного: разработка и строительство комплекса обошлись в такую огромную сумму, что с реальными финансовыми трудностями она не справилась. Миллионерша-утопистка оказалась плохим экономистом. Впрочем, подробности этой истории мне неизвестны, знаю лишь, каков результат: жилье в этом поселке по сей день – самое дорогое в Квинсе. Объединить богатых и бедных утопистке не удалось. Зато любой из нас может зайти сюда и прогуляться, переносясь из грохочущего современного города в очаровательный и тихий старинный уголок. Но не на машине: в этом частном комплексе, которым управляют домовладельцы, езда на автомобилях запрещена. Прямо как в заповеднике...



Как только я написал слово «заповедник», мне припомнился еще один уголок Квинса, может быть, самый удивительный.

Не спору, в Квинсе нет такого прекрасного зоопарка, как в Бронксе, Но менее чем в часе езды от центра огромного города, всего в нескольких километрах от аэродрома имени Кеннеди, находится Jamaica Bay National Wildlife. Это царство дикой природы (не такое-то уж маленькое, оно занимает 3705 гектаров) было создано в 1972 году. Расположен заповедник на заливе Джамайка, именем которого и назван. От большой автострады он отделен лишь высокой проволочной сеткой, однако обитателям его совершенно не мешают ни машины, ни шум самолетов. Судите сами: в заповеднике насчитывается около 300 видов пернатых, мигрирующих и живущих здесь постоянно. Дятлы, совы, гуси, индейки, ибисы, цапли, вальдшнепы... Ястребы – у каждого своя царственная резиденция на высоком столбе, чтобы высматривать добычу... Да разве здесь одни пернатые? Я видел своими глазами, как на краю пешеходной дорожки, возле самых моих ног черепахи откладывают яйца и тут же закапывают их в песок (тем, кто не верит, могу прислать фотографию). В здешних перелесках водятся нутрии, лисы, кролики. В заливах и прудах более 80 видов рыб. Говорят, зимой здесь появляются

ся тюлени и даже дельфины. Хотите полюбоваться бабочками? Пожалуйста! Специалисты утверждают, что в заповеднике можно увидеть больше 50 их разновидностей.

Я слышал, что в Северной Америке вообще больше нет таких заповедников. Люди талантливые, люди влюбленные в природу, воссоздали ее здесь и заботливо берегут: ходить можно только по дорожкам, покрытым гравием, пикники и шумные сборища запрещены категорически. Тут не увидишь ни окурка в траве, ни сигареты во рту. Зато в руках у многих, кто сюда приходит, – бинокли, подзорные трубы, кинокамеры, фотоаппараты. Можно ли пройти равнодушно мимо пруда, на дальнем краю которого стоит, любуясь своим отражением, парочка белых цапель, где плавают чета величественных лебедей, а к ним приближается эскадра: флагман – мамаша утка, за ней – желтенький выводок. Еще ближе, у самого берега, расположились огромной колонией гуси. А над прудом, стаями и поодиночке, проносятся утки...

Ну, как тут не воскликнуть: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Многие не только восклицают, но пытаются остановить: рисуют, фотографируют, снимают фильмы.

Я до сих пор жалею, что не было у меня с собой камеры, когда увидел, как тренируются гуси перед осенним перелетом. Тренировка была пешая. Большой отряд гусей под предводительством вожака подошел к дорожке, по которой мы гуляли, и пересек ее. Слева и справа были заливчики. Гуси чинно и молчаливо шли к правому. Сосредоточенно-

стью, строевой выправкой, они, хотя и переваливались, умирительно смешно напоминали солдат! Мы почтительно подождали, пока последние скроются в кустах и двинулись было дальше. Но не тут-то было: гусиный отряд повернул обратно. Может, что-то не понравилось? Нет, гуси, дойдя до левого заливчика, снова повернули и совершили третий марш-бросок. Так мы и поняли, что это была тренировка. Впрочем, может, у зоологов есть другое объяснение таких вот гусиных маршей.

* * *

Уголком возрожденной природы можно, пожалуй, назвать и Flushing Meadows Park. Переведу его название: Meadows – это луга, а Flushing – название микрорайона. Кстати, одного из старейших в Квинсе. Очень удачно, что парк, символизирующий дружбу народов мира, расположен именно во Флашинге, ведь жители этого микрорайона – китайцы, корейцы, индусы, испанцы. И вообще с этим парком жителям Квинса, надо признаться, повезло: он возник в 1939–40-х годах на месте гигантской городской свалки, «долины пепла», как остроумно назвал ее Скотт Фитцджеральд в своей книге «Великий Гэтсби». Парк решено было создать специально для Всемирной выставки-ярмарки 1940 года. Готовил выставку Роберт Мосс, начальник паркового хозяйства и дорожных сообщений Нью-Йорка. Этот талантливый и энер-

гичный человек вошел в историю Нью-Йорка, как сторонник плановой урбанизации и строительства скоростных дорог. С размахом создавал Мосс и этот парк. Лужайки и аллеи тянутся вдоль длинных искусственных озер. Когда открылась выставка-ярмарка, павильоны разных стран занимали всю территорию, а она в полтора раза больше знаменитого Центрального царка. Сейчас павильонов, конечно, нет, на лужайках устраивают пикники. Но стадион, детский зоопарк, детский музей науки, театр, действуют и в наши дни.

В этом же парке происходила в 1964 году и вторая Всемирная выставка-ярмарка. Перед ее открытием некоторые из зданий были реставрированы. В одном из них теперь размещена огромная панорама Нью-Йорка. В другом здании с башней – ресторан, он вращается. За чашечкой кофе или рюмкой вина можно увидеть весь Нью-Йорк. А по вечерам начинает светиться над Квинсом гигантский глобус. Его соорудили к выставке 64-го года, как символ мира...

Жаль только, что сейчас парк в запустении, озера грязны и зарастают, их давно пора чистить.

В Квинсе есть и гораздо более старинные парки, чем те, о которых я рассказал. Forest Park, например, получивший свое звание еще в 1898 году. Это, действительно лес, в котором Красная Шапочка могла бы заблудиться: он раскинулся почти на 500 акрах. Волков, правда, в нем нет, а вот олени водятся. И какой красивый лес! Большая часть его – 413 акров – могучие красные и белые дубы, некоторым из них бо-

лее 150 лет. Во всей Америке нет таких больших дубовых лесов, как этот. Сосновый бор тоже недурен: в нем две с половиной тысячи деревьев, уже почти столетних: они высажены в 1914 году. Немудрено, что в парк со всех сторон Квинса тянутся поклонники природы. В том числе и любители верховой езды, к услугам которых две конюшни. И специальные маршруты для них, конечно, проложены, как и для пешеходов. Словом, мне кажется, что таким парком Квинс может гордиться.

Из пяти районов сегодняшнего Нью-Йорка Квинс самый большой. Почти десятую часть его площади в 71779 акров занимают парки, детские спортплощадки и другие зеленые уголки. Его населяет более двух миллионов человек... Но не буду заниматься статистикой, ее легко найти в справочнике. Я ведь просто хотел кое-что рассказать о Квинсе, хотя бы из благодарности к району, который так много дал мне и как бизнесмену, и как человеку.

* * *

Сказать по правде, не так уж часто удавалось мне рассказывать о Квинсе людям, желающим арендовать или купить квартиру. Мало у меня было клиентов. Я нервничал, донимал Рона вопросами, как научиться их находить.

– Я самоучка, – сказал он мне как-то, – и сам испытываю трудности. Очень жалею, что не было у меня хороших на-

ставников... Кстати, я слышал, что в Нью-Джерси будет семинар Хопкинса. Не съездить ли тебе?

Так я впервые услышал о человеке, который сыграл очень важную роль в моей жизни, научил меня... Да почти всему, что я умею!

Том Хопкинс был когда-то преуспевающим агентом по продаже недвижимости. Потом стал заниматься преподавательской деятельностью – писал книги, выпускал аудио и видео кассеты, вел семинары. Как лектор, он и прославился. Было удивительным везеньем для меня, что Рон услышал о приезде Хопкинса в Нью-Джерси!

Больше тысячи человек собрались в городе Вудбридже послушать известного своими блестящими выступлениями наставника риелторов. Съехались они со всей Америки и даже из Канады.

Выход Маэстро был в высшей степени торжественным, более того – театральным. Всех попросили встать. Под громкие звуки марша вышел на сцену невысокий плотный человек в генеральской форме, сопровождаемый знаменосцем. Он потряс рукой, приветствуя нас, и зычно спросил:

– Хэлло! Все готовы к Boot Camp?

«Да!» – ухнул зал... Для тех, кто не знает: Boot Camp – это учебный лагерь для новобранцев.

Начать семинар, посвященный такой сугубо прозаической теме, как продажа недвижимости, с маленького спектакля... Коренным жителям России и других европейских

стран выход Хопкинса, почти цирковой, вероятно, показался бы смешным, ребячливым, а то и безвкусным. Но... Это было очень по-американски! Ведь говорят же во всем мире, что американцы несколько инфантильны. Возможно, так оно и есть. Возможно, инфантилен и я, мне выход Хопкинса понравился. Думаю, что на меня, как и на многих других слушателей, он оказал большое психологическое воздействие. Я сразу же попал под обаяние этого веселого человека, не побоявшегося начать серьезный разговор с шутки. Впрочем, с шутки, которая, как я потом понял, иллюстрировала главную идею Хопкинса: умение продавать – это умение «подать себя».

Продолжил свое выступление Хопкинс тоже в американском стиле. Кто не слышал историй об американском миллионере – в прошлом нищем мальчишке, который начал богатеть, подобрав на улице десять пенсов? Вот и Хопкинс преподнес нам свою биографию, биографию человека, начавшего с нуля и добившегося больших успехов. Однако же он использовал этот сюжет очень талантливо, на примере собственной жизни давая деловые рекомендации.

Кстати, в отличие от хрестоматийных миллионеров, Том Хопкинс рос в семье довольно благополучной, где родители считали первым своим долгом дать детям хорошее образование. Но юный Том, по его собственным словам, не оправдал их надежд и усилий. Он бросил колледж, проучившись всего полгода... «Из тебя никогда не выйдет ничего путно-

го», – горько сказал ему отец.

«Таково было первое вдохновляющее напутствие, полученное мною», – пошутил Хопкинс.

А дальше пошло, если и не совсем так, как в хрестоматийных рассказах, то довольно похоже. Поступив в строительную компанию разнорабочим, Том по десять часов в сутки перетаскивал на плечах тяжелые металлические брусья. Он чувствовал себя изнуренным и подавленным, не раз, вероятно, жалел о собственном легкомыслии, но примеру библейского блудного сына не последовал. Попытка заняться продажей недвижимости тоже успеха не принесла: за полгода юный агент Хопкинс, колеся по штату Калифорния в своей облезлой, побитой машине (он прозвал ее «Бензиновой Обжорой»), совершил всего лишь одну сделку...

«Я был в отчаянии, я чувствовал себя неудачником... Вы понимаете, что это такое?» – спросил нас Хопкинс. О, да, мы это понимали! Многие – на собственном горьком опыте.

Думаю, что нетрудно себе представить, с каким сочувствием и волнением слушали мы нашего лектора. В зале стояла полнейшая тишина. Немалую роль играло, конечно, и то, как он говорил, – эмоционально, проникновенно искренне. Хопкинс был замечательным оратором и прекрасным психологом.

«...Я был буквально без копейки и хотел все бросить, когда узнал, что в наших краях появился знаменитый Джей Дуглас Эдвард, которого называли Отцом Американского Ис-

кусства Продажи. Сообщили, что будет его семинар. И я решил: пойду, что мне терять!»

Далее последовал рассказ об этой встрече, которая стала поворотным пунктом в жизни Тома Хопкинса. С этого и началась деловая часть семинара. Излагая программу мистера Эдварда, Хопкинс учил нас. Вот основные моменты: постоянно ставить перед собой конкретные цели, все более трудные. Подробно расписывать их на бумаге. Ежедневно к ним возвращаться. И – главное, не ждать, когда к тебе придут клиенты, а стучаться в двери к ним!

Сообщив, что после встречи с Учителем он словно бы прозрел (очевидно, как бы намекая, что и мы прозреем), Том Хопкинс повел рассказ о том, как именно он следовал советам Эдварда. Особенно главному.

«Каждый день я набивал себе карманы камушками и отправлялся в поход. Подойду к дверям, постучу... Открыли, поговорил с владельцем – камушек вон из кармана! Пока не постучу в 30–40 дверей, рабочий день не заканчиваю»...

И вот начались успехи. Один, другой. Молодой Том Хопкинс каждый раз думал, что ему просто повезло, однако же советы Эдварда выполнял точно и упорно, ставил перед собой все новые, все более трудные цели. Наконец, осуществилась заветная: Хопкинс побил рекорд по количеству домов, проданных в Калифорнии!

Джея Эдварда Том чтит всю свою жизнь, никогда из вида не терял, даже поселился с ним по соседству. Именно от сво-

его наставника, по словам Хопкинса, и получил он последний, чуть ли не предсмертный совет: самому стать наставником, обучать людей. Таким образом, он дал нам понять, что мы попали в надежные руки. Миссия у него наследственная, завещанная. Как он сказал – жизненная.

Эмблемой своей фирмы Хопкинс сделал птицу Феникс, которая, как известно, сгорая, возрождается из пепла. Символ этот был избран им не случайно, чему, собственно, и была посвящена последняя часть семинара.

«Никто не должен чувствовать себя сломленным, потерпев неудачу! – говорил Том, – Воспринимайте их, как материал для размышлений, учитесь на них!»

Он возмущался тем, что мы погрязли в негативизме, что утренние новости только и сообщают, что о насилиях и убийствах, делают мир таким страшным, что жить не хочется.

«Будем оптимистами! Стакан не наполовину пустой, а наполовину полный. Копите положительный опыт! Воспринимайте поражение, как этап игры до победного конца!»

На этой жизнеутверждающей ноте наставник и расстался с нами.

Не знаю, удалось ли мне хоть в какой-то мере передать свои впечатления и ощущения, но они были очень сильными. Я был, как птенец, только что научившийся летать. И это была не только практическая радость оттого, что я приобрел новые познания (и купил к тому же полную сумку дисков и кассет с лекциями своего нового кумира). Это была окры-

ленность эмоциональная: жизнь приобрела смысл, я понял, как управлять ею!

«Теперь я знаю и сумею!» Что-то вроде этого непрестанно звучало во мне.

Да, я таков: мне непременно нужен Учитель с большой буквы. Человек-образец, внушающий восхищение. Мне нужен тот, кто умеет зарядить оптимизмом! Это замечательное душевное свойство я особенно ценил всегда в маме и в деде Ёсхаиме и, как мне кажется, не только унаследовал его, но и старался развивать в себе, тянулся к таким людям.

Вернулся я из Нью-Джерси абсолютнейшим оптимистом. И с твердым решением; не только серьезно изучить все рекомендации Хопкинса и следовать им, но вообще жить по его принципам.

Помню, как удивилась Света, моя жена, застав меня в первый раз рано утром перед зеркалом за странным занятием. «Чего это ты? Сам с собой разговариваешь?»

Да, теперь каждое мое утро начиналось беседой с человеком в зеркале.

«Я – победитель. Почему? Потому что я этого хочу! Я в это верю! Потому, что обладаю смелостью!»

«Сегодня я встречу нужных и интересных людей!»

«Не буду слушать советов тех, у кого дела обстоят плохо».

Уж не говорю о том, что в машине я прокручивал кассеты с лекциями Тома, по вечерам сидел за его учебниками. Купил и видео с семинарами.

«Сколько?.. Да ты был в своем уме, когда покупал?» – переспрашивала Нэнси, вертя в руках видики. А стоили они 1300 долларов, примерно мой месячный заработок.

Нэнси и другие коллеги к моему энтузиазму, как и вообще к идеям Хопкинса, отнеслись более чем скептически. «Бежать по улицам и стучаться в двери? – хихикала Нэнси. – Ничего себе! Да еще в такой холод...» – «Стучись, стучись, как раз к пенсии и достучишься!» – подхватывала Жаклин. Я в споры не вступал. Вот что интересно, думал я, ведь Хопкинс предупреждал, что реакция слабых коллег будет именно такой. Подальше от них! И – действовать, действовать!

Я действовал совершенно открыто, даже демонстративно. Повесил у своего стола большие листы, на которых (красными чернилами!) выписаны были мои ближайшие цели. «Изучить программу Хопкинса за три месяца»... «До конца года продать недвижимости на полтора миллиона»... «Составить список домовладельцев в Кью-Гарденс-Хилс».

Здесь же каждый, кто хотел, мог прочитать и некоторые изречения Тома Хопкинса, такие, например:

«Я воспринимаю поражение, как этап игры до победного конца».

«Я воспринимаю поражение, как возможность проанализировать свою тактику».

«Я воспринимаю поражение, как шанс укрепить чувство юмора».

Ну и конечно же, несмотря на зимние холода, я начал опе-

рацию «Стук в двери»... На насмешки и остроты – а их хватало – я внимания не обращал...

Пусть и не было пока заметных успехов, энергия во мне так и бурлила. По утрам я вел с человеком в зеркале все более пылкие беседы. До предела был увлечен своей «Хопкинсией».

Но шло время, и сохранять терпение и оптимизм становилось все труднее. Даже мне становилось ясно: обстановка в конторе начала меняться. И далеко не в лучшую сторону.

Глава 48. Ночной гость, или вестник перемен

Наверно каждый завзятый читатель частенько вспоминает строки из любимых книг. Со мной это происходит постоянно. Вот и сейчас, принявшись писать об одном событии в моей жизни, событии очень важном, я припомнил строку из гениального романа Булгакова:

«В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вошел...»

Припомнил – и рука моя тут же начала выводить вот такую, «булгаковскую», фразу:

В кожаном черном плаще и в черной велюровой шляпе, уверенной твердой походкой, поздним осенним вечером 1987 года в распахнутые двери моего офиса вошел неизвестный молодой человек.

Как причудливо переплетаются события, вроде бы случайные и вроде бы мелкие, из которых складываются серьезнейшие перемены в нашей жизни! Как незаметно надвигаются эти перемены!

В тот вечер, о котором я сейчас рассказываю, в голове моей никаких мыслей о переменах еще и в помине не было. Однако же они стояли на пороге, приняв образ человека в

черном плаще...

* * *

Я был один, как почти всегда по вечерам, и, задумавшись, глядел в темный проем двери, лишь изредка озаряемый фарами проносящихся по Юнион Тёрнпайку машин. Мудрено ли, что я вздрогнул, когда в черной дыре бесшумно появилась черная фигура и двинулась к моему столу? Булгакова в те времена я еще не читал и, встретившись с твердым, пристальным взглядом, блеснувшим из-под широких полей шляпы, подумал: «Ну, прямо агент из детектива», Но, подойдя к столу, поздний гость снял шляпу, представился мне с крепким рукопожатием – «Давид». И сразу же все изменилось. То ли от того, что без шляпы лицо оказалось посветлевшим, приятным и совсем молодым, несмотря на довольно большую плешь (наоборот – она как бы озарила все вокруг). То ли уже первое рукопожатие сообщает нам о человеке что-то такое, что постигается не умом...

Поздний гость зашел по делу. «Инвестирую в недвижимость. Что можете предложить?» – спросил он по-английски с легким акцентом, в котором я без труда опознал русский. И не ошибся. Давид, как и я, был иммигрантом, но приехал из Киева. Так же, как и я, работал агентом по продаже недвижимости. Но в отличие от меня – в процветающей фирме Metalius, входящей в компанию Century 21. Оказа-

лось, что я очень мало знаю об этой известной во всем мире крупнейшей компании по продаже недвижимости, объединяющей более двух тысяч фирм. Та, в которой работал мой посетитель, всего лишь одна из них. Но и она показалась мне гигантской, когда Давид сообщил, что у фирмы Metalius (она именовалась так по фамилии хозяина) одновременно около трехсот домов на продаже. Ежемесячно двадцать-тридцать домовладельцев обращаются к фирме за помощью, и с ними тут же заключается письменный договор, оговариваются размеры комиссионных.

Я так и ахнул. Ведь в нашей «В and В» настоящий праздник, если мы одновременно оказываем услуги (зачастую без всяких там письменных договоренностей) двум-трем домовладельцам. А устную договоренность легко нарушить, порой наши клиенты так и поступали. Воспользуются услугами брокера, а сделку совершают сами, обманув фирму.

– Сколько же агентов у вас? Небось, человек пятьдесят? – робея, спросил я.

Гость вежливо улыбнулся.

– Немножко побольше... Около ста. Правда, новички первые три месяца не работают, а только учатся. Как правильно по телефону разговаривать, как встречу с клиентом проводить, как квартиру самому осматривать и покупателю показывать... А вот такого, тут Давид похлопал рукой по моему письменному столу, у нас и в помине нет! Баловство. У нас – один общий, длинный, по всем стенкам.

– Почему? – удивился я.

– За собственным столиком уютно, уходить никуда неохота. Вот ты и сидишь здесь допоздна, так ведь? – усмехнулся мой новый знакомый. Я тоже рассмеялся. Этот парень мне определенно нравился! Деловитость сочеталась в нем с юмором, он совершенно не задавался и держал себя просто, по-приятельски. – Наш бизнес, он на улице, среди людей. В погоне за клиентами! – весело продолжал Давид. – Впрочем, погоня часто начинается уже с этого... – и он кивнул на телефонный аппарат. – Первый разговор – дело тонкое! Скажи честно: часто ли тебе удается сразу договориться с клиентом о встрече?

Я смущенно пожал плечами, В нашей конторе к телефону подходила Сара, секретарша, а потом уже нас, агентов, подзывала поочередно. Если же спрашивали Рона, а его не было в конторе, она записывала номера телефонов в специальный журнал.

Давид осуждающе помотал головой.

– Плохо! У нас агенты сами трубку берут, чтобы с ходу, с первых слов... – и он взмахнул рукой, будто на лету поймал муху. – А способен на это только тот, кто в курсе всего. Знает цены, размеры домов и квартир, адреса, может все это мгновенно извлечь из памяти, преподнести собеседнику, убедить его встретиться... Вот так-то! А ты говоришь – секретарша...

Долгий наш разговор (впрочем, говорил больше Давид, а

я слушал с огромным интересом) закончился тем, что мы решили поддерживать знакомство. Мы оба почувствовали ту симпатию, когда от всей души говоришь: «давай не терять друг друга». К тому же у моего нового приятеля появился, как ни странно, деловой интерес к нашей маленькой фирме. И вот по какой причине. Как и многие другие, особенно мелкие и малоуспешные, наша фирма, пользовалась услугами посреднической организации Multiple Listing Service. Большая, имеющая много филиалов, она давала возможность своим клиентам помещать различные объявления в специальных бюллетенях. Скажем, если фирма дает объявление о продаже дома, она может делать это либо на эксклюзивных правах, либо разрешает участвовать в продаже и другим клиентам MLS. В этом случае комиссионными делятся. Понятно, что нашей слабенькой фирме бюллетени MLS нередко помогали хоть что-то заполучить.

Большим фирмам, таким, как та, где работал мой новый приятель, услуги MLS не требовались, хватало своих возможностей. Но, поговорив со мной, Давид решил, что ему не помешало бы для собственных сделок знакомиться со списками продающихся домов, публикуемыми в бюллетенях MLS. Вот мы и уговорились, что я буду для него просматривать их и выписывать самое интересное.

Проводив Давида, я долго еще расхаживал по конторе возбужденный, взъерошенный. Неожиданная встреча оказалась очень приятной, в этом не было сомнений. Она сулила хорошее продолжение. Встревожило другое. Разговор с Давидом показал мне с особенно жестокой ясностью, каково положение моей фирмы – значит, и мое собственное...

Нельзя сказать, чтобы до этого вечера я ни о чем не задумывался. Но так отчетливо, как сегодня, я еще ни разу не сознавал: дела Рона очень плохи.

«Что же происходит? – бормотал я, шагая по комнате. – Ведь полтора года назад»...

С каким энтузиазмом, как дружно мы все начинали работать, каким энергичным, деловым, знающим человеком казался Рон! По утрам я частенько видел в окно, как неторопливо, я бы сказал, торжественно подходит он к офису, похозяйски осматривая не только здание, но даже двери. А потом, элегантно, оставляя за собой тонкий аромат мужского одеколona, сдержанным кивком здороваясь с каждым из нас, идет через общую часть офиса на свой «капитанский мостик». Все мы чувствовали себя, если продолжить сравнение, как на корабле под командой опытного, обветренного капитана, не боящегося никаких бурь. И корабль наш твердо шел по курсу. Год спустя мы уже продавали вдвое боль-

ше квартир, чем вначале. Комиссионные мои, как и у других агентов, выросли процентов на двадцать. Я теперь уже занимался не только арендой, но и продажей. И разве можно забыть, как Рон помогал мне, сколько я узнал от него!

Да, так было, горестно думал я. Было. А потом...

Перемены начались примерно с полгода назад. Рон в то утро не пришел к десяти, как обычно. Его долго не было в конторе. Часам к двенадцати открылась дверь, и мы все замерли в изумлении. Вместо одетого с иголки босса мы увидели небритого, с опухшим лицом человека в измятых джинсах. Угрюмо кивнув нам, не остановившись, как делал обычно, у стола секретарши Сары, чтобы просмотреть список телефонных звонков, Рон прошел в свою часть офиса.

С этих пор и пошло...

Впрочем, если уж разматывать этот клубок, если уж искать конец ниточки, думал я, расхаживая по ночной конторе, то началось-то все раньше, много раньше. За стенами офиса, в семье Рона Балсамо.

Уж не знаю, смог ли бы Рон открыть контору без своей семьи – отца и двух братьев. В бетонной коробке, недостроенном помещении, снятом под офис, семья доделывала все своими руками. Малярные и столярные работы, сантехника, электропроводка, центральное охлаждение... Да всего и не перечислить! Но Балсамо умели трудиться. Я, между прочим, убедился в этом своими глазами. Возвращаясь по вечерам с работы, я обычно замедлял шаги возле их стройки:

уж больно мне нравились эти сильные, мастеровитые парни-итальянцы. Усатый широкоплечий Том, жилистые Чарли и Рон, в рабочей одежде, перепачканной известкой и красками, перекликаясь, посвистывая, все делали ловко, словно играючи. Особенно Том. Он был профессиональным строителем и руководил командой. Когда работы уже подходили к концу, я увидел его на костыле: Том упал с лестницы, вешая вывеску над конторой, повредил себе колено, но своего руководящего поста не покинул.

Увидев эту вывеску, я и узнал, какая контора тут будет. Вот только в голову не приходило, что станет она моим вторым домом.

Я к тому все это рассказываю, что бизнес, очевидно, открывался, как общий, семейный. Может, и не официально, этого я не знаю. Но ведь строились-то вместе, и деньгами, скорее всего, помогла Рону семья. Деньги для начала нужны немалые!

Я об этом не слышал, не думал. К чему мне было копать-ся в чужих семейных делах? Видел я одно: бизнесом руководит Рон, работая по семь дней в неделю на износ, с утра до вечера. Братья в этом участия не принимали. Однако же время от времени появлялся в конторе Том и просматривал бухгалтерские счета и отчеты. Значит, семья следила за делами и считала нужным проверять Рона.

Это и стало, хотя вроде бы случайно, причиной скандала и разборки семейных отношений у нас на глазах, в конторе.

Бухгалтерию фирмы, как я уже писал, вела Нэнси. Все бумаги и папки она складывала в письменный стол босса аккуратной стопкой, в определенном порядке, чтобы и она, и Рон сразу же могли найти то, что нужно. А Том, просмотрев бумаги, совал их в ящик как попало. Нэнси приходилось снова и снова наводить порядок. Она уже не раз и Рону жаловалась, и просила: «Том, просматривай бумаги при мне, помогу складывать, как надо». Он только отмахивался. Однажды Том явился для «ревизии» с раннего утра, кроме меня в конторе никого еще не было. Он уже сидел над грудой бумаг, когда вошла Нэнси.

– Том, ты все переверозишь опять! – завопила экспансивная блондинка и промчалась мимо меня «спасать» свою бухгалтерию.

Вот тут Том вспылил. Как настоящий итальянец. Он вскочил, ударил кулаком по столу, что-то закричал. Бумаги разлетелись, Нэнси с визгом вылетела из конторы.

Досталось-то Нэнси, но на самом деле злился Том не на нее. Очевидно, отношения между братьями уже давно были испорчены. Может, Рон обещал делиться с ними доходами или возвращать долги, а не получалось?

Так или иначе, на другой день после скандала с отчетами семья Балсамо собралась в конторе. «Разборка» происходила далеко от нас, возле стола Рона, и о чем шла речь, не слышно было. Я видел только угрюмые лица братьев и страдающее, измученное – отца.

Уж не знаю, как они договорились, но, вероятно, прочного мира установить не удалось. Когда шли мимо моего столика к дверям, старик Джо Балсамо грустно покивал мне и шепнул: «Что мне с ними делать, не знаю»... Я вжал голову в плечи. Мне не очень хотелось вдаваться в причины ссоры. И без того было больно, что потускнел образ босса, которым я так восхищался прежде. Я просто жил и дышал им, хотел походить на него и внутренне и даже внешне. Признаюсь – я подражал его неторопливой, солидной походке. Чуть выпячивал грудь, как и он. Сидел, откинувшись на спинку стула, положив ногу на ногу, как Рон. Размышляя, как Рон упирался пальцем в подбородок.

Конечно, было в этом и мальчишество. Но мне вообще свойственно – таким уж создала меня природа – искать среди окружающих кого-то, в ком можно видеть высший авторитет, образчик для подражания во всем, начиная с мелочей. За кем можно следовать, как за учителем жизни. Вот я и признавал им Рона почти целый год! Правда, как я уже писал, появился у меня и новый замечательный наставник – Том Хопкинс. Без него совсем бы мне пришлось круто, когда начались все эти неприятности. А они продолжались, росли...

К тому времени, как я познакомился с Давидом, Рона вообще словно подменили. Он работал кое-как, рассылками карточек-реклам давно перестал заниматься. Количество клиентов, понятное дело, пошло на убыль. И доходы тоже. Мы уже не удивлялись ни поздним приходам Рона, ни опух-

шему с перепоя лицу. Некоторую сенсацию вызвало в конторе первое появление босса с какими-то девицами, решившими, очевидно, после веселой ночи проводить его на работу. Расположились они здесь надолго, ничуть нас не стесняясь. У Рона имелась за открытой частью кабинета комната, куда удалялся он то с одной, то с другой девицей. Словом, нагляделись мы. Но и к этому привыкли.

Вот так превратился наш образцовый босс, наш мужественный капитан корабля, в какого-то Степу Лиходеева, беспутного директора Варьете из того же романа Булгакова, с которого я начал свой рассказ. Впрочем, кто-то нам рассказал, что Рон и прежде был довольно непутевым парнем. Не раз поступал на работу, но, горячо начав, вскоре распускался, бросал...

Ну а мы, агенты? Не слыша команды с «капитанского мостика», мы тоже распустились? Ну, не совсем так, конечно, но настроение «на корабле» изменялось. Мы нервничали, отношения между нами стали портиться, мои коллеги оказались совсем не такими порядочными, как я считал. И подтверждение этому я получил очень неприятное.

Мой энергичный друг Марик и я, поднакопив немного денег, решили инвестировать их в кооперативные квартиры. Я приобрел однокомнатную, чтобы сдавать ее в аренду. Поместил – за свой счет, конечно, объявление в газете, а телефонный номер дал нашей конторы (тот, который агентами обычно не использовался). Сказал об этом секретарше Саре

и успокоился. Да, собственно, к чему мне было всем сообщать о своих личных сделках? Ни Рон, ни Нэнси со мной о своих делах тоже не говорили. Несколько человек мне уже позвонили, шли переговоры.

И вот как-то возвращаюсь я в контору с одной из встреч, подхожу к своему столу и застываю в изумлении. Мой ли это стол? Ни бумаг, ни настольного календаря. Пусто!

Когда я вошел, Нэнси почему-то поспешно выбежала на улицу. Сара сидела, наклонив голову...

Слыша, как стучит мое сердце, я направился к боссу, за перегородку.

– Что происходит? Я уволен?

– Ты сначала ответь: с каких это пор ты ворует у меня клиентов? – спросил Рон монотонно. Но на меня он глядел со злобой.

Последовало бурное объяснение. Нэнси Богдан – я знал, что Нэнси подхалимка, но она оказалась и завистницей – наступала боссу, что я, принимая звонки его клиентов, обслуживаю их для себя, присваиваю деньги!

Голос мой, вероятно, не раз дрожал и прерывался от обиды, пока я рассказывал Рону о кооперативной квартире и объявлениях. Неужели же это преступление, если я использую телефон конторы?

– Нет, нет, что ты! – сказал Рон. Он извинился передо мной. Но... Сердечности не было в его голосе да и вообще... Это уже был не тот Рон!

С Нэнси я объяснился довольно грубо и однозначно. Принес в контору кирпич, поставил на край своего стола и подложил под него записку: «Нэнси, будешь совать нос не в свои дела, получишь вот этим кирпичом по голове». О, я не сомневался, что Нэнси, как только я выйду, подбежит посмотреть на кирпич и записку прочтет! Но ведь вызов был брошен не только ей. Я как бы выражал мое неприятие всего, что происходило на фирме. Работать у Рона мне представлялось бессмысленным. Да уже и не хотелось, совсем не хотелось!

– Не знаю, как быть, – жаловался я новому приятелю, Давиду Кесселю. Мы виделись теперь с ним довольно часто, и не только по делу. Постепенно мы становились друзьями. Я замечал, что Давиду нравится мое отношение к работе, мое, если так можно выразиться, кипучее стремление действовать, добиваться успеха. У меня вызывали глубокое уважение его рассудительность и осторожность, деловая хватка, умение анализировать.

Как-то Давид пригласил меня в свою контору. О, тут я понял, что многие черты Давида получили развитие именно в этой фирме!

Первое впечатление: я попал в муравейник. Восемь отделений – соответственно комнат. Гул голосов. Телефонные звонки, мерцающие мониторы компьютеров. Множество людей – и агентов, и посетителей, – снующих вроде бы туда-сюда... Но очень быстро я заметил, что в этом муравейнике господствует слаженность, четкость, деловитость. Никто

здесь не «снует» без толку, у всех свое место, свое дело. Я почувствовал ритм, ритм серьезного, крепкого бизнеса.

В одной из комнат – она была со стеклянной стеной, – я увидел плотного, с гладко выбритой головой человека в очках. Давид чуть прикоснулся ко мне плечом, но я уже и сам понял, что это босс, Тед Металиус. Мы постояли, поглядели на него, я попросил Давида не торопиться. Мне понравилось и выражение лица Теда, и то, как он энергично жестикулирует, даже как трубку телефонную берет, как бумаги подписывает. Уж он то, несомненно, был капитаном... А может, точнее было бы его сравнить с дирижером большого оркестра. С дирижером первоклассным, у которого есть чему поучиться музыкантам.

«Да, я здесь многому научился», – кивнул Давид, когда я поделился с ним впечатлениями. Он рассказал мне, что Тед в прошлом – бухгалтер, зарабатывал составлением налоговых отчетов. Агентство по торговле недвижимостью он открыл в начале семидесятых, но фирма довольно долго прозябала, да и годы были застойные. Дела пошли, когда Тед пригласил менеджером Давида Йорка, бывшего учителя. Он оказался человеком ярким и талантливым, генератором новых идей. Начав заниматься набором и подготовкой агентов, Давид ввел систему трехмесячного интенсивного обучения новичков, имевших всего 45-часовую подготовку. Основой основ деятельности агентов Йорк считал умение поддерживать свой имидж, то есть показать себя с наилучшей стороны и в

деловом отношении, и в личном, пробудить в каждом клиенте симпатию и желание довериться. Он рассказывал новичкам, как это делать, учил их непростому искусству знакомиться. Требовал, чтобы они, не жалея времени и сил, вели непрерывные поиски новых клиентов.

Вы сами понимаете, о ком я подумал, как только Давид начал мне рассказывать о Йорке. О Томе Хопкинсе, конечно, о моем кумире! А уж как дошло до неустанных поисков клиентов, вспомнил я о камушках, они теперь и в моем кармане постоянно побрякивали!

– Словом, помог Давид Йорк фирме «Металиус» встать на ноги, – сказал Давид. – Да не только встать, подняться очень высоко. Я, понимаешь ли, нашел здесь себя не потому только, что бизнес большой. То, как здесь поставлено дело, вот что важно и ценно для меня. Это по моему характеру. Железный порядок, высокий профессионализм... Три года здесь работаю и чувствую себя все увереннее. Думаю, что покину «Металиус», только если свою фирму заведу.

– Ты что? – удивился я. – Какую еще свою фирму? И зачем? Что может быть лучше «Металиуса»?

– Ну, знаешь... – Давид чуть пожал плечами. – Могут появиться причины. Иной раз неожиданные...

Вскоре я понял, что хотел сказать мой прозорливый приятель.

Это, конечно, случайность, но крах нашей «В and В» почти совпал со знаменитым крахом Нью-Йоркской фондовой

биржи. День 19 октября 1987 года вошел в историю мировой экономики, как «черный понедельник». Марк, мой всезнающий друг, в день краха позвонил по телефону, и я тут же получил все необходимые разъяснения.

Впрочем, и без краха телефоны в конторе к этому времени почти совсем притихли. Месяца два прошли почти в полной бездеятельности. И, наконец, Рон сообщил нам, что продает свой бизнес.

Помнится, я нисколько не огорчился. Я даже подумал: ну, все! Настало время действовать. Но как?

Кто первый узнает обо всех наших настроениях и переживаниях? Домашние, конечно же. Помнится мне, что и Света, и мама давно уже с тревогой вглядывались в мое лицо. Мама спрашивала, здоров ли я, не болит ли голова или горло. Света, человек сдержанный, ничего не спрашивала. Ей, бедняге, самой приходилось круто. Света работала бухгалтером в ювелирной компании, а это работа нелегкая. Занималась она и хозяйством. При всем том, к этому времени уже ожидался ребенок...

Боюсь, что я, работавший без выходных дней, одержимый стремлением добиться успеха, постоянно увлеченный какой-то новой идеей... Словом, боюсь, что был я не очень внимательным мужем, не достаточно близким другом своей молодой жены. Виделись мы только поздними вечерами да рано по утрам, не всегда ужинали вместе, наспех завтракали и разбегались. В нечастых наших семейных и тем более ин-

тимных со Светой разговорах мы рабочих дел не обсуждали, да и теперь не обсуждаем. У нее, я так считаю, и без того хватает забот. Но конечно же, домашние в общих чертах знали, что происходит на фирме, возмущались скандальными выходками Рона. И когда Рон решил продавать бизнес, я в тот же вечер сообщил об этом за ужином. «Хочешь, поговорю опять с Ларри Скаем? – предложил отец. – Теперь у тебя есть опыт, Ларри не откажет».

Но нет, у Ларри Ская работать мне не хотелось.

Между тем мой босс деятельно занимался продажей конторы. Его подстегивала реальная возможность выручить деньги – Рон оценил свой бизнес в 50 тысяч долларов. Появились объявления в газетах, начались переговоры со знакомыми брокерами. И вот однажды Рон – он снова теперь приходил в офис в костюме и при галстукe, – сказал мне: «Вэл, хочу поговорить».

«О чем бы это? – думал я, подходя к его столу. – Дел-то вроде уже нет никаких».

Нет, вы можете себе представить! Он предложил мне купить бизнес!

– У тебя получится, поверь, я давно за тобой наблюдаю! – говорил мне Рон почти с прежней теплотой. – Покупатель-то найдется, но я хотел бы отдать дело тебе.

Мне? Свое дело?.. Мало сказать, что я был растерян. У меня такого и в мыслях не было! Найти бы работу агента в приличной фирме, вот о чем я мечтал.

– Подумай, не торопись, – уговаривал Рон. – Посоветуйся дома. Пятьдесят тысяч – деньги небольшие, наберете!

«Наберете»... Я не только что деньги брать у отца, я и советоваться с ним не хотел! А совет нужен был как воздух... Марик, думал я. Но друг мой, хоть и деловой парень, в нашем бизнесе человек не вполне сведущий... Давид? Да, конечно же, Давид! И опыт у него есть, и доверяем мы друг другу.

Скорее к Давиду!

* * *

Сегодня, много лет спустя, вспоминая эту историческую для нас с Давидом встречу, я одному не перестаю удивляться: почему с первых же слов, как только я рассказал Давиду о предложении Рона, мы стали обсуждать его, как предложение, сделанное нам обоим? Словно бы мы уже раньше решили стать партнерами. Словно бы, говоря о возможном уходе из «Металиуса», Давид имел в виду именно эту ситуацию! Видно, желание работать вместе зрело и укреплялось вместе с доверием и дружбой, хотя я (не знаю, как Давид) этого не признавал. И в ту же минуту, как я понял, что нас теперь двое, у меня стало спокойнее и легче на душе.

Я и сейчас вижу это: мы с Давидом сидим в его гостиной, красивой и нарядной – в квартире только что закончился ремонт. Из окна веранды льется яркий солнечный свет. Мой

будущий партнер сидит, откинувшись на спинку дивана, закинув ногу на ногу, и говорит, как всегда, тихим голосом. Но есть в этом голосе что-то завораживающее. Как и в пристальном взгляде Давида, как и вообще в его манерах.

– Аренда помещения – тысяча триста... Телефон, свет, отопление... – неторопливо перечисляет Давид. – Газетные рекламы... Словом, около четырех в месяц набегает. А ведь еще придется выплачивать эти пятьдесят тысяч. И где-то нужно их достать!

– Доставать нужно десять, на остальное Рон даст три года рассрочки...

– Все равно платить-то надо. А поначалу какие доходы? Нет, ты постой, скажи-ка: зачем нам Рон, его контора, его столы и стулья? Вообще зачем стартовать с этого плохо организованного бизнеса?

– Как?.. Но что же ты предлагаешь?

– А вот погоди, не торопи...

Мы вышли на балкон, и Давид закурил, отойдя от меня подальше. Он не мог без этого – «напряжение снимает и помогает сосредоточиться». Но, зная, что я не переношу табачного духа, непременно отходил от меня. Я глядел, как он покуривает, невозмутимо-спокойный, Я-то уже знал, что за внешним спокойствием моего «человека в черном плаще» идет бурление мыслей, проигрываются всевозможные комбинации. Подобно вспышкам молний, озаряют его мозг десятки вариантов решения вопроса. Затяжка – дымок... За-

тяжка – дымок... И вот уже выбран лучший, оптимальный вариант.

– Почему бы нам не основать собственную фирму в подвале твоего дома?

– В подвале?!..

Тут я несколько опешил. Да, в нашем доме имелся подвал, точнее, полуподвал. Давид, бывая у меня, не раз его видел. Половину помещения занимал гараж, другая половина была однокомнатной квартиркой с выходом во двор. Мы эту квартирку недорого сдавали. И конечно же, разместиться здесь было бы необычайно выгодно и удобно. Мы могли спокойно работать, никому не мешая, клиенты, заходя во двор, не тревожили бы семью. Все так. Но... Я привык, что фирма – это нарядный офис, это привлекающее взгляды помещение на большой улице, на виду у сотен людей. А тут – конурка во дворе!

Давид погасил сигарету. Подошел, положил руку мне на плечо.

– Валера, не все сразу! Сейчас надо справиться с расходами. В твоём подвальчике они составят полторы тысячи в месяц, а не четыре, как в хоромах Рона. Да и не то важно для дела, где мы, главное – рекламу наладить... А переживем трудные времена, подработаем – там и поглядим. Перелетим, куда повыше!

Я кивнул. Конечно же, Давид был прав, я уже осознал это, принял. Уже в моей голове замелькали яркие, соблазнитель-

ные «картинки». Двор, наполненный клиентами... Я открываю дверь: «Заходите. Прошу...»

Мы поглядели друг на друга и почему-то начали смеяться.

Засмеялась и Света, когда я рассказал ей о нашем решении.

«Ухаживал за мной программист, стала женой риелтора, а сейчас буду супругой бизнесмена!»

Глава 49. Легко ли быть бабушкой

С этого я и хотел начать. Но получилось иначе: вспоминая, как моя мама стала бабушкой, я погрузился в прошлое чуть поглубже, и вдруг увидел до боли знакомую картинку... За ней – другую... Ничего не поделаешь, раз вижу, значит, с них и надо начинать.

«Дз-з-з-инь... Бр-рынь... Зонн... Зон-н-н-н... Дз-з-инь-нь-нь... Бр-рынь-нь!» Это мама вернулась с работы. И, как всегда, извещает о своем приходе великолепным «вечерним звоном».

Наш звонок – вроде музыкального инструмента. Медный колпачок, под ним молоточек между двумя пластинами. Снаружи на дверях – ручка. Потянешь за нее – молоточек по одной пластинке мелодично ударит, отпустишь – по другой. Звуки сплетаются, резонируя под колпачком... Не пожалейшь минуту, чтобы ручку подергать – вот тебе и концерт!

Мама так и делает. Как бы ни устала – тяжелый трудовой день, долгая дорога на работу и домой, еще из-за двери посылает сообщение, что все у нее хорошо! Мы с Эмкой наперегонки мчимся открывать. Громкое «хелло», улыбка, мама, скидывает туфли (видно, до чего приятно ее босым ногам ступать по мягкому ковру), на ходу снимает с плеча сумочку. Мы с сестрой переглядываемся...

Про сумку разговор особый. Дело в том, что на маму два-

жды нападали, чтобы ограбить. В первый раз удалось. Выходила она из дома до рассвета, в половине шестого, до метро добиралась минут за двадцать пять. Из экономии шла пешком, а нас уверяла: «хочу подышать». Вот однажды и «подышала»: когда шла под мостом, подскочил к ней черный парень, вырвал сумку из рук и был таков.

«Кошелек, термос, – горестно перечисляла мама вечером, – спасибо, хоть в метро зайцем проскочила... Эх, не успела я его схватить и морду расцарапать!» – «А если бы он тебя? Хорошо, что не успела! И, главное, прекрати эти свои прогулки», – убеждали мы маму. Думаете, послушалась? Нет, ходила, как прежде. Сумку, сообщила нам, теперь носит только через плечо: попробуй-ка, сорви!

Прошел примерно год, и на маму напали снова. Хотела утаить от нас, чтобы не огорчались, но не удалось: выдало взволнованное, вроде бы даже торжествующее лицо. «Что случилось?» – «Ничего»... А лицо победителя!

Да, на этот раз победила мама. Все произошло на пустой платформе метро. «Он подбежал, вцепился в сумку, а я как заору! Выхватила вот это да ему в морду!» И мама, открыв сумку, вытащила из нее баллончик: аэрозоль с горьким перцем... Ничего себе! Мы слышали, конечно, про баллончики, но чтобы мама... Значит, давно готовилась к обороне. Обдумывала. Представляла себе, как все будет. Тренировалась, наверно.

Храбрая мама. Бедная наша мама!

Я был любящий сын. Огорчался, замечая, что мама стареет. Куда подевались ее густые, блестящие волосы, черные, как смоль, ниспадающие до бедер? До чего же любил я в детстве глядеть, как мама расчесывает их перед зеркалом! Теперь они коротко подстрижены, поредели, поседели, выкрашены хной в рыжевато-коричневый цвет. И лицо... На щеках, на лбу морщинки. Старость наступает? Да нет же, маме только за сорок! Иначе это называется: хроническое переутомление. Устала мама, невероятно устала!

Я замечал, огорчался, сочувствовал. И ничего не предпринимал.

Грызут, грызут меня мысли: почему я это допускал? Когда колледж закончил и начал зарабатывать, как не настоял, чтобы мама ушла с фабрики? Ну, были трудности, неудачи с работой. Но мог же я отцу поставить ультиматум: «корми семью со мной вместе»... А уж потом, когда женился на Свете, и стало нас, кормильцев, двое, почему не сказал: «мама, хватит! С завтрашнего дня ты дома!» Нет, все кивал головой, улыбаясь, когда мама мечтательно говорила: «вот родите вы мне внука, уйду с работы, буду его нянчить»... Кивал головой, а сам думал: ну, годик-то мы подождем с ребенком, посмотрим сначала, как заладится наша со Светой жизнь.

Первой маминой внучкой стала Белла, дочка Эммы. Беременность у сестры проходила тяжело, Эмма даже в госпитале лежала. Мама была в тревоге, в напряжении. А тут еще Эммины нелады со свекровью, потом с мужем. Семью не со-

хранило и появление ребенка. И все же первые полтора года своей жизни Белла провела с родителями, так что бабушке Эсе не довелось ее нянчить. А коли так, считала она, и с работы уходить не следует...

Мы со Светой отстали от Эммы примерно на год: в июне 1988-го родился у нас сын. Радостное ожидание и волнения начались для мамы с того утра, когда Света перед уходом на работу неожиданно сообщила моим родителям: «я беременна». Мама бросилась обнимать кетлинку, а я посмеивался: мне-то радостную новость Света сообщила еще ночью. Правда, мы с ней уговаривались пока молчать, но, глядя, как сияет Светино личико, я понимал: не могла моя веселая, добрая женушка хранить такую новость в тайне!

Когда мальчик появился на свет, к маминому ликованию добавилась гордость: в память ее отца мы решили назвать первенца Хананом. Правда, мы опасались, что такое имя в современной Америке будет звучать слишком уж чужеродно (хотя и Давид, и Самуил, и Сар, и многие другие библейские имена в ходу у американцев). Поэтому для повседневного употребления добавили еще одно имя: Даниэль. Долго пробовали это имя «на вкус». Сидит, бывало, мама вечером с крошечным Данькой на руках и бормочет: «Даниэль Ханан, Даниэль Ханан»... А потом захохочет и примется покрывать поцелуями круглые щечки...

Первые три месяца, пока с малышом была Света, мама еще работала. Но вечером, добравшись до дома, она, раз-

ве только руки успев вымыть, мчалась полюбоваться своим «джони бивещ». И сколько тут было восклицаний, смеха, разговоров с внуком, который, конечно же, «все понимал!»

Через три месяца Света вернулась на работу, и мама рассталась, наконец, со своей фабрикой. Впрочем, вряд ли новая вахта была легче. Не прошло и полугода, как внуков на маминых руках стало двое: Эмма разошлась с Беном и отдала нам Беллочку. Переезжать к нам сестра не захотела, поселилась неподалеку, но отдельно.

Тем временем Света уже ожидала второго ребенка. В конце лета 1989 года родилась Вика, Виктория Абигейл... Двойное имя – по тем же причинам, что и у Даньки. Бабушка, конечно же, в восторге, но теперь на руках у нее уже трое малышей. Трое, да к тому же разного возраста. Сколько раз за день надо еду приготовить или подогреть, и накормить детей? А перепеленать или сменить памперсы? Успокоить дитя, когда плачет? Покачать, чтобы уснуло? Поиграть? Сбегать... Принести... Поднять... Положить... И прочее, прочее, прочее. Даньку, к примеру, очень трудно было приучить к горшку, пришлось бабушке особое «туалетное расписание» выработать: после каждой еды – на горшок, пока не сделает что надо. А поди-ка, займись этим, когда на руках у тебя еще двое!

Есть мудрая пословица: «своя ноша не тянет». Я даже и на себе проверил, что это так... Ну, скажем, отчасти.

Вот, к примеру, одна ночка.

Даньке четыре месяца. Спит он, естественно, в нашей спальне. Мне в ней уютно. Люблю, засыпая, глядеть, как на тюлевых занавесках таинственно покачиваются тени веток, освещенных фонарем... Приятно, что это тот самый фонарь, возле которого осенним вечером я сделал предложение Свете. Тени покачиваются, покачиваются, и мне кажется в полусне, что вместе с ними покачивается вся комната...

Но так было раньше. Сейчас покачиваюсь я сам, и тени тут ни при чем. Просто я очень сонный: меня уже третий раз за ночь будит орущий Данька. Наш сын обжора, он и ночью каждые три часа требует: дайте поесть! Мы со Светой спим теперь очень чутко, вздрагивая при любом шорохе и обычно слышим первые же сигналы из детской кроватки: кряхтенье, пошевеливание, почмокивание... «Надо вставать», – сонно бормочет Света. «Подождем немного, может, заснет», – шепчу я без всякой надежды: скорее всего раскричится. Нынче мы не услышали чмоканья и других позывных, проснулись, а Данька уже орет, молотит ногами и ручонками по кровати, она аж подрагивает. Встаю, пошатываясь. «Тихо, тихо, ненасытный! Сейчас получишь». Поднимаю малыша, прижимаю к себе, целую в лобик. Детский запах, тонкий, прекрасный, неповторимый, обдает меня, вызывает такую нежность... Есть мудрость в старой русской пословице: своя ноша не тянет!

Отношу Даньку в нашу кровать, к Свете, и бреду вниз, в кухню, греть молочко.

Конечно же, и для мамы внуки были «своей ношей». И ее переполняло это чувство счастья, когда прижимала она к себе кого-то из малышей. Или просто любовалась ими спящими, играющими. Слышала их первые слова. Видела первые попытки ходить.

Не правда ли, любопытно, почему именно эти естественные события вызывают у близких родственников такое торжество, будто чудо случилось? Не потому ли, что первые шаги, как и первые слова, это как бы первые наглядные свидетельства: твой детеныш становится Человеком! Кто знает, может быть, где-то там, в нашей подкорке, хранится память о древнейших временах, когда некое мохнатое существо, предок Человека, впервые увидело, как его детеныш поднялся с четверенек. Поднялся, выпрямился и шагнул вперед на двух лапах. Увидел это наш мохнатый предок и взревел от удивления, от восторга!

Так не учредить ли Всемирный Праздник Первого Шага в память о том, как человечество когда-то поднялось на ноги? И как предостережение: «люди, не опускайтесь снова на четвереньки!»

Нашему миру, озверевшему, полному ненависти, вечно воюющему, напомнить об этом было бы очень полезно!

...Первые Данькины шаги мы как раз вместе с мамой и наблюдали. Июньским вечером гуляли мы с ней и с Данькой во Флашинге, в нашем ботаническом саду, небольшом, но очень красивом. Уселись на скамейку, к спинке которой склонял ветви куст, осыпанный розами. Держась за мамыны колени, Данька играл складками ее юбки. Ему исполнился год, он уже крепко стоял на ножках, но предпочитал на что-нибудь опираться. Поглаживая Данькины кудряшки, мама бормотала свои ласковые словечки «джонни бивещ», «худо дода», «ма бы ту мурам». Но тут Данька отвлекся от бабушкиной юбки: он увидел розы. Потянулся к ним раз, другой, соорудил плаксивую мину. «Не достаешь? – засмеялась мама. – Ну иди! – И, приподняв внука, поставила его поближе к кусту. – Иди же!»

Данька, оставшись без опоры, сначала испугался. Протянул к бабушке руку, помотал указательным пальчиком, забормотал: «ну-ну!» Совсем как бабушка, когда она его поругивала. Но не заплакал. Постоял, чуть покачиваясь, – и вдруг шагнул. Снова качнулся – и снова шагнул. Поближе к розам.

Мама хохотала и хлопала в ладоши – «ой, он пошел, худо дода!». А я подхватил сына и поднес его к самому пышному цветку. Данька уткнулся в него мордашкой. Придерживая свободной рукой ветку, чтобы сын не расцарапался, не

уколотся шипом, я тоже смеялся от непонятной гордости.

* * *

А вот и еще одна картинка, которую хочется назвать так: «бабушка в минуту полного счастья».

Забегал я как-то днем пообедать, заглянул в гостиную. Мама и трое малышей расположились на корпаче, на тоненькой ватной подстилке. Мама еще в Узбекистане их выстегала и привезла сюда. Моя любимая как раз эта, где ткань разрисована ветками алых роз. Их-то и пытается сейчас сорвать Данька. Пыхтя, ухватывает нарисованный цветок, крепко сжимает в пальчиках и кладет воображаемую розу в корзинку... Это уморительно смешно, именно потому, что Данька так деловит и серьезен. Интересно, понимает ли он, что играет?

Даньке полтора года. К розам он, можно сказать, неравнодушен еще с того первого свидания в ботаническом саду. Росли они и в нашем садике перед домом. Все это лето, как только мы подносили его к цветущему кусту, он тянулся к розам и разок-другой укололся-таки шипами. А сейчас все хорошо: розы на корпаче не колются.

Мама прилегла рядом с Данькой, пристроив на животе шестимесячную Вику. Приподнимая рыжеволосую головку, малышка радостно гулькает и, широко улыбается беззубым слюнявым ртом, норовя при этом засунуть туда все пальчи-

ки. Бабушка в ответ гугукает так же радостно и поматывает головой, чтобы постучаться лбом о лобик внучки. А к другому маминому боку прислонилась старшая внучка. Белле уже два с половиной. Мама зовет ее Белладонной – это звучит нежнее. Но озорная, непослушная внучка подвергает бабушкину любовь суровым испытаниям. Не девочка, а вечный двигатель! Сгусток энергии, направленной на баловство. Вот и сейчас она вертится, крутится, высматривает, чем бы заняться? Ага, вот Данька, приревновав бабушку, пытается спихнуть с нее Вику! Белла тут же присоединяется к нему. Она с хохотом и визгом хватается Вику за ножку...

Недолгое мамино блаженство закончилось. К тому же и дел полно. Усадив старших детей у телевизора, мама с Викой на руках уходит на кухню. Пора их всех покормить. А за едой у каждого свои капризы, свои пристрастия. Легко только с Данькой. Наш упитанный здоровячок (мама прозвала его «полван», богатырь) ел все, что бы ни приготовила бабушка. Съест и просит: «еще!» Приходилось отказывать: «папе ничего не останется». Белла тоже любила поесть, но капризничала просто потому, что любила озорничать. Малышку Вику бабушка называла чимчукчей, то есть птичкой: «она не ест, а поклевывает... Чуть-чуть, понемножку», жаловалась мама по вечерам.

После еды – дневной сон. Вику бабушка укладывает в коляску, старших – на корпачу, на бочок, лицом к себе и пристраивается здесь же, иначе Беллу не утихомирить. Сама не

спит, и малышам уснуть не дает. То, шевеля пальцами, играет в какой-то театр, то к бабушке пристает с вопросами. Или к малышам: «Даня, ты спишь? А ты, Вика?» Помогают маме старинные способы. Возьмет две чайные ложечки, начнет ими за спиной постукивать и тревожным шепотом: «Шш, Бабайка идет! Скорее глазки закрывай!» Бабайка – злое существо, что-то вроде Бармалея. Меня мама тоже страшила им в детстве... Белла теснее прижимается к Даньке, закрывает глазки. «Не приходи, Бабайка, я уже сплю!» И мама подтверждает: «кыш, кыш, Бабайка!» Сегодня психологи и педагоги «пугалок» не одобряют, но способ действенный: Белла тут же засыпает.

Вероятно, мама довольно часто пользовалась теми же приемами, с помощью которых почти полвека назад воспитывали ее, маленькую Эсю. Были у нее и суеверия. К примеру, всем новорожденным внукам мама надевала на руку «козьмичок», браслетик из черно-белых бусинок. По азиатским поверьям он охраняет малышей от сглаза. Носил такой же и я, когда был малышом. Я с мамой не спорил, зачем? Ведь она, с ее душевной чуткостью, никогда не делала ничего такого, что могло бы принести детям вред. И к тому же ей хотелось передать внукам хоть кое-что из того мира, в котором родилась и выросла. Жаль только, что я почти ничего не запомнил: ведь все эти черточки азиатского прошлого невозвратно уходят из памяти новых поколений, покинувших родину. А теперь досадно, почему, например, не снял

видеофильма: мама устраивает малышам представление. В руках у нее лаганча, глубокая металлическая тарелка. Она заменяет маме дойру, звонкий азиатский барабан. Пританцовывая, напевая, мама то прищелкивает пальцами, то по лаганче ударяет. Дети в восторге. Они хохочут, тоже начинают танцевать... На каком языке мама напевает? Иногда это узбекские песенки, иногда ее любимые нежные обращения к детям на бухарском.

Вообще-то мама в разговорах с детьми пользуется русским, но когда ей хочется понежничать или вообще выразить какие-то эмоции, посеCRETничать с нами при детях, она переходит на бухарский. Словом, для детей мама носитель и языков покинутой родины, и кое-каких ее черточек.

Но не чуждалась она и нового, даже научилась использовать американскую технику. Ставила внукам кассеты с любимыми мультиками, записывала на видеомэгнитофон интересные детские телепередачи.

* * *

Контора моя здесь же, в доме, но почти весь день я провожу на улице, встречаясь с клиентами. Возвращаюсь домой усталый. Хочется расслабиться, отдохнуть от глупых покупателей, алчных продавцов и назойливых адвокатов. Открываю дверь, с удовольствием вдыхаю вкусные кухонные запахи. И тут же передо мной, будто из-под земли, вырастает ма-

ленькая фигурка. Белла, конечно! Палец во рту, кокетливая улыбка. «Папа, а вы знаете, что Дани сегодня сделал?» (Белла зовет меня папой, мне кажется, что так лучше. Ведь у младших есть папа, пусть будет и у нее.)

О проделках Беллы стоило бы написать книжку, вернее, учебник для особо одаренных озорников. Мама на внучку редко жаловалась, но достаточно было вечером увидеть ее усталое, а часто расстроенное лицо. Впрочем, маленькая разбойница старалась предупредить жалобы и по-своему объяснить, что произошло.

Стараниями Беллы наш дом превращен в музей изобразительного искусства: белые стены гостиной разрисованы цветными фломастерами и карандашами. Рисунки смыть невозможно, так и живем в музее. Уговорить художницу рисовать на бумаге не удастся, а ведь не раз уже была наказана. И вот что придумала, хитрюга: насладившись творчеством, отдает фломастеры Даньке. «На, рисуй, рисуй!»

А вечером бежит ко мне ябедничать: «папа, вы знаете...» Оклеветанный Данька, ничего не ведая, ползет за ней, улыбается, тянет ко мне лапы, хлопает в ладоши.

* * *

«Валера, ты»? Это уже голос Светы доносится из кухни. Приходит она с работы раньше меня и, конечно, тут же перехватывает у мамы эстафету. Моя жена, такая на вид тихая,

на самом-то деле человек весьма энергичный. И на работе, и дома. К хорошему, конечно, быстро привыкаешь, но я, честное слово, нередко с восхищением и гордостью глядел, как легко и красиво управляется Света с детьми, с ужином, с любым делом. Кажется, она только в дом зашла, а в котле уже зашипело мясо, картошка почищена, Вика, уже в сухих памперсах, сидит на высоком стульчике, Данька и Белла умыты, тоже сидят за столом. Мама, конечно, и вечером старается помогать, но Света не разрешает: «вы и за день набегались достаточно». Маме позволено разве что посидеть с детьми в гостиной, пока ужин не подан.

Обычно у Светы все готово к восьми, так что я редко поспеваю к общей трапезе. Чаще прихожу около десяти, когда в доме уже тихо – ни детских голосов, не беготни. Все спят. Мама, намотавшись за день, тоже улеглась после ужина. Ждет меня одна Света. На лице, хоть и усталом, улыбка. «Переодевайся, сейчас подогрею ужин».

«Тебе, бачим, очень повезло», – не раз говорила мне мама. Имелись, конечно, в виду многие качества моей жены, но конечно, и ее хозяйственные таланты. Известно, что свекрови зачастую придираются к невесткам, любят покомандовать, показать, кто в доме хозяйка. Возможно, и мама иногда выступала в роли типичной свекрови, хотя Света мне никогда об этом не рассказывала. Я видел другое: как, проходя мимо Светы, мама вдруг подойдет к ней, обнимет, что-то на ухо шепнет. И мне было приятно. Мало того, они, как еди-

номышленницы, порой выступали против меня. Например, когда обсуждалось, как кормить Даньку после первых месяцев – грудным молоком или перейти на смеси в бутылочках. И Света, и мама считали: надо кормить грудью. Я настаивал на смесях: где-то вычитал, что к младенцу с молоком матери могут перейти канцерные клетки. Да и как быть, когда Света на работе? Отцеживать молоко? Мои доводы перевесили. Объединились мама со Светой и позже, когда Данька дорос до школы. Спорили, в какую отдавать? Обе женщины предпочитали еврейскую, я – американскую. И снова настоял на своем, в чем не раскаиваюсь.

Зато раскаиваюсь вот в чем: поздновато отдали мы детей – Беллу и Даньку – в детский сад. Только в начале 91-го. Пожалели деток, а надо бы пожалеть маму. Могли сделать и по-другому. Вот у друга моего, Марика, няня, как в старину, дома жила, даже и ночью была с детьми. Почему же мы не сообразили взять няню в помощь маме? Потому ли, что у нас, у бухарских евреев, это не было принято? Да и с деньгами было туговато.

И все же с 91-го года, когда пошли старшие в садик, стало маме намного легче быть бабушкой. Еще бы – не трое озорников, а одна Вика, сама тихая среди них! Появились и у мамы минуты, даже часы отдыха. Начались самые спокойные годы.

Только не очень-то много таких лет подарила ей судьба.

Глава 50. Снова вместе

Почему-то день прощанья с бабушкой Лизой я особенно остро вспоминаю, когда над Нью-Йорком бушует зимняя гроза.

Ветер нагоняет с Атлантического океана тяжелые, черные тучи, они клубятся, пенятся, небо опускается, словно свинцовое покрывало, на улицах темнеет. Сначала издалека, а потом все ближе, ближе начинает порывивать, погромыхивать гром. Внезапно и стремительно прорезает тучи ослепительный зигзаг, раздается треск, от которого мир будто раскалывается, и на город низвергается ливень. Мутная, плотная, пенящаяся стена заслоняет все, даже небоскребы. Не видно деревьев, исчезают куда-то потоки машин, прячутся пешеходы. Лишь изломанные огни светофоров мигают в серой пелене, как маяки в разбушевавшемся море... Не знаю, как у других, но во мне эти зимние грозы пробуждают мысли о грозной беспощадности смерти, о ее неизбежности. Возникают и другие невеселые мысли, воспоминания. Среди них и это...

В тот январский день, когда мы хоронили бабушку Лизу, грозы не было. Моросил холодный зимний дождик. Хмурый и на редкость унылый выдался день, печальный, как конец жизни бабушки.

В 1989 году братья отца, Миша и Робик, решили эмигри-

ровать в Америку вместе с родителями. У нас, особенно у меня, это вызывало большие опасения. Как старики перенесут переезд? Ведь деду Ёсхаиму уже исполнилось 95 лет! И все же он был бодрым старцем по сравнению с 84-летней бабушкой. Она давно уже чувствовала себя очень плохо. Маялась со своим «спундилезом». Видела едва-едва. Да тут еще беда: сломала шейку бедра, теперь и ходить не могла. Не по силам ей, такой старой и больной, тяжелая, долгая поездка. Я не мог понять: если дядьки не решаются бросать стариков, почему бы не остаться с ними Робику? Ведь он прежде не торопился уезжать, так подождал бы, пока бабушка хоть бедро подлечит. Но ни Мише, ни Робику не прикажешь, хоть я и высказал им по телефону свои опасения. У них были другие резоны: теперь можно лететь в Штаты прямо из Вены, не нужно сидеть в Италии. Этим надо воспользоваться, ведь все так неустойчиво, вдруг опять запретят выезды. Словом, в ноябре собрались и поехали...

Случилось то, чего я боялся: в Вене бабушке стало совсем худо. Робик и Миша вызвали отца. Ему еще удалось увидеть живую мать. Грустную весть мы услышали по телефону. Сообщив нам о ее смерти – бабушка умерла 14 января 1990-го, – отец сказал: «Хоронить будем в Нью-Йорке».

Да, нелегкими были последние дни бабушки Лизы. Родину она покинула, а до Америки не доехала, даже статус эмигранта получить не успела. Двенадцать дней добивались сыновья разрешения вывезти усопшую мать из Вены в Нью-

Йорк. Но теперь и это было позади. Начались последние горестные хлопоты: похороны.

Ранний утренний час провели мы всей семьей в синагоге, где происходил обряд оплакивания усопшей. Слышал я, что обряд этот в нашей религии относится к одной из важнейших древних заповедей. Может, в древности люди были благочестивы и впрямь исполняли обряды от всей души. Но каким же формальным стало оплакивание в наши дни!

Судите сами. Мы, родственники усопшей, сидим в первом ряду. Друзья и знакомые подходят один за другим, обнимают нас, произносят «Хаёти Шумо боша», то есть «примите соболезнования», либо «Худо рахмат куна» – «добрая память усопшим». Некоторые поднимаются на возвышение и произносят скорбную речь. Говорят торжественно, велеречиво, почти одними и теми же словами... Может быть, речи нужны, а точнее говоря, неизбежны, когда прощаются с официальными лицами, с широко известными общественными деятелями. Но на семейных похоронах – зачем, скажите мне? Кому это надо – родственникам, усопшему?

Вот речь держит ребе. С бабушкой Лизой он и знаком-то не был, но воспевает ее достоинства с таким жаром, будто знал усопшую, как родную, чуть ли не с пеленок. Не притворство ли это?

Я знаю случаи, когда оплакивание в синагоге превращалось в настоящую пытку для близких усопшего. Недавно мой знакомый, зубной врач Хайко, потерял любимую дочь, со-

всем еще не старую женщину. Он был сломлен горем... Церемония в синагоге длилась почти два часа. Собралось человек семьсот, выступавших было около пятнадцати, среди них – пять или шесть ребя. Эти почтенные люди произносили проповеди, поучали присутствующих, как надо соблюдать Закон... Никому даже в голову не пришло подумать о несчастном отце. Бледный до синевы, он трясся мелкой дрожью, почти потерял сознание. А ведь впереди была поездка на кладбище, последнее трагическое прощание.

Пусть осуждают меня рьяные сторонники старых обычаев, я не перестану утверждать: нельзя превращать традиции в плохой спектакль! Хочется, чтобы в них преобладало чувство меры и понимание духовного содержания обряда, а не тщеславие. Уверен, что именно это чувство – желание быть не хуже других – господствует у нас почти во всех церемониях и обрядах. Боимся, что люди осудят!

Я и о себе говорю. Нередко я и сам подчинялся рутине. Очевидно, страх, «что обо мне скажут», таился где-то в подсознании.

* * *

...Мы вышли из синагоги. Неподалеку уже стоял катафалк, окруженный широким кольцом колышущихся черных зонтиков. Я подошел к нему. Гроб прикрыт был намокшим под дождем ковриком. Там, под его крышкой, совсем ря-

дом... Вот как довелось мне встретиться с бабушкой Лизой после десяти лет разлуки! Вдруг совершенно ясно увидел я перед собой ее лицо – не то, сильно постаревшее, изрезанное глубокими морщинами, как на последней фотографии, присланной из Ташкента, а прежнее, из моего далекого детства... Вокруг шуршали и скрипели зонтики, люди подходили к катафалку попрощаться с бабушкой Лизой, а я все глубже погружался в свои «картинки».

* * *

Ведро с водой, швабра в руках. Драю полы в Старом Доме. Сидя на диване в привычной позе – закинув руку за спину и потирая свой «спундилез», – бабушка наблюдает, достаточно ли я усерден... «А-ах, смотри, ка-акая пилища! Счастье, что ты приехал на каникулы, дорогой помощник!.. Э-э, погляди-ка, еще пиль! Во-он там...» Мне смешно: «дорогой помощник»... Будто совсем недавно бабушка, обозлившись на меня из-за чего-то, не кричала мне: «Лайлак! Кушта шиви!» В переводе на русский эти звучные слова означают: «Долговязый! Чтоб ты сдох!»

Признаться, находило на меня иногда озорство. Начнет бабушка злиться, а я стараюсь еще больше раздражить ее. Стоя передо мной (а я действительно долговязый), невысокая бабушка задирает голову и чуть ли не на цыпочки становится. Рот ее так широко открыт, что видны все серебря-

ные коронки, глаза до того выпучены, что кажется, вот-вот вылезут из орбит. Яростно размахивая правой рукой (левая, как всегда, за спиной), бабушка выкрикивает свои «кушта шиви!» и другие проклятия. Ну, от проклятий я, конечно, воздерживаюсь, но в ответ на «лайлак» позволяю себе выкрикнуть: «а ты пастак!», что значит «коротышка»... Тут все идет по новой!

Бедная бабушка! Она и не догадывалась, конечно, что я наслаждаюсь представлением.

* * *

...Стол под цветущей шпанкой. Разложив на плетеном подносе нарезанное мясо, бабушка энергично натирает его солью. «Готово!» – она прикрывает мясо тазиком, сверху кладет тяжелый камень. – Уж это не сбросят, а?» Я киваю, стараясь не рассмеяться. Мне тут же представилось именно то, чего бабушка боится: однажды мясо было ненадежно прикрыто, и кошка – их у нас на чердаках видимо-невидимо – ухватила самый лакомый кусок... Отчаянный лай Джека, вопли бабушки: «Кушта шиви!» Но кошка уже где-то на крыше...

* * *

...Весь дом пропах вишневым вареньем. Мои руки чуть ли не до локтей, губы, щеки, подбородок – все в багровых тонах. Полдня я, под присмотром бабушки Лизы, вынимал похожей на шприц машинкой косточки из вишен. Целое ведро перечистил! Ну, кое-что, конечно, и в рот попадало, когда бабушки не было на кухне, но почему-то вишня гораздо слаще, когда рвешь ее с дерева... Надоело, устал, да и Юрка уже сколько раз заглядывал со двора: «Брось, пошли!» Он-то ничуть не боится бабушки... Но нет, я, оказывается, нужен и при варке варенья: «Подними тазик... Потряси... Аккуратнее!». Наконец я свободен и даже получаю в награду, кроме ласкового «джони бивещь», большой кусок хлеба с теплой вкусной пенкой. У нас ее называли копук... Помнится, Юрка испортил мне все удовольствие: сказал, что копук есть нельзя, это грязь, гадость...

* * *

Вот ведь как интересно, подумалось мне вдруг. Все милое, смешное, веселое в памяти гораздо ярче и ближе, чем то, что делало жизнь с бабушкой такой трудной... Нет, сейчас даже как-то и не хочется вспоминать о плохом! Вероятно,

добро действительно самая большая человеческая ценность, потому-то душа радуется ему, бережет.

Да и бабушка Лиза с годами менялась. Ее отношение к нам, особенно после нашего отъезда, становилось все лучше. Мне и братец Юрка не раз писал, что старики что ни день вспоминают нас и очень надеются на встречу. И каждый разговор по телефону подтверждал это. Чем дольше длилась разлука, тем больше тоски и нежности слышал я в голосе бабушки. Нежность... Вот уж чего бабушка к нам прежде не испытывала! К маме – особенно. У мамы достаточно было причин затаить в душе и горечь, и обиду на злую, несправедливую свекровь.

– Ты не находишь, что она подобрела? – спросил я как-то у мамы после очередного разговора с бабушкой. Я ведь видел, как мама в ответ ей улыбается, кивает, как у нее у самой добреет лицо.

– Наверное, – ответила мама и, вздохнув, задумчиво пожала плечами.

* * *

...Расступились черные зонтики, отхлынули от катафалка. Мужчины подняли гроб на плечи, сменяя друг друга, понесли к стоявшему рядом длинному «кадиллаку». Мы с отцом шли впереди: он с портретом бабушки в руках, я, поддерживая его под локоть и прикрывая зонтом... Отец шел

сутулясь, тяжело и прерывисто дыша. Как он постарел, подумал я с внезапной жалостью. На бабушку Лизу стал похож... Да, мысли о том, что жизнь коротка, мысли о грозной беспощадности смерти не покидали меня в тот день.

Расселись по машинам (мы с отцом в «кадиллаке», с бабушкой) и кортеж двинулся к кладбищу «Гора Кармел», одному из еврейских кладбищ в Квинсе.

Не знаю, известно ли тем, кто будет читать эти строки, что у бухарских евреев принято заранее покупать для семьи места на кладбище. Очевидно, потому что многие следуют древнему обычаю: хоронить в день смерти. Тут уж у родственников (не говорю уж о покойном) не будет времени на деловые хлопоты. Так или иначе, мой отец приобрел места на кладбище еще несколько лет назад... К слову сказать, попав в Америку, отец стал ярким последователем обычаев своего народа. Меня это удивляло, ведь в Узбекистане, особенно в Чирчике, он вполне ассимилировался, был равнодушен к религии, обрядам, обычаям. Но, видно, в эмиграции сильнее тянет к своим.

Вот еще одно свидетельство этой тяги: на еврейских кладбищах Нью-Йорка бухарские евреи предпочитают покоиться на особых, земляческих, так сказать, территориях. Отец купил на такой территории участок у своего родственника, Мейера Беньяминова.

Я помню день, когда была совершена эта покупка. Отец прибежал из своей мастерской в такой спешке, что даже не

отряхнул с одежды и с лица кожаные стружки, отлетавшие от фрезерного станка.

– Мне Мейер сейчас документы принес! – с порога закричал он, помахивая какими-то бумагами.

– Восемьсот долларов за кусочек земли! – усевшись возле нас с мамой, сказал отец ворчливо, но и с гордостью. – Ну, слушайте: «Кладбище «Гора Кармел», ряд восьмой, места первое-четвертое»... – прочитал он это так, будто ему удалось достать для всей нашей семьи прекрасные билеты в театр: близко к сцене, места рядом...

И вот теперь привезли мы на кладбище бабушку Лизу, чтобы оставить ее на одном из этих четырех мест. Оставить навеки.

Кладбище «Гора Кармел» примыкает к одной из окраин знаменитого Форест-Парка. С тех пор как отец приобрел здесь места, секция бухарских захоронений разрослась, превратилась в мраморный черно-коричневый островок, живописно выделявшийся среди прочих серых надгробий. Бухарские евреи ныне не так привержены аскетизму, предписанному религией, как наши западные единоверцы. Мы теперь делаем даже то, что религия строго запрещает: помещаем на надгробьях портреты усопших.

...Обступив свежую, пахнущую сырой землей яму, мы глядели, как рабочие осторожно опускают в нее на веревках гроб. Не прямо на землю, а в бетонный ящик, установленный, наподобие саркофага, на дне, чтобы защитить гроб от

сточных вод. Потом мужчины поочередно бросали на гроб землю: по десять горстей каждый... Вот и холмик невысокий появился над бабушкой. Мы прощаемся и уходим. Теперь с бабушкой остается только дождь... Пройдут годы, пока не присоединится к ней дед Ёсхаим. Кроме них пока нет у нас родни на кладбище «Гора Кармел».

* * *

Печальные обряды у бухарских евреев обширнее, чем у многих других народов. Сразу после оплакивания и похорон – поминки. Еще одни – через месяц, а у некоторых – каждый месяц в продолжение года. Потом через год. Первые поминки продолжаются пять вечеров, до пятницы и субботы... К числу традиций отживших, превратившихся в показуху, я отношу и эту. Надо ли объяснять, почему? Взять хоть нашу семью: в доме маленькие дети, у нас со Светой работа с утра до вечера, а тут день за днем покупка продуктов, стряпня, ежевечерний стол, множество людей, в большинстве своем посторонних, едва знакомых... Начались у меня бурные споры с отцом. Я предлагал хотя бы не дома устраивать ежевечерние поминки, а в ресторане. Он настаивал: все должно быть «как у людей». Нашли компромисс: принимать будем дома, а еду заказывать в ресторане, чтобы маме, Свете и Эмме хоть полегче было. Не буду описывать эту неделю, повторю только, что многие из гостей бабушку Лизу либо знали

очень мало, либо вообще в глаза не видели. Но как же не прийти, если у дальних родственников поминки? Будет стол, можно поболтать, обменяться новостями, посплетничать...

* * *

Хоронили мы бабушку Лизу в конце января 1990 года, а сыновьям ее, Мише и Робику с семьями, удалось приехать в Нью-Йорк только в марте. Миша с Валею, с дедом Ёсхаимом и с двумя собаками месяц прожили у нас. А Робика с Марийкой и с двумя их детишками пришлось через «Наяну» поселить в гостинице. Уж больно тесно стало в доме... В конце апреля приехал любимый кузен мой Юрка. Он добирался в Америку через Италию. Какая была встреча!

Вроде бы давно уже мы стали американцами, считали Нью-Йорк своим домом. А как не хватало родных, своего окружения!

* * *

Тут я хочу прерваться и вернуться назад. Ведь как-то так получилось, что начал я рассказ с окончательного переезда родни в Америку. Если же следовать хронологии, встреч, правда, короткие, зато частые, начались с 1988 года. Рухнул «железный занавес», великое множество туристов и эми-

грантов устремилось на Запад: «Надо же посмотреть, что там за жизнь». Наши родственники были среди тех, кто решил посмотреть...

За год – с ноября 1988-го до октября 1989-го – посетили нас Авнер и Софа, Миша и Валя, Робик и Мария. Каждая пара гостила почти по месяцу. В августе 1989 Авнер и Софа с двумя сыновьями и невесткой снова появились, уже насовсем, как эмигранты. У нас прожили две недели. В октябре 1989-го прикатили – тоже навсегда – мой кузен Яша-Ахун с женой, сыном, тестем и тещей. У нас они прожили три недели...

Возможно, кто-то из читателей ахнет: «ну и нашествие! Как только выдержали?» Но как можно поступить иначе, не принять родственников? Слова «чувство долга» звучат слишком сухо и казенно. Думаю, что потребность помогать родне особенно сильна в азиатских семьях...

Почти двадцать лет прошло с тех пор, стерлись многие подробности, почти позабылись трудности, хотя и их хватало. Но навсегда запомнилось, какое волнение охватывало на аэродроме, когда в толпе прилетевших вдруг появлялись лица родных. А уж дома за столом!.. Порой доходило до ощущения, что мы снова в Узбекистане. Или Узбекистан переместился в Нью-Йорк. Веселее стало в доме. Как весело звенела по утрам посуда на кухне и как звонко болтали, готовя еду, женщины! Никогда еще мы так дружно не жили, так много не общались. Сколько было расспросов, рассказов!

Постоянно звучал смех. Мужчины наперебой шутили, острили, похлопывали друг друга по спине. Дядя Миша производил за ужином тосты и речи – долгие, трогательные, проникновенные...

Повеселела мама, даже отец стал жизнерадостным, доброжелательным, участвовал в расходах, как нормальный член семьи. Да и для меня приезд родных стал большой радостью. Я даже не ожидал, что их лица – и деда Ёсхаима, и Мишино, и конечно же, Юркино наполнят меня пылкой нежностью. Я то и дело погружался в яркие воспоминания детства. Мама с Валец, давние и близкие подруги, оставаясь вдвоем, отводили душу, просто наговориться не могли. Больше всего, конечно, говорили о детях – о Юрке и обо мне с Эммой. Сыновьями обе гордились. Ведь и кузен мой недавно закончил университет, стал программистом. Он тоже женился... Словом, и той и другой было о чем рассказать друг другу.

У Светы, как всегда, не сходила с лица ее приветливая улыбка. Вроде бы приезд незнакомых родственников мужа никак не мог быть для моей жены счастливым событием, тесного общения у нее с гостями не возникало. Но ведь Света – одна из тех, о ком в Америке говорят: «она радуется 24/7». То есть двадцать четыре часа в сутки и все семь дней недели. Думаю, что и гостям приятно было смотреть на милое, улыбающееся, молодое личико.

Повеселел и отец. Позавтракав раньше всех, он успевал до работы сбегать в соседний киоск за газетой «Новое Русское

Слово». Наши родные зачитывали ее до дыр: столько новой информации! Ведь наступило время больших перемен, особенно в Советском Союзе. Очень забавно было смотреть, как читает газету дядя Авнер. Усевшись у окна, он надевал очки, развертывал листы так широко, что совершенно скрывался за ними и застывал в таком положении, будто уснув. Края газеты мирно подрагивали в ритм его дыханию. Но дядя Авнер не спал, он читал очень внимательно. Самый большой интерес он проявлял к тому, что происходит в Израиле. «Надо же, – говорил он, внезапно вынырнув из-за листа, – а там, у нас, о многих событиях – ни слова!»

Дядя Миша – тот не только газету читал по утрам. Он обзавелся учебником английского языка и занимался очень упорно, не меньше часа-двух в день. Дядя готовился жить в Америке. Он даже примирился с тем, что не сможет больше преподавать физику: ходил в папину мастерскую перенимать навыки сапожного мастерства. В детстве помогал немного сапожничать своему отцу, но все успел позабыть...

Единственным темным пятном был «набег» Яши-Ахуна с семейством. Вот уж от кого мы устали! Было шумно, тесно – пятеро гостей... К тому же Яшкина жена оказалась белоручкой и неряхой. Дом уже с утра наполнялся запахом гари: эта неумеха непременно заливала плиту, пытаясь сварить кашу своему младенцу... «И хоть бы раз плиту помыла!» – возмущалась мама. Кстати, вскоре выяснилось, что у этой дамочки в Нью-Йорке полно родных. Я не удержался, спросил у Яши,

почему же не остановились у них. «Хотел ей показать, какие у меня хорошие родственники», – ответил Ахун. Не знаю, простодушие это было или лукавство. Могу только сказать, что когда у «хороших родственников» случилась беда – заболела, а потом умерла моя мама, Яша ни разу даже не позвонил нам.

Но повторяю: неприятным был приезд лишь этой семейки. Остальные были в радость. У нас, азиатов, к гостям особое отношение. Уж хоть в лепешку разбейся, а прими на высшем уровне! Но конечно, приехавшие женщины помогали маме и Свете готовить, убирать, с малышами возиться. Даныку, полугодовалого крепыша, родичи обожали, играли с ним, как с куклой. Положат карапуза на спинку и хохочут, глядя, как он старается перевернуться на животик, дрыгает ножками, кричит, как старичок...

По вечерам смотрели что-нибудь по телевизору. Правда, содержание фильмов приходилось объяснять, никто из гостей не владел английским. Впрочем, когда дядя Авнер, нажимая на пульт, попадал случайно на передачи «не для детей», объяснений не требовалось, и так все было ясно. Тетя Софа с возмущением вскрикивая: «иби, ба сар дароя!» (сплошной разврат), то стыдливо опускала глаза, то снова поглядывала на экран, и при этом ревниво наблюдала за реакцией супруга. Однако же дядя Авнер не был любителем интимных передач, да и вообще телевизора. Больше, чем фильмы, его интересовала реклама. Как опытный работ-

ник торговли, дядя нашел, что она в Америке на высочайшем уровне.

Но чем бы ни занимались по вечерам, о чем бы ни беседовали, все заканчивалось вопросом, похожим на гамлетовское «быть или не быть»: ехать или не ехать? Вопрос нелегкий. Пока на родине вроде бы живется неплохо, но время настало непредсказуемое. Будущее представлялось туманным, особенно для детей. Значит, надо ехать ради них, даже жертвуя своим покоем и благополучием. Дяде Мише, например, как и отцу, предстояло менять профессию. Дядя Авнер, человек бизнеса, надеялся этого избежать. Жена его, Софа, хоть и была медсестрой, понимала, что в Америке ей профессию не сохранить без знания английского. Но оба уповали на трех своих сыновей. Мой младший дядя, Робик, инженер, специалист по холодильным установкам, да и вообще мастер на все руки, и жена его Марийка, парикмахер, не сомневались, что в Нью-Йорке не останутся без работы.

Словом, чем больше обсуждали, тем яснее становилось: ехать надо. С тем и возвращались домой...

* * *

Переезд, как говорится, страшнее пожара. И, хотя не мы занимались этой тяжелой работой, какая-то ее часть легла на наши плечи.

Ходили в те времена по Нью-Йорку среди русских шут-

ливые песенки, их даже в ресторанах, кажется, пели. В одной из них были такие примерно слова: «Не завернуть ли вам с собой в кулек, родственнички, весь Нью-Йорк?» Так высмеивали туристов из Советского Союза, которые приезжали, казалось, не родных навестить, не Америку повидать, а запастись шмотьем и электроникой. Появилось и прозвище – «пылесосы». Ирония была довольно горестная, потому что приезжие, не имея, естественно, больших денег, покупки делали в основном за счет тех, к кому в гости приехали. Но это я только к слову: наши родственники нас не «высасывали», вели себя скромно. Однако же когда начали они готовиться к переезду, на нас обрушилась лавина посылок: только таким образом родные могли переправить вещей больше, чем разрешала таможня. Наш гараж постепенно наполнялся пакетами, коробками, бандеролями. Забили мы его так, что не пройти внутрь. Но случилась беда: во время дождей в гараж проникала вода, а дожди, как назло, шли часто. Посылки намокали! Пришлось перетаскивать их в дом. Раскладывали где можно – на столах, под столами, под кроватями, возле стен. Словом, стало в доме довольно неуютно. И было обидно, когда родственники, приехав, упрекали нас за небрежность. Да еще мы же оказались виноватыми, что некоторые посылки вовсе не дошли!

А как не вспомнить о лихорадочных поисках партнеров для обмена рублей на доллары! Ведь в те времена разрешалось вывозить из Советского Союза не более четырехсот дол-

ларов на человека. Обходили этот дурацкий, грабительский закон, разыскивая в Америке людей, которым нужны рубли – скажем, для помощи советским родственникам... Тут тоже шел грабеж: курс обмена был ужасно невыгоден для рубля. Но что поделаешь? Дядя Авнер добывал свои доллары именно таким способом. В поисках более высокого курса он даже в Сибирь ездил. Американским посредником был, конечно, я. «Настоящая трагедия – думал я, получив от дяди очередной номер телефона человека, к которому предстояло съездить за сотней-другой долларов. – Ведь на рубли, которые Авнер отдал за эту жалкую сумму, в Узбекистане можно год прожить!»

К несчастью, наградой за мои хлопоты стала серьезная ссора с Софой и Авнером. Собрав несколько тысяч долларов, они попросили, чтобы я к их приезду снял и обставил мебелью квартиру. Что я и сделал, как мог лучше. Даже мебель (подержанную, ту, что уже была в квартире) удалось купить удачно и недорого. Оформлять квартиру в отсутствие Авнера пришлось, естественно, на имя родителей. Словом, я был доволен и думал, что угодил родственникам. Не тут-то было! Софа заявила, что и мебель я купил плохую, без серванта, и деньги потратил лишние, неизвестно на что (никак не могла поверить, что суперу полагается давать комиссионные). И пособия материальные (вэлфор, фудстемпы) они долго не могут получить, так как квартира оформлена не на их имя... Начались упреки и нападки. Я старался спокойно

все выслушивать, уговаривал себя: у тетки вздорный характер, плюс непонимание элементарных вещей, плюс «совковый менталитет». Но мама этого вынести не могла! Она-то знала меня, видела, как я старался. Мама выдала родичам все, что думает по этому поводу – и... Отношения с ними испортились надолго. Слава богу, что наладились, хотя и по очень печальной причине. Когда мама тяжело заболела, дядя Авнер и его семья здорово помогли мне. Поддерживали и после ее ухода...

* * *

Но время встреч и приездов запомнилось вовсе не из-за трудностей и размолвок. О них я лишь для того пишу, чтобы полнее воссоздать атмосферу. Главным же было то, что мы именно тогда действительно чувствовали себя родней. Для нас эпоха приездов стала самой мирной, самой дружной. И я радуюсь, вспоминая об этом. Радуюсь, что наш дом был добрым приютом для стольких людей. Что мы, перебравшись в Америку, были как бы и разведчиками, и перевалочным лагерем. И когда в 1990-м году большая семья, наконец, собралась в Нью-Йорке, мы довольно долгое время так себя и чувствовали – одной семьей. Поселились все поблизости, виделись очень часто. Праздники, дни рождения – непременно вместе. А то и просто застолья. Каждую свободную минуту урывали для встреч.

Да, хорошо, что в хронике жизни семьи остались и такие годы – потому что вслед за ними наступили иные...

* * *

Семья... Чем дольше я живу, тем больше задумываюсь об уникальном организме, который мы так называем. О древнейшем – оно намного древнее наций – объединении людей одной крови или связанных браком. Разумеется, многое в отношениях между членами семьи, а между ветвями – тем более, зависит от культуры, национальной и личной, от собственных качеств, характера. Наконец, от «времени, в котором стоим», как говаривали герои Фазиля Искандера. Но как бы ни менялась жизнь и как бы ни менялась с веками семья, главные ее свойства и цели неизменны: общность быта, взаимопомощь, моральная ответственность. Однако же и трагедии в семейных отношениях происходят во все времена.

Откроем «Книгу Бытия». На первых же ее страницах – Каин убивает Авеля... Ничего себе! Преступление в первой же семье на Земле, во втором поколении людей! А дальше? Иаков по воле и с помощью Ревекки, своей матери, обманул Исава, брата: уговорил его продать свое первородство за чечевичную похлебку. Притворившись Исавом, получил благословение ослепшего отца. Сыновья Иакова поступили не лучше, они продали в рабство Иосифа, своего брата... Да и потом семейных трагедий происходит более чем достаточно.

А вспомним драмы Шекспира! Датского короля, отца принца Гамлета, убил родной брат. Родные дочери изгнали короля Лира, убили свою сестру, Корделию. Не только в литературе, в истории каждого народа – сотни таких злодеяний...

Хотелось бы надеяться, что современные нравы стали несколько мягче – хотелось бы, но не знаю, что говорят об этом психологи, юристы, статистики. Однако я уверен, что семейных ссор и в наши времена хватает. Что же касается заметных перемен, то я вижу только одну: рамки семьи становятся все более узкими. По крайней мере читал, что так давно уже происходит в большинстве европейских стран, наблюдаю это и в Америке. О странах Азии, об Узбекистане, моей родине, говорить не берусь: вероятно, в этих странах дольше сохраняются патриархальные отношения. Но в Америке даже у моих земляков – бухарских евреев, приверженных традициям, семейные связи постепенно сужаются. Особенно это касается молодежи. Трудно, а то и просто невозможно, сохранить широкие и прочные родственные отношения в условиях эмиграции, в новой стране, со всеми муками «врастания» в новую жизнь...

Сказать по правде, и я не сохранил. Родители, жена, дети – вот кто для меня семья. За ее пределами семейные отношения поддерживаю только с теми, к кому есть личная симпатия, близость интересов. Так что правильнее было бы называть это дружбой.

Есть такая поговорка: «родственников не выбирают». Ну а я все же выбираю – среди них. А к числу настоящей родни отношу ближайших друзей.

* * *

И все же... Когда зазвучит сигнал тревоги, когда услышу зов: «Мы одной крови!» – не размышляя, поспешу на помощь.

Когда грохочет зимняя гроза, вспоминаются проводы бабушки Лизы... Встречи в аэропорту... Женский смех на кухне... Долгие вечерние разговоры...

Есть минуты, которые не забываются, остаются в душе до конца.

Глава 51. Цена покоя

Неизбежность события, о котором я собираюсь рассказать, висела над нашей семьей много лет, а мы все отталкивались от нее, отодвигали, затыкали уши, закрывали глаза.

...Закончился ужин. Мы со Светой увели детей в гостиную. Родители что-то обсуждали за столом. Потом до нас донесли вопли и ругань отца. Шум падения. Крик боли – это мама закричала. Отец бегом пробежал в прихожую, хлопнул дверью...

Тот вечер и был началом окончательного разрыва с отцом.

* * *

О том, как отравлял жизнь семьи, прежде всего – мамы, его тяжелый, взрывчатый, характер я писал много раз. И в первой моей книге, о детстве, и в этой. Писал о его скупости, об упорном желании сделать кормильцем семьи одну маму.

В первой книге, в главе «А у нас соседка – гречанка», я рассказывал, как еще много лет назад, в Чирчике, мама преодолела свою «восточную покорность» и обратилась за помощью в фабричный комитет профсоюза. Отцу пригрозили: будешь над женой издеваться – сообщим в школу. А же не поможем развестись с тобой. Отцу-педагогу это грозило крушением карьеры, он испугался и какое-то время вел себя

пристойно. Но не долго...

О другом мамином «бунте», рассказал я в начале этой книги. Произошел он перед нашим отъездом в Америку. Отец разозлился на меня, мама вступилась, он стал ее ругать, ударил. Собрался, как у нас в обычае, семейный совет. Мать сказала: «Как хотите, но в Америку с ним не поеду». Тут впервые объединилась против отца вся семья – и бабушка Лиза, и оба дяди – Миша и Робик, и Валя, Мишина жена – все. Но говорить с ним было труднее, чем с глухонемым, вряд ли он что-нибудь понял. Это не он, а мама сломила себя, решила ехать – ради детей.

Наконец, в третий раз, уже в Америке, когда отец, затеяв из-за пустяка ссору, ударил меня, мы решили, что с нас хватит – и совершили попытку к бегству. Сняли квартиру в соседнем корпусе и сколько-то дней были счастливы. Но отец не оставил нас в покое. Ходил к нашим друзьям Мушеевым, плакал, клялся, что исправится, просил помочь примириться. И мы сдались... Зря, конечно. Характер отца несколько не улучшился, эгоизм все рос... Здесь, в Америке, в стране бизнеса, им завладело желание тоже стать «крутым» бизнесменом, скопить для этого как можно больше денег. Замысел стал манией – как назвать иначе, если только после унижительных просьб и скандалов отец хоть кое-что отсчитывал маме на хозяйство!

В чем только не проявлялась жадность отца! Противно перечислять, и все же историю с машиной стоит рассказать –

для примера.

Я был уже женат, начал работать в агентстве, а машиной все еще не обзавелся. Очень она мне была нужна для поездок к клиентам, да денег пока на жизнь едва хватало. И тут выручил меня Эммин муж Беня. Купил он себе лимузин, а свой старый, чуть живой «Понтиак Вентура» отдал мне. «Ты не смотри, – сказал, – что он такой побитый и покарябанный. Сядешь за руль и увидишь: не машина, а зверь!» Старик и вправду был скор, послушен, да к тому же еще распугивал других водителей своим «аварийным» видом – это защищало от «наездов». А я старика любил, следил за ним, старательно мыл, словно надеясь, что под мыльной пеной разгладятся многочисленные морщины-вмятины. Но прошел год – и остался я без друга, закончилась жизнь «Понтиака». А тут как раз отец заявил, что собирается продавать свою машину. Пользовался он ею в основном, чтобы купить материалы для мастерской, иногда домой продукты подвозил, бывали и семейные выезды в гости. Для своих поездок я отцовскую машину никогда не просил... И вдруг он решил – опять же ради экономии – что обойдется без нее. Услышал я эту новость – и даже сердце замерло. Отличная машина была, «Катлас Суприм», с четырьмя дверцами. У друга моего Викторино была такого типа машина, мне доводилось ездить на ней. Легкая, стремительная, вот-вот взлетит, словно птица! Словом, набрался я смелости и спросил у папочки – не подарит ли мне машину? Отец помотал головой, покрях-

тел, покашлял астматически. «Богач я, что ли? Миллионер? Ну, так и быть, сбавлю тебе цену – возьму всего три тысячи. Машина-то как новенькая, почти и не ездил на ней». Я пробормотал, что где, мол, взять три тысячи? «Ну, хорошо, пусть не сразу, рассрочку дам... Ты – молодой, какие твои годы! Скоро начнешь зарабатывать много больше, чем я!» И он снова закашлялся.

Вот такой был у нас торг – и я согласился с доводами отца. Решил, что, в общем-то, прав мой пожилой и больной папа. Зато мама возмущалась, корила отца: «Бессовестный! Продавать – родному сыну!»

Чтобы не платить лишних налогов, отец деньги не в банке хранил, а прятал где-то в недрах кровати, чуть ли не в чулок запихивал. Но все же скупость его, в отличие от «Скупого рыцаря», переплеталась с тщеславием, с желанием быть «не хуже людей». Поэтому папа доставал иногда кое-что из своего «заветного сундука». Решил, к примеру, дом купить – но и тут дал лишь половину «своих» денег, остальные потребовал от нас с мамой. Устраивал пышные свадьбы детям. Машину приобрел. Дорогие места на кладбище покупал. Думаю, что и о моей карьере заботился больше всего по той же причине...

Но хочу быть справедливым: заботился обо мне, был внимательным отцом. С помощью родственников и клиентов не раз помогал устроиться на работу. Расспрашивал, как идут дела. Давал советы, убеждал в том, что главное – создать

свою фирму. Забежит, бывало, в рабочем фартуке, обсыпанный фрезерной стружкой, из своей мастерской в контору Рона, протянет мне листок бумаги: «Валера, вот телефон клиентки – она ищет дом».

Я все это ценил, я был благодарен – словом, отношение мое к отцу было двойственным. Чувство сыновней привязанности и близости то становилось сильным, то вытеснялось обидой, жалостью к матери. Обиды я быстро забывал и, в общем-то, думал, что отец по-своему прав: хочешь встать на ноги, скопить капитал – надо откладывать деньги. Возможно, думал я, отец считает себя как бы банкиром семьи и копит не только для себя. Ведь случись что с мамой, со мной – не оставит же он нас в беде!

Но мама и думала иначе, и чувствовала иное. Маму отец много лет оскорблял и даже унижал. Могло ли это не вызывать обиды, раздражения? Обиды перерастали в неприязнь, неприязнь – в ожесточение, вероятно, даже в ненависть...

Теперь-то я понимаю: деньги были только поводом для ссор. Сын не судья родителям в их супружеских отношениях, но одно могу сказать: мама, как женщина, как жена, была глубоко несчастна. В последние годы она закипала уже при одном только появлении отца. Без всяких поводов могла нагрубить ему, закричать: «морду твою видеть не хочу!» или что-нибудь вроде этого. И отец порой сдерживался, не отвечал – только рот скосит злобно, отвернется. Он знал: жена теперь не боится его, у нее есть защитник – взрослый сын.

Я видел все это, но глубины трагедии не понимал. Во многих, мол, семьях супруги постоянно ссорятся, у бухарских евреев бранчивость – в характере, чуть что – громко поругаются, потом помирятся... Теперь мне больно и горько за маму. Да, это я, взрослый сын, а не она, мама, должен был решиться на поступок, сказать свое слово, встать плечом к плечу с ней. Нельзя жить вместе, чувствуя отвращение! А я надеялся, что все наладится, уговаривал маму: «помиришься».

* * *

Семейные неурядицы у нас издавна принято улаживать «в широком кругу» – то есть с помощью родственников. Вероятно, это традиция очень древняя, возникшая во времена родового строя, когда авторитет главы рода был незыблем и все ему подчинялись. Сохранилась она, возможно, не зря, и бывает полезна – в тех, конечно, случаях, когда обсуждаются проблемы, которые можно решить сообща. Особенно в семьях, где есть человек с большим нравственным авторитетом.

В нашей семье такая личность имелась – дядя Миша. Он был образованным, более того, как полагала семья – интеллигентным человеком, на нем лежала роль судьи и миротворца. Дядя Миша относился к этому серьезно, всегда возглавлял «семейные разборки». А происходили они очень часто. Бабушка Лиза, поссорившись с мамой или с отцом, тут

же созывала своих детей. Однако же я не помню, чтобы это хоть раз помогло улучшить отношения. Помню крики, ругань, бесполезные разговоры... Словом, в нашей семье традиция, хоть и была в чести, результатов не приносила, а как бы составляла пряную, острую добавку к пресной семейной жизни.

Уехав – сначала из Ташкента, потом вообще из страны, мы больше десяти лет не посвящали родственников в свои беды и неурядицы. Потом дядя Миша с семьей, перебравшись в Америку, прожили у нас два месяца – и, действительно, все это время семья жила мирно, царило праздничное настроение. Но родственники переехали на свою квартиру – и все, разумеется, пошло по-прежнему. Да, радость встречи всех нас объединяла и смягчала, помогала «переключиться». Но она не создала и не могла создать новых отношений между мамой и отцом! Она не изменила отцовского нрава.

Вот этого мы с мамой почему-то никак не могли осознать. Когда опять начались ссоры, мы снова кинулись за помощью к дяде Мише. Как же иначе – ведь пока мы жили вместе, он так хорошо влиял на отца!

Но Миша с Робиком приходили, поучали, отец угрюмо их слушал – и оставался прежним... Нет, вернее – вел себя все хуже. А чем хуже становились дела в семье, тем реже и неохотнее появлялись у нас оба дяди.

Теперь я понимаю: мы с мамой возлагали на Мишу совершенно непосильную ношу. Какая «воспитательная бесе-

да» изменит вконец разрушенные отношения мужа с женой? Повлияет на характер сложившегося человека? Ну, какое-то время, пока помнятся речи уважаемого родственника, он постарается сдерживаться, а потом характер снова возьмет свое. Именно так бывало с отцом после вмешательства Миши. Перемирие, если и наступало, было поверхностным и недолгим...

Попробую задать себе вопрос: если бы я, Валерий Юабов, серьезно поссорился с женой или сыном – стал бы я просить кого-то из родственников «воспитать» их? Конечно же, нет! Если мы – близкие люди и друг друга любим, значит, сами можем и должны разобраться в своих отношениях. В чем-то убедить, что-то постараться понять, переосмыслить. А если не можем... Что же, значит, близости нет, пришел семье конец.

Именно это тогда случилось. Вероятно, мы с мамой кричали «караул!» просто потому, что отчаялись, не видели выхода... Вернее, видели: уход отца. Мама не раз это говорила. А я боялся... Или надеялся, что «уходи, Амнун» произнесет дядя Миша?

Но дядя Миша таких слов произносить не хотел. Может, возобладала братская солидарность, желание показать маме, «кто в доме хозяин»? Не знаю, да и зачем теперь в этом копать! Скажу только, что в конце очередной встречи, побранив отца, дядя Миша вдруг заявил: «Амнун, что бы ты ни делал, как бы ни вел себя – дети всегда останутся ближе

к матери. Таков биологический фактор». И, выразив этими «научными» словами мысль, что я к отцу холоден и несправедлив, дядя удалился. А я остался в недоумении и обиде.

Потом произошла у меня с Мишей и Робиком совсем уж нелепая ссора из-за тетки Тамары, их сестры: она тоже приехала в Америку и, как мне сказал Робик, собиралась наводить в нашей семье «порядок». Я возмущился: не хватает только этого! Тамара – совершенно чужой нам человек, да притом и вздорный. Родственники обиделись. Пересказывать дальнейшего не хочу, но думаю, что я по существу был прав. В семейных ссорах почти всегда возникает что-то мелкое, унижающее человеческое достоинство. Долгие годы кипит на дне души, как в котле, злоба, вспоминаешь свои слова, придумываешь новые, раскаиваешься... Эх, лучше бы не было этого!

Так или иначе, с Мишей и Робиком я рассорился. Остались мы снова одни, без «миротворцев».

* * *

... И вот я помогаю маме подняться, мы глядим друг другу в глаза. – «Пусть он уходит, Валера – говорит мне она. – Пусть он уходит!» И в глазах мамы я читаю вопрос: «неужели ты снова простишь отца?»

Сердце мое сжала такая боль за нее, такое чувство вины, что кровь прилила к щекам. Всю ночь я не спал и принял

твердое решение. Сделаю все, чтобы мама получила покой. Да разве только она? Все мы!

Быстрым шагом вошел я утром в мастерскую отца. Стоя у сапожной лапки, он подрезал подошву. Я встал напротив него, возле барьера. Увидев меня, отец замер, воткнув в стол широкий сапожный нож. Минуту-другую мы молчали. Так и не сказав ни слова, я схватил металлический стаканчик с сапожными гвоздями и высыпал их на стол. И снова мы молчим, глядя друг на друга. Потом я повернулся и вышел.

Собственно, это и было концом, хотя предстояло еще немало разговоров, в основном деловых. Отец поставил условие: уйдет, если получит от нас пятьдесят тысяч. В два раза больше, чем дал на покупку дома – ведь цены выросли вдвое. Мы спорить не стали. Оформили в банке заем под залог дома. Оформление заняло два месяца – и отец получил деньги. «Вот и хорошо», – сказал он, пряча чек в бумажник. Я увидел, как заблестели его глаза, какая довольная улыбка появилась на лице – и... Вероятно, это было последней каплей для меня, последним разочарованием. А я-то переживал, думал: какие слова скажет он перед уходом мне, сыну? Может, хоть пожалеет, что все так случилось? Может, предложит, чтобы встречались мы хоть изредка? Ну, хотя бы извинится, что оставляет нас в долгах... Нет, ничего. Кроме радостной улыбки.

Вероятно, именно тогда затихла боль, что отца не будет рядом.

Получив деньги, отец снял квартиру. Когда уходил в последний раз, ни с кем не простился, малышей даже не поцеловал. На ступеньках лестницы, ведущей наверх, в спальне, увидели мы ключи от дома – и поняли, что отец не вернется.

Время от времени мы, конечно же, слышали и слышим о нем. Живет отец, кажется, благополучно, новой семьи у него нет, хоть он и пытался ее создать. Не знаю, как для него, а для меня время все смягчило – прошел гнев, забылось тяжелое напряжение тех дней, разрывавшее мою душу. Но ушли и жалость, привязанность, все добрые чувства к отцу. Ушли, пропали. Когда и как это произошло? Не знаю. Знаю только, что совесть моя перед отцом чиста.

Уход отца как бы завершил целую эпоху в жизни нашей семьи. Долгую, нелегкую эпоху. Время покрыло ее своей дымкой – ведь расстались мы уже шестнадцать лет назад. С тех пор мы прожили, мне кажется, еще одну жизнь. В ней – до болезни мамы – не было черных дней. Потом пришли и они. Но об этой, о новой жизни я постараюсь рассказать попозже.

Глава 52. «Смена-15»

Эти строки я пишу на борту корабля «Золотая принцесса». Корабль большой, пассажиров – около трех тысяч человек, в том числе и моя семья. Недельный круиз по Атлантическому: Багамы – св. Томас, св. Мартин и прочие острова, золотые пляжи, тропические леса. Сейчас мы в открытом океане, уже на пути домой...

Так почему же понадобилось мне именно здесь братья за перо? Сидел бы себе на палубе, грелся на солнышке, глядел бы на волны. Или фотографировал бы океанские просторы... Именно этим я только что занимался. И вдруг – воспоминание, такое яркое, такое счастливое, что заколотилось сердце. Тут я и вытащил из кармана блокнот...

Итак, уточним. Сейчас на дворе декабрь. Декабрь 2003 года (дата вызывает грустные мысли о быстротечности жизни, но упомянуть её необходимо). В это время года мы довольно часто устраиваем себе неделю отдыха, путешествуя в компании с друзьями на корабле. Продлеваем, так сказать, лето. Тепло, красиво. К тому же круиз на корабле чрезвычайно комфортабелен, что тоже очень приятно. Три-четыре прекрасных ресторана – выбирай какой желаешь, великое множество закусовых – некоторые работают круглые сутки. Хочешь есть в каюте – пожалуйста, принесут в любое время... На «Принцессе» к твоим услугам библиотека, детский сад,

театральный зал – каждый день шоу, концерты, кинофильмы. Есть, конечно, и спортивные залы, и несколько бассейнов, и салоны, где тебе сделают массаж, прическу, красивое лицо...

Предусмотрено буквально всё. Каюта наша, например, как и другие, расположенные возле второй палубы, имеет еще и балкончик, чтобы никто перед окном не болтался, не заслонял бы океан.

Да, ничего не скажешь – океан потрясает. До конца своих дней не перестану удивляться ему. Для меня ещё и в том волшебство, что каждую секунду видишь что-то иное. Это и хорошо, и больно. Как писал поэт, «мгновения бегут неудержимо», – и не дано тебе их остановить, налюбоваться! Не дано, но ты упрямо пытаешься хотя бы запечатлеть что-то.

Поэтому со мной путешествует фотоаппарат. Дорогой, хороший. Соответствующий времени и моему тщеславному желанию запечатлеть «художественно».

* * *

Сегодня с утра небо затянуто сплошными облаками, недавно пролился недолгий дождик. Он ушел куда-то к горизонту – и там, вдали, стоит сейчас, объединяя небо с океаном, дымная завеса. А над нами облака посветлели. Они бегут, бегут, бегут по небу слоями, космами, прядями, громоздятся холмами, клубятся, перемешиваются. Тем-

но-серые, молочно-белые, золотистые. Порою просвечивает сквозь них, то совсем чуть-чуть, то ярче желто-белый шар. И как только солнце пробивает в облаках брешь, окошко – из него вылетает столб света, пронизывая пространство от облаков до воды. Это невероятно, немыслимо красиво! Достигнув океана, волшебный луч зажигает его сверкающим, кипящим серебряным блеском. То в одном месте, то в нескольких местах сразу... Мгновение – луч исчез, блеск угасает. Но появляется новый столб – и сверкает океан расплавленным серебром ещё где-то.

«Мгновения бегут неудержимо» – а я стою на своем балкончике, верчу головой направо-налево, двумя руками держу наготове свой фотоаппарат, свой третий глаз. Но не снимаю, жду... Чего? Пожалуй, я и сам не знаю. Известно мне только одно: в какой-то момент я почувствую: вот оно! И... «клик!» Вот так мне удалось сегодня несколько раз поймать волшебный солнечный столб, зажигающий океан. Под конец я как-то особенно удачно его поймал, прищелкнул языком, счастливый, как мальчишка – и тут-то вдруг вспомнил...

* * *

Когда же это было? Летом 1970-го... Боже мой, тридцать три года назад!.. Да – летом, на Черном море, на теплоходе «Иван Франко». Я тогда закончил третий класс, и мы всей семьей отдыхали в Ялте. Поездку на теплоходе вряд ли мож-

но было назвать круизом – она продолжалась всего несколько часов. Но разве в этом дело? Поездка была замечательная, особенно потому, что в руках у меня был фотоаппарат «Смена-15», подаренный отцом. Простенький, с колесиком ручной перемотки – теперь такие называют «мыльницами». Но мне мой первый фотоаппарат казался верхом совершенства. Я мотался по теплоходу и снимал всех и всё, что попало мне на глаза – моряков в их белых бескозырках, палубу, рубку, кафе-ресторан, синие волны за бортом...

Что-то таинственное происходило, когда я нажимал на кнопку. «Клик!» – и я словно вбирал в себя этого моряка, эту палубу, волны. То есть я хочу сказать, что съёмка вовсе не была механическим действием, она делала меня могучим существом, счастливецом, владельцем всего, что было вокруг.

Увы – минут через пятнадцать плёнка закончилась, ведь я щёлкал непрерывно. Поездка сразу потеряла свою прелесть: очень уж хотелось поскорее вернуться на берег и отдать плёнку в лабораторию. Однако меня ожидало большое огорчение: свою первую съёмку я загубил. Оказывается, собираясь сделать новый кадр, я не докручивал колесико ручной перемотки – и из 36 снимков получился только один...

К счастью, первая неудача не охладила меня, я увлёкся фотографией не на шутку. В Крыму я просто не расставался со своей «Сменой». С ручной перемоткой теперь всё было в порядке, я преодолевал новые трудности.

Предположим, я фотографирую родителей возле моря.

Эммка норовит к ним пристроиться, я её отгоняю: «потом, потом, сначала только маму с папой!». И, высматривая родителей в окошечко (Эммку уже не видать), командую: «обнимитесь... улыбка... снимаю!». Но вот снимки напечатаны – и я вижу: сестрица тут как тут! Стоит как ни в чём не бывало неподалёку от родителей, улыбается во весь рот, гораздо веселее, чем они... Выходит, в смотровом окошечке «Смены» я вижу не совсем то, что попадёт в объектив. Значит, снимая, надо делать поправку. Но какую? Можно ли её определить раз навсегда? Влияет ли расстояние на то, что войдёт в кадр?

И я начинаю экспериментировать.

Первый эксперимент производился над театральной афишей. Я потратил на неё чуть ли не целую плёнку. Сделаю снимок – и повторю его, чуть переместив аппарат. Потом отойду на пару метров. Новый снимок – опять всё то же... Результаты исследовательской работы вполне меня удовлетворили. На первом кадре видна была лишь левая часть афиши с началом слова «Бахчиса...», на втором уместился уже целиком «Бахчисарайский», на третьем – вся афиша с названием балета «Бахчисарайский фонтан», на четвёртом появилась и мама, стоящая возле афиши. Оказывается, экспериментировать – это тоже очень интересно, гораздо интереснее, чем просто щёлкать и перематывать плёнку!

Теперь голова моя постоянно была полна новыми замыслами, связанными с фотоискусством. Вряд ли я тогда понимал, что это – искусство, однако увлечен был им, как насто-

ящий художник. Ведь художник живет в каждом ребенке, только не всегда ему дано проявиться...

Как только мы вернулись в Чирчик, я занялся устройством собственной фотолаборатории – как все знакомые мальчишки, которые увлекались фотографией. Ещё бы – среди нас не было таких богачей, чтобы отдавать плёнки в профессиональные лаборатории! К тому же самому проявлять и печатать – увлекательнейшее занятие! В домашнюю лабораторию превращалась по вечерам ванная комната. На доску, положенную поперёк ванны, устанавливались бачки для проявления, корытца для фотобумаги, фотоувеличитель, металлический фонарик с красным стеклом. Им я пользовался я редко – а вдруг засвечу плёнку? Насчет этого я был очень осторожен, всегда укладывал плёнку в бачок, засунув руки под одеяло. А попробуйте-ка на ощупь вставить плёнку, виток за витком, в пазы на круглом дне бачка! Пазы эти спиралью расходятся от центра к краям бачка. Ошибёшься, выскочит где-нибудь плёнка из паза – и намотается сама на себя, слипнется, не обработается проявителем! Уж я-то знал, у меня не раз так случалось... Диву даюсь – как хватало у меня терпения на эту мучительную процедуру. Я бесился после каждой неудачи, но почему-то ни разу не подумал: «всё... Хватит с меня, ну её к чёрту, эту фотографию!». Нет – на завтра, отщелкав новую плёнку, я опять запирался в ванной комнате.

Продолжались и мои эксперименты. Однажды, когда по

телевизору должны были показывать «Трёх мушкетёров», меня осенило: буду снимать то, что на экране! Кадр за кадром! Великолепная идея: отпечатаю снимки, принесу в школу альбом – вот все ахнут! Не просто фотографии любимых героев, а фильм в фотографиях – такого ещё никто не видел!

Как только начался фильм, я уселся поближе к экрану и начал с бешеной быстротой отщёлкивать кадры, вставлять плёнку за плёнкой... Я извёл весь свой запас, штук пять. Хорошо, что родителей не было дома! Но я не думал ни о плёнках, ни о предстоящем разговоре с отцом, я наслаждался. Вот Д'Артаньян прокалывает шпагой кардинальского гвардейца... Клик! Вот четыре друга мчатся куда-то на конях... Клик!

И снова я ощущал что-то необычайное: я и снимал, и сам был в кадре, я был творцом!

Катастрофа обнаружилась уже вечером, как только я проявил первые плёнки, а во всей полноте раскрылась утром, когда они высохли. Все кадры оказались смазанные, размытые, нечёткие. Ещё бы – могла ли моя «Смена» справиться с такой сложной съёмкой! У неё не хватало скорости, чтобы поспеть за движущимся кадром, не раскрывалась, как надо, диафрагма. Я потерпел крах... А тут еще отец, обнаружив утром, что, вместо деревьев, видит чёрную, колышущуюся занавеску плёнок, заслонившую окно веранды, поднял ужасный крик:

– Что ты тут навешал? Это ты столько плёнок истратил за

день? Ты что – ошалел? Не знаешь, сколько стоит плёнка?

Впрочем, пошумев, отец сравнительно быстро успокоился. Очевидно, он даже гордился тем, что его сын, совсем еще ребёнок, серьёзно увлекся фотографией. Время от времени отец рассматривал мои снимки, кое-что хвалил, а два года спустя, во время летних каникул – я тогда закончил пятый класс – он сам предложил мне:

– Хочешь поучиться у настоящего фотографа?

Ещё бы! Я был счастлив.

Фотограф этот – его звали Владимиром – работал на Химкомбинате, на том самом, который окутывал своим ядовитым дымом весь Чирчик. Для чего комбинату нужен был фотограф и занимался ли там Владимир только лишь фотографией – не знаю, на комбинате всё было окружено тайной (хотя всему городу было понятно, что там производят какое-то химическое оружие). Комбинат был настолько засекречен, что я беспокоился: впустят ли меня на его территорию? Но фотограф сумел оформить мне пропуск и я две недели ездил к нему по утрам. В фото студии – она помещалась на втором этаже небольшого домика рядом с заводскими корпусами – проходила только теоретическая часть занятий. Пособиями служили большие фотографии, висевшие на стенах. Подводя меня к одной из них, Владимир рассказывал, какого эффекта он хотел добиться, как обдумывал композицию кадра. И тут же показывал, как осуществлял это. Показывал на своём «Киеве» – это была прекрасная фотокамера, про-

фессиональная, и я замирал от восторга, глядя на все эти кнопочки, рычажки, на объектив со съёмными линзами. А потом начиналась практическая часть урока. Мы выходили из студии, останавливались, как на капитанском мостике, на верхней площадке наружной лестницы. Отсюда хорошо просматривалось большое пространство перед цехами. Снова-ли взад-вперед рабочие, подъезжали машины с каким-то начальством.

– Гляди-ка... Хороший кадр может получиться! – Владимир указывает на рабочего, толкающего тяжело нагружённую тележку. – Ну-ка, попробуй... Сначала моим. – И он вручает мне свой драгоценный «Киев».

Рабочий довольно далеко, но объектив сразу приближает его ко мне.

– Как будешь снимать? – спрашивает Владимир. Поместишь фигуру в центре снимка – виднее будет, как он пригнулся, напрягся, как ему тяжело... Ближе к краю – другой эффект, другое соотношение тележки и фигуры. Откроешь диафрагму полностью, вокруг всё будет расплывчато. Прикроешь – усилишь резкость.

Я чуть-чуть перемещаю аппарат туда-сюда, я кажусь себе волшебником, который собирается заколдовать этого рабочего. Потом делаю два снимка...

Лет пять спустя, когда я заканчивал школу, появились у меня и другие учителя. С этим связана целая история, имеющая, в общем-то, мало отношения к фотографии, но занявшая в моей жизни достаточно важное место.

К этому времени стал профессиональным фотографом мой друг Эдик Мушеев: после восьмого класса он пошёл учиться на курсы фотографии и теперь работал помощником фотографа в большом ателье рядом с кинотеатром «Октябрь». Я заглядывал туда частенько: повидаться с Эдиком, подсунуть ему пару пленок, чтоб проявил и напечатал, да и вообще мне нравилось это ателье. На мой тогдашний вкус оно выглядело шикарно. В первой комнате висели большие фотографии. Тут были и семьи во главе со старцами, и женихи с невестами, и лупоглазые голенькие малыши с пухлыми ручками, но главным образом красивые девушки. Во второй комнате была студия, хорошо оборудованная – с экранами, подсветками и прочими приспособлениями, а в третьей – отличная фотолаборатория, вызывавшая у меня особую зависть.

Хозяином всего этого великолепия был молодой татарин по имени Искен, уса́тый парень, веселый и чрезвычайно легкомысленный. К нам с Эдиком он относился, как к ровесникам, хотя был старше лет на десять, и вскоре мы стали прия-

телями. Добродушный Искен охотно посвящал нас в секреты мастерства, делился с нами обедами, а также маленькими тайнами и радостями своей холостяцкой жизни. Что радостей хватало, мы понимали и без его рассказов. Достаточно было посмотреть – а я это видел часто – как он фотографирует хорошеньких девушек.

Не стану отрицать: Искен был неплохим мастером, фотографии у него получались с глубиной, в мягких тонах, достаточно чёткие. Искен, как сам он говаривал, умел выдерживать световой баланс. Одно меня только удивляет: как удавалось ему с этим справляться, занимаясь одновременно охмурением клиенток. Мне, например, казалось, что он занят только охмурением и что именно в этом деле проявляет большое мастерство. Пожалуй, даже талант.

Сижу в темном уголке студии и наблюдаю. Искен уже усадил очередную жертву на стул перед аппаратом, поправил ей, прошептав «извиняюсь...», воротничок, волосы возле ушка, отступил на пару шагов – и, склонив голову, молча её разглядывает. Жертва подёргивает плечиками – очевидно, взгляд действует... Тут Искен подходит таким крадущимся шагом и слегка приподнимает ей подбородок... Нежно, мее-едленно... Отходит – и, скрестив руки, снова долго разглядывает. До меня доносится шёпот: «как вы фотогеничны... Просто удивительно!» Он улыбается – но как! И по взгляду этого удава – а я сижу так, что вижу его лицо – мне понятно: жертва уже загипнотизирована!

Первый этап охоты на этом заканчивался. Второй наступал через несколько дней, когда жертва приходила за снимками. Они вручались ей с соответствующими комплиментами. Держа фотографию в вытянутой руке, Искен поглядывал то на нее, то на девушку (которую он при этом деликатно обнимал, чтобы повернуть к себе лицом) и говорил вкрадчивым голосом: «оторваться невозможно! Что за личико, а? Не-ет, одну я беру себе! На витрину... Хотите быть у меня на витрине, а-а?» Жертва краснела... Или хихикала, или кокетливо хохотала и говорила: «ах, зачем?» Всякое бывало, ведь у Искена то и дело появлялись новые клиентки, среди которых попадалось немало любительниц таких вот приключений. Что происходило несколькими днями позже, догадаться было нетрудно. Да я не раз слышал приглушенный голос Искена: «когда увидимся? Завтра? Жду...» Порой, забежав в ателье под вечер, я находил дверь закрытой. У меня хватало ума не стучаться.

Искен считал, что нам с Эдиком давно пора приобщиться к таким же развлечениям, в разговорах и островах на эту тему он был просто неистощим. Мы отшучивались, но в глубине души думали: «а почему бы и нет?» Меня, например, эти разговорчики очень возбуждали. Прежде мои мечты о физической близости, порой мучительно-острые, чаще всего связаны были с влюбленностью. Лариса... Потом Ильгиза... Потом Наташа... Знакомство с Искеном придало этим желаниям откровенно физиологический, не прикрытый ро-

мантикой, характер.

Однажды летним вечером, когда мы с Искеном были вдвоем в ателье, появились две молоденькие женщины. Красивые, веселые. Они зашли за своими фотографиями. Искен встретил их, как старых знакомых. Начались восторги по поводу качества снимков, шуточки о том, что будет, когда они появятся на витрине, похлопывание по щечкам и другие вольные жесты... Я начал было прощаться, но Искен схватил меня за руку.

– Ты что, дорогой? Не пушу, даже не думай! Вот, барышни, познакомьтесь – мой юный друг Валера.

Барышни заулыбались. Одну из них звали Таня, как дружую – не помню.

– Родилась идея, – сказал Искен. – Успешную съемку, а также новое знакомство необходимо отметить... Валера и Таня, за вином! Держите деньги...

И мы отправились в магазин. Шли не спеша, ведь оба понимали, что отослали нас вовсе не ради вина. Таня всю дорогу весело болтала, рассказала, что замужем, что у неё ребенок, намекнула, что с мужем не в ладах. «Ещё бы, – подумал я. Если она и с другими парнями так... У меня-то от её взглядов сердце ёкало. Что же будет? – повторял я про себя. – Что же дальше будет?» Но я понимал, что будет.

Вернувшись, мы застали нашу парочку в разнеженном состоянии, оба были очень веселы и уже ничего не скрывали. Мы быстро распили бутылку вина, и Искен словно добрый

папаша обнял нас с Татьяной за плечи.

– Не пойти ли вам в студию? Найдете о чём поговорить, а?

Он довел нас до двери, бормоча мне на ухо какую-то чушь, задвинул тяжелый, темный занавес и исчез.

В студии было темно. Засмеявшись, Татьяна обняла меня, мы оказались в кресле. Потом – на полу. Почему-то я был довольно спокоен. Совсем неопытен, конечно, но опыта Татьяны вполне хватало на двоих. Она прижалась ко мне своим упругим телом, её жаркое дыхание обжигало то моё лицо, то шею, то грудь. Мне стало очень хорошо.

* * *

Татьяну я с тех пор ни разу не видел: подружки в салон не заходили, а я не пытался её найти. Не потому, что стыдился этой первой близости. Просто она случилась без всякого чувства к Татьяне. Я и не думал о том, **кто** меня обнимает. Нет, – я впервые познал **Женщину**. Плохо ли, что это произошло именно так? Не знаю. Конечно, лучше бы я был по-настоящему влюблен, но случилось иначе: я получил то, чего жадно требовала плоть. И никогда я не вспоминал об этой встрече, как о чем-то грязном.

Впрочем, Искен еще долго отпускал соленые шуточки по поводу нашего общего приключения и вовремя подвернувшихся подружек. Я весело смеялся вместе с ним – шуточки Искена подтверждали, что я уже взрослый парень, а мне

правилось чувствовать себя взрослым... К счастью, это заблуждение не мешало мне превращаться в Робинзона Крузо и вообще оставаться прежним подростком-мечтателем.

* * *

Почти до самого отъезда из Советского Союза длилось мое увлечение фотографией. Начались уже сборы, я складывал свои любимые книги и альбомы. Хотел, конечно, взять и пленки, но тут кто-то мне сказал, что негативы вывозить не разрешается. Я ужасно расстроился: ни одного снимочка, значит, никогда уже не удастся перепечатать! Побежал к Эдику, огорчил и его – Мушеевы тоже готовились к отъезду. Решили хотя бы размножить несколько самых удачных снимков. Печатать снова пришлось в ванной комнате – Эдик уже не работал у Искена...

Я почему-то с удивительной ясностью помню эти минуты: в ванночке с проявителем начинает медленно возникать на белом листке снимок. Кудрявый паренёк сидит на корточках рядом с немецкой овчаркой. Помню, как щемило у меня сердце: Тайшета я больше никогда не увижу. Хорошо хоть снимок остался, где мы вдвоем.

– Это твой лучший снимок, Эдик, – говорю я. – Память на всю жизнь... Напечатаем побольше, разошлю всем друзьям!

Довольный Эдик хмыкает:

– М-да-а, снимок неплохой. А пёс просто классный...

Мы замолчали и долго глядели на снимок сквозь толщу воды.

* * *

Я встряхнул головой. Мне показалось вдруг, что я увидел этот снимок сквозь толщу океана. Немудрено, что я помню его в деталях – ведь снимок и сейчас стоит у меня дома на одной из полок. Но вот сценку ту далекую я вспомнил в первый раз!

И, вертя в руках свою дорогую камеру, я с грустью подумал, что никогда она не давала мне столько радости, сколько простенькая «Смена-15» и колдовство над проявителем в темной ванной комнате.

Конечно, радости детства неповторимы. Но ведь это увлечение могло бы сохраниться и даже вырасти, «повзрослеть» вместе со мной, сделать мою жизнь богаче. Не потому ли оно пропало, что я стал в Америке очень уж деловым человеком? Всё чем-то занят, куда-то тороплюсь, постоянно в напряжении. Однако же я изездил чуть ли не всю Америку, сделал множество снимков в разных городах и странах. И снимал вроде с удовольствием – но исчезло ощущение счастья, чуда. Оно превратилось в обычное хобби, в развлечение для отпуска и выходного дня... А могло и остаться. Ведь вернулось же оно сегодня – вместе с лучом солнца на океане.

Глава 53. Я становлюсь фермером

«Значит, так: улыбка, поклон... – Здравствуйте, мистер Хэссельбаум! Меня зовут... Стоп, довольно же трусить! Вперед!» – И, шагнув к двери, я громко постучал. Какое-то время в доме было тихо, я слышал только гулкие толчки собственного сердца. Наконец, послышались шаги. Дверь приоткрылась, высунулась бородастая голова в кипе, потом показался и ее владелец в спортивных штанах.

– Вам кого? – раздраженно спросил он. – Кто вы такой?

– Здравствуйте, мистер Хэссельбаум! Меня зовут Валэри, – сообщил я, широко улыбаясь. – Я представитель компании «Саммит»... – Тут мужчина в кипе прервал меня.

– Вы что же, не знаете, что сегодня суббота? – И он со злобой оглядел меня с головы до ног. – А ведь, похоже, еврей?

Суббота... Я чуть не охнул вслух. Как же я мог забыть?

– Ох, простите! – забормотал я. – Да, да, конечно, суббота!.. Загляну завтра. А сейчас... – Я выхватил из портфеля брошюру и протянул ему. – Интересная литература о нашем районе. Прошу вас, почитайте...

– В субботу?! – Нет, нет! – И, отмахнувшись обеими руками, словно я хотел его запачкать, мистер Хэссельбаум хлопнул дверь перед моим носом.

«Как я не вспомнил, что сегодня суббота? Вот балда!» – ругал я себя, отходя от негостеприимного дома.

Да – не очень-то удачно начался первый день моего «фермерства»...

* * *

В Америке хождение из дома в дом, чтобы найти клиента, продающего жилье, и вообще, чтобы предложить какой-то товар – получило довольно остроумное название: farming, фермерство. То есть все те, кого ты посещаешь, регулярно и систематически, составляют как бы твою «ферму». Ты постепенно налаживаешь с ними прочные отношения, не даешь забывать о себе. Ты словно пасешь, как овец, людей, живущих в твоём районе. На твоей «ферме»...

Однако же мы с Дэвидом, создав в 1987 году небольшую фирму по продаже недвижимости, очень скоро дошли до фермерства. И сделали большую ошибку.

Свою фирму мы без ложной скромности назвали «Саммит». То есть наибольшее достижение, вершина. Назвали вершиной, а на деле долго топтались у подножья.

Поиски клиентов – дело мучительно трудное. Особенно же поначалу, когда фирма никому не известна. К тому же и находится не на виду, не на людной улице, а в подвале жилого дома... Мы с Дэвидом трудились с утра до вечера. Мы рассылали по всему району письма, сотни писем. Попадали они, очевидно, в мусорные корзины. Мы не пропускали в газетах ни одного объявления: «Продается дом»... Прочтешь

– и сразу же к хозяину. Представишься, предложишь услуги. Стараешься при этом «показать себя» – блеснуть пониманием разных тонкостей дела, посоветовать, как получить при продаже прибыль побольше.

Еще пять лет назад на семинаре Тома Хопкинса обучался я искусству разговаривать с клиентами. Том был блестящим лектором. Мастер практических приемов работы, он, рассказывая о них, воспитывал своих слушателей и профессионально, и психологически. Мне кажется, я многое от него воспринял. Я замечал, что собеседники слушали меня с интересом, порой даже благодарили за советы. Но результаты моей деятельности все равно были ничтожными. За два месяца побывал я у двадцати пяти домовладельцев, а получил на продажу всего один дом!

Пытались мы использовать специальные бюллетени о купле и продаже недвижимости, чтобы присоединяться к чужим сделкам. Прочтем, например, что какой-то брокер занимается продажей дома или квартиры – и тут же подключаемся: даем в газету объявление. Такое, например: «В районе Фреш Медоуз продается дом – кирпичный, стоящий отдельно, с тремя спальнями и тремя туалетами. Поблизости хорошие школы»... Этот способ был успешнее, но большая часть оплаты доставалась брокеру, непосредственно связанному с клиентом.

Так почему же мы не занимались фармингом? Ведь и Дэвид испробовал его на прежней работе, в «Металлиусе», и я

слышал от Хопкинса, что именно на ферме образуется широкий круг людей, которые могут стать твоими клиентами. Пусть не сегодня, пусть через месяц, через год... Но у каждого из нас находились свои причины для отказа от фермерства. Дэвид решительно заявлял, что и так занят с утра до вечера. На самом же деле такая работа была ему совершенно не по характеру, не мог он себя к ней принудить. А я не скрывал, что трушу. Отчаянно трушу! Одно дело – посещать тех, кто сам объявил о продаже дома: они брокеров ждут. Но являться к незнакомым людям, которые о продажах и покупках вовсе не думают, предлагать им свое участие в многотысячном финансовом деле... При одной мысли об этом у меня дух замирал. «Да я только рот раскрою, а меня выставят за дверь! Как выставляют жуликов и попрошаек», – говорил я Дэвиду. Он посмеивался: «Брось, Валера, ты не похож на жулика! И попрошайки разные бывают, все зависит от манер. Вспомни, с каким достоинством Киса Воробьянинов просил: подайте на пропитание бывшему деятелю Государственной Думы! Вот и бери с него пример». Но мне никак не удавалось вообразить себя в роли Кисы Воробьянинова. Возможно, потому, что никогда я не был предводителем дворянства или хотя бы дворянином...

Так мы откладывали и откладывали фарминг. Я и вовсе позабыл о нем, когда начались семейные беды. Мамина болезнь вытеснила все остальное... Но вот дни отчаяния сменились днями надежды, таиб Мухитдин Умаров обещал

продлить жизнь мамы. Она вернулась из Узбекистана повеселевшей, окрепшей. А во мне от радости так и бурлила жажда деятельности. С новым жаром кинулся я в бизнес – и тут уж сам себе приказал: берись-ка за фарминг!

Начал я с того, что определил на Кью-Гарденс-Хилс свой рабочий участок и сделал список домовладельцев. В толстой зеленой тетради – в нее можно было вставлять листы – пришлось исписать много страниц: в списке оказались 1200 будущих «овечек». «Ну, ничего, – думал я. – Если обходить в день 50 домов, познакомлюсь со всеми за месяц-полтора». И, «препоясав чресла» – то есть накинув на плечо ремень тяжелого портфеля с тетрадью и разными брошюрами, вышел я однажды утром из своей машины на 77-й роуд. Вышел, забыв, что утро – субботнее...

«Вот как вредно еврею не соблюдать обычаев, – посмеивался я. За это Бог меня и наказал!» Однако же я и тогда не считал, и сейчас не считаю нашего Создателя таким мелочным. К тому же сердитый мистер Хэссельбаум меня не очень-то напугал. Может быть, благодаря этой комической сценке я вдруг почувствовал, что фарминг вовсе не так страшен. Я даже решил, несмотря на субботу, продолжить обход. Ведь не только же евреи здесь живут! Буду высматривать дома, где люди чем-то заняты в своих садиках, а значит, не соблюдают субботних правил.

Действительно, нашлись и такие. Миссис Вергара говорила со мной приветливо, слушала внимательно, с интересом

полистала брошюрку «История Кью-Гарденс Хилс».

– Не спешите, отдохните в садике, – предложила она. – Духота, жара, а вы ходите да ходите...

Августовское утро и на самом деле было таким знойным и душным, что я взмок, таскаясь со своим тяжелым портфелем.

– Миссис Вергара, – пошутил я, – если надумаете продавать дом, какого брокера выберете? Такого, как я, или того, кто появляется только в приятную погоду? (По-английски это звучало так: «Any-Weather-Broker or Only-Nice-Weather-Broker?»)

Мы оба посмеялись и простились очень тепло. Хоть миссис Вергара и не продавала дом, она явно становилась моей «овечкой», возможным клиентом.

Как мало надо человеку, чтоб изменилось настроение! Приятная встреча, пара шуток – и вот уже ты весел, не чувствуешь усталости, веришь в свои силы. И портфель не кажется тяжелым, и рука не дрожит, когда стучишься в дверь...

Да – но зачем же я стучался, хотя на каждой двери имелся звонок? Этому тоже научил Том Хопкинс. «Психологическое воздействие, – объяснял он. – Все звонят в дверь – это привычно. И вдруг кто-то стучит... Что-то необычное, правда? Пробуждает внимание. Ты еще не вошел, а хозяин уже полон любопытства. И это любопытство, интерес он, конечно, переносит на тебя, вошедшего. Постучав, ты тем самым сделал себя личностью необычной. Стучи, да еще и посви-

स्थ्यай – это поддерживает уверенность в себе»... .

Хочу снова напомнить, что, вернувшись с семинара Тома Хопкинса, я каждый день, словно заповеди, перечитывал его наставления – как выработать в себе качества, необходимые риелтору. Конечно, я был тогда молодым, восторженным – но и сейчас не стыжусь этого. Очевидно, я таков: мне просто необходим Учитель с большой буквы. Человек, которым я восхищаюсь, ставлю выше себя, стремлюсь следовать его примеру. Мне это помогает жить. А скептикам скажу: это свойство поддерживает интерес к людям.

Из наставлений Хопкинса я не выполнял только одно – фарминг. И как же был доволен, что занялся им наконец! Вот только постукивание не очень-то мне помогало. Трусливых людей оно, пожалуй, отпугивало. Постучался я, например, к миссис Перл. Она отодвинула чуть-чуть занавеску, поглядела на меня в окно – да так и не открыла, хоть стучал я снова и снова... Ну и ладно. Открыв список, я сделал пометку возле фамилии миссис Перл: «МС ДНО». То есть «миссис дверь не открыла». Такие сокращенные заметки о моих «овечках» ставил я возле каждой фамилии в списке. Постепенно я придумал множество сокращений и возле некоторых даже рисовал смешные мордочки. «Фарминг выдерживают лишь те, кто не принимают неудачи всерьез», – объяснял нам Том Хопкинс. Он все время повторял: воспитывайте в себе стойкость, терпение, глядите в лицо трудностям, не теряя чувства юмора...

В тот первый день я, конечно, не совершил ни одной сделки, но многие из тех, кого я посетил, запомнились мне именно потому, что были первыми. Среди них и чудаковатый мистер Генри Блок, который слушал меня вроде бы внимательно, кивал головой, а, когда я замолк, сказал: «Знаешь, приятель, у меня беда: я лишился сна. Вот уже несколько лет мучаюсь. Что посоветуешь?» Запомнилась и миссис Адельхайт, свирепая, как ведьма. Я только успел сообщить ей, чем занимаюсь, и протянул брошюру, как лицо ее перекошилось от злобы. «Чтоб духу твоего здесь не было!» – завизжала она. Разорвала брошюру, бросила в мусорный ящик и с треском захлопнула дверь... Было обидно, конечно. Но я пытался и ее понять: сколько всяких обманщиков и шарлатанов ходит из двери в дверь, предлагая свои услуги или навязывая плохой товар! Я вздохнул, вытащил из портфеля свою тетрадь и рядом с фамилией миссис Адельхайт: написал «НД» – недружелюбна.

... Тетрадь моя, тетрадь, зеленая тетрадь! Я, конечно, храню ее, ведь это часть моей жизни, моего прошлого. По виду она напоминает старый молитвенник деда Есхаима. Страницы ее пожелтели от времени, они потерты, помяты, пятнисты – на них капал дождь и падали снежинки. Но и это мне дорого. Стоит мне заглянуть в тетрадь – в ней оживает каждая строчка. Прочтешь адрес, фамилию – и вот перед тобой дом, лицо хозяина или хозяйки... Порой мелькает, кадр за кадром, целый фильм о жизни разных людей, разных семей –

ведь за семь лет фермерства я обстучал каждую дверь много десятков раз.

По субботам я своих «овечек», разумеется, больше не посещал... Кстати сказать, однажды, проходя мимо дома мистера Хэссельбаума, я увидел, как он шмыгнул в дверь со свежей газетой в руках... Было это субботним утром. Очень хотелось его окликнуть и поздороваться! Но я удержался.

Первые сдвиги я почувствовал примерно после трех обходов «фермы». Меня узнавали, мне улыбались, я становился... ну, если не «своим», то привычным посетителем. Правда, некая пожилая дама, миссис Виннер, увидев меня на крыльце, каждый раз принималась вопить на всю улицу. «Опять явился! Я же просила не приходить! Захочу дом продать, так моя подруга этим занимается!». А я весело улыбался, желал ей здоровья, и думал: «мало ли, что ты говоришь сегодня. Посмотрим, что завтра будет. Поглядим, что твоя подруга сможет сделать». Миссис Виннер, кстати, совсем не раздражала меня, а смешила: уж очень она напоминала разгневанную бабушку Лизу! И голова обмотана платком, и поза такая же: расставит ноги, одна рука – в бок, другой, поднятой, трясет.

Но таких, как миссис Адельхайд или она, были единицы. Многие жители «фермы» встречали меня все более дружелюбно. «Валэри, привет, опять ты?! Ну, что нового?» И тут я стал призадумываться.

«Что нового»... А о чем я мог рассказать людям? Только

о домах, выставленных в Квинсе на продажу. Сообщать моим «овечкам»: «Поблизости продается дом, не пожелает ли кто-нибудь из ваших знакомых купить его?» Ну, и тому подобное. Но сколько же можно говорить об одном и том же? Я мучительно придумывал темы для разговоров, с каждым днем понимая все яснее: мой успех зависит от того, насколько я сам интересен людям! А для этого мне не хватает общих с ними проблем...

Есть шутливая русская поговорка: «Хорошая мысль приходит опосля». Ко мне эта «мысль» пришла лишь года через полтора: не вступить ли мне в общество местных домовладельцев? Я вступил. И сразу же оказался в гуще всех проблем Кью-Гарденс-Хилс, больших и маленьких! Общество активно занималось благоустройством района, добивалось увеличения коммунальных услуг, которые город может оказывать жителям. Когда выяснилось, что я чуть ли не ежедневно встречаюсь с десятками людей – то есть могу приносить и свежую информацию, и реальную пользу – меня даже избрали в группу правления.

Президент общественной организации Патрисия Долан, пожилая, но очень энергичная дама, обрадовалась, узнав, что я говорю по-русски, да к тому же – выходец из Азии. «Прекрасно! – воскликнула она. – Тут немало ваших соотечественников, многие из них не знают английского. Особенно женщины. А ведь с ними вам придется особенно часто разговаривать». И тут же дала мне первое поручение: доби-

ваться, чтобы газончики возле домов были красивыми и ухоженными.

Да, действительно, теперь мне было о чем поговорить с «овечками!» Правда, уговоры заниматься газончиками многих женщин раздражали («вот еще, у меня и без того дел невпроворот!») – но я старался говорить шутливо, в одних беседах пробуждал тщеславие, в других – интерес к садоводству, в ком-то – дух соревнования. И – действовало!

Другое поручение было посложнее, хотя поначалу оно показалось мне смешным. Дело в том, что во многих домах, где теперь поселились бухарские евреи, балкончики были увешены бельем – и выглядело это... Словом, я вспоминал Азию, Ташкент, старый двор своего деда... Впрочем, слышал я, что даже в Венеции через каналы протянуты веревки, на которых сушится белье. Так что не будем слишком строги к нашим бабушкам, которым Квинс казался родной махаллей или кишлаком. Я пытался им объяснить, что это некрасиво, что американцы над ними смеются. Они яростно со мной спорили – мол, сушить белье гораздо полезнее на солнце. Оно тогда становится более свежим чем то, что сохнет в машине. А кому это мешает? Слава богу, не рванье какое-то висит, а нижнее белье сыночка (внука, мужа)! И какое американцем дело до того, где мы белье вешаем? Сами-то они хороши – землю травой засаживают, а фруктовые деревья не выращивают!

Ох, сколько времени потратил я на эти споры! Но убедить

мне удавалось, да и то нечасто, только женщин помоложе – тем, кто любит красивую одежду, понятнее, что такое эстетика.

Кроме этих мелких постоянных дел появлялись и другие поручения. Одно из них было вызвано трагическим происшествием: бандиты напали возле дома на старую женщину, миссис Хофберг, ограбили ее, да еще и ударили. Бедная старушка упала и так расшиблась, что скончалась в больнице. Общественная организация потребовала от районных властей, чтобы наши улицы в вечерние часы патрулировала полиция. Составили петицию – и члены группы правления ходили с ней по домам, собирали подписи жителей. Я не ожидал, что разговоры о случившейся беде так сблизят меня с людьми. Стоило мне достать из портфеля петицию и начать рассказывать о миссис Хофберг, как раздавались возгласы: «Какой ужас! Почти возле дома! А где же полиция?» Потом начинались разговоры о других происшествиях, которыми полна жизнь Нью-Йорка... Американцы вообще-то народ не очень доверчивый, подпись на бумаге просто так не поставят, сначала каждое словечко перечтут. А мне удалось собрать 400 с лишним подписей – больше, чем собрали все остальные члены правления! Так что петиция эта стала одновременно манифестом доверия ко мне. Но другого, всеми желаемого результата – патруля полиции – мы, к сожалению, не добились. Пришлось жителям создать собственный патруль добровольцев-дружинников.

За этой петицией последовали еще три: в одной шла речь о часах работы местной библиотеки, другая требовала запретить строительство общежития для студентов колледжа, третья – изменить авиатрафик: уж очень донимал всех грохот самолетов, взлетающих и приземляющихся на аэродроме LaGuardia, который расположен довольно близко от нас.

Уж теперь-то я не мог пожаловаться, что мне не о чем беседовать! Постепенно получилось так, что бизнес как бы отошел на задний план. Я приходил к своим «овечкам», чтобы попросить об участии в общих делах. Они с огромным интересом слушали, чем мы занимаемся, как хотим улучшить их жизнь. Встретились, поговорили, узнали друг друга чуть-чуть поближе – вот и прекрасно! А о продаже домов говорилось между прочим. Круг моих собеседников все ширился... Кстати, не так давно я прочитал, что знаменитый нефтяной магнат Онасис залогом своего успеха считал широкий круг знакомств. Где бы он с кем ни повстречался, тут же телефон нового знакомого попадал в его записную книжку – представляю, какой она была толщины! Онасис утверждал: рано или поздно все эти люди непременно становятся ему так или иначе нужны... Тоже своеобразное фермерство – хоть и не приходилось Онасису обивать пороги и стучать в чужие двери.

Первый дом мне удалось продать примерно через полгода. Принадлежал он супругам Хассон. Первая удача, первая победа – большое событие. Не удивительно, что я на всю жизнь запомнил и этот дом, и его владельцев. Запомнил и потому, что Хассоны были людьми на редкость общительными, добрыми. Они и внешне были привлекательны. При взгляде на Бетти не верилось, что у этой стройной дамы – шестеро взрослых детей, внуки. Ральф, бывший пловец, тоже был молжав и подтянут. Посидев у Хассонов часок, ты поражался тому, как крепки связи между ними, родителями, и их многочисленными детьми, жившими самостоятельно. Телефонные звонки раздавались один за другим. «О, опять кто-то из детей, – смеясь, объясняла Бетти. – Мы друг без друга не можем...» Это радовало. Я хорошо знал, что многие американцы пенсионного возраста, даже имеющие детей, очень одиноки, что потомки их, обзаведясь семьями и разъехавшись по другим штатам, редко вспоминают старых родителей.

Когда я познакомился с Хассонами, они уже продавали свой дом. Я увидел объявление на столбе возле крыльца – и все же зашел, спросил, как идут дела с продажей. «Плохо, – пожаловалась мне Бетти. – Объявление висит, а покупателей нет. – И тут же предложила: – Может, у тебя найдутся? Заходи, погляди сам...» Это был хороший дом – кирпичный,

с большими окнами. Я взялся за дело и, хоть не сразу, нашел покупателей. Муж и жена Доматовы, люди милые и простые, были совсем не богаты: она не работала, он присматривал за престарелыми. Дом очень им понравился. Воскресным утром я привел их к Хассонам для оформления сделки. Переговоры велись не напрямую, а через меня – так уж принято. Поэтому, усадив Юлю и Изю внизу, я помчался наверх. Бетти и Ральф чаевничали на кухне. Я обрадовался: есть у нас примета, что сделки хорошо совершаются именно за кухонным столом. Хозяева просили за дом двести тысяч долларов, покупатели давали сто восемьдесят три. Зная доброту Хассонов я начал расхваливать Доматовых – мол, помогите им, пойдите навстречу. Хассоны повздыхали и сбавили пять тысяч. Я бросился вниз, к Доматовым. «Видите, какие они славные люди – сбавили! Добавьте пять тысяч – и дом ваш!» Доматовы повздыхали – и добавили три. Я – наверх. «Видите, как они хотят купить... Сбавьте!» Хассоны повздыхали, сбавили... Словом, побегал я вверх-вниз, и сделку удалось завершить.

Первая удача! Я ликовал, я жаждал новых побед. Как они близки, я и представить себе не мог.

Забегаю навестить Хассонов перед их отъездом, и слышу: «Зайди-ка, Валэри, к миссис Шварц. Она хочет дом продавать, мы рекомендовали тебя»... – «Миссис Шварц? Ваша соседка? – ахнул я. – И она тоже?..» – «Да», – вздохнула Бетти. И почему-то смутилась. Тут я кое-что припомнил...

Зашел я как-то к миссис Шенкер. Обычно приветливая, она на этот раз была чем-то раздражена. Кивнула на соседний дом: «Скажи-ка, Валэри, не твои ли земляки сюда переехали?» Я сразу понял, в чем дело: балкончик был завешан бельем явно советского производства. Ох, опять это белье! Но если бы только оно... Встретила меня жалобами и другая дама: «видишь тот палисадник? Устроили там мусорную свалку, как не стыдно! А их мальчишка деревья на улице ломает! Не веришь – погляди сам!» Я обещал поглядеть, разобраться, поговорить. На душе у меня было не весело – я знал, что владелец этого дома – тоже мой земляк, и что не скоро его семья «впишется» в американский быт.

В нашем районе обитают люди сравнительно бедные. Дома на 77-й авеню, впрочем, как и на соседних улицах, тянутся непрерывной кирпичной лентой, стена к стене. Владельцы домов живут в непосредственной близости друг к другу. И это не всегда приятно. Особенно если появляются соседи, которые нарушают привычный уклад жизни. А моих соплеменников становится все больше и больше. Значит, будет расти и число недовольных «коренных» жителей. Как это скажется на моей работе, на отношениях с «овечками»?

Но оказалось, что именно недовольство «коренных» пошло мне на пользу. Переселяться решили многие. Скажу коротко: Хассоны, продав свой дом, рекомендовали меня миссис Шварц. Она осталась довольна моей помощью и порекомендовала меня соседям, Гольдбергам. Затем объявля-

ние «На продажу. Звоните Валерию Юабову» появилось рядом, возле дома Пирсона, затем – у домов Кеблика, Бергмана... Один за другим, продал я шесть домов, стоящих рядом на 77-й Авеню!

«Такого не бывает! – хохотал Дэвид. – Может, это тебе приснилось? Удачно попрошайничаешь, прямо как Воробьянинов!» – «Ага – завидуешь? Так становись сам “фермером”!» – «Да я и так еле управляюсь», – отмахивался Дэвид.

Он не лукавил. К тому времени, как я принялся за фермерство, компания наша немного окрепла. Мы позволили себе переехать из моего подвала – купили одноэтажный домик в Вудсайте, северной части Квинса. Далековато от наших краев, от Кью-Гарденс-Хилс. Но Дэвид настоял на этом. «Конечно, – говорил он, – здесь теперь все больше «своих», бухарских евреев. С ними вроде удобнее, легче работать. Но это только так кажется. Евреи – народ упрямый, недоверчивый, подозрительный. И заметь: чем еврей примитивнее, чем менее культурен, тем больше уверен, что «знает все»... Вспомни-ка, многие ли из твоих клиентов прислушиваются к советам? Нет – сразу же тебя начинают учить... Вудсайд – иное дело: там сперва ирландцев было много, потом их потеснили китайцы, корейцы, филиппинцы. Да и латинов стало порядочно. Среди такой разношерстной публики легче вести бизнес. Они проще, они более открыты, доверчивы».

Дэвид – аналитик. Он всегда полон новых идей, умеет их обдумать, обосновать, доказать практический смысл. Вот и

на этот раз он убедил меня.

Домик в Вудсайте мы купили довольно ветхий, пришлось его ремонтировать, расширять. Этим очень энергично занимался Дэвид. «Доводил до ума», как он выражался. Сколько раз я заставлял его в офисе с метром в руках – что-то он измерял, потом вычерчивал на листе бумаги. Или захожу утром – а Дэвид с сигаретой в зубах уже за письменным столом, на котором дымится чашечка кофе. «Привет, привет! У тебя найдется пара минут? Есть одна мысль»... – «Ох, снова мысль! А как насчет затрат?» – «Ничего, ничего! Надо расти!»

По мере того, как мы росли, увеличивалось и число агентов нашей фирмы. К сожалению, среди них почти не было людей с профессиональной подготовкой. Какой адский труд обучать их – в двух словах не расскажешь. Дэвид и в этом деятельно участвовал. А тут еще ведение и оплата счетов, налоговые ведомости, реклама и снова реклама...

Да, мой партнер был действительно очень занят. Но думаю, что занятие фермерством ему и по характеру не подходило. День за днем стучать в чужие двери, спокойно переносить неприязнь, а порой и унижения... Не случайно же не более одного процента риелторов избирает такой путь!

Я вовсе не восхваляю себя. Многих достоинств Дэвида нет или почти нет у меня. Однако же и я кое-чего добился на своей ферме в Кью-Гарденс-Хилс. После небывалой удачи с шестью домами меня стали считать человеком, которо-

му можно доверять. Ежегодно я продавал по 15–20 домов. На одной лишь 77-й авеню продал больше сорока. А всего за восемь лет работы на «ферме» примерно 130. Так что опасения Дэвида не совсем оправдались: взяв на продажу очередной дом, я, как правило, находил покупателей среди «своих». Для многих соплеменников я как бы осуществлял связь между ними и новой страной. Я стал доверенным лицом, посредником между соседями. Каким-то образом мне не раз удавалось погасить вспышки страстей, предотвратить ссору, наладить отношения.

Однако же 1995 год оказался на моей ферме не очень урожайным, и я, наконец, решился: создал еще одну ферму в Вудсайде, возле нашей конторы.

Мы уже пять лет, как сюда переехали, а я все еще никак не мог привыкнуть к Вудсайду, неряшливому, застроенному, казалось, без всякого плана и архитектурных замыслов. То попадались дома-поместья с большими земельными участками и садами, то покосившиеся, с зияющими в фасадах щелями домишки на сваях, построенные на месте осушенного болота. Идешь по дороге с глубокими ухабами, оглядываешься по сторонам – и кажется: то ли землетрясение тут было не так уж давно, то ли бомбежка...

Вудсайд – в переводе «лесная сторона». Еще во второй половине XIX века здесь действительно были леса, среди них – поместья и нескольких деревень. Застраиваться домами городского типа Вудсайд начал лишь после того, как в 1865-ом

в Квинсе появились трамваи. Заселяли такую отдаленную и неблагоустроенную часть города в основном эмигранты. Давид оказался прав: наш бизнес здесь пошел совсем неплохо.

Моя ферма в Вудсайде была почти вдвое меньше первой – около 700 домов. Я недолго ею занимался, серьезных успехов добиться не успел. Пожалуй, самым большим успехом было одно знакомство.

Обходя новую ферму, я заметил красивый сад. Плодовые деревья, кусты роз, грядки – мне это немного напоминало ташкентский двор деда Ёсхаима. И немецкая овчарка – старая, спокойная – слышав мои шаги, всякий раз подбегала к калитке. Но в саду было пусто, а в дом я не заходил. Ну и ладно, думалось, загляну потом. И вот как-то вижу: возится у грядок старый человек, судя по одежде – садовник. Я полюбовался, как энергично всаживает он лопату в кучу опилок, как ловко разбрасывает их по грядкам – и окликнул его. Старик тут же подошел, приветливо поздоровался. Я ошибся – это был не садовник, а хозяин дома. Леон Да Сильва оказался человеком простым, разговорчивым. Я похвалил сад, Леон сказал, что очень любит садоводство. «Но занимаюсь я не только садом, – сказал он. – Моя основная работа – с недвижимостью...»

Тут я тихонько охнул: надо же, наскочил на конкурента! А может, на партнера? Мой новый знакомый объяснил, что покупает чаще всего старые дома. Те, что требуют большого ремонта, а значит – больших затрат. Но он приводит дом

в порядок с минимальными затратами. «Покупаю дешево, за наличные, сделку закрываю за месяц, реставрирую дом и продаю с прибылью. Пользуюсь услугами того же брокера, через которого купил дом. Для него – двойная выгода. Так что присоединяйся и ты». Мне понравилось это неожиданное предложение. Не теряя времени, я быстро кое-что подыскал – и через неделю-другую Да Сильва пожаловал в нашу с Дэвидом контору. Пришел в той же одежде, что работал в саду: старые рабочие брюки, рубаха с пятнами краски и шпаклевки... Это меня удивило. Представляю, насколько сильнее я удивился бы, если бы уже тогда знал, что передо мною – мультимиллионер, живое воплощение «американской мечты!»»

Разумеется, узнал я об этом очень скоро. Время от времени у нас происходили деловые встречи. Но беседовали мы, конечно, не только о делах. Не могу сказать, что мы стали друзьями – у Да Сильвы были сотни таких знакомых, как я – но для меня это знакомство было, конечно же, необычным, я им даже гордился.

Разговаривать с Да Сильвой всегда было очень интересно. Он охотно рассказывал о себе. Потомок португальских эмигрантов, Леон в юности был моряком, в 1944 году приплыл в Нью-Йорк – и навсегда остался здесь. Женился, работал супером (управляющим) в многоквартирных домах. Работал на совесть – достаточно сказать, что свободные дни были у него только раз в году, на Рождество. У последних своих хо-

заяв, очень богатых людей, купил первые четыре дома. Купил, практически не имея в кармане ни гроша, но на прекрасных условиях: четыре года выплачивал по 100 долларов в месяц. С того и началось. А потом стал покупать за наличные дома-развалюхи, реставрировал своими руками... Как – об этом я уже рассказал. В семидесятые годы у Да Сильвы было уже 34 многоквартирных дома – около 4 тысяч жильцов. А когда в восьмидесятые произошло то, что в истории американской недвижимости называется бумом, Леон даже без собственных усилий, как гласит поговорка, «проснулся по утру мультимиллионером». Впрочем, я не сомневаюсь: он стал бы «мульти» и без бума. Уж такой это человек.

Немало знал я богатых людей, но такого – никогда. Говорю не о деньгах, о личности. Казалось бы, Да Сильва-миллионер похож на стандартного героя американской сказки-мечты: миллионы, выросшие из медного гроша. Но Да Сильва-личность своеобразен настолько, что сравнить его не могу ни с кем... Хотя может быть, благодаря подобным ярким личностям и родилась сказка?

Что за человек Леон, я начал понимать, когда впервые своими глазами увидел его в деле. Произошло это после того, как я купил для него дом на своей ферме в Кью-Гарденс-Хилс. Дом... Даже язык не поворачивался называть так развалюху без оконных рам. Что уж говорить о стенах и полах! Краны текли, туалет работал кое-как. Воняло так, что, заходя в дом, я старался поменьше дышать. Поразительно:

до такого состояния довели свое «гнездышко» не какие-то немощные старики, а люди средних лет, муж и жена, вполне здоровые и дееспособные, но очевидно, ленивые и беспечные. Достаточно было поглядеть, как избалованы их дети и что они вытворяют.

Дом-инвалид был куплен, разумеется, за небольшие деньги. Как только завершили сделку, явился Леон – с ведрами, ящиками, кистями. Привел подручных и сам остался среди них. Работал, можно сказать, за десятерых – плотником, кровельщиком, электриком, сантехником. Забежав поглядеть, как идет ремонт, я каждый раз поражался все больше: ну и Леон! Мастер на все руки. Через две недели ходил я с Леоном по комнатам и думал: да тот ли это дом? Здесь все сверкало, все казалось новым. Вот только на кухне, приглядевшись к шкафам, тумбочкам и к холодильнику, я подумал: вроде и прежде были эти же? Правда, все было отшлифовано, отлакировано, сияло... «А к чему было менять? – удивился Леон. – Привел все в порядок. Послушай-ка, ни одна дверца не скрипит! Уверяю тебя – дом скоро купят. Вот ключи, работай!»

Спустя несколько недель я продал дом – и Леон заработал свыше 30 тысяч долларов.

Энергичен, ловок, напорист, мастеровит... Но к этому надо прибавить: и бережлив... Насколько бережлив, я понял, заглянув как-то в гараж Леона. Ну и свалка – ахнул я. Гараж был доверху забит всяким старьем – краны, трубы, унитаза,

кухонные раковины, тумбочки... Чего только здесь не было! Можно пожать плечами, сказать – чужак. Скупец... Можно вспомнить Плюшкина. Но то, что подбирал, копил и берег Леон, не сгнивало, как у Плюшкина, а шло в дело. «Ты не поверишь, Валэри, – сказал он мне, – сколько квартир и домов я отремонтировал этим ломом, подобранным на улицах! Вычистишь как следует, починишь кое-что – и не хуже нового!»

Да, был он бережлив и даже прижимист, не упускал ни копейки. С поразительной ловкостью выискивал простодушных людей, у которых можно было задешево купить участок земли, а потом перепродавал его за большие деньги. Сам же обмана не прощал – тут он действовал по правилу «око за око и зуб за зуб». Обо всем этом Леон рассказывал мне охотно и весело, даже хвастливо. Он был убежден, что в делах именно так и надо поступать. И все же я не побоюсь при всем при этом назвать Леона человеком щедрым. Десятки миллионов долларов, полученных при ловкой спекуляции землей в Манхэттене, он подарил госпиталю «Гора Синай» (теперь он тамошний почетный пациент). И это далеко не единственный дар. Многие были связаны с семейной трагедией. В автомобильной катастрофе погиб один из сыновей Леона, любимый сын Джон. Всего за год до гибели юноша закончил университет St. John. Отец много месяцев был в жесточайшей депрессии, жизнь потеряла для него смысл. И все же выкарабкался. Опорой стало стремление делать добро от име-

ни сына – словно сын жив... Да Сильва начал щедро помогать университету: создал там фонд имени Джона, куда вложил сотни тысяч долларов. Солидные проценты отчисляются на стипендии нуждающимся студентам. Миллионы долларов перечислены на ремонт университетского футбольного стадиона, на строительство студенческого общежития, на постройку филиала университета в Стейтен-Айленде.

Да – Леон Да Сильва справился с отчаянием. Возродилась его кипучая энергия, его жизнелюбие, душевная молодость. Одно из его хобби – бальные танцы... Много ли вы встречали таких стариков? Посещая клубы, где собирается испаноязычная публика, Леон развлекается там как может. Овдовел он много лет назад, но к женщинам интереса не потерял и не раз весело рассказывал мне о своих любовных приключениях.

Глава 54. Судьбы таинственных пути

В 2000 году мы покинули Вудсайд и перевели контору в Форест-Хилс. Давно закончилось и мое фермерство. Но я с благодарностью вспоминаю об этих нелегких годах. Они помогли мне окрепнуть, вырасти – и не только профессионально. Я научился внимательнее присматриваться к людям. Вырос интерес к ним и, мне кажется, глубже стало понимание. Вероятно, без этого моя жизнь была бы намного беднее. И уж конечно, не было бы ни тех встреч, о которых я уже рассказал, ни дружбы, о которой пойдет речь сейчас...

Судьбы таинственных пути,
Попробуй этому не верить!
Ведь мимо Вы могли пройти,
В мои не постучавши двери...

Этими строчками из стихотворения, которое посвятила мне Раиса Исааковна Мирер, я начинаю главу о нашем с ней знакомстве и дружбе. Главу эту мы решили писать вдвоем – чтобы дополнять друг друга...

Действительно, «судьбы таинственных пути» – хотя бы потому, что привели они Раису на мою ферму, в дом № 144–13 по 75-й авеню. И я не «прошел мимо» – постучался к ней. Старая женщина, маленькая и седая, открыв дверь, не обратила на меня, казалось, никакого внимания. Сначала она по-

дозвала свою кошку, выпустила ее в дом. А уж потом и на меня глянула: «Что вам угодно?» Мне повезло меньше, чем кошке: мне было сказано, что в моих услугах не нуждаются. Я ушел. Но мы продолжали видеться во время моих обходов...

Раиса Мирер. «Продолжали видеться!» Можно, конечно, сказать и так. Но я-то продолжала удивляться: зачем он все стучится да стучится в двери? Даже злилась – что за назойливость? Ведь сказано: не будем покупать дом. И квартиру – тоже. Так нет же, он снова здесь! Улыбается – улыбка не сходит с лица. «Как ваши дела?» Еще неделя-другая – снова стук в дверь. «Не надумали?»

Валерий. Постепенно наше знакомство становилось все более тесным. Меня стали приглашать в дом...

Раиса. Открою – и смех разбирает: опять этот чудак! Но в конце концов неловко стало держать на пороге такого вежливого и милого молодого человека! Расспрашивает, откуда приехала, как поживаю, не вернулся ли из командировки сын и все такое прочее. Вот я и предложила: «заходите, присядьте»... Знакомство состоялось. Я-то и знать не знала, что Валерий действует обдуманно, как умелый фермер. Но как только выяснилось, что я – журналист, редактор, Валера прямо-таки встрепенулся. И вдруг спросил, не соглашусь ли я прочесть то, что он пишет. Это воспоминания о детстве... Совсем немного, несколько страничек...

Передать не могу, как я была поражена! Такой молодой парень – Валера выглядел тогда совсем юным – пишет вос-

поминания? Конечно же, я согласилась прочитать...

Валерий. Я действительно был юным, когда начал писать. Может быть, все началось с детских дневников – я вел их, подражая Робинзону Крузо... А потом переезд в далекие края сделал более острыми и яркими воспоминания о детстве... Захотелось их сохранить, кое-что набросал... Но с тех пор прошло уже больше десяти лет. Я учился в аспирантуре, поменял профессию, женился. Стал отцом... Заболела мама... Писать-то хотелось, но я будто ждал какого-то толчка. И вот он, толчок – эта встреча в середине девяностых...

Раиса. Принес он несколько листочков линованной бумаги, исписанных карандашом. Начала читать – фразы корявые, не очень грамотные... Но прочла эти странички – и удивилась: из неуклюжих фраз складывались живые картинки! Яркие картинки совершенно незнакомой для меня жизни маленького бухарского еврея из Ташкента. Читала я с интересом и даже с завистью: о своем детстве я не сумела бы так написать, потому что «живых картинок» в моей памяти нет. Исчезли!

Валерий. «Вы молодец, Валера! – сказала Раиса. – Вы все это видите. Но язык... Умение излагать... Помочь я берусь, только и вам придется много работать. Согласны?»

Еще бы! Ее слова, ее интерес к моей работе как бы пробудили меня от долгой спячки.

Раиса. Вот так я и стала литературным редактором Валерия Юабова... Эта работа требовала постоянного общения, она нас и сблизила. Она как бы открыла для меня дверь не только в душу Валеры, но и вообще в новый для меня мир...

Исходно мы с Валерием принадлежим к одной нации, но о ее бухарской ветви я прежде не знала ровным счетом ничего, кроме шутливой строчки Ильфа и Петрова – о полном костюме бухарского еврея. Приехав в Америку, я очень удивилась: оказалось, что в Нью-Йорке «бухари» полным-полно. Я то и дело встречала их на своей и соседних улицах, в магазинах. И вот пожалуйста: один из них постучался в мою дверь...

Честно говоря, национальная проблематика не больно-то меня интересует. Работая над книгой, я, естественно, кое-что узнала об островке еврейства, образовавшемся когда-то в Средней Азии. Но главной моей темой оставалась судьба Валерия. Впрочем, мне думается, что она довольно типична для многих тысяч людей его национальности. Сужу только по личным впечатлениям, статистических данных у меня нет.

Еще живя в Узбекистане, Юабовы в значительной степени ассимилировались, говорили по-узбекски и по-русски, многие получили высшее образование, занимались наукой.

То же самое произошло с ними и в Америке – по крайней мере с младшим, Валериным, поколением. Валерий закончил в Нью-Йорке колледж, стал программистом, потом сменил профессию и, торгуя недвижимостью, вполне «обамериканился», вписался в деловую американскую жизнь. Может быть, это укрепило его энергию, стремление чего-то добиться, достичь. При этом не только материально... И мне кажется, что особенно сильно растут духовные стремления Валерия. А это уже черта сугубо личная, ее американским влиянием не объяснишь. Я чувствую духовный рост Валерия по его интересу к чтению, по упорству, с каким он стремится дать своим детям разностороннее образование. Да и по тому, как нуждается он в общении с людьми интеллигентными.

Но вернусь к нашей дружбе... Невозможно работать над книгой вместе – и не сближаться. Иначе это обман, халтура. Однако же наше деловое общение далеко не всегда происходило мирно.

Он приносил мне свои листки, я тут же, при нем, их читала – и начиналось...

Валерий. За пятнадцать минут Раиса безжалостно превращала мой многодневный труд в некий коллаж, выполненный шариковой ручкой: разнообразные подчеркивания, прямые и волнистые, восклицательные и вопросительные знаки, стрелки вверх и вниз, записи на полях... Одновременно раздавались восклицания, все более громкие, а то и яростные: «Что значит – “услышал на фоне мглы”? А “прошагал на ве-

су”)? На весу можно держать, но не шагать! Ох, Валера, Валера! Приходят не “со школы”, а из школы! Не “с бассейна” – а из бассейна! Не “курей много”, а кур!»

Но «уроки грамматики» были только началом, за которым следовал, мягко выражаясь, разбор содержания главы, а точнее – ее разгром. «Сюжет есть, но не чувствую вашего присутствия. Похоже на плохую газетную заметку... Перестаньте поучать и рассуждать, у вас это не получается. Ваша задача – показывать то, что увидели! Ведь это ваш мир, только ваш, понимаете? Никто, кроме вас, не может о нем рассказать «изнутри». Показать, как было... Картинки, картинки, создавайте картинки!»

Почти всегда Раиса требовала каких-то пояснений, дополнений, деталей. Иной раз записывала их с моих слов, но чаще мне приходилось снова садиться за главу...

Раиса. Очень уж хотелось «вытащить» из него главное! Валера наделен умением видеть целые сценки в деталях, похожих на кадры фильма. Общий план, крупный план... Руки деда... Шершавые, как рыба чешуя, изуродованные работой. Покрытые мозолями пальцы и ладони... Весенний двор – дурманящие запахи, цветущие вишни, пышные, тугие соцветия сирени, виноградные лозы. Звук капель, падающих из водопроводного крана... Дед, фыркая, моет под краном бритую голову и волосатую грудь... Радужные лучи солнца в прижмуренных глазах Валеры... Ряды кроватей в больничной палате, беспомощно свисающая голова больного отца...

Длинные, струящиеся, упругие волосы мамы – она причесывается перед маленьким круглым зеркалом... Сотни таких «картинок!»

Видеть свое детство так, как видел Валера, это – дар. Он дан не каждому. Но писать по-русски литературно грамотно, владеть стилем... Где и как Валера мог этому научиться? Да, конечно: школа, книги. Но вокруг него – с рождения – был узбекский язык, перемешанный с не очень чистым русским... Уже почти двадцать лет звучит вокруг английский. Освоенный в юности, он тоже стал родным языком... Вот нередко и приходилось пользоваться текстом Валеры, как подстрочником, пересказывая, переписывая. Но воспользуюсь возможностью заявить на этой странице: я ни на шаг не отступала от увиденного и прочувствованного Валерой, от реальных фактов. Я вживалась в его жизнь. И пересказывала ее, не пытаясь сделать из Валеры писателя-профессионала, а из книги – произведение художественной литературы.

Валерий. Не так давно прочитал я у Сергея Довлатова такие строки: «Если писатель хороший, редактор вроде бы не требуется. Если плохой, то редактор его не спасет». Он прав, конечно. Но я-то к писателям себя не причисляю! Я стал пишущим человеком – потому что... видел «картинки». И возникла потребность записать их, оставить этот рассказ о своей жизни своим потомкам, чтоб не распалась между нами связь. Да, все началось с «картинок», которые возникали, выплывали откуда-то. Но точно передать их словами было мучи-

тельно трудно! Я нуждался в помощи. И вот – эта встреча... Замечания я записывал – на бумагу или делал аудио. Исправлял как мог... Снова приносил... А получив главу, обработанную Раисой, удивлялся, как легко она читалась. Иногда несколько строчек описания превращались в сценку-эпизод, иногда эпизод становился одной предельно ясной фразой. И сюжет главы выстраивался, прояснялся, развивался, становился чем-то цельным. Я читал, перечитывал, сравнивал с моим первоначальным текстом – и, признаться, думал: вроде бы не так уж все это сложно. Посмотрим, как теперь у меня получится... Я раскладывал перед собой «коллаж» – листы предыдущей главы с замечаниями Раисы – и принимался за следующую. Шел к ней, волнуясь: что-то она скажет? Но увы! Новых замечаний было не меньше, чем прежде.

Раиса. Помучаю я Валеру – а потом сама мучаюсь: стыдно! В чем он виноват? Ведь по правде сказать, я считала и считаю первую книгу Валеры – о детстве – его подвигом... Но хвалила я его скупно. Извинюсь, что ругала, приглашу чайку попить. Начинаем болтать... И с каждой встречей все больше узнаем друг о друге. У Валеры – жена Светлана, двое детей... Нет, уже трое стало, когда мы познакомились... Беда у него большая – мама Эстер тяжело больна... Таких любящих сыновей, как Валера, я не видывала. Да и таких отцов, вероятно, тоже.

Рассказывала и я о своих бедах. Семья сына моего, Андрея, в Америке распалась. Он очень страдал. В Нью-Йорке

жить не смог, все чаще уезжал в командировки, а потом и вовсе вернулся в Москву. Осталась я одна. Мне друзья нужны были как воздух. К счастью, они появились. Я познакомилась с ними Валеру – с Еленой Довлатовой, с Ниной Бабановской, с Гуртами – Феликсом и Ритой. Дома у Валеры я тоже не раз бывала. Эстер, его мама. такая милая и красивая, на вид казалась вполне здоровой... Старшие дети – Даня и Вика – приходили ко мне домой и занимались русским языком с моей приятельницей Людой Перфильевой...

Валерий. Все больше и больше узнавал я о жизни Раисы – москвички, участницы войны. Уже на восьмом десятке лет судьба забросила ее в Америку – и оставила одну... Ну, не то чтобы совсем одну. И внучка Лиза жила в Нью-Йорке, и друзья окружали вниманием. То Елена Довлатова повезет кататься по окрестностям Нью-Йорка, то Феликс Гурт – купаться на Кони-Айленд, то Нина Бабановская – на экскурсию в Вирджинию, в Канаду... Заходишь – а подруги уютно сидят за накрытым столом: «Присаживайтесь, Валерочка, к нам!» Да – от Раисы услышал я впервые это ласковое «Валерочка». Значит, стал ей не совсем чужим. А я к ней тянулся все больше, стал чувствовать в ней наставника. Сейчас, когда прошли годы, мне даже кажется, что сумел перенять какие-то важные черты и взгляды на жизнь. И даже вкусы – я имею в виду изобразительное искусство. Я замечаю это, когда мы бываем вместе на выставках: случается, что восприятие какой-то из картин совпадает у нас до мелочей.

Раиса. Но ведь и мне дружба с Валерой дала очень много, не говоря уж о чувстве защищенности. Он относился ко мне почти как к родственнице, был трогательно внимателен. Помогал не только мне, но и моим друзьям. Помню, как однажды я разбудила Валеру среди ночи – и мы на его машине помчались спасать Елену Довлатову: она упала, сломала ногу, лежала на полу беспомощная – хорошо хоть, до телефона доползла... Мы вызвали неотложку, отвезли Лену в госпиталь...

Валера часто приглашал меня в семейные путешествия. Почему-то я согласилась лишь однажды – и мы отправились на Каньоны. Замечательная была поездка! Горный мир где-то под тобой, будто летишь по небу – а там, внизу, в пропасти, в огромном длинном ущелье, горные вершины. Фантастические, причудливые очертания: то замки или крепости, то фигуры каменных великанов... По пути побывали мы в знаменитом городе-казино Лас-Вегасе. Жили в отеле из черного, похожего на обсидиан стекла, построенном как египетская пирамида. Весь Лас-Вегас как бы составлен из городов разных стран мира. Любой из отелей – копия какого-нибудь знаменитого здания Рима, Парижа, Лондона, Мадрида... Идешь по улице – и вдруг попадаешь в Москву... Завлекательно, конечно, но у меня к такого рода «Диснейлендам для взрослых» интереса нет.

Валерий. Особенно мы сдружились года через два, когда Раиса с моей помощью сменила квартиру...

Раиса. Моя все дорожала – да и ни к чему мне была такая большая. Вот я и спросила Валеру – не поможет ли. И как же мне повезло, что мой новый друг – такой опытный риелтор! «Поехали, – говорит он однажды – кое-что подыскал». Остановились неподалеку, на углу Юнион Тёрнпайка, у ворот с надписью: «Частная собственность. Въезд только по пропускам». Я ахнула: неужели нам сюда? Мимо этих ворот я часто проходила – и останавливалась полюбоваться – такая красота была за ними. Вдаль уходил тенистый парк, за ним виднелись небольшие домики. Что за дивная усадьба среди города? И вот оказалось, что не усадьба это, а кооперативный поселок Парквей Виллидж, где когда-то жили работники ООН. Валера нашел для меня квартиру и дешевле, и куда уютнее прежней: двухэтажную, с отдельным подъездом, угловую, так что окна – на три стороны. Куда ни глянь – везде газоны, цветы, деревья. Как здесь было спокойно, хорошо, легко! Видно, в прежней квартире, где я так много перестрадала, даже стены давили на меня. А тут будто в родном доме оказалась. Словом, сделал мне Валера замечательный подарок!

Валерий. На лужайке, неподалеку от Раисиной двери, стоял большущий, в метр высотой, булыжник. Для меня он стал чем-то вроде «камня Магомета», так часто я ходил сюда «на поклонение». Писал я тогда легко и много. Поднимался утром ранехонько – и садился за стол. Еще раз – вечером, когда засыпали дети. Изо дня в день, без выходных... «Кар-

тинки», как называла это Раля (так зовут ее в семье), появлялись перед глазами одна за другой настолько быстро, что только успевай записывать. Неудивительно, что чуть ли не каждую неделю была готова новая глава.

От моего дома до дверей Рали семь минут ходьбы. Моя улочка – 147-я... Переход через Юнион Тёрнпайк... Поворот на 150-ю... И вот уже шагаю по Парквей Виллидж среди дубов и кленов. Впереди, на зеленом пригорке, белеет ее дом. Взбегаю вверх по крутой металлической лесенке. Стучу в дверь – старая привычка и немного игра. Раля охотно в нее включается: не всегда отворяет сразу, порой стучит изнутри мне в ответ. Или пальцы просовывает в щель для почты. Но вот я в квартире. Церемония приветствий. Раиса снова и снова учит меня: мужчина не подает даме руку первым! Сначала он должен поклониться. А дама, если захочет, в ответ протянет руку... Я дурачусь, вместо протянутой Раисиной руки целую собственную, получаю то щелчок по носу, то поцелуй в щеку.

Но вот мой строгий редактор садится читать рукопись, а я брожу по гостиной. Волнуюсь, конечно – но мне, как всегда, хорошо в этом доме. Повседневная суета уходит куда-то далеко-далеко. Вокруг – особый мир. В нем тишина, разве что за окном прощепечет птица или вспрыгнет на кусты у окна любопытная белка. Главное в этом мире – книги. Они теснятся в четырех высоких шкафах по стенам. Они лежат на диване, на журнальном и обеденном столах... Сот-

ни томов, десятки собраний сочинений классиков. Чехов, Диккенс, Толстой, Шекспир, Пушкин, Лермонтов, Гоголь... Новые для меня в те дни имена: Довлатов, Мандельштам, Булгаков, Бродский, Фазиль Искандер, Томас Манн, Экзюпери...

Какое огромное место занимает чтение в жизни Раисы, я понял с первых дней нашего знакомства. О чем бы мы ни говорили, во все вплетались книги. Обсуждая мою работу, Раиса то и дело приводила мне для сравнения, а то и просто вспоминала строки из какого-нибудь произведения. Скажем, обсуждаем эпизод, как пришлось мне отдать чужим людям Тайшета, мою овчарку. Раисе кажется, что я слишком спокойно расстался с любимой собакой. Она вспоминает заповедь из «Маленького принца» Экзюпери – «приручил, так отвечай» – и начинается разговор о человеческих отношениях, о нравственности, о чувстве долга... Описываю я город моего детства, далекий теперь Ташкент – и вдруг, строчка за строчкой, Раиса читает мне Мандельштама: «Я вернулся в свой город, знакомый до слез, / до прожилков, до детских распухших желёз...»... И разговор о трагедии русской интеллигенции, истребленной Сталиным, уводит нас далеко-далеко от страничек моей рукописи...

Особенно интересные разговоры о книгах начинались после работы. Попьем чайку – и я перебираюсь к полкам. Перелистываю книги, расспрашиваю о том, о другом писателе. Очень меня поразило, что многие из книг Раиса перечиты-

вала много раз. Я как-то спросил: «Для чего?» Речь, кажется, шла о романе «Иосиф и его братья»... Раиса удивилась. «А вы разве не перечитываете? Ну, например, «Робинзона Крузо», которому вы когда-то подражали, другие любимые книги...» – «Да. Но у меня таких – две-три. А у вас? Неужели все перечитываете?» Раиса смеется, машет рукой: «Что вы, нет! Не успеваю. Ведь сколько непрочитанного!»

Раиса. Перечитывать я не просто люблю – мне это необходимо. Многие герои книг входят в жизнь, словно близкие друзья – можно ли с ними навсегда расставаться? Скучаешь, хочешь встречи. К тому же перечитывая талантливую, умную книгу непременно найдешь в ней что-то новое. За один раз всего не почувствуешь, не осознаешь.

Валерий. Нередко я брал почитать что-нибудь из ее библиотеки. Как-то взял «Мастера и Маргариту» Булгакова... Очень трудно далась мне эта книга. Прежде всего, потому, что я почти ничего не знал о том далеком и страшном советском времени, в котором происходит действие романа. При этом писал Булгаков иронически, да еще завуалированно, иносказательно. Булгаковские намеки на события московской жизни были мне совершенно непонятны. А тут еще вводный роман о Пилате и Иешуа... Да я ведь и Евангелия не читал ни разу! Мне даже за сюжетом оказалось сложно следить. Я не мог понять, как и зачем сплетаются в романе темы христианской морали, добра и зла, бессмертной любви, тема погрязшего в грехах, близкого к гибели города... Сло-

вом, пришлось Раисе немало объяснить мне.

Раиса. В ранней юности я сделала непростительную глупость: бросила школу, чтобы поступить в театральную студию. Из этого ничего не вышло, и уж не знаю, как сложилась бы моя жизнь – жизнь человека без образования, без профессии – если бы не книги. К счастью, у нас дома была неплохая библиотека, ее собирал мой отец (он погиб, когда мне было 14 лет), и я с раннего детства очень много читала. Страсть к чтению спасла меня, когда я из школьницы-отличницы превратилась в бездельницу и обманщицу. Уходя с утра из дома – будто бы в школу – я не болталась по улицам или по киношкам, а проводила целые дни в библиотеке. Книги заменяли мне школу, университет, развивали любовь к родной речи, чувство языка... Вот только жаль, что я читала бессистемно. Не догадалась составить списки лучших писателей разных времен и народов, заглянуть в учебники. Потому-то у меня так много пробелов – столько не прочитано замечательных книг, столько «черных дыр» в поэзии и прозе многих стран... Я до сих пор их не заполнила: бессистемное чтение осталось моей бедой... Знакомство Валеры с литературой было, конечно, несравненно меньшим, чем у меня. Он рос в другой среде, у него был совершенно иной жизненный опыт – в чем-то другом очень богатый и интересный, но очень далекий от русской культуры... Да тут еще и его занятость – нелегкий бизнес, поглощенность семьей, болезнь матери... Тем более поражала меня и радовала его

потребность читать!

Валера. Читать я любил с детства. Став подростком, от корки до корки перечитал Жюль Верна, Конан Дойля, Джека Лондона. Не знаю, благодаря ли этим книгам стал я мечтателем и романтиком или они только усилили мои врожденные задатки... Вероятно, книги вообще способны оказывать огромное влияние на всю жизнь человека. Раскрывают в нем что-то... Вот приходит к тебе пора любви, встречаешься с девушкой – помогает ли чтение воспитанию чувств? Ну, и так далее, чего бы ни коснуться... В общем-то, я бросался к книгам не в поисках ответов, но был рад, когда они чем-то обогащали меня... Теперь у меня появился надежный советчик. Я всегда мог попросить, чтобы Раля помогла мне выбрать книгу, поговорить о прочитанном.

Раиса. Максим Горький писал: «Любите книгу – источник знания, только знание спасительно...» Да, конечно. Но гораздо более важным и воистину спасительным мне кажется другое: Книга, именно Книга помогла людям разных народов открыть друг друга: понять все многообразие человеческих отношений и национальных культур, привить к ним уважение, передать, как эстафету, основы нравственности. Облетая мир, Книга помогла Человечеству понять свою общность, ощутить себя Человечеством! Она стала источником общемировой культуры...

Что было бы с нами без этого? Даже и сейчас, вместо того, чтобы объединяться, мы все еще деремся из-за денег –

кусочков металла или бумаги, из-за власти, клочков земли, национального превосходства, из-за того, как и во что веруем. Проливаем кровь, грызем друг друга, как хищные звери! Только культура, ощущение общности может спасти мир. Я не теряю этой надежды...

Валерий. Вот какие строки я недавно прочел в Нобелевской речи Иосифа Бродского: «Я не призываю к замене государства библиотекой – хотя мысль эта неоднократно меня посещала – но я не сомневаюсь, что выбирай мы наших властителей на основании их читательского опыта, а не на основании их политических программ, на земле было бы меньше горя».

Раиса. Хорошо, что у нас с Вами такой единомышленник!

Глава 55. «Остановись, мгновенье!..»

Люблю фотоаппарат и видеокамеру. Снимаешь тех, кого любишь или то, что тебе нравится – и словно бы просишь: «остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Остановить, увы, невозможно. Но все же... Достанешь иной раз альбом со старыми снимками, увидишь дорогие тебе лица – какими они были в прошлом, – и вдруг сердце защежит. Ты и сам как бы возвращаешься в былое, вспоминаешь, волнуешься, радуешься. А порой и размышлять начинаешь о пережитом, оценивать свои давние поступки. Не знаю, как другим, а мне это очень нужно. Особенно когда передо мной на снимках или в видеофильме – дети.

Вот и сегодня включил я видик – и перенесся почти на пятнадцать лет назад.

* * *

...Вооружившись камерой, снимаю «цирковое представление». В гостиной, на ковре, залитом солнцем, Данька и Вика изображают зверей. Моржа и обезьяну. Морж, конечно, Данька. Наш черноволосый крепыш замечательно справляется с ролью. Он просунул ноги в одну штанину – и теперь ползает по кругу на выпрямленных руках, волоча «хвост». При этом он ревет и скалится, показывая «клыки». А вокруг

моржа, атакуя его, скачет обезьянка, рыжеволосая худышка Вика. Даньке – пять, Вика на год помладше, но до того прыткая – куда ему до нее! Вытянув губки, повизгивая, прыгает Даньке на спину, хлопает по попке, ерошит волосы... А у него-то руки заняты! «Морж» только вертит головой, рычит и пытается укусить сестренку.

Зрители – бабушка Эся, мама Света и я. Мы хохочем, бабушка аплодирует, кричит: «молодцы», Света просит: «теперь превратитесь в тигра и лягушку!» Пожалуйста, они готовы! Из «хвоста» мгновенно вылезают Данькины ноги... Нет, вернее – тигриные лапы. И как только удастся ему передать неторопливую, мягкую тигриную поступь! Голова – у самого пола, тигр что-то обнюхивает, раскрывает пасть. А вокруг него, через него прыгает, словно резиновая, лягушка-Вика...

«Цирк на ковре» – это давнее субботнее утро. Единственное в неделю утро, которое мы, молодые родители, проводили вместе с детьми, отдыхая, радуясь и развлекаясь.

Единственное утро в неделю... Почему же так? Могу ли я упрекнуть себя в том, что мы были невнимательны к детям, равнодушны, или настолько уж заняты? Конечно же, нет! Скорее наоборот. Мы (в основном я, а Света соглашалась со мной) считали, что главное в воспитании детей – это занятия, обучение. Первой для них школой должен стать родной дом. Чем больше знаний будем давать им с малых лет, тем станут умнее, образованнее. И трудолюбивее, конечно. На-

учатся ценить время. Подальше от ленивого безделья – думали мы. Подальше от телевизора!

И вот – теперь уже без видеофильма – припоминаю будничное утро, одно из тех, каких были многие сотни, пока подрастали наши старшие дети...

* * *

Просыпаюсь и слышу: в ванне шумит вода. Это моется мама. Половина шестого – пора подниматься... Не проходит и получаса, как я подхожу к детской комнате. Конечно же, малышам охота ещё поспать – значит, надо постараться развеселить их.

Прищелкивая пальцами (перенял у мамы), уже в дверях начинаю напевать: «Хананьё-Мананьё! Хананьё-Мананьё!» Вероятно, почти у всех детей во всех странах мира есть домашние прозвища. Нас с Эммкой родители звали «Девочка-припевочка» и «Рыжик», мы со Светой переименовали для прозвища второе Данькино имя – Ханан... А бабушка Эся с гордостью называет внука Полванча, богатырь... Вот и я напеваю: «Просыпайся, Хананьё-Мананьё! Поднимайся, Полванча!» А богатырь уже сидит на кровати, по-узбекски скрестив крепкие, толстые ножки и потирая кулаками глазёнки. Лохматый, заспанный, похожий на медвежонка... Ну, с ним все в порядке. Теперь – Вика... Это хрупкое, нежное создание еще дремлет. Напевая «Чимчукча-Кафтар-

ча» (это Викины прозвища – «птичка» и «голубка»), принимаюсь массировать ей спинку. Не сомневаюсь, что Вике приятно. Но она делает плаксивую мордочку и шарит по кровати, разыскивая свою плюшевую игрушку... Я удивлялся: только проснулась – и сразу же вспомнила о зверьке! Потом только узнал, что почти у всех девочек есть любимая игрушка, с которой они и ночью не расстаются... Но вот зверек найден, теперь можно вставать. Обвив меня руками и ногами, будто обезьянка ствол дерева, дочка устраивается поудобнее: готовится к путешествию на первый этаж. Готовится и другой пассажир. Подойдя к лестнице, я, придерживая Вику, усаживаюсь на верхнюю ступеньку – и тут мою спину плотно обхватывает тяжеловес Даниэл. Ощутимая добавка. Но ведь своя ноша не тянет...

Как хотелось бы повернуть время вспять – и снова всем телом ощутить теплоту крепко прильнувших ко мне малышей, вдохнуть их сладостный запах!

Мы начинаем спуск, а вместе с ним и первое наше занятие: считаем ступеньки. Не так-то их много – всего четырнадцать, но не беда: когда запомнят – перейдем к следующим цифрам... Впрочем, иной раз декламируем какие-нибудь стихи. Из тех, которые Света постоянно читала детям. Многое они знали наизусть. «Был сынок у маменьки»... – начинаю я, а дети подхватывают: «медвежонок маленький». Эти стихи Агнии Барто Данька особенно любит, там дальше такие строчки: «В маму был фигурю – в медведицу бурую».

Помнится, Света, читая это, прижималась щекой к Даньке: мол, это о нас с тобой. Я делал вид, что обижен, заявлял, что только лица у них схожи, остальное – все мое, Даниэл еще крепче обнимал маму, а вот Вика подбегала ко мне – обнять и утешить... Но ведь она и вправду больше похожа на меня!

...А мы тем временем уже спустились с лестницы и уселись за длинным столом в большой нижней комнате. Это и гостиная, и столовая, и кабинет, и библиотека. По стенкам – стеллажи с книгами... О них – разговор особый. Чем старше становились дети, тем больше появлялось на полках детских книг. Сколько же времени я тратил, разыскивая их! Рыскал по магазинам, как охотник по лесу. Учебников и научно-популярных книг постепенно набралось столько, что для каждой из наук пришлось отвести по полке. Математика, география, русский язык, астрономия, рисование и лепка... Чтобы дети не путались, сделал бумажные наклейки. Не стану скрывать – библиотекой я гордился и очень был доволен, когда одна наша гостья сказала, разглядывая стеллажи: «у нас все для гостей, а у вас все для детей».

В тот день, о котором я вспоминаю, мы с Викторией занимались английским – не по книге, а по аудиозаписи одной из фонетических программ для маленьких детей. Ведущая под приятную музыку напевает буквы и слова, ребенок повторяет их, разглядывая карточки-картинки с теми же буквами и словами. «ЭЙ – ЭППЭЛ» – подпевает Вика, сидя у меня на коленях – на стуле ей низковато. Успевает она и гримасни-

чать, поглядывая на брата. Данька – он сидит рядом – пома-
тывает ногами, ждет своей очереди... Год назад он учился
по той же программе, а сейчас перед ним раскрытая книга.
Это Доктор Зус, – Феодор Зус Гайзель, американский Мар-
шак или Чуковский. На его стихах выросло несколько поко-
лений. Читает Даниэл почти свободно и по-английски, и по-
русски, но коротких ежедневных занятий с ним я пока не
прекращаю. Мальчишка он способный. Как говорится, и го-
ловастый, и рукастый, за что ни возьмётся – собирает ли что-
то из конструктора, или лепит из пластилина – все получает-
ся. А с каким увлечением, как азартно работает! Позовет нас
порой бабушка Эся: «поглядите, не пожалеете!» – и мы на
цыпочках отправляемся в детскую или гостиную, где Дань-
ка возится с конструктором. «Глаза... Глаза»... – шепчет ба-
бушка Эся – и, сгибая полукругом пальцы, показывает, как-
кие у внука огромные глаза. Да, на сына стоит посмотреть,
когда он так поглощён делом! Его красивые глаза с длин-
ными, изогнутыми ресницами и вправду распахнуты во всю
ширь, он впился ими в модель и больше ничего не видит, а
позовешь – не услышит. Рот раскрыт, даже дышит тяжело...
Кажется, он сам сейчас превратится в эту свою штукину!

* * *

...Мы все еще за столом. Перед нами в больших короб-
ках – наглядные пособия. Сегодня я выбрал анатомический

конструктор. Собираем скелет человечка, вкладываем в него различные органы, говорим немножко о том, как они действуют (насколько это в моих возможностях, да и в конструкторе есть пояснения). И вот уже человечек – как живой... Прямо библейская сценка: два ангелочка смотрят, как Господь создает Адама. Хорошо, что дети еще не знают Библии и не просят меня, чтобы я создал Еву!

А на кухне гремят кастрюли, звенят тарелки. Мама уже давно готовит завтрак. Скорее, скорее – к восьми надо за стол, а у нас впереди еще физкультура!

Для детей движение – радость. Вика первым делом хватается за обруч, ее тоненькая талия вращает его легко, быстро, красиво – ни у кого из нас так не получается! Мостик лучше у Даньки, и не потому, что он крупнее: в нем, вероятно, больше упорства... «Прямо, прямо руки, выгиб повыше!» – покрикиваю я, а сам люблюсь. Вика вроде бы не устала, а у Даньки и лицо покраснело, и руки подрагивают. Но не уступит он сестре! Меня поражает: неужели так рано в ребенке может проявляться стремление к лидерству? Да, так со временем и оказалось: Даниэл, подрастая, постоянно добивался первенства среди сверстников – в спорте, в учебе. И сейчас успешно добивается: он пятикратный чемпион среди школьников Америки по дзюдо, два раза был международным призером. Весной 2008 года, получил в своем Квинс Колледже (он учился на факультете экономики и бизнеса) денежную премию за успехи. Одну из четырех, присуждаемых ежегод-

но...

А дети мои все держат мостик... Маечки задрались, видны животики: Викин – втянутый, упругий, Данькин – выпяченный. Ох, толстоват, жирноват! Недаром наш педиатр доктор Блюм говаривал, бывало, осматривая годовалого пациента: «Поменьше еды, побольше физкультуры». Ну вот и выгибайся! Но я не удерживаюсь от соблазна: опускаюсь на колени и целую эти сладкие животики, фыркая, как лошадь. Малыши, конечно же, визжат, хохочут – и вот мы уже втроем катаемся по ковру. Начинается борьба. Данька пыхтит, схватил мою руку, давит... Пробираешь уложить меня на лопатки? Ну-ну, давай... Я поддаюсь – пусть получит удовольствие – и Данька, усевшись верхом на мой живот, вопит: «Вика, помогай!» Сестрица не так азартна. Сначала она осторожно снимает с меня очки и кладет на диван, потом уже включается в битву. Подмяли... Мне достаточно одной рукой шевельнуть, но я «изображаю»: охаю, пытаюсь высвободиться. «Не выпускай его! – кричит взмокший Данька. – Мы победим!» Это мой клич – теперь он стал семейным...

Эх, детки мои, знали бы вы, как я наслаждался игрой!

* * *

Так это начиналось – простенькие занятия сочетались с играми, учителем был я сам. Но – «Все растет на свете – выросли и дети...» Вот Даньке уже семь, Вике – шесть, оба

– школьники. Много ли знаний получают дети в начальных классах? А время идет, – тревожусь я, – его нельзя терять! Моих познаний мало, чтобы дополнительно чему-то учить ребят. Надо искать учителей. Где?»

Помог случай. На большой доске в супермаркете прочитал я такое объявление: «Обучаю школьников физике, химии, биологии. Многолетний стаж. Звонить доктору Шарме...» Я так обрадовался, что позвонил прямо из магазина. «С такими малышами я никогда не занимался» – ответил мне смущенный голос. Договорились, что доктор все же попробует...

Первый урок происходил в квартире учителя, на кухне. Здесь мы словно в Индию попали: со столика нам загадочно улыбался бронзовый Будда, какие-то неизвестные мне индусские святые или божества, приплясывая, глядели на нас со стен, покрытых яркими картинками. Доктор Шарма, пожилой смуглый господин в очках, оказался индусом. Но он уже много лет прожил в Америке, даже преподавал в одном из университетов.

«Будем заниматься понемногу разными науками, – чуть заикаясь, объяснил мне учитель, усаживая детей за кухонный стол. – Главным образом наглядно». Он налил в глубокую миску воду, насыпал в нее мыльный порошок, разболтал, окунул в миску руку. Радужные мыльные пузыри поплыли по кухне...

«А нам можно?» – закричали дети. – «Конечно! А как вы

думаете, почему получаются пузыри? – И Шарма стал снова выдувать пузырьки. – Ну-ка, кто скажет – что у них внутри?»

Детям урок очень понравился, мне – тоже. Кстати, и я не бездельничал: записывал в тетрадь объяснения доктора о том, что такое воздух, чтобы вечером повторить урок...

Занятия продолжались уже у нас дома, два раза в неделю. Доктор Шарма не изменял своему экспериментальному методу: он показывал детям различные опыты и тут же давал объяснения. Физика сменялась геологией, геология – астрономией. На большом столе в нашей гостиной то дымился вулкан, то закипали в пробирках какие-то смеси, то мигали электрические лампочки. А иногда комната становилась космическим пространством: люстра превращалась в Солнце, вокруг овального стола кружились планеты – дети...

После того, как Вика (она тогда училась во втором классе) показала учительнице собранную дома молекулярную модель водородной бомбы и толково объяснила, каким образом связаны между собой атомы, ее тут же зачислили в группу одаренных детей (Даньку зачислили еще раньше). Но мне и без этого ясно было, что занятия полезны и расширяют кругозор детей.

Расстались мы с доктором Шарма через три года, когда он покинул Нью-Йорк. К этому времени у Дани и Вики было уже несколько учителей.

Не буду подробно рассказывать о знакомстве с семьей Бангиевых, людей очень интеллигентных, да и к тому же,

как выяснилось, наших дальних родственников. Скажу только, что Лиза Бангиева, программист, пожертвовала интересной работой и неплохим заработком, ушла с работы, – чтобы всецело посвятить себя воспитанию детей. Как мне кажется, Лиза делала это очень успешно. Её сыновья, Авром и Нисан, старшеклассники, учились так хорошо, что и сами взялись преподавать: обучали малышей математике и английскому. Данька и Вика стали их учениками...

Врач Мария Борисовна Якубова появилась в нашем доме, когда заболела мама. Лечил ее Мухитдин Умаров, а Мария Борисовна приходила в качестве медсестры делать уколы. Но до эмиграции в Америку она была врачом с многолетним стажем, и, кстати, приверженцем обоих медицинских направлений – современного и Восточного. Поняв, как интересно с ней беседовать, я, конечно же, попросил ее заниматься с детьми.

Музыка... У нас в доме она звучала постоянно, и по радио, и в записях. Я современной музыкой увлекался со школьных лет, очень хотелось, чтобы и дети ее полюбили. Нередко мы брали с собой детей на концерты, особенно часто – на выступления моего двоюродного брата, скрипача Бориса Якубова. Жена его Марина, тоже музыкант, стала их первой учительницей. Но вот беда: оба – и сын и дочь воспринимали уроки музыки как насилие. А ведь у Даньки оказалась прекрасная кисть, он на слух правильно подбирал мелодии. Так нет же! Как-то прихожу домой довольно поздно –

дети уже спали – и Света протягивает мне листок: «От Даньки. Прочти!»

«I quit piano!» – «Я бросаю музыку!» – написано было на листке корявыми буквами. Всего три слова – зато двадцать шесть раз!

Война была объявлена по всем правилам... И я сдался, что нечасто бывало. Может, зря: знаю, что и Данька сожалеет об этом. А с Викой удалось справиться, хоть и не без труда. Теперь она сама рада, что не бросила музыку и хочет продолжать занятия. Недавно Роза, учительница музыки, похвалив Вику, предложила ей: «может, уже хватит, будешь играть без меня?» – «Нет, приходите, пожалуйста, – воскликнула Вика. – Я еще долго хочу заниматься. Даже и когда замуж выйду»...

Играет Вика, как мне кажется, неплохо. Особенно радуется мое родительское сердце, когда она исполняет одного из самых любимых моих композиторов – Янни.

* * *

Может быть, кто-либо из моих читателей считает, что на этом могла бы и закончиться программа домашнего образования детей? Я так не считал.

Не хотелось бы заниматься самоанализом, но... Я и сам прекрасно знаю, да и от многих слышал, что постоянно увлекаюсь какой-либо новой областью познаний. Услышу ли,

прочту ли что-то, что показалось мне интересным – и прямо-таки кидаюсь, окунаюсь с головой в очередное увлечение. Кому-то это может показаться чудачеством, а я доволен, что природа наградила меня свойством, благодаря которому, расширяется кругозор. Так разве удивительно, что я старался по возможности вовлечь Даню и Вику в круг своих интересов? Ведь помимо всего прочего, это нас сближало!

После встречи с табибом Умаровым, замечательным врачом и человеком, я, как говорится, всерьез и надолго увлекся Восточной медициной. Даже профессией восточного медика одно время хотел овладеть. Признаюсь, была у меня мечта и детей заинтересовать этой прекрасной древней наукой. Я даже надеялся, что им захочется стать врачами. Особых успехов я не добился, однако мне кажется, что любые попытки такого рода, даже неудачные, развивали детей. Я и теперь не теряю надежды, что Вика – она сейчас учится на фармакологическом факультете – со временем займется Восточной медициной...

Чтобы легче было детям запоминать трудный материал, я научил их пользоваться программой «Мега Память», созданную Кевином Трюдо. Суть ее вот в чем: надо придумать нелепый рассказик, используя в нем все то, что надо запомнить: новые слова, их последовательность. Чем нелепее, мало того – чем страшнее рассказик, тем лучше слова запоминаются.

Я использовал эту любопытную систему, начав занимать-

ся Восточной медициной. Скажем, изучал я температуру различных органов. Надо было запомнить определенную последовательность – от более высокой к более низкой температуре. Вот что я придумал:

«В АФРИКЕ быку нужна была срочная операция. Собака-хирург раскрыла бычью грудь ПНЕВМАТИЧЕСКИМ молотком. В груди билось большое черное СЕРДЦЕ. По сердцу текла белая вонючая КРОВЬ. Она была настолько вонючей, что ПЕЧЕНЬ закрыла все свои окна-поры. В это время в печени пировали дырявые ЛЕГКИЕ и кусок МЯСА. Они пили водку и закусывали селедкой. Для них танцевала голая женщина-МЫШЦА. А рядом ПОЧКИ на берегу речки вдребезги БИЛИ СОСУДЫ о голову ПОКОЙНИКА-слона, СОСУЩЕГО сиську собаки-хирурга, подшивавшей дырявую КОЖУ на ЛАДОНИ быка»...

Придумав эту бредятину, я чуть ли не сразу запомнил очередность: пневма-сердце-кровь-печень-лёгкие-мясо-мышцы-почки-бьющиеся сосуды-покоящиеся сосуды-кожа ладони.

Я предложил детям этот способ запоминания. Оба пришли в восторг – еще бы: занятия превращались в озорство, в игру! Как раз в это время они с помощью анатомического конструктора изучали, как устроен организм человека, запоминали названия органов. Данька тут же сочинил и прочел нам вслух рассказик, в котором было русское слово «печень» – в качестве указания, и это же слово по-узбекски

(«джигар»), но запрятанное и разделенное на части:

«Наша машина марки ДЖИП на скорости врзалась в большую вонючую печень. Машина стала ГОРЕТЬ, а нас, пассажиров, и печень разорвало на части. Повсюду вонь, кровь, части тел...»

Данька читал свое произведение с хохотом и приговаривал: «Yummy, yummy!» – «Ой, как вкусно!» А Вика, наоборот, всячески выражала отвращение – однако же как выяснилось, прекрасно запомнила слово «джигар». Да и не только его. Когда мы занимались русским языком, дети с помощью системы «Мега Память» запомнили тридцать новых слов. Вика, например, для слова «растение» сочинила такое причудливое определение: «A plant with a RUSTEd kNEE» – растение с заржавленным коленом... Конечно, не очень-то грамотно, но уж знания русской грамматики я от детей не требовал, лишь бы правильно говорили.

К сожалению, не могу сказать, что детки занимались охотно и с удовольствием. Боюсь, что учителям было с ними не легко, а уж мне-то тем более. Занимаюсь, скажем, утром с Даней математикой – а ему скучно, надоело. Он то гримасу скорчит, то нагрубит. Я сдерживаюсь, уговариваю, стараюсь не сорваться – но и моему терпению приходит конец... Шлепок, другой – и Данька уже стоит в углу. Хнычет, конечно, пытается разжалобить. Завидую родителям, которые обходились без наказаний. Мне не удавалось. Но железный распорядок дня мне удалось установить, когда дети были со-

всем малышами – с этого я и начал свой рассказ – и придер- живались мы строгого расписания много лет.

В 5:45 я приходил будить их. Поначалу – песенками и мас- сажем. Когда дети немного подросли, и началась наша се- мейная Авиценизация и Мухиддинизация, я входил в дет- скую комнату, нагруженный утренними порциями чая из травяного сбора. На закуску дети получали по ложечке су- хого, растертого в порошок имбиря, смешанного с медом. К слову сказать, вся наша семья так лечится. У имбиря множе- ство полезных свойств, он и прогревает, и стимулирует. Эта горьковато-медовая, не потерявшая жгучести смесь мгно- венно изгоняла из детей остатки сна. Что и требовалось ко- варному папе. Но достаточно ли этого – беспокоился я – что- бы настроить ребят на утренние занятия?

Я с юности испытывал потребность в том, чтобы с утра возбудить в себе энергию, вдохновиться (я так это называл). Если вы помните, я пользовался для этого наказаниями и по- учениями Тома Хопкинса. С утра перечитывал их, как бы впитывал в себя. Мне это, действительно, очень помогало. Так почему же – думал я – не найти такой стимулятор энер- гии для детей? Эта идея появилась у меня как раз в то вре- мя, когда я всерьез увлекся Восточной медициной и стал по- немногу заниматься ею с детьми. Однажды, вернувшись из очередной поездки с мамой к Мухиддину в Наманган, сочи- нил я некую клятву, прочел ее детям, и предложил начинать с нее день. Хочу эту клятву процитировать – ведь из песни,

как говорится, слова не выкинешь...

* * *

О МУДРЫЕ АВИЦЕННА, УЛУГБЕК, АРИСТОТЕЛЬ, ГИППОКРАТ И ДРУГИЕ ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ! СПАСИБО ВАМ ЗА ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ОСТАВИЛИ ЛЮДЯМ НА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ! КЛЯНЕМСЯ СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ИХ, ИЗУЧИТЬ, ОВЛАДЕТЬ ИМИ. КЛЯНЕМСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ ЗНАНИЯ НА БЛАГО ЛЮДЯМ, ПЕРЕДАТЬ ИХ ДРУГИМ.

ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ БОИТСЯ ВРЕМЕНИ. ВЫ ДОКАЗАЛИ, ЧТО ВРЕМЯ БОИТСЯ ЗНАНИЙ. ПРОШЛИ ВЕКА С ТЕХ ПОР, КАК ВАС НЕТ, НО ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ ВАШИ ДО СИХ ПОР С НАМИ И ОСТАНУТСЯ С ЛЮДЬМИ НАВЕЧНО!

Каждое утро, встав с постели, дети произносили эту клятву. Вряд ли они (особенно Вика) хорошо понимали смысл того, что я сочинил, но романтику, торжественность клятвы чувствовали.

Очень интересно было наблюдать, как дети произносят клятву. Я напечатал ее на английском и русском. Даня – ему было тогда семь лет – читал очень серьезно, широко открыв глаза и водя пальцем по строчкам. Вероятно, процесс чтения казался ему более торжественным – ведь на самом-то деле он очень скоро выучил клятву наизусть. Вике читать по-рус-

ски было трудновато, но братец ей помогал.

Постепенно приходило и понимание смысла – не очень глубокое, конечно, но все же... Я ведь рассказывал детям, где и когда жил каждый из этих ученых, почему его труды и открытия оказались такими важными для людей, как они передавались из страны в страну, из века в век...

Должен признаться, что на этом моя тяга к ритуалам не закончилась.

Поднимались мы с детьми очень рано и обычно еще наверху, перед тем, как спуститься вниз, наблюдали восход Солнца. К сожалению, не сам восход – горизонт заслоняли дома, – но видны были первые солнечные лучи, озарявшие стену соседнего здания. Мы любовались этими бликами, меняющими цвет, густеющими, набирающими яркость. И вот нашел я в какой-то книге очень оригинальный, на мой взгляд, призыв к тому, как надо встречать восход. Вот он – в переводе с английского.

КАЖДОЕ УТРО В АФРИКЕ ПРОСЫПАЕТСЯ ГАЗЕЛЬ. ОНА ЗНАЕТ, ЧТО СЕГОДНЯ ДОЛЖНА УБЕЖАТЬ ОТ САМОГО БЫСТРОГО ЛЬВА, ЧТОБ НЕ БЫТЬ СЪЕДЕННОЙ.

КАЖДОЕ УТРО В АФРИКЕ ПРОСЫПАЕТСЯ ЛЕВ. ОН ЗНАЕТ, ЧТО СЕГОДНЯ ОН ДОЛЖЕН ДОГНАТЬ САМУЮ МЕДЛЕННУЮ ГАЗЕЛЬ, ЧТОБЫ НЕ ОСТАТЬСЯ ГОЛОДНЫМ.

НЕ ВАЖНО, КТО ТЫ – ЛЕВ ИЛИ ГАЗЕЛЬ. КОГДА

СОЛНЦЕ ВСТАЕТ – НАЧИНАЙ БЕГ!

Эта маленькая притча имеет, конечно, и глубокий философский смысл. Кстати, если вдуматься – не очень-то оптимистичный, правда? Но я считал: главный смысл притчи – в том, что она призывает постоянно быть энергичным. Я ее записал – и мы с детьми стали именно так приветствовать восходящее светило.

Постоянно будь энергичным. Будь деятельным... Можно, пожалуй, сказать, что главная суть моих требований к детям основывалась именно на этом. Не слишком ли многого я от них хотел? Мне казалось, что нет. Ведь те же самые требования предъявлял я и к себе – значит, поступал справедливо. Сам рано встаю – и от них вправе этого требовать. Сам постоянно, чуть ли не каждый день, ставлю перед собой некую задачу – и детей к этому же приучаю.

Лежит в моем семейном архиве тетрадь, заполненная детскими руками. Вот одна-две записи из нее:

«Прошу купить мне в подарок водяное ружье фирмы «Супер Сокер». За это обязуюсь читать «Таинственный остров» Жюль Верна, по 10 страниц в день, пока не прочту все. Даниэл».

«Прошу взять меня в круиз к Карибским островам. До круиза прочту книгу «Дракула». Вика». Вероятно, это был не лучший способ прививать любовь к чтению, но хорошо, что хоть так пытались... Конечно, дети давали и другие обещания. При этом выполняли их без обмана. На каждой

странице тетрадки, на каждом «обязательстве» – моею собственной рукой написано: «Достигнуто». Для большей торжественности – красными чернилами.

Требования... Строгость... Контроль... Ну а как с воспитанием духовного мира? Главных ценностей человеческой личности – доброты, отзывчивости, чувства товарищества. Признаться, я не задавался такими целями. Уверен, что Света и мама давали детям в этом смысле гораздо больше, чем я. Давали собственными своими качествами, своей нежностью, своим отношением. Но что-то мы, конечно, упускали. Да и ошибок, вероятно, делали немало.

Нашел я недавно в своем дневнике такую запись: «Ханан скопил 50 долларов и пересчитывает каждый день». Прочел – и тут же вспомнил: захожу вечером в детскую, а Данька сидит на полу и сосредоточенно, шевеля губами, пересчитывает денежки из копилки. «Откуда у тебя столько?» – «Заработал! Делал лимонад и продавал в школе». Сознаю: я порадовался, что у моего ребенка такие коммерческие таланты! Кстати, позже выяснилось, что Данька за плату помогал одноклассникам делать домашние задания... Мне почему-то не пришло в голову, что брать деньги за помощь своим товарищам или чем-то торговать в классе стыдно, что в определенных обстоятельствах законы коммерции безнравственны... Этот маленький коммерсант даже у сестренки брал деньги за то, что катал ее на спине по ковру гостиной! Двадцать пять центов – за круг. Еще столько же – чтобы остано-

вился и дал слезть... И Вика – кроткое создание – платила! Слава богу, что когда Данька подрос его умение подзаработать (а он с пятнадцати лет сам обеспечивал свои карманные расходы) не переросло ни в жадность, ни в желание нажить-ся на ближнем! Но повторю: это – не наша заслуга...

Вика была гораздо бескорыстнее, добрее. Ей и в голову не приходило требовать деньги за те услуги, которые она то и дело оказывала брату. Скажем, за то, что перед сном она бегала наверх, чтобы включить свет в спальне Ханана: он боялся темноты. А вот – комическая сценка, которая, вероятно, повторялась не раз... Данька (ему семь лет) так безобразничал на уроке музыки, что мне пришлось поставить его в угол. Данька громко ревет (выйти из угла он не может, я нахожусь неподалеку) – и призывает сестру: «Вика, ну где ты? Спаси меня!»

Этим воплем погибающего – Save me! – Данька постоянно призывал на помощь свою добрую сестренку. И она тут же откликалась. Вот и теперь подходит к Даньке, чтобы встать рядом с ним.

– Рядом не разрешаю! – Я все еще зол на сына, но ведь и доброту дочурки нельзя не оценить. – Ты, Вика, можешь стать в соседний угол. И оба – лицом к стене!

Моя рыженькая Викулька, опустив головку, исподлобья поглядывая на сердитого папу, подходит к другому углу. Ханан уже не ревет, а только всхлипывает. Через какое-то время слышу: «Вика, что молчишь? Расскажи что-нибудь»...

Часто ли я наказывал детей? Ну, не очень, но... Вот забежишь днем с работы домой – и еще с улицы слышишь визг и вопли. В гостиной идет бой, летят подушки, по всему полу разбросаны книги и журналы. Увидев меня, мама выглядывает из кухни, разводит руками – что, мол, я могу с ними поделаться? Тут, ясное дело, дети получают взбучку. То в углу постоят, то лишаются обещанного подарка. Комнату сына я прозвал «Зона бедствия». Не сам придумал – так гласило одно из объявлений на его дверях: Danger Zone! Что вполне соответствовало действительности: зайти в «зону» было почти невозможно. Не помогали ни просьбы, ни наказания.

... Прошли годы. Недавно зашел я к Даниэлу – и вижу: стоят у него на подоконнике пластиковые солдатики. Я расхохотался: «Что это – снова в игрушки играешь?» – «В детстве ты отбирал их у меня, – буркнул сын. – Не разрешал играть». Я даже расстроился – неужели не разрешал? Не помню... Скорее всего, рассердился вечером, увидев, что творится в детской комнате – и наказал: забрал солдатиков. О причине наказания Данька позабыл. А обида, что отобрал – осталась...

Порой поспоришь о чем-нибудь с Данькой, потребуешь чего-нибудь – а он попрекнет с ноткой юмора: «Папа, ты деспот! Ты лишил нас детства!» И все же надеюсь, что больше здесь юмора, чем горечи. Да это и видно по тому, как относятся к нам со Светой дети.

Глава 56. «Мой дядя самых честных правил»

Я вспомнил знаменитую строку Пушкина, – начало «Евгения Онегина», – когда, работая над этой книгой, стал размышлять о причинах разрыва отношений с моим дядей Михаилом Юабовым.

Да, – и я долгие годы считал, что «Мой дядя – самых честных правил». И «он уважать себя заставил» тоже вполне подходящие слова: действительно, дядю Мишу уважали все. В том числе и я, – очень долго. И уважал, и любил. И он меня любил, не сомневаюсь в этом! Помню его веселый клич времен моего детства: «Рыжик, кака-ая?..» И жена его, тетя Валя, была со мной нежна по-матерински.

Одна из самых ранних моих детских «картинок» – мне было около трех лет – прогулка с тетей Валею и с дядей Мишей по ташкентскому парку. Я вижу ее почему-то в сиренево-розовых тонах. Садовая скамейка, на которую меня усадили: вероятно, я устал. Надо мной склонились Миша и Валя. Вижу их радостные, смеющиеся лица. Я тоже улыбаюсь им...

В ташкентском доме № 6, у деда, дядя по праву главенствовал. Мне казалось, что в его присутствии даже бабушка Лиза перестает быть крикливой и злобной. Во время семейных разборок – эти шумные выяснения семейных отноше-

ний у нас, как и в других еврейско-бухарских семьях, обычно происходили в широком кругу родственников (не наследие ли древности, когда созывалось все племя?) – дядя Миша неизменно выступал в роли судьи-миротворца.

Напомню, что дядя был физиком, кандидатом наук, чем вся семья очень гордилась. Когда я подрос, дядя Миша помог мне стать студентом Ташкентского педагогического института, где он работал. В советские времена для поступления в институты мало было иметь хорошие знания. Требовался блат. Не буду объяснять эту идиому, – она и сейчас не вышла из употребления. Дядя Миша согласился замолвить за меня словечко экзаменаторам. Ох и нелегко обошелся мне этот блат! Обычно дядя занимался летом с группой учеников-абитуриентов. На этот раз включил он в группу и меня. Но за моей подготовкой следил особенно жестко.

Занимались мы во дворе, под сенью шпанки. Помню дядин голос – негромкий, но хорошо поставленный голос педагога. Помню, как он замолкал, если кто-то из учеников был недостаточно внимателен. Сильнее всяких наказаний действовало на учеников это молчание и строгий взгляд. Дядя, несомненно, был хорошим педагогом: на экзаменах его ученики меньше четверки обычно не получали.

Но и в других делах, не связанных с его профессией, был дядя человеком умелым и неутомимо работоспособным. Я убедился в этом, когда после пожара на Коротком Проезде пришлось ему покупать новую квартиру в кооперативном

доме. Квартира эта была в ужасном состоянии. Все свободные вечера, все выходные дядя занимался ремонтом вместе с мастерами и подручными. Да и нас с Юркой заставлял потрудиться. Вместе с ним мы сбивали со стен старую штукатурку, вывозили мусор, шпаклевали, красили. Конечно же, Юрка отлынивал от работы как мог. В один из особенно трудных дней, когда завезли гипсовый раствор для стен, мой хитрый братец исчез и разыскать его не удалось. Пришлось нам с дядей без него переносить раствор со двора в квартиру – на носилках, во второй этаж... Мне казалось – спина вот-вот переломится... Наверно, потом хитрецу досталось – ну да ему было не привыкать!

Словом, повторяю: к дяде я относился с уважением, немного его побаивался. Неприязнь к нему я начал ощущать, когда стало доходить до меня его презрительное отношение к маме. Потом понял, что и с тетей Вале́й ведет он себя не лучше, чем мой отец с мамой.

Мне было лет двенадцать, когда я впервые увидел Валу с большим синяком под глазом... Дяди Миши дома не было. Валя с мамой, усевшись рядышком на веранде, долго говорили по душам. Валя, всхлипывая, рассказывала: опять был скандал с бабушкой Лизой, бабушка пожаловалась сыну – а он, как всегда, набросился на Валу с побоями и с матом.

«Ай да дядя Миша! А ведь кажется таким мирным, добрым... Значит, притворяется?» – со страхом и удивлением думал я. Однако, эти неприятные чувства и мысли вскоре за-

былись. Ведь я был ребенком, к тому же со мной дядя Миша был справедлив. Мы оставались близкими людьми. Когда мы оказались в Америке, долгая разлука вроде бы даже усилила это чувство. Я-то, конечно, особенно тосковал без Юрки. Мы переписывались, перезванивались. Когда через одиннадцать лет дядя Миша с семьей переселился, наконец, в Штаты дружба наша продолжилась.

* * *

В Америке дядя вынужден был отказаться от своей престижной карьеры педагога-физика: ему так и не удалось освоить в совершенстве английский язык, хотя учился он упорно. Не жалуясь, не вздыхая, как многие иммигранты («кем был, кем стал!») он круто сменил профессию: пошел набивать руку в сапожную мастерскую моего отца. Примерно в это время мы, наконец, изгнали папашу из дома... Конечно же, дядя был огорчен разводом родителей, но ведь он хорошо знал, кто виноват в этом. Мама, как и прежде, видела в дяде Мише родственника и друга. Дядя хорошо нас принимал, любил произносить за ужином долгие тосты. И хотя я был уже взрослым человеком, мужем и отцом, меня приводили в радостное, почти восторженное состояние его проникновенные речи, в которых он вспоминал наши с Юркой детские годы, называл меня Рыжиком. Что поделать, — я таков: мою душу согревает доброе слово.

Мама и тетя Валя сдружились еще сильнее, чем прежде. Да и я тетку очень любил. Настолько, что нередко, звоня с работы домой, машинально набирал не наш, а ее номер телефона...

Примерно через год после переезда в США дела у дяди наладились: он открыл свою мастерскую, квартиру сменил на более просторную. А у нас с мамой вскоре начались печальные события: выяснилось, что мама тяжело больна. Не буду снова писать об этом, скажу только, что мы, казалось бы, могли ожидать сочувствия и поддержки близкого родича. Да, – года четыре так и было. Но примерно год спустя после первой поездки в Наманган к доктору Мухитдину Умарову я стал замечать, что дядя с каждым днем все больше отдаляется от нас с мамой. Прекратились застольные речи, шутки. Приходишь – а он, здороваясь, еле кивнет. И однажды, когда я, навестив Юрку, уходил, Михаил Юсупович – хмурый, бледный, – тоже вышел в прихожую и сказал: «Валера, нам нужно поговорить»...

Мы с дядей сели в мою машину, взволнованный Юрка, несмотря на протесты отца, присоединился к нам. И вот тут я услышал от дяди Миши: мы с мамой не должны больше бывать у него в доме.

Не бывать у него в доме... Трудно передать, что я почувствовал. Мне показалось, что дядя ударил меня. Ошеломленный, озлобленный, я ответил грубостью. «Не слушай его, Лерыч, приходи, хоть каждый день!» – вопил Юрка... Впро-

чем, вспоминать этот разговор мне до сих пор тяжело.

Должен признаться: мы с мамой и после этого разговора продолжали навещать своих родных. Ведь мы и прежде не столько к дяде Мише ходили, сколько к деду, к Юрке, к тете Вале. И теперь так делали – не только потому, что хотели их видеть, а потому, что не желали подчиняться Мише.

В чем же была причина дядиной вражды? Что ее вызвало? Сочувствие к брату, с которым он продолжал встречаться? Злоба, что тетя Валя дружит с мамой и откровенно ей рассказывает, как невыносимо тяжело ей живется с мужем? Страх, что мама уговорит Валу уйти от него? Скорее всего и то и другое. Но не все ли равно? Скажу только, что с этого дня навсегда исчезла моя любовь к дяде Мише, исчезло уважение. Вернее, то, что еще оставалось от этих чувств: ведь я уже давно замечал дядино двуличие.

* * *

«Валера, – сказала мне однажды мама, – твой дядя боится, что мы – дурной пример для его семьи. Он требует, чтобы Валя и Юра порвали с нами». – «Ничего у него не выйдет!» – воскликнул я. К несчастью, я ошибся. Правда, наша с Юркой дружба оказалась нерасторжимой, – Юрка отцу не верил. Но, как ни печально, дружбу тети Вали с мамой ему удалось разрушить. Этот злобный человек был умнее и хитрее простодушной своей жены. Он воспользовался какой-то

глупой ссорой подруг, стал настраивать Валю против мамы, наговаривать, лгать...

Каким же он был бездушным! Ведь знал, как тяжело больна мама, как нужна ей поддержка! Но я-то все время думал об этом. И весной 1996 года, после очередной маминой поездки к доктору, встретился с тётёй Валеёй. «Ведь вы так близки, вас так много связывает. Я вижу, как мама страдает – помиритесь!» – волнуясь, говорил я. И услышал в ответ: «Её слезы всегда были притворными».

Надо ли объяснять, что я почувствовал? Как Валя – близкая из близких – могла сказать такое! Я не смог скрыть от мамы этот разговор. И тут она мне тоже призналась: она звонила Валеё в Йом Кипур – и попросила у подруги прощения. День Искупления очень часто становится днём примирения после долгих ссор. Но Валя, ничего не ответив маме, положила трубку.

Как сильно, как глубоко мама любила Валю, я осознал, когда мамы не стало. Мне рассказала Эмма: мама, уже почти при смерти, хотела увидеться с ней. Валя узнала об этом в день маминых похорон. Вечером, возвращаясь, я увидел её у входа в наш дом. Почувствовала ли она раскаяние или это была дань обычаю, суеверный страх оскорбить умершую? Не знаю. Лицо её было... пусто, – другого слова не нахожу. И я не захотел говорить тётёе о том, что мама Эстер ушла из этой жизни с болью в сердце, так и не поняв, как случилось, что после тридцати лет близкой дружбы подруги расстались

друг с другом...

* * *

Больно вырывать из сердца близкого человека. Невыносимо больно увидеть предателя в том, кого считал любимым дядей.

Сейчас эта боль утихла. Но, Миша, стал для меня чужим человеком.

Еще недавно, в дни моей юности, семейные отношения играли в жизни бухарских евреев немаловажную роль, обсуждались, волновали. Я уже писал о частых семейных разборках, когда в выяснения личных отношений вовлекались десятки родственников. Все они считались членами семьи. А сейчас... Не поручусь за всех, кто принадлежит к моей нации, к ее бухарской ветви, но для меня семья – это моя жена, дети. А прочих, среди них и дядю Мишу, я не считаю родней. Моя родня – это не те, кто близок мне по крови, а люди, близкие духовно.

Глава 57. Трудные времена

Время – явление таинственное. Казалось бы, его четко определяет физика – расстояние, деленное на скорость. Казалось бы, оно математически точно исчисляется на календаре. Но в нашем восприятии, в ощущениях наших, время приобретает совершенно иные черты. Чаще всего мы ужасаемся тому, как быстро оно пролетело. И с особой стремительностью, словно птицы, пролетают счастливые времена. Но вот наступают времена трудные – и кажется, что они ползут, тянутся, никогда не окончатся...

Что-то вроде этого ощущал я, сидя я за своим рабочим столом сентябрьским вечером две тысячи восьмого года. Почему именно этот вечер вспомнился мне сейчас – не знаю: ведь мои горестные размышления продолжаются и сегодня...

Было поздно. В офисе стояла тишина, только шипели кондиционеры. Какая тишина, – вдруг подумал я. А как раньше шумно было по вечерам! Громкие голоса агентов, телефонные звонки, дробный стук клавиатуры компьютеров, шелест бумаги на неустанном ксероксе... Словом, тот самый деловой шум, который говорит об успешном бизнесе. Куда же все это девалось? И стал я – в какой уже раз – припоминать, событие за событием, нашу с Давидом многолетнюю трудовую жизнь.



Дуглас Эдвард, которого справедливо называют «отцом американских торговых операций» (он, кстати, был учителем моего кумира Хопкинса), утверждал, что в бизнесе не существует понятия «достигнуть вершин». Неподвижности нет – бизнес либо растет, либо падает, разрушается. Мы с Давидом считали это определение очень важным и с самого начала совместной работы обсуждали, чуть ли не каждый вечер, какие изменения произошли в наших делах сегодня. Мы были начинающей, притом очень маленькой фирмой, но образцом для нас служила знаменитая компания «Сентури 21 Металлиос», где прежде работал Давид. Конечно же, мы не пытались подражать слепо – да и куда нам было делать все, что делал «Металлиос» – а перенимали то, что было возможно, даже мелочи. Кто, например, должен отвечать на телефонные звонки? Секретарь? Вроде бы это удобно и разумно: никому не приходится отрываться от дела. Но в «Металлиосе» к телефону подходили агенты. Ведь они, располагая информацией о том, что может предложить фирма, могли сразу же ответить на вопросы покупателя или продавца недвижимости. И первые встречи с покупателями происходили только в офисе: надо же сначала разобраться, что это за человек, «сколько он стоит», а уж потом показывать ему дом...

За те десять лет, что наш офис находился в Вудсайте (мы

переехали туда из подвала моего дома), «Саммит» подрост. У нас работало 15 агентов, родственные фирмы в районе уже с опасением поглядывали на конкурента, мы стали пользоваться доверием. А «друзья и родственники кролика», в особенности моя мама, считали, что мы добились больших успехов, и очень нами гордились. Но мы-то с Давидом прекрасно понимали, что достигли уровня преуспевающей лавочки, размеров парикмахерской в несколько кресел. «Нужно расти, – то и дело твердил Давид. – Мы должны выстрелить!» Но как выстрелить? Чем? Есть ли у нас ружье, которое, по словам Чехова, должно выстрелить, если оно висит на стене? Давид на это отвечал: наше оружие – агенты. Надо нанимать и обучать все новых. И работать с ними, работать – учить, помогать, контролировать!

Эти слова Давида были косвенным упреком в мой адрес: я с азартом занимался фермерством, агентами же – так, между прочим. Но однажды он высказался прямо: «Мы не должны конкурировать со своими агентами, Валера. Надо отойти от личных продаж. Кстати, в менеджменте “Металлиоса” на них наложено табу».

Теперь я со стыдом вспоминаю, как долго этому сопротивлялся. Отказаться от фермерства? Что за пустая жизнь у меня будет! Ежедневное «хождение в народ», общение с людьми приносило мне радость, давало выход энергии – ведь я по природе своей суперактивен. Шутка ли – обстукивать шесть тысяч дверей ежегодно! К тому же я занимался дела-

ми общественными, был членом Совета директоров района. Прибавьте сюда и деньги... Разве я не служу примером для наших агентов, разве не показываю им, как надо работать? А что предлагает мне Давил вместо этого? Выступать в роли босса, хозяина фирмы... Целыми днями торчать в офисе... Вот уж к чему у меня нет никакой склонности! И я сопротивлялся, упирался.

Бедный Давид! Спасибо ему за терпение! Да разве только за это?

Мы с Давидом очень разные люди – по характеру, по складу ума. Давид – аналитик, человек трезвого разума, обладающий неумолимой логикой. У него и внешность говорит об этом. Взгляд, пронизывающий насквозь. Поглядит – и тебе кажется, что прочитал он все твои мысли, даже самые тайные. При этом он всегда выглядит спокойным. Всегда – даже если на самом деле напряжен и взволнован. За невозмутимым лицом и удобной позой – откинувшись на спинку кресла, нога за ногу, неторопливо затягивается сигаретой – подчас скрывается стремительное рождение идей, поток атакующих собеседника аргументов. Я совсем не такой – и это тоже видно с первого взгляда. Я эмоционален, открыт, мое лицо произвольно выражает мои чувства – гнев, обиду, радость. Даже когда я хитрю, это заметно. Разве что улыбку – благодаря фермерству – я научился изображать. Я легко поддаюсь влияниям, можно сказать – ищу их и, найдя, отдаюсь всецело тому, чем увлекся. Зная мою поглощенность фермер-

ством, легко понять, почему я так упорно и долго сопротивлялся уговорам Давида, отказывался понять его правоту. Не скрою, притягивал – да еще как – «тот кумир – телец златой». Большие деньги приносило мне фермерство. То есть как и прежде, мои личные продажи, а не часть доходов компании. По сути дела, я пренебрегал партнерской этикой. Партнерство – это ведь не только деловые отношения. На мой взгляд, оно не может быть успешным, если не превращается в настоящее товарищество, более того – в дружбу. Мы с Давидом и стали друзьями. При этом я признавал его деловое превосходство, его умение анализировать, предвидеть. Признавал. А вот с фермерством уперся, как небезызвестный четвероногий спутник Ходжи Насреддина. И продолжалось так года два.

* * *

«Больше агентов – и соответствующий по размерам офис. Надо расширяться – и мы выстрелим!» Давид был немногословен, но это повторял много раз. В 1999 году мы, наконец, продали свой офис в Вудсайде и купили другое здание – в Форест-Хилс. Оно было много больше и ближе к кварталам, где проживала значительная часть наших потенциальных клиентов. Это событие стало символом, возвещавшим, что мы выросли и намерены продолжать движение. Однако покупка дома стоила денег не символических, а вполне ре-

альных. И легло это, как и другие наши траты, на мои плечи: пришлось мне заложить в банке свой дом. «Идеи наши, а деньги ваши», – шутил по этому поводу Давид, цитируя своего любимого Остапа Бендера. Мой партнер и друг скромничал: не только идеи вложил он в эту покупку. Двухэтажное здание – внизу магазин, на втором этаже – две квартиры (мы их потом сдавали) – было старым, ветхим, его надо было перестраивать. И Давид на восемь с лишним месяцев превратился в архитектора, в прораба, в строителя. Ни один гвоздь не был вколочен, ни капли цемента не залито без его надзора. Он наизусть знал каждую линию, каждую пометку в чертежах архитектора. То и дело с возмущением рассказывал мне о разгильдяйстве рабочих: «Ты не представляешь, что они натворили, когда я ходил перекусить!» Вчера это была лестничная ступенька, прибитая криво. Сегодня – подгнивший брус, оставленный в стене... Ошибок Давид не прощал: заканчивала ремонт здания третья по счету бригада.

* * *

«Набирать и обучать агентов!» Этим мы с Давидом и занялись в своем новом офисе. Как только вывесили объявление, люди к нам прямо-таки потекли: то ли времена были хорошие, то ли здание наше привлекало – говорило о солидности фирмы. Да – мы, наконец, «выстрелили».

Обучать агентов – дело непростое. Ведь агент-новичок на-

ивно предполагает, что его задача – показывать квартиру за квартирой или дом за домом – пока покупатель не скажет: «Да, вот этот!» Надо было втолковать агентам, что они не экскурсоводы на выставке продающейся недвижимости. Нет – они, если хотите, психологи, умеющие чутко прислушаться к клиенту, настроить его определенным образом. Курс наших лекций агентам так и назывался: «Психология купли и продажи». Давид обучал общению с покупателями, я – с продавцами домов. Мы хаживали друг к другу на лекции, и я многому научился у партнера.

На каждом занятии Давид предлагал слушателям решить небольшие задачи: как действовать в той или иной ситуации.

«Звонит покупатель. Что его интересует? – спрашивает Давид. – Правильно: стоимость домов, имеющихся в продаже. Как вам поступить – дать информацию по телефону или, не отвечая, пригласить на встречу?» Дав агентам поспорить, Давид объяснял, почему следует приглашать. «Узнав, что хотел узнать, покупатель положит трубку. Он уже потерян, недоступен вашему влиянию. А оно необходимо! Без обоюдного доверия, без координации действий вы не можете быть активным участником сделки, не продадите именно то, что надо. Доверие надо заслужить при личном знакомстве. Но не удивляйтесь, что на встречу придет один из четырех или пяти позвонивших. Почему? А потому, что явятся те, кто действительно нуждаются в вашей помощи».

Казалось бы – какая разница, сколько домов показывать

покупателю за один раз? И в какой последовательности – лучшие или худшие сначала? На этот вопрос агенты-новички обычно отвечали: «Лучший дом – последним: тогда его и выберут». Давид усмехался: «Это вы знаете, что показываете последний. Но покупатель, увидев его, подумает: а нет ли в загашнике дома получше? И будет капризничать: «Еще покажите». А если после хорошего дома покупатель увидит менее благоустроенные, лучший непременно перевесит». Советовал он агентам показывать в один заход не больше трех-четырех квартир или домов: «Покупатель будет растерян, все смешается в памяти – как тут сделать правильный выбор?»

Разнообразие и точная направленность его советов порой просто поражали меня. Вот Давид задает вопрос: вы подыскиваете дом для семьи, состоящей из работающих супругов и дочери-подростка. Какими удобствами должен обладать дом? Ответы агентов довольно однообразны: количество спален, близость к метро, к школе, к месту работы... «Нет, я не о том! Угадайте – куда по утрам дружно стремятся все члены семьи? Угадали? Тогда вспомните: сколько времени проводят утром в ванной комнате девочки-подростки? А? Вот-вот, о том и речь: в доме должно быть не меньше двух туалетов. – И насмешливо добавляет: – Это я к тому, что нередко агенты бегают, как куры безголовые, и показывают дома, не разобравшись в потребностях покупателя»...



Золотое было время. Бизнес наш все рос. Годовой оборот «Саммита» достиг «ужасных» размеров: полтора миллиона долларов! У меня аж дух захватывало. В светлом, нарядном офисе работа кипела с девяти утра до позднего вечера. Появился менеджер, секретари, бухгалтеры-программисты и агенты сидели у компьютеров. Агенты – их было уже сорок пять – сновали, как пчелы... Телефоны звонили, не переставая. Гулкий голос микрофона, словно на аэродроме, возвещал из приемной о приходе клиента. Приятно вспомнить, как четко была организована каждая мелочь нашей деловой жизни. Все документы (перечень их занесен в специальные книги) – в папках, каждая – в определенном ящике. На стенных досках – краткие сведения о продающихся или покупаемых домах. Словом, на виду любая информация, необходимая агентам.

А у моего неугомонного партнера возник новый замысел: посредничать в оформлении ипотек для покупателей. Для них – удобство, для нас – прибыль... Так и появилась рядом со светящейся вывеской «Саммит» еще одна: «Эстер Капитал». В память о маме – ее не было с нами вот уже несколько лет...

Не просто было нам с Давидом дирижировать таким оркестром. Планерки, совещания, уроки, подготовка новых ре-

клам. Невозможно сосредоточиться, спокойно поработать в кабинете – то агент с вопросом забежит, то менеджер требует совета, то гулкий вызов: «Давид и Валери, вас ждут в приемной!» У нас времени не оставалось не то, что с женами по телефону поговорить – в туалет сбежать. Но такая усталость – усталость успешных, преуспевающих дельцов – она только радует. Ведь мы-то своими глазами видели, чего добились за пятнадцать лет: среди нескольких сот риелторских компаний Квинса наша фирма заняла двенадцатое место! И когда однажды нам предложили продать фирму за два миллиона долларов – при этом за дом давали еще полтора – мы с Давидом долго смеялись: «Какая наглость! Ну, за шесть – куда ни шло»...

* * *

Да, прекрасное это было время – бодрости и надежд, гордости и оптимизма. Пятнадцать лет роста, четыре года преуспевания. Куда же оно ушло?

Впрочем, мы ли с Давидом не знали, что такое кризис? За двадцать лет работы мы уже несколько раз переживали периоды общего спада. Скажем, в 1987 году, при Рональде Рейгане, был изменен налоговый кодекс – и сразу стали падать инвестиции в недвижимость. Рост начался только через пять лет. В 2001-м снова стало не до покупки домов – так напугало американцев вторжение в Ирак. Однако же через

несколько месяцев, как только свергли Хуссейна, спад закончился. Спрос на недвижимость вырос настолько, что за пять лет дома подорожали чуть ли не вдвое. Для рядового американца ничего хорошего в этом не было. Напомню, что в Америке – единственной стране мира, где правительство поощряет владельцев недвижимости – свой собственный дом имеет свыше 55 % населения. А покупка домов, несомненно, стимулирует экономику. Да и собственник «укореняется»: денежки его не по ветру летят, не зависят от надежности банка. Но когда цены становятся непомерно высоки, рынок недвижимости непременно должен обрушиться. И не только он один.

Не стану врать – задумывался об этом не я, а Давид. Аналитик по складу ума, он к тому же неплохо разбирался в экономике. Знал ее и практически – когда-то работал на бирже, а теперь планировал и развивал наш бизнес, – знал и теоретически: читал серьезную литературу. Но когда Давид заговаривал о своих опасениях, я только плечами пожимал. Да, конечно, все может быть. Но представить себе глубокий спад – «ледниковый период» – когда рынок «огненно-горяч»...

Но вот настали дни, когда и я наконец-то убедился: наступает кризис. Зимой 2006 года я месяцами не мог продать ни одного дома. Ни одного! Количество вывесок риелторов на улицах вызывало нервный смех. Как говорится, «бери – не хочу!» А покупатели-таки не хотели... Не могли!

Этот зловещий признак был только началом периода

упадка, долгого и сильного. Кризис стал самым глубоким со времен Великой депрессии. Он охватил всю планету. В Америке, в стране, где из года в год находили себе пропитание миллионы гастарбайтеров, началась безработица, которая перевалила за 10%! Количество бездомных приближалось к полутора миллионам. Впрочем, к чему рассказывать то, о чем уже написаны многие сотни статей и немало книг? Да и сами кризисы, как явление, исследуются уже больше двух столетий. Карл Маркс, как известно, предрекал, что они примут циклический характер, что из-за банкротства банков начнется их национализация, а это приведет к коммунизму. Действительно, нынешнее банкротство банков, которым не выплачивались кредиты, было угрожающим, но до национализации дело не дошло. Как, слава богу, не дошло и до коммунизма... По крайней мере – на этот раз.

К началу кризиса я, давно уже поняв правоту Давида, не конкурировал с агентами, не занимался фермерством. Только учил их. Но учились они плохо, на фермах бывали редко. До спада это особого вреда не приносило: спрос на жилье все равно был высок. Но теперь поддержать нас могла только неустанная работа фермеров.

– Из сорока пяти агентов настоящим фермером стал только один, – сокрушался я. – А мне казалось, что десятерых я обучил. Какой черт их дернул бросить работу!

– Не черт, а двое чертей, – усмехнулся Давид. – Это Рафаилов и Ибрагимов твердили всем, что фермерство ниче-

го не дает... Ну конечно – что же оно даст, если обстучать сотню-другую дверей и бросить? – Ох, эти русскоязычные агенты! Все они знают, все понимают. Вот только пословицу забыли: «без труда не вынешь и рыбку из пруда». Уж кто-кто, а ты это знаешь. Ты обстукивал ферму по многу часов, в дождь, в снег, в жару. Тебя не угнетали неудачи... Эх, не догадались мы избавиться от уродов, которые и другим сломили дух! – Давид сморщился и покачал головой. – Что же, Валера, урок пойдет на пользу! Знаешь, что я понял? Самые подходящие для нас агенты – это женщины. Немолодые: дети уже выросли, домой спешить не надо... Женщины не бедствующие: работающий муж обеспечивает какой-то доход...

Так толковали мы с Давидом, обдумывая, в чем наши ошибки и что надо предпринять.

Так пытались бороться с подступающей бедой. Но уже и самые лучшие агенты не могли нас спасти. Давид понял это много раньше, чем я.

* * *

В тот вечер, с которого начал я эту невеселую главу, до поздней ночи сидел я в офисе. Вспоминал, раздумывал, оглядывая снова и снова эту ставшую родной мне комнату, где даже кресла казались мне живыми и грустили вместе со мной.

Было это два года назад. Два года – тяжелых, полных и на-

дежд, и разочарований. Вот и третий год пошел, а рецессия все длится. Для «Саммита» обернулась она почти полной потерей доходов. А расходы-то не уменьшились. Каждый месяц оплата ипотеки, земельных налогов, страховок обходится нам почти в шесть тысяч долларов. Еще тысячу тратим на содержание дома. И еще две тысячи – на содержание фирмы. Девять тысяч! «Финансовая пропасть – самая глубокая в мире», – грустно шутит Давид, цитируя Остапа Бендера. Вот и решили мы с ним: довольно купаться в роскоши! На втором этаже офис снова превратим в квартиру, будем сдавать. Три задние комнаты первого этажа, включая наш кабинет, сдадим в аренду. Из девяти комнат оставим «Саммиту» только две и подвал. Расходы уменьшатся вдвое.

Ну а как с доходами? Сколько мы с Давидом ни совещались, никаких прибыльных проектов не появлялось даже у моего энергичного и талантливого партнера. Но смириться с положением, бездействовать... Нет, это было невыносимо! Чем сидеть, сложа руки, займусь-ка я пока снова фермерством. Ведь я же, в отличие от Рафаилова с Ибрагимовым, знаю, как стучать. Хоть что-нибудь заработаю – и себе, и для фирмы! Словом, слухи о смерти «Саммита», как писал о себе, кажется, Марк Твен, «преждевременны и сильно преувеличены!»

Глава 58. Возвращение

«Ну, здравствуй, старая подруга!»

Передо мной на столе лежит толстая тетрадь – обтрепанная, с пожелтевшими страницами, с потускневшими карандашными записями... Это список домовладельцев. Тысяча с лишним фамилий. Возле каждой из них – мои пометки: что-то вроде оценок, характеристик... Своего рода попытки психологического анализа.

«Постарела, подруга, – вздыхал я, листая страницы. – Впрочем, как и я. Оба мы взаперти сидели: ты – в ящике, я – в офисе. И от бездействия листы твои пожелтели еще больше, чем от времени... Ну, ничего, авось теперь снова помолодеем!»

Может, это и покажется кому-нибудь странным, но тетрадку я листал с волнением, и обращался к ней, как к живому существу. Ведь за каждой строчкой, за каждым именем вставали люди. Я вспоминал их лица, даже голоса. Вспоминал наши разговоры. Кстати, это было очень полезно для меня – я снова входил в роль, «репетировал»... Так прошелся я по всем страницам – и список ожил. Но это здесь, в тетради. А многих ли старых знакомых встречу я на ферме? Я выяснил это с помощью Интернета и телефонного справочника. Изменений в списке пришлось сделать немало, но писать его заново, в другой тетради, выбрасывать старого друга, я не

стал. Можете считать меня сентиментальным.

Готов ли я к предстоящим встречам? Восемь лет перерыва в любой работе резко снижают профессионализм. Забываются детали, которые делали тебя мастером. Может быть, кому-нибудь слово «мастер» покажется слишком высоким, неприменимым к человеку, который ходит от двери к двери и предлагает свою помощь в продаже или покупке домов. Могу на это ответить только одно: а вы попробуйте! Мастерство – это твое умение убеждать, твои методы и приемы, твое – не побоюсь сказать – человеческое обаяние. Право же, добиться внимания равнодушных «овечек» на ферме ничуть не легче, чем завоевать любовь равнодушной к тебе девушки! Сейчас приходилось заново вспоминать, как мне это удавалось. Пробудить интерес к себе – это даже важнее, чем заинтересовать конкретным предложением. Надо, чтобы людям хотелось говорить с тобой, слушать тебя, расспрашивать... Вот и принялся я для начала собирать самые свежие сведения о Кью-Гарденс-Хилс: ведь мои «овечки», хоть ныне век Интернета и других СМИ, не очень-то следят за новостями, будь то новости в мире или в районе. Уж больно они «ленивы и нелюбопытны», говоря словами Пушкина. Но если я появлюсь и сообщу им «горячую новость» – скажем: «автобусная линия Кью-74 закрывается» – ох, какие начнутся ахи-охи, негодования, расспросы! Я посочувствую, утешу – и мой приход запомнится... А мне того и надо.

Три недели прошли в приготовлениях. Из какого-то ящи-

ка вылезла на свет божий сумка-портфель, тоже мой старый спутник. «Отдохнул и хватит, – бормотал я, набивая его магнитными визитками, ручками, календарями на новый год, литературой о районе. – Что, тяжело? – тут я перекинул лямку через плечо, она туго натянулась. – Ну, мне-то, пожалуй, потяжелее... Ничего, привыкнем!»

* * *

И вот я снова на своей ферме. Иду по знакомой 73 Аvenues... Чего же я так волнуюсь? Чему радуюсь? Ждут, что ли, меня с распростертыми объятиями клиенты, потрясая чековыми книжками? И вдруг почувствовал: тому радуюсь, что вернулся в активную жизнь, что работа моя – снова на этих улицах, а не в четырех стенах красивого офиса! Да, улица – моя стихия! Здесь я независим, свободен. Я опять среди людей. Встречи с ними покажут, на что я способен. И солидный риелтор, давно уже перешагнувший за четвертый десяток лет, шел и чуть ли не подпрыгивал, как мальчишка, разглядывая знакомые дома...

Знакомые... Еще бы! Я же и после фермерства сотни раз проходил и проезжал по этим улицам. Но сегодня я снова – впервые за восемь лет – шел по ним не как равнодушный прохожий. В каждый из этих домов предстояло мне теперь ежедневно заходить – не раз и не два. И вот сейчас, оглядывая их, я вдруг почувствовал, что эйфория моя про-

ходит. Словно бы другими глазами увидел я родной район. Куда подевался цветущий Кью-Гарденс-Хилс моей юности – с его деревьями, кустами роз, зелеными газончиками? Как же я не замечал, насколько здесь все изменилось? Каменные площадки, металлические навесы, высокие кирпичные заборы...

Странное существо – человек! Иной раз долго ходишь, как слепой, не обращая внимания на то, что окружает тебя. И вдруг – не важно, по какой причине – острота зрения включается, словно луч прожектора, и ты замечаешь... Что именно – не в этом дело. То, о чем я сейчас пишу – только частный случай.

И все же я думаю, что и впечатления, и мысли накапливались во мне постепенно, просто я на них не сосредотачивался. Я же год за годом наблюдал, что происходило, когда Кью-Гарденс-Хилс стали заселять (чему и я содействовал) мои сородичи. Это они превратили зеленый Кью-Гарденс-Хилс в серый камнеград! Недаром же кузен мой Боря с женой удрали в другой район: поселились напротив парка, да и собственный их двор похож на парк. Но ведь у большинства моих земляков в Ташкенте и в Чирчике были сады. Там они берегли и возделывали каждый клочок земли. Почему же здесь, в Нью-Йорке, уничтожили садики и газончики, забетонировали дворики, отгородились заборами? В чем причина такого равнодушия к природе? Такой эстетической слепоты? «Может быть, – размышлял я – у них, пересе-

лившихся в далекие края, так и не появилось здесь чувство родины? Или это чувство ограничивается тем клочком земли, что возле самого дома, а ото всего остального и ото всех остальных надо отгородиться? Как сделал герой стихотворения Роберта Фроста “Починка стены”, который считал, что “сосед хорош, когда забор хорош”»...

Вот у меня и цель появилась, – думал я, шагая по улицам. Не коммерческая – нравственная цель. Кью-Гарденс-Хилс снова должен стать красивым, цветущим! Сделаю для этого все, что смогу. С помощью жителей, конечно – буду их убеждать, объединять!

* * *

Я еще не понимал, на какой «забор» натолкнусь, приняв такое решение. «Забор» этот – собственно говоря, тот самый, о котором писал Фрост – по-научному называется менталитет. Я не националист – боже упаси – и не считаю этот «менталитет-забор» генетически свойственным моим землякам. Кто-то избавляется от него легко, но удастся это далеко не всем.

Кажется, я уже писал о том, что в Кью-Гарденс-Хилс создано было Общество местных домовладельцев. Я давно уже в него вступил и даже был избран в группу правления. Работали мы безвозмездно. Мало того – чтобы Общество располагало хоть какими-то финансами, каждый из нас вносил

членские взносы. Вникали мы в самые разные направления городского хозяйства. То добивались, чтобы движение на улицах района сделали односторонним, то пытались организовать систематическую очистку главной улицы, то требовали построить новое здание библиотеки – и тому подобное. Выдвигая такие просьбы и требования, мы собирали подписи жителей, а затем в виде петиций передавали районным руководителям. Могу похвастаться: за один обход фермы я собирал сотни подписей, больше, чем собирали все вместе остальные члены Общества.

Уже одна эта цифра – сотни подписей – говорит о том, что я не жалел ни физических, ни душевных сил.

... Зимний день. На улице ветрено, холодно, – 5 по Цельсию. Для Нью-Йорка это уже мороз. Но одет я тепло, да и тяжелый портфель на моем боку – что-то вроде обогревателя. Вероятно, некоторое своеобразие моему облику придают и такие мелкие детали: ручка, висящая на шнурке поверх пальто, дощечка в руке – а на ней список «овечек» и очередная петиция...

«Тук-тук-тук!» – Двери открываются.

– Валери?! В такой мороз! Ну, заходите, заходите же!

Это миссис Патч. Американка Кейти Патч – человек добрый, открытый, относится ко мне тепло. Вот и сейчас с интересом слушает, какую петицию я принес. Совет директоров района предлагает, чтобы жители улиц скидывались на ремонт подъездной дороги к домам. Кейти находит это пред-

ложение разумным. Она, не читая, подписывает петицию. Не читая – для американца это неслыханное дело. Воспринимаю ее подпись как знак высочайшего ко мне доверия.

У Кейти, как всегда, много вопросов ко мне. Например, соглашаются ли подписывать петицию пенсионеры. – Ведь им нелегко, – говорит она. А еще ей хочется знать, как отнеслись к петиции русскоязычные жители района. Она слышала, что моих бывших земляков мало интересует сбор средств на общественные нужды. Они предпочитают тратить деньги на многолюдные семейные торжества и роскошные машины. «Объясните мне – почему? – просит Кейти. – Ведь в Советском Союзе все общественное считалось самым главным, не так ли?» Я пытаюсь ей объяснить, что поведение граждан Советского Союза далеко не всегда совпадало с государственной идеологией. Может быть, и потому, что государство ограничивалось лозунгами, а чувства общественной ответственности в людях не воспитывало. Притом очень плохо заботилось о людях, об их личных и общественных нуждах.

Словом, разговор с Кейти, как обычно, был интересным. Она горячо одобряет мои заботы о районе. Зато следующая «овечка»... Пожалуй, точнее будет сказать – волк в овечьей шкуре! Зовут ее Фрида, это одна из моих землячек. Худощавая, бледная, в цветастом платье и в платке, обмотанном вокруг головы, она оглядывает меня недружелюбно, почти враждебно: «Что за мусор вы мне каждый раз приносите?»

Мусор... Петиции для нее мусор... Тут уж я не выдер-

живаю, отвечаю ей какой-то резкостью, уйду. Но, остыв немного, ставлю себе двойку за поведение. Ну, нагрубил... А где же мое чувство юмора? Фермеру необходима терпимость – спутник добра, без нее так легко обратиться в издерганное, озлобленное существо...

Таких, как Фрида, в Кью-Гарденс-Хилс немного. Но «кирпичные заборы» выстраивали, как правило, именно они – мои земляки. И бывало, что заборы – в прямом, а не в переносном смысле слова. Не раз пытался я им объяснить: «Зачем ограждать детскую площадку глухой стеной? Это уродует улицу. Поставьте лучше заборчик из металлических прутьев!» Говорю и чувствую: не понимают меня. Вот-вот ответят: «Не твое это дело»... К чему же я трачу на них время? – подумал я однажды. – Ведь я уже ясно представляю себе характер каждой из моих «овечек». И с каждым новым обходом фермы все отчетливее ощущаю, с кем из них имеет смысл продолжать общение, даже если сегодня оно еще не деловое и неизвестно, станет ли таким. В риелторе Валере Юабове нуждаются люди, с которыми есть контакт, совместимость. Им интересно со мной. Мне – с ними. А люди, подобные Фриде, не нуждаются ни в моей помощи, ни в моих попытках вовлечь их в дела общественные. Они живут «за забором». Мы несовместимы. Возможно, многим покажется, что понятие совместимости не имеет отношения к бизнесу. Ну, смотря как на это глядеть. Я вот полагаю, что бизнес – тот, что связан с людьми – именно тогда успешен, когда

партнеры совместимы. Когда каждая встреча, помимо деловых целей, приносит им радость человеческого общения. К тому же тут рождается и доверие.

Звонит мне, скажем, мистер Кон. Думаете, как к риелтору? Ничего подобного – он пока не собирается ни продавать, ни покупать жилье. Мистер Кон просит меня порекомендовать ему кровельщика... «Пожалуйста – записывайте номер телефона... Кстати, я не застал Вас в мой последний обход фермы. Где Вы были? А-а, на концерте в Линкольн-центре»... Я знаю, что мистер Кон большой поклонник классической музыки. Поговорили о концерте. Потом я спросил, не зацвела ли магнолия в его садике. Немножко посплетничали о соседе мистера Кона – вечно недовольном мистере Блейке. То ему мусорщики по утрам спать не дают, то самолеты мешают – слишком низко летают... Словом, обычный разговор двух приятелей. Такими и становятся для меня многие из «овечек». У меня нет никаких сомнений, что только ко мне обратятся они, как к риелтору.

Но совместимость – лишь одна из причин.

Многих домовладельцев поражает моя осведомленность во всем, что связано с их жильем. А я только посмеиваюсь: они и не представляют, до каких мелочей я знаю их дома... Нет – «знаю» – не совсем то слово. Тут больше подходит – «вижу». Это что-то вроде «картинок» моего детства. Что-то вроде обостренной зрительной памяти. Она начинала проявлять себя примерно после десяти обходов. Иду, скажем, к

какому-то дому. Он еще далеко, а я уже «вижу» его. Рядом с дубом в три обхвата – кирпичное крыльцо с отбитыми углами. Ржавые вздутия под черной краской перил. Старая, выщербленная дверь... Подхожу – ну, все точь-в-точь!

Закрыв глаза, я мог вот так, в деталях, «увидеть» всю улицу. Вероятно, такая зрительная память – большой подарок в моей профессии риелтора. И не только зрительная. Помню я и голоса, помню имена владельцев того или иного дома. Не успеет со мной кто-нибудь поздороваться, позвонив по телефону – я тут же назову его имя, его адрес...

Впрочем, – спасибо Учителю! Как тут все не запомнить, если в каждую дверь я постучал свыше сорока раз?

* * *

Вот так и пас я своих «овечек». И был счастлив, снова убедившись, что фермерство – мое любимое дело. За полтора года мне поручили продажу десяти домов! Я думал, что теперь никто и ничто не вышибет меня из седла. Но судьба готовила мне новые сюрпризы...

Глава 59. Курс лекций профессора

Да, я вывешивал на ферме то две, то три дощечки о продаже домов. Я поглядывал на них и радовался. По моим сведениям, за эти полтора года мне доверили больше продаж, чем другим известным мне риелторам. Я надеялся, что возле каждой из дощечек вот-вот появится еще одна с надписью: Sold. Дом продан... То есть покупатель не только найден – он уже подтвердил свои намерения: получил банковский кредит и готов завершить сделку. Вот тут и риелтор вознаграждается за свои труды... Но шел месяц за месяцем, а из десяти домов мне удалось продать всего один – дом супругов Файбер на 77-й Роуд.

* * *

Продажа недвижимости подчиняется общим законам рынка. Главное для нее – покупательский спрос. Спрос велик – все идет как по маслу. И сделки совершаются быстрее, и банковский кредит оформляется легче, и ясное дело, доходы у риелтора выше. Так вот, главное исчезло: спроса не стало... Почему? Куда девались покупатели?

О некоторых причинах я догадывался. Владельцы небольшого бизнеса – будь то парикмахер, сапожник, хозяин ресторана – как правило, скрывают свои реальные заработки, что-

бы уменьшить подоходный налог. А плохие времена осложнили работу с банками: чтобы оформить кредит на покупку дома, необходимо подтвердить свои сбережения и достаточно высокую зарплату. Не удивительно, что люди жмутся, откладывая покупку дома на лучшие времена. Повлиял кризис и на продавцов – владельцев домов: они стали запрашивать слишком дорого. Ведь недвижимость – это копилка, чем дольше ее не трогать – тем лучше. Либо уж надо вытрясти из нее как можно больше! Вот и слышишь: «У нас не горит, обождем до лучших времен».

Большинство домов простаивало на рынке месяцами, заканчивались и не возобновлялись сроки контрактов с нами, риелторами. И мы, бедные, крутились в поисках заработка, как воробьи в поисках еды возле опустевших вечером прилавков.

Именно это испытал я, как говорится, на собственной шкуре. Впервые за двадцать пять лет супружеской жизни нашей семье приходилось – и приходится сейчас – довольствоваться заработком Светы. Выручает то, что дети выросли. Даниэл – ему уже двадцать два – преподает математику в родном колледже, поступил в аспирантуру в Simon Buisness School. Вика – она тоже подрабатывает в аптеке – учится на фармацевта. Осталось только Эстер вытянуть. Хорошо, что семья у меня такая дружная, что трудности ее только сплачивают! Оптимистичная Света успокаивает, уверяет, что все образуется. А Дэниэл с Викой уговаривают: «бросай ты это

дело, перестань зря двери обстукивать! Продай здание «Саммита», и живите с мамой на эти деньги».

Бросить риелторство рекомендует мне и Давид Кессел, мой партнер. Давид убежден: экономический застой будет долгим. А застой – это высокая безработица, это трудно оформляемый и все повышаемый банковский кредит. То есть именно то, что препятствует нашему бизнесу. Сам Давид уже давно отошел от него и занимается изучением фондовой биржи. Давид – человек волевой, приняв решение, он не колеблется, не оглядывается. Не то, что я. Ведь с доводами партнера я согласен, но принимает их как бы половина моего существа – мой разум. А другая половина – душа – плачет, как дитя, которому предлагают выбросить сломавшуюся любимую игрушку. Моя ферма – как буду я жить без нее? Столько лет я пас своих «овечек», свыкся с людьми, привык встречаться с ними. Ферма стала уже не столько местом, где я делаю бизнес, сколько моим кругом общения, моим выходом в мир... И в моей неразумной душе упрямо жила надежда: проклятый кризис скоро закончится, должна же измениться экономическая ситуация! Я подожду, у меня есть силы, я не хочу сдаваться!

Вот так и получалось, что по утрам, приходя в офис, я как бы раздваивался. Разумная моя половина с интересом наблюдала за работой Давида, слушала его рассуждения, соглашалась с ним, но примерно к полудню вторая моя половина, живущая не разумом, а чувствами, выходила из под-

чинения, начинала упрямо твердить, требовать: «на ферму, на ферму!» И она побеждала: я убежал, на ходу воскликнув «встретимся вечером!»

* * *

... Зима была снежная и холодная, но короткая. Весна, необычно теплая, пришла на месяц раньше, чем всегда. В начале марта ветер из студеного, жалящего превратился в теплый, полный весенних запахов. За день-другой все зазеленело, зацвело. До чего же хорошо было, расхаживая по улицам, подмечать все мелочи весеннего пробуждения! Кажется, мои глаза приобрели какую-то особую зоркость и восприимчивость. Всмотривался в только что распустившиеся листья живой изгороди, любовался: какие они тоненькие, насквозь просвечивают... А зелень какая светлая, нежная... Вот листочки дрогнули на ветру – и я, с жадностью глотая воздух, кажется, чувствую их аромат.

Особенно я любил одно местечко на 76-й роуд. Там, напротив поляны, рос мой любимый белый дуб. Могучий, в три объёма – значит, древний, проживший уже несколько веков. Задрав голову, я разглядывал корявые ветки – не мелькнет ли на их темном фоне зелень первых листочков. Но нет: дубы распускаются довольно поздно, кажется, не раньше апреля. И все равно я радовался встрече со стариком. Садился на корточки, поглаживал узловатые корни великана, тоже

могучие, взломавшие цементные плиты тротуара. Когда-то меня это возмущало: непорядок, люди же спотыкаются. Не раз требовал, чтобы хозяева соседнего дома вырубili корни, починили тротуар... Ну и чудак же я был! Подумаешь – взломаны плиты, этим гордиться надо: ведь такого дуба не найдешь, небось, во всем округе!

* * *

Но природа – природой, весна – весной, а ферму свою я обстукивал упорно. Ходил от дома к дому – и настраивал себя на деловой лад. Даже более чем на деловой. Я припоминал примеры из книг, из истории, когда упорство и вера в свое дело помогли людям преодолевать величайшие трудности. Может, и не подходит слово «героизм» к моей скромной деятельности – она же не меняет ни хода истории, ни людских судеб – ну а все-таки упорство остается упорством. Умение выстоять остается умением выстоять. И я ходил от дома к дому, улыбался, затевал разговоры. Здравовался на нескольких языках: «Ни Хао!» – приветствовал китайцев, «Ан ян ха се е!» корейцев, «Буэнос тардес!» испаноязычных... Веселых приветствий и разговоров было великое множество, но как доходило до дела – «овечки» мои становились непреклонны. К вечеру, убедившись в этом, я опять превращался в существо разумное. Печально спрашивал себя, как же быть и утром шел в офис беседовать с Давидом.

Уже двадцать пять лет, как мы вместе, а я и сегодня не перестаю удивляться силе характера, глубине мыслей, работоспособности моего друга и партнера.

Давид вернулся к своей прежней профессии – операциям на фондовой бирже. Члены этой биржи – крупные частные компании всего мира. Биржа обеспечивает их нормальными условиями при покупке и продаже ценных бумаг. Если подписаться на специальный сервис, можно с экрана компьютера не только наблюдать за работой биржи, следить за стоимостью или обращением акций, но и самому участвовать в покупке, продаже, да и во множестве других фондовых операций. Что и делает Давид, – недаром же он установил в нашем офисе три компьютера с пятью мониторами.

Его рабочий день начинается в четыре часа ночи: по домашнему телевизору он смотрит спецканал «Бизнес ньюс», следя за событиями большого бизнеса. Скажем, за японской и английской биржами, (ведь американская фондовая биржа – это лишь звено в большой цепи). К половине девятого Давид появляется в «Саммите». Утренняя поступь моего партнера особенно энергична, он словно марширует, четко шагая по коридору, выложенному керамической плиткой. Вот он здоровается со мной и с улыбкой поднимает палец. «Знаешь, что вчера произошло? Сейчас услышишь...»

И выдает мне краткую, но исчерпывающую сводку экономических новостей. Тем временем его компьютеры уже включены. Не спуская с них глаз, успевая следить за всеми, он неустанно изучает биржевые сражения. Изучает напряженно – «ни встать, ни пописать», иногда что-то яростно восклицая. Да-да, даже хладнокровный, выдержанный Давид порой срывается, хватается за голову: «Это несовместимо с логикой!» Но тут же, взяв себя в руки, спокойно опускается в кресло, закуривает – и снова, вглядываясь в экраны, что-то записывает. Он так занят, что к телефону я его не зову, а, уходя, запираю в нашем подвале... Поражаюсь – как он такие нагрузки выдерживает! И все же для разговоров со мной Давид находит время. Откинется на спинку кресла, неторопливо покуривая, и начинает: «погляди-ка, что я нынче выяснил...» Эти насыщенные мыслями и информацией разговоры звучали для меня, как лекции, стали моим университетом.

Чувство ответственности так велико в Давиде, что и за наши общие, и за мои личные неудачи в риелторском бизнесе он винит себя. «Я должен был предвидеть этот затяжной кризис! – не раз восклицал он. – Если бы я понял это вовремя, четыре года тому назад, то убедил бы тебя продать компанию. Почему же я не предвидел? Почему?»

Конечно же, Давид нашел ответ на этот вопрос. «Ложная информация! – С возмущением говорил он. – Ложь на правительственном уровне! Нам рассказывали, что дела в стра-

не обстоят прекрасно, хотя сами все знали... А сейчас ищут «козлов отпущения!» Слушания в Сенате – это же не более, чем спектакль!»

Слушания эти часто транслируются по телевидению. Тема – одна и та же. В роли «козлов отпущения» выступают то банкиры, то брокеры-дилеры, то директора инвестиционных фондов. На этот раз «козлами» были владельцы и директора крупнейшей дилерской компании «Голдман Сакс».

«Ты погляди на них! – С нервным смехом говорит Давид и тычет пальцем в экран. – Эти аферисты еще оправдываются! Они продавали клиентам акции компаний, идущих к краху, будто не знали об этом. Но сами-то от акций избавлялись! Негодяи!»

Я киваю: конечно, негодяи. Но Давид очень точно называет сегодняшние изобличения спектаклем. Хотелось бы, чтобы громко прозвучали такие известные в России слова: «А судьи кто»? Глядя на этих «судей», мы с Давидом, как и миллионы других телезрителей, знаем, что сидят среди них герои шумных скандалов и нечистоплотных историй – неплательщики налогов, любители баров с полураздетыми танцовщицами, посетители самых дорогих курортов... Знаем, что с их легкой руки бесконтрольно, по благу, раздавались ипотеки некредитоспособным компаниям. Знаем... Но дают ли нам законы возможность вмешиваться, действовать быстро и эффективно? Так что мы можем сделать? Разве что, как и делает Давид, назвать слушания спектаклем. Или телевизор



Когда Давид, занявшись биржей, начал вникать в проблемы большого бизнеса, его поразило, насколько все страны стали взаимосвязаны экономически и политически. Кризис ударил по всему миру. «Пойми, – говорил мне Давид, – фундаментальный сдвиг, который произвел кризис, сравним по масштабам со сдвигом, вызванным Второй мировой войной. Америка впервые после Великой депрессии оказалась в такой финансовой пропасти. Потеряно больше 8 миллионов рабочих мест, государственный долг утроился, продолжает расти, перевалил за триллион с третью долларов! Я даже не знаю, сколько тут нулей, – грустно пошутил Давид. – А ведь через пять лет большая часть этого растущего долга должна быть погашена. Такое возможно лишь при экономическом росте в 6 %. Но для Америки – большой, развитой страны, возможен лишь рост, меньший вдвое. Что же будет?» И «профессор Кессел» тут же это пояснил, нарисовав безрадостную картину: налоговая реформа – повышение подоходных налогов, увеличение цен на бытовые услуги (без соответствующего роста заработной платы), понижение уровня жизни. Восстановление экономики будет медленным...

Свои невеселые прогнозы Давид заканчивал, вернувшись от «высот экономики» к нашим делам, совсем уж печально:

«Валера, нам нужно продавать здание. Пока не поздно: ведь через год-другой мы получим уже совсем не те деньги». – «А как же “Саммит”?» – хотелось спросить мне. Но я не спрашивал. Я хорошо помнил его суровый приговор одной большой – и вроде бы даже растущей – риелторской фирме. Она (впрочем, как и некоторые другие) активно набирала сотрудников. «Гляди, какие молодцы! Тридцать новых сотрудников за два месяца. А всего их – двести!» – показал я Давиду строчки из объявления. «А сколько же домов в месяц они продают? И сколько получает хозяин фирмы за сделку?» – Я нашел и это: «продают по десять домов в месяц, а хозяин за сделку получает пятьсот долларов». Давид поднял брови: «Но и тратит не меньше! Когда приход равен расходам, это уже не бизнес. Это акт отчаяния».

* * *

И вот настал, наконец, день, когда моя «разумная половина» победила. Выслушав очередные печальные новости о положении в стране, я остался в офисе с Давидом, не вняв зову души. Да пожалуй, я уже и не слышал этого зова. Очевидно, тайная работа свершается в нашем подсознании, иначе и не объяснишь, почему за считанные мгновенья решаем мы иногда проблему, которую не могли решить годами. Видно, это и произошло со мной. В душе было удивительно спокойно, никаких следов прежнего противоборства. Никакой грусти

о том, что надо расстаться с фермерством. И совесть не мучала: я знал, что сделал все, что мог. Теперь я был в силах отойти от любимого дела так же решительно и без оглядки, как Давид.

Глава 60. Надежные плечи

В этом моем жизнеописании есть уже глава о детях – «Остановись, мгновенье!» Но ведь о главном в нашей жизни – о том, что оставляешь после себя, не перестаешь размышлять. И вот я снова возвращаюсь к этим размышлениям.

Начну с моего первенца Даниела.

...Лестницы у нас в доме старые, иссохшие. Ступеньки скрипят, каждая по-своему. И для каждого из нас исполняют иную мелодию. Шла, например, мама – ступеньки скрипели протяжно, глубоко, я бы сказал – степенно. Короткие, прерывистые звуки – это сбегает вниз моя энергичная женушка. Поскрипывают чуть слышно – под худышкой Викой. Но вот уже не скрип, а грохот: это, конечно, Даниел! То бежит, то скачет со ступеньки на ступеньку, то пересчитывает их, съезжая животом вниз. А если Даниель в хорошем настроении, как почти всегда, он хитрит, сочетая все эти способы.

Я помню этот грохот, повторявшийся чуть ли не каждое воскресное утро, когда мой сынок спускался вниз – «почитать на диване». Было ему тогда лет десять, и я с радостью видел у него в руках, скажем, «Таинственный остров» Жюль Верна, а не какую-нибудь слюнявую чепуху, какой полна американская детская литература, вроде «Ужастиков» Роберта Стайна. Этими «Ужастиками» Данька увлекся, едва научившись бегло читать, после шести лет. Конечно, то, что

он начал с такого чтения, было нашей со Светой промашкой. И мы старались ее исправить.

Надо сказать, что хорошие книги в доме появились еще до рождения детей. А уж став родителями, мы со Светой сразу обзавелись англоязычными изданиями любимых авторов нашей юности. Покупали, не скупясь. За стеклянными дверцами книжных шкафов в столовой поблескивали золотом корешков сочинения Жюль Верна, Конан Дойля, Стивенсона, Дефо и многих других классиков. В твердых обложках, хорошо иллюстрированные.

Не каждый ребенок рождается со страстью и со вкусом к чтению, словно бы заложенными в гены. Не могу сказать, что Данька сам полюбил и научился выбирать хорошие книги. Но давить на него не хотелось, я действовал иначе. Он то и дело просил какую-нибудь забаву – то электронную игру, то мяч, то ружье-водомер. «Пожалуйста, получишь, – соглашался коварный папа. Но прежде покажи, что прочел» (дети вели записи, перечень прочитанного). С этого началось. Помню, как усаживался Данька, скрестив ноги, на ковер у книжного шкафа и, достав книгу, начинал придирчиво рассматривать иллюстрации. Именно так, с помощью картинок-завлекалок он выбирал, что читать. Выяснял заранее, будет ли интересно. А я, сидя у своего компьютера, тихонько подглядывал. Ага – «Затерянный мир»... Отлично! Тут я к нему подсаживался. «Классная книга! Помню, я читал ее в парке, домой вернулся к ночи... Знаешь, когда там...» Сын

слушал внимательно, не сводя с меня широко открытых глаз и, по обыкновению, с широко разинутым ртом.

Так постепенно вошли в жизнь Даниеля герои моего детства – Робинзон, Том Сойер, Гек Финн, Ункас, Белый Клык. Ему нравились волшебники, рыцари, осада крепостей, морские приключения. Появился, конечно же, любимый американский герой Гарри Поттер. Данька стал настолько увлекаться чтением, что порой, зачитавшись, засыпал на диване с книгой в руках. И как у каждого нормального ребенка, входя в его жизнь, книги оживали. То в рисунках – Робинзон Крузо управляет плотом, заваленным корабельной утварью. То в играх – после «Трех мушкетеров» в доме то и дело раздавался отчаянный визг Вики, которую Данька заставлял фехтовать. А мы со Светой охали, наступив на разбросанных по полу оловянных солдатиков – тоже, конечно, героев сражений, которыми сын командовал.

Читать Данька обычно усаживался на диване в гостиной у большого окна. Для этого совершался «музыкальный спуск» по скрипучей лестнице. Грохот сопровождался широкой улыбкой на лице моего сыночка. Этим он пошел в маму – улыбка редко его покидала. Но, читая, он весь погружался в книгу – то хмурился, то что-нибудь бормотал, то даже вскрикивал. Бывало, чувства становились так сильны, что замирал, глядя куда-то, в воображаемое, широко открытыми глазами.

Я любил глядеть, как он читает. Потихоньку, конечно,

чтобы не мешать. Но когда Данька, увлекшись, начинал громко смеяться – вот тут уж я не выдерживал – смеялся тоже. Я бы назвал это смехом отцовской гордости: мой сын читает с душой, волнуется, сопереживает... За «Таинственный остров» Даниел принялся, когда ему было десять – на два года меньше, чем мне, когда я пустился в такое же странствие.

Свои обещания я тоже честно выполнял: у телевизора в гостиной росла стопка электронных игр, двор усеян был баскетбольными мячами, почти как пол в гостиной – солдатиками, а на балконе появился целый арсенал водометных ружей. И как только сын выходил пострелять, белки и птицы, наученные горьким опытом, разом исчезали из сада.

Да, я радовался и гордился, что сын любит читать. Радовало и наше тесное общение – мы проводили вместе часов около трех в день.

Но тут случилась в семье беда...

Даньке было около одиннадцати, когда умерла моя мама. Боль утраты настолько заполнила меня, что все остальное – повседневная жизнь семьи, дети – все осталось за пределами восприятия. Я, современный парень, всецело подчинился еврейско-бухарским традициям: целый год, как велят обычаи, по два раза в день посещал синагогу и молился об усопшей. Не стану плевать против ветра – душевно это мне помогло. В молитве, как и во всякой глубокой медитации, есть великая сила. Так что себя-то я лечил. А семью, детей забросил. Я лишил их самого важного: общения. Теперь я пони-

маю, что и мне оно гораздо сильнее согревало бы душу, возвращало к нормальной жизни. А тут как раз начался небывалый подъем в нашем с Давидом бизнесе, я стал человеком обеспеченным и очень занятым. Настолько занятым, что уже не находил времени возить Даньку в школу (полчаса езды на машине). Занятой человек нанял для этого водителя... Еще одна потеря: ведь в дороге мы разговаривали, слушали любимые мелодии, напевали. Росла наша близость.

Да, близость с детьми рождается только в общении. И воспитание души, человеческих достоинств – тоже. Как писал об отцовстве Айтматов: «И не с чьей-то помощью, а самому, изо дня в день, шаг за шагом, вкладывать в это дело всего себя»... Но я об этом почему-то не задумывался, я другое считал самым важным для подрастающих детей: пробуждать в них интерес к различным профессиям. Один за другим стали появляться у Даньки и Вики учителя. Музыка, живопись, математика и физика, даже врачевание (вспомните о моем увлечении Восточной медициной)... Тут еще и спорт прибавился... К тому времени, как стали они семиклассниками, бедные мои дети крутились, как белка в колесе. А я, очень довольный тем, что они постоянно заняты, не замечал, что у них теперь просто не оставалось времени ни для чтения, ни для общения. То есть для семейной близости.

Словом, что-то важное было упущено. Как много – не берусь судить.

Теперь, когда Даниел вырос, мне кажется, что он и душев-

ными достоинствами наделен, и мыслить умеет аналитически. Но, возможно, любовь к чтению, хорошее знание классической и современной литературы сделали бы его человеком более интеллигентным, что ли. Книга, художественная литература, не только пробуждает мысли и воображение. Она объединяет человечество. Создает в мире то, что можно назвать духовной общностью. Я убежден в этом!

* * *

Даньке было шесть лет, когда в доме у нас появился доктор Умаров. Малыш сразу почувствовал к нему симпатию – и проявлял ее достаточно активно. То на колени к доктору залезет, то на спину, то начинает его щекотать и даже щипать – под возмущенные возгласы бабушки Эси. Но доктор улыбается и включается в игру. Бывший борец, мастер спорта по курашу, он отлично знает, как превратить эту игру в спортивное состязание! Вот он обхватывает Даньку руками и ногами – малыш в кольце, достаточно свободном, чтобы попытаться выбраться из него. Он и пытается – изворачивается, кричит... «Ой, жарко, надо свитер снять»... – «Снимай, снимай!» Борьба продолжается до тех пор, пока Данька не начинает щипаться и даже хныкать. Тут уж приходится вмешиваться папе.

Именно с этих игр и началось приобщение Даниела к спорту. Доктор говорил: «мальчонка рыхловат». Мы со Све-

той тоже понимали, что спортивные занятия необходимы – вот Вику они просто преобразили: подтянулась, стала ловкой. Мы восхищались, глядя, как она бежит по бревну, лазает по лестницам. А Данька поначалу становился на занятиях гимнастикой красным, как помидор, пот с него лил градом. Да и вообще занятия в гимнастическом зале, вместе с другими детьми, не нравились сыну, ему хотелось свободы действий. Какое-то время увлекся он баскетболом. Мы даже установили во дворе баскетбольный щит, и по выходным заросшая травой восьмидесятиметровая площадка за домом превращалась в поле боя. Но честолюбивому папаше хотелось большего. Недаром же бабушка Эся в шутку называла маленького Даньку Полваном – богатырем: он и впрямь был мальчиком крепким, плотным. И вот привели мы нашего богатыря в спортивный клуб Хенри Крафта на Метрополитен Авеню, записали в секцию дзюдо, японской борьбы... Семидесятилетний Крафт, в прошлом – тренер сборной США, был крепок и подвижен, как юноша. Он напоминал мне моего бывшего тренера по каратэ Алекса Стернберга – такой же пронизывающий взгляд, та же мягкая, неслышная походка... Да и обстановка зала волнующе напоминала о моем спортивном прошлом. Я с удовольствием принял приглашение сенсея поглядеть, как проходит тренировка. В тот раз опытные ученики отрабатывали броски через плечо. Как умело и красиво они это делали! Подброшенный атлет взлетал вверх, застыл на мгновение в воздухе – и падал на матрас, сильно

и громко хлопая по нему вытянутой рукой, чтобы защитить тело от удара. Секунда-другая – атлет снова на ногах, и снова взлетает. Потные, взлохмаченные спортсмены дышали тяжело, но не переставали улыбаться. «Я не сломлен» – говорила улыбка. Шум падающих тел, громкие хлопки, отчетливый голос сенсея, то дающего указания, то восклицającego – «кияй!» Не знаю, как точно переводится это восклицание, но смысл его ясен; оно подбадривает, призывает к усилию... Я глядел на ребят в белых кимоно с завистью – помолодеть бы на двадцать лет! И ругал себя, за то, что бросил каратэ.

Даньке дзюдо давалось с муками. Мучился и я, долгие месяцы, посещая его тренировки: очень уж неуклюже исполнял сын приемы, очень уж был неповоротлив. Тяжело, словно набитый мешок, валился на пол, медленно поднимался, не умея отжаться, отставал в беге... Правда, занятия гимнастикой все же сказывались: он сносно кувыркался и неплохо делал мостики, а это помогало выходить из захватов на полу. Но больше всего мне нравилось, что Ханан не унывал и никого не боялся. Когда я во время схваток глядел на него, я видел не просто бесстрашие: выражение лица было такое, будто мой семилетний сын борется за свою жизнь.

Хенри Крафт был отличным учителем. Его мастерство умножалось внутренней, духовной силой, жизнерадостностью. Удивительно, – но эти качества еще возросли после того, как сенсей перенес тяжелую операцию: ему пришлось сменить тазобедренный сустав. Незаурядные душевные си-

лы помогли Крафту восстановить свои физические возможности, повысить мастерство тренера. Через три недели он – прихрамывая, с тростью, – уже ходил между учениками, снова вел классы. При этом сенсей стал много требовательнее и строже, замечал малейшие промахи. Поправлял – руками, ногой. То и дело гремели его негодующие восклицания: «Ну и захват!» «Кто учил тебя так падать?»

За два года занятий Даниел окреп, сделался увереннее в себе. И спорт полюбил. Успехи приходили постепенно. Его несколько раз повысили в ранге. Он становился участником районных соревнований.

И все же с клубом Крафта пришлось расстаться: умерла бабушка Эся – и я целый год посещал синагогу по субботам, то есть именно в те дни, когда надо было возить сына на занятия. А Даньку пришлось перевести в другой спортклуб – «Спартак», который работал и в будни, и по воскресеньям. Уже по названию видно, что вел клуб выходец из Советского Союза. Это был мой земляк, эмигрант из Узбекистана Аркадий Аронов. И надо сказать, что нам очень повезло: Аронов, мастер международного класса, оказался отличным, тренером. На его занятиях царило то, что я бы назвал атмосферой высокой энергии. Источал ее сам Аронов. Это невозможно было не почувствовать, общаясь с ним даже один на один. Голос, взгляд – спокойный, доброжелательный, покорял внутренней силой... Но этого не опишешь. Впрочем, пытаясь описать, как выглядел Аронов, я тоже с трудом нахо-

жу слова. Спортивной его фигуру трудно было бы назвать, Она не поражала стройностью, разработанными мышцами. Громада, шкаф – вот что приходит на ум. И в то же время этот «шкаф» был очень быстрым, легким и точным в движениях. «Со мною невозможно было бороться» – сказал мне как-то Аркадий со смехом, когда я расспрашивал об успехах его советской спортивной карьеры. И мне стало понятно, почему три года подряд избирали его тренером сборной команды Узбекистана. Впрочем, оказалось, что этот замечательный спортсмен в детстве был озорником, бездельником, с десяти лет курил и мог бы превратиться в обыкновенного уличного хулигана – если бы не счастливый, спасительный случай. Вернулся со службы в армии двоюродный брат Аронова – Исаак, ужаснулся, встретив на улице обросшего, запущенного подростка Аркадия – и привел его в свой спортивный клуб, в секцию борьбы, где сам занимался. Там-то Аркадий и приобщился к дзюдо.

Аронов был тренером настолько требовательным, добивавшимся такой собранности и дисциплины, что Генри Крафт казался рядом с ним баловником. Ох и доставалось же от Аронова, особенно в первое время, Даньке! Как и другим мальчишкам, конечно.

Все начиналось с разминки. Сидя в кресле, сенсей наблюдал, как ребята крутят колесо, кувыркаются, бегают по залу. Войдут в форму – пот пробьёт, да и по лицам видно – сенсей поднимается с секундомером в руках и, разбив учеников

по парам, приступает к дзюдо. Тут уж его не назовешь наблюдателем: он становится напарником то одного, то другого мальчишки, добиваясь точности движений, отработывая каждый прием. Порой Аронов начинает злиться – и над залом гранатой взрывается: «Ты устал, Урюк? Отдохни у стены, отожмись сотню раз»... Урюк – это любимое бранное слово Аркадия. Но... на столе у него лежит бамбуковая палка. Правда, я не видел, чтобы дело до нее доходило.

Даньку, понятное дело, такие строгости приводили по началу в уныние. «Хочу обратно» – просил девятилетний сын. Даже плакал! – «Через мой труп» – отвечал я, убедившись, что Аркадий ведет занятия блестяще.

Впрочем, со временем Ханаан заслужил одобрение сенсея. «Он в борьбе ведет себя неординарно, – не раз говорил мне Аркадий. – Во время схватки не знаешь, чего от него ожидать». Думаю, что сенсей привязался к мальчику. Кстати сказать, они были похожи, словно родственники: по-азиатски смуглые, круглолицые, рослые, плотные, словно большой шкаф и шкаф поменьше. Их не раз, по словам сенсея, принимали за отца и сына.

Каждый месяц Аронов вывозил клуб на соревнования. Он хорошо понимал, как это действует на ребят, как укрепляет в их характерах стремление к борьбе, к победе. Спартакowцы много где побывали, исколесили не только Северную и Южную Америку. А ведь Аронов тратил на авиабилет свои собственные деньги, – вот какой это был бескорыстный и пре-

данный делу человек. И до сих пор мне стыдно за родителей, которые отвергли мое предложение в этих транспортных расходах тренера участвовать! Я побывал на десятках соревнований, и сколько же счастливых часов мне это принесло! Даже какие-то «картинки» навсегда остались, такая вот, например: двенадцатилетний Данька – на ковре, в трех метрах от соперника, с которого он не сводит взгляда. И, прежде, чем раздалась команда судьи, он начинает с силой шлепать себя по щекам... О, какая же грозная у него при этом физиономия! Скажу, как очевидец: соперник начинает жаться, с испугом оглядывается по сторонам, словно ищет – куда бы убежать...

Конечно, прием этот действовал только на начинающих борцов. И когда Даниел дошел до ранга черного пояса, он такими шлепками взбадривал перед схваткой самого себя.

* * *

...Достаточно побывать в комнате моего подросткового сына, увидеть спортивные медали на стенах, кубки на столах и полках, чтобы понять: Аркадий Аронов сделал Даниеля настоящим спортсменом. Вспоминаю, как однажды – Даньке тогда было шестнадцать – мой кузен Юра предложил ему побороться. Доктор Мухитдин (он был у нас в гостях) посоветовал: «Боритесь на коленках, падать будет не больно». Но ни до падения, ни до самой борьбы дело не дошло. Юрка

мгновенно оказался в объятиях племянника, и тут же Дanka, перекинув его на плечи, поднялся, покружился, несколько раз присел – и опустил Юру на ковер...

Нам, родителям, Даниел показывает только такие «семейные развлекаловки». Не желает он, чтобы мы присутствовали на турнирах! А ведь он не раз представлял родину на международных соревнованиях. Три года назад на Панамо-Американских играх он – после трех побед – боролся за золото с великаном-бразильцем. Последняя схватка длилась около двух минут, атаковал все время Даниел. Но бразильцу все же удалось подсесть его, навалившись всем телом. Даниель, упав, потерял сознание – на несколько секунд. Всего на несколько секунд – и Америке вместо золота пришлось удовольствоваться серебром.

* * *

Я думаю, что победы в спорте – одно из подтверждений очень важной черты в характере моего сына. Он стремится быть лидером, «самой большой рыбой в аквариуме», по его собственному выражению. Даниел с ранних школьных лет и по сей день круглый отличник. Он трудолюбив и настойчив, я не раз заставал его за письменным столом глубокой ночью. Сын учится сейчас в университете в Рочестере, он аспирант, будет экономистом-финансистом. В аспирантуру зачислили его со стипендией почти в половину стоимости обучения. К

тому же Даниел работал, кое-что накопил – и сам платит за еду, за покупки.

Все это прекрасно, конечно. Но как же пусто без него в доме! Как не хватает его молодого голоса, его постоянных острот и шуток... Да просто его присутствия.

Дом наполняется радостью, когда Даниел приезжает на каникулы. Каждая минута общения с сыном приносит мне эту радость.

...Утро. Я, как и обычно, встаю первый. Захожу к сыну с порцией имбиря и кружкой чая.

– Пузырек, просыпайся!

Пузырек – это нежное обращение к маленькому Даньке. Сейчас он, по правде сказать, больше похож на заспанного медведя. Но нежность-то у меня осталась прежняя... Сын отцовское пристрастие к восточной медицине принимает снисходительно, имбирь проглочен. Но в ту же секунду я крепко схвачен за ногу. Начинается утренняя игра.

Повернувшись на живот, Даниел произносит тихо, но величественно:

– Вы знаете, что делать.

– Именно для этого я здесь, мой любимый сын! – Отвечаю я словами персонажа восточной сказки. – Слушаю и повинуюсь!

Со столика возле кровати беру я некий предмет, напоминающий деревянную вилку с длинной ручкой. Это чесалка (предвижу удивление европейских читателей). Уж не помню,

каким образом и когда приобрел мой сын экзотическую восточную привычку: он любит, чтобы я или Света с утра почесывали ему спину. А мы и рады побаловать сына, чесалок для него накупили целую кучу. Поработав чесалкой, я перехожу к процедуре более полезной: делаю сыну массаж. Руки у меня не слабые, но и работа нелегкая: спина у него вроде камня. А Данька лежит себе, наслаждается, глаза от удовольствия сузились, на лице улыбка.

Покончив с утренними делами, он уходит в спортивный клуб – на тренировку по дзюдо. А, вернувшись, сообщает, что теперь он в моем распоряжении. Занятие у нас сегодня важное: поспел виноград, надо собирать.

Мой виноградник... Ну как о нем не рассказать? Это мое хобби, которому я отдал немало сил и времени. Восемь лет назад посадил я возле фасада своего нью-йоркского дома куст зеленого винограда. Он разросся – теперь это уже виноградник. Над площадкой перед подъездом пришлось построить стометровую металлическую опору. За эти годы вся она покрылась извивающимися гибкими лозами. Наступает май – из их сочленений начинает капать сок, так обильно, что на кирпичной площадке образуются лужицы, в которых, радостно чирикавая, купаются воробьи. А наверху, среди лоз, выют гнезда малиновки, в густой листве раздаются писк их желтоклювых прожорливых птенцов. Разлетаются они к июлю, когда с лоз уже свисают тяжелые гроздья зеленого винограда. К этому времени бесплатное угощение начина-

ет пользоваться растущей популярностью и у других птиц, а также у ос, шмелей и прочих насекомых. Как-то раз мы с Эстер наблюдали, как неторопливо и со вкусом лакомятся виноградом узкоголовый серо-белый дятел. Расположившись среди гроздьев, как на кресле в кафе, он несколько раз пронзал клювом одну виноградину, выедавая только мякоть. Наполненная светом кожица оставалась висеть прозрачным мешочком. Дятел принимался за другую ягоду... Ежедневно посещали виноградник белки, после их налета на площадке оставался десяток-другой опавших ягод. Подсушенные солнцем, они превращали площадку в пятнистый коврик из изюма, над которым вились насекомые. Площадку приходилось обмывать водой из шланга, подметать – и Света, орудуя метлой, ворчала: «Ждешь, чтобы шмель меня цапнул? Виноград поспел, пора снимать!» К началу августа я убеждался, что на самом деле пора: ягоды становились сладкими и сочными.

И вот сегодня мы с Данькой принялись за дело. Пользоваться стремянкой сын мне не дает: считает, что его плечи надежнее. Устроившись с удобством, я, посмеиваясь, думаю, что вправе восседать на плечах наследника рода: ведь сил на него положено было немало, пусть теперь и он побряхтит. Но сын способен выдержать и не такую ношу. Для него это всего лишь разминка. И я, восседая, щелкаю щипчиками, я опускаю тяжелые гроздья в целлофановые мешочки, которые подносит мне дочурка, Эстер. И чувствую себя в эти ми-

нуты... Но разве об этом расскажешь? Впрочем, думаю, что многие отцы хорошо меня поймут.

Глава 61. Эстер-внучка

Для меня имя «Эстер» как-то особенно тесно связывает ее с мамой. И не только имя. Всего лишь первый год жизни маленькой Эстер прошел на глазах у мамы, но ее любовь к внучке родилась в ту минуту, как она прижала к себе пухленькое тельце новорожденной. Бабушка Эстер радовалась каждому движению внучки. Радовалась ее первым словечкам. Радовалась ее живости, неумной энергии. Тому родству характеров, которое уже тогда начинало проявляться.

...Мама, уже тяжело больная, сидит, откинувшись на спинку дивана. У ног ее играет годовалая Эстер. «Джони бивещ, – просит бабушка, – принеси-ка мне скамеечку под ноги». И малышка, энергично топая толстенькими ножками в белых башмачках, тут же отправляется на поиски скамеечки. Находит ее в дальнем конце комнаты – и тащит к бабушке, прижав скамеечку к животику в памперсах. Пыхтит, покраснела – скамеечка трется о памперсы... Притащила... Бабушка не скупится на благословения. А малышка, очень довольная, улыбается и хлопает в ладоши.

Маленькая Эстер росла отчаянной шалуньей и непоседой, намного перещеголяв и старшего брата с сестрой, и даже неумного моего кузена Юрку. Я разделил ее существование на две части: Эстер спит и Эстер бушует. Она болтала, хохотала, визжала, она постоянно чего-то требовала. «Безобраз-

ница! – Кричал Данька после очередной ее выходки. – Меня за такое отец отшлепал бы и в угол поставил!» Что правда, то правда. Я много раз готов был дать Эське взбучку – но чаще всего, словно по мановению волшебной палочки, словно фея из сказки, появлялась ее защитница. Моя терпеливая жenuшка Света – надо видеть, какую доброту излучает ее улыбка – обнимала шалуню. «Эстер, папе не терпится, чтобы из тебя поскорее выскочила обезьянка»... И рука моя опускалась.

Я старался стать другом шалуни-дочки. Надеюсь, что мне это удалось – даже еще в то время, когда для этого приходилось участвовать в ее играх. Помню, как перед тем, как забрать ее домой из школы мы бегали наперегонки: кто первый добежит и дотронется до телефона, потом – до кабельного столба и, наконец, до нашей припаркованной машины. За нашим состязанием следили, словно на стадионе, многочисленные зрители: дети и родители на школьном дворе. И вопили, как на стадионе: «Эстер быстрее!» «Папа, не зевай!» А Эська хохочет, визжит...

Но дружба дружбой, а от правил своих, от поведения требовательного отца, я не отступался.

* * *

По утрам я будил Эстер, как и старших детей, не позже шести. Заходил в детскую комнату с порцией имбиря и меда.

Проглотив ее, Эська тут же снова закрывала глаза, но я уже присаживался возле – теперь с «порцией» чтения: с антологией англоязычной поэзии. Уложив дочку спинкой вверх, я принимался за массаж, а сам читал вслух, заглядывая в открытую книгу – «Пробуждение» Хаусмена:

Эй, проснись: уж сумрак свода
Возвращается во тьму,
И горит корабль восхода
На востоке, весь в дыму...

Эй, проснись: дрожит воочью
Купол тени с этих пор,
И давно разорван в клочья
Ночи дымчатый шатер...

Пробуждая дочку, я читал ей свои любимые стихи, но обычным ее чтением были, конечно же, детские книжки на русском языке и на английском, чаще всего – сказки. У Даныки и Вики любимой сказкой была «Белоснежка», а Эстер снова и снова просила: почитай «Снежную королеву!» Подъезжаем мы, бывало, ранним зимним утром с моей первоклашкой к школе – двери еще закрыты, минут десять придется ожидать в машине. Но у нас с собой любимая сказка. Эстер слушает заворуженно, поглядывая то на картинки, то в окна машины. А за ними, словно современная иллюстрация к старой сказке, нью-йоркское царство Снежной Королевы.

Деревья в снежных шапках, фигуры озябших, согнувшихся под пронзительным ветром людей...

* * *

Сказки... Их волшебный мир пробуждает воображение ребенка. И все же мне казалось: чем раньше начну знакомить дочурку с большой поэзией, тем скорее научится Эся чувствовать музыку стихов, понимать ее красоту. Постепенно к этому прибавятся вложенные в поэзию чувства и мысли. Ведь если у меня мурашки по коже бегают, когда слушаю в исполнении Безила Равбона «Ворона» Эдгара По, то должна же и Эстер понемногу начать ощущать ту силу чувства, ту скорбь поэта, которую так вдохновенно передает знаменитый актер. Об этом я и думал в тот вечер, когда, поставив аудиозапись, наблюдал за играющей на ковре семилетней дочуркой. Вот зазвучал голос Равбона – и она перестала прыгать, притихла. Слушает? Да... Я снова поставил запись – и убедился: слушает очень внимательно. Вскоре запомнила отдельные строки, выкрикивала вслед за Равбоном – «Nevermore!» – и печально повторяла имя усопшей Ленор... Тут я уселся с книгой в руках на ковер рядом с Эстер и, вторя Равбону, принялся читать «Ворона». А Эстер звонким голосом произносила, что помнила... Нам так понравилось это чтение «втроем», что мы нередко повторяли его.

Язык Эдгара По архаичен, читая его по-английски, я мно-

гих слов не понимал. В разных переводах им придан разный смысл. Как же понять истинный? Я пытался воссоздать его, вчитываясь в «Ворона», проникаясь его настроением. И, делая этот самостоятельный перевод, объяснял дочке, как я понимаю то или иное выражение.

Так, с «Ворона», началось наше путешествие на ковре гостиной в мир англоязычной поэзии. А «Ворона» Эся полюбила настолько, что даже переписала его в свой дневник.

* * *

Но все же «книжницей» Эстер не стала. Шалунья, озорница, непоседа... Такой она была все детство. Поэтому большой неожиданностью было для нас ее раннее увлечение шахматами. Познакомилась Эстер с этой игрой у Светиных родителей. И однажды я, не веря ушам своим, услышал от своей шестилетней дочери: «папа, хочешь – я тебе мат поставлю?» Еще больше я удивился, увидев, как правильно расставляет Эська фигуры на доске. И уж совсем был поражен, когда она стала поправлять мои ходы: «не конем надо, а пешкой, вот сюда»... Словом, очень быстро я получил мат. И, очень этим довольный, решил: такие способности не должны пропадать! Эстер стала учиться в шахматной школе чемпионки мира Сюзан Полгар, занималась она и с частным педагогом. Училась успешно – два раза выигрывала нью-йоркские чемпионаты среди детей.

Но прошло три года – и Эстер потеряла интерес к шахматам. Странно: обычно увлечение шахматами, да еще при несомненных способностях, не проходит всю жизнь. Но у Эси – все не как у других!

Вот, к примеру, ее отношение к музыке. Она с удовольствием слушала, как учится играть на фортепиано Вика. Любила Викину учительницу, Розу Шаламову. Роза специально для малышки наигрывала веселую музыку, и Эська плясала. Но когда Роза предлагала ей: «хочешь, будем учиться?» – тут же убегала. Однако когда я садился побренчать на старой своей, еще со времен юности сохранившейся гитаре (хорошо играть на ней я так и не научился) – Эська тут же подсаживалась. Ее привлекали и звуки, и сам вид гитары. Эська брала ее в руки, гладила блестящий коричневый изгиб, щипала струны. Смешно было смотреть, как на большом теле гитары появляются маленькие руки, а сверху торчит курчавая головка!

Заметив, как ее тянет к красивому инструменту, мы поставили дочке «смягченный» ультиматум: учиться музыке будешь обязательно, а на чем – на фортепиано или гитаре – выбирай сама! Эська, разумеется, выбрала гитару... Могу признаться: мне кажется, между моей дочкой и гитарой есть некое внутреннее сходство. Да-да, не смейтесь надо мной! Звуки гитары – то радостные, звонкие, то исступленно рыдающие – разве это не похоже на характер нашей младшенькой? Не забыть, как на мой день рождения – Эстер было то-

гда десять лет – она исполняла свой коронный номер: накинув на талию обруч (он тут же, без всяких ее усилий, начал вертеться), схватила в руки гитару – и под звон струн запела «Хеппи бёздей». Вся семья подхватила, я тоже стал хлопать. Веселая энергия Эстер передавалась нам, как когда-то от ее бабушки...

Но прежде чем дочка по-настоящему полюбила гитару, натерпелись мы немало. За три года пришлось сменить трех учителей – не желали они переносить ее выходы. Обезьянка продолжала в ней буйствовать... И все же играть она научилась сносно, не раз выступала со своей группой в общественных местах и в парках. Хитрый папа объявил, что хочет брать у дочки уроки – и постепенно Эстер действительно превратилась в моего учителя. С ее помощью я овладел инструментом настолько, что мы нередко в две гитары исполняем любимые песни моей юности. Особенно я люблю, когда звучит «Представь» Великого битла Джона Леннона:

Нет стран и нет религий —
Представь в мечтах своих!
И убивать не надо,
И умирать за них.
Представь: хотят все люди
Жить в мире без войны...

Мне кажется, такие замечательные песни, как эта, лучше всяких поучений и нравоучений пробуждают в детях стрем-

ление к добру. Их лирика, всем доступная, это как бы промежуточная ступень к пониманию высокой поэзии.

Маленькая Эстер полюбила стихи, сама нередко сочиняла. У меня даже записаны некоторые ее произведения. Вот они:

PONY

*Pony, Pony you are the best.
I hold on to your chest.
Your purple shines on your back.
Your white thick tail flies as we ride.*

*Pony, pony I love you so much.
You keep me safe as we ride.*

THE EARTH

*Why is the Earth round?
Nobody knows!
I would love to tell you if I knew.
All I know is that Earth is blue,
Green and round.*

Why is the Ears round?

Do you know?

How come the Earth would not be flat or

Square or a triangle and any other shape

You can think of.

Though to me I am happy with the way our

Earth is.

Are you?

MOM

My mom has black, beautiful wavy hair.

She is nice everywhere.

She smells like a flower.

She is not so big and she is not so small.

My mom looks like a rose when she does not scream,

And she looks like a lion or tiger when she screams.

But my mom will always look beautiful when she has

A smile on her face.

А вот еще песенка – юмористическая, на этот раз – на русском языке:

Я хочу плов из нашего огорода,

Но он там не растет.

Ах, почему же ты не растешь в огороде, плов?

Конечно, большого поэтического дара эти стихи не показывают, но о проснувшемся интересе к поэзии они, мне кажется, говорят. А ведь это главное, чего я добивался: пробудить интерес... Занималась дочка и рисованием. У меня и сейчас хранится картинка, которую она написала маслом к моему дню рождения, когда ей самой было десять лет. Среди замечательных книг – «Поэмы Эдгара По», «Моби Дик» Мелвилла – лежат две мои книги: «Все начинается с детства» – и вот эта, еще недописанная, «Долгая дорога»... Очень лестный подарок! Правда, может быть, и с долей насмешки?

...Пробудить интересы – а уж там пусть сама выбирает, чем будет заниматься, к чему окажется больше способностей и стремления. Широта интересов, их направление – это ведь в значительной степени и составляет богатство духовного мира человека. И уж если говорить о богатствах, то, на мой взгляд, одним из самых ценных достояний души является любовь к природе. Как развить ее в ребенке? Мне кажется, что сделать это можно только «через себя» – передавая то, что чувствуешь сам.

...По утрам, отвезя Эстер в школу, я ехал на работу недолгой и очень приятной дорогой: вдоль заброшенного озера Ивы (Willow) и Лесного парка. Озеро это обнесено проволочным заграждением. Его окружают деревья и высокие заросли тростника. Весной, когда проезжаешь мимо, озеро мелькает среди цветущих крон и манит своей серебристой

гладью. Манит оно и птиц. Когда я в первый раз увидел там цаплю – она сидела на сухой ветке, недалеко от озера, – я решил: сегодня после школы привезу сюда Эстер. Увидим, если повезет – как цапля охотится на лягушек! И нам повезло – к тому же не один раз. Помню, как однажды, притаившись за тростником, наблюдали мы за белой гостьюей. Не торопясь, будто о чем-то раздумывая, прогуливалась она вдоль берега. Но вот остановилась, замерла, вытянув длинную шею. Ух, какими хищными стали ее желтые, неморгающие глаза! Желтый клюв, подобно молнии, пронзил воду – и вот уже, выпрямившись, цапля закинула голову с трепыхающейся в клюве рыбешкой...

Нередко бывали мы с дочкой и на озере Флашинг Медоу. Это пригородное озеро создано людьми. Я уже писал, что следят за ним плохо, не чистят. И все же народа на берегах полно: хочется ведь посидеть у воды на свежем воздухе, закусить, в футбол поиграть или покататься на велосипеде. Но нас с Эстер привлекало сюда другое. Отойдя подальше от людского шума и гама, у заросших тростником берегов мы наблюдали то за утиным выводком, то за куликами и чайками, то за белыми лебедями, то за плавающими в воде черепашками. Я готовился к этим встречам, кое-что читал. Рассказывал дочке, что лебеди, как и гуси – мигрирующие птицы, но что некоторые канадские гуси предпочитают зимовать на озере, где их подкармливают... Тут Эська, не дожидаясь зимы, стала привозить из дома белый хлеб. С одним из гусей

даже подружилась: этот гусь – и с виду необычный, крупный, бело-коричневый, к тому же весьма сообразительный, увидев Эську в ее красном велосипедном шлеме сразу подплыл к берегу. Подружилась она и с гусем, которого прозвала «Поломанный клюв» – оказалось, что он тоже на озере зимует. «Папа, как он выживет?» – тревожилась Эстер. И старалась посылнее накормить своего приятеля.

За первые два года поездок я побывал с Эстер на озере около восьмидесяти раз. Скормили птицам десятки буханок белого хлеба (серый они едят неохотно) и лепешек. Дочка все больше интересовалась живыми обитателями озера, красотой природы. Задавала мне все новые вопросы. Сама просила: «Давай-ка снова поедем на наше озеро». Полюбила бывать в музее естествознания... Надо ли говорить, как меня это радовало! Я рассказывал ей, что знал (а порой мне для этого приходилось разыскивать подходящие книги) – о том, например, что такое солнечный свет, почему небо голубое... Теперь бывает, что и дома она кричит мне со двора: «Неси скорее фотоаппарат, облака очень красивые!»

Но наш город-гигант – не лучшее место для того, чтобы ребенок ощутил, как прекрасен мир. Мы со Светой и старшими детьми совершили немало поездок по национальным паркам и заповедникам. Теперь участницей таких путешествий стала Эстер. Все началось с путешествия в Йеллоустон, первый в мире Национальный парк. Раскинулся парк в штатах Вайоминг, Монтана и Айдахо в Скалистых горах,

на площади более двух миллионов акров. Не парк, а чудо природы: здесь сменяют друг друга хвойные леса и зеленые долины, горные реки и озера, гейзеры (их больше трех тысяч) и водопады, отвесные скалы и глубокие ущелья... Все это образовалось на дремлющем супервулкане – самом большом на континенте. В древности он несколько раз извергался с огромной силой – и возможно, еще покажет себя... Да – вот где ощущаешь красоту и могущество Природы!

Как только мы въехали в парк, начались путевые встречи. Неподалеку, у опушки леса, лакомился какими-то ягодами гризли. Он делал это не спеша, не обращая на нас никакого внимания. Тут появились откуда-то люди в форме – работники парка: «Не выходите из машин!» Но нам и в машине было хорошо. Эська, широко открыв глаза, вопила от радости и тут же, схватив фотоаппарат, высунулась из окна. Да и мы со Светой мало чем от нее отличались. «Какой лохматый!» – «Вот это лапы!» – «Смешно-ой!» – перекрикивали мы друг друга.

Не меньше порадовала дочку и другая встреча – во время поездки верхом по долине Ламар. Группа детей ехала впереди взрослых. Первой в группе была, конечно же, Эстер, что вполне в ее характере. И вдруг я услышал ее крик: «Папа, бизоны!» Большущие, с висящими по бокам клочьями остатков зимней шерсти, бизоны мирно щипали траву возле самой тропы. «А вон малыши, папа, вот они!» – Моя дочь не только не испугалась – ее глаза сияли от восторга и бы-

ли так широко открыты, как могут открывать их только дети в самые счастливые минуты. И этим счастьем от новых впечатлений Эстер не замедлила поделиться со мной... Действительно, стоило посмотреть, как в центре стада, охраняемый со всех сторон, пасется беспечный приплод. Быки, насторожившись, тут же подняли головы и уставились на нас налитыми кровью глазами.

В этом прекрасном парке к посетителям относятся очень внимательно и заботливо. Для детей, например, создана образовательная программа. Мы, конечно же, воспользовались ею: Эстер участвовала в экскурсиях по парку – проводил их лесник – а потом дети письменно отвечали на вопросы о животном мире заповедника. Мне кажется, Эсе было приятно получить нашивку: «Младший охранник парка»... Мы со Светой радовались тому, с каким огромным интересом Эска все вокруг разглядывает, сколько задает вопросов проводникам, как часто кричит «папа, смотри!». За неделю поездки она сделала больше тысячи снимков.

Я боюсь здесь увлечься описанием наших поездок-походов, скажу только, что каждый из них прибавлял что-то новое к восприятию Эсей природы, ее красоты и многообразия. В национальном парке «Глейзер» это были ледники. Около двух миллионов лет назад создавала природа это чудо: горы с зубчатыми пиками, увенчанные ледниками, озерами, хвойными лесами. Увы – как ни печально, это чудо исчезает. Из 150 ледников, существовавших еще в середине

XIX века, сохранилось всего 26. Ученые опасаются, что лет через десять не останется ни одного: идет потепление планеты, ускоренное растущей индустриализацией. Но пока еще парк прекрасен, он очень популярен, славится альпинизмом. Вот и мы стали альпинистами, хотя в труднодоступные места не забирались.

В парке «Глейзер» Эстер удалось сфотографировать горного барана-толсторога – могучего, с гордо поднятой головой... Пожалуй, ни у одного животного не встречал я такого выражения гордости, на которое невольно отвечаешь чувством, похожим на уважение. И снова сияли восторгом глаза дочки... Да и мои, признаться, тоже.

Но в этом же походе довелось ей испытать страх – возможно, самый сильный в жизни. Она шла впереди одна, скрылась за поворотом – и вдруг мы услышали отчаянный крик: «Волк, волк!» Спотыкаясь и оглядываясь, с перекошенным лицом, Эська бежала нам навстречу. Мы тоже испугались, остановились, дочурка прижалась к нам. Но волка что-то не видно было... Стали расспрашивать, Эська, взмахивая руками, описывала, как выглядел лесной разбойник – стало ясно, что тропу перед дочкой перебежала лисица.

* * *

Случилось так, что в одном из походов в «Глейзер» нам удалось познакомиться с коренными жителями страны. Зна-

комство было таким, что и у нас, и у дочки навсегда осталось чувство уважения к этим людям. Произошло это, когда мы поднимались к высокогорному озеру Алпайн. Вела нас туда женщина-лесник Су, невысокая проворная женщина со смоляными волосами. Оказалось, что Су – индейка из племени Блекфут – то есть Черноногих, прозванных так когда-то по цвету мокасин. Племя это оказалось удачливее могикан и делавар, которые были почти что полностью уничтожены европейцами во времена колонизации материка. Блекфут спаслись, возглавив миграцию к подножью Скалистых гор. Их резервация и по сей день расположена западнее «Глейзера». Живут они вполне современной жизнью, в контакте с «белыми», что видно и по профессии Су.

Вот этого никак не могла понять Эстер, которая знала об индейцах только по книгам. Она донимала Су вопросами: «А как вы строите вигвамы? А из лука стрелять умеете?»

Случилось так, что в тот же вечер встретились мы с еще одним, очень интересным и ярким представителем племени блекфут. Звали его Джек Гладстон. Он выступал в гостинице как композитор и исполнитель музыкального индейского фольклора. Гладстон прекрасно играл на гитаре (достаточно было взглянуть на восхищенное личико Эськи, которая училась играть уже три года) и оказался превосходным рассказчиком. Пел он и рассказывал о временах, давно ушедших, о безвозвратно утерянной земле предков, где теперь обитают лишь духи праотцов.

Предок Глэдстона имел вполне индейское имя – Мекэйсто (Красная ворона), в середине XIX века он был предводителем племени Блад (кровь). Правил долго и мудро, участвовал более чем в тридцати схватках. Он был одним из немногих лидеров, понявших, что с приходом белых завоевателей придется жить иначе – прекратить вражду с ними, заниматься не охотой, а земледелием и рыболовством.

Джек Глэдстон оказался человеком довольно известным. Штат Монтана не раз присуждал ему почетные грамоты за вклад в сохранение национального искусства. Но думается мне, что гордится он не грамотами, а тем, что удастся ему рассказывать современным американцам о своем народе и оставаться носителем, хранителем древних традиций. Я слушал его с волнением и стыдом. Я думал о том, почему же правительство США до сих пор не извинилось официально за насилие, за истребление коренных жителей страны. Ведь такие предложения не раз поступали в американский конгресс, но дальше обсуждения дело так и не пошло...

* * *

Вот так, со Светой вместе, мы и растили маленькую Эсю. Но и старшие наши дети, Даниел и Виктория, вложили немало усилий, были с сестрёнкой в постоянном общении. Им удалось передать Эстер свои увлечения музыкой и мозаикой. Втроём то минору из стекла и камня смастерят, то шахмат-

ный столик.

Не всегда, конечно, их отношения складывались гладко. Особенно между братом и младшей сестрёнкой. Даниел был строг и требователен к Эсе. А она упрямилась, не хотела подчиняться и зачастую начинала реветь. Не успевали в такие минуты мы вмешаться, как появлялась Вика. Она брата покорит, а Эсю успокоит. После чего сядет в гостиной за пианино и попросит сестрёнку взять гитару.

Играет музыка, и дети втроём поют полюбившиеся нашей семье песни. Среди них: «Пусть будет так», «Ты когда-нибудь видел дождь?», «Гостиница Калифорния».

Присоединяемся к детям и мы со Светой. В какой-то момент мы переглядываемся и улыбаемся. Нам и без слов понятны наши мысли: «Мы вырастили хороших детей. Пусть по жизни они пройдут вот так – дружно и весело».

Согласитесь, ведь каждый родитель желает своим детям наилучшего.

Книга вторая

«Эстер»

Глава 1. Приговор

В апреле 1993-го маме, как и ежегодно, сделали маммографию – обычное профилактическое обследование.

Через неделю позвонил мамин доктор.

– У мамы все в порядке, – сказал он успокоительно, – но нужно пройти вторичную проверку у онколога.

Нас принял один из ведущих онкологов Лонгайлендовского Джуиш Медикал Центра, очень известного в Нью-Йорке госпиталя. Разглядывая рентгеновский снимок, он указал на большое светлое пятно у основания левой груди.

– Надо взять пункцию... Не думаю, что есть основания беспокоиться. У женщин вашего возраста, – объяснял он матери, – часто возникают кальциевые затвердения.

Но вернувшись из кабинета, где маме делали пункцию, онколог не счел нужным скрывать от меня свои опасение:

– Большая вероятность, что это раковая опухоль. И не маленькая: восемь сантиметров в диаметре. Это будет ясно через неделю, когда я получу анализы.

Неделя прошла в тягостном ожидании. И вот мы снова у

онколога. Теперь он уже откровенен и с мамой.

– Миссис Юабова, у вас рак груди. Опухоль довольно большая...

Мама сидела, подняв руку, пытаясь нащупать шишку. Доктор помог ей.

– Вот она... Глубоко сидит...

Я все еще не мог поверить в беду.

– Как это так? Два года назад, когда сделали маммографию, все было хорошо... Значит, за это время...

– Нет, к сожалению, опухоль развивается уже давно. Но она очень глубоко расположена, машина не засекала ее...

Нас попросили подождать в прихожей. Я сел напротив мамы, у окна. Там, за окном, простиралась, насколько мог видеть глаз, зеленая, залитая солнцем долина, кое-где застроенная домиками. Там била ключом жизнь: все дышало, росло, радовалось и надеялось. А здесь, в уютно обставленном офисе, не было надежды, здесь сурово прозвучал приговор: рак в запущенной форме...

«Интересно – думал я, – какой это сегодня по счету приговор? Полдень еще не наступил... Наверное, первый или второй».

Я боялся взглянуть на маму и перевел на нее глаза, только услышав всхлипывания.

Она плакала. Так же, как всегда – очень тихо, не жалуясь. Она смотрела вниз, на носовой платок, перебирая его, будто пытаясь найти в нем ответ на вопрос: что же теперь делать.

Я думал, что знал эту женщину, вот такую простую, молчаливую, скрывающую от нас и горести свои, и недуги. Таковую же терпеливо-печальную и сегодня, когда на нее обрушилась новая беда. Пытающуюся, быть может, понять, почему жизнь, никогда не баловавшая ее, не хочет и к старости дать ей отдохнуть от невзгод.

– Мама, не плачь... – Вот и все, что я сумел ей сказать. – Не плачь, не бойся...

– Я не боюсь. Мне жалко вас, – ответила она.

Я-то думал, что знал ее... Вся моя жизнь, насколько я ее помнил, какими-то рваными кусками, вразброс, вдруг понеслась перед моими глазами. И в каждом из этих кусочков была она, наша мама, наш друг, защитник и опора – такая хрупкая и такая стойкая. Ведь даже сейчас, когда жизнь ее была в опасности, она думала не о себе, а о нас. Мне хотелось сказать ей: «Хватит, мама, давай подумаем о тебе». Но я чувствовал, что она просто не поймет этого.

Я сидел бессильный, подавленный, не понимая, как жить дальше.

Доктор позвал нас, мы выслушали его указания. Маме необходима была операция. Но прежде предстояло пройти курс химиотерапии и облучения, чтобы опухоль уменьшилась в размере. Все это пугало, я спросил, какие у химиотерапии побочные действия. Доктор ответил, я задал еще какие-то вопросы... Доктор все хотел, чтобы и мама участвовала в разговоре, чтобы я подробно переводил ей с англий-

ского. Но я просто не мог причинять ей еще боль, не хотел рассказывать, что скоро у нее начнут выпадать волосы или что будет дурнота, тошнота. Я придумывал какие-то успокоительные ответы. Сделают, мол, операцию – и все будет нормально. Болезнь уйдет.

Она тихонько сидела в углу, не проявляя особого интереса к разговору. На мои пояснения отвечала: «Хорошо, бачим. Как надо, так и сделаем». А я все спрашивал и спрашивал, я боялся упустить что-то важное, спасительное. И все яснее и яснее понимал, что никаких спасительных мер нет и быть не может. Что любые только затормаживают болезнь.

Глаза у доктора были добрые. Я видел и чувствовал, что он хочет помочь нам. Искренне хочет. Мне почему-то казалось – даже больше, чем кому-либо из других пациентов... Но дело было в том, что не имел он этой возможности, как не имела ее медицина вообще. И в его долгой практике мама становилась одной из многих сотен женщин, заболевших этой страшной болезнью. Моя мама становилась статистической единицей, только и всего. Я чувствовал себя таким ничтожным, не зная, как предотвратить это.

Дорога домой казалась вечностью. Да я и не совсем ясно соображал, как и куда еду.

Над нами пролетал самолет. Господи, подумал я, летаем мы все выше, ездим все быстрее, а ведь на самом деле мы – как это пелось в той песне? – мы только «пыль на ветру». Пыль на ветру...

Глава 2. Надежды

К тете Вале мы заехали просто потому, что надо было с кем-то близким поделиться горем.

– Плохи дела, – объявила мама. И рассказала, что произошло у доктора. Рассказала спокойно, негромко, как всегда.

Воцарилась тишина. Мы сидели на диванах, мягких, удобных. Казалось, к чему сейчас эти разговоры – лишние, ненужные. Хотелось вот так сидеть, расслабившись, заснуть, проснуться с легкой головой, как будто заново родившись – и чтобы ничего этого не было. Не было... А надо вставать, идти куда-то, что-то делать, что-то решать. Что? Как?

– Эся, Валера, послушайте, – воскликнула вдруг Валя. – Вы что – забыли о травнике из Намангана?

Травник из Намангана... Я о нем не то чтобы забыл, но... Уж слишком это была невероятная история. Вернее, целая серия невероятных историй.

Начались они с самой Вали. Она долго болела астмой, безуспешно лечилась. Помог ей этот самый наманганский лекарь. Диагноз поставил удивительным способом – по пульсу. Определил, что у Вали больная печень, астма – лишь следствие. Лечил ее травами...

Потом пациентом травника из Намангана стал Юрка, мой двоюродный братишка. Он был тогда студентом в ташкентском университете и случайно во время лабораторных хими-

ческих опытов наглотался ядовитых паров. Юрка не знал об этом да и ничего не почувствовал поначалу. А через несколько недель свалился: начались нестерпимые рези в желудке. Доктор определил причину болезни своим обычным способом – по пульсу. Затем последовало долгое лечение травами. Но дело свое доктор сделал. Юрка выздоровел...

Новая беда случилась с Валиной сестрой. Рак лимфоузлов, операция груди, метастазы. И отчаяние, полная безнадежность... Валя снова бросилась к доктору из Намангана. Он сказал, что на этот раз не сможет помочь – болезнь слишком запущена. Валя его буквально умолила, вынудила... И что-то он там делал непонятное. Кроме травяных настоев – теплый телячий навоз к оперированной груди велел прикладывать. Каждый день и именно телячий... Сказал, что если начнется улучшение, где-то в теле соберется и выйдет наружу гной. Через несколько месяцев так и произошло: гной вышел из стопы...

Невероятные истории! Я так к ним и относился, очевидно – с недоверием. Потому и задвинул вглубь сознания. Грозный канцер – и какой-то там телячий навоз... Но ведь жизнь этой женщины была спасена. Врачи подтвердили прекращение метастазирования. Это же было, было – думал я. А что предлагает современная традиционная медицина? У нее великолепная техника. Она помогает диагностировать – но далеко не всегда точно. Уже найден, пойман бракованный генно-носитель. Все так, но лечения-то нет! Операционное вмеша-

тельство, радиация, химиотерапия – все это в лучшем случае приостанавливает процесс. А зачастую – ускоряет... И смертность от рака занимает второе место, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям...

Я понимал, что от этих мыслей уже никуда не денусь, что надо будет решать, делать выбор...

Но разве я уже не сделал его? Разве смогу я отказаться от надежды, которая блеснула так внезапно?

Утопающий хватается за соломинку...

* * *

– А зачем непременно нужно ехать в Наманган? – спросил меня мой бухгалтер Лев, узнав о нашей беде. – Пульсовой диагностикой сейчас занимаются многие, в Чайна-тауне есть прекрасные лекари-травники...

Оказалось, что Лев знает одного из этих лекарей. У его сына были неприятности с желудком, врачи помочь не смогли, а помог китаец Кенни, лекарь из Чайна-тауна.

Уговаривать меня не пришлось. Чуть ли не на другой день мы оказались среди пестрых уличных реклам этого шумного китайского островка в огромном Нью-Йорке – и в каком-то тихом переулочке нашли офис травника Кенни – здесь у него была школа «Тай-чи», контактного спорта карате, а также врачебный кабинет.

В этом кабинете мы провели довольно много времени.

Кенни – невысокий человек неопределимого, как многие немолодые китайцы, возраста, вел себя, как самый обыкновенный доктор: долго расспрашивал маму, что ее привело к нему, где и какие боли, каково заключение врачей. Затем, положив мамину руку на подушечку, он стал прослушивать ее пульс у кисти – как это делают все терапевты, чтобы познакомиться с работой сердца. Затем, надев стетоскоп, он пригласил маму в соседнюю комнату – смотровую. А потом – потом он вышел ко мне один (мама еще одевалась) – и сказал:

– Вылечить вашу маму я, к сожалению, не смогу. Сожалею, но болезнь ее неизлечима... Сожалею... Облегчить состояние – попробую. Сейчас дам вам состав корений и трав. Пусть принимает...

И он вышел.

«Тот же самый приговор, – думал я. Сейчас появится мама – и что я ей скажу? Что? Будешь пить лекарство, которое тебя не вылечит? Леченья нет...» Пусть сам пьет свои травы!

Пакет мы все же взяли. Травы, когда мы их заварили, пахли отвратительно, будто мы варили червей. Это был какой-то черный отвар с «обломками кораблекрушения». Но что делать – мама начала пить эту гадость и через несколько дней действительно стала чувствовать себя лучше. Доктор этот не был обманщиком. Он сделал, что смог...

Нет – лекаря из Намангана необходимо было найти. Он оставался последней нашей надеждой.

Глава 3. 34 из 36

Телефонная связь в Узбекистане была не из лучших. Уж не помню, сколько дней я безуспешно пытался дозвониться в Наманган. Гудки то пискливо оповещали, что линия занята, то совсем вдруг прекращались... Мученье! Мученье и растущее нетерпение – ведь каждый день дорог! Юра предложил позвонить своему дяде в Ташкент. Дядя Яков был знаком с доктором. Дяде дозвонились, он сказал – доктор вроде бы дома, в Намангане, но может скоро уехать: приближается Хадж... Дело в том, что доктор был благочестивым мусульманином и, когда была возможность, ездил в Мекку на ежегодные поклонения.

Тут телефонная лихорадка достигла высшей точки. И уж не помню, в какой день и час Юрка, державший трубку, хриплым голосом сообщил: «Есть связь...»

Если бы трубку держал я, то, наверное, говорить бы не смог: меня судорогой свело, в горле застрял комок. А Юрка уже кричал:

– Здравствуйте! Можно Мухитдина Инамовича? Это из Нью-Йорка, Юра Юабов... Вы слышите меня? – Он замолчал, вслушиваясь, и по его напряженному лицу видно было: слышно очень плохо. Потом он что-то пробормотал и повесил трубку.

– Нет его, уехал. В Мекку, на Хадж. Будет через ме-

сяц-другой...

У меня начался приступ бешенства. Я ругался. Я пнул ногой телефонный столик. Я голову готов был разбить о стенку.

– Успокойся, – прикрикнул на меня кузен. – Чего психуешь?

– Успокойся... Двадцать первого мая должна быть операция! Что же мне делать? Что? Самому решать?! – в отчаянии кричал я.

Да, до операции, назначенной онкологом в госпитале, оставалось всего три недели, а самый главный вопрос не был решен: делать ли эту операцию до консультации с доктором из Намангана, а потом уже ехать к нему или отказываться от операции до встречи с доктором – и ждать этой встречи месяц, два, три. Ждать, ждать, ждать. Что может быть тяжелее ожидания? Да еще такого страшного. С риском опоздать.

Вот что предстояло мне решать. Именно мне. Потому что мама была готова на все. Кажется, в первый раз она вот так, словно ребенок, вручила мне свою судьбу, покорно и безвольно ожидая моего решения.

А я метался.

Онколог настаивал на операции.

– Пока хотя бы облучите, – уговаривал он меня при очередной встрече. – Опухоль уменьшится, мне будет легче оперировать...

– Не соглашайся, – заклинал меня Юрка. – Радиация, как и химия, поражает не только канцерные клетки, гибнут и

здоровые... Кончится тем, что лекарь откажется от лечения!

Я снова мчался к онкологу, я решил откровенно рассказать ему о наших надеждах, об этом странном лекаре, в арсенале у которого имеется телячий навоз.

Доктор Пэйс, смущенно глядел на меня поверх очков.

– Я ничего не знаю об этой науке. Но я – человек фактов.

Где доказательства?

– Доказательства? А спасенная жизнь – разве это не доказательство?

Доктор Пейс покачал головой.

– Ты видишь тех, кто выжил. А те, кто не выжил – о них ты знаешь? Сколько их было?

Я действительно не знал.

Я не мог больше спорить – с врачом, с самим собой, со своей болью.

– Мама, – сказал я, – будем делать операцию. А потом к травнику поедем. Согласна?

– Как скажешь, так и сделаем, – тихо ответила мама.

* * *

Стояло теплое майское утро. Больничный зал ожидания с полукруглым окном во всю стену торцовой части здания был залит солнечным светом. Маленькие диванчики, журнальные столики. Тихо, уютно, очень уютно. А за окном – почти та же мирная картина, что открывалась мне из прием-

ной онколога в тот проклятый день. Зелень, машины, люди, торопливо идущие ко входу в госпиталь... Торопятся. Все торопятся. Вот бегут доктор в голубом и медсестра в белом халатах. «Наверно, спешат отсечь кому-то руку», – злобно подумал я. Подкатила машина. Вышли люди. У одного рука забинтована. «А вот и их пациент». Мне хотелось думать о чем угодно, на чем попало срывать свою злобу на судьбу, как угодно отвлекаться от своей боли и тревоги. Там, за дверью, в операционной, уже три часа что-то делали с моей мамой...

Время ползло неестественно медленно. В зале было тихо, так тихо. Почти все сидели неподвижно. Иногда заходили врачи, подсаживались к ожидающим, о чем-то шептались. Я старался расслышать – что там у них? Кто-то, слушая, кивал, улыбался. Значит, все обошлось. А вот женщина откинулась на спинку дивана, закрыла лицо руками. Плачет... Другая вскочила, закричала, с криком бросилась прочь. Горе, горе, кругом – горе...

Но вот настал и мой черед. Ко мне приближался доктор Пейс. Мне казалось, он идет страшно медленно, будто о чем-то задумавшись, потирая кисти рук. Вот взглянул на меня – опять этот его добрый взгляд, я уже боюсь его.

– Ну, как? – не знаю, спросил я это вслух или только пошевелил губами.

– Она молодец. Уснула быстро. Грудь я удалил ей до основания...

Я ждал, что он скажет дальше. Мне нужно было знать... Я

пытался даже в своих мыслях избежать ненавистного слова.

Он понимал. Он был врач. Он должен был говорить мне всю правду как есть.

– У основания груди я удалил тридцать шесть лимфоузлов. К сожалению, почти все они... Твердоваты... И бледнее обычных...

Все было понятно. Официальный приговор мне предстояло выслушать после лабораторного анализа, но сомневаться в диагнозе опытного хирурга не приходилось.

– Валера... – Я почувствовал, как он напрягся. Бедняга, нелегкая у него профессия. – Как лечиться дальше, это ваше дело. Но без химиотерапии маме твоей жить от силы два-три года. Есть три вида рака молочной железы. Этот, что у мамы, самый агрессивный, не поддающийся лечению.

Леденящие слова будто впивались мне в мозг. Хотелось спрятать куда-нибудь тяжелую голову!

– Иногда делают пересадку спинного мозга. Но это... – Доктор Пейс будто запнулся и закончил с усилием: – Это будто возвращать мертвеца к жизни. Тяжелая штука...

Через неделю готовы были лабораторные анализы. 34 лимфоузла из 36 удаленных содержали злокачественные клетки. Канцер метастазировал.

Глава 4. Далекий близкий Узбекистан

– Надо больше ходить, мам. Еще один круг. Туда и обратно.

Я вел ее под руку. Она медленно и тяжело переставляла ноги, волоча за собой капельницу на колесиках. Такая слабая, такая усталая, да еще и заторможенная после наркоза...

Я пытался говорить за двоих.

– Врач был доволен, что смог убрать все с корнем, мам. Теперь все будет хорошо...

Я врал, стараясь не смотреть ей в глаза. И все время боялся, что она знает, догадывается.

– Ты же рядом, сынок, – говорила она, опираясь на мою руку. – Это самое главное...

* * *

Доктор Пейс начал выгонять из постели уже на третий день после операции. «Больше движения – быстрее придет в себя», – приговаривал он. Я поддакивал, а сам изнемогал от жалости.

Мы тихонько прохаживались по больничному коридору. Мать и сын. Оба мы были рады тому, что мы вместе, что мы, так сказать, имеем такую возможность – быть вместе. Маму это заполняло целиком. Ее сын – рядом, он здесь. Все

остальное – второстепенно. Никакой недуг не мог изменить этого. Моя радость не была такой незамутненной, я не был так счастлив. Мне хотелось иметь маму рядом всегда. Ведь никогда от нас не уходит эта детская потребность, детское ощущение: мама будет рядом вечно. Но какое уж тут вечно, если...

Мы ходили по коридору. Мать и сын. Она улыбалась. Я тоже улыбался, успокаивал, врал, глядя куда-то вперед, в пустоту коридора. В палаты мне глядеть не хотелось.

Это было онкологическое отделение. Много палат, в каждой – по три-четыре койки. Почти все они заняты больными. Какие они бледные, серые. Лежат, безразлично уставившись в подвешенные к потолку телевизоры. А мне почему-то кажется, что все чего-то ждут. Чего? Не знаю. А, может быть, и догадываюсь.

В те дни на меня все тяжелее наваливался мрак. Всего за несколько лет мы потеряли многих близких друзей. И молодых, и пожилых, и больных, и здоровых. Смерть была беспощадна.

С каждой потерей я ощущал, что круг становится все меньше, он словно бы сжимается. Все ближе к нашей семье. И вот подошел совсем близко. Неужели настал и наш черед?

Я гнал эти мысли, я старался от них избавиться. Но они не подчинялись мне. Вместе с ними приходили странные ощущения. В конце коридора появлялись какие-то размытые, белые, как привидения, очертания. Что-то они там делали,

шевелились. Я ловил себя на том, что пытаюсь взглядеться в них – может быть, они хотят мне что-то объяснить? Но тут я встряхивал головой, отворачивался. Бред какой-то! Просто я очень устал...

На пятый день после операции мама была дома... Американские порядки... Впрочем, дома лучше, спокойнее. Без того ужасного, что вокруг. К тому же было принято решение: мы не ждем здесь, за тридевять земель, возвращения доктора с Хаджа, мы едем к нему в Узбекистан. И в первый же домашний вечер я оповестил маму:

– Покупаем билеты, через пару недель поедem...

Она откликнулась, как всегда, спокойно:

– Как скажешь... А доктор уже вернулся?

– Нет еще. Но вернется же, наконец. Дождемся в Ташкенте, оттуда ближе добираться...

* * *

...Впрочем, «добираться» отсюда, из Америки было не так просто. Нужны были въездные визы в Узбекистан. Где их взять, не знал никто. В Нью-Йоркском отделении Узбекского консульства телефон не отвечал никогда. Это было учреждение таинственное, возможно, не существующее. Но так как наш маршрут лежал через Москву, мы порешили: получим визы там...

С тяжелым и странным чувством мы собирались в эту

дальнюю поездку. Родина – она оставалась родиной. Память о ней, тоска о ней, жила в душе своей жизнью, не всегда сознаваемой и ощущаемой. Она была постоянным фоном, обычно приглушенным, но иногда дававшим о себе знать толчками болезненными и острыми. Сейчас она как бы пробилась, открылась, вышла из подполья. Но соединялась с реальными опасениями и тревогами. Мы едем на родину с больной мамой. Мы не были там пятнадцать лет, а иммиграция из страны все так же интенсивна. То в гостях, то на улице, то по телефону мы получаем информацию, которую приятной и обнадеживающей не назовешь.

– Знали Ниязовых, да? Прямо за день до их выезда зашли к ним в масках, ограбили, избили...

– Слышали о Юсупове? Поехал туда продавать машины. Застрелили... Бедная мать, бедные дети!

Разговоры эти доходили и до мамы. Она ехала с чувством страха – не за себя, конечно.

* * *

Пасмурный день. Москва, Шереметьево. Толпы встречающих, приехавших, куда-то спешащих. Обыкновенная аэродромная толчея. А я, стараясь сосредоточиться, ищу в ней человека – незнакомого мне человека, в руках у которого должна быть бумага с моим именем... А, может быть, на плаще? А, может быть, он забыл бумагу... Как его зовут, этого

человека, которого попросили встретить нас? Анатолий Колесов... Где же он? А вдруг он заболел или... Спокойно. Посмотрю еще раз...

Но тут раздался голос:

– Вы – Валера? Да? С приездом!

Смотри-ка! Он сам вычислил нас!

Анатолий оказался очень дружелюбным и приятным – такой высокий, светловолосый парень с хорошим лицом. Сразу стало легче на душе...

Первым делом мы отправились в консульство Узбекистана. Это было очень солидное с виду консульство – прекрасное здание, гранитные ступени, блистающие полы. Много красных ковров. И безлюдные коридоры. Но все же кто-то отворил нам двери, перелистал наши американские паспорта, попросил подождать... Больше часа просидели мы в прохладном пустом коридоре, окруженные тишиной и красными коврами. Наконец, мы были приглашены в кабинет, где представитель узбекского государства, высокий и хмурый человек, сурово сказал нам: «Для въезда нужны визы. В ваших паспортах их нет. Почему? Где они?» Я объяснил: «Ваше консульство не работает... Телефоны не отвечают». – «Такого не бывает», – резко, с расстановкой ответил хозяин кабинета. Я твердо повторил, что именно так и было. Допрос продолжался: «Зачем к нам едете? Лечиться? А что, в Америке нет врачей?» – «Попробовали там, теперь хотим попробовать... У вас». Я с трудом произнес это «у вас». Для меня

оно прозвучало как-то нелепо. Ведь, по сути дела, я ехал домой, туда, где вырос... Какая, в сущности, идиотская вещь – границы...

«Как зовут врача?» – зачем-то спросил мой собеседник. Я ответил. «Не слышал. Не знаю такого». Господи, может, и это станет причиной отказа в визе? Что за дикая бюрократия? Я уже отвык от нее. Я стал нервничать. Хотелось ответить резкостью – но терпение, терпение!

И вдруг мой собеседник сказал: «Сейчас вам придется пойти к консулу и объяснить ему все то же самое. Так вот: он вам не поверит и не пустит вас, не даст визы...»

Я так и ахнул: «То есть как это...» Но собеседник остановил меня жестом. «Послушайте-ка меня... Вы же родились и выросли в Узбекистане? – он глядел на маму. Мама кивнула. – И родители похоронены у нас?» – Мама ответила: «В Самарканде...»

«Ага, – подумал я, – разговор принимает другой характер. Более понятный. Они хотят денег... Но как их предложить?»

Неподалеку машинистка безмолжно тарыхтела на машинке, другой сотрудник что-то сосредоточенно писал...

– Значит, так – громко и почти торжественно объявил наш собеседник. – Родители похоронены в Самарканде. Вы давно уехали и хотите навестить их могилки... Это хорошо! – он оглянулся, как бы приглашая своих сотрудников тоже одобрить наш поступок. – Это очень хорошо! Настоящие, любящие дочь и внук! – воодушевленно закончил он. И поднял

телефонную трубку.

– Азиз Шарипович? Тут у меня семья из Америки... Да, бывшие ташкентцы, наши... Причина? Очень благородная: навестить могилы родителей. Посылаю их к вам, да?

Этот кабинет был побогаче первого – большой, с высоким потолком и высокими окнами, с огромным флагом республики на стене. Этот зеленый флаг приятно дополнял несколько бесцветный интерьер комнаты. Сам консул, пожилой мужчина, уже известный нам как Азиз Шарипович, восседал за небольшим письменным столом и посылал нам пристальные, изучающие взоры... Зря я надеялся, что уже наступила деловая часть встречи. Начался новый допрос.

– Значит, давно уехали... Ну, как там?

– Трудновато, – начал было я. Но Азиза Шариповича мой ответ не интересовал, у него была своя тема.

– А я никогда не понимал тех, кто бросил все и уехал. Не мог понять. Зачем? Разве плохо было?

Отвечать не хотелось. Да и к чему? Не понимал он, что ли, сам, что лжет? Верил, что не было ни притеснений, ни дискриминации? Действительно считал, что просто поднялись с насиженных мест, бросили все и уехали? Да если и был он так слеп на самом деле – неужто я сейчас раскрою ему глаза – и этот человек внезапно станет умным, добрым, отзывчивым?

А Азиз Шарипович продолжал свою назидательную беседу.

– По долгу службы я здесь принимал многих, уехавших, как вы, из Узбекистана. Многие сожалеют. Кое-кто вернулся... При моем содействии... А вы как?

Отвечать не хотелось, и, пожав плечами, я пробормотал что-то невнятное.

...И вдруг раздался мамин голос. Молчаливая моя мама заговорила – да не просто заговорила, а по-узбекски! И голос ее звучал так мелодично, красиво, почти нежно... Консул вздернул бровь, консул улыбнулся, консул подхватил... Он придвинул к себе чайник, в пиалы полилась душистая струя... Улыбаясь почти радушно, консул подал маме пиалу...

– Вы молодец, – воскликнул он, поболтав с мамой минут десять. – Сколько лет прошло, а вы все помните. И язык, и...

Наступила пауза. Азиз Шарипович допил свой чай, поставил пиалу и решительно подытожил разговор:

– Значит, на три недели. Ташкент, Самарканд, Наманган... Вы знаете, конечно, – непринужденно добавил он, – что за визы надо заплатить... Сколько? М-м-м... Восемьсот долларов.

Я и сам уже догадывался, что этот спектакль в двух актах, с небольшими изменениями в тексте, зависящими от состава зрителей (они же – невольные участники представления) разыгрывался исключительно ради денег. Заключительная фраза – «За визы надо заплатить» – не менялась никогда. Впрочем, плата за визы – дело законное. Но эта сумма, эта

доплата за старательно разыгранный спектакль, этот грабеж в официальном учреждении...

– Извините, Азиз Шарипович, мы, конечно, из Америки, но восемьсот долларов – и там очень большие деньги...

Поторговавшись, сошлись на трехстах пятидесяти...

В тот же вечер мы вылетели в Ташкент.

Глава 5. Дым отечества

– Придется подождать, – сказал белобрысый солдат, сидевший в будке.

Мы приземлились в Ташкенте час назад. Было около пяти утра. Только-только забрезжил рассвет в окнах терминала. Вместе с толпой прилетевших нас повели через длинный коридор, где наши шаги по гранитному полу отдавались гулким эхом. И вот теперь все пассажиры, томясь от усталости и неизвестности, толпились в отделе проверки паспортов.

– Неправильно оформлена бизнес-виза, – говорили одному.

– Штампов нет. Уплатите за визу в том окне, – сообщали второму.

«У того окна» уже выстроилась очередь, но никто не принимал. Очередь тихо возмущалась. Таких беспорядков с оформлением бумаг в других аэропортах мира поискать...

«Чего он там выкопал у нас? – тоскливо размышлял я. – Вроде бы все в полном порядке... А солдат все «копал», сосредоточенно высвечивая в голубом огоньке мамин паспорт и ледяным взором оглядывая то маму, то фото в ее паспорте.

– Что-нибудь не в порядке? – не выдержал я.

Долгая пауза.

– Много поддельных американских паспортов. Я уже сказал: вам придется подождать начальника.

– Козел белобрысый! – выругался я. Беззвучно, разумеется...

Начальник явился минут через сорок. Он мельком прошелся взглядом по нашим бумагам и кивнул: «добро».

Но ведь это было еще не все – и далеко не все!

«Пройдите туда...» «Уплатите вон там...» «Подождите, багаж еще не пришел...»

Мама в изнеможении присела на единственный – и тот был без спинки – стул.

– Больше ты меня сюда не затащишь!

«Да, – подумал я, – все-таки прошло пятнадцать лет, и мы от многого отвыкли. От многого...»

А там, за окнами, все это время терпеливо ждали встречавшие. И среди них – в кожаной куртке, в шляпе, в очках – наш Яков. Время от времени он помахивал нам рукой и ободряюще улыбался.

Загудел конвейер и из дальнего угла тускловатой багажной поползли чемоданы, сумки, сетки. Вот и наши, наконец. Последнее испытание – «шмон» – и мы на воле!

Невысокий, но ладно скроенный, сияющий добродушной улыбкой Яков Гаврилович обнял маму, меня.

– Ну, как вы? Как дорога? Все в порядке?

Мы уселись в его «Жигули», зашуршали колеса по асфальту, мама и Яков оживленно разговаривали, а я с жадностью вдыхал рвущийся в машину воздух. Теплый, азиатский, обдающий меня, как волнами, воспоминаниями. Короткий

Проезд... Наш двор... Урючина... Старый город... Педагогический мой институт... Они теперь здесь. Рядом. Широкие улицы, арыки, деревья... Все это притаилось в моей памяти, спряталось, замерло, будто ожидая своего часа, своей минуты, чтобы воскреснуть, ожить.

Поворот за поворотом, улица за улицей, площадь за площадью открывался перед нами Ташкент. Да, он все такой же. Дома – чаще бетонные, иногда кирпичные. Невысокие, серые, хотя в моем воображении – самые красивые. Широкие, осененные деревьями улицы с арыками по сторонам. Скверики и парки, такие ухоженные, чистые. Город этим всегда отличался! Уборщицы, обычно – бабульки в косынках, казалось, круглые сутки шваркали повсюду своими метлами из веток... Проехал трамвай, изрыгая снопы искр. Как знаком скрипучий звук его колес! Мы остановились у светофора, перед нами закачались провода – и я, волнуясь почему-то, как перед долгожданной встречей, подумал: «Едет!» И правда – почти сразу из-за поворота медленно выдвинулся неуклюжий троллейбус. «Пах-пах!» – выстреливали искры из-под крестовины, где соединялись провода.

Пока стояли мы в ожидании зеленого света, на перекрестке скопилось много машин. Белые пары бензина вырывались из выхлопных труб.

– Все так же воняет, – вздохнула мама.

– Бензин такой у нас, – виновато отозвался Яков, – семьдесят шестой.

«Ничего он не воняет, – думал я, – так себе попахивает. Слегка. Даже приятно...»

...У Якова нас уже ждали. Жена его, Татьяна Николаевна и дочь Ольга встретили нас на пороге – и буквально с порога мы почувствовали себя здесь, как дома.

Если собрать вместе все хорошее, всю доброту и чуткость, какие могут быть в человеке, то, наверно, и получатся именно такие люди, как Яков и его жена. Как-то сразу с первой минуты встречи ясно было, что они – такие, без всякого двуличия и притворства.

Ни я, ни мать не знали их достаточно близко. И, собираясь в эту поездку, мы чувствовали себя довольно неловко. Кто мы для них, чтобы взваливать на их плечи свои невзгоды, тяжесть нашего положения? Отнимать время, стеснять. Тем более здесь, в стране, где само бытие – такая нелегкая вещь. Но есть люди, для которых помогать другим – так же естественно, как и жить, дышать. У них это, вероятно, получается само собой, без специальных решений и обдумывания... Вот такой была эта семья, семья Ильевых.

Невысокая, с короткой стрижкой, Таня быстро ходила по комнатам и отдавала распоряжения:

– Валера, ты располагайся в зале, а ты, Эся, будешь отдыхать на веранде... У нас там уютно... Говорить обо всем будем потом – вы с дороги, вы устали... Оля, как там постель – готова?

День был в разгаре. С улицы доносились звонкие детские

голоса. Как не хотелось дарить это время сну! Но мы действительно были измотаны двухдневной, не имевшей конца поездкой. И другой часовой пояс, к тому же... Спорить не приходилось.

– Скоро должен звонить Юра... Узнать, как мы добрались, – сообщил я. И тут же, как провалился, уснул мертвецким сном.

Глава 6. Чужой переулок

– Валера? Ты? – Удивленно спросила Валентина Павловна. Голос ее по телефону звучал точно так же, как много лет назад, когда стояла она у классной доски, записывая там очередное правило русской грамматики, или сидела за своим учительским столиком, читая нам какую-нибудь книгу... Все тот же четкий, ясный, неторопливый голос. И по-прежнему – родной.

– В Ташкенте? С мамой? – как эхо, повторяла она. – Ну, послушай, это же замечательно!

Не знаю, представляла ли она себе меня в этот момент, но я-то видел ее совершенно ясно, так, словно она стояла передо мной. Мягкое славянское лицо, очки, короткая стрижка, взгляд добрый – и в то же время пронизывающий тебя насквозь: «Ну, Юабов? Что ты там знаешь?» Я вообще-то любил читать и редко краснел под этим взглядом. Мне вспомнилось, как во время летних каникул я приходил к ней домой за очередной книгой из тех, что нам предлагалось прочитать за лето (на ее книжных полках, конечно, были и эти, и многие другие) – и Валентина Павловна укоризненно говорила своим детям, Кольке и Сашке:

– Ну, не совестно вам? Валера уже опять все прочитал, а вы? Ох, лоботрясы!

А я жался, краснел и ругал себя за то, что не постарался

прийти тайком, когда ребят нет дома: ведь теперь я обязательно от них услышу: «Вечно нам из-за тебя влетает!»

Валентина Петровна ахнула, узнав, что мы в Ташкенте пробудем не больше трех недель.

– Но мы увидимся? Ты зайдешь?

– Конечно!

Мы сразу же договорились о встрече. Время приходилось распределять четко. Ведь хотелось повидать родственников и друзей, побывать в тех уголках Ташкента, о которых я с такой болью вспоминал, съездить с мамой в Самарканд на могилы ее родителей. Три недели были не то чтобы заполнены – забиты.

Воскресный день. Мы с Яковом Гавриловичем едем по Ташкенту. Цель поездки – Короткий Проезд. Мой родной переулок. Дом моего детства. Двор, где я вырос. Где поднимает ветви к небу моя урючина...

Ильяевы жили в центре, езды нам было всего минут десять, но с каждой минутой я чувствовал все большее напряжение, беспокойство, уж и не знаю, что еще. Очевидно, все вместе это и называется волнением.

Промелькнул небольшой парк. Чем-то он удивил меня, что-то вокруг него было и знакомым, и странным...

– Яков Гаврилович, а где же Туркменский? – воскликнул я, поняв, наконец, чего здесь не хватает. – Где же базар? Ведь я хорошо помню – он был здесь!

– Был, да не стало, – вздохнул Яков. – Отремонтировали

его, открыли заново – а потом пришлось закрыть... Подорожал очень товар после ремонта базара – и народ не пошел сюда... Недаром говорят люди, что базар нельзя перестраивать!

Парк давно остался позади, а я все еще вздыхал и помахивал головой, отгоняя от себя воспоминания, зримые, как галлюцинации: прохладные ряды, яркие груды овощей и фруктов, острые запахи, веселый гул, звонкие выкрики глашатаев-продавцов... Странное и горестное чувство: будто потерял друга.

Между тем мы уже почти доехали. Вот и улица Германа Лопатина, все такая же широкая и тихая, все тот же магазинчик на углу... Поворот налево – и мы на Коротком Проезде... И он такой же, слава богу... Но нет, не совсем. Вот тут, на углу, стояли мусорные ведра, над ними черными жужжащими тучами кружились мухи... Я слышу, слышу их жужжанье! Неужели оно только чудится мне? Да, чудится... Нет здесь никаких мух, как нет и ведер. Ну и ладно, это, наверно, к лучшему. Как и то, что переулочек наш заасфальтировали. Жаль только зеленой травки, которая пробивалась возле стен. И одуванчики – сначала желтенькие, потом – пушистые, седые. И мураши всякие там сновали. Нет их теперь, пусто. Даже стены построек, образующие переулок, стали другими. Были глиняными, из них торчали соломинки. А стали – гладкими, отполированными... Жаль, хорошо бы подергать соломинки...

Сделать все эти усовершенствования мог только один человек: новый хозяин нашего дома. Ведь в переулочек выходили единственные ворота – наши... То есть его... Никак мне к этому не привыкнуть.

Впрочем, и ворота уже оказались не те! Наши были темно-красные, деревянные, а на них – белая, мелом начертанная цифра шесть. Вместо этого я увидел нечто громоздкое, металлическое, неопределенного цвета... Не стало и лампы, укрепленной над воротами на тонкой жерди. Хоть и тусклая – она была маяком для всех нас, идущих с улицы домой... А теперь над воротами громоздилась жилистая постройка.

«Это еще что? – злобно подумал я. – Наделал тут черт-те чего!» Я все не мог до конца осознать, что двор давно уже не мой, не мог примирить свою память с действительностью – и все продолжал, продолжал искать хоть что-нибудь милое, родное. Вот раздалось за воротами кудахтанье кур – и я до смешного обрадовался: кудахтали они совсем как в давние времена...

Я почему-то трусил: а вдруг он нас не впустит, этот новый хозяин? Я совсем его не знал, никогда в глаза не видал, но он мне уже не нравился.

Пока Яков Гаврилович звонил (вот опять же новость! К чему звонок, когда ворота – чтобы в них стучать?), я пытался уловить знакомый звук за стеной справа. Когда-то там, прислонившись к стенке, соседская корова вкусно и громко пе-

режевывала солому. Я окликал ее – она знала мой голос и отвечала мне мычанием... Но теперь стена молчала.

Дверца в воротах приоткрылась. В ней появился некто – невысокий мужчина средних лет с лицом таким же невыразительным и бесцветным, как и сами железные ворота. Он слушал нас с недоумением и неприязнью. Он не понимал, зачем мы пришли. Я вырос здесь? Ну и что? Смотреть здесь мне не на что. Старого ничего не осталось. Ни-чего. Он все заменил. Все тут новое. Его. И мне тут делать нечего... Тут на его лице появилось некоторое выражение – такое, будто на железные ворота повесили огромный железный замок.

Я понял, что нас не впустят.

Пока Яков, то заискивая, то горячася, продолжал торговаться с этим отвратительным типом, я все норовил заглянуть во двор. Но хозяин так прочно утвердился в проеме полуоткрытой дверцы! Все пространство загораживали его плечи, его живот, выпирающий из-под майки, его небритая физиономия. Я вертелся, как юла, я вытягивал шею – но все, что попадалось мне на глаза, было цементным, серым, мрачным.

«Урючина, где моя урючина? Хрыч небритый, что ты сделал с ней?» Нет, не разглядел я урючины за этим камнем преткновения.

Пугающая тишина стояла во дворе. Молчали куры. Ни разу не услышал я ни лая, ни звона собачьей цепи – там не могло уже быть Джека, конечно, но хоть бы какую-нибудь

услышать собаку! Что за ташкентский двор без собаки? Но в этом дворе не было ничего живого... Не назовешь ведь живым этого бездушного хранителя бездушного, чужого места!

...Несколько дней одолевали меня гнев и тоска, а потом я не выдержал и, никому ничего не сказав, сам отправился на Короткий Проезд... Смирюсь, думал я, буду вежливым и обаятельным, объясню, откуда я приехал, из какого далека, как мечтал увидеть двор своего детства... А, может, мне повезет и этого типа дома не будет? Сегодня рабочий день... А женщины – они ведь мягче...

В этот раз я не позвонил – я доставил себе удовольствие громко постучать в ворота. Громыхающий звук эхом прокатился между стен.

Но мне опять не повезло. Хозяин был дома. Он снова собственноручно отпер дверцу. На этот раз он был не в затрапезной майке, а в костюме и при галстуке, но выражения лица он сменить не захотел – да, вероятно, не смог бы и при желании. Мои красноречивые объяснения он оборвал решительно и быстро.

– Ну и что же, что из Америки? Я просил не приходить!

И дверца в воротах захлопнулась передо мной – очевидно, навсегда.

Глава 7. «...Город, знакомый до слёз»

«Добро пожаловать в Чирчик». Посеревшая каменная доска с надписью все так же стояла на бугорке у мостика. Но район Троицкий, первый при въезде в город, показалось мне, стал иным. Когда-то он был таким оживленным, люди сновали повсюду, а сейчас он был каким-то тихим, будто замершим в преддверии долгой ночи, каким-то обезлюдевшим.

Мы обогнали автобус. Он был потрепанный, пыльный, накренившийся так, будто вот-вот опрокинется – и немудрено: набит он был людьми, как бочка селедками... А полз этот автобус медленно, словно объевшаяся гусеница – и я успел услышать, как он при этом кряхтел: «П-жж-ех!» – мол, я стараюсь, работаю, только вот состарился...

Вот замаячила впереди высокая труба химкомбината – все такая же... Нет, что-то с ней не то... Позвольте, а где же дым? Желтый ядовитый дым, толстым жгутом упиравшийся в небо? Но не было дыма... Значит, рухнул бессмертный, бессонный комбинат и там, за длинным забором, по-прежнему обмотанным поверху колючей проволокой, все мертво? Ну, комбината, по правде сказать, мне нисколько не жаль!

Мелькают улицы – знакомые, но какие-то уже чужие, что ли... Театральная, Пушкинская, улица Ленина... А вот и он сам на пьедестале. Все с тем же озабоченным видом, устремив свой взор куда-то поверх деревьев, подавшись вперед и

вытянутой рукой указывая на горизонт, он упрямо призывает своих единомышленников маршировать к светлому будущему... Неужели я здесь жил? Ну да, конечно. Ведь я знаю эти улицы до мельчайших деталей, до закоулков. Почему же мне вдруг начинает казаться, что я просто бывал здесь туристом?

Рыча, напряженно работал мотор. Мы поднимались в гору. Туда, где под мостом текла Чирчик-река. Она так сверкала под стоящим в зените ослепительным солнцем, что боль пронзала глаза и приходилось жмуриться. А в темноте моих прикрытых век возникало что-то удивительно приятное, и слышал я даже знакомые голоса...

– Не бойся, плыви! – перекрикивая шум бегущей воды, кричали ребята. А я стоял у берега по пояс в воде – и все не решался на этот бросок. От начала моста мне нужно было доплыть до средней его опоры – таковы были условия заплыва. Ледяная горная вода обжигала кожу, я шатался под ее напором, до того стремительным, что мне предстояло плыть в обратную сторону, почти против течения, – иначе меня унесло бы гораздо ниже моста...

Бросок... И больше ничего не помню. Как-то я, очевидно, все же плыл, отчаянно сопротивляясь могучей и равнодушной силе воды. Возможно, меня, проплывавшего мимо, подхватил кто-то из пацанов... Помню только, что я продрог до костей и был здорово напуган. Я наконец-то понял, почему здесь запрещено было купаться. Ведь утонуло возле моста

немало таких смельчаков, как я и мои друзья. Но страх проходил, отпускал – и все сильнее становилась радость: ведь я все же не струсил, поплыл, я остался «своим»!

А вот, наконец, и «Юбилейный». Все так же просторно. И еще зеленее, чем прежде – деревьев стало больше. Но кинотеатр «Октябрь» – с ним-то что? Почему завешены витрины? И стекло, треснутое на входной двери. И пуста афишная доска... Закрыли, значит, кинотеатр. Грустно.

И наконец... Наш дом. Дом пятнадцать. Выбежав из машины, я первым делом поглядел на третью от земли панель. Нет, мне не показалось! На ней четко выделялись следы – круглые следы глины. Именно там, куда мы с пацанами в последний раз швыряли глиняные хлопущки.

Тишина стояла вокруг. Я вслушивался, вслушивался... Чего-то мне не хватало, привычных каких-то звуков... Ах, вот в чем дело: не слышно было журчания воды, той тихой мелодии, которая от весны до осени звучала постоянно, изо дня в день. Но в этот летний день арыки молчали.

Игровое поле... Куда-то делись футбольные ворота, накренилась беседка и прохудилась ее крыша.

По всей длине улицы на высоте трех метров подвешены отопительные трубы. Они выглядят ужасно: с них кусками свисает обветшавшая обмотка. А наш огород! Он заброшен, зарос сорняками. Зеленая изгородь разрослась, ветви кустов торчат во все стороны. Бедный талл стоит с обломанными сучьями, вмятины на стволе похожи на раны. Даже скамейка

у подъезда превратилась в инвалида – осталась без спинки.
– Валера, ты? Добрались, наконец?

Я поднял глаза – с балкона второго этажа наклонилась и смотрела на меня седая женщина в очках. Она смеялась, она радовалась мне. А я – я оторопело замер с открытым ртом. Я узнал этот голос, и в облике ее что-то было мне знакомо – но только что-то... Боже мой, я не ожидал, что время так изменило ее, мою учительницу, Валентину Павловну! Ведь в памяти учеников учителя не стареют...

Я крикнул что-то бодрое, помахал рукой – и мы вошли в подъезд.

Каждая ступенька лестницы была страничкой памяти и вместо звука наших шагов я слышал детские голоса, звон бьющегося стекла, жужжание Дориной кофемолки и неумолчную ее болтовню.

Обнимались и целовались мы долго. В квартире у Эдема, старого моего друга, собралась целая куча родственников – его родители Эмма и Рифат, его брат Рустем, их жены, дети. Вскоре пришла Валентина Павловна с дочкой. Уселись на веранде за обеденным столом. Все были взволнованы, оживлены, начались тосты, пили за нас, за встречу. Словом, все было как положено. И все же я испытывал странное чувство – и с каждой минутой оно все росло. Чего-то не хватало в этой встрече, что-то изменилось. Что?

– У нас тут, Эся, нет ничего впереди – втолковывала моей матери Эмма, мать Эдема. – Мы тут доживаем, вот и все.

Жизнь совсем поганая стала...

Она сидела, скрестив руки на груди. Ее черные как смоль волосы стали совсем седыми, а поблекшее лицо не смогли освежить ни крем, ни пудра. Эмма была женщина энергичная. Когда-то она работала в беляшной на базаре, торгую у нее шла бойко, беляши были отличные – жирные, сочные. Но когда моя мама вспомнила об этом, Эмма только рукой махнула.

– Что ты, Эся! Нет давно беляшей, разогнали всех!

«Почему? – удивлялся я про себя. – Кому помешали сочные беляши? Вот так перестройка!»

Жаловался и Эдем. Он, как и его отец, работал на стройке. И вот, оказывается, закончил он большую работу, а денег не заплатили.

– По-другому теперь у нас не бывает, – объяснил он мне. – Теперь все в кредит. Ждем...

Радостных новостей не было ни у кого. Планы на будущее – самые неопределенные. Кто-то мечтал вернуться на родину, в Крым, кто-то – переехать поближе к детям, в Россию... И все как один, отмахиваясь от наших вопросов (о чем, мол, тут рассказывать? Доживаем и только), жадно спрашивали, как нам живется в Америке, удивляясь при этом самым обыкновенным для нас вещам. И никто, ну никто из них не мог понять – чего это мы вдруг потащились за тридевять земель к какому-то местному лекарю. Америка – ведь это...

Мне было тоскливо. Мне было почему-то стыдно – как

будто я, а не здешнее правительство был виноват в том, что моим друзьям жилось здесь так плохо, что у них и надежд не оставалось. И еще я понял, что изменилось не только это.

Когда-то, много лет назад, я был сыном простой швеи и учителя. Мы жили бедно, я часто завидовал мальчишкам, которые могли себе позволить много больше, чем я – то книжную подписку, то покупку велосипеда или хотя бы хоккейной клюшки. Я завидовал и мечтал. Теперь мы, так сказать, поменялись ролями. Но разрыв между мечтами и действительностью стал неизмерим...

Я подошел к окну веранды. Отсюда, с третьего этажа, мне открывалась вся панорама, все, что было сотни и сотни раз исхожено в детстве. Огороды... Площадка с беседкой... Арык, где лепили мы глиняные снаряды... Край дома с мусорными баками... Я вглядывался, вглядывался, пытаюсь населить все эти места теми, кого видел здесь прежде. Я старался увидеть мальчишек, гонявших футбольный мяч. Или взрослых, облепивших скамейку у подъезда и с жаром обсуждающих события дня... Или шумную стройку неподалеку... Но тщетно! Поблекли краски, не возникали знакомые лица, не слышались голоса. Может быть, потому не появлялось это в моем воображении, что и наяву все изменились и все изменилось, стало иным, поблекшим? Странное я испытывал чувство, стоя у окна веранды. Что-то навсегда ушло, исчезло, перестало манить...

Тогда я еще не понимал, что вместе с этим странным чув-

ством уходит навсегда моя ностальгия, моя тяга в Чирчик, в поселок Юбилейный.

Глава 8. «А вот здесь прежде жили...»

Время летело. Уже почти две недели прожили мы в Ташкенте, а доктор все еще не появлялся в Намангане. И никто не знал, когда же он, наконец, вернется. Росло напряжение, росла тревога. Порой я просто паниковал: а вдруг мы так и не дождемся его?

Друзья наши делали все возможное, чтобы облегчить томительное ожидание. То дома собирали гостей, то для нас устраивали прогулки.

Однажды нас привезли на дачу. Я как вышел из машины, так и ахнул: «Боже ты мой, как давно я об этом мечтал!» Прямо у ворот дачного участка стояли два вишневых дерева. Невысокие, молодые, сплошь усыпанные темно-красными, блестящими вишнями! Они не просто блестели, они поблескивали отражениями света, как звездочки на ночном небе. Они торчали со всех сторон веток на своих крепеньких зеленых стебельках, как на иголках ежика... Я кинулся к этим красавицам-вишням и, как маленький, набил себе полный рот сочных, ароматных ягод... «В Америке нет таких вишен, представляете себе? Нет! Там вишни совершенно безвкусные», – объяснял я смеющемуся Якову.

Запомнилась и другая поездка: Яков Гаврилович решил показать мне свой завод. Здесь изготавливали железобетонные плиты для строительства жилых домов. Мы долго бродили

по полупустым цехам, где стояли какие-то большие станки, подъемники, даже лифты. Многое здесь бездействовало. Вяло, в полмощи работали цеха. На мое «почему», Яков ответил:

– Мы же были одним из звеньев в цепи, понимаешь? Нам поставляли сырье, мы изготавливали плиты и доставляли их строителям. А теперь цепь распалась. Страна распалась – и цепь распалась... Сырья мало, потребителей – тоже. Вот и стоим...

Но, очевидно, эти печальные обстоятельства не повлияли на стиль жизни местного начальства. Мы приехали на завод в пятницу – а пятница у начальства считалась «разгрузочным» днем... Для этой самой «разгрузки» руководство завода выстроило себе особый комплекс. Здесь была и баня с парилкой и бассейном, и гимнастический зал, и бильярдная и многое другое, столь же приятное. Но, понятное дело, главной «разгрузкой» был сабантуй. В комнате для ужина за большим столом помещалось человек тридцать. Попарившись, наплававшись, начинали пировать...

Так было и на этот раз. Мы оказались в числе приглашенных: я был «подан к столу», как американский гость. Заморский фрукт, то есть... От шума, смеха, брэнчания гитары, бесконечных тостов, от густого сигаретного дыма у меня даже голова пошла кругом...

– Ну что, вернешься к нам? «Приедешь обратно?» – спросил меня с другого конца стола один из начальников.

Шум затих. Все ждали моего ответа.

– Погостить приеду, – в замешательстве ответил я.

Стол дружно загрохотал.

– Молодец! За гостя! – провозгласил начальник – и лихо опрокинул стопку. Десятую, вероятно...

По утрам я в одиночестве бродил по городу. По базарам, по знакомым когда-то улицам. Заходил и в свой родной Педагогический... Выглядел он ужасно. Два пожара произошли здесь за это время. Второй был особенно сильным, институт остался изуродованным, полуразрушенным. Я не мог смотреть без боли на обгоревшие колонны перед главным входом... Впрочем, здание реставрировалось и в уцелевших флигелях шли занятия. В музыкальном отделении принимали экзамены. Сновали взад-вперед студенты, переговаривались... Я невольно вглядывался, будто мог увидеть знакомые лица, прислушивался, уловив русскую речь... Нет – хотя все было знакомо, но знакомых тут не было. Да и русский язык уже не считался здесь родным: все таблички на дверях деканата и разных отделов, – блестящие, черные, такие же, как и в мои времена – теперь были украшены узбекскими надписями. Чтобы русским духом не пахло...

Как-то, возвращаясь домой с прогулки, я не стал дожидаться троллейбуса, а остановил частного на Москвиче. Это был пожилой мужик с густыми седеющими волосами и крепкими руками, которыми он удивительно надежно охватывал руль. И машину свою он содержал в большой чистоте. Сло-

вом, мужик – его звали Володя – был приятный и немногословный. Вез он меня, для сокращения пути, по каким-то узеньким переулкам со старыми одноэтажными зданиями, глиняными и кирпичными. Я, конечно, бывал здесь когда-то, но теперь уже ничего не узнавал. А Володя, заехав в эту чащобу, почему-то загрустил и даже начал покряхтывать и вздыхать. Мне как-то неловко было спрашивать, что с ним. Я и хотел, и не решался. И тут вдруг он, не глядя на меня, сказал:

– Видишь эти дома? Тут немцы жили. Много немцев...

Я промолчал. Я пока не очень понимал, для чего он мне это сообщает...

Машина свернула за угол. Володя опять вздохнул и даже замедлил ход.

– А вот здесь татары жили... Помнишь?

Я снова промолчал. Помню – не помню – ему какое дело? Рассказывать, откуда я приехал, не хотелось.

– А вот это... – Мы ехали теперь совсем медленно, и Володя с таким горестным вниманием разглядывал переулок, будто приехал сюда специально, чтобы поклониться жилищам умерших родственников. – Это еврейский был переулок... Здесь, и здесь, и здесь... Всюду евреи жили. Еще недавно совсем, лет десять назад.

Он опять не глядел на меня и, казалось, разговаривал сам с собой. Но тут уж я не выдержал.

– Так это хорошо или плохо?

Володя повернул голову и посмотрел на меня с презрительным удивлением.

– То есть как это – хорошо или плохо? Что же тут может быть хорошего? Уехали все учителя, инженеры... Сапожники уехали, портные, парикмахеры, мясники... Все настоящие мастера своего дела... Каких людей повыгоняли!

* * *

Тут он немного разговорился, и я узнал, что Володя – сам инженер, что многие его друзья, работники предприятия, уехали из Узбекистана. И что в республике сейчас... Он снова крикнул и замолчал.

Теперь мы оба думали о прошлом, о потерянном навсегда. Но, вероятно, мне, уехавшему отсюда пятнадцать лет назад, было не так больно, как Володе. Я ведь приобрел что-то взамен. А он – он только терял. Все эти годы терял. И теперь, кажется, потерял уже даже надежду.

Глава 9. Доктор из Намангана

Светало. «Жигули» наши бодро тарактели по бетонке. Доктор наконец-то вернулся, Яков договорился о встрече, и мы немедленно отправились в Наманган... Я хотел сказать – мы летели, как на крыльях, но это было бы преувеличением: мы ехали уже больше часа, но только-только покидали пределы Ташкента. Промелькнули окраины, теперь по обе стороны дороги простирались поля, чаще всего – хлопковые. Но мелькали и луга – то там, то здесь паслись коровы. Были и огороды, и сады. Почва здесь хоть и глинистая, но, как ее называют, жирная. Очень плодородная. Этим республика славилась. И из всех, кто заселил эту землю, по-настоящему ее плодородием пользовались лишь узбеки – народ очень трудолюбивый. Из поколения в поколение воспитывалась в них любовь к земле. В семьях трудились все, от мала до велика. От восхода до заката. Согнувшись, с кетменем или лопатой в руках, взрослые и дети работали то в поле, то на своем огороде – вскапывали грядки, рыхлили, засевали семена, высаживали ростки... Сколько раз я их видел в детстве, этих тружеников! Казалось, они не знают, не чувствуют усталости. Уметь взрастить – это было главной радостью жизни.

Начинался подъем – мы уже были в горах. В Наманган мы ехали напрямик – через город Ангрэн, а затем через Камчикский и Пунгамский перевалы в отрогах Тянь-Шаня. По-

том, спустившись – по Ферганской долине... Почти пять часов езды, а, может, и дольше, если что случится. Дорога через перевалы и прежде была нелегкой, а уж теперь, в смутные времена, в эпоху развала, всеобщего недоверия, вражды между республиками – и к тому же растущего терроризма... Кто знает, что нас здесь ждет? Объяснения с пограничниками, проверки документов – это куда ни шло. А если бандиты? Говорят, здесь стало почти повседневным явлением вымогательство бензина. Мы, как могли, приготовились к неожиданным встречам. За нами следовала вторая машина – мы предпочли выехать компанией. Рядом с водителем сидел Яков, наш покровитель, и руководил маршрутом... Впрочем, пока все было благополучно. Даже дорога, вопреки моим ожиданиям, была в приличном состоянии – не так уж много ухабов и рытвин...

Я не отрываясь глядел в окно. Я – городской мальчишка, росший в Ташкенте и Чирчике – впервые был на Тянь-Шане – чтобы попасть в родные горы, мне пришлось пересечь океан... Что за красота! Небесные горы – вот что означает в переводе с китайского это звонкое название – Тянь-Шань... Горные отроги уходили вдаль на много километров, конца им видно не было. Узкая дорога извивалась серпантинном, как огромный змей. Она то пряталась за крутым поворотом, то резко уходила вниз, то вдруг расширялась, чтобы опять сузиться за следующим холмом – и казалось, что тяжкие скалы вот-вот сдавят борта машины... А то дорога словно на

дыбы становилась – и мотор наш, напрягаясь, неистовствовал и рычал... Трудная и прекрасная дорога. Ее пробили в горах еще в двадцатые годы, сделав этот край доступным для людей. И только во время больших снежных заносов дорогу перекрывают в районе перевала...

Я глядел в окно, не отрываясь, с какой-то жадностью, с какой-то сладкой болью. Рядом со мной в машине сидела мама, мы ехали к доктору в Наманган и беда наша ехала вместе с нами. И все же эта дорога, эти горы – они что-то делали с моей душой, секунда за секундой, час за часом. Можно вроде бы сказать – отвлекали от тяжелых мыслей. Но не те это слова. Не отвлекали – боль была во мне – а чем-то еще наполняли... А дорога бежала, крутилась, падала, взлетала, то упираясь в скалу, то устремляясь к бурлящей среди камней реке, а то уходя от нее и открывая где-нибудь далеко внизу ее излучину или ее долину, такую спокойную и мирную, где-то в бесконечной дали, за дымкой холмов...

Одна из таких долинок – зеленая, приветливая – оказалась на нашем пути. Мы устроили здесь короткий привал: маме пора было отдохнуть, да и бензин надо было залить из запасных канистр. Уж тут, разумеется, не удалось бы найти привычных нам на дорогах Америки бензоколонок. А если кое-где и попадались, то горючее там продавалось чуть ли не на вес золота. Зато мы увидели здесь кое-что другое, с детства памятное и милое...

У обочины дороги сплошную живую оградой росли вы-

соченные, стройные, как корабельные мачты, деревья. В их тени, тоже в ряд, выстроилось с полдюжины лоточков. Это был маленький дорожный базарчик, приятный сюрприз для путешественников, достигших перевала. Здесь можно было утолить жажду прохладным кумысом, купить душистый мед, свежееобжаренные семечки. Полакомиться куртмом – это такие белые соленые шарики, приготовленные из кумыса. Съесть свежую, теплую лепешку с домашним сыром. Торговали этой снедью местные узбечки – все в национальных платьях, шелковых, в ярких разводах, в меховых жилетах, в платках, в тонких кожаных сапожках, все – с обветренными, коричневатыми щеками, выдававшими в них жителяниц гор. Но оставались они при этом такими же, как женщины в любой точке земного шара: горянки болтали друг с другом до того увлеченно, что им было совершенно не до торговли. Как, впрочем, и не до детей, которые, сбившись в кучку, беззаботно играли рядом, ковыряясь в земле...

Мы поели, отдохнули в тени. Небо казалось огромной голубой пиалой, опрокинутой над нами. Воздух был кристально чист, все, что мы видели – и небо, и деревья, и река, и склоны гор – все было каким-то особенно четким, вырисовывалось до мельчайших деталей. На ближней горе, почти у самой вершины, паслись козы. «Горные. Только они забредают так высоко», – объяснил мне водитель. Гора была настолько крутой, что склон ее казался почти отвесным... А в нашей мирной долинке где-то неподалеку от реки ржали ко-

ни. Здесь река расширялась, была мелкой, тихой, прозрачной. Галька на дне блестела под лучами солнца. Мама, щурясь, глядела на воду... Но нам пора было отправляться в путь.

Горы кружатся, отступают, уходят, мы спускаемся все ниже – и вот уже перед нами Ферганская долина. После прекрасного, но дикого и сурового горного пейзажа она кажется особенно яркой и гостеприимной. Невозможно оторвать взгляд от щедрой красоты изобилия, созданного руками людей. Плывут навстречу сады. Ветви деревьев, будто драгоценными украшениями, усыпаны плодами – то румяными персиками, то яблоками... Вьются по столбикам виноградные лозы... Бахчи наполняют воздух тонким ароматом медоносных дынь. Кажется, что до них и до огромных полосатых арбузов можно дотянуться из машины... Подсолнухи склоняют свои тяжелые, коронованные золотом головы... Темно-зеленым массивом стоит кукуруза. К самому горизонту уходят изумрудные хлопковые поля, пересеченные то каналами, то дорогами... Вдали часто видны селенья: их крыши мелькают среди стройных, устремленных в небо деревьев...

– Слышал я, – просвещал меня тем временем дядя Яша, – что в незапамятные времена здесь была богатая земледельческая страна Давань. Сейчас, как ты знаешь, Ферганской долиной владеют три страны: Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. Узбекам досталось больше половины долины. И люди сюда, понятное дело, валом валят. Население тут са-

мое густое: почти треть жителей Узбекистана! Красиво живут, правда? Повезло им.

«Повезло-то повезло. Но каким трудом это везенье оплачено!» – думал я, прильнув к окну машины.

Прямыми лентами поблескивали вдалеке каналы. От них отходили ниточки арыков. И почти везде возле них маячили фигурки людей с кетменями: они открывали «краны»-перемычки, чтобы пустить воду в свои арыки...

– Каналов здесь сотни, – объясняет мой экскурсовод. – Воду для них дают горные реки – Нарынъ и Карадарья. От самых вершин Тянь-Шаня текут, с ледников... А здесь, в долине сливаются воедино – и превращаются в Сырдарью! – Тут дядя Яша показывает куда-то на восток – туда, вероятно, где происходит это чудо: рождение самой большой рекой Азии. – Так что воды здесь для всего должно бы хватать – и для садоводства, и для и земледелия. А вот для питья... Питьевой воды, слышал я, не хватает. Много трудностей с очисткой. Арыки, сам понимаешь – древность, азиатские «водопроводы»... – Тут дядя Яша заканчивает свой обзор неожиданным сообщением, что мы приближаемся к опасным краям: местные таджики и турки-месхеты уже несколько лет ведут здесь кровавые междоусобицы. Впрочем, Яков вполне спокоен.

– Это дальше, в Таджикистане, – уверяет он, взмахивая рукой, чтобы нагляднее показать отдаленность. – На узбекской стороне долины – тихо...

Я рассказываю, что слышал в новостях о кровавых зверствах, о беспределе, о том, что убивают не только детей и пожилых. Беременным женщинам вспарывают животы, убивают зародышей. Мне хотелось бы понять, что там происходит.

– Национальные распри, Валера, – пожимает плечами дядя Яша... – Власть, земля... Как обычно, – печально заключает он.

Между тем мы подъезжали к Намангану. Уже людной, оживленной стала дорога, появились городские постройки. Такие же, как в Ташкенте, жилые четырехэтажки, такие же торговые центры – город не показался мне своеобразным. Впрочем, я не очень-то его и разглядывал...

Улица Сурхандарьинская оказалась немощеной и пыльной. Ворота. Двор, огород. Одноэтажный дом. Мы долго стучим. Ехали, ехали – а здесь, может быть, нас и не ждут, может, нет никого... Но вот шаги – нам открыли. Смуглый мужчина средних лет, очень спокойный.

– Заходите... Я – Мухитдин Инамович.

Это был узбекский дом, настоящий узбекский дом, где из поколения в поколение жили так, как привыкли. Здесь обувь скидывали на пороге. Здесь уютная гостиная – резные потолки, резные плинтусы – устлана была коврами. На коврах – одеяла. На них мы и уселись, скрестив ноги, перед невысоким столиком-дастарханом, заставленным сладостями и фруктами... Усталые, напряженные, измученные ожиданием мы жаждали только одного – поскорее поговорить с доктором.

Но легче сдвинуть скалу, чем нарушить обычай: с путниками не будут говорить о делах, пока их не накормят. Мы обменивались приветствиями, мы вели неторопливый разговор о семье, о детях, о работе, мы пили душистый чай со сладостями – так всегда начинается восточная трапеза. Потом хозяин разносил суп-шурпу в глубоких пиалах-косах, очень вкусную шурпу. Словом, все шло своим чередом – и, пожалуй, так-то и лучше было: отошла дорожная усталость, отпустило напряжение... Есть мудрость в древних обычаях. И только после еды доктор сказал маме:

– Давайте-ка я вас посмотрю...

Осмотр – он происходил тут же, при нас – показался мне странным. Доктор не попросил маму раздеться, не достал стетоскопа. Взяв маму за правую руку и, положив пальцы на ее запястье, он начал прощупывать пульс... Я замер, я старался не дышать...

Внезапно доктор спросил:

– Когда у вас было воспаление правого придатка?

– Воспале... Мама задумалась. – Да, было. Лет тридцать назад, после выкидыша...

А доктор уже снова слушал пульс.

– С левой грудью нехорошо... Когда оперировали?

Мама удивленно посмотрела на меня. «Значит, ты уже все рассказал доктору? Когда же ты успел?» – прочитал я в ее взгляде.

– Оперировали около двух месяцев назад, – ответила она.

А я молчал. Я был растерян, поражен – не знаю уж, как точнее сказать. Дело в том, что я ничего не успел рассказать доктору – ни по телефону, ни сегодня. Не было такой возможности. Не было разговора о маминой болезни – вот и все! И вдруг сейчас... Я огляделся – уже не в первый раз – со странным ощущением: где же это мы? На приеме у доктора? На долгожданном приеме? Но слова эти были так прочно связаны в сознании с больничной обстановкой, с оборудованным кабинетом, с белыми халатами, наконец... Здесь не было ничего... «Может быть, он потом поведет маму в свою больницу? – думал я. Ведь он даже не взял кровь на анализ... И рентген...»

А этот странный доктор все сидел тихонько возле мамы, и его пальцы чуть шевелились, поигрывали на мамином запястье. Он слышал какую-то мелодию. «Бетховен, – мелькнуло вдруг почему-то в голове. – Почему Бетховен? Тот был глухой... А этот – нет, он не глухой, это мы – глухие. Глухие зрители».

– Когда начал болеть копчик?

Это знал уже и я! Лет пять назад мама поскользнулась на лестнице, упала. Были боли, пришлось делать уколы.

Поражало не только то, что он это знал. Поражало и то, как он задавал вопросы. Он не спрашивал: «болит ли копчик», он спрашивал: «когда начал болеть?»

– Когда стали болеть ноги ниже коленей?

Правая нога начала болеть после того, как мама порвала

связку...

И вот так – вопрос за вопросом, без всяких анализов, приборов, рентгенов, в этой комнате с коврами, напоминавшей мне Ташкент моего детства, он точно, до деталей, рассказывал нам обо всех бедах моей мамы... Это было похоже на мистику, но я останавливал себя: спокойно, он же не колдун, а ученый! Он доктор – только ты таких еще не встречал.

Доктор снял, наконец, свои пальцы с маминой руки, взглянул на меня – очень спокойное у него было лицо и взгляд спокойный, но когда глаза наши встречались, что-то было в этом взгляде особенное, какой-то пронизывающий был взгляд... Не знаю, может, мне это от волнения казалось. И вот он глядел на меня и говорил, загибая пальцы, как ребенок при счете:

– Прежде всего, надо лечить печень. Матка, придатки... Сердце... Кора головного мозга...

Тут его кто-то позвал. Я выскочил за ним. Я боялся – он не все может при маме. Печень, матка, сердце... Ну, а главное, главное? Почему он молчит о главном?

– Доктор, – пробормотал я, – Мухитдин Инамович... Ну, как? Вы сможете? Есть надежда вылечить?

– Посмотрим, дорогой. Уже в печень пошло, понимаешь...

Мухитдин Инамович выражался удивительно просто. То ли потому, что говорил со мной не на родном языке, то ли – и это вероятнее – потому что по характеру был прост, не лю-

бил научных терминов, которыми так часто злоупотребляют врачи. «В печень пошло» означало, что уже и в этом органе появились метастазы.

«Уже в печень пошло» – как эхо, повторялось и повторялось в моей голове. Смаргивая туман, застилавший глаза, я спросил:

– И что же будет? Что будет?

– Посмотрим, дорогой, – повторил он. – Там у мамы в матке... Я же видел, там две царапины остались. После скоблёрки. Вот оттуда все и пошло... Ну а теперь надо постараться процесс остановить. Если удастся. Шансы есть, но придется лечиться минимум три-четыре года...

Я закивал понимающе, хотя не понимал тогда вообще ничего. Но уже сами эти слова – три-четыре года – сделали меня почти счастливым. Они позволяли дышать, они давали отсрочку, давали надежду!

Мухитдин Инамович похлопал меня по плечу.

– Пойдем, а то мама там одна сидит...

Все-таки это удивительно! Ты знаешь человека всего несколько часов, но ощущение такое, что это близкий человек, которого ты знал всегда. Полное доверие. Облегчение – нет уже этого страшного груза, который, казалось, не только душу твою, но и тебя самого вдавливал в землю... Почему так случилось? Из-за его простоты? Из-за того, что он сумел по пульсу... Но ведь и этим все не объяснишь. Возможно, какие-то удивительные свойства души и сделали его настоя-

щим целителем.

Наверно, и мама ощущала что-то похожее – она заулыбалась нам навстречу.

– Вы все обо мне рассказали, а теперь Валеру посмотрите, пожалуйста, – попросила она доктора. Он кивнул:

– Садись...

Я уселся, старательно изгоняя из себя страх. А он, едва дотронувшись до моей кисти, сказал:

– В детстве было у тебя сильное отравление. Помнишь?

Подумать только, доктор ошибся! Я почувствовал даже некоторое огорчение.

– Никакого... – начал я. Но меня перебила мама:

– Было, было у тебя отравление! Мясом отравились мы все... Три недели в больнице провалялись. Ему и десяти не было, вот и не помнит, – объяснила она доктору. Он кивнул.

– Вот поэтому, когда ты долго бегаешь или тяжести поднимаешь, у тебя вот здесь боли... В левом подреберье...

Я только поднял на него глаза, но сказать ничего не смог. На Парк-Авеню меня обследовали самые дорогие доктора и ничего не нашли. Ничего! Не смогли объяснить, чем вызваны эти боли.

А доктор, все держа мою руку, тихонько покачивал головой:

– У тебя там четыре колика сидят, в кишечнике твоём, – пробормотал он, очевидно, объясняя, что произошло в моем кишечнике после отравления. Что такое колики, я мог толь-

ко догадываться. Очевидно, спайки. Но разве в этом сейчас дело? Раз он знает, что у меня боли, значит, не ошибается и в диагнозе.

Потом доктор обнаружил и то, что мне самому было известно: у меня аллергия, имеется также ущемление седалищного нерва. Вот и все, слава богу... Я вздохнул с облегчением.

Может быть, для того, чтобы успокоить маму, может быть, поняв, что мы относимся к нему и с симпатией, и с интересом (я с разрешения доктора снимал на видеокамеру, как он работает) – но так или иначе Мухитдин Инамович решил показать нам видеофильм о своих пациентах.

На первых кадрах появилась женщина с ребенком на руках.

– Турция, – лаконично пояснил доктор. – Пятилетний малыш, с рождения не ходит, церебральный паралич...

Следующие кадры: доктор массирует ребенка. Один кадр, другой, третий. То один ракурс, то иной. Но везде неподвижное тельце и склоненный над ним доктор. И вдруг что-то новое... Что же? Да он шевелит ручками! И снова мелькают кадры. Массаж, массаж, массаж. Но теперь мы смотрим очень внимательно, очень напряженно... Оп! Зашевелилась ножка... Да, он ее подвинул, повернулось колено... Новый кадр – ребенок сидит! Теперь мы уже радостно ожидаем чуда – и оно происходит: вот он ползает, вот встает на ножки, а вот счастливая мать – в слезах, конечно, кто бы

тут не заплакал – смотрит, как ее ребенок играет, резвится.

Мы увидели в этот день еще несколько поразительных роликов. Не все они могли так наглядно, как видеофильм о массаже, показать, как работает доктор – но они показывали отчаявшихся, измученных, тяжело больных людей в начале и этих же людей, счастливых, просветленных, физически переродившихся – в конце...

Глава 10. Легко ли стать табибом

Прием, по сути дела, был закончен. Нам осталось только получить лекарство, за которым доктор послал кого-то в аптеку – в свою собственную, разумеется. Но пока мы этого лекарства ждали, удалось узнать еще много удивительного о нашем новом знакомом... По моим ощущениям – о нашем новом друге.

Все началось с разговора о лекарствах. Я задал вопрос, как теперь я понимаю, безграмотный: какое лекарство назначает доктор при той болезни, что у моей мамы. Он удивленно приподнял брови и ответил вопросом на вопрос: неужели я полагаю, что при одинаковых симптомах и даже при одной болезни можно во всех случаях употреблять одно и то же лекарство? Вот, например, головная боль. Существует десятки причин ее возникновения... И боль при этом всякий раз иная. Висковая, лобная, теменная и так далее... Конечно, можно ее заглушить болеутоляющим. На какое-то время. Но то, что вызвало боль, этим не устраняется! А вызвать ее могли неполадки в совершенно различных органах: в коре головного мозга, в желудке, в почках. Возможно, нарушена взаимосвязь определенных органов... Возможно, эта боль – сигнал, предупреждение о серьезной беде...

Доктор увлекся разговором, вошел в азарт, он чуть покачивался в ритм речи, выразительно жестикулировал, но ли-

цо его оставалось таким же спокойным.

– Дорогой, восточной медицине известны двадцать восемь видов рака – и у каждого множество причин. Так что же – искать одно лекарство от всех бед? А ведь так и делают! Всех онкологических больных гонят на химиотерапию. Облучают... Разве так доберешься до источников заболевания? Потому его и не могут вылечить. Змею за голову прижмешь – она умрет. А за хвост ухватишь – нипочем не одолеешь, – закончил он азиатской поговоркой.

* * *

Тут уж мне стало ясно: совершенно бессмысленно спрашивать, что за лекарство доктор готовит для мамы. Очевидно, такое, которое годится только в ее случае...

Но от другого вопроса я все же не удержался.

– Мухитдин Инамович, где же вас всему этому учили? То есть я имею в виду... Ведь таких учебных заведений...

Он засмеялся.

– Конечно, их пока нет у нас. Но мне повезло.

Началось все, оказывается, с большой беды. Совсем еще юный Мухитдин, студент-ирригатор – он перешел на второй курс – работал летом 1967 года в студенческом строительном отряде. Студенты жили в кибитках, по утрам их развозили на грузовиках к месту работы по извилистой и ухабистой дороге. Однажды, когда в грузовике ехали Мухитдин и

еще трое студентов, водитель не справился с крутым поворотом. Грузовик на всем ходу опрокинулся в кювет...

– Все мы вылетели, – рассказывал Мухитдин Инамович – и меня вдобавок с размаху ударило краем борта. Могло бы пополам перерубить, но подо мной оказалась небольшая яма. Это и спасло. Сознание, конечно, потерял. Надолго... В больнице сделали рентген, выяснили, что позвоночник сломан в трех местах, а в тазовом суставе – трещина. Но я все же благодарен судьбе: один из моих товарищей получил такую травму головы, что через год умер.

Врачи андижанской больницы почти не надеялись сохранить жизнь Мухитдина. В лучшем случае, говорили они, после очень тяжелой и сложной операции он останется жить, но ходить никогда не сможет. Мухитдин много дней не приходил в сознание, поэтому операция откладывалась. Когда же он очнулся, отец его, Умар-углы Инам, попросил, чтобы Мухитдина выписали и увез сына домой...

Мудрым человеком был Умар-углы Инам. Не могу не написать здесь о нем, пусть хоть очень коротко.

Работал он агрономом, но и другие естественные науки изучал, прекрасно знал историю. Весь дом его был в книжных полках. Среди многих сотен книг немало было и старинных арабских – сочинения ученых, философов, богословов. Этих книг на арабском языке Умар-углы Инама лишила советская власть. Приехали однажды в кишлак красноармейцы в островерхих шлемах с большой красной звездой.

Они обыскивали дома, забирали арабские книги – и тут же сжигали их на кострах... С тех пор Умар-углы Инам, человек глубоко верующий и вообще очень добросердечный, к советской власти никаких добрых чувств не испытывал...

Отец Мухитдина был человеком физически сильным. В свои шестьдесят лет он мог притащить с базара в каждой руке по мешку муки. Каждый мешок – 30 кг веса!

* * *

Врачам андижанской больницы Умар-углы Инам не доверял: что могли сделать врачи, которые считали его сына безнадежным? Мудрый человек знаком был с восточной медициной, основанной Авиценной. Потому и увез он Мухитдина из больницы, что узнал: неподалеку, в Желалабаде, живет замечательный восточный лекарь: табиб Абдулхаким Бобо, старый уйгур, изгнанный из коммунистического Китая, из Синьцзяна. Неподвижного, полуживого Мухитдина пришлось везти к табибу, уложив кое-как на заднее сидение машины Волги...

– Вы сам приезд помните? – спросил я.

– Да, – кивнул Мухитдин Инамович. – Помню, как старик с длинной седой бородой велел перенести меня в дом, положить животом вниз на доску. Он долго меня осматривал. Слушал пульс, потом принялся за ноги: покалывал иглами колени, икры, ляжки. Спрашивал, чувствую ли я что-

нибудь. Но я не ощущал ничего... Закончив осмотр, табиб принес какие-то отвары, один дал понюхать, другой попросил выпить. Тут я заснул и не просыпался дня два...

Позже отец рассказал сыну о том, что произошло, пока он так крепко спал. А произошло, можно сказать, чудо: старый табиб манипулировал позвонки пальцами рук. Он соединил переломы на позвоночнике Мухитдина так, чтобы позвонки могли правильно срастись.

* * *

Когда Мухитдин очнулся, он уже снова лежал на спине. Болей не было. Но ему казалось, что ниже пояса у него нет тела: он не чувствовал ни бедер, ни ног...

– День шел за днем, а ноги все не появлялись. И вдруг – через восемнадцать дней это случилось – боль вспыхнула, как огонь. И вместе с ней я почувствовал свои ноги! Они вспотели так, будто их облили водой, потом стали сильно дергаться. Отец – он от меня не отходил – позвал табиба. Старый целитель был очень доволен. Засмеявшись, он сказал отцу: «Ваш сын будет не только жить – он и ходить сможет». И, как видишь, Валера, табиб сказал правду, – усмехнулся Мухитдин Инамович. – Он вернул мне ноги!

Я в ответ только головой помотал. Невозможно было себе представить, что этого крепкого, плотного человека с прямой спиной и упругой походкой врачи когда-то считали без-

надежным больным, навсегда приговоренным к инвалидному креслу. Действительно произошло чудо!

– Когда же вы начали ходить? – спросил я.

– Месяца через два. Первый из них я пролежал на доске, второй – на обычной постели. Табиб давал мне лекарство. пилюли, составленные из 68 высушенных трав. Назывались они Хап-дора. Боли продолжались – и в ногах, и в позвоночнике, но прибавлялись и ощущения. Я начал чувствовать, что происходит в моем кишечнике, в прямой кишке, в мочевом пузыре... И вот настал день – кажется, пятьдесят пятый, – когда табиб и отец подняли меня, держа на весу, и с их помощью я сделал четыре шага... А дальше – два костыля, через месяц – один... Однажды я услышал: «сегодня попробуй сам»... И я пошёл, пошёл сам – качаясь, придерживаясь за стены – но пошел!

– Счастливым день! – пробормотал я.

– Еще бы! – кивнул Мухитдин Инамович. – И хорошо, что в этот день я не знал, сколько впереди тяжелого. Даже не в переносном смысле, а в прямом: табиб стал нагружать меня тяжестями. Два мешочка песка – один на спине, другой на груди – перекинута через плечо... По мешочку с песком – в обеих руках... Уж не помню, сколько они весили вначале, но дошло до 30 килограммов на каждую руку. Попробуй-ка пошагай! Но я шагал, радовался, кое о чем раздумывал.

Через полгода я уже мог ходить совершенно свободно. Однажды табиб сказал: «пора нам расставаться» – Вот тут-

то я и осмелился ответить: расставаться не хочу. Я почти-тельно прошу табиба разрешить мне быть его учеником. Табиб не сразу дал согласие. Сначала память мою проверил, определил чувствительность пальцев. Это ведь очень важно для доктора-пульсолога... И, наконец, я услышал решение. «согласен учить тебя, но с условием: институт ты не бросишь. Заниматься приезжай по выходным, а на остальные дни недели будешь получать задания»... Что тут поделатъ, – вздохнул Мухитдин Инамович. – Спорить с учителем я не смел. Пришлось согласиться.

Сказать по правде, я так и не понял – почему табиб Абдулхаким Бобо принял такое решение: ведь учеба в институте, плюс еженедельные поездки в Джелалабад, плюс задания на каждый день были для его ученика очень тяжелой нагрузкой. Особенно после такой ужасной травмы. Но, возможно, учитель считал такую нагрузку полезной для воспитания трудолюбия и чувства ответственности. Мухитдин Инамович эту ношу выдержал мужественно и с честью. Закончив институт (кстати, с золотым дипломом), он начал работать инженером, по специальности. А жить перебрался к учителю. Ученичество его длилось пятнадцать лет.

* * *

– Трудно было, уставали? – спросил я.

– Не без этого. Но занятия с таким мудрым учителем до-

ставляли огромную радость. Учил он меня древней тибетско-восточной медицине, пульсодиагностике, учил, как лечить травами. Кроме медицины прекрасно знал биологию, астрономию. Но мудрость табиба заключалась не только в его познаниях. Я постоянно ощущал воздействие его доброты, справедливости, благородства. Вот расскажу тебе такой случай... Пошел я вскоре после выздоровления в андижанскую больницу, к тому самому врачу, который собирался меня оперировать. Здороваюсь, а он вдруг спрашивает: «Ну, как твой брат? Жив?» – «Почему брат? – говорю. – Это же я лежал в больнице, со мной была беда». – Врач засмеялся: – «Не шути! Такого быть не может! Тот парень был безнадежен». – «Как это безнадежен? Да меня же вылечили!» – «Кто?» – «Один старый доктор». – «Зачем неправду говоришь?» Тут я стал показывать, что совсем здоров: делал приседания, стул поднимал одной рукой... Врач только руками махал: «Не морочь мне голову, все равно не верю, что ты – тот парализованный парень!» Я разозлился, ушел. Пожаловался табибу. «Ох, – говорю, – как же мне хочется насолить этому дураку доктору!» А табиб ответил: «Что же ты обижаешься? Подумай немного о связи событий... Если бы этот врач твоему отцу не сказал, что ты безнадежен, но он все же будет тебя оперировать – отец не привез бы тебя ко мне. Значит, ты благодарить должен доктора! И пожалуйста, сделай это до следующей встречи со мной». Табиб вообще был убежден, что во всех людях надо искать хорошее и де-

лать им добро. Он говорил: «Даже если к тебе подойдет твой враг с пистолетом, ты скажи, что сперва хочешь прослушать его пульс, а потом он может стрелять...» Вот с каким человеком свела меня судьба!

– А как он выглядел? – спросил я. Мне очень хотелось представить себе табиба.

– Жалко, что нет у меня фотографии... Он с первого взгляда внушал уважение. Голова седая, длинная седая борода, а глаза такие ясные, такие мудрые. И пронизательные – в душу тебе глядят. Держался прямо, никогда не сутулился. Учителю был 81, когда мы встретились. А покинул он этот мир 94-летним старцем.

* * *

Мы помолчали. Я понимал, что Мухитдину Имамовичу тяжело это вспоминать, и не стал задавать ему вопросов об уходе табиба.

– Ну, а когда не стало учителя, наступили для меня трудные времена. Лечить я не имел права: у меня был диплом инженера, а не врача, да к тому же восточная медицина в те времена в Советском Союзе не признавалась наукой. Абдулхакиму Бобо разрешали заниматься частной практикой, потому что у него лечилось местное начальство. Но у меня таких шансов не было...

И тут снова пришел на помощь Его Величество Случай.

Мухитдин Инамович узнал о талантливом физике – Абраме Самуиловиче Магаршаке, который руководил научно-исследовательской лабораторией дистанционной диагностики. Эта лаборатория принадлежала Институту общей физики и геохимии Академии Наук в Москве. По счастью, в Намангане, при педагогическом институте, был создан филиал этой лаборатории. Умаров пошел знакомиться с Магаршаком. Для начала предложил физику, что, прослушав его пульс, расскажет, чем он болеет. Получив точное перечисление своих заболеваний, пораженный физик сказал лекарю: будем работать вместе... Он слышал, конечно, о пульсодиагностике и раньше, но теперь убедился, что по пульсу можно получать огромную биомедицинскую информацию, что пульс на колебательном уровне артерии дает полный отчет о работе сердца, печени, и всех других внутренних органов. Мало того – пульс, очевидно, дает знать и об инородном теле...

– Можешь ты «услышать» первую раковую клетку в организме? – спросил как-то физик у Умарова. Тот ответил:

– Не только слышу, но могу ее и отторгнуть.

Магаршак и его коллеги решили с помощью Умарова создать пульсодиагностический прибор. Мухитдин Инамович стал научным сотрудником лаборатории, а вскоре и заведующим сектором медицинской диагностики.

Вот так доктор-табиб оказался в кругу крупных ученых. И, наконец, состоялась его встреча с известным физиком

Прохоровым, который своим научным авторитетом поддержал восточную медицину и, в частности, ту ветвь ее, которую возвращал Умаров.

Наконец-то перед Умаровым открылась широкая дорога. В 1985 году министр здравоохранения разрешил ему лечить больных в московских больницах. Он получил право заниматься своим любимым делом не только в родном Узбекистане, но и по всему Союзу. У него десятки учеников. При его участии центры восточной медицины были созданы и в Москве, и в Намангане, и во Владивостоке, и в Хабаровске.

...Я слушал этот поразительный рассказ и думал: сколько трудностей преодолел этот спокойный, неторопливый с виду человек! И достиг того, чего, казалось бы, достичь было невозможно... Да, он хорошо отблагодарил своего учителя. Он достойно продолжил его дело.

А доктор, закончив свой немногословный рассказ, сидел передо мной и задумчиво дымил сигаретой. Казалось, он сейчас где-то далеко, может быть, там, в Москве, где он, почти не говоривший тогда по-русски, нашел таких замечательных друзей...

Он снова закурил – не знаю уж, в который раз – и я, не удержавшись, спросил:

– Как же вы, врач, себя не бережете?

Он пожал плечами:

– Не так уж это вредно. Даже и польза есть: стрессы снимает... И я не установил в своей практике, что курение ме-

няет строение клетки.

Господи, – подумал я, – чего он там только не проследит в своей практике! И тут у меня вдруг вырвалось:

– Может быть, вы и СПИДом занимаетесь?

Доктор спокойно кивнул:

– Понемногу. Практики мало: больных СПИДом изолируют... Но двух больных, мужа и жену, мне удалось взять на лечение. Договорился я с Покровским – и три года их лечу... Лет через шесть – посмотрим...

– А как они сейчас?

– Очень хорошо. Держу вирус под контролем.

Пока шли эти удивительные разговоры, принесли нам лекарства – бумажный пакет с травами. Мы открыли его – и я почувствовал аромат горных лугов, согретых солнцем...

Доктор дал последние наставления – как принимать лекарства, какая нужна диета – он, например, не рекомендовал употреблять молоко, а баклажаны и говядину просто запретил есть: они способствуют появлению раковых заболеваний.

Пора было уезжать. Произнесли короткую молитву, завершившуюся словом «Амен». Нас провожали до калитки, и когда, прощаясь, Мухитдин Инамович пожимал мне руку, я заметил, что и это он делает как-то по-своему. Он обхватил мою руку своими двумя, легко, не сжимая. Пальцы у него были длинные, как у музыканта... Да, это были необычные руки. Руки, приносящие добро тысячам людей.

Глава 11. Дорога надежды

Пока маму готовили к осмотру, я рассказывал доктору Пейсу, как мы ездили к его коллеге в Наманган. Мы сидели в уютном кабинете, он – за письменным столом, я – напротив. И как только я отводил взгляд от лица доктора, мне невольно бросались в глаза многочисленные дипломы и удостоверения, развешенные в застекленных рамках на стене за его спиной.

На этот раз доктор Пейс был более сдержан и, видно, с нетерпением ожидал моего рассказа. Но и я, зная его скептицизм, старался быть сдержанным и кратким.

– Он прослушал пульс и все рассказал... А ведь мы в первый раз увиделись...

– Что же именно рассказал? Что значит – «все»?

– Ну... Он уверен, что у мамы все началось после выкидыша, когда ей неудачно сделали чистку... Он на матке... – я запнулся. – Увидел две царапины. Они и стали причиной, оттуда все и пошло...

Я замолчал. Молчал и доктор. А мне было очень трудно продолжать, я и сам понимал, каким странным кажется ему мой рассказ.

– Понимаете, теперь уже, конечно, дело не в этом. Доктор Умаров говорит, что уже в печень пошло... – Тут я поймал себя на том, что выражаюсь в манере лекаря – то есть

так же просто, как он, не стараясь употреблять медицинские термины...

– В печень? – Доктор Пейс покачал головой. – Я брал кровь на анализ печени. Анализ этого не подтвердил... А чем же он лечит маму?

– Сбором трав.

– Каких?

– Сбор составлен специально для нее. В его аптеке – сотни трав...

– М-да... Американские индейцы тоже лечились травами. Но ведь это было так давно. Столетия прошли... – Пейс сказал это таким тоном, что ясно было: возвращение к прошлому он считает нелепостью уже по одному тому, что это – прошлое...

Шла незримая борьба настоящего и прошлого. На стороне доктора Пейса – представителя настоящего – была прогрессивная наука с рентгеном, анализами, биопсией и другими объективными доказательствами ее правоты. А на моей стороне, у меня, как бы представляющего здесь наманганского лекаря, были пока лишь бездоказательные слова – и ссылки на неизвестную доктору Пейсу древнюю науку...

Доктор вышел осмотреть маму.

– Шов заживает неплохо, – сообщил он, вернувшись. – Правда, есть там крошечный воспаленный бугорок, вроде нарывчика... Он увеличился чуть-чуть... Надо будет проследить.

Я спросил, нельзя ли назначить маме гормоноконтролирующие таблетки – я знал об их популярности, о том, что они всегда предписываются при онкологических заболеваниях типа маминого. Но доктор Пейс покачал головой:

– Без химиотерапии или радиации их не назначают... – Он повертел в руках карандаш, потом снял очки и устало протер глаза. Я видел, я знал, что он намучился с нами, с нашим упрямством, что, возможно, даже осуждает меня. Играю с человеческой жизнью, да еще с жизнью собственной матери! Отказываюсь от курса лечения, который во всем мире признан необходимым... А ведь он настаивал, убеждал...

– Через четыре месяца сделаем проверку костей, – вздохнув, сказал доктор. – А пока... Старайся маму отвлекать, займи чем-нибудь. Пусть побольше будет на людях.

Я кивнул. Вряд ли стоило объяснять доктору, что занимать маму не нужно, она уже нашла себе занятие, которое поглощает все ее внимание, дает ей бодрость, вселяет надежду. К ее прежним домашним заботам прибавилась самая главная – приготовление травяного настоя.

Казалось бы – ну что тут такого? Высыпал в кастрюльку с холодной водой чайную ложечку травы, поставил на плиту, вскипятил – и готов настой. Так и не так. У мамы эта простая процедура превращалась в некое священнодействие...

– Где эмалированная кастрюлька? Кто видел мою метрическую кружку? – У мамы, когда она начинает варить траву, лицо, наверное, такое же торжественное, как у средневеко-

вого алхимика, когда он ожидает появления в своей колбе философского камня.

– Мама! Что же ты делаешь? Это же не полная ложка! Гляди... – Я отбираю у нее ложку и запускаю в мешок с травяным сбором. – Гляди – вот так надо, с бугорком!

– Если столько заваривать, и на месяц не хватит! – мать снова берет ложку в свои руки и благоговейно отсыпает в мешок чуточку драгоценной травы. Затем она аккуратно закрывает мешок и ставит его на самую верхнюю полку кухонного шкафа, где он хранится вне досягаемости для внуков – на всякий случай...

А священнодействие продолжается. Теперь надо терпеливо стоять над кастрюлькой: в инструкции написано – «довести до кипения», значит, требуется не упустить тот момент, когда на коричневатой поверхности воды с травяным раствором начнут появляться пузырьки...

Да, я совершенно убежден: этот «магический процесс» благотворно влиял на психику мамы, прибавлял ей сил для борьбы с болезнью. Выздоровление, казалось ей, совсем рядом. Вот только закончится пакет целебного сбора.

Спустя четыре месяца доктор Пейс вызвал маму, чтобы сделать тест на состояние костей. Процедура эта длилась почему-то очень долго, вдвое дольше обычного. Выйдя из госпиталя, мама расплакалась.

– Опять, наверно, что-то нашли... Так долго держали!

Я молчал. Я и сам так думал. Даже побоялся позвонить

доктору. Но доктор Пейс через неделю позвонил сам – и голос у него был бодрый, почти радостный.

– Представь себе, результат отрицательный! Кости чистые, ты слышишь? Чистые! Через шесть месяцев после операции, без радиации, без химии... Такого я просто не помню в своей практике... Уж не знаю, что ты там делаешь с мамой, но ты можешь гордиться собой, Валера!

Какое же это блаженное состояние – чувство облегчения! Какое-то мгновение ни тяжесть забот, ни само земное притяжение не давят тебе на плечи... Будто ты паришь в невесомости... «Ну, спасибо тебе, табиб! Спасибо, доктор Мухитдин!» – пробормотал я. И помчался домой – порадовать маму.

Вскоре после этого мы снова отправились в Наманган – доктор предупредил, что ему надо видеть и прослушивать маму не реже, чем раз в 3–4 месяца. Забегая вперед, скажу, что за три года мы совершили восемь поездок к табибу. Вот так и стала наша жизнь постоянной дорогой – дорогой надежды...

Вторая поездка была какой-то особенно радостной. Мы ехали с хорошим анализом, в хорошем настроении. Волновались, конечно. Но доктор – он встретил нас, как старых добрых друзей – подтвердил, что основания для надежды есть.

– Печень лучше стала, – объявил он на своем небезупречном русском, прослушав мамин пульс. То есть если во время

первого визита к нему Мухитдин сказал, что «уже в печень пошло», то теперь пульс показал ему, что печень очистилась. И можно надеяться, что не будет дальнейшего распространения метастаз.

Новость была замечательная. Сам табиб от всей души обрадовался тому, что услышал: он постукивал рукой по столу, приговаривая: «Тьфу, тьфу, тьфу!» А что там говорить о нас!

...Мне кажется, именно эта вторая поездка к доктору Мухитдину сделала нас настоящими друзьями. Он видел в нас людей, которые ему искренне верят, кому с ним и легко, и приятно, и необычайно интересно (о себе могу это сказать точно). Мы же нашли в нем не только удивительного врача, но и незаурядного человека – простого, доброго, открытого, не тщеславного. И с каждым новым нашим свиданием с ним мы находили все новые подтверждения этих качеств.

Он встречал нас теперь, как родственников – и дело тут было не в пресловутом восточном гостеприимстве, мы чувствовали это по множеству мелочей, по его лучистому взгляду, широкой улыбке, радости при встречах. Он неизменно осматривал и меня, всякий раз точно определяя мои недомогания, объясняя их причину, и, конечно же, назначая лекарства. Он просиживал с нами долгие часы, то расспрашивая, то рассказывая о себе, и непрерывно дымя сигаретами. Доктор Мухитдин – неисправимый курильщик и – быть может, немного лукавя – уверяет, что не находит в этом вреда для здоровья...

С каждой поездкой рос, становясь просто жгучим, неотвязным, мой интерес к той науке, с помощью которой доктор Мухитдин приносил людям помощь, а нередко и исцеление.

Уже во время второй встречи я познакомился с работой учреждения – оно называлось Центром восточной медицины, – которое возглавлял доктор Умаров. В популярности этого центра сомневаться не приходилось: я увидел, сколько здесь пациентов. Многие из них приехали издалека. И все они ожидали именно его, Мухитдина – у него уже были ученики и помощники, но каждого больного непременно прослушивал он сам... Кстати, с одним из учеников – его звали Тимуром Умаровым – мы тогда же и встретились. Тимур, худощавый парень лет тридцати, оказался кандидатом ботанических наук. Попал он к доктору года три назад – и вовсе не для ученья. У него была болезнь почек, которую врачи признали безнадежной. Мухитдин Инамович вылечил Тимура – но благодарный однофамилец заболел новой болезнью: он страстно захотел стать учеником табиба. И стал...

– Долго еще предстоит учиться? – спросил я.

– Вообще-то учатся этому лет десять, – ответил Тимур. – Но я надеюсь лет через пять закончить.

Признаться, я ему позавидовал. До чего же было обидно – ведь я жил когда-то совсем неподалеку, но даже не подозревал, из какого волшебного родника знаний могу испить, чему могу научиться... Увы – теперь я уже не имел возможности исправить эту ошибку. Но зато я стал одним из жаж-

дущих. Уж, видимо, так устроена жизнь: утаив что-то от нашего взора, она открывает нам это много позже, пробуждая сожаления – но вместе с ними и жажду познания.

И я эту жажду старался утолить. Как мог... Поездки в Наманган стали для меня поездками в Александрийскую библиотеку. Доктор Умаров был ходячей энциклопедией. Я неустанно спрашивал, он охотно беседовал со мной, видя, что мне это интересно. И постепенно я стал кое-что понимать...

Все началось, когда мы приехали к Мухитдину во второй раз, но уже перед самым отъездом. Мы прощались у двери – мама с Яковом прошли к машине, а я снова задал доктору все тот же вопрос:

– Ну, как вы считаете – теперь вы сможете ее вылечить?

Доктор приподнял густые брови.

– У меня есть надежда. Но... Ты должен понять... Вот посмотри...

И повернувшись к двери он, как на доске, стал рисовать на ней пальцем невидимый рисунок.

– Гляди: вот это – печень, здесь – селезенка... Вот – матка... А это – сердце... А здесь – погляди вверх – головной мозг... Кора вокруг него...

Это была старая деревянная дверь, светло-коричневая, давно не крашенная. По ней – и вдоль, и поперек – шли выпуклые, волнистые полосы вздувшейся краски. Совсем как артерии и вены – так мне вдруг показалось... Может быть,

поэтому я очень ясно увидел все, что нарисовал доктор.

– Понимаешь, органы как бы разговаривают друг с другом. Между ними – непрерывная связь. Не просто связь – взаимодействие. Когда эта взаимосвязь нарушается, а на это бывает много причин – начинаются болезни. В том числе и раковые... Один организм, единая цепь органов. Выпадает из цепи одно звено – все нарушается. Как у мамы твоей...

Я поймал себя на том, что шевелю губами, стараясь не пропустить ни слова. Все было понятно, все было просто. Но почему же мне этого не объясняли в Нью-Йорке, в больнице?

– Сейчас я дал маме сбор трав, укрепляющих печень. Они помогут улучшить взаимосвязь печени и селезенки. Потом постараемся подключить к ним матку. Потом надо будет помочь усилению деятельности коры головного мозга... Так будем действовать и дальше. Удастся восстановить нормальную взаимосвязь органов – остановим болезнь.

Вот так начался мой ликбез. Он продолжается до этих дней – ведь по сравнению с тем, что мне хотелось бы знать, я знаю ничтожно мало. Но все-таки туман уже начал рассеиваться. И сейчас я попробую – конечно, очень коротко и только в самых общих чертах – рассказать о том, что узнал и понял.

Глава 12. Авиценна

Да, конечно, с него я и начну... Мне, как и каждому, чуть ли не с детства знакомо было его имя. Авиценна – так по-европейски его произносят, а на самом деле оно звучит иначе: Ибн Сина... Помнил я, признаться, лишь что-то неопределенное: чем-то там он был знаменит в древности – кажется, врачом был, кажется, еще и поэтом... Меня это не слишком волновало... Но доктор Умаров как-то сказал мне: «Хочешь узнать главное – читай Ибн Сину. И о нем читай – чтобы понять, какой был великий врач».

Я начал читать – и не могу остановиться до сих пор.

Больше всего меня поразила сама личность Ибн Сины. Его необыкновенная одаренность. Широта познаний. Трудолюбие... Этот удивительный человек был, можно сказать, моим земляком – он родился в 980 году недалеко от Бухары. Уже в юности он овладел, кажется, всеми науками, которые были известны в его время. Философ, поэт, музыкант, педагог, математик, астроном, физик, минералог... Да всего и не перечить! Но особенно глубоко и успешно он изучал (а потом и развивал) медицину. В этой науке Ибн Сина был последователем медиков Античности, прежде всего Галена, прославленного римского врача. То есть учился он на трудах Галена, разделял его взгляды. Многие даже считали, что многотомный труд Ибн Сины «Канон врачебной науки» –

это очень подробное изложение теории и практики Галена. На самом же деле «Канон», впитав в себя все лучшее в учении Галена, расширил его и углубил. Настолько, что «Канон» на протяжении шести веков оставался у европейских врачей главным руководством и основой преподавания медицины во всех университетах Европы.

Но прошло еще несколько столетий – и естественные науки сделали громадные успехи (кстати, и труды Ибн Сины помогли этому). Медицина, вооружившись хитроумными приборами, познала, казалось бы, все, что можно о человеческом организме, о процессах, поддерживающих жизнь и здоровье. На смену представлениям Ибн Сины, которому не помогли ни биология, ни химия, ни электроника, пришли новые, соответствующие объективным данным, теории...

Все это, конечно, не умалило величия Ибн Сины. Весь мир признает его огромные заслуги перед человечеством. Но... Он стал, так сказать, иконой, светлым образом. Вряд ли кто из европейских медиков открывает сегодня его книги...

Однако же совсем по-иному относится к наследию великого учителя медицина восточная, тибетская. Она по-прежнему придерживается взглядов Ибн Сины, широко использует его систему лечения, практические советы, методы диагностики. Восточные врачи снова и снова убеждаются, каким он был замечательным клиницистом, как глубоко и своеобразно мыслил, как выверял на практике любое свое

теоретическое предположение. А некоторые его суждения даже предвосхитили науку двадцатого века.

Особенно близко подошел Ибн Сина к важнейшим научным теориям современности в своем учении о мизадже.

Поначалу мне никак не удавалось понять, что же это такое – мизадж. То все казалось ужасно примитивным, то – невероятно сложным. Я читал, перечитывал, снова и снова возвращался все к тем же страницам и строчкам... И что-то стало проясняться...

Само арабское слово «мизадж» в буквальном переводе означает соразмерное смешение. Но как понятие оно много шире, под ним подразумевается натура, важнейшие свойства организма... В этом смысле понятие «мизадж» применимо ко всем предметам реального мира.

Гиппократ и Гален считали необычайно важным правильное смешение четырех первичных элементов и четырех соков, входящих, как они полагали, в состав организма человека и всего живого. Теплота, холодность, влажность и сухость – вот качества, которые образуют мизадж.

Ибн Сина принимал эту теорию – но, как оказалось, достиг в ее толковании необычайной глубины. Мизадж – это качество, которое возникает от взаимодействия противоположных качеств – «когда они останавливаются у некоего предела» – писал он. Но так как разнообразие количественного соотношения элементов, которые смешиваются в телах, по существу, беспредельно, то и мизадж каждого человека

неповторимо индивидуален. . .

Как это ни поразительно, именно в учении о мизадже Ибн Сина предвосхитил одно из основных понятий теории сложных систем, то есть основы кибернетики – той науки, которая создала мощную компьютерную цивилизацию наших дней.

Это основное понятие ученые называют гомеостазисом. А буквально оно означает равновесие. Но не статическое, не равновесие покоя, а динамическое. То есть если какая-то система находится в состоянии равновесия, гомеостазиса – ее составные части могут активно двигаться, излучать и поглощать энергию, обмениваться информацией друг с другом и окружающим миром. Но при этом система не «раскачивается», она – в равновесии, она избавлена от чрезмерно резких изменений. И жизнь ее может быть бесконечно долгой – при условии, конечно, что какие-то причины не выведут ее из гомеостазиса. . .

Так вот, мизадж в толковании Ибн Сины и гомеостазис – это, по сути дела, одно и то же. Вспомним – ведь и он говорит об активной, подвижной, динамической системе, находящейся в равновесии («взаимодействие противоположных качеств, когда они останавливаются у некоего предела»). Разумеется, Ибн Сина мыслил в других понятиях, он не мог создать математический аппарат этой суперсовременной теории и описать гомеостазис в современных терминах. Но в целом его теория очень похожа на теорию гомеостазиса. И

для определения этого сходства тоже есть научный термин, который помогает сравнивать современные и древние научные теории.

Термин этот – изоморфизм.

Его употребляют, когда одна и та же теория формулируется применительно к разным предметам. Например, каждый школьник-старшеклассник знает, что числа и точки на прямой – это примерно одно и то же. Хотя арифметика и геометрия – разные науки, любой арифметический результат можно «нарисовать» геометрически, а любой геометрический чертеж записать арифметически. Математик выразит это так: теория действительных чисел и теория точек на прямой совпадают с точностью до изоморфизма... Так вот, сформулированные Ибн Синой принципы мизаджа – равновесия между основными сущностями – совпадают с теорией гомеостаза с точностью до изоморфизма.

А ведь великий ученый ничего не знал о составляющих элементах сложной системы! Такие понятия, как информация, информационный канал, энтропия для него не существовали. Однако гениальный интеллект, прозорливость, интуиция, открывали ему истину. Все это было помножено на колоссальный опыт... И в этом опыте – утверждают восточные медики – еще далеко не все до конца изучено, а многое – недостаточно использовано, просто забыто...

...Согласно древнему учению, которого Ибн Сина придерживался и которое развивал в «Каноне», мир состоит из

четырёх элементов: земли (твёрдые тела), воды (жидкости), воздуха (газы) и огня (энергия, теплота). Каждый из них имеет свое «естество» – оно может быть сухим или влажным, теплым или холодным. По мнению Ибн Сины, эти элементы никогда не встречаются в чистом виде, а только в различных комбинациях, с преобладанием какого-либо из них, а, значит, с преобладанием и его «естества».

К нам в организм четыре элемента проникают, в составе пищи и при дыхании. Смешиваясь и перевариваясь в желудочно-кишечном тракте и в печени, а затем в сосудах и других органах, они превращаются в соки: слизь (студенистое вещество), кровь (пока еще незрелую, не готовую к усвоению органами), желтую желчь (желчный пигмент крови) и черную желчь (тяжёлая, оседающая часть крови). Остаются также «излишки», которые выводятся затем из тела с мочой, калом, потом... Соки, считали древние, образуются благодаря нагреванию, причем разнообразному: разные клетки печени имеют, например, различную температуру. Далее соки начинают смешиваться – и правильное их смешение образует зрелую кровь, которую органы способны усваивать. Ибн Сина называет ее достохвальной...

Постоянное движение соков, проникновение их во все участки тела, обменные процессы, питание органов и тканей, удаление ненужных веществ – вот главное, что поддерживает жизнь. Ну, а что же вызывает болезни? Причин много. Например, любое, даже небольшое отклонение от нормы при

выработке соков и при их смешивании (скажем, избыток или недостаток тех или иных комбинаций элементов). Происходит отклонение – значит, нарушается мизадж. Это и есть начальный этап болезни. Его необычайно важно заметить: равновесие в организме пока еще легко восстановить, изменив режим питания или климат или образ жизни – словом, то, что вызвало сдвиги. Если же начало болезни не замечено или причины не установлены, болезнь будет развиваться да к тому же усложняться, приводя ко многим бедам...

Тут как раз пора перейти к другой части учения Ибн Сины: о целостности организма, о неразрывной взаимосвязи и взаимодействии всех органов. Они представляют собой единую цепь, в которой, наподобие цепи электрических приборов, поломка одного прибора (одного органа) может привести к неисчислимым последствиям – к искажению сигналов, т. е. к неправильной работе других органов, к «короткому замыканию»... Сравнение это – мое, но (да простит меня великий Ибн Сина) оно показалось мне уместным...

Мудрый врач делает вывод: признаки заболевания, иногда даже прямо указывающие на неблагополучие того или иного органа, могут быть следствиями заболевания совсем другого органа. И следствий может быть много. А тот, послуживший причиной, ставший источником заболевания орган может сразу и не заявить о себе. Но его надо непременно искать – и лечить. Лечить именно этот первоначально пострадавший орган. Восстановишь его – исчезнут последствия. По-

пытаться «лечить» последствия – симптомы болезни временно притупятся, а потом вернутся, да еще с большей силой...

Если учение об элементах и соках современная медицина считает не соответствующим тому, что удалось впоследствии установить, то утверждение Ибн Сины, что органы взаимодействуют, влияют друг на друга, признано полностью. Это все больше и больше подтверждается. Но... почему-то все больше и больше упускается из вида медицинской практикой! Даже сама узкая специализация врачей – онколог, кардиолог, невролог, уролог, дерматолог и т. д. – специализация вроде бы очень полезная, толкает их на то, чтобы заниматься только болезнью данного органа как таковой, не доискиваясь до ее первопричин.

Почему? Не понимаю... Узость мышления, занятость, коммерческие установки... Объяснений можно найти много, но они не служат оправданием тому, что забвению предается самое важное, без чего нельзя лечить...

Я уже писал о том, как доктор Умаров сразу же нашел первопричину маминой болезни – старую травму матки. Слишком много времени было потеряно, процесс зашел очень далеко – к тому времени, что мы встретились, уже и печень была поражена. С нее и пришлось доктору начать лечение... И хотя уже невозможно было полностью приостановить болезнь, все же усилия доктора Умарова помогали маме жить. А ортодоксальные врачи только руками разводили, поража-

ьясь маминой жизнестойкости...

Я могу рассказать и о себе...

Несколько лет назад у меня началась простуда. Текло из носа, из глаз, тяжело было дышать. Простуда все длилась, длилась. Я измучился, пошел к врачу. Он тут же направил меня на аллергические тесты. Коварные аллергены удалось обнаружить и мне было назначено лечение – таблетки, уколы. Принимаю, колюсь – результаты ничтожные. Ну и стойкая же болезнь – аллергия!

Но вот появился табиб Умаров – и поставил совсем другой диагноз, обычным своим методом, по пульсу. Он нашел, что по причине сильных стрессовых состояний у меня нарушена взаимосвязь сердца и легких. Иными словами, мои легкие недостаточно снабжают кровь кислородом, а это отражается, кроме всего прочего, и на состоянии слизистых оболочек. Отсюда – моя псевдоаллергия...

Такие состояния – их можно назвать аллергическим фоном – очень часто принимают за аллергию на растения, либо на пищу, на пыль – на что угодно. Но это – даже если аллерген удалось найти – факторы вторичные. А лечить надо то, что послужило началом.

Так и сделал доктор Мухитдин. Ему удалось значительно облегчить мое состояние...

Я не берусь судить, в какой степени успехи восточной медицины зависят от того, что она по-прежнему считает основной жизнедеятельности четыре элемента и соки. Но ведь

все мы видим: восточным врачам этого вполне достаточно для понимания того, что происходит в организме! А к этому надо прибавить их постоянное стремление и умение найти первопричину болезни, их подход к человеческому телу не как к набору механических частей, а как к сложнейшему, подвижнейшему, непрестанно меняющемуся чуткому организму, управляемому к тому же сознанием и духом. Подход, неизменно применяемый на практике, на деле – я это хочу подчеркнуть.

Но это не все – и далеко не все! Ведь в наши дни восточная медицина больше всего славится замечательными практическими достижениями: пульсодиагностикой и траволечением...

Глава 13. О чем может рассказать пульс

Мы сидели за обеденным столом – на этот раз уже не в гостеприимном Намангане, а в Нью-Йорке, в нашем доме. Доктор, наконец, согласился оторваться на неделю от своих бесконечных трудов – и посетить город небоскребов. Впечатлений у него было много – но не так уж он был поражен нашим городом, как мы ожидали: выяснилось, что Мухитдин по своим врачебным делам побывал больше, чем в семидесяти странах мира. И во многих – по несколько раз... Ему было с чем сравнивать Нью-Йорк! Объездил он всю Европу, Азию, Дальний Восток. Побывал в Израиле. Наверно, его по праву можно было бы назвать Королевским Врачом: ведь ежегодно во время Рамадана, совершая паломничество, Мухитдин посещал Саудовскую Аравию и там в свободное время обследовал всю свиту короля этой страны... А когда он прилетает в Москву, его, чуть ли не с трапа самолета, увозят туда, где живут самые высокие лица России... Впрочем, упомянул об этом Мухитдин мимоходом, ничуть не хвастаясь – хоть и было чем...

Мы с Юрой (он, конечно, тоже пришел повидаться со старым другом) спросили, какая поездка запомнилась доктору больше всего.

– Путешествие по океану, – ответил он. – На корабле

«Академик Борис Петров»...

Так мы узнали еще об одном интересном событии. И тоже – случайно лишь потому, что удачно задали вопрос...

Оказывается, еще в 1986 году Минздрав пригласил тридцать научных работников совершить путешествие на корабле, побывать в разных странах Европы и Америки. Был среди приглашенных и доктор Умаров.

– Очень интересная была поездка, – рассказывал Мухитдин. – В Афины мы попали как раз во время ежегодной конференции медиков. При нас обсуждали, кого из врачей Греции наградить премией Гиппократа, как лучшего врача года... А потом меня попросили немножечко поработать – проверить по пульсу здоровье участников конференции... Ну, и когда они убедились, что я ставлю точные диагнозы, мне вдруг тоже сказали, что я удостоаиваюсь этой награды... Я считаю, очень почетной, особенно для иностранца...

Вот так и зашел за столом разговор о пульсодиагностике. Но не сразу, а попозже, когда гости разошлись. Очень серьезным и важным стал для меня этот разговор, о котором я мечтал уже много месяцев.

Дело в том, что благодаря знакомству с доктором я соприкоснулся с тайной пульсового кода и она все больше волновала меня. Раздобыв труды Ибн Сины, я с особенным, можно сказать, жгучим интересом читал ту часть его «Канона», которая озаглавлена: «Учение о пульсе». Я не переставал удивляться, как удавалось Ибн Сине так просто, доступно и ин-

тересно рассказывать о таких сложных вещах...

Пульсы оживали на листах книги. Они звучали – я слышал их музыку. Казалось, я вижу артерию, в которой ритмично пульсирует жизнь... Вот под одной из точек прослушивания – а всего их три – нервно проскакала испуганная «газель». А вот завилял «мышиный хвост». Саму-то мышь не видно, она за кустом спряталась... А чуть поодаль бугорком поднялся кусочек земли. Это не торопясь прополз «червяк», поиграв своими кольцами. А тут – непонятный зверек, больной, как видно: он «дрожит», извивается, как «скрученная нитка».

– Все это хорошо представляешь себе, читая книгу. Но как это услышать? Расшифровать? Почему эти сигналы такие разные? Почему... – Я не закончил фразу, понимая, что задаю Мухитдину слишком много вопросов. Я вспомнил вдруг мальчишку, которого видел в Намангане, в кабинете у Мухитдина. Он сидел рядом со мной у окна, этот смуглый десятилетний узбекчонок, и не отрываясь смотрел на доктора, который слушал пульс молодой женщины, видимо, его мамы. Он не только смотрел – он тоже прослушивал пульс на своей руке и губы его беззвучно шевелились... Конечно, он сам был доктором в эти минуты и уж наверно ему не меньше, чем мне хотелось узнать, что там слышит табиб...

А Мухитдин, будто угадав мои мысли, улыбнулся и положил пальцы на мою руку. Другой рукой он притянул к себе лист бумаги, взял карандаш... И вот на листе начала появляться зигзагообразная синусоида. На каждой стороне синусоиды

соиды было по семь зигзагов. «Каждый зигзаг – это всплеск артерии», – решил я. Но тут на листе под первой синусоидой появилась вторая, за ней – третья...

– Все это – твой пульс, – сказал Мухитдин. – Три точки я прослушиваю, да? Первая – и он ткнул пальцем в верхнюю синусоиду – рассказывает о работе сердца, толстого кишечника и желудка. Вторая...

Это была лекция, она же – и наглядный, с демонстрацией метода, урок – очень долгий и в то же время до предела сжатый и краткий. В Китайской системе пульсодиагностики, с которой очень схожа восточная система, работе пульса посвящено множество томов... Так можно ли рассказать за один вечер хотя бы о главном?

И все же в эту ночь я узнал многое.

Помимо «простых» показателей – ритм, частота, сила удара, угол падения, мягкость артерии и т. д. – пульс имеет множество других, более сложных характеристик, помогающих диагностировать. О некоторых из них мне и рассказал доктор.

Артерия не просто расширяется и сжимается. Каждое из ее движений волнообразно. Происходят всплески – но их надо уметь «услышать» кончиками пальцев... От момента сжатия до полного разжатия, а потом – до возврата к исходной точке артерия может совершить, как считают восточные медики, до 16 всплесков. Доктор Мухитдин чувствует сегодня семь. Его ученики, закончив учение – до трех. А мы, лю-

ди нетренированные – чувствуем только последний всплеск: момент разжатия артерии, у самой кожи...

Но о чем же рассказывают медикам эти всплески? Как и что они сообщают?

По понятиям восточной и китайской медицины все живое обладает энергией, оперирующей на различных частотах, распространяющейся по различным каналам. Энергию эту называют жизненной силой (Ибн Сина назвал ее пневмой). В теле она циркулирует по определенным меридианам – с той же неизменностью, что и кровь по кровеносным сосудам... Этих невидимых энергетических каналов – меридианов – в нашем теле 12 основных и 2 – вспомогательных. Есть у них и названия, соответствующие главенствующему органу, через который этот меридиан проходит. Все они по определенным кривым пересекают тело и заканчиваются в одной из областей стопы.

Вот эта энергия, эта пневма, контролирует работу основных органов и систем нашего организма. Она должна беспрепятственно протекать по меридианам, чтобы органы были в нормальном состоянии. Но если ее течение чем-то затруднено, не сбалансировано, если она недостаточно заряжает наши органы, возникают болезни. А причин, по которым энергетическое состояние меридиана отклоняется от нормы, множество. Тут и дисбаланс соков, и стресс, и... Но об этом уж нужно говорить особо.

Так вот, каждая из трех точек прослушивания пульса у

кисти дает возможность получить отчет об энергетическом состоянии тех или иных меридианов.

Как все это прослушивается по пульсу, объяснить, конечно, очень трудно. Ведь и написанное поймешь, только когда сам научишься слышать...

Кстати, здесь снова уместно провести сравнение между гениальными открытиями древних ученых и современной наукой. Во-первых, то, что меридианы существуют, подтверждает и современная медицинская аппаратура – электронная, термическая, радиационная. Я недавно прочитал об этом... Во-вторых – и это не менее существенно – выяснилось, что пульсодиагностика очень напоминает исследования современными учеными так называемого черного ящика...

«Черный ящик» – это, так же, как и гомеостазис, одно из базовых понятий современной теории сложных систем. Практически это любое устройство, о внутренней структуре которого мы ничего не знаем... Как же его исследовать? Очевидно, единственный разумный путь – посылать ему различные сигналы и анализировать ответы на них. То есть делать то, о чем Козьма Прутков писал: «Если кобылу щелкнуть по носу, она вильнет хвостом...»

Но если без шуток – с помощью сигналов можно узнать чрезвычайно много интересного о содержимом, о структуре «Черного ящика». Обычно ученые посылают ему простейший сигнал, простейшее колебание – синусоиду (вспомни-

те – именно синусоиды рисовал мне на листке бумаги Мухитдин Умаров). Внутри «Черного ящика» этот сигнал искажается и до выхода доходит уже какое-то сложное колебание. Скажем, если настройщик музыкальных инструментов с помощью камертона пошлет скрипке простой сигнал – ноту – она ответит ему более сложным звуком: к ноте добавятся обертоны. Вот тут у настройщика и начинается «диагностика»: слушая ответ скрипки, он выявляет вредные искажения, анализирует – по каким причинам они могли возникнуть – и тогда уже устраняет дефекты инструмента...

Человеческий организм – это ведь тоже своеобразный «Черный ящик». Очень сложный, невероятно сложный! Нынче ученые умеют с помощью приборов посылать в него многочисленные входные сигналы и анализировать те ответы, которые дает организм. Но еще за тысячелетия до наших дней великие ученые древности, их гениальный ученик Ибн Сина, совершили еще большее чудо.

Когда сердце – наш камертон, толчками выбрасывает в артерии кровь, организм в соответствии со своим состоянием влияет на этот поток, искажая, усложняя амплитудные колебания артерий, которые при этом происходят. Ибн Сина – без всяких приборов, без всякой теории сложных систем, принимая выходные сигналы «Черного ящика» – удары пульса – научился расшифровывать их, разгадывать смысл многочисленных искажений, как сообщения о различных заболеваниях организма...

Теперь вернемся к объяснениям Мухитдина. Он рассказал мне, что биения пульса доходят до верхней точки (до той, где лежит палец врача) под разными углами. Естественно, все они «звучат» по-разному, то есть несут различную, неодинаковую информацию. Комбинация таких ударов, толчков артерии, углов падения, создает 48 разновидностей пульса. Определяя их, Ибн Сина и давал им такие образные названия, как «Мышиный хвост», «Скачущая газель», «Ползущий червяк» и другие.

По учению Ибн Сины болезнь может зародиться вследствие избыточного тепла или холода, то есть по современным понятиям – вследствие экзо- или эндотермического процесса. Пульс и об этом дает соответствующую информацию.

И, наконец, колебания артерии указывают, какие из четырех соков вышли из равновесия, нанеся этим вред тем или иным органам.

– Ты понимаешь теперь, сколько различных колебаний пульса можно услышать? – спросил Мухитдин. Он снова взялся за карандаш. – Давай-ка перемножим все коэффициенты... Двенадцать меридианов – на сорок восемь углов падения... На четыре сигнала об изменении соков... На два температурных показателя... Ну? Сосчитал? Свыше 4600 основных – только основных – колебаний...

Наступила короткая тишина. Я пытался осмыслить то, что услышал. Представить себе...

– Это еще ничего, – прервал молчание доктор. – Это не так уж много. Я сам распознаю около 5000 пульсовых колебаний, а мой учитель слышал примерно 10 000.

– А Ибн Сина? – спросил я почти что со страхом.

– Наверняка не знаю, но думаю, что тысяча пятнадцать...

– Так что же это значит? Такое огромное количество...

Оно дает поразительно точный диагноз?

Мы в это время уже стояли на террасе, и Мухитдин, как обычно, дымил сигаретой.

– Понимаешь, – задумчиво сказал он. – Если я могу указать пальцем на местонахождение опухоли, то мой учитель мог указать ее место кончиком иглы.

«А Ибн Сина?» – опять промелькнуло у меня в голове. Но тут уж я спрашивать не стал...

Глава 14. «Со мной все в порядке»

Вероятно, жизнь каждого человека состоит из маленьких и больших, шумных и тихих сражений. Наша семья не была исключением. А уж когда заболела мама... Правда, получив такого полководца, как Мухитдин, мы стали войском хорошо вооруженным и не теряли надежды на победу. Ведь мама действительно чувствовала себя все лучше! Она-то вообще считала, что с болезнью покончено и что травы она пьет просто для укрепления здоровья...

Так – относительно благополучно, если не говорить о постоянном внутреннем напряжении – прошли два с половиной года. Но тут мама заболела воспалением легких...

Мухитдин этого особенно боялся. «Остерегайтесь простуды. Будьте очень осторожны, никаких переохлаждений. Легкие берегите», – постоянно твердил он маме. Так нет, случилось же...

Мама похудела, осунулась, ослабела. В больнице сделали все, что смогли – но при этом сообщили мне ужасные новости: появились метастазы – и в легком, и в костях. То есть случилось то, чего мы все время боялись: ведь мы знали, что маминны пораженные раком лимфоузлы – носители метастаз.

Трудно описать мое отчаяние. Наверно, теперь и Мухитдин ничем не сможет помочь, думал я, а сам уже держал в руках телефонную трубку. Но Мухитдин, выслушав меня, ко-

ротко сказал:

– Приезжайте поскорее. Недельки на две.

Мама очень удивилась. «Опять в Наманган? Зачем?» Пришлось наврать, что я себя чувствую неважно, беспокоит то, другое... Словом, хочу посоветоваться. Ну, а уж она – за компанию, провериться...

Мама так ничего и не заподозрила, слава богу.

В больнице врачи не могли понять: почему я скрываю от нее беду. Здесь, в Америке, иные традиции, иные моральные представления. А, может быть, здесь врачи боятся брать на себя лишнюю ответственность... Может быть. Но мне важнее было душевное спокойствие мамы. И Мухитдин поддерживал меня в этом. Он говорил – чем меньше больной думает о своих недугах, тем лучше борется организм, тем легче его стимулировать, тем больше шансов на выздоровление.

...Знакомый наманганский кабинет, сосредоточенное лицо доктора, в котором сейчас заключены все мои надежды... Как долго он держит мамину кисть! Никогда не слушал пульс так долго... Он разговаривает с мамой, шутит, пытается улыбаться. Вот задымил сигаретой, все не отпуская руку.

– Ну, как там моя онкология? – спросила мама.

– Онкология? А что это? – улыбнулся Мухитдин. – Валера, а ты знаешь, что это такое?

Наши взгляды встретились. Необычный у него был взгляд, уставший, без всегдашней искорки. Да, я правильно понял, почему он так долго держит мамину кисть. Все отка-

зывается принять отчет пульса, пытается почувствовать едва уловимый сигнал артерии, опровергающий диагноз. Но тщетно...

– У вас все нормально, Эся-апа, – ответил он, наконец, маме. – Только простуда все еще есть немного. Ну, ничего. Дам хорошее лекарство.

Тут мама потребовала, чтобы доктор занялся мной. Я еще не успел придумать, на что бы мне пожаловаться, как Мухитдин, прослушав мой пульс, сообщил:

– Вот здесь побаливает... – Он указал на мое правое подреберье. – Закупорка печени.

Как всегда, он был прав. Именно сейчас, в Намангане, у меня начались покалывания и рези как раз там, куда он ткнул меня пальцем.

– Ничего страшного, – успокоил маму доктор. – Выйдем, Валера, я дам тебе лекарство...

Мы вышли – и доктор, закурив очередную сигарету, сказал мне:

– Валера, у мамы на сухожилия пошло. С легкими тоже нехорошо...

Мы помолчали. Я, собственно, все уже знал и сам. Но я все надеялся... Да я и сейчас, как маленький, ждал: а вдруг Мухитдин чем-нибудь поможет?

И он, заглянув мне в глаза, серьезно сказал:

– Года два-три обещаю. Продержимся... А сейчас отвезем вас отдыхать. Увидимся вечером.

Мы вернулись в кабинет за мамой и Абдураим, племянник Мухитдина, отвез нас в наше временное жилище. Это была квартира на пятом этаже, с балкона ее открывался прекрасный вид на город, на широкую долину. Мы видели, как у ближних домов – кто с кетменем, кто с рассадой – копошатся люди в огородах. Стояло начало апреля, обычно теплого в Намангане, но в том году он выдался прохладным. Сырва-то было и в квартире. Об отоплении в апреле здесь не было и речи. Не было горячей воды... После комфортного американского быта маме взгрустнулось. А у меня и без того на душе было черным-черно.

– Как мы здесь проживем десять дней? Как? – вздохнула мама. – У меня даже нет сил что-нибудь сварить...

Но зря она тревожилась. Раздался звонок, в квартире появились жена Мухитдина Фатимахон и его восемнадцатилетний сын Хасанбой, нагруженные свертками. Фатимахон действовала энергично и умело. На плите запел чайник, электрообогреватели напоили квартиру теплом, а ловкие руки Фатимахон заполнили холодильник продуктами. И тут же загремели на кухне кастрюли, запахло чем-то вкусным – да можно ли было спутать? Это варился плов, настоящий, узбекский... А пока он поспевал, мы уселись за чай – и полилась музыка мелодичнейшего узбекского языка.

Мы уже кое-что знали о семье Умаровых, но рассказ жены и матери был гораздо интереснее и содержательнее, чем краткие сообщения немногословного Мухитдина. У них с

Фатимахон – пятеро детей. Младшей – два года. Фатимахон – врач гинеколог, но ради семьи она оставила профессию. Правда, все те годы, что Мухитдину не разрешали практиковать, необходимо было хоть что-то зарабатывать. Умаровы придумали себе работу на дому. Ткали на станке ткани – ремесло было перенято у родителей – и продавали их... Так и жили, пока к Мухитдину не пришло признание.

Мы беседовали до вечера, а когда появился Мухитдин, как раз и плов сварился...

После ужина доктор позвал меня на кухню:

– Маме лекарство сейчас делать будем... – Он показал мне комочек какого-то вещества, похожего на воск или пластилин темного цвета. – Прополис. Самый сильный природный антибиотик... – Взяв пиалу, Мухитдин настругал в нее ножичком прополис, сверху положил сливочного масла, все это высыпал в сковороду, поставил на огонь...

– Масло увеличивает силу прополиса в пятнадцать раз, – объяснил он мне, помешивая лекарство. – Маминым легким – большая помощь!

Через несколько минут дымящийся, тёмно-коричневый состав был снова перелит в пиалу.

– Скоро застынет... Давай маме три раза в день по чайной ложке. Закончится – приготовишь новый. – Он поставил кусок прополиса на стол. – Завтра пусть отдыхает и лечится, лечится, лечится – вот еще трава новая. А вечером – приду послушаю.

Мы договорились, что я с утра буду в Центре на занятиях Мухитдина с учениками – и гости наши (если их можно назвать гостями) уехали.

Вечер принес нам неожиданную радость. Прослушав мамин пульс, доктор улыбнулся почти прежней своей улыбкой.

– Вам лучше, Эся-апа! – воскликнул он. – Я знаю, что вам лучше! Вот какие лекарства я вам дал, а? – И он торжественно поднял указательный палец.

Мухитдин был обычно очень сдержан и уж несколько не хвастлив. Только настоящая радость могла заставить его произнести такой монолог.

– Как... Неужели вы... Неужели уже заметна разница? – спросил я, и радуясь, и боясь поверить.

Мухитдин кивнул головой.

– Если выбор лечения точен, то уже после трех приемов травы начинается улучшение, пульс меняет колебания. – Он похлопал меня по руке. – Слава богу, уже чуть-чуть лучше...

Мама пожала плечами.

– Я знаю, что со мной все в порядке. А вот Валеру когда начнете лечить?

Глава 15. Устоз

Я проснулся, когда рассвет еще чуть брезжил: нужно было до ухода в Центр приготовить маме завтрак и заварить травы.

Утро было беспокойное – стоя у плиты на веранде я слышал, как завывает и ударяет в стекла ветер. Но солнце встало на ясном небосводе. Багровое полушарие пылало над горизонтом, с каждым мгновением поднимаясь все выше и превращаясь в золотой шар. А по городским улицам уже сновали машины, и где-то за городской чертой сквозь утреннюю дымку можно было разглядеть трактора, медленно движущиеся по полям. Над каждым из них поднимались плотные клубы дыма – трактора были старые, дизельные, с трубами на капотах...

Мама все еще спала, когда я, накрыв на стол, отправился в Центр... Собственно, Центра, вернее, самого здания, где он прежде находился, в тот момент уже не существовало: здание было разобрано по кирпичикам. Эти кирпичики – тысячи аккуратно сложенных бежевых прямоугольников – лежали тут же, во дворе, где уже строилось новое здание. А прием больных и занятия с учениками происходили во временном помещении. Это был дом тесный и не очень удобный, но зато на том же дворе...

Меня не удивило, что слово «стройка» то и дело раздавалось в группе учеников до начала занятий. Но когда Ти-

мур, хорошо знакомый мне ученик доктора, с которым мы не успели перед уроком закончить разговор, сказал мне: «Ладно, договорим на стройке» – я удивился, вернее, не понял. Я-то, конечно, собирался заглянуть на стройку, но с доктором, а не с Тимуром. При чем здесь он?

В семь тридцать начались занятия. Около пятнадцати человек уселись за три стола, стоящие полукругом. Зашелестели страницы книг и тетрадей. Почти совсем как в школе... Правда, нет здесь доски. Да и ученики – люди вполне взрослые и за плечами у многих большой жизненный опыт.

Вот Махмуджон, бывший хирург. Уже пять лет он изучает восточную медицину – и пройдет еще не меньше пяти лет, пока не закончит курса. Возможно, тогда он откроет собственную клинику. А пока семья Махмуджона, его жена и четверо детей, живущие за сотни километров от Намангана, терпеливо ждут возвращения мужа и отца...

Его сосед по парте, Икрамджон Усманов, в молодости – сейчас ему под пятьдесят – был биологом. Лет пятнадцать назад тяжело заболел и стал пациентом Мухитдина. А, вылечившись, превратился в его ученика. Первого, между прочим... Сейчас уже и сам, продолжая учиться, принимает пациентов.

...Первым звуком, который я услышал на уроке, был мелодичный перезвон пиал. Сидя за своим столом перед аудиторией и, как обычно, чуть улыбаясь, табиб разливал по пиалам душистый чай. Так, за чаем, и завязался неторопливый

разговор – обсуждение темы, которая начата была накануне: черная желчь – савдо – в свете восточной и современной медицины.

Так как самым неподготовленным из присутствующих на собеседовании был я, мне нелегко дать ему оценку. Могу только сказать о своих впечатлениях: мне было очень интересно, я понял, насколько тема этого занятия важна вообще – и для меня в частности. Ведь речь, по сути дела, шла о взглядах восточной медицины на зарождение раковой клетки...

Тут мне придется ненадолго прервать рассказ о том, как шли занятия и вернуться к воззрениям Ибн Сины и других ученых-медиков его школы.

Любая живая клетка имеет четыре основных функции: она может захватывать, удерживать, впитывать и отторгать. Клетка осуществляет эти функции благодаря сокам, тем самым четырем сокам, которые вместе образуют зрелую кровь. Соки же, утверждает восточная медицина, образуются в организме человека из съедаемой им пищи. Когда пища переваривается первично, она превращается в хилус – текучее вещество, похожее мягкостью и белизной на густой отвар ячменя. Из желудка и кишок хилус по сосудам брыжейки и, далее, по воротной вене устремляется к печени. А уже там, благодаря разной температуре в различных клетках печени, хилус постепенно и последовательно преобразуется в четыре сока – четыре составных части зрелой крови. Из жидкой

части хилуса первоначально образуется слизь, которая, созревая, образует ещё не полноценную кровь. Густая часть хилуса образует естественное сафро (желтую желчь), которое, частично созревая, рождает естественное савдо (черную желчь).

По мере того как образуются четыре сока, печень объединяет, «капсулирует» их в зрелую кровь...

То есть именно печень, по утверждению восточной медицины, является кровеобразующим органом. Понятно, что печень только при том условии может вырабатывать хорошие, здоровые соки, создавать кровь, если она и сама здорова. В противном случае происходят паталогические изменения соков. Их может быть множество – и каждое способно стать источником заболеваний, также различных...

Я снова хочу напомнить, что современная медицина не признает кроветворной роли печени, так же, как и самого понятия – соки. Осадочная часть крови – лейкоциты и эритроциты – вырабатываются в костном мозге. Их отклонение от нормы рассматривается не как причина, а лишь как симптомы основного заболевания. Правда, эти симптомы – то есть серьезные изменения в составе крови – способны, в свою очередь, привести к новым болезням...

Теперь вернусь к клеткам, с которых я начал свои попытки кое-что пояснить читателям. Каждый сок, утверждает восточная медицина, ответственен за определенную функцию клетки. Сафро, например, то есть желтая желчь или плазма

крови, несет ответственность за функцию захвата, а черная желчь, савдо – за функцию отторжения. Функция эта очень важна для клетки, как, впрочем, и для любого организма (а клетка, кстати говоря, это тоже организм, имеющий как бы свое сердце, печень, почки и т. д.). Так вот, любой работающий организм дает отходы, шлаки, которые непременно должны изгоняться. Из нашего, человеческого, организма шлаки удаляются в виде мочи, кала, пота. Рост волос и ногтей – это тоже способ удаления отходов. Когда же процесс этот по каким-то причинам нарушается, происходит отравление, подчас такое сильное, что оно может привести организм к гибели, к смерти.

Насколько я понимаю, таковы были первоначально причины заболевания моей матери. Небрежная чистка матки привела к воспалительному процессу. Он не был устранен естественным путем, потому что в районе повреждения не сработала отторгающая функция клеток, за которую ответственен савдо. Клетки матки, воспаленные гнойными отходами, не получали естественной помощи. Началась их патология, возникла злокачественная опухоль... То есть, что вполне соответствует основным положениям восточной медицины, главной причиной маминоного заболевания стали нарушения работы кроветворного органа – печени, патологические изменения в составе крови.

Это, конечно, очень схематичная и поверхностная картина – я говорю о моих «научных» пояснениях, о попытках по-

нять, что же произошло с мамой. На самом деле все намного сложнее. Достаточно вспомнить, что клетка, по понятиям восточной медицины, до своего деления проходит через 28 этапов развития. Понятно, что эти этапы составляют неразрывную цепь. Если в любом из ее звеньев что-то ломается, катастрофа происходит и в других. На этапе деления клетки возможно возникновение не одного, определенного, ракового заболевания, а какого-то из 28-ми его видов...

Признаться, я долго не мог понять смысл фразы, которую не раз произносил Мухитдин: «Все учение Ибн Сины построено на уровне клетки». «Как это – думал я, – ведь Ибн Сина ничего не знал о клетке, да и не мог знать без микроскопа. В его трудах нет никаких упоминаний об этом понятии!» Но чем больше вчитывался я в «Канон», тем чаще приходила догадка: ведь сформулированные Ибн Синой принципы работы организма, его тонкое проникновение в процессы этой работы, совпадают с клеточной теорией «с точностью до изоморфизма»... Помните, я уже упоминал об этом современном научном термине, который помогает сравнивать старые и новые научные теории и находить между ними сходство?

...Хочу еще раз напомнить: эти мои объяснения – вовсе не пересказ того, что происходило на занятиях. Здесь разговор шел гораздо более серьезный. Детально обсуждалось, как образуется савдо, все стадии этого процесса, все причины его нарушений и вытекающие из этого последствия. От

положений «Канона» разговор переходил к методам современной диагностики и лечения, к сравнению старого и нового подходов о происхождении тех или иных заболеваний.

Через какое-то время я почувствовал, что табиб не очень доволен ответами учеников. Видно было, что он ждал от них большей глубины, более творческого подхода к теме, расширения ее за счет хорошо проработанного дома материала: и «Канона» Ибн Сины, и современных книг по соответствующим разделам медицины. Ведь все присутствующие отлично знали, что основные представления Ибн Сины и теоретически, и практически выдержали испытания временем, за десять веков не утратили своей значимости. Так расскажите же, друзья, на конкретных примерах покажите, как это выглядит в свете сегодняшней науки! Не уподобляйтесь современным врачам, которые, получив знания и начав самостоятельную практику, перестают быть учеными. Не уподобляйтесь и тем ученым медикам, обосновавшимся в исследовательских институтах и академиях, которые в своих работах лишь снисходительно и весьма поверхностно упоминают о трудах своего гениального предшественника... Это нетерпеливое ожидание прорывалось в тех вопросах, которые Мухитдин задавал во время обсуждения. Он знал, он хорошо знал, что за пределами Центра его учеников ждет мир скептиков от науки. Он сам это испытал после смерти своего Учителя, испытал во время работы в Москве среди высокопоставленных докторов и академиков.

– Э, Валера – ты наивный человек, – не раз говаривал табиб мне, зануде, донимавшему его вопросами: неужели же московские врачи не видели, как плодотворна его деятельность. – Столько лет я в Москве работал, столько больных вылечил, а верили мне единицы...

Табиб рассказал мне по этому поводу много поразительных историй. Особенно запомнились две...

Сын академика Н. страдал белокровием. Многолетнее лечение не помогало. Болезнь прогрессировала. Отец молодого человека – «великий ученый муж» – не верил ни диагнозу табиба, ни траволечению. Сын оказался мудрее – он начал лечиться у Мухитдина втайне от отца... Через какое-то время состояние его стало улучшаться, болезнь отступила. Пришло время радоваться – замечательной новостью поделились с папой-академиком. И что же? «Мудрец» остался при своем убеждении: он заявил, что подействовала, наконец, многолетняя химиотерапия.

...На прием к табибу пришла жена врача, заведовавшего онкологическим отделением большой больницы. Табиб определил, что у нее – рак молочной железы. Но рентгенокопия этого не подтвердила – и больная никаких мер принимать не стала. Вскоре опухоль выросла, была замечена всеми. Больную оперировали, она прошла курс химиотерапии и... через шесть месяцев ее не стало.

Вот почему так хотелось Мухитдину, чтобы его ученики хорошо ориентировались не только в восточной медицине,

но и в современной, чтобы они стали закаленными борцами и умели давать отпор скептикам!

Внезапно табиб встал, в руках у него появилась небольшая палка.

«Та, бамбуковая», – подумал я.

Об этой палке я слышал и от самого доктора, и от учеников... Она была как бы символом недовольства. Взгляд табиба стал более разящим, чем удар легкой бамбуковой трости.

Вот он остановился возле Тимура.

– Ну-ка, повтори, пожалуйста, то, что ты нам сегодня уже рассказывал. Но, пожалуйста, вдумывайся, не спеши, а? – сказал доктор, чуть взмахивая своей палкой.

Приехав сюда пять лет назад, Тимур не только не знал о том, что такое пульсология – он и по-узбекски не умел говорить. Однако он полон был решимости освоить и то и другое... Доктор поступил очень просто. Он вручил Тимуру конспект своего труда на узбекском языке и сказал: «Переведи на русский». Надо думать, что это была достаточно трудная задача, но Тимур с ней справился... Таким было начало его ученичества.

Однако у способного, трудолюбивого и застенчивого с виду Тимура были свои маленькие недостатки. Начав говорить, он становился многословен и, как выражался Мухитдин, «любил кружиться вокруг сути». Так случилось и на этот раз, совет доктора – «вдумывайся, не спеши» – не по-

мог. Не помогла и магическая палка в его руках...

– Ну, что же, закончим на сегодня, – вздохнув, сказал доктор.

... Поучения и укоризны были ни к чему, ученики и так расходились огорченные, со смущенными лицами. Да и могло ли быть иначе?

«Устоз» – так все они называли доктора. «Устоз» – по-узбекски означает «мастер», «учитель». Но мне кажется, что ученики вкладывали в это слово еще более высокий смысл. Мухитдин был их заботливым отцом, другом, покровителем, можно даже сказать кормильцем. Он обеспечивал их бесплатным жильем (ведь большинство студентов приехали в Наманган из других городов и даже краев), в Центре каждый из них получал зарплату... Кстати сказать, Центр нельзя назвать слишком уж прибыльным учреждением. Хотя здесь существует определенная оплата за прием и лечение, практически многие пациенты платят сколько могут. А если не могут, то ничего и не платят: табиб хорошо знает, как много вокруг бедных, очень бедных людей. Вероятно, только душевная доброта и непоколебимая вера в необходимость своего дела помогают доктору справляться с той ношей, которую он взвалил на себя. Обширные замыслы, многочисленные заботы, многочасовой интеллектуальный и физический труд с утра до позднего вечера: доктор принимает обычно по сто пятьдесят пациентов в день...

Да, он – Устоз, настоящий Устоз и не зря ученики, обра-

щаяся к учителю, произносят это слово вполголоса, почти-тельно склонив голову. Не удивительно, что сегодня они расходились с занятий пристыженные и огорченные.

Впрочем, я выразился неточно: они не расходились. Они почему-то вдруг начали... переодеваться. Одежда к тому же была очень странная: запачканные краской брюки, такие же, да еще кое у кого прожженные чем-то рубахи, заляпанные глиной ботинки и сапоги... Кто надевал тибетейку, кто обматывал голову платком... Так на моих глазах врачи превратились в работяг – строителей... Видя мое изумленное лицо, Мухитдин, посмеиваясь, сказал:

– Да, мы все идем на стройку.

Вот тут-то я и припомнил слова Тимура: «договорим на стройке»...

Глава 16. Звезды на куполе

Мы прошли через двор, туда, где на открытой площадке возводилось новое здание Центра. Уже поднимался второй этаж. И хотя стройка выглядела достаточно обширной, я не увидел здесь ни кранов, ни бульдозеров, ни какой-либо другой строительной техники. Все делалось руками. Вот это я увидел сразу. на всех стенах здания работали люди. Клади кирпич, собирали арматуру, что-то сваривали. В одном из оконных проемов перед нами слепящее белое пламя разбрасывало во все стороны искры... Люди непрерывно поднимались по трапу, заноса на носилках кирпич. Трап колыхался, как трамплин – вверх-вниз, вверх-вниз – глядеть было страшно на идущих с тяжелым грузом! Вот-вот сорвет их с трапа... Нет, все рассчитано, прошли... И я с облегчением переводил дыхание. Прошли – и уже кто-то, стоящий на стене, выкладывает эти кирпичи...

Кстати, я очень удивился, узнав, что на стройке используется старый кирпич.

– Зачем? – спросил я табиба. – Сколько же вы времени потратили, разбирая старое здание!

Видно, уже пустила во мне корни американская ментальность, в основу которой входит заповедь: «Время – деньги»...

– Как зачем? – так же удивленно ответил мне Мухитдин

и взял в руки кирпич. – Это же дореволюционный, у него коэффициент прочности – 130, а у нового – только 60! Вот посмотри... – Доктор, тут же разыскав где-то молоток, с размаху ударил им в самую середину кирпича. Молоток звонко отскочил, кирпич остался целым. – Это был старый, как видишь... А теперь берем новый... Вот он... – Удар молотком – и кирпич раскололся. – Вот такие дела, – подытожил эксперимент табиб. – Уже восемьдесят лет прошло, а все никак не разгадают секрет обжига!

Мы подошли к трапу, хотели было подняться – но тут табиб задержался. У подножья рабочий только что закончил замешивать раствор и Мухитдин, наклонившись, стал внимательно разглядывать его – будто в корыте не цементный раствор был, а лекарство, которое готовили для больного.

– Подожди, подожди, дорогой, – сказал он. И, взяв в руки лопату как-то очень ловко и привычно подсыпал в корыто еще цемента. – А то жидковато получается, – объяснил он рабочему, а заодно и мне.

Мы поднялись по трапу – и оказались возле тех самых «рыцарей огня», которых видели снизу. Они сняли шлемы, чтобы поздороваться – батюшки, да ведь это Абдураим и Махмуджон! Кажется, только что за партой я их видел... А табиб уже увлекал меня дальше. И куда бы ни заглядывал, везде находил себе дело. То, вынув из кармана блокнот, обсуждает с кем-то непонятные мне подробности именно здесь ведущихся работ, то лезет на торец стены и, распластавшись,

чуть ли не улегшись на кирпичи, разглядывает кладку, то показывает сварщику, паяющему арматуру, где именно должен быть изгиб...

Меня просто поражало – когда же этот лекарь-травник, этот знаток восточной медицины успел стать строителем? Правда, по образованию он был инженером-гидротехником. Но ведь инженер-строитель – это нечто иное, это специалист, которому необходима совершенно особая и очень основательная подготовка. Не берусь судить профессионально, но то, как Мухитдин вел себя на стройке, говорило само за себя. Он был здесь таким же, как в своем врачебном кабинете.

Иногда Мухитдин разговаривал с людьми, мне неизвестными. Оказывается, кроме наемных рабочих и учеников, на стройке работали также и здешние друзья доктора. А кроме того, существовал и широкий, очень, я бы сказал, широкий круг участников стройки – и находились иные из них далеко за пределами Намангана. Поинтересовался я, например, как удастся доставать дефицитные, насколько мне известно, строительные материалы.

– Выходим из положения, – ответил Мухитдин. – Мрамор для фасада, скажем, прислали из Германии. А из Саудовской Аравии...

– Как это? – ахнул я.

– Очень просто, – невозмутимо сказал табиб. – Пациентов же повсюду много. Вот и помогают. Безвозмездно, от души...

Мы в это время стояли на втором этаже, у парадной лестницы, над которой предполагалось построить большой холл с куполом над ним. И только заговорили мы об этом куполе, как я увидел еще одного Мухитдина – Мухитдина-художника, мечтателя, поэта.

Представляешь, – говорил он, – над нами – свод, а на своде – Вселенная... Звезды, планеты... Вот здесь – Млечный Путь. Широкой такой лентой... А во-о-н там, комета будет лететь...

Глаза табиба сверкали, рука его с горящей сигаретой как бы описывала траекторию кометы, летала от звезды к звезде... А, может, он уже видел сидящих в этом холле пациентов, которым ночное небо над головой, сверкающие звезды, ощущение вечности нашепчут что-то успокаивающее, мудрое, помогут избавиться от страха, поверить, что здесь к ним придет исцеление?

Не знаю, что он еще там видел, но я им любовался, я гордился им.

– Ну, что же, мне пора, – спохватился табиб. – Пациенты ждут.

Как ни интересно было на стройке, но мне давно уже хотелось побывать на приеме. И, получив разрешение Мухитдина, я вскоре отправился туда, где шли занятия.

Глава 17. Запах трав

Когда я вошел, доктор уже сидел за столом. С ним был один из учеников – тот самый Махмуджон, сменивший престижную профессию хирурга на нелегкое ученичество, которого я сегодня видел уже в третий раз... Все ученики Центра несколько раз в неделю по три-четыре часа практиковались в пульсодиагностике под непосредственным руководством табиба, на его приемах. Сегодня был черед Махмуджона.

Происходило это так. Доктор прослушивал пульс пациента, попутно задавал вопросы, помогающие уточнить диагноз, первоисточники заболевания. Свои соображения – все то, что он проследил по пульсу и выяснил в разговоре – Мухитдин тут же сообщал ученику. Скажем: «Нарушена взаимосвязь печень – толстый кишечник – желудок. Сыпь по коже в области живота». Или: «Сильный ушиб в детстве в результате падения. Ущемление нервных корешков в поясничной области позвоночника. Нарушена иннервация печень – поджелудочная железа. Частые запоры».

Затем больной переходил к ученику, который снова прослушивал его пульс, сопоставляя то, что ему удавалось услышать, с диагнозом, поставленным табибом. То есть пытался и сам нарисовать себе ту же картину заболевания. А после этого, пока табиб составлял список трав, необходимых больному для лекарства, ученик делал заметки – своего рода

конспект, по возможности детальный, чтобы дома, повторяя материал, как можно более точно воссоздать каждую историю болезни.

Я заметил, что Махмуджон работает спокойно, четко, вдумчиво. Он даже успевал, держа руку на запястье больного, одновременно делать записи. Сказывался врачебный опыт, присущие хирургу хладнокровие и сосредоточенность...

Учитель и ученик работали, а я сидел у окна, наблюдая за ними... Что-то необычное было в самой обстановке этого приема, не говоря уж об отсутствии различных диагностических приборов. Я не сразу понял, что именно. Но внезапно меня осенило: здесь не раздражала привычная суэта, царящая в американских госпиталях, в докторских офисах. Мухитдин не бегал из кабинета в кабинет. Ему не заносили результаты только что проделанных анализов. Не слышно было телефонных звонков и вообще даже не было телефона. Жизнь бурлила за дверью рабочего кабинета доктора, в приемной у секретаря, в коридоре. А здесь было тихо. Здесь была максимально спокойная обстановка – для получения максимально точных результатов осмотра.

Я вдруг подумал, что этот кабинет скорее напоминает студию художника. Правда, художник пишет красками на холсте, а Мухитдин рисует картину в своем воображении. Но и его пальцы участвуют в создании этой картины – красочного, объемного, детального изображения и пульсирующей ар-

терии, и всего организма пациента. Организма действующего, живого, меняющегося...

И тут я вспомнил удивительно яркие образы, созданные Ибн Синой для объяснения каждого цикла колебаний артерии. Вот стройная, грациозная газель взобралась на вершину скалистого утеса. Что-то она нервничает, подскакивает, бьет копытом о скалу. Может, потому что путь с утеса к зеленой долине прегражден опасным врагом – серым питоном? О, как она встревожена! Сначала замерла. И вдруг не выдержала, решила рискнуть – в высоком прыжке пытается перескочить стерегущую ее змею... Пульс «газели»... Не правда ли, какое яркое и в то же время точное описание такого пульса, который, как поясняет сам Ибн Сина, «бьётся неровно в одной части удара, когда (эта часть) медленная, потом прерывается и (затем) спешит»... Современные медики нашли для этого другое определение – «мерцательная аритмия». Но суть – одна и та же!

...А больные все шли и шли в кабинет. Разговоры с ними велись преимущественно на узбекском, который я, к стыду своему, понимаю плохо. Поэтому доктор время от времени давал мне краткие пояснения.

– Пастух. С лошади упал, а лошадь – на него. Сразу же парализовало ниже пояса. Сюда в первый раз принесли на носилках. Шесть месяцев прошло – и, видишь, уже ходит...

Старик, о котором шла речь, в стоптанных сапогах и чапане, в это время уже ковылял к двери, опираясь на палочку.

Его редкая полуседая бородка покачивалась в такт шагам. И хотя походку эту еще нельзя было назвать уверенной, Мухитдин смотрел вслед старику с явным удовольствием. Он был доволен, как любой врач, добившийся успеха в трудной ситуации.

Во время приема это происходило нередко. Порой я видел на лице доктора широкую улыбку, а иногда раздавался короткий смех, выражавший радость. К тому же он и закуривал – это было для него дополнительным удовольствием...

– Спасибо, табиб, большое спасибо, – говорил растроганный, довольный лечением пациент.

– Что вы, при чем тут я, – протяжно и даже чуть удивленно отвечал Мухитдин. – Я же вам просто дал хорошие травы... – Он приподнимал густые брови, воздевал руки к небу. – Бога благодарите, это он... А еще вам помогло ваше жизнелюбие, ваше стремление бороться с болезнью.

Мне при этом так и хотелось добавить: «А еще вам помогло то, что вы поверили доктору».

Я совершенно убежден: табиб – прекрасный, умелый психолог. Конечно, это неразрывно связано с его высоким врачебным уровнем: ведь он поражает больного уже при первой встрече своим умением поставить диагноз, обнаружить самое-самое...

Вспоминаю, как однажды в Нью-Йорке зашел к нему на прием один мой знакомый американец, сорокалетний крепыш Нил Мазела. Как и все американцы, он чрезвычайно

скептически относился к любым попыткам отступить от традиционной медицины. Ведь что такое для американца врач? Анализы, тесты, уколы, операции. Но, уж никак не пульс! Так что пришел Нил на прием скорее из любопытства, услышав от меня, что Мухитдин – врач незаурядный.

– У вас бывают сильные головные боли в области темени, – сообщил табиб, послушав пульс Нила.

– Не припомню, ответил тот.

– Поясница иногда побаливает... Вот здесь... Лет десять назад подняли что-то очень тяжелое. Неудачно...

– Может быть. Не обращал внимания, – усмехнувшись, ответил Нил.

– А когда-то вы упали, тоже очень неудачно. И боли до сих пор бывают, вот здесь... – Мухитдин прикоснулся к правому бедру пациента.

То, что произошло дальше, даже трудно описать. Улыбка сползла с лица Нила. Он стремительно, как-то даже подпрыгнув, вскочил со стула, придвинулся к доктору и... стянул свои джинсы.

– Вот, смотрите... Но откуда вы знаете? Откуда?.. Смотрите...

Правое бедро Нила было несколько вмято, оно отличалось по форме от левого бедра.

– Это я занимался спортом и однажды...

Я еще не успел перевести эти слова с английского, а табиб уже кивнул головой, приподняв руку.

– Я знаю, – спокойно ответил он. – Садитесь, я еще не закончил.

Нил, как говорится, был «готов». Он теперь верил табибу безоговорочно. А значит, поверил и в результативность его лечения. Он стал психически предрасположен к доктору. Вера возбуждает мозговые рецепторы, они стимулируют организм, иммунную систему.

Примерно то же самое наблюдал я и сейчас, на приеме в Намангане. С кем бы из пациентов ни говорил доктор, я читал в его взгляде произнесенное: «Я знаю все, что с вами было. И если вы чего-то не помните, я вам сейчас напомню и объясню...»

...В кабинет зашел аптекарь Абдулла, взял очередной рецепт травяного сбора. Я давно мечтал побывать в аптеке и сейчас хотел воспользоваться случаем, но Мухитдин сказал:

– Погоди... Сядь-ка сюда. – И он указал мне на стул, предназначенный для пациентов. – Полечим тебя немного, а?

Я простыл еще в первые дни после приезда. Текло из носа, познабливало. Мама, конечно же, все время твердила: «Полечите его, Мухитдин-Ака, полечите, пожалуйста».

На этот раз табибу даже мой пульс не понадобился. Он вытащил из ящика стола белый пакетик и скомандовал:

– Так, товарищ генерал... Откинь голову, высунь язык... Сейчас получишь кое-что вкусенькое...

Я доверчиво открыл рот, не ожидая ничего худого – но шутник-доктор обманул меня: на язык посыпалось что-то

очень горькое. Не успел я опомниться от первого удара, как доктор схватил меня за нос – и остатки порошка оказались в моих ноздрях... Меня передернуло, как под током. Жгучая, словно огонь, пудра тут же проникла в глотку. Мне даже показалось, что она дымом выходит из глаз – веки тоже жгло невыносимо, слезы текли ручьем...

Я дернулся, попытался вскочить, но крепкие руки доктора прижали меня к стулу.

– Ты чего это? – захохотал он. – Потерпи, сейчас лучше станет!

Действительно полегчало – и жжение уменьшилось, и нос стал сухим.

– Вы и себе такое засыпаете? – пробормотал я скрипучим голосом: рот и глотка были все еще словно песком набиты.

– А как же! Именно так мы тут и лечимся от простуды. Впрочем, пойдем-ка в аптеку, там все покажу, – предложил табиб.

Аптека находилась рядом. Мы только зашли, как я почувствовал, что попал из одной стихии в другую. Воздух здесь был напоен сильным, пряным и в то же время тонким ароматом трав. В нем улавливались иногда какие-то знакомые запахи – как в саду, где много цветов, чувствуешь то запах розы, то аромат жасмина, а то что-то прекрасное, но неизвестное тебе... Кстати, я позже почувствовал, что травяной воздух аптеки был не только приятным, но и успокаивающим.

Аптека эта была большой комнатой с множеством полок,

шкафов, стеллажей. Все они были уставлены различными цинковыми банками, сотнями банок с этикетками. В сопровождении Абдураима, заведующего аптекой, мы отправились на экскурсию.

Началась она с того, что и было обещано Мухитдином.

– Попробуй-ка, – сказал он, достав из банки кусочки какого-то плода. Я осторожно пожевал – и сказал с облегчением:

– Безвкусно...

– Так... Это была моза. Она антисептического действия...

А теперь попробуй вот это – и доктор протянул мне что-то вроде белого гладкого корня.

Я снова осторожно надкусил – таинственный корень оказался сладким...

– Хирсигиё... Восстанавливает связь между легкими и бронхами... Теперь подожди чуть-чуть.

Табиб подошел к столу, где стояли различные сосуды и молотка для приготовления трав, смолот вместе оба растения, которыми угощал меня – и предложил попробовать. Я снова доверчиво открыл рот – и чуть не задохнулся: это был тот же жгуче-горький порошок, которым доктор потчевал меня в кабинете!

Пока я хохотал и откашливался, Мухитдин достал с этажерки небольшую баночку, высыпал себе на ладонь несколько небольших круглых плодов.

– Это вилдон. В Китае растет, на кустах, в долинах... Очень ценное растение, очень. На валюту покупаем. Основ-

ное лекарство для больных раком... Как только эти кусты весной зацветут, их тут же накрывают. Палатку такую марлевую делают. Да еще караулят эти палатки – от птиц. Не доглядишь – и через марлю все расклюют! Очень, понимаешь, птицы эти плоды любят, лечатся так...

– Так этим вы и лечите маму? – я разглядывал теперь черные горошины как чудо какое-то.

– Ну, не только этим... Но мы подобного растения не знаем, которое в сочетании с другими вызывало бы торможение онкологического процесса.

Между тем Абдураим, покинув нас, уже готовил вместе с помощником сборы трав по сегодняшним рецептам табиба. Я слышал, как он что-то непрерывно бормочет, стоя у стола и, подойдя поближе, засмотрелся на его быстрые руки. Помощник доставал нужные банки, отмерял травы – Абдураим, оказываясь, вслух называл их. В глубокой тарелке, стоящей перед аптекарями, уже возвышались зеленоватой горкой травы, а сбор все еще продолжался...

– Этой онкологической больной я назначил более сорока трав – объяснил Мухитдин. – Не удивляйся, есть и посложнее лекарства. В составе сбора может быть и пятьдесят, и больше трав.

– Во сколько же в среднем обходится лекарственный сбор для раковых больных? – поинтересовался я.

– Дорого, – покачал табиб головой. – Некоторые травы берем за валюту. Тот же вилдон, помнишь?

– А если пациент бедный? Как же он платит?

– Никак, – просто ответил доктор. – Отдаем ему лекарство даром.

* * *

На столе зажужжала молотка, остро запахло травами – я вдыхал их аромат с наслаждением.

– Если хочешь, побудь здесь еще, – сказал доктор, – а мне пора. – И отправился продолжать прием.

Я подошел к полкам... В одних банках лежали листья с выпуклыми жилками, в других – кусочки древесной коры, похожие на перекрученные гвоздики, корни причудливой формы, длинные колючки, какие-то сморщенные плоды и даже камни, сверкающие, как осколки льда.

«Да, работу аптекаря уж никак не назовешь однообразной», – подумал я. К тому же все это очень красиво – сколько расцветок, оттенков, какой богатый колорит! Вот и сейчас у них на столе – и ярко-желтые, просто солнечные травы, и алые, как кровь. Даже черные хороши, они не скучного черного цвета, а с глубоким оттенком, будто теплая летняя ночь...

– Почему же вы не сразу все перемальваете? С запасом? Ведь быстрее будет потом составлять сборы – спросил я. Спросил по неведению. Оказывается, перемолотые травы гораздо быстрее окисляются и теряют силу, лечебные свой-

ства...

Так начался разговор о травах. Я узнал в этот день столько интересного, что хоть оставайся здесь навсегда, поступи к аптекарям в ученики. Эх, да куда там! Хоть бы не забыть, что рассказывали мне и они, и Мухитдин...

* * *

Древнее лекарств, чем травы, на Земле нет. И не люди впервые начали лечиться травами, а животные. Возможно, наблюдение за ними и натолкнуло первобытных людей на мысль о том, что... Впрочем, конечно, были и самостоятельные открытия. Ведь женщины – кормилицы племени собирали ягоды, травы и корни для еды. Поневоле приходилось на собственном опыте знакомиться с их свойствами! Первобытные люди жили среди природы, в постоянном контакте с ней. Трудно даже себе представить, какая у них была острая наблюдательность. И о растениях, и о животных они знали побольше, чем нынешние ботаники и зоологи – конечно, если исключить чисто научные сведения.

Охотники, сидящие в засаде, постоянно видели оленей, коз, джейранов, которые разыскивали в лесу, на поляне или на горном склоне какие-то травы или корешки, поедали их, выкапывали, если нужно, копытами... Как правило, это были больные или раненые животные. И если, скажем, удавалось увидеть, что олень с кровоточащей ногой поедает крас-

ную гвоздику – как было не сообразить, а потом не проверить на собственном опыте, что это – кровоостанавливающее средство?

...Раненый джейран со стрелами в хребте и в ноге скрылся в пещере. Охотникам не до него было – они гнались за другими животными. Решили, что джейран подойдет в пещере. Но неделю спустя, загнав джейрана, они увидели, что попался им тот же, со стрелой в хребте. Он был прыток, здоров, не изнурен. А шкура его вокруг затянувшихся ран была покрыта слоями какой-то темной смолы. Любопытные охотники забрались в пещеру. Увидели, что из трещин в скалах сочится какое-то темное, густое, воскообразное вещество, то же, что и на шкуре джейрана. Охотники – они были военачальниками иранского царя Фаридуна – собрали это вещество и принесли его царю... Примерно так рассказывается в одном из древних восточных медицинских трактатов, как было найдено мумие – универсальное лекарство, помогающее излечивать многие тяжелейшие заболевания, могучий антисептик.

Сведения собирались, накапливались, передавались из уст в уста. Поскольку и открытия, и собирание сведений, и хранение опыта было уделом людей наиболее одаренных и сметливых, стало возникать знахарство. Оно передавалось от учителя к ученику, оно постепенно окружалось тайной, вызывало даже мистический страх, связывалось с колдовством... Ну, а уже в обозримые тысячелетия эти древние по-

знания перешли к ученым, начали записываться, публиковаться на многих языках, то есть передаваться из страны в страну. И конечно, ученые разных стран вносили свой вклад в науку траволечения. В том же «Каноне врачебной науки» Ибн Сины записаны свойства и способы употребления около 900 видов лекарств и растений. Нередко довольно сложных: некоторые лекарства состоят из десятков трав.

Конечно, наши предки лишь догадывались – подчас довольно прозорливо – о том, что сегодня стало общеизвестным: растения, как и любой другой живой организм, в процессе своей жизнедеятельности вырабатывают от десятков до сотен биологически активных веществ, относящихся к различным классам химических соединений. Да, они не знали ни химии, ни микробиологии. Зато практическое применение трав, воздействие тех или иных растений и сборов с древних времен было освоено блестяще. До тончайших деталей разрабатывались приемы сбора и хранения трав, их высушивания, измельчения, варки. Отлично было известно, какими способами можно сохранить свойства растений. Величайшим искусством считалось – и совершенно справедливо – смешивание трав, при котором усиливаются одни свойства, ослабляются другие, создаются третьи...

В этом я и сам убедился, попробовав безобидные травки, из которых табиб изготовил огненный порошок для лечения моей простуды.

...Одного только я не понял и, наверно, никогда не пой-

му: как же это так случилось, что траволечение – то есть употребление биологически чистых растений – почти во всех странах мира было почти полностью вытеснено лечением токсичными химическими препаратами? Почему человечество отказалось от освоения и усовершенствования химии природы, ее могучих ресурсов?

Впрочем, мало ли у человечества чудовищных ошибок и заблуждений, связанных, как ни странно, с развитием науки и техники...

Глава 18. Года два-три...

Так обещал мне табиб. И он сделал все, что мог. Больше, чем мог.

С каждым месяцем мама чувствовала себя все лучше. Лицо ее снова стало розовым и свежим, как у молодой женщины. Она похорошела, повеселела. После стольких жизненных испытаний она была, наконец, счастлива по-настоящему. Внуки – вот кто стал теперь и радостью ее, и заботой. Эти шалуны, которых уже стало четверо, казалось, заняты были только одним: организацией погромов. Делали они это очень успешно. Разбрасывались повсюду игрушки. Газеты и журналы «прочитывались» многократно, пока не превращались в клочки, устилавшие пол. Стены комнат походили на галерею, где выставлены картины самых безумных и непонятных художников... Словом, дом наш, как и у всех многодетных семей, особым порядком не отличался. Но кого это огорчало? Ведь мама так весело смеялась, радуясь детским играм и шалостям.

Есть в Средней Азии один древний обычай... Когда заболевает овца, и заболевает тяжело – к ней подкладывают новорожденного ягненка. Заботясь о нем, овца нередко выздоравливает. Но если такое переключение внимания, такая любовная забота о слабом существе помогает овце, то человеку, женщине-матери с ее любящей душой это, наверно, стократ

полезнее... И когда мы с моей женой Светланой обсуждали, быть ли в нашей семье именно сейчас третьему ребенку, мы решили, что появление малыша может стать стимулом для мамы, прибавит ей жизненных сил.

Так и случилось. Когда появилась на свет маленькая Эстер, мама просто преобразилась. Теперь самой главной утренней процедурой стала уже не трава, а появление Эсти у бабушки в постели. Когда малышку вносили по утрам к ней в комнату, мама для порядка сначала укоряла нас («Опять ребенок замерз... Носик холодный»). А потом, прижав к себе теплый комочек, начинала что-то блаженно приговаривать и нашептывать. Утро начиналось радостно – и радостным был весь день...

Наша дружба с доктором продолжалась и крепла. Теперь он уже чаще бывал у нас, чем мы в Намангане. Все-таки мама очень устала за эти годы от далеких поездок, да она и не понимала, зачем они нужны. А табибу совсем не вредно было два в год проветриться над океаном и отдохнуть хоть несколько деньков от своих бесчисленных пациентов. Правда, здесь, в Америке, уже добивались встречи с ним сотни новых страждущих.

– Мухитдин-ака, – жаловалась мама табибу во время одного из его приездов, – я все поправляюсь и поправляюсь... Поглядите – прямо растолстела!

– Что вы, Эся-апа, о чем говорите! – отвечал доктор, приподняв густые брови – Это же замечательно. Вес – это пре-

красный показатель. Он сил вам прибавляет. Вы найдете хоть одну женщину, которая... – Тут он запнулся. – Которая перенесла бы такую болезнь и выглядела бы так хорошо... Тьфу-тьфу-тьфу!

Все это было приятно слышать, и на маму действительно приятно было смотреть – но мы-то с табибом знали правду: ему удалось задержать процесс, значительно задержать, ему удалось дать маме силы для жизни, улучшить ее самочувствие – но метастазирование продолжалось, вело свою страшную разрушительную работу.

Я привозил маму в госпиталь на очередные анализы – и врачи только руками разводили: к ним приходила здоровая с виду женщина, а ее легкие, позвонки, ребра, суставы были в узлах метастаз.

...Пять лет прошло с того времени, как мы впервые приехали в Наманган и начали лечение у табиба. Для онкологической больной, которая уже тогда была в «четвертой, завершающей» стадии болезни, – это очень большой срок. И эти годы, и мамино хорошее самочувствие были с боем взяты у страшного врага.

* * *

Перемены начались незаметно. То утром мама вставала бледная, и видно было, что ей не по себе. То ей становилось нехорошо днем и она уходила наверх, полежать. То ночью

боли в спине не давали ей заснуть... Сидит на диване, наслаждается обществом Эси-маленькой, которая что-то лепечет, играя в своей коляске, – и вдруг закрывает глаза, к чему-то в себе прислушиваясь, с чем-то борясь...

Враг снова начал наступление. Сначала – осторожное. Потом – широкое. Развернулось оно осенью 1998-го... Боли и слабость увеличивались с каждым днем. Все труднее становилось двигаться. Почти не хотелось есть. Мама менялась на глазах: розовая кожа все чаще была сероватой, на лице появились глубокие морщины...

Теперь она уже не спала и не жила без болеутоляющего. Домой к нам стала приходить наша соотечественница, доктор Мария Якубова, знающий и милый человек. Через день она делала маме в позвоночник уколы противовоспалительного средства – Мария Борисовна правильно определила, что метастазы на позвонках сдавливают нервные корешки, и уколами снимала эту боль...

В госпитале мне тоже постоянно твердили, что снимки и анализы говорят о серьезном ухудшении. Врачи волновались, все активнее на меня нажимали. «Надо же что-то делать! Хотя бы радиацию, – говорил онколог. – Вот на этот узел, – он показывал мне на снимок. – Если его не уменьшить – маму парализует... А травы ваши – это для кур!»

Я был в растерянности. Табиб делает все, что может – думал я, его травы – могущественны, но мамина иммунная система настолько подавлена, ослаблена, что травы уже недо-

статочно ее стимулируют. А здесь мне предложили предотвратить паралич, здесь можно надеяться на реальную помощь. Вправе ли я отказываться? Мама так страдает...

Но ведь прежде, чем вести маму на радиацию, надо было сказать ей правду.

* * *

... Вот уже пять лет засасывал меня стремительный водоворот непредсказуемого. Я барахтался, пытался выплыть – и лишь изредка удавалось мне выбраться на зыбкий островок для короткого отдыха. Я, пожалуй, уже даже как-то свыкся с этим положением. С тем, что сегодня я в Нью-Йорке, а завтра полечу с мамой в Наманган, что сегодня мне удастся вдохнуть всей грудью сладостный воздух надежды, а завтра лишает дыхания новая беда – новые мутные пятна на черной рентгеновской пленке... Я не знал, что будет завтра. Но одно я знал твердо: я должен скрывать, пока это хоть сколько-нибудь возможно, и мамин диагноз, и бесчисленные трудности, и безысходность ситуации. Скрывать от своей семьи, от Эммы и, прежде всего, конечно, от мамы.

Первый раз я нарушил этот запрет, рассказав все Эмме. Пришлось так сделать – просто уже нельзя было скрывать от нее истинное положение вещей, она не простила бы мне этого. Теперь предстоял разговор с мамой. Но она опередила меня...

В тот вечер я пришел домой поздно, но в маминой спальне еще горел свет. Я заглянул к ней. Мама сидела на кровати, напротив – Эммка, расстроенная, напряженная.

– Заходи и закрой дверь, – сказала мама. – Теперь садись. И скажи, пожалуйста: долго ли вы собираетесь скрывать от меня... То, что вы скрываете?

Мы с Эммкой переглянулись, пожали плечами. О чем, мол, она говорит? Но спорить я не собирался, мне только хотелось понять, что же мама знает.

– Хватит меня принимать за дурочку. Я же вижу – вы оба сами не свои. Ты, Валера, места себе не находишь, глаза свои прячешь от меня. Эмма тоже словно умирает... Снимки совсем плохие, а?

Она была спокойна, ласкова, она не жаловалась и не обвиняла, она не надеялась облегчить свои муки – хотела облегчить наши.

– Это мое тело, дети. Вот, поглядите. Я прекрасно знаю, где у меня и что... – И она стала указывать на позвоночник, на ребра, на все то, что причиняло ей такие страдания. – Вот здесь сидит эта зараза, и здесь, и здесь... Ты, сынок, не бегай больше по врачам, не мучай ни себя, ни меня.

Я было начал что-то говорить, но она меня перебила:

– Нет, теперь вы меня слушайте!

Глаза ее широко раскрылись, рука поднялась в почти торжественном жесте.

– Я, дети, химию делать не буду. Я не буду лежать в посте-

ли, черная от химии. Я хочу вот так ходить. Сколько смогу. Ходить, обнимать внуков. Целовать их, щекотать, пощипывать. Я думаю, год-два у меня еще есть. А смерти я не боюсь. Не боюсь!

Тут ее взгляд, устремленный куда-то – я не знаю, куда и на кого – остановился на мне. Остановился, смягчился, наполнился нежностью. Она погладила меня по голове:

– Не переживай, сынок. Все будет хорошо.

Родная моя, – думал я, – ты не боишься, я верю. Это я не могу примириться, не могу в бездействии наблюдать за тем, как ты... Не могу, не могу... Но как тебе объяснить это?

И через день-другой я снова начал уговоры. Химии не будет, мы сделаем радиацию. Это гораздо легче, это только местное воздействие на опухоль, организм не пострадает, наоборот... Словом, я просил, уговаривал, объяснял – и мама, наконец, согласилась пойти на сеанс радиации.

Лучше бы не соглашалась.

Комнату, где больные принимали эти сеансы, сильно охлаждали, чтобы избежать перегрева машин. Переохлаждение больных никого не беспокоило.

– Пожалуйста, укройте маму простыней, – попросил я доктора. – Она очень легко простужается.

Доктор обещал.

Прошло двадцать минут, двадцать очень долгих минут лучевого сеанса. Открылась дверь, маму вывели под руки... Что с ее лицом? Оно стало серым.

– Тебя обманули, Валера. Ничем меня не укрыли...

Как я и боялся, она сильно простудилась. Но и другие последствия радиации оказались ничуть не лучше. У мамы совсем пропал аппетит, она стала заметно худеть. Она отказывалась пить лекарственные травы. Усилилась депрессия...

Я винил себя во всем, я грыз себя – зачем я настоял на этом проклятом сеансе?! Я одолевал звонками доктора Умарова. Наш добрый таиб снова приезжал к нам. Привозил новые сборы трав, помогающие усилить иммунную систему, – сейчас только могучее сопротивление организма могло продлить мамину жизнь. Мы оба понимали: будь Мухитдин рядом, он мог бы следить за малейшими колебаниями маминого состояния, что-то предотвращать. Но что было делать? Там, в Намангане, ждали его ученики, сотни больных людей. Выручал только телефон. Подробно расспросив меня, Мухитдин давал какой-либо совет или высылал новый сбор трав.

К середине лета 99-го маме стало совсем худо. Несколько раз приходилось класть ее в госпиталь, чтобы откачивать жидкость из легких. «Мама устала, ах, как она устала», – твердил я себе. Это я видел. Но другого не подозревал: она уже не только не боится умереть. Она хочет покинуть этот мир.

Как это было странно: мы поменялись ролями! Теперь у мамы появилась тайна: желание уйти. Тайна – потому что даже теперь она делала все возможное, чтобы не огорчать нас,

детей. Без жалоб терпела боли, просила только дать обезболивающее по сильнее. Она так же обманывала нас из любви и жалости к нам, как мы обманывали ее прежде. Она хранила тайну – а я не замечал, не чувствовал. Я стремился все к тому же – продлить, продлить, продлить ее дорогую для нас, но уже мучительную, невыносимую для нее жизнь...

...Мама снова в госпитале. Мы – в ее палате: я и доктор Спивак, ее лечащий врач, широкоплечий, с добрым лицом человек моих лет. Мама лежит с закрытыми глазами. Трубочка капельницы спускается к ее руке, такой исхудавшей, неподвижной. Доктор кладет мне руку на плечо, кивает на дверь. Мы выходим из палаты.

– Доктор, а что если сейчас сделать снова... – произношу я вслух одну из тех мыслей, которые обрывками, с лихорадочной скоростью проносятся у меня в голове.

– Валера, – перебивает меня доктор. В его глазах печаль. – Валера, мы здесь нечасто встречаем таких детей, как ты и твоя сестра. Ваша мама... Все на этаже говорят о вас, о том, как вы ее любите, как заботливы. Все это видят, Валера. Но вы-то не видите самого важного. Твоя мама хочет умереть. У нее нет больше сил мучаться...

Сначала я его просто не понял. Что за чушь он городит? Мама не хочет, у нее нет больше сил... Так надо ей помочь, мобилизовать ее силы! Надо вернуть ей волю к жизни! Мы к этому и стремимся. Кто может остановить стремление детей продлить жизнь матери? Это наше право!

Доктор Спивак смотрел на меня печально и спокойно.

– Валера... Это ее жизнь. Это ее право – жить или не жить.

Я делаю все, что возможно, для продления ее жизни. Но она не хочет этого. Она мне сама сказала... Сама. Есть предел силам. Есть что-то, что подсказывает душе. Поверь мне, я врач. Подумай... Ты сделал все, что мог.

В коридоре ждала меня Эмма, сестренка. Мы не виделись с ней со вчерашнего дня.

– Валера, – сказала она, – мама хочет уйти. Мама про-
сит...

И Эмма рассказала мне: вчера при ней зашел в палату доктор Спивак, чтобы сделать обезболивающий укол. Мать подумала, что это другой укол, который даст ей возможность уйти совсем. Она заплакала счастливыми слезами и благословила доктора...

Эмма перевела ее благословение...

Теперь плакали все трое.

Все трое были отныне в согласии. Слово было за мной.

Глава 19. Посоветуй мне, мама

– Это я мама, Валера, твой сын. Давай поговорим. Мне нужен твой совет. Ты можешь не отвечать мне, просто лежи и слушай.

Мы были вместе так долго – а на самом деле так немного... Ты всегда была рядом. Я не представляю себе жизнь без тебя. Ты для меня была опорой. Другом. Ты помнишь – я же с тобой всегда советовался. И даже когда ты отвечала: «Делай как знаешь, сынок» – ты часто так отвечала – мне важно было услышать твой голос.

Вот и сейчас мне нужен твой совет.

Речь идет об одной женщине. Молодой, красивой... Я помню ее очень здоровой... Она очень близка мне. Мы всегда были рядом...

Мам, ты помнишь, как мы смеялись – это когда ты рассказывала, как я, двухлетний Рыжик, бегал по двору с пустым горшком и постукивал им по стенам, как молотком?

Мам, а помнишь, как перед работой ты отвозила нас к бабушке, в Старый Город – этот путь к остановке трамвая – помнишь? Эммка на руках, я – позади бегу, едва поспеваю, хнычу: «Мам, Эмму ай, Эмму ай, меня – оппа-ля!» А ты на ходу отвечаешь: «Ведь это твоя сестренка!»

А про сигареты – помнишь? Сколько мне было тогда? Восемнадцать, наверно... Случайно ты увидела пачку сигарет.

Я подумал – попадет сейчас... Ведь в нашем роду на сигареты наложено табу. Да и любому моему приятелю попало бы от родителей. Но ты как-то это умела совершенно иначе. Я и представить себе не мог, чтобы ты ругалась. Ты усадила меня рядом и рассказала смешную историю про своего брата и сигареты. Как мы оба хохотали!

Да... Так что же я хотел тебе сказать? Понимаешь, этой женщине, моему другу, очень плохо сейчас. Совсем плохо. И врач говорит, что я должен с ней расстаться. Больше не мучать. Оставить в покое. Просто оставить. Только снимать боль. Но что же мне сделать со своей болью – в сердце? Куда мне деваться? Я не хочу этого! Я не могу ее отпустить. Мама, я не хочу сдаваться, ведь мы боролись столько лет...

Мама, ты слышишь? Мне нужен твой совет...

* * *

Она ответила через несколько часов.

Мне казалось, что она дремлет или даже в забытьи. И вдруг, широко открыв глаза, сорвала с себя кислородную маску. Я кинулся надевать – маска была крепко зажата в ее руке. Я отнимал, уговаривал: «Мама, это надо надеть, надеть». Глядя куда-то вверх, она прохрипела в ответ:

– Хватит уже! Все же сделано...

Я все же одел на нее маску, хотя знал, что получил ответ.

* * *

Мама не стало теплым сентябрьским утром. Это было за несколько дней до Святых Еврейских праздников.

Тихо так она ушла. Мы были вокруг.

В этот день был Праздник Трудящихся и кладбище не работало, но для нас его открыли, устроили похороны... Как сказала бы мама – по воле Всевышнего.

С утра лил дождь, погода плакала с нами. Потом небо очистилось и солнце засияло над зеленым пригородным местечком в Лонг-Айленде, согрев землю, которая так долго ждала маму.

Глава 20. «Когда меня не станет...»

Так говорила мама незадолго до смерти, сообщая нам, удивительно детально и точно, о том, что будет, когда она уйдет, о грядущих событиях, больших и маленьких.

Не успело остыть ее тело, как все это стало сбываться.

Сразу после похорон началась Неделя поминовения. Неделя эта называется «Шива», что на иврите означает «Семь». По обычаю дети, братья и сестры усопшего проводят ее вместе. Проводят дома, в разговорах, в воспоминаниях об ушедшем.

Этому мы сейчас и посвящали время. Всю неделю у нас дома находились Эмма, а также Авнер и Маруся, мамины брат и сестра. Мы сидели в гостиной на полу, возле дивана, застеленного ковром. Это тоже входило в ритуал: удобства не позволялись.

Как странно это было – говорить о нашей маме в прошедшем времени! Странно и трудно, невообразимо трудно. Да, сегодня ее похоронили, ее уже нет с нами. Знаю об этом, помню. Но ощущение, что она здесь не желает считаться с этим! Ее нет – но почему же мне тогда слышатся ее шаги на лестнице, ведущей вниз, из спальни? Вот поскрипывают ступеньки, одна за другой. Восемь, девять... И точно там, где всегда, короткая пауза: мама дошла до середины – и остановилась на миг, чтобы охватить взором уже открывшуюся ей

часть гостиной... Одна нога ее, конечно, повисла в воздухе – ведь сейчас она пойдет дальше... А вот она увидела нас всех, сидящих на полу, в удивлении скосила голову и озарила нас, комнату, весь мир своей незабываемой солнечной улыбкой.

Я встряхиваю головой, видение исчезает, остается только боль, поселившаяся где-то в груди... Но проходит минута – и мама уже сидит в своем любимом уголке дивана, совсем рядом с тем местом, на которое я опираюсь... Я убираю локоть, опять встряхиваю головой...

– Можете даже и не сомневаться, – будто почувствовав все то же, что и я, сказал дядя Авнер, – можете не сомневаться: мамин дух сейчас витает вокруг нас. Он все видит и все слышит. Он покровительствует нам!

Моя сестра кивнула, но лицо ее оставалось скорбным. Вероятно, ей было труднее, чем мне. Ведь столько лет я скрывал от нее истинное положение вещей. Я охранял ее от горя – зато с какой страшной силой оно теперь обрушилось на неподготовленную душу! Я знал, что Эммка упрекала меня за это, даже сердилась... Но любя, любя! После смерти мамы мы стали как-то еще ближе, еще сильнее почувствовали свое кровное родство. И ни за что на свете не хотели бы мы теперь хоть чем-то нарушить нашу дружбу... А разве не об этом говорила мама, часто повторяя азиатскую пословицу: «Родная плоть стремится к родной плоти, чужая – к чужой».

«Как жаль, – подумал я, вспомнив об этом, – что не записывал маминых высказываний. А ведь какими мудрыми и

меткими они были! Многое из того, что она говорила, передавалось веками, от родителей к детям. И у нее такой светлый был разум... Теперь наш черед – передавать... Сможем ли? Я не записывал, все думал, что успею. Ведь в нашем понятии родители – вечны...»

Эмма снова вздохнула. Она сидела, подперев рукой щеку, вся в черном. Высокая, стройная – ей любой наряд к лицу.

– Мама дала, – поймав мой взгляд, сказала она и погладила кофточку. – Еще год назад... «Наденешь, – сказала, – в день похорон». Так и случилось. И вообще – ты замечаешь – все происходит так, как она говорила. Ой, мама, мама, откуда же ты все знала наперед? Как все, до мелочей, четко себе представляла?

Я кивнул. Я тоже мог рассказать кое-что. «Когда меня не станет, – говорила она, – все они придут на мои похороны. Вот увидишь. Чтобы потом помириться с вами...»

«Все они...» Я увидел их сегодня утром в синагоге – как мама и говорила. Поседевших, постаревших... Да бог с ними, не хотелось мне о них думать, вспоминать, говорить. Ни сейчас, ни на похоронах, когда я стоял возле синагоги. Там было так торжественно, тихо. Белые колонны, высокие потолки, гулкие гранитные полы... В массивные двери, открытые настежь, задувал утренний ветерок, нежный, теплый. Он обдувал мою голову, поигрывал в волосах... Был ли это только ветер? Мамин день... Дух ее сейчас витает над нами – и ничто его уже не тревожит. В нем только любовь, любовь к

нам...

– Дух усопшего, – услышал я голос дяди Авнера... Наши с ним мысли и чувства переплетались сегодня самым удивительным образом... – Наверно, он, бестелесный, невидимый, наделен неограниченной силой. И уж конечно, он может читать наши мысли... И – кто знает – может являться по нашему зову. Ведь мы это даже чувствуем порой...

– Да, да, – кивала головой сестренка.

– Вот послушайте, – сказал дядя. – Я вспомнил, как я хоронил свою маму, вашу бабушку Абигай... Была лютая зима, а мы везли ее из Ташкента в Самарканд, чтобы похоронить рядом с дедом... Она так хотела... Как уж мы одолели перевал – не знаю. Страшный был гололед. Но вот подъезжаем к городу, а я думаю: «Как же хоронить будем? Землю ведь не пробьешь для могилки!»

Дядя прислонил к груди колени, обхватил их руками, прокашлялся.

– Объясните как хотите, а я говорю, что есть дух усопшего, наделенный силой... Не успели мы подъехать к Самарканду, как началось резкое потепление. Лед на дорогах стал таять, превращаться в кашу... В тот же день мы и похоронили вашу бабушку Абигай... Стало быть, услышал ее дух, что мы в тревоге – и помог! – с волнением сказал дядя...

Можно смеяться над суевериями, можно сколько угодно опровергать их, понимать, что они не выдерживают суровой критики разума, что это всего лишь утешительные сказки,

доставшиеся нам от нашего детства и от детства всего человечества – но как же эти сказки нужны людям! Они нас облагораживают, они помогают нам жить. А когда мы теряем близких, помогают нам сохранять ощущение их присутствия. Не только в нашей памяти, но и в природе, во Вселенной... Так позволим же себе быть суеверными, если это целебно для души!

Что же касается Эммки, то она горячо поддержала дядю, нисколько не сомневаясь в безграничном могуществе духов. В лице дяди Авнера она нашла собеседника, близкого по взглядам. Эммка увлекалась мистической литературой, зачитывалась книжками о карме, о гаданиях и могла часами говорить на эти темы. Бывало, она очень серьезно обсуждала их с мамой и мои попытки вмешаться – выразить, скажем, сомнение или пошутить пресекались обычно Эммкиным возгласом: «Иди себе, Валера, не пудри нам мозги! И вообще не лезь в женские дела!» И обе они заливались смехом.

Да, мама тоже верила и в духов, и в загробную жизнь, Но разве сейчас не жаждал этого и я? Разве всем своим существом не ощущал ее присутствия здесь, с нами?

Дядя Авнер – тот рассуждал о мамином посмертном пути, как о чем-то хорошо известном и бесспорном.

– Сейчас там, – он указал на небеса, – над Эстер суд идет. Решается, куда она попадет – в рай или в ад... И вы, дети, причастны к этому. Ваше поведение, особенно в первые

тридцать дней, то, как вы соблюдаете законы и обряды, строго принимается во внимание...

Дядька не сказал, кем именно «принимается во внимание», но это и без того было ясно: Им, Главным Судьей и Вершителем человеческих судеб.

«Непостижимо, – думал я, – как же Он успевает проследить за миллиардами своих подопечных и миллиардами миллиардов душ усопших? Наша Земля, Планета жизни – она ведь наверняка не одна...» Я зажмурился, пытаюсь представить себе Вселенную, Млечный Путь, Галактику. Я сбился со счета, запутался в числах, в количестве нулей, следующих за единицей. Я почувствовал головокружение, ощутив себя крошечной, стремительно мчащейся куда-то частицей этого безграничного мира, не нами созданного... Воистину, только тот, у кого неограниченное, невообразимое, никакими средствами человеческого разума неисчисляемое могущество, смог стать Создателем, а потом и Властелином Вселенной.

...На Землю, в гостиную, меня вернул стук тарелок. Это Света, моя жена, возилась на кухне, пока мы предавались благочестивым размышлениям. Свете сейчас доставалось больше всех. Неделя поминовений была для нее неделей ухода за нами, непрерывных хлопот – это кроме обычных ее дел и обязанностей жены, матери, работающей женщины... Обычай...

К вечеру мы с Эммкой вышли на веранду. Что может

быть прекраснее осеннего вечера, ветерка, приносящего и прохладу, и тонкий аромат цветов, лепестки которых еще светятся среди зелени! Кроны деревьев, тоже еще зеленые, уже кое-где окрашены золотом – природа готовится сменить свои наряды... Тишина. Углубленная тишина вечера. Слияние красоты и печали... «Осенняя пора, очей очарованье...» Мама выбрала подходящее время для ухода.

Но осень – это еще и особое, очень важное для природы время. Осень – сезон трансформации. Подготовка к суровым испытаниям зимы.

Мы, люди – неотъемлемая часть природы. Живем в ритм с ней. Но готовы ли мы к своей трансформации – к грядущим испытаниям после потери любимых?

Трансформация моей души началась. Как я справлюсь с ней?

Глава 21. Легко ли быть евреем

Нет, не легко. Я знал это с раннего детства, знал не понаслышке – испытал кое-что и сам, на собственной шкуре. Но, пожалуй, только теперь, после смерти мамы, я по-настоящему понял, что значит быть евреем. И далось мне это нелегко, хотя совсем по другим причинам. Теперь уже никто не оскорблял моего национального достоинства. Теперь я сам учился вести себя достойно – согласно тем правилам и обычаям, которые с древних времен существуют у еврейского народа.

Я пришел к такому решению (точнее говоря, оно само пришло ко мне, я и не колебался) по двум причинам.

Первая: я чувствовал и понимал, что этого хотела бы мама – это проскальзывало и в ее «Когда меня не станет». Она, выросшая в еврейских традициях, была бы довольна, что ее сын свою скорбь об утрате выражает так, как предписано религиозными законами. Делать то, что хотелось бы маме – чем еще мог я сейчас выразить ей свою любовь?

Вторая причина: я сам чувствовал потребность в этом. Был ли то зов крови? Была ли надежда найти помощь и утешение? Не знаю. Вероятно, и то, и другое...

...Прошла первая неделя траура – та, которую близкие родственники проводят дома, – и начался «Шлошим» – буквально «Тридцать». То есть те тридцать дней, когда мужчи-

ны не бреются и не стригутся, и хотя и возвращаются к обычной трудовой жизни, но ежедневно и утром, и вечером молятся в синагоге. Траур по родителям, включая посещение синагоги, длится год...

Не хочу притворяться: мне было тревожно, я был напряжен. И вовсе не по бытовым причинам, не из-за ломки привычного распорядка жизни. Гораздо труднее были предстоящие душевные сдвиги.

Приходить в синагогу дважды в день, утром и вечером, семь дней в неделю, целый год – только для приличия, для того, чтобы меня здесь видели люди?.. Ну, хорошо, даже не так, а как ходит в школу не очень прилежный ученик: надо – вот и сидит... Слушает вполуха, болтает... Нет, не хотел я этого! И знал, что так не будет, что пойду в синагогу с открытой душой. Но она, моя душа – воспримет ли то, что я там услышу? Воспримет ли глубоко, по-настоящему, так, чтобы это стало моим? Вот этого я не знал. И мой прежний, скажем прямо, не слишком большой опыт не давал утешительного ответа...

Мне очень повезло, что в первую неделю моей новой религиозной жизни рядом оказался дядя Авнер. Всегда легче, если рядом близкий человек. К тому же дядя неплохо знал еврейские обряды и всю жизнь по мере сил соблюдал их. Это относится ко всем среднеазиатским евреям, особенно к бухарским. В отличие от своих европейских сородичей, в первую очередь – от тех, что проживали в России, евреи

стран Средней Азии чтили и древние обычаи, и все религиозные установления. Как бы бедно ни жила семья, она всегда старалась дать детям хоть какое-то еврейское образование, научить их хотя бы читать на иврите, то есть уметь произносить слова. Оба моих деда – и Ханан, и Юсуп – воспитывались именно так. Но только дед Ханан передал свое мировоззрение и свои знания сыну, то есть дяде моему Авнеру. Дед Юсуп, к сожалению, детей так не воспитывал...

– Ты не волнуйся, – успокаивал меня дядя еще по дороге к синагоге. – Не волнуйся, тут трудностей никаких нет. Две-три недели – и привыкнешь...

Но я волновался. И чувство у меня было такое, будто я впервые вхожу в синагогу, вижу все новыми глазами.

... Посреди просторного зала – небольшая площадка, с деревянными перилами по краям. На площадке – возвышение, бима. Отсюда читается Тора. А хранится Тора в священном ковчеге – на иврите – в арон-кодеше, завешенном тяжелым занавесом – птихом, на котором вышита корона и надпись на иврите... По трем сторонам зала расставлены в несколько рядов скамейки для молящихся. Мы уселись на одну из них.

Молитва уже началась. Шли еврейские праздники – осень богата ими – а в праздничные дни молиться в синагогах начинают задолго до восхода солнца: в пять часов утра... По небритым лицам в нас нетрудно было распознать соблюдающих траур. Вероятно, поэтому к нам тут же подошел один из молящихся, статный парень в очках. На нем, как и на всех

остальных, был «талит» – большая белая накидка в черных полосах. С четырех углов этой накидки свисают кисти – «цицит», о назначении которых сказано в Торе: посмотрев на них, люди будут вспоминать заповеди Бога...

– Здравствуйте, я – Шолом... Вы скорбите? – прошептал парень. – Надеюсь, что усопшей уготовано место в раю...

Выразив свои соболезнования, он предложил достать для нас с полки молитвенники.

– Мне, пожалуйста, на иврите, племяннику – на русском, – попросил дядя Авнер.

В моих руках оказался «сидур» – молитвенник на иврите, но с транслитерацией, то есть с текстом на иврите, написанным русскими буквами. Это был небольшой толстый томик с тонкими, как папиросная бумага, но плотными, снежной белизны страницами.

– Вот здесь... Слушай и следи, – сказал дядя, открыв сидур на нужной странице.

Вот тут-то, сосредоточившись, я и услышал, наконец, голос хазана, читавшего вслух молитвы. Хазан стоял на своем возвышении лицом, как и все мы, к арон-кодешу. Но лица его, даже повернись он к нам, мы все равно бы не увидели: он с головой был укрыт талитом.

Я услышал голос хазана – и теперь уже ничто не могло бы отвлечь меня. Он читал... Нет, это трудно было назвать чтением. Это было настоящей песней. И какой! Протяжная, мелодичная, она захватывала и подчиняла себе, она была на-

полнена глубоким, сильным, покоряющим душу чувством. Странно – я не понимал слов, но в то же время их смысл каким-то образом проникал в меня. Они благославляли, прославляли, чествовали, они обнадеживали, молили о прощении, в них звучали то боль и раскаяние, то радость и ликование... Я скользил глазами по строчкам, но не они, а голос хазана наполнял меня ощущением Молитвы. А голос лился и лился. Хазан раскачивался в ритм своих слов – и подол его талита тоже шевелился, покачивался, переливался, как легкие волны... Мне вдруг почудилось: не на биме он стоит сейчас, а на мостике корабля, необычного корабля, который вот-вот оторвется от водной глади и вознесется стремительно в небеса... К Тому, кто там... На троне ли, зримый... Или незримый, непостижимый, в Космосе... Как я смею судить? Пусть каждый представляет Его себе таким, каким хочет, как привык с детства. А я – я чувствую Его, между нами – связь... И этот наш корабль – летит, летит к Нему. И все, что мы испытываем, все, о чем размышляем, просим, на что надеемся, все, чем наполнены наши молитвы – все летит к нему.

На душе у меня стало и торжественно, и необыкновенно светло.

А молитвы все звучали, звучал голос хазана... Я вдруг осознал: ведь он не читает, он стоит с закрытыми глазами – все, что он произносит, запечатлено в его сердце... Он не только помнит эти сотни сотен слов – он верит в их особый

смысл и особую силу, он верит, что они доходят до Того, к кому обращены. И заряжает нас своей верой... Кстати, я потом ближе познакомился с этим человеком, эмигрантом из наших краев. Его зовут Максим. Я все больше убеждался и в его благочестии и в том, что он замечательный чтец.

...Много было в тот день – а в последующие не меньше – значительных, глубоких впечатлений. Запомнилась «Молитва, которая читается стоя». Важная, торжественная, тихая. Тишину нарушал только шелест перелистываемых страниц. Он похож был на шелест падающих листьев – когда ты идешь один по осеннему лесу, без спутников, наедине с собой, наедине со своими мыслями...

И конечно же, запомнился «Кадиш» – траурный «Кадиш», древняя молитва на арамейском языке, которой более 2000 лет.

Вообще «Кадиш» – молитва, которую читают каждый день, утром, днем и вечером – вовсе не посвящена смерти. Она превозносит величие Творца, она заканчивается упованием на то, что в грядущем Он спасет мир. И все же один из вариантов «Кадиша» (а их несколько) читается в память умершего и предназначен для помощи его душе. Почему – не знают даже мудрейшие из мудрейших. Эта традиция не такая древняя, как молитва, она восходит к средневековью. Возможно, она возникла благодаря способности «Кадиша» исцелять душевные раны. Так или иначе, чтение «Кадиша», как траурной молитвы считается обязательным три-

жды в день или хотя бы ежедневно в течение 11 месяцев после смерти родителей... Отчего же не весь траурный год? По утверждению Талмуда, души плохих людей после смерти мучаются в аду 12 месяцев. Мы же, поминая близких, уповаем на то, что их души избежали этой участи. И, как бы заявляя об этом, отбрасываем двенадцатый месяц...

Мой первый «Кадиш»... Наверно, каждый последующий что-то добавлял к нему, но все это слилось и продолжает сливаться воедино, как это происходит, когда слушаешь музыку, переворачивающую душу.

Община сидит, только скорбящие стоят. Медленно и торжественно, вместе с хазаном, мы произносим первые слова молитвы: «Да возвеличится и осветится великое имя Его в мире, который создал Он по воле Своей...»

Меня и в русском переводе молитва эта потрясает своей поэтичностью. Вообще все еврейские молитвы – это маленькие поэмы, это оды, обращенные к Господу. Но «Кадиш» – в особенности. Стоит услышать любую из ее фраз. Хотя бы вот эту:

«Да будет ниспослан с небес великий мир, и жизнь, и изобилие, и избавление, и утешение, и свобода, и излечение, и освобождение, и прощение, и искупление, и простор, и спасение нам и всему народу Его Израэлю. И возгласите Амен!»

Как торжественно и всеохватно, в каком мощном ритме, родственном многообразию жизни!

А уж на арамейском языке «Кадиш» вообще звучит, как

музыка небес!

В ответ на мой вопрос – почему «Кадиш» читают по-арамейски – рабай рассказал мне любопытное поверье: «До того мы сильно и красиво хвалим Бога в “Кадише”, что ангелы могут позавидовать и обидеться, почему нет молитв, так же прекрасно восхваляющих ангелов... Но ангелы не могут услышать «Кадиш»: арамейский – это единственный язык, которого они не понимают...»

Уж не знаю, понимают ли ангелы арамейский язык – он действительно очень труден, и я поначалу все удивлялся, как это люди запоминают «Кадиш» наизусть. Но красота молитвы, ее звучания, покоряла меня с каждым разом все сильнее...

Йитгададл вэ-иткадаш шмех раба. Амен!

Бьолмо ди вэра хирьутех...

Слушаешь такую красоту – и трудный язык начинает проясняться, и слова – ты теперь уже понимаешь их смысл – сами слетают с языка.

Кстати, великие средневековые талмудисты перевели «Кадиш» с арамейского на иврит. Так что ангелы уже много веков могут его и читать, и слушать. И я надеюсь, что вопреки преданию они не в обиде, а в восхищении.

* * *

Я не собираюсь изображать работу своей души более лег-

кой, чем она была на самом деле. Возвышенные чувства далеко не всегда охватывали меня в синагоге. Я и отвлекался, и переставал чувствовать красоту и смысл молитвы, и приходил в раздражение оттого, что кто-то из членов общины шумит и вообще ведет себя не как в храме. Иногда, проснувшись от звона будильника в четыре утра (я мог бы вставать на час позже – но хотелось, и посещая синагогу, успевать сделать все, что я делал до смерти мамы) – или шагая к синагоге под пронизывающим до костей предрассветным зимним ветром я мрачно думал: «Зачем и кому это все нужно? Разве любовь к близкому человеку доказывается выполнением тяжелых и непонятных ритуалов? Разве я сам, в конце концов, не могу обращаться к Богу? Или тем более к маме – ведь она всегда в моем сердце, я и так постоянно обращаюсь к ней и слышу ее голос...»

Однозначного ответа я не находил. Я был не в праве осуждать многовековую веру и обычаи. Я мог, конечно, отойти от них – но что-то меня каждый раз удерживало. Может быть, сильнее всего – та простая мысль, что я подвергаю себя испытанию ради человека, который был мне так близок. Докажет ли оно что-то или не докажет – это уже второстепенно. Главное – что я хочу подвергнуться этому испытанию, что, преодолев минуты слабости, усталости, раздражения, я говорю себе: «Все идет так, как надо».

Да, так, как надо – и может быть даже в большей степени, чем я предполагал вначале.

Обращение к религии открыло мне мир, который я непростительно мало знал прежде. Я имею в виду еврейский мир, историю еврейской религии и культуры. Здесь у меня и сейчас все еще впереди, но главное, что проснулся интерес.

Первое, что пробудило его, была Тора.

Посещая синагогу, нельзя не обратить внимания на Тору, не ощущать ее, не видеть, не задуматься о ее значении.

Поначалу это внимание в основном внешнее. Закрытый нарядным занавесом арон-кодеш, то есть священный ковчег, в котором хранится Тора... Торжественная церемония, происходящая несколько раз в неделю: оглашают имена – и названные члены общины подходят к арон-кадишу. Тору, разодетую, как королеву, всю в синем бархате с серебряным узором, достают из ковчега, проносят между рядами собравшихся. С каким почтением, с каким обожанием все ей кланяются, как ее благословляют, как стараются хоть подол ее поцеловать! Но вот она на Биме... Здесь с нее бережно и почтительно снимают бархатные одежды – футляр... Предстанет перед всеми священный текст. Он вручную, пером птицы, написан черными чернилами на свитке из кожи ритуально чистого животного, обычно – коровьей...

Гляжу и я на этот старинный свиток, вывезенный кем-то недавно из Узбекистана. Целый год, не разгибая спины, трудился, переписывая Тору, опытный писец – сойфер... Я так и вижу, так и представляю себе согбенного старичка в кипе, его седую бороду, пергамент, озаренный мерцающим светом

свечей... Сколько раз перечитал он Тору, прежде чем закончил работу? Ведь в ней не должно быть ни одной ошибки...

Сегодня я вижу Тору вблизи: я вызван на чтение. Покрытый с головой талитом, я подхожу к биме, прикоснувшись к Торе, целую пальцы – и произношу молитву для чтения Торы. Община повторяет ее за мной. А затем хазан начинает чтение сегодняшнего отрывка Торы. Он читает-поет, поет, не импровизируя мелодию, а на особый мотив, который необходимо помнить наизусть...

Заканчивается чтение – и один из членов общины поднимает Тору выше головы, чтобы всем был виден текст. Все встают и произносят на иврите: «Это Тора, которую Моше дал детям Израиля по слову Бога...»

С этой фразы и начались мои уроки истории еврейского народа.

Тора, которая по слову Бога дана была евреям – это первые пять книг Библии. Самой значительной, наиважнейшей книги в истории человечества. Можно смело сказать, что Библия открыла человечеству смысл его существования, потребовала, чтобы люди размышляли о главных вопросах бытия, дала им моральный кодекс. Его воспринял весь мир. На нем выросла вся современная культура, в том числе и христианская, западная... Для евреев же эта книга несравнима ни с какими сокровищами. Она повествует о создании мира, дает историю наших праотцов, включая исход из Египта, содержит 613 заповедей – основу всего позднейшего еврей-

ского права...

Но я не стану заново «открывать Америку» – ограничусь признанием, что я только недавно сам для себя начал это открытие, чему безмерно рад.

Глава 22. И снова восточная медицина

Немало страниц в этих записках посвящено Мухитдину Умарову, доктору из Намангана, на несколько лет продлившему жизнь моей мамы. Приезжая в Нью-Йорк лечить ее, Мухитдин Инамович помогал многим и вскоре приобрел широкую известность. Вот почему и после ухода мамы Мухитдин продолжал навещать своих американских пациентов. Мы с братцем Юрой упорно добивались этих приездов: ведь для нас обоих табиб стал больше, чем другом. Пожалуй, слово гуру тут лучше всего подходит. Нас поражала и мудрость этого немногословного человека, и глубина его познаний, и проявлявшееся даже в мелочах благородство души... Словом, все, включая внешность и манеры. А меня (я и об этом уже не раз писал) как магнитом притягивают к себе люди, в которых я вижу, не побоюсь слов, высокий идеал. Можно назвать меня доверчивым, наивным – пусть так! Я ничуть об этом не жалею. Самые светлые минуты моей жизни подарили мне именно такие люди. И больше всех – Мухитдин Умаров. Очевидно, и с моим кузеном Юрой происходило что-то похожее. Не удивительно: ведь мы с ним близки с детства.

Появлялся табиб в Нью-Йорке дважды в год. Совсем ненадолго – всего лишь на неделю. Мы перед его приездом не жалели ни сил, ни времени, находя для него клиентуру и орга-

низуя приемы. Задолго до посадки самолета мчались в аэропорт. Вытягивали шеи, высматривая табиба в толпе прилетевших. Кстати, высматривать было совершенно не к чему: Мухитдин выделялся в толчее, как существо из другого мира, незнакомое с ритмом нашей планеты. Он шел неторопливо, удивительно спокойно. Табиб никогда не спешит. У него и голос ровный, негромкий, успокаивающий. И взгляд спокойный – прямо в глаза. Может быть, даже гипнотизирующий? По крайней мере у меня иногда возникало такое ощущение.

Впрочем, говоря о невозмутимом спокойствии Мухитдина, я все же преувеличил. Несколько раз я видел его в горе, в великом горе. Однажды он плакал при мне навзрыд, обнимая сына усопшего друга Махмуджона. Не говорю уж о десятках лишних сигарет: Мухитдин – заядлый курильщик и это, пожалуй, его единственная известная мне слабость.

...Итак, Мухитдин прилетел! Как ни мечтаем мы с Юркой о долгих беседах с ним, почти все свое время Мухитдин отдает пациентам. Мы записали на прием к нему больше сотни людей: надо и страждущим помочь, и материально оправдать приезд Мухитдина. Принимает он в моем офисе. Только по вечерам, к ужину, появляется он дома. Дети – они с доктором в давней дружбе – обнимают его. Данька, сопя, массирует доктору плечи – Мухитдин смеется и ежится, щекотно, но он сам и обучал Даниила делать массаж. Даже застенчивая Вика целует и обнимает его.

Но вот дети отправляются спать – и начинаются долгожданные разговоры. О чем? Да о чем угодно! О восточной медицине, о близких людях, о поездках Мухитдина, о событиях, происходящих в мире. Наш восточный медик и в политике разбирается, как профессионал. К примеру, когда США напали на Ирак, якобы из-за наличия биологического оружия, Мухитдин был первым, кто сказал нам с Юркой: «Бушу нужен был предлог для вторжения. Нет у Ирака такого оружия. Да, Садам Хусейн – плохой правитель. Но при нем самый бедный житель Ирака зарабатывал достаточно, чтобы прокормить семью. А теперь? Разруха, голод, гражданская война». Табиб до войны побывал в Ираке, он знал не понаслышке, сколько килограммов риса, мяса, картофеля и прочей еды могли позволить себе бедняки. «Садам Хусейн ущемлял права? Не стану спорить. А сколько в мире таких стран? А у вас, в Америке, такого не случается? – усмехался табиб. – Но никто же за это не нападает на вас с оружием!»

Сказать по правде, табиб не слишком-то полюбил Америку, «всесильную и справедливую». Да и вообще, исколесив весь мир, он продолжал оставаться патриотом своей обедневшей, далекой от демократии родины.

– Устоз, а не хотелось бы вам жить в Нью-Йорке? – с надеждой спрашивали мы с Юркой. Но Мухитдин неизменно отвечал, улыбаясь и покачивая головой:

– Предпочитаю свой пыльный, душный Наманган.

Мухитдин, конечно же, не мог не видеть, не понимать,

не чувствовать, как тяжела жизнь в Узбекистане. Его многое возмущало, – но... вспомним строки Блока: «Но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». Да – гражданин мира по образу жизни, Мухитдин по духу остается узбеком, мало того – верующим, благочестивым мусульманином. Не зря, видно, имя его в переводе означает «защитник веры». Он каждый год совершает Хадж – паломничество в Мекку, так что давным-давно имеет почетный титул хаджи и может носить зеленую чалму. Вот какой у нас с Юркой необычный друг, не правда ли?

Я не могу назвать себя ортодоксально верующим человеком. Но я понимаю, что Священные книги – Библия и Коран – рассказывают нам не только во что веровали и веруют многие миллионы людей. Они содержат в себе глубокие философские воззрения, определяют нравственные основы человеческой жизни.

Писал же великий Эйнштейн: «... по моему мнению, религиозно просвещенный человек – это тот, кто в максимальной для него степени освободил себя от пут эгоистических желаний... У него нет сомнений в значимости и величии этих сверх личностных целей, которые не могут быть рационально обоснованы, но в этом и не нуждаются...» Очевидно, мы с кузеном интуитивно это чувствовали и с большим уважением относились к религиозным взглядам нашего ученого хаджи Мухитдина. Впрочем, повторяю: учителем веры он для нас не стал. Но и в медицине, и во взгля-

дах на жизнь стал Учителем с большой буквы.

Медицина... В дни приездов табиба не только все наше с Юркой время – все мысли были заполнены ею. За неделю доктор осматривал около полутора ста пациентов (читателям, которых пугает эта цифра, сообщаю, что в своем Наманганском центре он принимал по сто пациентов в день). Бросив на неделю свою работу, мы все время были рядом с ним. Нас поражало, с какой точностью ставил доктор по пульсу диагнозы, как уверенно назначал лечение (в основном травы), как часто это лечение начинало действовать уже с первых приемов. Впрочем, Мухитдин умел лечить не только травами. В этом я убедился на себе.

Как-то я почувствовал, что заболеваю: ныла голова, гудели ноги. Знобило. «Ты сильно простыл, – сказал доктор, прослушав мой пульс. – Ложись-ка на пол». Я лег на ковер животом вниз, он уселся рядом и... Вряд ли я сумею рассказать, что чувствуешь, когда Мухитдин делает тебе массаж. Начинает он с поясницы. Пальцы его, вроде бы нежные (врач-пульсолог очень их бережет), сначала одевают тебя теплом, потом в тебя начинает растущим потоком вливаться энергия. Но вот лекарь переводит пальцы на позвоночник, нажим – и «нежные» пальцы становятся железными! Они движутся вдоль позвоночника, но их чувствует каждый позвонок, каждый нерв! Вытерпеть невозможно – я извиваюсь, как уж, мычу от боли, как бычок. А Мухитдин усмехается: «Терпи, терпи! Скоро полегчает». Потом началась новая пытка: закинув

мою левую руку на спину, табиб подпер мое плечо коленкой снизу – и лопатка приоткрылась, как створка раковины. Туда-то доктор и просунул пальцы. Снова боль: массаж происходит там, внутри. Закончив, доктор лезет под правую лопатку. «Плевра... Грудная клетка... Кровообращение... – бормочет табиб, кратко разъясняя мне смысл своих действий. – Ну, что? Больше не знобит?» Какое там! Я чувствую себя совершенно здоровым! Я ощущаю, как теплая кровь бежит по моим артериям, наслаждаюсь покоем. Но тут доктор, прервав наслаждение, ухватил пальцами кожу на середине моего лба, стал оттягивать ее, пока не раздался хруст... После всех этих процедур мне показалось вполне терпимым, что на ночь я был с головы до ног натерт топленным бараньим жиром. Сошло с меня семь потов – и утром я встал, будто родившись заново. А ведь, судя по знакомым признакам, без вмешательства Мухитдина провалялся бы я с сильной простудой неделю.

Надо ли объяснять, что, помогая доктору, присутствуя на его приемах, мы с Юркой все глубже погружались в таинственный мир нетрадиционной медицины. Все больше убеждались в огромных ее возможностях, почему-то отодвинутых в сторону современной «прибородиагностикой» и химией. Пользуясь любой свободной минутой доктора, мы задавали ему бесчисленные вопросы. В нашей столовой (она же гостиная и библиотека) я поставил еще один книжный шкаф и заполнил его медицинской литературой – начиная с древ-

них авторов, таких, как Гиппократ и, конечно же, Ибн Сина. Здесь табиб и учил нас, ссылаясь то на одну, то на другую книгу. Мы понимали, конечно, что эти короткие уроки не сделают нас медиками. Но с каждым днем нам все больше и больше хотелось ими стать. И мы радовались, что хоть кое в чем начали разбираться.

Обычно доктор привозил с собой из Наманганского центра сушеные травы. Привозил наугад, не зная, что пригодится, а что – нет. Случалось, что нужного не доставало. И вот как-то доктор привез только самые необходимые травы, не больше трех десятков. «Остальные, – сказал, – будем здесь покупать. У китайцев. Думаю, найдем все, что надо». Китайскую нетрадиционную медицину тоже называют восточной, многие путают ее с медициной Авиценны, однако при некотором сходстве общих представлений объединяет их в основном лечение травами.

И отправились мы однажды с Юркой за травами в аптеки Чайна-тауна...

Нью-Йорк, как известно, город многонациональный. Каждая этническая группа, словно пчелиный рой, живет в своем «улье». Есть в Нью-Йорке и негритянский Гарлем, и Литтл Итали, есть испаноязычная Корона, индусский Джексон Хайтс, несколько Чайна-таунов – в Манхеттене и других районах. Есть японские, вьетнамские, корейские микрорайоны. На Брайтон Бич образовалась русскоговорящая Маленькая Одесса. Мои сородичи, бухарские евреи, плотно за-

селили многие улицы Квинса. По мне – так в этом пестром сообществе самым колоритным, не теряющим национально-го облика, остается Чайна-таун в Манхеттене. Тысячи магазинчиков и лавочек с красно-золотыми вывесками, дома с закругленными крышами, на тротуарах – скуластые, с узкими глазами пешеходы. Редко-редко услышишь тут английскую речь, да не все ее и понимают... Тут припомнился мне анекдот: живущая на Брайтон Бич русская старушка возмущается, придя в магазин: «Мы здесь уже шесть лет, а они все по-русски не говорят!» Китайцы в Чайна-тауне устроились совсем как дома, без «мы» и «они»...

Предвидя трудности общения в Чайна-тауне, мы с Юркой запаслись ботаническим словарем, но толку от него оказалось мало. Ткнув пальцем в название, аптекарь нам что-то отвечает... Или что-то спрашивает? Мы даже этого не понимаем! Пришлось пригласить с собой доктора. Он, как и мы, не знал китайского языка, не знал и английского, но для него это не было помехой. Аптекарь выкладывал на прилавок сушеные и молотые травы, семена – и чуть ли не все они были Мухитдину отлично известны. А если что-то не узнавал – нюхал, или на зуб пробовал.

Американские аптеки, как известно, это магазины, торгующие самыми разнообразными товарами, в том числе и лекарствами. В Чайна-тауне аптеки настоящие. Особенно понравилась нам одна: здесь не просто продавали травы, здесь царствовала Наука – восточная медицина. Травы, семена,

плоды разложены были на полках в сотнях кедровых ящиках с наклейками. Аптекари в белых халатах понимали нас с полуслова – они неплохо знали английский. Кстати, в этой аптеке произошел любопытный случай. Пока мы с Юркой упаковывали травы в сумки, доктор наблюдал за аптекарем, который составлял по рецепту лекарство из трав. Рецепт был, разумеется, записан иероглифами. «Судя по вниманию вашего друга, он в травах неплохо разбирается», – заметил аптекарь. Мы перевели это Мухитдину. Усмехнувшись, он тут же сказал, что готовят противопростудный сбор для астматика. «Очевидно, ваш друг – врач? Пульсодиагност? – воскликнул аптекарь. И пожаловался, поглядывая на табиба: – У меня вот тут, сбоку, непонятные боли». Мы снова перевели. Мухитдин кивнул и взял аптекаря за кисть. Послушав его с полминуты, он, помогая себе жестами, принялся растолковывать нам по-русски, в чем причина болей. Объяснений не помню, но, очевидно, после нашего перевода диагноз показался аптекарю настолько убедительным, что он побежал за владельцем аптеки – познакомить его с табибом. И они с жаром принялись приглашать Мухитдина работать в аптеке помощником доктора... Чудаки!

Словом, к отъезду табиба большой чулан в подвале моего дома был забит травами. Нам с Юркой предстояло превратить этот склад в аптеку: разложить все травы по банкам, наклеить на каждую этикетку: написать не только название, но и свойства травы. Нелегкое дело! Трудности начались с на-

званий. Латинские были не у всех растений. Некоторые травы (их привез Мухитдин) имели только узбекские названия – например, куйпечак, девнечак, томирдори... Зато народных названий у многих было несколько. Например, адонис в разных уголках России называют то горицветом, то стародубкой, то черногоркой. А в Азии он – байчечек. Лист сены – он же и александрийский лист, и кассия остролистая... Приходилось записывать все названия.

Свойства трав табиб попросил описать и по «Канону» Ибн Сины, и в свете современных понятий. По невежеству я сначала подумал: чего же тут трудного? «Канон» у меня есть, обзаведусь энциклопедиями лекарственных растений – и вперед! Но открыл одну, другую энциклопедию – и приуныл: многих растений, плодов и семян из нашей аптеки я на страницах книг не нашел. Кинулся к Мухитдину – в чем дело? Оказалось, что растения, применяемые в народной медицине, но не прошедшие клинических испытаний, официально не признаны лекарственными, не входят в список – в нем около 300 тысяч растений – имеющих латинское название. Так что о свойствах этих трав рассказывал мне Мухитдин – наша Ходячая Энциклопедия.

Покончив, наконец, с названиями и современным определением свойств растений, мы с Юркой взялись за «Канон». Ох, как непросто оказалось и это! Не буду утомлять читателя подробностями, скажу только, что восточная медицина рассматривает лечебное воздействие и прямые свойства трав в

свете их натуры. А ее определяют два из четырех качеств – сухость или влажность и горячность или холодность. Мало того, каждому из качеств растения присуща определенная степень. Ромашка, например, горяча в третьей степени и суха – во второй... В Каноне описано свыше 800 трав и минералов – не только их свойства, но и воздействие на разные органы. Не трудно себе представить, как внимательно надо было читать и перечитывать строки Канона, выискивая свойства каждой из трав.

Можете назвать меня чудаком, как назвал Юрка, когда я, разложив травы в пластиковые банки с нарядными, цветными этикетками, наклеил на каждую рисунок – изображение травы. Расставил по алфавиту на стеллажи. «Чего смеешься? – возмутился я. – Ты погляди, какая красота!» Впрочем, Юрка просто любил пошутить над братцем. Он ведь и сам деятельно во всем участвовал. Наша аптека была не складом, мы с братом – не кладовщиками, а аптекарями. Разобравшись с травами, нужно было как можно скорее приготовить по предписаниям Мухитдина полтораста травяных сборов для его Нью-Йоркских пациентов. Пришлось нам купить все необходимое: центрифугу, аппарат для измельчения плодов и семян, большую ступку, весы, измерительные ложки... Всего и не перечислишь!

За дело мы принялись сразу же после отъезда доктора. По будням – раннее утро, и по выходным – весь день проводим в нашей аптеке. Она ярко освещена торшером и переносны-

ми светильниками. Передо мной на столе – его заменяет стиральная машина – тетрадь с записями доктора и пустые пакетики. Читаю очередную запись, надписываю на пакетике имя пациента, достаю со стеллажа нужные травы, передаю банки брату... «Бессмертник, кукурузные рыльца, шалфей, сенна, шафран»... Попробуйте быстро разыскать среди полутораста трав нужную! А в голове при этом держишь названия тех, что будешь искать вслед за этой... Но скоро на помощь приходит память: руки сами тянутся к месту, где стоит баночка с нужной травой. У Юрки работы – только поворачивайся. То наколи щипчиками плодов, то намоли сбор в центрифуге да пересыпь его в надписанный мной пакетик. И не дай Бог – не ошибись в количестве! За этим и я слежу. «Шафрана поменьше – всего одну щепоточку!» – «Сам знаю!» – бурчит Юрка... Мы с ним словно за конвейером. Да и устаем не меньше, чем заводские рабочие. Сборов десять приготовишь – и выложишься сполна. Мы вспотели, в ушах звенит от стука ступки и центрифуги, руки и лица покрыты травяной пылью. Пряные запахи трав, поначалу такие приятные, заполняют горло, легкие – начинаешь задыхаться. Юрка так расчихался от пыли, от запахов, что пришлось ему надеть маску... А ведь дверь на улицу открыта! Но больным нужны лекарства, больным худо – и мы не можем позволить себе отдыха! Ежедневно готовим по 20–25 лекарственных сборов.

Усталость – усталостью, а работа в нашей «аптеке» с каждым днем приносит нам все больше удовлетворения, дает

все больше знаний. Ведь мы постоянно заглядываем в Канон, вспоминаем разъяснения доктора. И растет, растет желание: бросить все, пойти учиться, стать восточными медиками, заниматься только траволечением!

Юрка-то хотел стать учеником доктора еще в те давние времена, когда его, восемнадцатилетнего парня, надышавшегося в институтской лаборатории ядовитых паров, вылечил Мухитдин. «Не решился я тогда – вздыхал Юрка. – Пульсодиагностов в Советском Союзе врачами не признавали. Да и жалко было институт бросать». На этот раз бросать Юрке ничего не приходилось – его самого «выбросили»: повсюду шли сокращения, Юрка потерял работу программиста. Несколько месяцев кузен безуспешно пытался куда-либо устроиться. Мрачный ходил, озабоченный. Но вот однажды убежал ко мне веселый – улыбается, глаза блестят. «Лерыч, я записался в школу восточных медиков»!

Вот это да! Это был смелый шаг, перемена судьбы... Я глядел на Юрку с уважением и даже с завистью. «Молодец!» – «Лерыч, а ты чего же? Давай учиться вместе»!

Хорошо бы, конечно, чего уж лучше! Но как же наш с Давидом бизнес? Ведь мы, как говорится, встали на ноги, мы только что – это было в 2000 году – приобрели новый дом для компании... Бросился я советоваться с Давидом. Буду, мол, днем в «Саммите», а учиться – на вечернем факультете. Давид только руками развел: «хочешь сидеть на двух стульях? Нет, придется тебе уходить. А один я со всем этим не справ-

люсь». Да и Юрка такого решения не одобрил. «Ты программу обучения смотрел? Там одной практики сотни часов! Нет уж, Лерыч, выбирай что-то одно».

Я долго мучился, но чувство ответственности оказалось сильнее. Как я мог бросить партнера и друга? Ну, на неделю-другую, когда приезжает доктор и мы с Юрой заняты только его делами... И то мне совестно, я вижу, как перегружен Давид...

В колледж я так и не поступил. Но твердо решил: буду заниматься сам. Буду не почитать, как прежде, а основательно изучать Канон. Желание есть, значит, и время для этого найду!

* * *

...Просыпаюсь. За окнами спальни еще темно, но я, не глядя на часы, знаю, что сейчас – около четырех. Уже много месяцев я поднимался именно в это время. На тумбочке у моего изголовья в красноватом отблеске света электронных часов виднеется толстая книга. «Канон врачебной науки». Протягиваю руку, медленно провожу пальцами по шероховатой обложке. Это прикосновение помогает отогнать остатки дремоты. Осторожно, чтобы не разбудить Свету, поднимаюсь с кровати – и через полчаса, покончив с утренним туалетом, сижу с книгой в руках у центра звукозаписи. Где-то я вычитал, что материал лучше запоминается, когда его чи-

таешь вслух, а потом снова прослушиваешь запись. Мне это очень помогало: утром я читаю Канон вслух, включив цифровые диски, а днем, когда еду куда-то в машине, включаю диск и снова слушаю текст. Ездить каждый день приходится немало, уж никак не меньше часа.

Дискотека моя составляла уже десятка два дисков. Я эти записи очень ценил, делал дубликаты: один – для Юрки, который тоже начал изучать Канон, второй – для хранения: а вдруг что случится с теми, которыми пользуемся? Вот «наговорю» так все шесть томов Канона – мечтал я – и люди, конечно, прослышат об этой записи, единственной в мире. Будут звонки, письма, просьбы прислать... Словом, как был я мечтателем, так им и остался.

...Усевшись на невысокий стульчик, включаю негромкую фортепианную музыку, беру микрофон и принимаюсь читать. «О действиях разновидностей воздуха. Горячий воздух растворяет и расслабляет. Если он умеренно горяч, то делает лицо красным и привлекает кровь наружу, а если теплота его чрезмерна, то цвет лица делается желтым, так как воздух растворяет привлекаемую наружу кровь. Горячий воздух увеличивает пот и уменьшает количество мочи; он ослабляет пищеварение и вызывает жажду...»

Как доступно! – радовался я. Даже названия глав вызывали интерес: «О том, как зарождаются соки», «О причинах закупорок и узости проходов», «О явлениях, обусловленных душевными движениями»... Строки и даже слова Ибн Сины

звучали для меня, как поэзия, как музыка, их хотелось повторять снова и снова. Я восхищался переводчиками, которым удалось передать особенности языка Авиценны, сохранить стиль средневекового языка.

Ощущения эти, конечно, пришли не сразу, а после многомесячных занятий. Было и чувство гордости: я добился своего! Я проник в суть восточной медицины, понял основные ее законы. И пусть я не получил пока права применять свои знания, как Юрка – они для меня самого, как для человека, стали чем-то очень важным. Вероятно, всякие серьезные знания меняют что-то в человеческой личности. Добавляют к ней новые черты. Пробуждают интерес к окружающему, стремление узнавать еще что-то... Надеюсь, это произошло и со мной.

Глава 23. Вторая свеча

*Одно бы сердце отстоять —
Уже есть смысл жить.
Из чьей-то жизни боль убрать —
Хотя бы облегчить —
Птенца, что вытал из гнезда,
Обратно положить —
Уже есть смысл жить.*

Эмили Дикинсон

Я никогда не был ортодоксально верующим и не придерживаюсь большинства еврейских религиозных обычаев. Однако же есть у моего народа традиции, которые мне дороги. Перед наступлением субботы – по вечерам в пятницу – у евреев принято зажигать свечи в память об усопших. Вот уже двенадцать лет я делаю это в память о маме. И эта свечка, этот маленький дрожащий огонек зажигает в душе яркий огонь близости. Происходит что-то вроде свидания...

Двенадцать лет зажигал я свечу и шептал: «мама», чувствуя она рядом. Но в этот февральский вечер вслед за первой зажег я и еще одну свечу. Еще один дрожащий огонек вспыхнул – и я прошептал: «табиб... Мухитдин...»

Да, вторую свечу, соблюдая еврейский обычай, зажег я в память своего близкого друга Мухитдина Инамовича Умарова, – не еврея, а узбека, мусульманина.



В этой своей книге я много писал о Мухитдине, о том, как шесть лет он поддерживал в маме жизнь, боролся с ее смертельной болезнью. О моей бесконечной к нему благодарности. О том, как мы стали друзьями. И вот его не стало. И я зажигаю свечу в его память, а сам никак не могу поверить...

Сердце Мухитдина Инамовича остановилось ранним утром 12 февраля 2011 года. Произошло это в неотложке государственной больницы, куда привез его племянник Абдураим. Массаж сердца не помог, а дефибриллятора в больнице не оказалось... Можно ли сосчитать, сколько человеческих жизней уносит такая вот преступная «техническая неподготовленность» лечебных учреждений моей далекой родины!

Мухитдин – что же с ним случилось? Ведь он был таким сильным человеком! И физически, и духовно. Блестящий врач-пульсолог, умевший распознать и болезни, и их причины, приближение недуга. Знаток древних медицинских наук. Целитель... И вот этот человек, продливший жизнь сотням... да нет – тысячам людей умирает, дожив до шестидесяти четырех лет! Как это могло произойти? Почему же не смог он, распознав свой недуг, помочь себе?

Я вспоминал, как в прошедшем мае мы встретились в Ташкенте и табиб радостно повторял: «Мы и через двадцать

лет будем видеться!»! Вспоминал, как всего неделю назад мы поздравляли его с днем рождения... «Табиб, как же это случилось?» – шептал я, глядя на свечу.

* * *

Да – он казался здоровым и крепким. Но мы с Юрой уже лет пять с тревогой замечали перемены в его облике и состоянии. Мы знали – доктор сам нам об этом рассказал – что у него повышенное давление, что он лечится травами и даже принимает таблетки. «Устаю, – так объяснял свое недомогание Мухитдин. – Ведь по сто человек пациентов ежедневно приходят». – «Как это так? – возмущались мы с Юрой. – Распорядитесь в регистратуре, чтобы записывали не больше пятидесяти!» Доктор усмехался: «Придут и без записи. А придут – ведь не гнать же... Как не помочь больному!»

Как не помочь больному! Я убежден, что эти слова можно назвать девизом Мухитдина Умарова, определяющим его душевные качества, цель его жизни. И внешность Мухитдина была как бы подтверждением этой сути. Его смуглое лицо, открытое и приветливое, всегда было поразительно спокойным. Казалось, он просто не умеет сердиться. И взгляд его карих глаз (недаром говорят, что глаза – это зеркало души) всегда был таким добрым, лучистым.

Как не помочь больному... Да, я убежден, что только этим можно объяснить чудовищную рабочую нагрузку доктора.

Ведь денег он имел при своей известности больше, чем достаточно. Мог бы принимать вчетверо меньше больных. Своих учеников и обучал бесплатно, и лечил бесплатно, а некоторых даже содержал. Нет, не забывал доктор Умаров о клятве Гиппократа, которая требует: «Искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно»... Известен мне, кстати, был случай, когда Мухитдин не потребовал денег, которые ему была должна авиакомпания. Больших денег... Словом, не дельцом он был, а врачом по душевному призванию. Прекрасным врачом, обладающим глубокими познаниями в древней науке врачевания.

Как не помочь больному... Говоря так, помогая людям, табиб забывал свои недуги, не желал и не умел щадить себя. Мало того – меня не раз поражала такая черта его характера: стремление уберечь людей от беспокойства о себе. Вспоминаю, как однажды, когда он был в Нью-Йорке, мы катались с ним в Луна-парке на электрических автомобилях. Я ехал на задней машине и, не рассчитав дистанцию, ударил по машине Мухитдина. Он стукнулся спиной о перекладину сиденья. Потом мы долго еще гуляли в парке. А когда вернулись домой, табиб уселся на кровать и попросил помочь ему сделать упражнение: я придерживал его ноги, а он опускал к полу и поднимал верхнюю часть туловища. Только тут он мне напомнил о том, что у него – давняя травма позвоночника. Удар в машине разбередил ее. Даже шишка появилась на месте удара. Я ужасно расстроился. Почему же он сразу

не попросил отвезти его домой? Табиб в ответ только посмеивался: пустяки, мол. Но я-то понял: не хотел он, чтобы я о нем беспокоился, огорчался...

* * *

«Табиб, табиб» – шептал я, глядя на свечу. Как много дал мне этот человек, как много доброго вложил в мою душу!

Вспомнилось мне одно утро в Южной Каролине, где мы с табибом вместе побывали... Еще не светало, когда мы отправились прогуляться вдоль побережья. Усевшись на песке, наблюдали, как тает густая синева, как светлеет, как на горизонте проступают, подобно гряде гор, темно-серые облака, как и они светлеют, теряют свой грозный вид. И вот в брюхе их зардела искра, она росла, росла, превратилась в огненную дугу – и вслед за ней из-за океана поднялось солнце. Это была незабываемая минута!

С восходом солнца все вокруг как-то сразу ожило. Низко над водой пролетела стая пеликанов, чайки с криками носились над океанской гладью, неподалеку от нас прорезал воду плавник дельфина. Только людей, кроме нас двоих, не видно было вокруг.

И тут доктор (он сидел рядом, пересыпая песок из руки в руку) сказал, словно подслушав мои мысли: «Всё живое в природе встречает восход солнца. Всё и все – кроме человека...»

Да, в его душе был и этот светлый дар – гармоническое восприятие природы, потребность в ее красоте. Мне кажется, с того дня и я благодаря табибу научился ощущать эту несравненную красоту...

* * *

Подружившись с ним, мы виделись довольно часто: тринадцать лет Мухитдин посещал Нью-Йорк дважды в год. Здесь его с нетерпением ожидало множество пациентов – и старых, и новых, которых разыскивали и записывали к нему на прием мы с Юркой. Но, как я уже сказал, вот уже пять лет – с осени 2006 года – замечали мы, что табиб нездоров. В ту осень мы, как обычно, встретили его в аэропорту. Выглядел он усталым – понятное дело: пятнадцатичасовой перелет с пересадкой, перемена часового пояса. Как тут не устать? Уложили гостя спать... Но ни отдых, ни травы не помогли. Усталость, головные боли продолжались день за днем. Старый наш друг разговаривал с трудом и неохотно, его лучистый взгляд потускнел в сузившихся веках. Только много позже узнали мы, что давление после перелета перевалило у него за 200.

Именно в этот его приезд был у нас с Мухитдином последний долгий, душевный разговор. И я рад, что моя способность сохранять в памяти «картинки» помогает мне в любой момент не только услышать, но даже увидеть, как происхо-

дила эта дружеская, полная воспоминаний беседа.

Ранним утром, еще до рассвета, пришел я на кухню, чтобы приготовить чай. Когда закрипели ступеньки (это спускался доктор), в гостиной уже было накрыто. Уселись мы не за столом, а на ковре, у шахматного столика: таибб, если чувствовал себя «по-домашнему», предпочитал эту национальную позу – на полу, скрестив ноги, с руками на икрах ног, с ладонями, обращенными вверх. Меня порадовало, что доктор посвежел, выглядит получше. Пока я наливал чай в пиалы, он очищал от кожуры гранат – и, как обычно, делал это удивительно красиво, я бы сказал – артистично. Сначала – круговой надрез на твердой коже плода. Второй – перпендикулярно первому. Одна за другой отделяются от плода овальные дольки кожуры. Обнаженный гранат делится на четыре части, не потеряв ни одного рдеющего зернышка... Покончив с гранатом, принялся он за чай и пил его долго, с удовольствием, пиала за пиалой. А сам разглядывал стоящий рядом шахматный столик, покрытый гранитной мозаикой. Столик (недавняя работа Даниела) ему понравился.

– Красивый. Только углы слишком острые, оцарапаться можно. Ну-ка, дай мне ножовку и напильник... (Мухитдин вёл речь о возможном увечье, а не об царапанье. Доктор не раз рассказывал о случаях увечья из своей практики.)

И тут же, подстелив под столик газету, принялся исправлять углы. Я встревожился – ведь доктор нездоров. Но спорить было бесполезно: как я ни уверял его, что сделаю это

сам, доктор только усмехался.

Заговорили о будущей профессии сына. Мы со Светой мечтали видеть его врачом, пульсодиагностом, как и Мухитдин. Но Даньку, хоть и занимался он медициной с доктором Марией Якубовой, привлекали математика и физика. Впрочем, ни одна из дочерей Мухитдина – у него их пятеро – не пошла по стопам отца. Я спросил, почему. Он пожал плечами.

– Не забывай, что я обучался пятнадцать лет. Какая девушка столько выдержит? Для них главное – семья, а не профессия... – Он вздохнул и приподнял пустую пиалу. Наливай-ка, мол, еще.

Разговор о семьях привел к воспоминаниям. Признаться, мне давно хотелось узнать – как у Мухитдина возникли дружеские чувства по отношению к нашей семье – к маме, ко мне. Ведь могли бы остаться в числе великого множества пациентов – просто пациентами. Помнит ли Мухитдин о нашем первом знакомстве – спросил я. Оказалось, что помнит – и даже во всех подробностях.

– Достаточно было одного взгляда, чтобы почувствовать к твоей маме уважение и симпатию. Такая молчаливая выдержка. Достоинство. Долготерпение. Я и в дневник свой записал: женщина эта много выстрадала.

«В дневник записал...» Сколько уж лет я дружил с доктором – и с каждой встречей узнавал о нем что-то новое для себя. Вот и сейчас – про дневник...

– Табиб, меня тогда поразило, каким доверием прониклась к вам мама. Сразу же. Ведь она – мы оба – были в отчаянии. Доктора твердили: химия, радиация. Предсказывали скорую смерть... – Я вспомнил эти ужасные дни – и голос мой дрогнул.

– Думаешь, я не испугался, прослушав пульс твоей мамы? – покачал головой доктор. – Но разве я мог показать ей это?

* * *

Вот с этим принципом табиба я был хорошо знаком. Я знал, что он считает глупой и опасной установку современных врачей: сообщать пациентам их диагноз и прогноз развития болезни. С больными он был немногословен, не употреблял таких слов, как рак, опухоль, цирроз, просто объяснял, что желудок надо полечить или укрепить заднюю стенку сердца. Помнится, мама его однажды спросила: «как там моя онкология»? – «Онкология? А что это такое? – удивился доктор. – Я знаю только, что буду лечить вашу печень».

Хороший врач непременно должен быть хорошим психологом. Я понял это, когда мы второй раз побывали с мамой у доктора в Намангане. Он держал руку на кисти маминой руки – но и я «чувствовал» теплое прикосновение его пальцев. Вот эти длинные пальцы задвигались медленно и плавно, то глубже вжимаясь в артерию, то отпуская ее. Мухитдин улы-

бался, чуть покачивая головой, потом постучал пальцами по столу и сказал: «тьфу-тьфу-тьфу»!

И мама, и я – мы оба почувствовали облегчение. Ведь она уже три месяца пила травяные настои, прописанные доктором. Ей стало вроде получше. Значит, начинается выздоровление?

Лицо доктора, его улыбка, подтверждали эти надежды. А ему ее надежды были просто необходимы: без веры в выздоровление больной не справится с болезнью! Эта вера приводит в действие те силы организма, которые не могут пробудить даже самые мощные лекарства.

От меня-то доктор не скрывал состояния мамы. Как невозможно остановить несущийся под уклон груженный самосвал, так невозможно остановить разрушающую силу многолетней тяжелой болезни у немолодой женщины. Замедлить ее действие, облегчить состояние – вот чего добивался табиб. Этому помогали травы и, конечно же, мамина вера в могущество Мухитдина. Не забыть мне ее лица в тот момент, когда доктор сказал свое «тьфу-тьфу»! Как она улыбнулась, как засветились ее глаза! Как выпрямились плечи – будто гора с них упала!

Вот с этой веры, с восхищения табибом и началась дружба. Очевидно, наше отношение, выходящее за пределы обычной благодарности, не оставило безразличным и его.



...Та беседа у шахматного столика оказалась последним дружеским разговором в Нью-Йорке. На заокеанские перелеты Мухитдин больше не решался. Но до Москвы он еще добирался дважды в год, осенью и весной. И мы со Светой, конечно же, не раз отправлялись туда – повидаться с другом, посоветоваться с врачом. Помню, что в наш первый приезд мы обрадовались, увидев табиба значительно посвежевшим, даже веселым. Встречались мы с ним у Галины Федоровны Солиловой. Ее дочь Ольгу доктор много лет назад излечил от белокровия. Болезнь эта настолько опасна, что врачи, опасаясь за жизнь Ольги, запретили ей рожать. Но после того, как табиб вылечил ее, Ольга родила здоровую дочь. Надо ли объяснять, как относились в семье Галины Федоровны к Мухитдину?

Приезжая в Москву, табиб всегда останавливался у этих своих друзей. Нас обычно приглашали к обеду, где бывали и другие гости. Помнится, на одном из таких застолий мы познакомились с коллегой и, как выяснилось, другом Мухитдина – его звали Петром – с которым двадцать пять лет назад они вместе работали в Институте общей физики и геохимии Академии наук СССР. Это был единственный известный мне человек, который обращался к доктору на «ты». Он то и дело восклицал: «а ты помнишь, Мухитдин»? – и немно-

гословный обычно доктор охотно включался в разговор.

«А ты помнишь, Мухитдин, как позвонил с жалобой на тебя человек, которого ты спас»?

«Да, было такое... Вижу – лежит на платформе в метро человек, вокруг люди толпятся... Я, конечно, подошел, стал его выслушивать. Состояние явно предынфарктное. Начинаю массаж сердца... Тут подоспела скорая помощь. Я оставил медработникам свою визитку – и ушел. А через три дня этот больной позвонил, сказал, что я ему два ребра повредил...»

«А за жизнь поблагодарить позабыл, чудак такой!»

Посмеялись. Но потом вспомнили другой случай – печальный: сотрудник Петра и Мухитдина решил удалить раздражавшую его родинку на руке. Мухитдин отговаривал, объяснял, что это опасно. Бедняга настоял на своем. И погиб во время операции: не удалось остановить внутреннее кровотечение...

Больных доктор Умаров принимал в небольшой спальне Галины Федоровны. Оказавшись там в качестве пациента, я увидел однажды список больных – и нашел там свое имя под номером 257!

Встречал он нас, мне кажется, как людей близких, расспрашивал о детях, даже помнил их прозвища – Полван, Чимчукча. Охотно, с гордостью о своих внуках рассказывал: «Внук, сын старшей моей дочери, победил недавно на олимпиаде по немецкому языку. Ну, а я ему сделал подарок – как

обещал». Знание иностранных языков табиб считал очень важным – и в культурном, и в деловом отношении. Тому из внуков, кто осилит три тысячи иностранных слов, он обещал подарить машину. И вот – подарил... Неплохо иметь такого деда!

* * *

Четыре года встречались мы в Москве с Мухитдином Инамовичем. Когда в жизни все благополучно, кажется, что так будет всегда. Но беды приходят неожиданно. И вот однажды – это было зимой 2010 года – узнали мы от Галины Федоровны страшную новость: рождественской ночью погибла в автомобильной аварии дочь табиба Дильфуза. Старшая из пятерых дочерей, самая любимая, талантливый и яркий человек.

Потеря ребенка – бывает ли горе тяжелее? Мы страдали, представляя себе, в каком ужасном состоянии близкий, дорогой нам человек. Мы так привыкли к его постоянной помощи, поддержке – а теперь он и сам в ней нуждался...

И вот после семилетнего отсутствия мы в Узбекистане. У дверей одноэтажного корпуса Больницы Железнодорожников, где находился Ташкентский центр Мухитдина Умарова, стояла очередь пациентов – человек тридцать. Много было женщин в национальных шелковых платьях, с длинными, черными как смоль косами.

Войдя в приемную, я увидел в глубине кабинета, за неплотно прикрытой занавеской, сидевшего за письменным столом Мухитдина – и сердце мое сжалось. Доктор, как всегда, был чисто выбрит, накрахмаленная рубашка сияла белизной. Но какое похudevшее, изнуренное лицо, какая сиди-на!

В кабинете раздавалось всхлипывание женщины. Доктор успокаивал ее: «болезнь только началась, мы одолеем ее». Он утешал – но каким неузнаваемо слабым был его голос!

Эта наша последняя встреча... Никогда ее не забуду. Не забуду последнего прощания – я обнимал доктора, чувствуя тепло его тела, прильнув к нему с какой-то особенной нежностью, бормотал: «берегите себя». Он похлопывал меня по спине...

* * *

Да – печальной на этот раз была наша встреча, наша поездка в Узбекистан. Но и в этот приезд, как и в прежние, были минуты, когда я всей душой радовался свиданию с Родиной. Стоял май. В Узбекистане нет поры прекраснее. Весенний город весь в зелени, цветут и благоухают сады. Базары ломятся от овощей и первых фруктов. Выйдя ранним утром на балкон, я смотрел, как за снежными вершинами Тянь-Шаня поднимается Солнце... Что за зрелище! И снова вспомнились мне слова Мухитдина: «Все живое в природе

встречает восход солнца...» А передо мной метались, рассекая небо, ласточки и стрижи. А снизу веселым хором звучали голоса детей. Птицы ловили мошкарку, ребятишки резвились, собираясь у калитки детского сада – но и те и другие словно бы приветствовали восход...

И восход, и птицы, и дети – все это вместе складывалось в такую прекрасную картину бытия! На какие-то мгновенья меня охватило блаженное состояние. Но вот снова сердце сжалось от боли: Мухитдин... Сможет ли он после такого удара выдерживать это величайшее душевное и физическое напряжение? Ученики, сотни пациентов ежедневно, колоссальная работа травника-исследователя... Постоянные (каждые две недели) поездки из ташкентского центра в наманганский...

Тут мне вспомнился Михаил Блей, старый доктор моей мамы. Как-то я застал его на работе совсем больным – у него было плохое сердце. Я спросил – почему же он не дома. «А на кого мне оставить больных?» – удивленно ответил доктор.

Да – есть такая немногочисленная благороднейшая порода людей, имеющих особые души. Лучшее, что создано человечеством. Им необходимо «из чьей-то жизни боль убрать», без этого они и сами не могут жить.

Табиб так и поступал – пока не перестало биться сердце.

* * *

В своей книге о восточной медицине и о месте в ней Мухитдина Умарова его ученики поставили табиба в один ряд с Гиппократом, Галеном и другими великими медиками.

Я нередко вспоминаю об этом, когда зажигаю субботнюю свечу, посвященную табибу Мухитдину Инамовичу Умарову. И горжусь, что этот замечательный человек был моим другом.

Фотографии к книге «Эстер»



Бабушка Эстер и внук Даниел



*Первая встреча с доктором Умаровым
(к главе 9 «Доктор из Намангана»)*



Табиб в гостях. 1994 год, Нью-Йорк



Доктор Умаров в приёмной



Занятия в Центре восточной медицины



В травяной аптеке Центра восточной медицины



Последняя встреча с доктором

* * *

В оформлении обложки использована фотография с сайта
<https://www.canva.com/folder/all-designs>

В книге использованы фотографии автора